АННА ЗЕГЕРС

МЕРТВЫЕ ОСТАЮТСЯ МОЛОДЫМИ



БИБЛИОТЕКА
ЛИТЕРАТУРЫ
ГЕРМАНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Г. П. ЗЛОБИН
Е. Ф. КНИПОВИЧ
А. С. МУЛЯРЧИК
В. О. ОСИПОВ
А. И. ПУЗИКОВ
Р. М. САМАРИН
Б. Л. СУЧКОВ
П. М. ТОПЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1971

АННА ЗЕГЕРС

МЕРТВЫЕ ОСТАЮТСЯ МОЛОДЫМИ

РОМАН

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО
Н. КАСАТКИНОЙ И В. СТАНЕВИЧ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
МОСКВА 1971

ПРЕДИСЛОВИЕ Л. ЮРЬЕВОЙ

7-3-5
50—71

ХУДОЖНИК Ю. БОЯРСКИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя Анны Зегерс — одного из выдающихся мастеров литературы социалистического реализма — хорошо знакомо советскому читателю. Первая ее книга, «Восстание рыбаков» (1928), появилась в Советском Союзе в 1930 году, и с тех пор каждый новый роман, каждое новое слово писательницы-коммунистки встречается у нас с неизменным вниманием и интересом.

Огромная заслуга Анны Зегерс перед немецким народом, перед немецкой литературой состоит в том, что в своих произведениях она с бескомпромиссной прямотой сказала горькую правду о жизни страны в период фашистского господства, проанализировала причины, приведшие Германию к национальной катастрофе.

Трезво и открыто, не умаляя силы и опасности врага, Анна Зегерс прослеживает причины влияния фашизма на широкие массы. Она не скрывает слабости немецкого рабочего движения, изображая в ряде своих произведений губительные последствия раскола в немецком рабочем классе. Одним из таких последствий было поражение социалистической революции 1918—1923 годов, другим — приход Гитлера к власти. Это произошло вследствие неспособности немецкого пролетариата решительно противостоять наступлению реакции и фашизма в период Веймарской республики, что в конечном счете привело к фашистской диктатуре. Но вместе с тем писательница видит и изображает те здоровые, передовые силы немецкой нации, которые на протяжении последних пятидесяти лет истории Германии мужественно противостояли реакции и ныне ведут страну по новому пути, те силы, которые успешно строят социализм в Германской Демократической Республике.

Анна Зегерс (настоящее имя писательницы — Нетти Рейлинг) родилась в 1900 году в Майнце. Образование она получила в Кёльнском и Гейдельбергском университетах, где изучала филологию, историю, искусствознание. Литературную известность Анне

Зегерс принесла повесть «Восстание рыбаков», отмеченная премией имени Клейста, самой крупной литературной премией в догитлеровской Германии. Новизна материала, яркость и своеобразие художественных характеристик сразу привлекли внимание к молодой писательнице. Эта книга о нелегкой жизни и борьбе простых тружеников моря явилась как бы идейной программой, включившей Анну Зегерс в ряды пролетарских писателей. С той поры она прочно связала свою судьбу с коммунистическим движением.

Уже в раннем творчестве Анна Зегерс проявила себя художником с широким интернациональным кругозором. Роман «Спутники» (1932), посвященный революционной борьбе коммунистов разных стран, проникнут духом международной солидарности; темы неумирающей революционной традиции, преемственности поколений в революционном движении, звучащие в нем, впоследствии найдут более завершенное воплощение в романах «Седьмой крест» и «Мертвые остаются молодыми». «Спутники» как бы открывают серию романов Анны Зегерс, в которых она стремится проследить закономерности исторического развития, выявить неисчерпаемость резервов революции, «трагический оптимизм» трудных и сложных этапов революционного движения, когда даже поражение не означает безысходности и бесперспективности.

После прихода фашистов к власти Анна Зегерс была вынуждена эмигрировать из Германии. Жила во Франции, затем в Мексике, много сил отдавала антифашистской борьбе. Один из организаторов Союза немецких писателей, основанного в октябре 1933 года в Париже, она принимала активное участие в создании антифашистского журнала «Нойе дойче блеттер», была делегатом Первого и Второго международных конгрессов писателей в защиту культуры (1935 и 1937 г.г.).

Опыт политической борьбы против фашизма обогатил Анну Зегерс как художника, придал еще большую идейную направленность ее произведениям. Романы о Германии, созданные Зегерс в эмиграции — «Оцененная голова», «Спасение», «Седьмой крест», «Мертвые остаются молодыми»,— связаны общностью политической и идейно-нравственной проблематики. В них запечатлены драматические и противоречивые периоды истории немецкого народа в XX веке. Анна Зегерс не обращалась к далекому прошлому, не прибегала к историческим аналогиям и параллелям, подобно Б. Брехту («Матушка Кураж и ее дети», «Жизнь Галилея»), Г. Манну («Молодые годы короля Генриха IV», «Зрелые годы короля Генриха IV»), Стефану Цвейгу («Триумф и трагедия Эразма Роттердамского»), Л. Фейхтвангеру («Лже-Нерон», три-

кони «Иосиф»), которые видели в гитлеровской империи возврат к худшим пережиткам варварства и средневековья и противопоставляли этому варварству лучшие гуманистические традиции германской и мировой культуры. Анна Зегерс говорила о современной ей Германии, руководствуясь стремлением извлечь уроки из недавних политических событий.

И если писатели-антифашисты, гуманисты, обличая жестокость и варварство фашизма, представляли себе исторический процесс как извечную борьбу двух сил: добра и зла, гуманности и бесчеловечности, свободы и деспотизма, разума и невежества, то писатель коммунист Анна Зегерс проникала в суть социальных отношений, стремясь раскрыть сложное взаимодействие классовых и политических сил.

В романах 30-х годов о Германии писательница обращается к сложным процессам, происходящим в толще народных масс. Фашизм, как показал, входит в жизнь немецкой деревни,— говорит она в романе «Оцененная голова» (1933). Теме политического пробуждения посвящен роман «Спасение» (1937), в нем отражен медленный, но неуклонный процесс перевоспитания аполитичных, пассивных людей, перевоспитания, происходящего под воздействием суровых уроков жизни и борьбы.

О чем бы ни писала Анна Зегерс, ее всегда интересует, как складывается судьба рядового человека, что лежит у него на сердце. Писательница обращается к обыденной, немудрящей повседневности, рисует обычных людей в обычных условиях их реального существования. И вместе с тем всем своим творчеством, внутренней логикой образов она утверждает, что в душах внешне ничем не примечательных людей заключены большие нераскрытые возможности, большие резервы мужества и стойкости, она прославляет силу этих простых людей. Тема пробуждения истинно человеческих качеств, зреющей гражданственности, потенциальных неразбуженных сил народа — все это найдет пластическое, жизненно достоверное выражение в позднем творчестве Анны Зегерс, в ее романах и таких сборниках рассказов, как «Первый шаг» (1952) и «Сила слабых» (1965).

Синтезом многих предшествующих идейно-художественных исканий писательницы стал роман «Седьмой крест» (1939). «Гениально найденная фабула» — так определил Александр Абуш легшую в основу романа историю о побеге коммуниста из концентрационного лагеря. Эта фабула дала писательнице возможность нарисовать широкую, многостороннюю картину жизни в третьем рейхе, вывести самых разных людей — и героев-антифашистов, и запуганных, примирившихся со всем обывателей, и

палачей-фашистов. Книга Зегерс утверждает высокий героизм антифашистской борьбы, которая является примером для других людей, пробуждает в них классовое сознание, гражданскую совесть и честь, высокие моральные свойства. «Седьмой крест» стал выдающимся достижением социалистического реализма в зарубежной литературе.

Вернувшись весной 1947 года из эмиграции, Анна Зегерс стала активным участником строительства новой Германии. Как вице-президент Культурбунда, один из руководителей Германской академии искусств, как член президиума Всемирного совета мира, председатель Союза немецких писателей, она много сделала для развития социалистической культуры и искусства, для укрепления мира. Деятельность Анны Зегерс в ГДР была отмечена Национальной премией первой степени, ей была присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Самые острые общественно-политические, этические и эстетические проблемы находят отражение в ее публицистике и художественных произведениях.

Символичен тот факт, что именно в 1949 году, в год образования Германской Демократической Республики, выходит роман «Мертвые остаются молодыми» — монументальное эпическое произведение, выдающееся явление немецкой литературы XX века. В нем история немецкого народа на протяжении четверти века с 1919 года вплоть до последних месяцев второй мировой войны.

Продолжая темы предыдущих книг, в романе «Мертвые остаются молодыми» Анна Зегерс значительно расширяет масштабы повествования, развивает политические, социально-психологические коллизии, намеченные в более ранних вещах. На фоне других — довольно многочисленных — произведений литературы ГДР, повествующих о недавнем прошлом Германии, роман «Мертвые остаются молодыми» выделяется своей многоплановостью, широтой охвата действительности, объемностью картины общества, данного как бы в поперечном срезе,— здесь и рельефные фигуры рабочих-антифашистов, коммунистов и социал-демократов, ведущих упорную борьбу с реакцией и фашизмом за демократическую Германию; здесь и промышленники-капиталисты, фактические хозяева и Веймарской республики и третьей империи; и те, кого они финансировали и поддерживали,— фашистские авантюристы, выскочки и палачи; здесь и «осколки» кайзеровской империи — старопрусское кадровое офицерство, во имя идеи «великой Германии» пошедшее за Гитлером; и, наконец, немецкое крестьянство, в котором гитлеровцы искали себе опору.

Подобно «Седьмому кресту», «Мертвые остаются молодыми» — идейно художественный синтез в творческой эволюции Анны Зегерс. Здесь в наиболее обобщенном виде раскрыты проблемы, которые были затронуты в ее ранних романах: классовая природа фашизма, соглашательская роль немецкой социал-демократии, трагедия раскола в немецком рабочем движении, героизм немецких коммунистов, бессмертие революционных идеалов, непреходящие этические ценности, носителем которых является народ. Это огромное по охвату материала произведение, разностороннe воспроизводящее жизнь, погружает читателя в самую ее гущу, представляя каждого героя в его социально-исторической среде, рисуя быт, умонастроения и нравы немецкого общества. Оно объединено строгой концепцией писательницы, ее отношением к определенному периоду немецкой истории.

Рассказывая о семьях, принадлежащих к разным социальным слоям, Анна Зегерс продолжает традиции романа поколений, столь прочные в немецкой литературе. Как произведение социалистического реализма, «Мертвые остаются молодыми» перекликается с такими всемирно известными книгами писателей стран народной демократии, как трилогия Марии Пуймановой «Люди на перепутье», «Игра с огнем», «Жизнь против смерти», тетралогия Вацлава Бранднса «Между войнами», роман Ярослава Ивашкевича «Хвала и слава». Это все произведения большого диапазона, содержанием и движущим началом повествования которых является сама национальная история, преломленная через индивидуальные человеческие судьбы.

Роман «Мертвые остаются молодыми» начинается со сцены расстрела контрреволюционерами молодого рабочего-спартаковца Эрвина. Эта сцена — идейно-художественная кульминация повествования, ибо судьба принимавших участие в расстреле промышленника Клемма, офицеров Вендлова и Ливена, солдата Надлера и шофера Бекера, посмертная жизнь Эрвина в памяти знавших его людей, для которых он навеки остается молодым, олицетворил собой бессмертие революционного подвига, в дальнейшем подробно прослеживается писательницей.

В начальной сцене романа Эрвин предстает как частица огромной бессмертной, вечной жизни народа, как человек, находящий место в общем строю и умирающий за общее дело, которое будет продолжаться и после его гибели. Конечное и бесконечное, смерть и бессмертие сопоставлены друг с другом, поставлены рядом. И самим заглавием романа, выразительным, заключающим в себе поэтико-философское обобщение, и его содержанием писательница-коммунистка провозглашает историческую

неодолимость революции, утверждает позицию исторического оптимизма, неиссякающего даже перед лицом самых трудных испытаний. Таким образом, первая сцена несет в себе и конкретно-реалистическую, и переносно-символическую нагрузку.

В мировой литературе есть немало книг, воспевающих бессмертие революционного подвига, идею продления жизни человека в судьбах его народа. В романе «Мертвые остаются молодыми» Анна Зегерс нашла свой оригинальный поворот этой вечной темы.

Мысленно прощаясь с жизнью, со всем тем, что ему было дорого, Эрвин духовно мужает в те последние мгновения, которые ему еще остается жить. И в последний момент Эрвин вел себя так, «словно стоял перед всем народом». Его предсмертные слова: «Сейчас вы можете покончить со мной! Но погодите, придет и ваш черед!» — приобретают пророческий смысл. Эти слова он говорит и от своего имени, и как бы от имени всех немецких коммунистов прямо в лицо своим реальным убийцам и вообще всем клеммам, ливенам, венцловам, надлерам, бекерам. И недаром профессиональный революционер Мартин, вспоминая своего молодого друга, приходит к выводу: «Он умер за своих, за тех, ради кого боролся с той поры, как начал думать. Большего сделать никто не может, и ему, Мартину, не совершить ничего выше этого, проживи он хоть сотню лет. Эрвин теперь недосягаем и неприкосновенен».

Именно таким недосягаемым и неприкосновенным в своей вечной молодости проходит Эрвин через роман, как бы вновь воскресая в своем сыне Гансе, идущем дорогой отца и внешне на него очень похожем. Смелый, честный, открытый мальчик, чье детство прошло в рабочей трудовой семье и было озарено пламенем молодежных костров и наполнено героикой революционных песен и кинофильмов, а ранняя юность связана с антифашистской борьбой, Ганс раздваивается в нашем восприятии, когда писательница изображает его как солдата на фронте. Даже если Ганс и стремится срывать выполнение фашистских приказов, он все же стреляет в советских солдат. «Он не мог выскочить из общего ряда, как одна волна не может выскочить из целого потока», «он убивал именно то, за что готов был тысячу раз умереть». И хотя в такой ситуации отражается трагедия реального положения немецких антифашистов, хотя самому Гансу ненавистна его роль, этот образ как бы распадается, становится менее завершенным, тут Зегерс вновь, как и в романе «Седьмой крест», честно отражает истинное положение в стране, изолированность борцов антифашистов. И все-таки именно Ганс в конце

повествования, напоминая Венцлову убитого Эрвина, олицетворяет вечно живую молодость и бессмертие дела революции.

Возлюбленная Эрвина и мать Ганса Мария — один из самых обаятельных и цельных образов, к которому писательница не раз возвращается в своем творчестве. Эта скромная труженица, мать семейства, олицетворяет все лучшее, что есть в народе,— ей органически присуща тяга к добру и справедливости, она мужественно и безоговорочно поддерживает мужа и сына в антифашистской борьбе. В конечном итоге сила материнской любви пробуждает и ней волю к действию — вместе с другими немецкими женщинами она начинает саботаж на военном заводе.

Две женщины — Мария и возлюбленная Ганса Эмми — предстают на последней странице романа как хранительницы того светлого начала, что несет в себе зарождающаяся жизнь, еще не родившегося на свет ребенка, которому суждено будет в новых исторических условиях продолжить дело деда и отца.

Пагубность раскола немецкого рабочего класса — сквозная тема книг Зегерс о Германии. В романе «Мертвые остаются молодыми», как и в романе «Путь через февраль» (1935), писательница называет этот раскол одной из главных причин тех исторических потрясений, которые пришлось пережить немецкому народу. Она убедительно доказывает это на образе мужа Марии — рабочего социал-демократа Гешке, честного, трудолюбивого человека, ограниченного, однако, в своих взглядах и действиях иллюзиями социал-демократии, в которые он свято верит.

Символичны взаимоотношения Гешке с его соседом по дому, коммунистом Трибелем. Вечные споры и разногласия между Трибелем и Гешке отражают противоречия, существовавшие между различными партиями германского рабочего движения. Гешке и Трибель, каждый по-своему, не правы в этих спорах. Гешке не видит опасности для судеб народа в той политике, которую проводит вождь социал-демократии. Трибель не проявляет должной гибкости, терпимости и человеческого понимания в своих взаимоотношениях с Гешке. Но Зегерс показывает и огромную силу рабочего класса в те моменты, когда он объединяется для отпора реакции. Самыми светлыми воспоминаниями в сознании Гешке навсегда остаются всеобщая забастовка против капповского путча, манифестация по поводу смерти Ленина, демонстрация протеста против фашизации Германии.

В романе широко представлена лучшая передовая часть народа — прогрессивная антифашистская Германия. Достаточно вспомнить безымянного юношу-связного, героически погибшего во время боев в Саксонии в 1923 году. С гордым достоинством встре-

чает он смерть, и, когда он пал, сраженный пулями, «на спокойном молодом лице его было такое выражение, словно он и мертвый готов продолжать порученное ему дело». Недаром этот юноша напоминает Венцлову Эрвина, сливаясь и ассоциируясь с ним. Этот безымянный герой и многие другие мужественные люди, которые не покорились гитлеровской диктатуре, образуют живой, выразительный фон повествования.

После разгрома гитлеровской Германии писатели-антифашисты создали много книг, в которых стремились ответить на вопрос, почему фашизму удалось растлить человеческие души, как он заставил служить своим преступным целям миллионы людей? Анна Зегерс принадлежит к этим писателям. «Мы ведем борьбу с последствиями исторической вины, заблуждений целого народа»,— писала она. В романе «Мертвые остаются молодыми» она хочет разобраться в том, какими путями и средствами фашизм завербовывал своих сторонников.

Большой мастер психологического анализа, Анна Зегерс зримо и образно подает лагерь врагов немецкого народа, организаторов и пособников этого чудовищного тотального обмана. Анна Зегерс стремится показать «обыкновенный фашизм», раскрыть внутреннюю сущность нацистов не только в общественно-историческом, но и в личном аспекте.

Непосредственный убийца Эрвина и Ганса — Венцлов, кадровый военный, привыкший строго и неукоснительно подчиняться приказам. Когда твердыня прусской империи пошатнулась, почва уходит из-под Венцлова, он начинает испытывать «страх перед жизнью, боязнь будущего и тоску». Он сам хорошо понимает, сколь непозволительно такое душевное состояние для военного, и поэтому старается скрывать свои чувства. Однако Венцлов, как представитель своего класса, включен в такую железную систему взаимоотношений, что его субъективные, личные переживания не имеют практически никакого значения. Он действует так, как от него требуют обстоятельства и его служебное положение. По меткому определению простого солдата Кульмая, «он не из самых вредных, но все-таки вредный». Ведь именно Венцлов убивает Эрвина, именно Венцлов за несколько минут до того, как покончить жизнь самоубийством, подписывает приказ о расстреле шестерых немецких солдат, среди которых находится и Ганс. Цепь замкнулась. Пророчество Эрвина сбылось, ибо оно было исторически закономерно.

Отточенное психологическое мастерство Анны Зегерс сказывается в обрисовке образа Эрнста Ливена. Это опустошенный, ни во что не верящий авантюрист, которому для самоутвержде-

ний необходимы острые ощущения. Вступая в национал-социалистскую партию, Ливен руководствуется холодными расчетами авантюриста, стремящегося повыгоднее продать себя. Быть властелином чужой судьбы, играть жизнью другого человека, ломать ее, сообразуясь лишь со своими прихотями, для Ливена внутренняя необходимость. В творчестве Анны Зегерс это наиболее остро обрисованный образ утонченного циника и проходимца, примкнувшего к фашизму.

Еще один участник убийства Эрвина — крестьянин Вильгельм Надлер — мечтает о «богоравной власти над жизнью и смертью». Такую власть может ему дать только фашизм. С отвращением вспоминает Надлер о своей прошлой однообразной жизни, о крестьянском труде, который кажется ему унизительным и презренным. Настоящая жизнь, по понятиям Надлера, может быть только на войне, которую Надлер представляет себе как упоение властью, его пьянит немая мольба в глазах побежденных. Ведь среди таких, как Надлер, фашизм особенно успешно вербовал своих слуг, потому что ему удалось растлить души рядовых людей. Во многих семьях царила атмосфера слежки и доноса. Подлость, трусость, приспособленчество глубоко проникли в массы, стали, по существу, бытовыми явлениями. Фашизм изолировал людей, обрекал их на одиночество, лишал доверия друг к другу, обрывал человеческие связи, затруднил путь от сердца к сердцу. Многие немецкие писатели-антифашисты признавали, что значительные слои немецких трудящихся были жертвами обмана и собственной политической незрелости или жертвами страха и террора, они писали о неустойчивости, зыбкости человеческих отношений в фашистской Германии, в которой царили страх и отчаяние.

В романе «Мертвые остаются молодыми» тоже говорится о том, как фашизм опутывал людей, затягивая в свои сети «от старого и малого», как развращал молодежь, как добивался того, чтобы «между волей начальства и собственной совестью никаких разногласий быть не могло». Очень колоритен в этом отношении образ Клемма-младшего — Хельмута. Наблюдая его развитие от детских лет до зрелого возраста, писательница раскрывает становление психологии эсэсовца, готового на любые преступления. Она выводит самых различных по характеру и индивидуальности отрицательных героев, таких, как коммерции советник Кастрициус, директор «ИГ Фарбениндустри» Шлютебок, советник юстиции Шпрангер. Все они, по существу, вызвали к жизни гитлеризм и поддерживали его, но, понимая, что поражение Германии в войне неминуемо, они спешат переориентироваться, завязать связи с американским и английским капиталом.

В советской критике уже отмечалось, что в романе «Мертвые остаются молодыми» Анне Зегерс удалось выявить истинное социальное содержание фашизма. Сами фашисты упорно кричали о некоем «народном» характере фашизма, демагогически спекулировали на социалистической фразеологии. Анна Зегерс убедительно показала, чьим интересам на самом деле служила национал-социалистская партия. Рейнские промышленники с циничной откровенностью говорят о том, что им нужен «подходящий человек с хитрой программой», который бы им помог справиться с возрастающей политической активностью рабочих масс. В узком кругу финансовые тузы, не стесняясь, высказывают о Гитлере свое истинное мнение — умом не блещет, «припадочный, истеричный пошляк», но он знает, как можно обмануть и обуздать массы. Один из приемов — пресловутый тезис о единстве нации, который демагогически провозглашали фашисты. Всю фальшь этого лозунга Зегерс разоблачает на примере взаимоотношений капиталиста Клемма и его шофера Бекера. В реальной жизни оказывается полностью несостоятельным миф о священном фронтовом товариществе и незыблемом единстве нации.

«Мертвые остаются молодыми» — произведение сложной и одновременно стройной композиции. Действие развивается несколькими самостоятельными сюжетными потоками, персонажи, представляющие ту или иную сюжетную линию, существуют независимо друг от друга, редко или даже совсем не вступая в непосредственный контакт с героями другого лагеря. Между ними существуют общие классовые взаимоотношения, обусловленные эпохой и нацией, исторически обусловленные столкновения социальных сил. Только два раза, в начале и в конце романа, происходят встречи главных действующих лиц разных лагерей, и эти встречи кончаются смертью героя.

Анна Зегерс так строит свое произведение, что многие человеческие судьбы и отдельные сцены приобретают у нее символическое значение. Характер символики здесь таков, что она очень естественно, как и в «Седьмом кресте», сочетается с совершенно реальной жизненной ситуацией.

Для книги характерна внутренняя уравновешенность, спокойная обстоятельность, вещественность и конкретность стиля, зоркое внимание к деталям. Одна из особенностей творческого почерка Анны Зегерс состоит в том, что она как бы растворяется в своих героях, ее присутствие «не чувствуется» в книге, кроме тех случаев, когда она в ненавязчивой форме определяет свое личное отношение к событиям и людям.

«Мертвые остаются молодыми», по существу, социально-политический роман, политические проблемы даются Анной Зегерс не в лоб, не прямолинейно. Политическое и историческое просвечивает через личное, частное, даже интимное. Судьба героев раскрывается в их связях с ходом большой истории, движение времени отражается в участи людей. Анна Зегерс как бы предоставляет непредумышленно развиваться самой жизни, она не обнажает идею произведения, не морализирует, не комментирует. Мудрость ее книг — в сути и логике самих образов и ситуаций.

Ряд художественных особенностей произведения, самая его структура — широкая панорамность, обилие действующих лиц, отсутствие главного героя, а также неразрывность идеологии и морали, общественного и этического облика человека — находит свое новое развитие в романах писательницы о послевоенной социалистической Германии: «Решение» (1959) и «Доверие» (1968). Некоторые герои романа «Мертвые остаются молодыми» продолжают действовать в «Решении» и «Доверии» — жив коммунист Мартин, прошедший трудный путь, но жив и коммерции советник Кистрицпус, финансировавший гитлеризм, жив и эсэсовец Хельмут фон Клемм. Последовательность исторического повествования, общность героев делают романы «Мертвые остаются молодыми», «Решение» и «Доверие» частями единого художественного целого.

В ноябре 1970 года, когда Анне Зегерс исполнилось 70 лет, Центральный комитет СЕПГ послал ей приветственное письмо. Наряду с другими важными заслугами в послании отмечалось и новое художественное значение последних романов Анны Зегерс: «В таких широко задуманных романах, как «Мертвые остаются молодыми», «Решение» и «Доверие», тебе удалось эстетически убедительно отразить движущие силы и идеи нашего времени».

Да, эпический мир, созданный Анной Зегерс, является отражением действительности нашего века, а ведущие идеи ее творчества в свою очередь воздействуют на умы и сердца читателей.

Л. Юрьева

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА РОМАНА

Мертвый:

ЭРВИН — *молодой солдат в первой мировой войне*

Мартин — *его лучший друг*
Мария — *его возлюбленная*
Ганс — *сын Эрвина и Марии*
Гешке — *впоследствии муж Марии*
Елена, Франц — *дети Гешке от первого брака*
Эмилия — *тетка Марии*

Участники убийства Эрвина:

ФОН КЛЕММ — *из семьи заводчиков Рейнской области, офицер в первой мировой войне*
Элеонора — *его жена*
Хельмут — *их сын*
Клемм (без фон) — *его кузен*
Комморции советник Кастрициус — *его коллега, отец его второй нареченной*
Шлютебюк — *один из директоров «ИГ Фарбениндустри», его коллега и единомышленник*

БЕКЕР — *шофер Клемма*

ФОН ВЕНЦЛОВ — *кадровый офицер, шурин Клемма*
Амалия фон Венцлов — *его тетка*
Ильза — *его жена*
Фон Мальцан — *майор, тесть Венцлова*
Аннелиза — *старшая дочь Венцлова*
Фон Штахвиц — *его друг*
Советник юстиции Шпрангер — *друг его отца*

ФОН ЛИВЕН — *эмигрант из Прибалтики, офицер, далее служащий в различных фирмах, впоследствии эсэсовский офицер*

Отто фон Ливен — *его кузен*

Элизабет — *его кузина*

ВИЛЬГЕЛЬМ НАДЛЕР — *крестьянин, солдат в первой мировой войне, затем в добровольческом корпусе, снова солдат во второй мировой войне*

Лиза — *его жена*

Христиан — *его брат*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

— Ну, кончайте!

Хотя капитан буркнул эти слова себе под нос, Эрвин расслышал их. Он понял, что его ожидает смерть. Когда вчера белогвардейцы штурмовали манеж, собственный конец еще казался ему чем-то очень далеким. Он, правда, привык к мысли о смерти — с тех пор как в 1914 году, почти мальчишкой, пошел добровольцем на фронт. В те времена армия сулила ему больше, чем его сиротская, убогая юность. Уж лучше военный мундир, чем затрапезная куртка, какую носят берлинские мусорщики: эту дрянную работенку раздобыл ему дядя, не желавший больше ни кормить племянника, ни выкладывать деньги за его обучение какому нибудь ремеслу.

Как эхо, дважды прозвучало у него в душе — или это проговорил сквозь зубы капитан: «Кончайте! Кончайте!»

В те времена армия была для него всем — матерью, родиной, пристанищем. В слова «честь» и «отечество» он поверил с такой же готовностью, с какой взял в руки оружие; вдруг оказалось, что ему, мальчугану, которого до тех пор только терпели, а иногда и поколачивали, о котором попросту забывали, предназначено свершить великие дела. После первых приступов чисто физического страха угроза смерти стала для него такой же привычной, как и для всех людей на земле: хотя они отлично знают, что каждому суждено умереть, эта неизбежность не слишком портит им существование.

По-настоящему жизнь Эрвина началась в декабре 1916 года, когда ему в окопах попала в руки первая листовка,— с тех пор прошло всего три года, и вот слово «кончайте», может быть, уже означало смерть. Он никак еще не мог расстаться с зыбким роем обманчивых и бес-

смысленных надежд, и только скрежет тормозов рассеял их окончательно. С той первой листовки сама смерть приобрела для него другой смысл, точно она скорее имела отношение к жизни, а не к смерти. Раньше Эрвин ощущал свою жизнь как бремя, а иногда — в воскресные вечера — как забаву. Листовка была первым человеческим зовом, обращенным лично к нему. Он впервые почувствовал, что на свете существует кто-то, кто нетерпеливо его ищет, кому он нужен настоятельно, весь, целиком, кто без него жить не может. Раньше Эрвин воображал, что настоятельно нужен отечеству. Но когда ему в листовке открылось то, о чем он сам тосковал, ему сначала казалось, что принять эту желанную правду — значит проявить недопустимую слабость, и он долго боролся с самим собой, хотя уже догадывался, что армия не имеет ничего общего ни с родиной, ни с матерью, так же как ничем не напоминает родную мать тетка, которая рада была от него отделаться. А хваленое отечество вовсе не было тем пристанищем, которого он жаждал.

Засовывая листовку в карман мундира, он уже не сомневался, что его нашел тот человек, которого он, сам того не сознавая, так лихорадочно и упорно искал. Он прочел написанные черным по белому ответы именно на те вопросы, которые проносились в его сознании смутно, как тени. Отчего жизнь до войны была такой, а не иной? Отчего разразилась война? Почему она должна прекратиться?

Капитан, только что пробурчавший «кончайте», буркнул громче:

— Ну, вы там, пошевелитесь!

Конвойный, с самого начала приставленный к Эрвину, крепче схватил его. Сколько минут это может еще продлиться? Каждая минута равна годам. Два последних года — годы настоящей жизни — пронеслись, как минуты. Человека, сунувшего ему тогда листовку, звали Мартин. Эрвин даже не подозревал, чего это стоит — выпустить листовку: поддельные паспорта, сопряженные с опасностью поездки за границу, конференции в Швейцарии и Швеции, яростные споры, подпольные типографии, аресты на фронте и в тылу, тюрьма и военно-полевой суд — и вот наконец перед ним эти несколько строк. А так как листовка приказывала: «Передай другим», он торопливо и послушно передал ее. Вскоре Эрвин сам начал распространять листовки. Его стали втягивать в разговоры, а мало-

помалу и в совещания. Это была своеобразная учеба в окопе, в промежутках между боями.

Дождливой ноябрьской ночью в усталую, изголодавшуюся Германию, стоявшую перед четвертой военной зимой, ветер с Востока принес листья Красного Октября. Революция была так же молода, как Эрвин.

«Мой друг сегодня напрасно прождал меня»,— думал Эрвин. Когда он думал о Мартине, ему казалось, что они жили вместе еще в незапамятные времена. Может быть, Мартин и сейчас ждет в условленном месте. Ровно три месяца назад они вдвоем приехали в Берлин. У обоих не было семьи. Их не ждали там ни мать, ни сестра, ни любимая — их ждала революция. Революция означала для них не просто слова «переворот», «советское государство» или лозунг «Вся власть Советам!» — революция была для них новой жизнью, столь же мало похожей на прежнюю, как потусторонний мир на этот. Они ожидали раздела земли не менее горячо, чем рождения неизведанных чувств в своей душе. Эрвин надеялся, что ему удастся стать слесарем-механиком, а в этой новой жизни — даже чертежником-конструктором, как надеялся, что новый мир будет государством неисчерпаемой мощи, основанным на свободе и справедливости. За это они столько дней бились на берлинских улицах, под конец — против добровольческих белогвардейских отрядов, которые Носке призвал на помощь. Ведь родившаяся в ноябре республика напоминала того ребенка из сказки, который появился на свет старичком, скованным всеми путами и обремененным всеми пороками прошлого. И если Эрвину опять угрожала смерть, она казалась ему второстепенным эпизодом в той общей жизни, которая все равно будет бурно мчаться вперед — с ним или без него. И лишь когда белогвардейцы взяли мансарду, заняли близлежащие переулки и вывели в расход пленных, он понял, что может рассчитывать только на один, именно ему предназначенный кусок этой общей, непрерывно пополняемой жизни, что ему отпущена лишь точно отмеренная доля жизни и смерти. Едва его втолкнули в машину, чтобы отвезти на очную ставку в штаб, находившийся в Новавесе, он снова предался всевозможным надеждам, как предается им человек, осознавший, что у него есть своя, ему предназначенная судьба. Когда они въехали в лес позади Ваннзее, он стал тешить себя безумной надеждой, что, может быть, его товарищи еще раз со-

брались с силами и взяли обратно манеж, что здание, где помещался штаб и куда его везли, может быть, осаждено, что судебное заседание могут прервать и даже могут его, Эрвина, отбить по пути туда.

Между Ванзее и Новавесом они наткнулись на машину капитана фон Клемма, у которой лопнула шина. Клемм состоял в добровольческом белогвардейском отряде, штурмовавшем манеж; оба лейтенанта, сидевшие справа и слева от него,— также.

Клемм осведомился о том, куда идет машина с пленным. Он приказал шоферам поменяться местами. Эрвин жадно прислушивался к распоряжениям капитана: накачать шину, «опель» отвести обратно в «Фюрстенбергерхоф», а шофер Клемма поведет машину, в которой везут пленного. Ведь им так или иначе всем нужно в штаб в Новавес.

Эрвину очень хотелось рассмотреть двух офицеров, сидевших теперь за его спиной, справа и слева от капитана. Но он не мог повернуть голову, это было запрещено, и голова была у него точно налита свинцом. Поэтому он только коснулся на нового шофера, на его круглый бритый череп. Подбородок выдавался больше, чем нос. Это был последний чужой подбородок, который Эрвин видел в своей жизни. Он не вполне понял слова, сказанные Клеммом, зато понял их интонацию: нечего тянуть, надо покончить с ним тут же.

«В машине они меня едва ли застрелят,— подумал Эрвин.— Скоро, сейчас они заставят меня сойти. Они, наверно, прикончат меня в некотором отдалении от машины, чтобы не нажить себе неприятностей». Эрвин сделал самое большое усилие в своей жизни — он выбросил ненужный балласт нелепых надежд и бесполезных воспоминаний: о Мартине, который был ему на земле другом и братом и, может быть, в эту минуту думал о нем,— ненужный балласт, прочь его! О девушке, с которой он проводил последние воскресные вечера: хорошая девушка, девушка на всю жизнь — ненужный балласт, прочь его!.. Теперь никакого балласта уже не оставалось. Он мог теперь встать во весь рост, он мог стоять перед ними так, словно стоял перед всем народом. Для него теперь все кончено. У жизни ничего больше не осталось для него, и в нем ничего больше не осталось для жизни. Но у нее останутся эти березы, сосны, облака, этот большой город за лесом, останутся пяте-

ро мужчин, которые здесь убьют его. Они проедут вместо него дальше. Они проедут вместо него обратно в город. Они проедут мимо того места, где его ждал Мартин. Они будут вестниками его смерти.

Опять заскрежетали тормоза. Шофер буркнул:

— Вылезай!

Конвойный вытолкнул Эрвина и поддал сзади коленом, так что оба они почти одновременно вывалились из машины. Затем солдат, снова толкнув его, заставил пересечь дорогу и войти в прозрачный сосновый лесок. В сознании Эрвина в последний раз прозвучало, как эхо, слово «кончайте». Офицеры шли за ним следом, скользя по сосновым иглам, точно на коньках, и смеялись. Эрвин подумал: теперь я могу посмотреть, какие они. Он остановился так внезапно, что конвойный чуть не упал. Эрвин повернулся прямо лицом к своим трем спутникам, однако не мог разглядеть их: земной свет уже меркнул для него. Он крикнул или ему показалось, что крикнул, так как голос его был слаб:

— Сейчас вы можете покончить со мной! Но погодите, придет и ваш черед!

Эрвин упал: пуля пробила ему голову. По приказу капитана стрелял лейтенант, тот, что помоложе. Конвойный заметил:

Он чуть было не ушел у меня.

Капитан сказал:

Зарыть поживей.

Позвали шофера. Он сразу же выскочил из машины, в которой дожидался один. Убитого отнесли в ложбину между двумя песчаными пригорками, покопались там, засыпали могилу иглами и песком, так как настоящей земли не было. Шофер сбегал на дорогу и притащил для прочности несколько камней.

Три офицера опять сели в машину, как и раньше,— Вацлов посередине, Венцлов и Линен по бокам. У Венцлова, того, который стрелял, слегка подергивались скулы. У него было очень молодое длинное лицо с прозрачной кожей, длинными были и нос, и руки, и ноги. С тех пор как Венцлов прямо из кадетского корпуса попал на фронт, он уже много раз стрелял и убивал. Но что в этом последнем выстреле, сделанном по приказу, здесь, у себя, на родной земле, и направленном в отдельного человека на той же родной земле, есть что-то не совсем обычное — вот это не приняло ему в голову, и раздумывать над этим он не стал.

Только скулы его еще слегка подергивались под прозрачной, словно слишком натянутой кожей. Ливен, сидевший справа от Клемма, неподвижно смотрел в ту сторону, где осталась могила. Он сказал:

— Видите вон там несколько берез среди сосен? В солнечном свете кажется, что это снег. У нас дома, в Прибалтике, целые березовые леса.

Клемм сказал своему шоферу:

— Без десяти одиннадцать, Бекер. Мы все-таки поспеем на заседание.

Уже по обе стороны дороги замелькали отдельные дома, казавшиеся такими веселыми и опрятными среди по-зимнему нагих, но прибранных садов. Когда офицеры подъезжали к Новавесу, Клемм подумал о том, что ему, может быть, скоро удастся побывать дома. Увидеть сына, который недавно родился. Не прихватить ли с собой своего друга Ливена, или шурина Венцлова, или обоих, или, еще лучше, ни того, ни другого? Конечно, его повезет Бекер. Парень был у него раньше денщиком, затем шофером и с самого начала войны не расставался с ним.

II

Мария сорвала с постели простыни. Луиза, завивавшаяся перед умывальником, в зеркальце наблюдала за подругой. Она сказала:

— Да еще и недели нет, как постелили чистые.

Мария ничего не ответила. Она связала грязное белье и засунула узел в мешок, предназначенный для этой цели и висевший на гвозде возле кровати. Луиза с обеих сторон осмотрела в зеркало завивку и весь свой наряд. Она сказала:

— Не видел, что ли, твой Эрвин испачканного белья? Если желаешь красоту наводить, можешь сама все это стирать.

Не очень густая распустившаяся коса, голые худенькие руки и узкая нижняя юбка придавали Марии вид школьницы. Она и ответила, как школьница:

— Завтра же утром я перед работой все перестираю своим мылом. Если завтра опять будет солнце, так я вечером и поглажу.

Луиза поправила фетровую шляпу, украшенную бархатной лентой, и, пританцовывая, направилась к двери.

— Видишь, какая я добрая, опять сматываюсь. Неужели твоему молодому человеку не хочется повести тебя куда нибудь и угостить?

— А для чего? У нас же тихо. Нигде не может быть так хорошо, как тут.

— Когда в первый раз обнимаешься, всегда воображаешь, будто открыла что-то необыкновенное. Передай от меня сердечный привет своему мальчику. До свидания, детка.

Мария тут же стала мыться. Затем надела платье в полоску, которое берегла от воскресенья к воскресенью. Платье было летнее, и она озябла. Она расчесала волосы и заплела косу. Косу она сложила узлом. Мария не смотрелась в зеркало: по ее мнению, все, что тщательно вычищено и отглажено, само собой будет хорошо. И в комнате сейчас хорошо оттого, что все в ней прибрано. Пучок лучинок уже засунут в железную печурку. Когда Эрвин придет, он сам разожжет их и положит брикеты. Она накрыла тканевым одеялом постель, на которой обычно спала с Луизой. Обе служили в «Якоре» и снимали комнату в том же доме, где находилась пивная. Теперь осталось только водворить на место кое-какие мелочи: подушечку для игольниц, мочалицу, несколько открыток и фотокарточек — эти вещи прислала Луиза. У Марии никогда не было никого, кто мог бы посылать ей открытки. Луиза уже больше двух лет жила здесь и служила у хозяина той же пивной, куда тетка устроила потом Марию. И Мария тоже стала подниматься каждый вечер сюда, на верхотуру, смертельно усталая. Свое жалованье и скудные чаевые она регулярно отсылала матери в Пелльворм. Скандалы и драки в пивной, кавалеры Луизы и шашни хозяйки занимали ее не больше, чем какие нибудь дурные сны.

Мария высунулась из окна как можно дальше, хотя отлично знала, что улица отсюда не видна — только деревья и крыши. Городок ютился под боком у Берлина, напоминая скорее убогое предместье. Равнина с правильными прямоугольниками пашен, с пятнами рощ, похожими на облака, и поблескивающими кое-где озерами, которые точно стекли с вечернего неба, была гладкой и тихой, как море у нее на родине. И Марии казалось, что она только потому не видит свой родной Пелльворм, что глаза ее недостаточно зорки. Не то она разглядела бы и пароход, и весь скот на плотине, и каждый кирпичик, и лица соседей

и ребят, бегущих в школу. Где-то внизу, в одной из узеньких улочек, вспыхнул огонек. Мария закрыла глаза. Только по этим вспыхивавшим огням она поняла, который час. Часов у нее не было. Часы были у Луизы.

Мария закрыла окно, от этого в комнате не стало теплее. Она прислушалась к звукам на лестнице: сейчас ее друг должен прийти. Ей было и жутко и радостно. Небо еще не потемнело. А внизу стали зажигаться огни. Друг должен быть здесь с минуты на минуту. Он твердо обещал, что придет. Три раза обещал он прийти и три раза приходил. Вечерний свет освещал ее лицо и волосы... Внизу стукнула парадная дверь, и кто-то затопал по лестнице, но дошел только до второго этажа. Потом еще кто-то начал подниматься — все выше и выше. Мария чуть побледнела; шаги приблизились и замерли у соседней двери. Раздался смех, захлопали в ладоши.

Смеркалось. Внизу зажглись уже все огни, а в небе — звезды. В первый раз Марии пришла в голову мысль, что ее друг может опоздать. Она впервые окинула взглядом комнату, в которой была одна со своим ожиданием. Комната казалась голой, ничто в ней не могло ни скрасить ожидание, ни сократить его, убогие гирлянды на обоях не были похожи на зеленый лужок. Мария думала о любимом — не о том, как он будет выглядеть, если все-таки придет, а о том, каким он был раньше, был всегда.

Однажды она вместе с Луизой подавала в «Якоре» пиво и буженину. Елка уже стояла в углу, осыпаясь и чуть поблескивая. Вошли двое мужчин. Один молодой, крепкий, светловолосый, другой тоже молодой, но немного постарше; ей бросилась в глаза не его молодость, а почти сросшиеся брови. Он не был ни рослым, ни сильным, а маленьким и приземистым. Он снял шапку, и голова его оказалась наголо обритой и круглой, как кегельный шар. У более молодого светлые волосы спадали с макушки отдельными прядями. Мария смахнула хвойные иглы со столика под елкой, за который эти двое уселись. Тот, что был помоложе, ваял ее за локоть. Потом он спросил, здесь ли она живет, словно угадал, что ей хочется услышать этот вопрос. И словно ее желание имело силу пригвоздить его к месту, он с товарищем остался сидеть за столиком и тогда, когда ушли остальные посетители и даже Луиза ушла. Наконец «Якорь» заперли, и молодой простился со своим другом. Долго стояли они потом с Марией в рыхлом, раз-

мытом дождем снегу. И чувство у нее было такое, точно они не сегодня только познакомились, а наконец-то встретились после долгой разлуки.

Он поднялся вместе с ней наверх. Луиза еще не спала; Марии не пришлось ее просить. Подруга тотчас с охотой оказала ту услугу, которую Мария оказывала ей не раз. Луиза встала с постели и ушла до утра на Шперберштрассе к своему знакомому, трамвайному кондуктору. Когда она утром вернулась, чтобы переодеться перед работой, то спросила: «Ну как, все в порядке?» Мария не поняла, что она имеет в виду. Только Луиза может быть такой глупой и воображать, что тут то же самое, что и у нее, когда она подкрасится и нарядится в розовую блузку. Нет, то, что произошло с ней, с Марией, не имело ничего общего с тем, о чем другие официантки сплетничали, шушукались и спорили. Она ответила: «В среду он опять придет». И когда Луиза сказала: «Надеюсь, он не забудет», это замечание показалось ей не злым и не насмешливым, а просто нелепым. В среду он пришел минута в минуту. Луиза опять доброду́шно предоставила в ее распоряжение комнату и постель. В следующую субботу он тоже явился, как обещал. Он остался на воскресенье и просидел у Марии, пока она не подчинилась и себе после работы. И на прошлой неделе он еще раз пришел, опять минута в минуту, и даже и в Шарлоттенбург, и прямо наверх. И оттого, что он сегодня не пришел, Мария вспомнила о том, как бывало раньше, когда он приходил. Его губы не улыбались, но легкой улыбки в глазах было достаточно, чтобы озарить худое лицо, и комнату, и прямоугольник вечернего неба. При этом в его глазах вспыхивали крошечные искорки, и он смотрел куда-то мимо нее, мимо постели и комода.

Мария заглянула в окно и тут же снова отвернулась, словно первые бледные морозные цветы на стеклах были непроницаемы, как лесная чаща! Смолк граммофон, непрерывно игравший внизу, в пивной, от ночной тишины ушам стало больнее, чем от шума. Еще какие-то мысли пронеслись у нее в голове, хотя сердце уже опустело. Может быть, ее друга задержало что-нибудь неотложное, может быть, работа, которую он искал...

Когда он обнимал ее, во всем наступало согласие. Теперь она заметила, до чего на свете все разрозненно и запутано. Согласие царило в мире лишь тогда, когда они лежали рядом. И только теперь она поняла, среди

какого беспорядка, среди какой путаницы она осталась одна.

Небо за окном так посветлело, что звезды едва мерцали. Первый петух пропел во дворе. Засвистел паровоз городской железной дороги. Мария приехала поездом, когда тетя Эмилия вызвала ее и устроила сюда. Можно было бы уехать обратно. Правда, родные рассердятся. И денег нет на дорогу. Да и не все ли равно, где жить? И сердце свое, хотя оно и камнем лежит в груди, никуда не кинешь.

Утро было сырое и прохладное. У Марии зуб на зуб не попадал. Она сняла праздничное платье и надела то, в котором ходила на работу. По лестнице взбежала Луиза, как всегда перепрыгивая через несколько ступенек. Ее шляпа была смята, розовая блузка тоже, и вся она выглядела какой-то потрепанной.

— Он уже ушел?

— Он не был.

— Да ты не огорчайся,— сказала Луиза и начала переодеваться,— моя бабушка всегда говорила: «Был один, будет другой — какая разница...»

III

Мартин долго раздумывал, сказать ли девушке о том, что случилось с его другом. Они вместе с Эрвином сидели в окопах. И это Мартин, как он впоследствии признался Эрвину, подсунул ему листовку. И даже в ту последнюю ночь они сражались бок о бок. Но бежать удалось только Мартину.

Мартин слишком хорошо знал Эрвина и не мог не заметить, что у этой нежданно встреченной им девушки Эрвин нашел нечто гораздо большее, чем пристанище, где можно скрыться от полиции. Эрвин упорно ничего не говорил ему, своему единственному другу, и это доказывало, что девушка ему нравится. Всякий раз, когда Мартин хвалил кого-нибудь, Эрвин качал головой: «Все это мне не подходит», причем Мартин видел, что его друг уже знает точно, какая именно девушка ему подходит. Когда Эрвин так и не явился на условленное место, Мартин сначала решил, что тот, может быть, опять скрывается у своей милой. Тщетно прождав друга, Мартин начал разузнавать, и до него наконец дошли слухи, что Эрвина увезли.

Как-то вечером в пивной «Райский уголок» он случайно узнал кое-что о его судьбе. Уборщица «Уголка», хорошая женщина, слышала разговор одного шофера с приятелем. Уже и раньше делались попытки выведать что-нибудь у этого шофера, который, как выяснилось, вел тогда машину с пленным. Более точные сведения были получены именно через уборщицу, которая все рассказала хозяйке пивной, своей родственнице.

Оказывается, шофер так и не довез Эрвина до Новавеса. Они нагнали офицерский автомобиль. Офицеры пересели в машину, где находились пленный и конвойный. А шофер остался чинить шину чужой машины. И он отлично слышал, как машина с офицерами, отъехав немного, затормозила, раздался выстрел, а потом она пошла дальше. При этом известии Мартин почувствовал мучительную, чисто физическую боль. Он не застонал, не выругался, сначала он даже не испытал настоящего горя. Он только ощутил совершенно ясно, где у него находится сердце — в определенной точке между ребрами. Отсутствующим взглядом смотрел он на толпу — в этот час пивная была полна разношерстными посетителями. До чего опустела жизнь! Как Эрвин мог покинуть его, оставить совсем одного? Затем у него мелькнула мысль, что следовало бы рассказать и поведать эту девушку, подругу Эрвина. Хотя Эрвин, в сущности, ничего определенного о ней не говорил. «Значит, он не делился со мной каждой своей мыслью, но и делился с ним,— подумал Мартин с горечью.— И в конце концов, если даже девушка и будет горевать, сам Эрвин уже покончил со всеми заботами. Он освободился от всех треволнений этого мира, которые неизменно угнетают смертных. Он умер за своих, за тех, ради которых боролся с той поры, как начал думать. Большего сделать никто не может». И ему, Мартину, не совершить ничего выше этого, прожив он хоть сотню лет. Эрвин теперь недосягаем и неприкосновенен.

IV

Тот же капитан фон Клемм, после слов которого «ну, кончайте» Эрвин убедился, что смерть неизбежна, приказал своему шоферу Густаву Бекеру привести в порядок его «опель» перед поездкой домой. У синенького «опеля»

накачали тогда шину и доставили его обратно в гостиницу. Доложив об этом, шофер вздумал было делиться своими впечатлениями об инциденте, происшедшем в пути, но Клемм остановил его — да, он припоминает. До сих пор у него не было повода возвращаться к этому случаю.

Клемм был в штатском. Он с непостижимой быстротой сшил себе два новых костюма. Несмотря на все его возражения, ему все-таки доказали, что в данный момент его место дома. Вступить во владение наследством — его прямая обязанность. Такие люди в Рейнской области сейчас необходимы. А въезд туда облегчается тем, что у него в оккупированной зоне жена и ребенок, а также фабрика, которой он должен руководить. Мысль о том, чтобы кузен продолжал замещать его, а он остался в отряде, единомышленники считали просто нелепой. Для отечества гораздо важнее, чтобы люди, подобные ему, стояли во главе большого предприятия, где в их руках власть и возможность оказывать влияние на тысячи рабочих, а также распоряжаться уймой денег, которые иначе могут попасть бог весть в чьи руки.

Бекер подал во двор гостиницы «опель» Клемма, и тот сел в машину. На Бекере было сборное, кое-как пригнанное обмундирование, состоявшее из штанов военного образца и новой куртки. Клемм в утешение пообещал ему, что в Висбадене он сейчас же получит шикарную белую шоферскую форму, которая теперь в моде.

Бекеру это обещание показалось весьма сомнительным, но он промолчал, ибо его хозяин уже несколько раз принимался разъяснять ему новый характер его службы, точно и подробно, как объясняет человек, когда ему самому не все ясно. Как ни священна фронтовая связь, там, в оккупированной зоне, им придется отметиться: «Господин фон Клемм с шофером».

Бекеру все это сначала казалось странным. Ведь он прошел со своим хозяином через всю Европу: с Западного фронта — в Галицию, и из Восточной Пруссии — на Балканы. Оба они одновременно были награждены Железным крестом первой степени после того, как в Аргоннах вдвоем удержали пулеметное гнездо. Он, Бекер, вынес Клемма из боя, когда тот был тяжело ранен. В другой раз, во Фландрии, они вырвались из окружения. В Софии Бекер по желанию Клемма научился водить машину. Клемм был тогда членом Балканской комиссии. Это дава-

ло ему право иметь и денщика и шофера. Но и Клемм и Бекер всячески добивались, чтобы Бекер хотя бы временно совмещал обе эти должности. Затем их послали в Константинополь. После перемирия он, Бекер, благополучно доставил капитана в Берлин, промчав его через все эти балканские разбойничьи гнезда, через Содом и Гоморру, именуемую Австро-Венгрией. Не успели они проехать, как это государство развалилось. Однажды Клемм пригласил к себе в машину венгра, красного, поверившего, что они отвезут его на чешскую территорию, и они тогда с удовольствием сделали огромный крюк, чтобы доставить его в белую Венгрию. Затем, когда армия распалась и солдаты побежали домой, в растаявшем войске, как смерзшиеся вошь, появились добровольческие отряды — белая гвардия. Если сосчитать, сколько километров изъездил Бекер этой зимой со своим хозяином по Берлину, вышло бы, пожалуй, не меньше, чем когда они носились по всей Европе.

На прошлой неделе, в решающую ночь, Бекеру пришлось четыре раза возить Клемма с боевого участка в штаб и обратно; и тут его осенила удачная мысль — подменить автомобиль хозяина, приметы которого были хорошо известны красным, взяв на время чужую машину, хотя бы из какого-нибудь американского консульства.

Когда Шарлоттенбург остался позади, они обменялись впечатлениями: выходило так, в городе стало тихо. Уже ни по одной улице не струился неустанный, как кровь, людской поток, не видно ни одного выкрика, ни одного обезумевшего лица. И содранных плакатов, еще висевших на стенах, уже никто не читал.

Главное ликвидировано,— сказал Клемм.

И Либкнехт и эта Роза,— сказал Бекер.

Капитан подтянул колени. Сначала Бекер решил, что он спит, но затем увидел в зеркальце дым сигареты, которую его господин медленно докуривал. А Клемм сквозь дремоту представлял себе, как обрадовался бы его возвращению отец, будь он еще жив. Разве не странно, что умершие всегда бывают правы, хотя их предсказания сбываются не сразу? Когда Клемм был ребенком, он мечтал о карьере военного. Он умолял отца отдать его в кадетский корпус, но старик остался непреклонен. Пусть, как все другие мальчики — сыновья окрестных помещиков-виноделов, и все эти Хенкели и Опели,— поступает в какое-ни-

будь солидное реальное училище в Майнце или Висбадене. Гимназия — это лишнее. Пусть кончает ту школу, которую сейчас принято кончать в их кругу. А если тем временем отец раздобудет для него приставку «фон», то потом никто не спросит, состряпана она в дыму сражения или в фабричном дыму Амёнебурга. Согласие между сыном и отцом установилось с начала войны, когда сын, сдав ускоренные выпускные экзамены, был зачислен в полк в чине прапорщика. И совесть молодого Клемма успокоилась, когда он многочисленными ранениями подкрепил приобретенное за деньги дворянство. Но один раз у него со стариком все-таки вышел скандал. Отец считал, что сын только из ложного чувства чести решил непременно жениться на Леноре фон Венцлов, которая ухаживала за ним в полевом госпитале. Как будто мало по соседству хорошеньких девушек — например, племянница банкира Шрёдера или дочка Класса? Все же старик постепенно привык к невестке, хотя ему казалось, что она слишком чопорна и скучна для его сына. Он умер, вполне примирившись с ней,— она успела подарить ему внука, который появился на свет после того, как Клемм во время командировки с Западного фронта на Балканы заезжал домой.

Клемму больше хотелось увидеть ребенка, чем жену. Отец умер, и причина для всяких трений исчезла. Итак, мир, говорил он себе. Итак, я женат; посмотрим, какую жену я себе раздобыл на войне.

Бекер вел машину осторожно, как обычно, когда его капитан спал. Они ехали всю ночь, чтобы утром быть у демаркационной линии; время от времени Клемм приказывал остановиться перед привокзальным ресторанчиком. Они вместе садились за столик и пропускали по рюмке. Эти минуты совместного отдыха — и во время войны и во время мира — вознаграждали Бекера за дни самой бешеной гонки. Клемм же, у которого изредка вырывались несвязные фразы, выдававшие ход его мыслей, казалось, вовсе не замечал своего шофера. Капитан говорил, видимо обращаясь к самому себе или к какому-то второму «я»:

— В полевом госпитале, между двумя операциями...

— Так точно, господин капитан,— отвечал Бекер.

— Вся палата была как будто в тумане. Я даже не узнал ее личика под большим белым чепцом, но я чувст-

понял. Лепора сейчас подойдет. Вот уж действительно спутал любовь! Я прикоснуться к ней не мог, настолько я был слаб.

Так точно, господин капитан.

Пожалуйста, отвыкай называть меня капитаном. Мы ведь едем к французам.

А когда они ехали дальше, Клемм констатировал:

Тут одним пулеметом можно все местечко удержать.

Между Берлином и Франкфуртом вся земля казалась огненной. Этот фантастический вид ей придавал пожар заводов Лейна. Бекер не совсем понял объяснения Клемма относительно искусственного азота. Но ему было приятно слышать голос хозяина и приятно сознавать, что в немцах так силен дух изобретательства. Мысли Клемма совершили еще один скачок:

А все таки хорошо, что мы едем домой!

И Бекер сказал:

Так точно, господин фон Клемм.

Каждое «мы» он относил к капитану и к себе. Прошло большие часы, прежде чем пожар померк: безлунная ночь слепо затянула его пеплом. Сквозь дремоту Клемм подумал словами отца: «Такому предприятию, как наше, начальник нужен не меньше, чем дивизии». Первую половину пути он еще оценивал местность и людей с точки зрения военного; после Мерзебурга он уже начал смотреть на дороги и деревни глазами человека, который хочет здесь обосноваться. До Гиссена он крепко спал. Они миновали утренний Франкфурт, который, несмотря на суровый январь, казался зеленым и светлым. Перед Хёхстом Клемм дал своему шоферу некоторые указания. Сейчас они окажутся в зоне французской оккупации. Поэтому — язык держать за зубами. Ничем не выделяться, чтобы чиновникам и в голову не пришло прощупать их. Ни намека на то, чем мы занимались весь год. Как можно скорее добраться до места. Возможно, на границе, как обычно, стоят сенегальцы. Когда черномазый потребует паспорт, сохранять такое же хладнокровие, как будто перед тобой негр из шоколада.

В Хёхст-Грисгейме они остановились перед гостиницей, как было условлено. Там их ждал Эрбенбек, коротышка в пенсне, поверенный фирмы; он привез разрешение на переход границы для Клемма и шофера с машиной.

Клемм пробурчал:

— И все это, чтобы переехать из одного немецкого города в другой.

— Войну-то проиграли, милый господин фон Клемм.

— А мы этого что-то не заметили, а, Бекер? Например, в Аргоннском лесу?

— Нет, не заметили,— сказал Бекер.— Французы, которые тут нос задирают, там улепетывали как зайцы.

Эрбенбек пощипал себе усики. Он подумал: «Вот, оказывается, куда ветер дует. Тоже хорошо. Сразу же будем на это и ориентироваться».

На границе их остановил не сенегалец, а худой белокурый француз. Эрбенбек переводил довольно бегло. Они промчались мимо нескольких деревень на правом берегу Рейна. В насыщенном дождем воздухе четкие силуэты холмов Таунуса, казалось, приблизились. Трехцветные французские флаги, торчавшие повсюду на крышах и башнях, представлялись Бекеру печатью, которую накладывает судебный исполнитель на конфискованное имущество. Ведь они с капитаном кровь проливали, а теперь жулики и трусы, которые хозяйничают у нас в стране, впустили к нам жуликов из чужой страны. Однако он молчал, так как крепко запомнил приказ Клемма.

На левом берегу Рейна, в Майнце, трехцветные флаги развевались на здании, которое было раньше замком великого герцога. В этом городе Клемм ходил в школу. Он играл с товарищами на лугу перед этим мостом. Здесь он чуть не отхватил себе палец, срезая сережки с ивы. А в этом месте они и сейчас задели ветки каштанов, как тогда, когда он проезжал мимо них с отцом. На повороте шофер увидел патруль. Вот оно, это черное позорище!

Проехав полпути, они ссадили Эрбенбека перед его маленькой виллой в стиле рыцарских замков: с башенками и гипсовыми гномами. На нетерпеливые вопросы, которыми его забросала жена, Эрбенбек ответил:

— Вылитый отец. Кажется, настроен очень националистически.

А жена заметила:

— Тогда смотри не очень-то поддерживай эти твои французские знакомства.

Эрбенбек тут же поспешил согласиться с ней и пояснил:

Конечно, только деловые, да и Клемм едва ли будет возражать против выполнения заказа на лаки для фирмы «Армон».

Когда они въехали в Эльтвиль, Бекер с любопытством принялся рассматривать цветущие кусты и старые сонные деревенские дома. А Клемму казалось — как всем, кто возвращается домой,— что не он узнает родные места, а они узнают его. И лодочная пристань, и островок — прошло слишком много времени, и распахнутые ворота в сад узнали его еще до того, как он сказал себе: «Итак, я дома». Ворота образовывали вершину острого угла, которым кончался неправильной формы сад. Выцветший герб не имел никакого отношения к семейству Клеммов. Некогда это поместье здесь давно забытый владелец. Купив усадьбу, Клеммы все тут переделали по-своему. Клемм приказал дернуть колокольчик. Как и прежде, звон раздался только после того, как он подергал несколько раз.

Молодая хозяйка, обгоняя горничную, выбежала встречать его. Она бурно кинулась мужу на шею и прижалась к нему. Он растерялся, но скрыл свое смущение и начал успокаивать ее, точно взволнованного ребенка, тихонько поглаживая по голове. Она постепенно затихла и молча стояла рядом с ним. Как все-таки давно он знает ее! На фронте время проносится вихрем, оттого что его совсем не замечаешь. Однажды в темном закоулке госпиталя она порывисто его обняла и стала осыпать поцелуями. Это было так неожиданно, точно перед ним вдруг вспыхнул яркий свет. Когда он наблюдал жену впоследствии, ее настроение проявлялось обычно лишь в том, что серые глаза ее темнели или светлели и в зависимости от этого становились черными или голубыми. Шоферу гораздо больше понравились карие, блестящие и круглые, как вишни, глаза горничной, вносившей вещи из машины. Клемм приказал отнести Бекеру хорошую комнату и подать ему черного пива. Это обрадовало Бекера: после такого распоряжения всем в доме сразу станет ясно, насколько его ценит хозяин.

А куда же ты теперь денешь своего прежнего шофера? спросила жена, когда они вошли в детскую.

Прежний шофер, Альфонс, служил у Клеммов сначала кучером. А потом, когда обеих лошадок уже стали кормить из милости, он ходил за ними все так же тщательно, не хуже, чем за «опелем», который с немалым трудом на-

учился водить. В последнее время он охотнее всего возил молодую госпожу фон Клемм, так как заметил, в какой восторг ее приводит непривычная езда в автомобиле. Иногда она снисходила до болтовни с ним и рассказывала, что ей очень хотелось бы покатать тетю Амалию, живущую в Потсдаме старую деву, которая заменила ей и ее брату мать. Но у тетки нет денег даже на дорогу из Потсдама в Рейнскую область, а взять у племянницы... «Вы плохо знаете тетю Амалию!» Однако шофер Альфонс многое мог себе представить — даже старую тетку-гордячку.

— Что ж, будем кормить из милости,— ответил Клемм на вопрос Леноры, имея при этом в виду Альфонса, а не лошадок: тех уже давно не было на свете.

— А жить он будет по-прежнему в доме?

— Зачем? Получит стандартный домик в нашем новом рабочем поселке.

Ленора сама не знала, что ее огорчило. Она взяла из рук мужа погремушку и положила в колыбель. Это была старинная колыбель с деревянной резьбой, единственное чужеродное тело в белоснежной детской. Здесь, наверху, Ленора охотно надевала халат и чепчик сестры милосердия, и от этого знакомого убора на Клемма повеяло прошлым. Он рассказал, чем обязан Бекеру и как тот спас ему жизнь в Аргоннах, рассказал, с каким риском они ехали с Балкан домой через бесчисленные границы, рассказал об их недавней жизни в Берлине.

— Какой у него смешной подбородок,— сказал он про малыша.

Жена умолчала о том, что он похож на дедушку Венцлова, которого в офицерском собрании прозвали Щелкунчиком. Но Клемм и сам потом вспомнил, что такой же подбородок у шурина. Жена спросила:

— А почему Фриц с тобой не приехал?

— Неужели ты думаешь, Фриц сейчас может уехать из Берлина? Правда, там состряпали так называемую республику, но нельзя расстреливать спартаковцев на улицах и вместе с тем терпеть их в исполнительных комитетах. Вот и пригодились опять военные, с которых еще вчера погоны срывали. Опять за нами прибежали, у самих духу не хватает. Министрам социал-демократам, которые сейчас просиживают тронные кресла, ни за что со смутьянами не справиться. Выпустить социалиста против независимца — все равно что охотиться на волка с собакой

волчьей породы. Красное отребье взбаламутило весь город, а из казарм на Шоссештрассе никто даже не рискнул стрелять в бунтовщиков: один лейтенант пригрозил было револьвером, так потом насилу выкрутился. На днях наши взяли манеж, и красные молодчики наконец все-таки попались нам. Но тогда один из бонз потребовал, чтобы непременно были допросы, очные ставки, суд — словом, всякие церемонии. Одного спартаковца мы сами перехватили по пути и, чтобы не сбежал, прикончили.

Молодая женщина слушала молча, цвет ее глаз время от времени менялся, как будто слова мужа были из твердого вещества и отбрасывали тень.

А внизу, в кухне, Бекер рассказывал о том же. Его слушателями были: горничная, ее помощница — невысокая девушка с толстой косой, кухарка, муж кухарки, он же садовник. Перед шофером стояли ветчина и яйца. Да, в этом доме не скаредничают, тут Бекера ценят, собственная семья в Вестфалии никогда его так не ценила. Его слушают с волнением. А вообще здесь, на Рейне, теперь стало довольно спокойно.

В кухню вошел низенький сморщенный человечек; он отодвинул поданную ему тарелку, завернул яйца в газету.

— Вы, наверно, и есть новый шофер? — сказал он Бекеру.— А я вот — старый.

Затем он рассказал, что уедет в Бинген и там будет жить у сестры. Ведь ему, видимо, будут выплачивать что-то вроде карманных денег, какую-то пенсию, а деньги сестре очень пригодятся. Спокойной ночи всем. И он исчез. Все подивились такому холодному прощанию — это после двадцати-то лет! Принялись сравнивать старого барина с молодым. Бекер заявил, что не имел удовольствия знать господина фон Клемма-старшего, но ему трудно себе представить, чтобы был на свете человек, который мог бы сравниться с его господином.

Уволенный шофер вышел через калитку к Рейну.

Ленора обычно в эти часы сидела здесь на скамейке — летом и зимой — и смотрела на пароходы и баржи. Даже сегодня вечером она убежала сюда из дому, чтобы хоть несколько минут побыть одной. Сейчас глаза у нее были серые, как река. Когда Альфонс с нелепой в его положении торжественностью приподнял фуражку и пожелал ей счастья в дальнейшей жизни, она слегка побледнела. Она

сняла с шеи гранатовый крестик, память матери. Пусть он отдаст крестик своей сестре в Бингене. Лепоре хотелось подарить ему что-нибудь принадлежащее лично ей. Старичок обрадовался, что приедет домой не с пустыми руками. Он засеменил к перевозу; на том берегу он сел в поезд. Молодая женщина печально смотрела ему вслед, словно у нее была невесть какая причина для печали.

V

Конвойный, который должен был проводить Эрвина на допрос, а проводил под пулю и потом помог зарыть тело, стоял на посту у ворот казармы на Шоссештрассе. Его отряд остался в Берлине и занимал теперь бывшие пехотные казармы. Скучно тянулось воскресное утро. Перед часовым была привычная картина — играющие дети, дверь молочной, которая то и дело хлопала. Надлер принюхался. Сегодня в сонном городском воздухе не чувствовалось никакой тревоги и не пахло никакими демонстрациями, манифестациями или хотя бы бунтарскими похоронами. Даже на похороны этого Либкнехта явилось меньше красных, чем боялись. «Кажется, эти бандиты наконец поджали хвосты,— размышлял Надлер.— Видно, решили, что, если, дескать, мы не придем, Карл Либкнехт от этого мертвее не будет. Розу-то они еще не нашли. Говорят, ее в воду бросили, верно, пошла ко дну».

От главной заразы город уже очистили. Хорошо бы и дома с ней покончить! Жена прислала ему письмо, она зла как черт. Корит его тем, что он до сих пор не вернулся. А до дому рукой подать, нет и трех часов езды: их деревня на берегу Швиловзее. Хозяйство, мол, идет прахом. Уже все соседи давно вернулись, только он, видно, спятил, все вояку из себя разыгрывает, прямо прилип к своему ружью. Эта баба, видно, накопила в себе бешеную злобу — вон какое письмище накатала, длиннее, чем все письма на фронт, вместе взятые. Ей опять пришлось сдать в аренду участок. Пусть не воображает, будто младший брат Христиан способен его заменить. Да среди соседей найдется не один парень на деревяшке, который во сто раз лучше может работать, чем Христиан с его развороченным бедром: ведь он чуть не при каждом шаге должен сначала ногу вбок заносить. А денег от арендатора хватает, толь-

го чтобы уплачивать налоги. Вот если бы у нее было две коровы, которые ей нужны до зарезу, так пошел бы под клевер и сданный в аренду участок.

Когда стоишь на часах, противнее всего, что от безделья мысли одолевают. А возвращаться домой все-таки придется. Но его нисколько туда не тянет: ни к жене, хотя она еще очень недурна, ни к ребятишкам, и уж, конечно, меньше всего его тянет на пашню. Жуть берет от одного воспоминания о его мужицкой жизни до войны. Пусть уж простреленный братец как-нибудь сам справляется с хозяйством, пока Надлер Вильгельм здесь нужен. Что сказал вчера его начальник, капитан Дегенхардт, когда Надлер, одурев в первую минуту от письма, стал нащупывать почву относительно увольнения? «Ты обязан внушить своей бабе, Надлер, что империя важнее ее картошки. Ты тут показал себя молодцом. А если у нас теперь с этим Версальским диктатом все полетит к чертям, такие люди, как ты, нам будут особенно нужны. Тогда наши отряды окажутся последней опорой империи. Ты же видишь, без нас все идет кувырком». И он, Надлер, будет чувствовать себя, как боевой конь, которого запрягли в плуг, а он привык скакать впереди роты. Некоторое время он, может быть, и будет тянуть, но, едва заслышав звуки трубы, рванется прочь.

Надлер вытянулся. Из казармы вышел капитан с двумя лейтенантами. Когда и где он видел того, справа? Эту пружинящую походку, эту особую лихость и ловкость? Хотя, конечно, с его Дегенхардтом никто в мире не сравнится! Вот когда, вспомнил Надлер: в ночь после боя, когда ему приказали доставить одного пленного в Новавес. Этот офицер один из трех, ехавших тогда в машине, у которой лопнула шина, Надлер доложил потом своему начальству, почему так и не сдал пленного куда следовало. Да, горячие были деньки! А теперь совсем нечего делать: стой да раздумывай над дурацкими каракулями жены. Может быть, он кое-как утихомирит ее, выхлопотав освобождение от налогов — право всех участвовавших в войне. Тогда ей уж не нужно будет возиться с арендаторами, а потом отдавать все деньги за аренду государству, и клевер он посеет на две коровы. Капитан Дегенхардт своих солдат выслушивает, и у него, наверно, немало приятелей; он знает, к кому именно надо обратиться, чтобы провер-

нуть это дело насчет налогов. А жена пусть еще помучается с его братцем Христианом. Просто жуть берет, когда подумаешь, что надо домой.

VI

Венцлов, тот самый офицер, который по приказу Клемма застрелил пленного, отправился вместе с Ливеном навестить тетю Амалию, незамужнюю сестру отца, убитого в эту войну. Тетка заменила им рано умершую мать — ему и сестре, Леноре, теперь жене Клемма. Она сама хозяйничала в саду и в доме, чтобы каждой пфеннинг скудной пенсии шел только на воспитание детей. Отец был вынужден очень рано выйти в отставку — как он уверял, в результате всяких интриг. Своей ипохондрией и неудержимой потребностью командовать он отравил юность детей. Тетя Амалия тоже истязала их своей манией чистоты и порядка, но теперь Венцлов понимал, почему каждый нечищенный башмак, каждая разбитая тарелка, каждый потерянный платок причиняли тетке нравственные страдания, казались злостным покушением на благополучие и престиж семьи, и без того находившиеся под угрозой. «Если мирный договор будет подписан, если армию распустят, что будет со мной, что будет с ней? — размышлял Венцлов.— Она дала мне возможность избрать карьеру, которая уже триста лет является привилегией нашего рода. Она сохранила мне родной дом...» После бродячей солдатской жизни Венцлов особенно дорожил двухэтажным домиком на Шарнхорстштрассе, построенным больше ста лет назад и представлявшим собой невообразимую смесь классики и барокко. Отчаянных усилий тети Амалии все же не хватило на то, чтобы спасти его от разрушений, придававших фасаду и садику перед ним неуловимый налет грусти и бедности. Только очутившись перед подъездом, Венцлов задал себе вопрос, чего ради он пригласил Ливена провести с ним воскресенье в Потсдаме? После всего пережитого вместе они не то что подружились, но все же сблизились. Кроме того, Венцлов знал, что Ливен — друг его зятя, а Ливен — что Венцлов шурин его друга. Венцлов испытывал бессознательную зависть к Клемму. Клемм всегда и всюду умел быть блестящим и обаятельным, душою общества и гораздо больше дорожил дружбой Ливена, чем

Венцлова, которого только терпел. Венцлов никогда не задумывался над тем, что за человек Ливен. Тот просто значился у него под рубрикой «друг моего зятя Клемма». И, только услышав шаги тети Амалии, спускавшейся по внутренней лестнице, он понял, насколько Ливен здесь не к месту. А Ливен тем временем был занят рассматриванием облупленных, потрескавшихся кариатид справа и слева от входа. Он сравнил этих дев, сильно поврежденных дождями, с тетей Амалией, которой был тут же представлен и у которой поцеловал ручку. Ее бюст сильно напоминал гладильную доску. «Наверно, кариатиды единственные существа женского пола, чьи нагие груди здесь доведется увидеть»,— подумал он. Длинную шею тети Амалии закрывал высоченный стоячий воротничок, подпиравший ушные мочки. А Венцлов констатировал, что скрученные узелком волосы тетки из белокурых, какими он их помнил с детства, стали бесспорно седыми. При этом он нечаянно встретился глазами с теткой, которая украдкой наслаждалась созерцанием племянника, ибо гордилась им, как собственным сыном.

За обедом Ливен, скрывая свою насмешливость за обычным церемониалом застольной беседы, вежливо отвечал на вежливые вопросы тети Амалии. Да, разумеется, он из тех самых Ливенов, у которых было поместье под Ригой. Теперь это поместье принадлежит, вернее, принадлежало его двоюродному брату. Ведь большевики сразу же все себе забрали, и немцам придется все отбирать обратно. В довершение, говорят, там расселись какие-то мелкие людишки, о которых раньше никто и понятия не имел. А чтобы вмешаться, сударыня, нужно по крайней мере знать, для кого стараешься. Господа англичане, разумеется, не за большевиков. Мы же, немцы, оказались врагами англичан. И вот они выдумали лилипутское государство. И окрестили его Латвией.

Он вытряхнул всю солонку себе на салат. Это тетке не понравилось, и глаза гостя ей тоже не понравились. Хотя они были голубые, но раскосые, и потом — что за странный выговор, певучий и резкий? А он небрежно ковырял вилкой ее «фальшивого зайца». «Я все могу вынести,— думал Ливен,— голод, самые дикие кутежи, но такую жратву я проглотить не в силах». Тетя Амалия несколько примирилась с ним, когда он похвалил ее фарфор, который

был такой же старый, как и гравюры Ходовецкого, висевшие над диваном.

Ливен думал: «Неужели этой скуке не будет конца?» Но когда после обеда они отправились в гости к соседям, он ожил и разговорился — больше чтобы подбодрить себя, чем других. Все уселись на превращенном в зимний сад балконе вокруг еще не оправившегося от ранения хозяина дома господина фон Мальцана. Жена майора, дочка — подросток с длинной косой, Венцлов, тетя Амалия — все внимали гостю затаив дыхание.

Даже Венцлов ни разу не слышал, чтобы Ливен повествовал так вдохновенно. Правда, обитатели этого дома слышали много рассказов о войне, но побег Ливена из лагеря (он был в начале войны интернирован в Петербурге) вдоль Балтийского побережья в Финляндию, прямо через территорию большевиков, произошел на том участке фронта, о котором здесь мало что было известно. А теперь они, сидя на собственном балконе, слушали о том, что, несмотря на сообщения газет, считали почти невероятным,— о всех этих ужасах, совершенных чернью, о сожженных усадьбах и повешенных помещиках.

«Завтра я непременно уеду домой»,— думал Ливен. И он был рад, когда отсидев еще вечерний чай, наконец, очутился в постели. Ничего не осталось после этого тусклого, пресного дня, кроме теней от голых веток в ночном окне. Постель была жесткая, хотя его поместили в бывшей девичьей комнате Леноры. Да, ей, верно, было тут невесело! Должно быть, ей сейчас живется лучше.

Он пытался представить себе, какая она может быть, эта Лепора, когда в дверь торопливо постучали. И вошедший Венцлов сейчас же присел на край кровати — к негодованию Ливена, не выносившего подобной фамильярности.

Венцлов сказал взволнованно:

— Я только что прочел. Напечатано в газете. Тело откопали. Под Новавесом, при починке дороги.

— Ну и что же? Отправят в крематорий, а потом на кладбище.

— А если выяснится, что это мы, и нас будут допрашивать?

— Мы вынуждены были стрелять в него при попытке к бегству,— сказал Ливен,— если кому-нибудь взбредет в голову спросить именно нас. Но я не могу себе предста-

вить, как это может кому-нибудь прийти в голову.— При этом он подумал: «Хоть бы он поскорее встал с моей кровати. Не выношу, даже когда женщина садится ко мне на кровать, когда на мое лицо смотрят сверху вниз».

— Но ведь сразу же можно установить,— сказал Венцлов,— что стреляли не в спину, а спереди, в упор, прямо в голову.

— Значит, он в это время обернулся, и мы настигли его.

— Мы? Почему мы? Ведь прежде всего постараются установить личность того, чей выстрел оказался смертельным. Мне кажется, такова процедура следствия.

«Как быстро он все это сообразил,— насмешливо подумал Ливен.— Кто же, собственно, стрелял? Ведь было действительно несколько человек... Шофер? Конвойный? Клемм? Я сам? Кажется, действительно Венцлов. Он, дуралей, тоже так думает и ломает себе голову, как ему быть». Ливен положил руку на руку Венцлова:

— Заявим, что мы все причастны к этому и все выстрелили одновременно. А подробностей никто не помнит. Я, например, сейчас уже не помню.

— Но ведь у него на лбу одна-единственная рана. А ведь тогда будут искать следы других пуль.

— Ну, их они нескоро найдут. Успокойтесь. Вы, видимо, в таких делах еще младенец.

— Да ведь сейчас везде сидят эти новоиспеченные бонзы! Каждый депутат сует свой нос, куда ему заблагорассудится. Независимцы рады, когда им удается поднять шум.

— Прошу вас, поставим на этом точку. Им никак не удается навести порядок в своей собственной республике, и они зовут нас на помощь. Мы помогаем им хорошенько вычистить столицу, а они будут плакать о том дерьме, которое мы вышвырнули? Бросьте, Венцлов, все это вы просто выдумали. Идите-ка ложитесь спать.

Ливен подумал: «Слава богу, удалось выставить его из комнаты!» Он закурил сигарету, как обычно перед сном. В бледном свете фонаря шевелились тени ветвей. «Что там насочинил этот Венцлов? Такое судебное дело невозможно!» В скольких постелях спал он, Ливен, за последние годы?

Крошечной точкой светилась искорка сигареты — другого, собственного света Ливен не имел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Ливена разбудил не бледный свет фонаря за венцловской шторой и не беспокойная игра теней от качающихся веток. Правда, в его сновидении тетя Амалия подошла к его кровати так близко, что Ливен с тихим отчаянием подумал: «Только бы эта отвратительная карга не села на мою кровать!» И еще нерешительно мялся у двери бедняга Венцлов, которого вздорная газетная заметка лишила сна. Ливен приподнялся: сначала он был удивлен, почему это Венцлов заговорил с ним по-русски. Затем понял, что разбудил его денщик капитана Кожевникова. Может быть, даже не денщик, а полная луна, светившая Ливену прямо в лицо. Слава богу, он лежит вовсе не на Шарнхорстштрассе в Потсдаме, он лежит в крестьянском доме недалеко от Риги; здесь помещается штаб, при котором связным с русской стороны — Кожевников, а с немецкой — Ливен.

Летняя ночь была так тиха, так призрачен лунный свет, что даже при пробуждении память о пережитом сливалась с воспоминаниями о снах, как сливался трепетный огонек в крестьянской горнице с зыбкими лунными тенями. Ливен окончательно проснулся, насколько можно проснуться в такую ночь. Жизнь вливалась в него со всем многообразием и полнотой ее отдельных черт, решающих и незначительных. Вот мужской профиль тети Амалии — она держит в руках газету за утренним кофе и перечисляет условия мирного договора: «Это, конечно, было бы очень на руку господину Клемансо. Мы, шестьдесят миллионов немцев,— какая у нас точно цифра народонаселения, Ливен? Мы, видите ли, должны десять лет спину гнуть ради него и лить покаянные слезы, хотя мы войны отнюдь не проиграли». И тут же над ухом денщик Сергея

Кожевникова проговорил по-русски, причем его голос звучал гораздо глуше, гораздо менее отчетливо, чем голос тети Амалии из сновидения:

— Господин капитан просят вас к себе. Господин лейтенант прибыли.

«Да ведь это луна, а вовсе не фонарь,— наконец понял Ливен.— И вообще, почему я здесь? Ах да, потому что мы, остзейцы, помогаем русским выгнать вон Советы! Как лунный свет проникает всюду, слабый, а проникает. Теперь фон дер Гольц вместе с Бермонтом штурмуют Ригу. Носке уже отозвал нас. Он-то пляшет под дудку англичан. Не знаю, как все пойдет дальше. Да и знать не хочу. Лишь бы непрерывно происходили какие-нибудь события».

— Господа просят вас,— повторил денщик.

Господа? Ах да, Отто Ливен уже приехал. Эрнст Ливен спустил голые ноги с кровати. Лунный свет не холодит и не греет. Он просачивается даже между пальцами ног. Денщик быстро подал ему одежду. Кожевников, видно, вымуштровал его.

В соседней комнате уже стоял густой дым от сигарет: оба офицера курили. Кожевников носил короткую бородку. Он был невысок ростом, но ловок. И если старший Ливен походил на средневекового рыцаря, то русский мог сойти за оруженосца. Оба Ливена были очень похожи друг на друга, хотя и были всего-навсего двоюродные. Старший бросил сигарету.

— Мы можем в восемь вернуться, если только поторопимся...

Они сели на коней. Денщик ехал сзади. Ночь была на исходе, стояла глубокая тишина. Лунный свет затушевывал все разрушения. И оттого, что луна отражалась в воде, леса за озерами тоже напоминали гряды облаков, тянувшихся по небу. За всю ночь не раздалось ни одного выстрела. Топот лошадей казался призрачным, копыта у них были точно обмотаны. Деревня, через которую они потом проезжали, тоже казалась скорее призрачной, чем разоренной. И уж совсем как духи, порхали по стенам разрушенной церкви пятна света и тени.

— Вот отсюда начинается,— сказал Отто Ливен. Они остановились. Он описал хлыстом широкую дугу: — Снизу, где ивы. Несколько домов между лесом и берегом — это наша рыбацкая деревушка. Озеро тоже наше.

Он смотрел вниз не отрываясь, точно хотел все это вобрать в себя. Затем сказал, обращаясь не то к своим спутникам, не то к самому себе:

— Эти маленькие чистенькие домики жмутся к господскому дому, как цыплята к наседке. Совсем не похоже на загаженные, беспризорные, оспротивние деревни в Литве.

Расстилавшаяся внизу, озаренная луной земля, частью вспаханная, частью поросшая лесом и кое-где поблескивающая озерами, уже в течение шестисот лет была родовым поместьем Ливенов. Два года назад молодая советская власть выгнала их оттуда. Затем русские белогвардейцы вытеснили большевиков. При этом они обещали отдать помогавшим им остзейцам землю, которую те потеряли; и фон дер Гольц, презрев рейхсвер, стал вербовать себе войска по собственному усмотрению. Он привлек в свои отряды немало той немецкой молодежи, которая после заключения мира лишилась родины — кое у кого наследственные земли были отторгнуты по новым границам, у большинства же настоящей родиной была война. А здесь, на востоке, еще требовались солдаты, здесь еще ничего не было решено. Они думали, что на этом клочке Европы еще можно найти ту издавна влекущую, бесшабашную жизнь, которая тем и хороша, что ею не дорожишь.

Отто Ливен сказал:

— Вон там, внизу, стоит наша ветряная мельница. Ее не тронули.

Русский сказал:

— Мне тоже хотелось бы показать вам мой родной дом. До него далеко отсюда. Это под Казанью, на Волге.

Младший Ливен подумал: «А я бы не смог показать вам мой родной дом, если бы мы объехали даже вокруг всего земного шара». Этот дом, на который Отто, не отрываясь, смотрел сейчас горящими глазами, Эрнст знал только по детским воспоминаниям, когда приезжал на каникулы. И его сюда никогда не тянуло. Ему было достаточно сознания того, что где-то на белом свете у его родственников есть свой угол и там он найдет приют и мир, если затоскует о них. Но он никогда о них не тосковал. Его отец, совершенно так же как и он, всю жизнь кочевал с места на место и от каждой перемены ждал счастливого поворота судьбы. Он то и дело переезжал из одного города в другой: из Берлина в Ригу, из Риги в Стокгольм, из

Стокгольма в Петербург, где в консульстве как раз открывалась вакансия. И тоже успокаивал и утешал себя тем, что на крайний случай в мире есть какой-то клочок земли, где он может укрыться, не заботясь ни о чем.

Кожевников сказал:

— Дайте хоть одному из нас домой добраться — и советскому наваждению придет конец!

Ливен-младший стал торопить их. Они соскочили с коней на краю деревни. Несколько молодых парней с тераски ближайшего дома угрюмо посмотрели на них, точно незнакомцы намеревались не просто зачерпнуть воды в колодце, а выжать из них кровь каплю по капле. За столом сидели две женщины, одна из них — старуха — кормила маленькую девочку. Вторая, помоложе, бросилась к старшему Ливену, схватила и поцеловала ему руку — истово и подобострастно. Парни на террасе сердито заворчали. Один из них оттащил женщину. Она что-то возразила, но села на место. Остальные принялись ее отчитывать, а она горящими глазами смотрела вслед Ливену.

— Она из наших дворовых. Родилась у нас в имении,— пояснил он своим спутникам.

Эрнст Ливен проезжал вечером через ту же деревню, ведя за собой целую вереницу крестьянских телег, которые ему с трудом удалось раздобыть для перевозки раненых. Его собственную лошадь подстрелили, и она осталась где-то в поле. Его кузен с тяжелым ранением лежал в будке железнодорожного сторожа, до которой был час езды. Тихая ночь закончилась неожиданным нападением: отряды латышей наступали из Риги. Вся земли, принадлежавшая Ливенам, до самой железнодорожной линии была захвачена. Деревня сгорела, население частью погибло, частью бежало. Осталось лишь несколько человек; при виде телег с ранеными их окаменевшие, застывшие лица как будто слегка оттаяли, но появилось на них только выражение угрюмой ненависти.

Ливен торопил своих людей. Просто чудо, если они благополучно доберутся до ближайшей станции. Ходили слухи, будто англичане поддержали наступление латышей, чтобы наконец отделаться от немцев, которые иначе не послушались бы приказа собственного рейхсвера о возвращении домой; будто они снабдили население оружием, а

местную власть деньгами, лишь бы она наконец выгнала всех — немцев и русских, красных и белых.

«Если Отто тяжело ранен и умрет,— размышлял Эрнст Ливен,— я остаюсь старшим и главой рода, которого уже нет, наследником поместья, которого не существует». Он наслаждался парадоксальностью этой мысли. В его памяти снова встало все, как на карте: пологие склоны полей, ветряная мельница, озеро с рыбацкой деревушкой, лес на той стороне. Они медленно проехали мимо той же террасы, с которой рано утром молодая женщина бросилась приветствовать его кузена. Крыша провалилась. Внутренняя перегородка была проломана, и видны были разорванные на части человеческие тела и разбитая мебель. Ливен задумался с тем саркастическим выражением, которое всегда появлялось у него при виде чего-нибудь разрушенного дотла. Ведь только война, только меткий залп могли вырвать у человека ту сокровеннейшую тайну, которую люди прячут в себе до самой смерти.

Двое парней, смотревшие на него утром с такой ненавистью, теперь лежали в своей кухне, засыпанные обломками стен и печи. Один все еще прижимал к себе винтовку, точно грудного младенца. Умирая, он впился зубами в приклад. Другой судорожно ухватился за свою оторванную ногу. Бедро у него было все разворочено. Третий с простреленной грудью лежал поперек дороги, так что скрипучая телега в спешке его переехала, и как бы служил подтверждением горьких слов: на что человеку победа, если ему самому не дано ее вкусить? Старушка с достоинством сидела на том же месте за столом, единственным предметом, который уцелел. Правда, в нее, видимо, тоже попал осколок: она как-то странно сползла набок. В живых осталась только крошечная девочка, которую она утром кормила. Теперь девочка пользовалась случаем, чтобы наесться досыта. Она тянула к себе все, что обычно так тщательно распределялось между членами семьи, затем подбежала к телегам и, подняв голову, смеясь измазанным ртом, посмотрела на Ливена. Ливен нагнулся, подбросил ее вверх и снова поставил на ноги. Девочка была легка как перышко. Ливен подумал: «Как странно холодны ее глаза, золотистые, точно янтарь, и какое у нее тонкое и нежное личико! Да, господь бог щедр до глупости, распределяя свои дары между дочерьми земли».

II

Венцлов сел в ночной поезд на Ангальтском вокзале. Он решил провести отпуск у Клеммов. Ему не столько хотелось повидать сестру, сколько поговорить с глазу на глаз с зятем. Его все еще слегка тревожил слух о трупе, найденном в Груневальде, хотя за короткой газетной заметкой больше ничего не последовало. Только один раз кто-то в его присутствии упомянул о том, что шофера, который должен был доставить пленного в Новавес, отдадут под суд. Однако его не могли отдать под суд хотя бы потому, что он давно затерялся где-то в пограничных войсках. Да и труп, который был обнаружен, вероятно, как и предполагал Ливен, не имеет к ним ни малейшего отношения. И кому вообще поднимать это дело, говорил Ливен.

Однако сам Ливен со своей бригадой поспешил убраться в Прибалтику. Венцлова служба удерживала здесь. Он, так же как и его друзья, испытывал решительную неприязнь к людям, не погнушавшимся при Веймарской республике по каким бы то ни было причинам остаться в армии. Мальцан, друг его отца, пытался внушить ему, насколько важно влить как можно больше здоровой крови в того хилого карлика, в которого превратил армию Версальский договор. Бросать военную службу просто глупо: в этом новом государстве нужно иметь хотя бы несколько человек, на которых можно положиться.

Когда рано утром поезд пришел во Франкфурт, Венцлов увидел на платформе знакомое лицо: это был шофер его зятя. Венцлов сухо ответил ему на приветствие. Они не привыкли видеть друг друга в штатском. «Такой же спесивый, как и сестрица»,— подумал Бекер. Молодая хозяйка обычно обращалась к нему только с приказаниями, которые отдавала резким тоном,— она втайне скучала по своему прежнему, уволенному шоферу.

— У нас постоянный пропуск,— рассказывал Бекер, разумея своего господина и себя. В Хёхсте дел по горло. Сегодня, чтобы избежать осложнений для господина лейтенанта, который состоит на военной службе в неоккупированном районе, он, Бекер, взял пропуск, которым пользуется кузен господина капитана, тот сидит сейчас на каком-то совещании. Но пропуск будет, конечно, вовремя возвращен.

Бекер охотно выпил бы с лейтенантом по кружке пива, его хозяин никогда не забывал это сделать, но Венцлову не пришло в голову угостить шофера. Выражение лица у Венцлова было холодное. Он только раз во время войны проезжал по рейнскому мосту. Тогда, в переполненном вагоне, он через головы своих спутников успел лишь мельком взглянуть на великую реку, которую знал по хрестоматиям и поэмам; река оказалась не такой голубой, как он ожидал, она текла бесшумно, серая и тихая. Сейчас из садов доносился крепкий и сладкий запах жасмина. Венцлов закрыл глаза. Утренний воздух разгладил его насупленный лоб. Дальше аромат садов был отравлен фабричным дымом. Шофер доставил его в Амёнебург.

Венцлов почувствовал неловкость, когда на вывеске фирмы рядом со словами «Смолы и лаки» прочел фамилию «Клемм». У него было такое чувство, словно и он через мужа своей единственной сестры участвует в этом странном и непривычном словосочетании. Секретарь провел его в комнату, обставленную кожаной мебелью и предназначенную для посетителей и совещаний. Не успел Венцлов сообразить, кто этот старик — написанный маслом портрет висел над диваном,— как вошел Клемм и, сияя, заявил, что он просто ревнует: его жена Ленора ждет брата с непозволительным нетерпением. В штатском он выглядел лучше, чем когда-либо. Венцлова же раздражал его собственный костюм из дешевой материи, измявшийся в дороге. Костюм зятя, хотя Венцлов и не мог этого знать, был из английской шерсти — служащий фирмы раздобыл ее Клемму в Кёльне, на территории, оккупированной англичанами. И если Венцлов по пути сюда никак не мог представить себе фон Клемма в штатском, то отныне он уже не представлял его иначе.

Клемм хорошенько не знал, как ему вести себя с этим чопорным гостем, и наугад заговорил о портрете старика, на который Венцлов опять покосился.

— Это мой отец. Фирма ему обязана всем, чего она сейчас достигла. Мой дед был ремесленником. Отец был человеком широкого размаха, дельцом, но умел, что называется, обходиться с людьми.

Венцлов снова подавил ощущение неловкости. А Клемм уже давно позабыл о том, что сам он в первые минуты приезда испытал такую же неловкость. За прошедший год

он так свыкся со своим новым положением, что заявил теперь шурину чуть ли не с гордостью:

— Мой дед, когда был подмастерьем, прошел через всю Германию. Добрался до русской границы, до Литвы, сейчас это, кажется, входит в Польшу. Там он узнал, как можно перерабатывать соки березы, и свой опыт применил на родине. Открыл собственную мастерскую. Вещества, которые добываются из коры и корней, а также из еловых игл, он стал продавать дубильщикам и сапожникам. А потом кожевенные фабрики начали заказывать этот состав в огромных количествах. Благодаря моему отцу дело развернулось. Он сразу угадывал, чего не хватает, что необходимо добавить. Химики должны были находить для него нужные составы, а он находил нужных химиков.

Клемм помолчал, ожидая, что Венцлов сделает какое-нибудь замечание, ответит одной из тех обычных фраз, из которых, если внести в них известную последовательность, слагается то, что принято называть оживленной беседой. Но так как Венцлову решительно ничего не приходило в голову, а молчать с гостями не принято, то Клемм продолжал:

— Все это привело к тому, что отец стал выпускать в продажу такую жидкость, которой теперь по всей стране пропитывают телеграфные столбы и железнодорожные шпалы, чтобы предохранить дерево от гниения. Понимаешь?

Венцлов не понимал ни слова. И ему казалось странным, что Клемм теперь так носится с каким-то варевом, в которое макают для сохранности телеграфные столбы.

— В конце концов и железные дороги стали заказывать нам состав для пропитывания. Разве мы мальчишками в этом что-нибудь смыслили? Мне все это казалось ужасно скучным, даже унизительным. В юности мы презирали столь будничную и незаметную деятельность.

«В юности,— подумал Венцлов.— Когда же это было? Когда кончается юность? Когда она кончилась для Клемма? Три или два года назад или в прошлом году? Разве она проходит, как поезд? Или останавливается в десять двадцать на той или другой станции? И после этого люди научаются ценить по достоинству такую фирму, как «Смолы и лаки», и все, что, подобно ей, казалось раньше скучным или унизительным?»

Словно угадав мысли Венцлова, Клемм поспешно сказал:

— Только позднее начинаешь понимать, что это значит, когда по всей стране не остается ни одной железнодорожной шпалы, не обработанной твоей фирмой. Тут не только вопрос денег и заработной платы для нескольких тысяч рабочих, тут вопрос власти, торжества немецкого изобретательства. Пусть это только скромный, почти незаметный итог нашего труда, труда германской нации, но главное — дух, живущий в ней, усердие, точность, чувство ответственности... начиная с химика, который обмозговывает свою формулу, до последнего рабочего, который точно следует полученным указаниям. Это в известном смысле напоминает нашу армию. И уже сейчас, хотя война еще толком не закончена, враг рвется к нашим товарам. Вот тут, на моем столе, целая пачка запросов от французских и английских фирм. Они сами и наполовину не могут так хорошо все это делать, как мы, и придумывают всякие уловки, чтобы как-нибудь выведать секреты наших главных открытий. Из Хёхста новейшие заводы уже переведены в Среднюю Германию, куда шпионам не так легко пробраться. А когда из шпионажа ничего не выходит, начинаются переговоры и попытки выудить у нас патенты.

Венцлов прислушался. Теперь разговор коснулся того, что имело отношение и к нему. Он охотно порасспросил бы относительно промышленного шпионажа. Но подходящие слова не сразу пришли ему на ум, а Клемм уже заговорил о другом. Он приказал подать завтрак, вино, бокалы.

За завтраком Клемм, не стесняясь, цитировал и перевирал чужие мысли, как все люди, привыкшие жонглировать словами. Он вдруг вспомнил рассказ про того истинного немца, который терпеть не может французишку, но вино его пьет с охотой. Правда, сам он наливал Венцлову не вино, а старый коньяк. Счастье, что он, Клемм, вовремя приехал: его двоюродный братец никак не приспособится к французским ограничениям. Ему лично доставляет просто удовольствие — он раскрошил бисквит — лавировать среди всех этих трудностей оккупированной зоны. «Оно и видно,— подумал Венцлов,— что все это тебе доставляет удовольствие». Рядом с Клеммом Венцлов чувствовал себя неловким, неповоротливым, но, с другой сто-

роны, он знал, что Клемм — надежная опора, нигде не подведет: ни в зале совещаний, ни на командном пункте.

— Я сейчас же,— продолжал Клемм,— среди моих служащих и инженеров нащупал самых надежных и среди рабочих тоже. Мы сострянали союз. Наладили занятия спортом для молодежи, не побывавшей на войне. Им до смерти нравится маршировать под носом у оккупационных властей.

Тут ему пришло в голову, что он, пожалуй, слишком долго говорит один. Непременно должен что-нибудь сказать и шурин. И Клемм спросил, как там, в Берлине. Венцлов был доволен, что разговор перешел наконец на знакомый ему предмет.

— Красные стали потише,— заявил он,— массовые весенние стачки удалось подавить мгновенно, мы и пострелять как следует не успели.— Затем бросил вскользь, хотя это и было главной причиной его приезда сюда: — При починке дороги нашли этого субъекта, которого мы тогда пристрелили.— Разве Клемм не помнит? У них случилась авария, а того как раз везли мимо, тогда они поменялись машинами. Ведь именно он, Клемм, настаивал на том, чтобы этого человека прикончить. Правда, не установлено, что это и есть тот самый, но Клемму не мешало бы втолковать своему шоферу, как ему держаться, в случае если все-таки начнется расследование...

— Ах, вздор,— сказал Клемм,— ничего не будет, и тут, в оккупированной зоне, тем более. А тебе пора наконец отправиться в Эльтвиль. Подумай, Ленора запретила мне сегодня за завтраком даже прикасаться к вишневому торту. Она хочет его подать тебе во всей красе.

Выложив то, что его угнетало, Венцлов отдался радостному ожиданию встречи с сестрой. Правда, Клемм так же небрежно отнесся к его опасениям, как и Ливен. И все-таки Венцлов испытывал такую легкость и успокоение, как будто эта ночная поездка была им предпринята лишь затем, чтобы услышать и от Клемма, насколько все его страхи смешны. Клемму удалось убедить его, что беспокойные мысли о преследовании — чепуха, а о самом эпизоде и вспоминать-то не стоит. И когда они покатили по аллее через сад, где над шпалерами деревьев и клумбами сверкали каскады искусственного дождя, он почувствовал, как среди этой теплой, блестевшей влагой зелени все его тревоги исчезают.

Ленора бросилась ему на шею. «Что это с ней? — подумал он.— Наверно, по дому тоскует». Она крикнула Бекеру, чтобы он нес вещи в комнату для гостей. Затем, сидя за столом и улыбаясь, смотрела, как брат разрезает вишневый торт. А в это время в кухне Бекер при полном сочувствии горничной разглагольствовал насчет того, что братец так же нос задирает, как и сестрица, не сравнить с самим хозяином.

Ленора закурила сигарету. Еще одна новая черта: сначала эти бурные объятия, затем сигарета. А в остальном такая же осталась. Он узнал ее девичье платье в голубую полоску. Венцлову очень хотелось погладить ее по голове, но он привык обуздывать свои чувства. Он стал задавать обычные в таких случаях вопросы. Она отвечала, как ему показалось, торопливее, чем раньше, и с какой-то новой улыбкой.

— Я тебе потом покажу малыша. Мне так странно, теперь я надеваю белый халат, просто чтобы присыпать ему попку, а не для того, чтобы перевязать тридцать тяжело раненных. И жить в этом большом доме странно, я все время невольно распределяю: столовая годилась бы для операционной, флигель — под изолятор для заразных больных... Сейчас я готовлю сестер Красного Креста — пусть наши женщины научатся ходить за ранеными на случай новой драки. Курс слушают невесты и сестры молодых людей, участвующих в собраниях, которые Клемм созывает с тех пор, как он здесь. А я чувствую себя не такой бесполезной.

Где-то в долине Рейна труба заиграла сигнал. Золотисто-розовое утро дрогнуло, разорванное бурным «Salut aux Armes». Ленора ласково взъерошила брату волосы.

— Сначала это на меня действовало так же, как и на тебя, теперь я привыкла, вообще-то мне мало в чем приходится ощущать присутствие французов — мы ведь освобождены от постоя. Только иногда полуофициально кто-нибудь является сюда. Потом мы делаем генеральную уборку, чтобы духами не воняло. И я никогда не хожу в поселок, там их полным-полно.— Она посмотрела на брата с довольным видом: — Ешь, если хочешь, весь торт. Я помню, как ты говорил, когда был маленький: «Вот хоть бы разок мне одному такой торт дали!» Расскажи, как дома? Как тетя Амалия? Я иногда скучаю по ней. Знаешь, я ни за что раньше не поверила бы, что могу соскучиться

по тете Амалии.— Она забарабанила пальцами по столу, словно играя на рояле. У нее все еще были мальчишеские руки — длинные, худые, без колец.— Я ведь теперь мать. Хозяйка дома. Во время войны была сестрой милосердия — сегодня здесь, завтра там. А потом вдруг оказалось, что я замужем. Живу в красивом доме. Я никогда раньше не могла себе представить, что и тетя Амалия была молодой. И никогда, что она станет старухой.

Венцлов сказал:

— Она стала старухой после перемирия. У нее волосы совсем седые.— Сестра с удивлением посмотрела на него.— Мне кажется, самый жестокий удар для нее — это расформирование полка, в котором служили ее отец и брат.

— А что с тобой будет?

— Со мной? Я думаю, тетка даже не поняла бы всей глубины твоего вопроса. Есть некоторые шансы на то, что я останусь в кадрах, если в таком государстве вообще можно говорить о шансах. Мальцан как будто хочет кое-что устроить через своего друга, старика Шпрангера. А что мне иначе делать? Пойти в пограничную охрану? Или поступить в банк? У твоего мужа попросить местечко? В следующем месяце еще десять тысяч будут демобилизованы.

Ленора сказала:

— Я надеялась, что и мой мальчуган будет служить в вашем полку.

Венцлов холодно ответил:

— У твоего мальчугана в будущем и без того неплохие возможности. Правда, его отец тоже в свое время предполагал остаться в кадрах и передать фирму кузену. Во всяком случае, тебе о твоем мальчугане нечего беспокоиться. Ему не придется ни быть коммивояжером, ни служить в банке.

Ленора спокойно возразила:

— Напрасно ты думаешь, что я так уж беспокоюсь за его будущее. Даже меньше, чем за твое. У меня не слишком богатое воображение, и будущее меня мало волнует. Настоящее — да.

Потом они гуляли. Она показывала ему оранжерею и сад. Они вспоминали, как тетя Амалия в своем крошечном квадратном садике ощипывала ягоды с четырех кустов черной смородины.

Молодой парень в жилете и солдатских штанах, помогавший садовнику срезать сучья, обернулся и посмотрел на господ. Садовник пожелал им «доброго утра», парень пробурчал только «утра». Вецлов перехватил его взгляд, показавшийся ему дерзким.

— Он приехал погостить к родителям. Отец работает у нас садовником, мать — кухаркой. Да, ты прав, терпеть не могу, когда он так смотрит.

— Бог знает что он натворил и почему удрал в оккупированный район.

— Этого здесь не узнаешь,— сказала Лепора.— У кого дома земля под ногами горит, тот где угодно демаркационную линию перейдет.

Вецлов сказал, нахмурившись:

— Он мне очень не нравится.

— Я уже просила Клемма, чтобы его выставили отсюда. Если отец здесь служит, это не значит, что мы его будем прятать. А то решил, что он здесь в полной безопасности от всяких расследований и преследований.

Прогуливаясь по дорожке, Вецлов все время ощущал на себе взгляд парня. С неприятным чувством схватил он сестру под руку. «И чего он на меня пялится? Чует, кто я. Вся эта краспая сволочь заодно». Он сердился оттого, что этот дерзкий парень испортил ему мирное воскресное утро. А сын садовника думал: «Чего он на меня поглядывает? Вся эта сволочь заодно — так и несет от них парадами, военщиной, словом, всякой националистической вонью». Один мысленно произносил «националистическая» с такой же ненавистью, с какой другой говорил «краспая». Пропасть, разделявшая их, была глубже Рейна, на который Вецлов смотрел с верхней ступеньки лестницы; под сияющим летним небом река казалась чуть голубее, чем утром, но она была так же тиха и совсем не сияла, словно голубела со дна.

III

Унтер-офицер Вильгельм Надлер поехал в отпуск домой. Только в этом уступил он жене, продолжавшей ныть в своих письмах: пора бы наконец бросить солдатчину, пора бы навести в усадьбе порядок. Вот он самолично и объяснит глупой бабе то, чего нельзя доверить почте,—

планы на будущее, которые теперь становились уже не только разговорами. Он ей объяснит, почему сейчас неважно, тащиться ли за плугом, платить ли деньги посреднику по продаже скота, сдавать или не сдавать в аренду участок и сеять на нем клевер для второй коровы. Сейчас нужно одно, объяснит он ей — а мысленно он ей многое объяснял, когда ему нечего было делать,— свергнуть правительство, при котором не вылезешь из нужды. Новая империя таким, как он, скостит все долги, а это важнее, чем новый амбар, о котором она все долбит в своих письмах.

Он подъехал к последней станции и сошел. До его деревни на берегу Швиловзее предстояло идти еще около часа лесом и полем. На нем были армейские сапоги и поношенная куртка со значком его добровольческого отряда в петлице и Железным крестом на груди. В рюкзаке лежало всякое барахло, которое он вез домой на праздники. Прихватил он также и добрую старую палку, которую вырезал себе в лазарете, когда еще хромал. Он отмечал на ней все главные сражения, в которых участвовал, как турист отмечает зарубками на альпенштоке места своих экскурсий.

Его догнал низенький старичок и поздоровался. Старичок выразил удовольствие по поводу того, что они опять свиделись. Надлер не сразу узнал в нем владельца трактира «Под дубом» Цейбеля, вместе со своими клиентами гордившегося несравненным старым дубом, узловатые корни которого вросли в пол трактира. Старичок высказал также удивление, почему Надлера давненько в родных местах не видно, да и сейчас он, верно, возвращается еще не насовсем, хотя вернулись уже все соседи. В ответ Надлер объяснил, что его еще не отпустили: в столице продолжается заваруха и такие люди, как он, нужны. А если Берлин спасует, тогда всей империи капут. Хозяин «Дуба» заметил, что прошлой зимой даже у них была слышна стрельба; его парням осточертела война, мирный договор, разумеется, препоганый, но, как говорится, чему быть, того не миновать.

— Поговорка эта тут ни при чем,— решительно возразил Надлер.— Кабы вы здесь в тылу хорошенько разобрались, когда красные орали, так никому и в голову не пришло бы соглашаться на этакий паршивый мир. Не мы на нашу землю врага пустили, эти бандиты распахнули

ворота перед французишками, которых мы три года по задам лупили... А теперь еще свои денежки выкладывай! Евреи небось гроша не дадут, хотя один Ротшильд мог бы из собственного кармана все покрыть. Вот и выходит, что расплачиваемся только мы — а у нас и так ни черта нет,— ты, Цейбель, твои парни, я и мой брат Христиан, которому и без того все кости перебили.

Старичок обрадовался, что разговор от туманных отвлеченностей перешел на тот предмет, о котором ему было что сказать. Он подавил усмешку и заметил:

— Все кости ему переломали, Христиану-то, верно, но хорошо, что он хоть еще кой-чего не потерял.

А Вильгельм Надлер возразил: едва ли парень, которого так обработали, найдет себе бабу по вкусу. Старик только презрительно покосился на него, словно и головы-то поворачивать не стоило. Вот и выходит, что тот, кого это больше всех касается, как обычно в таких случаях, ничего не знает, хотя знает уже вся деревня! И словно исправлять подобные ошибки — его прямая обязанность, он принялся опять сокрушаться о том, что Вильгельм не только пробыл всю войну от первого до последнего дня на фронте, но и миром не воспользовался, чтобы тут же вернуться домой. А Надлер опять пытался растолковать ему, отчего такие люди, как он, именно сейчас до зарезу нужны в Берлине.

Цейбель заметил:

— Да только те, у кого времени много и нет ни жены, ни ребят. И нет хозяйства, где чуть не доглядел — все вверх дном пошло.

Надлер ответил, что, конечно, жене его, наверно, нелегко было, но ведь у нее есть под рукой Христиан. Тут они как раз коснулись того, к чему и гнул старик, и, когда миновали лес и началось поле, он еще раз намекнул соседу, что не следовало-де поручать брату и хозяйство и семью. На что Вильгельм заметил:

— Да, действительно, у Христиана настоящей силы уже нет. Насквозь изрешетили.

— Найдутся у него силы. Нет сил, чтобы косить. А ребята твои еще малы. Вот Лизе и приходится спину гнуть. А кое на что другое сил у него хватит. Тут бабе и трудиться не надо.

Между первыми домами сверкнуло озеро. Надлер задумался. Он и не заметил, что они свернули на деревен-

скую улицу, что старик распростился с ним, что по пути к дому односельчане его приветствовали, похлопывали по спине, разглядывали.

Едва он открыл дверь, как на него пахнуло вкусными запахами праздничного угощения. Он известил жену о своем приезде. Она повязала чистый передник. Обвивавшие ее голову косы были цвета спелой ржи, когда снопы слишком долго пролежат в поле,— местами выцветшие, местами потемневшие. Она расползлась, как перестоявшееся тесто, решил муж. А лицо в точности прежнее — с веселыми светло-голубыми глазами и словно порхающими веснушками. Он внимательно посмотрел на брата Христиана: тот приковылял вприпрыжку на одной ноге, так как от спешки или из лени не хотел при каждом шаге заносить другую ногу, простреленную в бедре. Христиан посмотрел на брата не сразу и не прямо, он время от времени поглядывал на него украдкой, исподлобья. Хотя Вильгельм за эти пять-шесть лет привык ко всякого рода женщинам и в результате от собственной жены отвык, он приходил в ярость при одной мысли — хозяину «Дуба» все-таки удалось внушить ее Надлеру,— что его пышная, как будто ярко начищенная Лиза могла спутаться с такой развалиной, как Христиан. Во время обеда Лиза кормила грудного малыша, который родился после того приезда Вильгельма, как было заключено перемирие. Хотя Вильгельм никогда не тратил ни одной лишней минуты на размышления о своих детях, сейчас он, насупившись, разглядывал младшего, который был до того белокур, что его волосы казались белыми, и потому он гораздо больше походил на дядю, чем на отца. Христиан сидел с трубкой в руке, ссутулясь, точно весь обмякнув. Лиза сразу перешла в наступление. Она опять принялась размазывать все сначала, что Вильгельм уже наизусть выучил по ее письмам: насчет второй коровы, посредника по продаже скота Леви, клевера, аренды; затем он услышал и кое-что новенькое: если Вильгельм вернется совсем, Христиан может сейчас же открыть сапожную мастерскую — он ведь учился на сапожника, а если муж не вернется и Христиану опять надо будет помогать ей, дело это уплывет из рук — мастерскую откроет Иозеф Винклер, он тоже учился, а двум сапожникам тут делать нечего.

Вильгельм Надлер решил, что все это отнюдь не свидетельствует об особой любви Лизы к Христиану. Он обе-

щал вернуться домой через год. До осени он должен служить.

— Почему это? Ведь все давно дома!

— Самых лучших задерживают, иначе все пойдет прахом.

Жена сказала:

— Здесь все и так уже идет прахом.

— Да, вот мы и наведем порядок. Дай сначала народу прийти в себя, дай нам вырвать да выбросить вон весь этот бурьян, тогда и на твоем поле будет порядок.— Он сказал то, что не раз мысленно объяснял ей, но, произнесенное вслух, оно прозвучало далеко не так убедительно, хотя он и намекнул при этом еще кое на что, о чем, собственно, обязан был бы молчать: — Дай только настоящим людям взять в руки власть, и мы получим совсем другие законы. Тогда и положение наше станет совсем другим, тогда мы будем наверху.

— Народ,— сказала Лиза.— А я кто? Я ведь тоже своим не враг. А насчет земли, так наше поле тоже здесь.

Увидев, что Христиан роется на дне своего кисета, она встала и насыпала ему табаку из жестянки. Когда хромой, раскурив трубку, заковылял прочь, Вильгельм наконец дал волю своей ярости.

— Если я еще раз увижу, что ты этому Христиану прислуживаешь, я тебе все кости переломаю.

Жена даже не вздрогнула. Она насмешливо взглянула на мужа:

— Как же не подсобить инвалиду, ведь он тебе брат.— Ее веснушки словно порхали по лицу, а блестящие голубые глаза искрились. Вильгельм не мог бы поручиться, что она говорит всерьез, а не смеется над ним. В таких тонкостях он не силен. И он подумал, совсем растерявшись: «Ишь какая хитрая стала — чистая стерва бабенка!» А Лиза начала как ни в чем не бывало высчитывать, что, если Вильгельм вернется к окончанию арендного срока, Христиан успеет открыть мастерскую.

Когда Вильгельм ушел в хлев, чтобы прибить оторвавшуюся доску, Лиза распахнула дверь каморки, в которой теперь жил Христиан.

— Покамест Вильгельм тут, ты, пожалуйста, как можно меньше ему на глаза попадайся,— сказала она.— Или сам он пронюхал, или кто-нибудь ему наговорил. Я, ко-

ночью, понемногу его утихомирю. А пока между тобой и мной все кончено. Что ты там бубнишь? Мне теперь необходимо порядок навести в хозяйстве, а то дети до сумы дойдут. Вильгельм здесь хозяин, он должен вернуться, не буду же я отпугивать его.

Христиан посмотрел женщине в лицо — не искоса, а в упор. Он подумал: «Что тут скажешь? Она права. Что она со мной увидит? Я даже не могу дотащиться на своей ноге в Берлин и там по дворам с шарманкой ходить». Только одно — уж очень она, пожалуй, хитра. Так здорово она знает жизнь, что мигом сообразит, что к чему, а он, хоть тоже не дурак, будет думать над этим целую ночь.

Вильгельм нашел, что собственная жена приятнее, чем он ожидал. Одно плохо — она разбудила его, чтобы идти в поле, раньше, чем его будили в казармах. Небо еще было полно звезд, а жена уже на ногах: она успела подоить корову, покормить птицу, сварить кофе, приготовить обед. Потом они запрягли корову в телегу. Христиан остался дома, чтобы сдать молоко. На телегу посадили детей: старших — чтобы помогали, младшего — чтобы потом покормить его. Лиза пошла рядом с коровой, помахивая палкой и подгоняя ее. А Вильгельм плелся за телегой; он уже отвык от этих выходов в поле, отвык от детей и коров. Раздражали и обращенные к нему возгласы кое-кого из соседей, раздражало то, что они узнают его, видят его идущим вслед за семьей и телегой совершенно так же, как он шел в былые дни, совершенно так же, как шли все остальные, и что никто по его внешнему виду не может догадаться, кто он на самом деле — человек, который все еще носит оружие, все еще имеет власть над жизнью и смертью.

На поле жена положила младшего в борозду. Она была гораздо проворнее мужа и стоила двух жнецов. Она отерла пот, заливавший глаза, бросила торопливый взгляд на дальнюю борозду, где ребенок мирно спал, точно в лоне матери, под необъятным небом. Озеро поблескивало между яблонями. Ни в чем она не уступала мужчине, а муж и косу-то заносить разучился. Скоро она на целый ряд обогнала его, точно хотела наверстать с лихвою те минуты, которые теряла, когда бегала кормить ребенка. Загудел пароход. Этот гудок рассердил Вильгельма, как будто его окликнули из другого мира, рассердила пышная

белая грудь, к которой жена приложила малыша. Он повесил косу на яблоню, встал перед женой и заявил:

— Твой белобрысый сопляк до черта смахивает на Христиана.

Лиза стала перекладывать ребенка к другой груди, чтобы обдумать ответ. Она сказала:

— Это бывает в семьях. От деда передалось.

Муж рванул косу с ветки.

Сегодня ужин нечего было и сравнивать со вчерашним. Ничуть не лучше казарменной жратвы. А затем пришлось опять возиться до самой ночи. Вильгельм с яростью думал о том, что так оно и будет до конца его дней. Верно, господь бог нарочно придумал для него такую жизнь. Но только *он* просчитался: всяк в своем дому хозяин. Под «он» Надлер разумел господа бога, под «хозяином» — человека вроде капитана Дегенхардта. По Дегенхардту Надлер даже затосковал.

После ужина он побежал в трактир выпить пива. Присутствующие поднесли ему кружку. Потом еще одну. Обычно они были не слишком щедры. Но он начал рассказывать: послушаешь его, так веселей на душе становится. Между сапогами сидевших сплелись в узлы и прихотливо извивались проросшие сквозь пол корни дуба. Хотя от этих старых корней веяло уютом, но все в родных местах вызывало у Вильгельма отвращение. Крестьяне помоложе, еще носившие форму, хотя и без погон, с любопытством разглядывали его добротную куртку, которую он все-таки напялил, прежде чем отправиться в трактир. Они спросили, какие это у него значки. На подобные вопросы он всегда отвечал с охотой и тут же принялся рассказывать о берлинских боях, как рассказывал раньше, приезжая в отпуск, разные военные эпизоды. Описал нападение на Газетный квартал, как описывал когда-то нападение на бельгийское местечко Мобеж. Одобрение слушателей вознаградило его за унизительный рабочий день.

На своем обычном месте сидел съежившись крестьянин Ользен, тот самый, который отхватил у Лизы участок, нужный ей теперь под клевер. В 1916 году его отпустили домой с простреленным легким, однако благодаря деревенскому воздуху он кое-как поправился. Ользен сказал:

— Ну, с меня хватит. Удивляюсь, как это вам в Берлине еще хочется драться!

— Если власть захватят красные,— сказал Надлер,— у тебя отберут последнюю корову и последний клочок земли, как в России.

— Ну уж нет, здесь это некому сделать. А вот твои — ты же сам сказал — у нас последний грош отнимут, чтобы из нашего кармана оплатить ихнюю войну. Поэтому-то вам и нужно, чтобы по-прежнему наверху были богатые, а внизу бедняки.

Надлер рассердился. Он терпеть не мог Ользена — торчит себе тут, как редиска на грядке, вот уж кто не солдат-то! Надлер охотно грохнул бы кулаком по столу. Он сию же минуту расторг бы арендный договор на удивление всем присутствующим, только бы насолить этому негодяю. Но так поступать не следовало. Он еще не совсем ума лишился, а злость его окончательно протрезвила. Ведь если теперь отказать арендатору, то кто же будет обрабатывать лишнюю землю, тогда ему, Надлеру, придется остаться в деревне. А ему только что продлили срок службы. Скоро начнутся такие дела, что без людей вроде него не обойтись. Домой он сможет вернуться, только когда совершится настоящий переворот. Он твердо верил в этот предстоящий грандиозный переворот, после которого начнется такая жизнь, какую даже сравнивать нельзя с тем, что теперь называется жизнью — презренная работа в поле, правительство, выжимающее из тебя налоги, досада на Ользена за арендный договор, даже злоба на Лизу. Он сам хорошенько не знал, что будет и как, но верил твердо, что после переворота все само собой изменится. И до него, Надлера, тогда рукой не достать.

Он считал, как и все, что война, отравившая людям кровь, это неистовство среди крови и пламени, в котором на долю одних выпадают чудовищные страдания, а другие предаются чудовищному разгулу, не могла окончиться просто так, ничем. Она явно служила только вступлением к чему-то еще более грандиозному и столь же мало похожему на убогие крестьянские будни, как потусторонний мир на этот.

Он давно умолк, погруженный в мрачные размышления. Теперь его уже не угостят пивом, да и за что поить молчаливого бирюка? Когда он ощупью вошел в свой дом, ему показалось, что где-то внутри хлопнула дверь. Надлер прокрался сначала в каморку за кухней, где теперь спал Христиан. Тот лежал, завернувшись в одеяло, как

будто был все еще на дне окопа, и так храпел, что дрожали табуретки. Вильгельм, одновременно разочарованный и успокоенный, вошел на цыпочках к себе в комнату. Он увидел только Лизин затылок. Видимо, она тоже давным-давно спала. Она прямо окаменела от сна.

IV

Когда дверь пивной открывалась, сердце Марии начинало биться быстрее, а у себя в комнате, когда слышались шаги на лестнице, она замирала. Потом, вся обессилев, бледнела. На ее личике, тихом, как падающий снег, лежали тени от густых ресниц, которые были темнее волос. Однажды Луиза сказала — не для того, чтобы причинить подруге боль, для этого она была слишком добродушна, а чтобы положить конец бессмысленному ожиданию:

— Я видела его в воскресенье с другой девушкой.— Мария удивленно на нее посмотрела.— Да, и они шли не под руку, а обнявшись и рука в руку.

Мария ответила:

— Это неправда.

Луиза так рассердилась, точно она и в самом деле сказала правду.

— Да что ты о себе думаешь? Ты воображаешь, дуреха этакая, что тебя уж и бросить никто не может? Подожди, еще как бросят! После войны ни на одного парня положиться нельзя, за войну привыкли к разнообразию. Ты должна выкинуть его из головы, девушка, и спокойненько перейти к номеру два.

Мария молчала. Она не могла объяснить Луизе, почему у нее все это по-другому. Луизе не понять, что двое могут быть предназначены друг для друга и сейчас, и всегда, в здоровье и в болезни, в горе и в радости, пока не разлучит смерть. Если любимый по какой-то причине внезапно не пришел, он может так же внезапно вернуться.

Ее друг никогда не рассказывал ей о том, где он проводит время. А для нее время по-настоящему начиналось лишь с того мгновения, когда Эрвин, входя, захлопывал за собой дверь. Она не знала, что в свой последний приход он уже почти решился открыть ей, где именно он проводит время. Друг Эрвина предостерегал его: самая хорошая девушка все-таки разок да выложит кому-ни-

будь, что́ у нее на душе, а тот выболтает еще кому-нибудь, кто уже не так хорош. Ведь настоящая жизнь, к которой относится и любовь, начинается только потом, когда главное сделано. А до того все под вопросом и полно пробелов.

Мария ясно поняла, что такое счастье, только когда его не стало. Поняла и то, что, даже когда оно было, в нем оставались пробелы. И даже когда они с Эрвином обнимали друг друга — чего теперь не бывало,— та стена, что с самого начала стоит между людьми, еще не была разрушена.

Мария не высчитывала дни, как делают другие девушки, боясь беременности. Когда она убедилась, что так оно и есть, она бросила место, решив съездить в Берлин к тетке Эмилии.

— Ах ты бедная цыпочка,— сказала Луиза.— Ну, надеюсь, тетка поможет тебе с этим разделаться.

Мария с самого приезда сюда не была в городе. Когда она опять попала в эти сплетения проводов и рельсов, она почувствовала себя обиженной и обманутой. Но она слишком устала, чтобы удивляться. Она вглядывалась во все лица — не встретится ли ей то, которое она искала. Ведь здесь так много людей — она и не думала, что их может быть столько. Здесь целая чаща домов, дорог и улиц. А друга ее нигде нет.

Она очутилась на Бель-Альянс-Плац. Окна пошивочной мастерской, где работала тетка, выходили на тот же двор, что и окно теткиной кухни. Сюда же, во двор, выходили окна штамповочной мастерской. Здесь не было ни одной стены, которая бы не дрожала от работы машин. Пока Мария ждала, ее непрерывно трясло, ведь она была легка и тонка, точно листик. Даже хорошо, что тряска передавалась и ей: Марии казалось, будто это заглушает ее горе. Какая-то девушка крикнула тетке из окна, что ее ждут. Тетка выбросила в окно ключ: сейчас она никак не может уйти из мастерской. Мария отперла дверь квартиры, состоявшей из комнаты и кухни. В комнате тетя Эмилия хранила все вещи, которые принадлежали ей и мужу, убитому в первый же год войны. Подвенечный убор лежал под стеклом на комоде. По стенам среди разноцветных картинок, к которым тетя Эмилия питала особое пристрастие, висели: Железный крест, фотокарточка мужа, когда его только что взяли в артиллерию, и фотокарточка обоих — женихом и невестой. Тетя Эмилия и не помыш-

ляла о втором браке, хотя при ее заработке, веселом характере и забавной фигурке, изящной и все же пышной сзади и спереди, претендентов находилось достаточно. Но она привыкла жить только своим трудом, сама выбирать и менять любовников, считая, что все это и есть верность покойнику. Мария даже на миг позабыла о своем горе, рассматривая картинку, на которой был изображен мальчик с крыльями, занятый, однако, не обычными ангельскими делами, а созерцанием спящей у его ног девушки; когда во дворе зазвучал гудок, она невольно вздрогнула. Тут же пришла наверх и тетка. Раздалось звонкое чмоканье, зашипели свиные котлеты, точно горох посыпались вопросы.

«Дети становятся взрослыми людьми!» — подумала тетка. Мария начала рассказывать сухо, даже без робости, так как тетка слушала ее спокойно, не прерывая. В Эмилии чувствовалось внимание разумной женщины, легкими кивками и всем своим поведением она словно хотела сказать, что всякое на свете бывает. Мария не первая и не последняя. Не стала она также ни читать мораль своей племяннице, ни жалеть ее, а сразу перешла к практической стороне вопроса. Мария может жить и столоваться здесь, у нее. А плату тетка будет по частям удерживать из ее заработка, удержит и те десять марок, которые одолжит ей сейчас, чтобы Мария немедля отправилась к фрау Хэниш: с клиентки, присланной тетей Эмилией, та едва ли возьмет дорого. Фрау Хэниш ей самой не раз оказывала услуги. Это добросовестная, надежная особа, у нее есть приемная, где можно отдохнуть, совсем как у врача, что особенно важно для тех, с кем такая история случается в первый раз. Мария для тетки все равно что дочь, ведь своих детей ей не суждено иметь.

Сначала Мария не поняла, что именно подразумевает тетка. А тетя Эмилия ужасно раскипятилась, когда почуяла, что племянница боится последовать мудрому совету.

— В таком случае отправляйся обратно к матери в Пелльворм. Пусть полюбуется на свою умницу! Но ведь туда ты не желаешь? Верно? Да ты бога благодарить должна, что тебя добрые люди из беды хотят вытащить!

Целую ночь Мария покорно выслушивала уговоры тетки и утром отправилась на Бель-Альянс-Плац. Она поехала к фрау Хэниш, так как с детства привыкла слушаться взрослых. Во время этой поездки она уже не вглядывалась в людские лица. Дорогу она нашла очень легко. Город про-

произвел на нее еще меньше впечатления, чем вчера. Если уж надо ехать к фрау Хэниш, если и дальше махнуть на все рукой, то не все ли равно, что будет вокруг тебя — луга или большой город? Так как фрау Хэниш ее не ждала, она назначила другой девушке, и та сразу же начала расхваливать Хэниш, а затем описывать превратности жизни. Девушка была в черном, может быть в трауре. Яркими красками она изобразила безответственность мужчин вообще и безответственность одного из них в частности, ибо он сначала обещал на ней жениться, а потом сбежал и надавал обещаний другой девушке. Она сказала: «Верно, так началось и у вас», точно и в этой беде был виноват ее собственный вероломный любовник, как виноват дьявол во всяком зле. Скоро явилась сама Хэниш, такая толстая и по-матерински заботливая, как настоящая акушерка, которая помогла родиться на свет множеству ребят. Она сказала Марии, что придется полчаса подождать. Мария слышала, как через две комнаты шумит вода, как дети кричат во дворе, как проезжают машины мимо дома. На этом кожаном диване, где сперва отдохнет незнакомая девушка, наверно, и ей разрешат потом отдохнуть. «А после,— рассказывала незнакомая девушка,— все будет, как раньше. Еще несколько дней покиснешь, потом вернешься на работу, только будешь ученая и так легко не попадешься, а если все-таки влипнешь, то по крайней мере будешь знать, как от этого избавиться». Мария только сейчас поняла совершенно точно, на что она готова была решиться. А потом все будет, как раньше. Ей уже никогда не придется мучиться, самое большее — иной раз вспомнит о своем друге. Ее великая любовь развеется как дым. А если она все-таки не пойдет на это? Тогда по-прежнему уже никогда не будет. Все будет по-другому. Сейчас ее ожидание в приемной кончится... Она прислушалась. Тихонько встала. Беззвучно открыла и закрыла за собой дверь. И с такой быстротой побежала по улице к трамваю, точно фрау Хэниш могла погнаться за ней и притащить обратно.

Вечером тетя Эмилия очень удивилась, видя, что племянница ее свежа и бодра, как ни в чем не бывало.

— Для вас, молоденьких девчонок,— сказала она,— все это пустяки.

Тут-то Марии и следовало бы сообщить о своем решении, а также вернуть десять марок. Но так как она не по-

слушалась тетки, ей уже ничего не стоило и скрыть от нее свое непослушание. В понедельник она пошла на работу в мастерскую. Оказалось, что она и приветлива и шить большая мастерица, но как-то не способна дружить с остальными швеями, которые так охотно и часто забегали к Эмилии — посоветоваться или выпить чашку кофе. Эмилия ничего не имела против, если девушки иной раз приводили с собой и своих кавалеров. У нее самой частенько бывал в гостях парикмахер с Ходеманнштрассе, он одалживал ей граммофон и вносил свой пай на пирожные и булки, так что квартирка тети Эмилии скоро стала просто раем для всей мастерской. Мария накрывала на стол и делала особые бутерброды, которые в кафе-автоматах назывались «лакомый кусочек». Всему этому она научилась в своей пивной. Но когда заводили граммофон, она убегала. Она садилась под деревьями на Бель-Альянс-Плац. Темнело. Серебряная буква над ближайшей станцией подземки висела в ночном воздухе, как месяц на ущербе. Теперь, когда Мария бывала одна, ей чудилось, что Эрвин садится рядом с ней на скамейку. Она чувствовала устремленные на нее серые глаза, видела, как в них вспыхивают яркие точечки. Она даже отваживалась спросить его, куда это он постоянно уходил от нее. Ее подруга Луиза из пивной, как-то приезжавшая ее проведать, на все вопросы сердито отвечала:

— Да выбрось ты его наконец из головы. Ты же теперь очень недурно устроилась. Не вспоминай об этом парне. Пошли его к черту!

После ее посещения Мария отказалась от всякой надежды. Но так как последнее, от чего люди отказываются,— это мечты, то она стала жить двойной жизнью. Она знала ясно и твердо, что ждать совершенно бесполезно, и трезво искала возможности несмотря ни на что сохранить ребенка; и в то же время она продолжала всматриваться в людей, выходивших из подземки на площадь, в надежде, не мелькнет ли среди них знакомое лицо.

Однажды рядом с ней сел молодой парень — он был очень недурен собой. Он служил контролером в поездах подземки и возвращался домой всегда той же дорогой. Мария все больше ему нравилась. Иногда они пили вместе пиво или кофе. В конце концов он попросил ее стать его женой. Мария ответила своему поклоннику, что решительно ничего против него не имеет, но не хочет скрывать: она

обременна от другого. Контролер с живостью возразил, что он человек вполне столичный, поэтому вовсе не требует, чтобы все барышни дожидались именно его, и не ищет для женитьбы непременно невинной девушки. Просто нужно перед свадьбой все это ликвидировать, только матери его пусть ничего не говорит: она человек старых понятий. Мария сказала, что хочет родить ребенка. Контролер ответил, что сейчас у него нет денег на детей. Через два-три года, когда дадут следующую прибавку,— пожалуйста, но тогда уж пусть это будет его собственный. Мария больше ничего не сказала. Немного погодя она молча ушла.

Мария любила иногда играть на площади с детьми, копавшимися в ящике с песком, и особенно заприметила троих ребят, которых обычно приводила коротко подстриженная женщина в короткой юбке, что очень не шло к ее толщине. Вскоре выяснилось, что она им вовсе не мать. Однажды она попросила Марию присмотреть за детьми: отец сейчас выйдет из подземки. Он оставляет на нее детей, когда уходит искать работу: транспортная контора, где он до войны служил возчиком, закрылась. А она всегда готова помочь соседу, да и ребята славные; мать умерла от гриппа всего месяца два назад. Господин Гешке тогда еще не вернулся из армии. И разве не ее долг — подсобить в беспризорном хозяйстве, хотя на благодарность тут рассчитывать не приходится. Но кто же рассчитывает на благодарность?

Она высморкала всем троим носы — двум мальчуганам и одной девочке. Марии нравился один из мальчуганов: у него были такие быстрые карие глаза. Иногда он вдруг мчался к скамейке, чтобы проверить, тут ли Мария. Тогда она смеялась, и мальчуган тоже. Его сестренка обходила скамейку. У нее был широкий нос, и казалось, она смотрит ноздрями, такими же темными и сердитыми, как и глаза. Второй мальчик был ужасно тощий, светло-голубые глаза и светлые волосы придавали его лицу какую-то прозрачность. А нрав у него был упрямый и веселый. Казалось, парнишке совершенно все равно, кто заменяет ему мать.

К ящику с песком подошел немолодой человек с крупной бритой головой, в куртке защитного цвета, на которой еще виднелись прямоугольные следы от споротых погон. Он посвистал своим детям.

Женщина стала частенько обращаться к Марии с просьбой присмотреть за детьми. Однажды она дала ей ключ от квартиры — пусть отведет их домой. Квартира оказалась запущенной. Но кое-что еще говорило о том, как уютно здесь было при матери. Особенно понравился Марии балкон, она никогда не бывала на балконах. Цветы в ящиках тоже захирели, при жизни хозяйки они, должно быть, росли сплошной зеленой стеной. Мария подогрела молоко. Пока дети пили, она оборвала увядшие листья, срезала засохшие ветки, а живые обвила вокруг прутьев решетки. Подошла девочка, посмотрела своими круглыми ноздрями на то, как Мария прибирает, потом принялась помогать ей. Тем временем вернулся отец. С этого дня Мария часто отводила детей домой. Она подогревала им молоко, варила суп. Вскоре Гешке привык видеть ее в своей квартире. В такие дни он ужинал по-настоящему. Как уверяла соседка, чувство благодарности было ему чуждо. Он словно только и ждал, чтобы судьба послала ему кого-то, кто возьмет на себя все дела по дому. Удачно это вышло и для Марии, которая ждала, чтобы судьба послала ей подходящее дело. Наконец ее новый знакомый поступил подсобным рабочим в «Компанию подземных сооружений». Тогда встал вопрос о том, в какой мере городское попечительство возьмет на себя заботу о детях. Нельзя же рассчитывать на соседку. Участие Марии — только счастливая случайность. Это дело непрочное.

И вот, когда дети уже улеглись и Мария сидела в кухне с их отцом, она сказала, что готова навсегда остаться с ним и с детьми. Ей хотелось бы знать, как Гешке относится к возможности второго брака. Гешке удивленно посмотрел на нее. Мария опустила глаза. Он разглядывал ее лицо, тени от густых ресниц. Этот обычно угрюмый и пришибленный горем человек словно ожил. Его взгляд точно согрелся, мрак в сердце рассеялся, робость и скорбь на чужом молоденьком личике как будто смягчили и его черты.

— Милая моя детка, я бы просто солгал, если бы стал уверять тебя, что мне твое предложение не по нутру, и если бы у моей покойной жены были крылья и она могла бы прилететь к нам и сквозь потолок заглянуть сюда, она бы не знаю как обрадовалась, что нашелся кто-то, кто согласился вести хозяйство и воспитывать троих ее детей. Ведь свой человек в доме лучше всяких попечительств. Но мне хочется, девочка, кое о чем спросить тебя. И ты уж

отвечай мне правду. Ясно, что не могла ты просто в меня влюбиться. Я ведь о себе ничего не воображаю. И вот никак я не пойму, почему ты, такая молоденькая, вдруг захотела выйти замуж за человека, у которого трое сорванцов на руках, никакого определенного заработка, которому приходится считать куски и откладывать каждый грош, а то в следующем месяце может быть нехватка. И я вот что тебе скажу: если ты хочешь меня провести, как дурака, напрасно трудишься. Есть у тебя причина — говори!

Он напомнил ей отца, который был подсобным рабочим на строительстве плотины в Пелльворме. Да, Гешке не намного моложе. Что ожидает ее, если и тут ничего не выйдет? Она сказала:

— Я буду хорошо относиться к детям. Я сошью девочке новое платье — все равно материя на занавеску зря лежит, а по воскресеньям буду печь пирожки. Я буду хорошо-хорошо обо всех вас заботиться.

И согрелось сердце у Гешке. От горя и бедствий войны оно стало точно камень. До сих пор он не обращал внимания на эту девушку, которая иногда появлялась здесь и помогала по хозяйству. Теперь он увидел, какая она хрупкая и кроткая.

— Сейчас же скажи мне, что с тобой стряслось? — потребовал он.— И почему тебе удобно здесь, у нас, спрятаться? Может, ты что-нибудь натворила? Ну-ка, выкладывай все. Может, ты где-нибудь набедокурила и боишься, что тебя будут искать и все выйдет наружу? А? Повторяю, тебе не удастся меня провести! Пускай у меня дома хоть все грязью зарастет.

«Он как мой отец, тоже не любит, чтобы его обманывали,— подумала Мария.— Он меня сейчас выгонит». Она сказала:

— Я ничего дурного не сделала, совесть у меня чиста.

— Ну ладно,— отозвался Гешке задумчиво, не сводя с нее глаз.— Конечно, тут могут быть и другие причины, например, у тебя могла выйти такая любовная незадача, что тебе теперь все равно. Ты думаешь: «Мне теперь все равно, кто будет потом, Гешке или другой».

Мария нахмурилась. «Я, видно, попал в точку,— решил Гешке.— А жаль, и мне бы в этой дрянной жизни выпало на долю немного счастья. Разве плохо, придешь вечером домой, а тут тебя ждет молодое создание?» Мария же думала: «Его так же невозможно обмануть, как моего отца.

Тетю Эмилию — сколько хочешь и Луизу тоже. И толстухе фрау Мельцер, соседке, той наврешь и глазом не моргнешь, а вот ему не хочется. Мне вообще больше врать не хочется: противно». И Мария словно отрезала:

— У меня будет ребенок.

Она решительно взглянула на него. Была не была! А он, наклонив голову, спокойно посмотрел на нее, и в его взгляде не было ни доброты, ни гнева.

— Почему же ты до сих пор не избавилась от этого?

— Я не хочу.

Их глаза встретились, он сказал:

— Ах так, значит, не спроси я, ты бы ничего и не сказала. А потом постаралась бы вкрутить мне, будто этот чужой ребенок — мой?

Мария тихонько ответила:

— Может быть.— Она схватила его за рукав. Она сказала, и от страха и скорби голос ее звучал хрипло: — Я обещаю относиться к вашим детям не хуже, чем к своему. Может, я к своему хуже буду относиться. И я никому никогда словечка про все это не пророню — ни детям, ни соседям. Это так и останется между вами и мной.

Он ответил уже мягче:

— Обычно говорится, что там, где сыты трое, будет сыт и четвертый. С таким же успехом можно сказать: где трое живут впроголодь, там четверо будут с голода подыхать. Нелегкое дело ты затеяла, но, если уж пошло на откровенность, выкладывай все до конца. Надо строить на чистом месте. Мне подробности ни к чему, я хочу только знать, что за человек тебе ребенка сделал — из нашего брата или, может быть, какой-нибудь ферт там, в пивной, где ты служила?

Мария воскликнула:

— Нет! — И потом торопливо добавила, чтобы раз и навсегда положить всему этому конец: — Он умер.— Сердце ее сжалось. Ей стало страшно. У нее было такое чувство, словно она сама оборвала его жизнь, навсегда лишила себя возможности увидеть хотя бы его тень.

Гешке все смотрел на нее. Затем протянул руку и тихонько провел пальцами по ее волосам. Это был за долгое время первый лучик света под его кровлей.

Так решилось их будущее. Потом они вместе посидели в кухне, чуточку дольше, чем обычно. Гешке спрашивал, она застенчиво рассказывала о своих родных в Пельворм-

ме. Мария была привязана к ним, а она неохотно говорила о том, к чему была привязана. Когда она вспомнила о тете Эмилии, Гешке настоял на том, чтобы ее пригласили: если уж устраивать свадьбу, так устраивать как следует.

Перед тем как идти домой, она, желая побыть одна, еще раз присела на Бель-Альянс-Плац. В общем, она была довольна, но печальна и задумчива. От нескольких дерзких приглашений она только отмахнулась легким движением руки. С городской железной дороги уже больше никто не шел.

А Гешке тоже сидел один в кухне. Она все-таки сказала правду. Он не очень-то разбирается в теперешних девчонках; он слышал, как на работе товарищи болтали о том, будто нынче девушки делают не меньше абортов, чем их матери рожали детей. Мария, наверно, была без памяти влюблена в этого парня. Она, наверно, не только хрупкая и кроткая, она стойкая и мужественная, если это можно сказать о человеке не на войне, не под вражеским огнем. Он и сейчас еще ощущал концами пальцев легкие пряди ее волос. Как ни странно, он уже скучал по ней.

Тетя Эмилия была поражена. Она совсем не одобряла брака племянницы с человеком, у которого несколько детей. Но ведь молодые девушки не слушают разумных доводов. Если племяннице действительно чем-то понравился этот человек, значит, визит к фрау Хэниш, на котором тетка так настаивала, открыл ей возможность нового жизненного пути. Кроме того, Эмилию пригласили в воскресенье на свадьбу, а она до смерти любила всякие развлечения и праздники.

Мария убирала свою будущую квартиру, стирала и шила на детей. Гешке сказал им, что у них будет новая мама. Старший мальчик запрыгал вокруг Марии, младший промолчал: ему было все равно, а девочка хмуро посмотрела на нее. Мария купила пакетик цветочных семян для балкона. На душе у нее было бесконечно тяжело, и она замешивала тесто стиснув зубы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

У Марии по-прежнему были узкие бедра и маленькая грудь, так что Гешке мог бы даже усомниться в ее беременности, если бы не ее признание, вспоминая о котором он покачивал головой. Вскоре он пылко влюбился в Марию, в чем, однако, даже самому себе не хотел сознаться. Ведь это же нелепость: он — человек немолодой, угрюмый, замкнутый, измученный войной и работой — впервые в жизни сосредоточен на чем-то, что находится вне его,— на молчаливой худенькой женщине с густыми темными ресницами и гладкими светлыми волосами, которые спереди, у корней, кажутся еще чуточку светлее. Никогда в жизни не приходилось ему иметь дело с существом столь юным и кротким. Даже в молодости он не представлял себе ничего подобного. Да у него и фантазии не хватило бы представлять себе что-нибудь, чего, по всей видимости, не могло быть.

«Компания подземных сооружений», где Гешке работал подсобным рабочим, ремонтировала запущенный за четыре военных года метрополитен. Со склада, который находился на той же улице, где жил Гешке, и до которого он добирался пешком, надо было подвозить стройматериалы к шахтам. Даже эту удачу, даже получение этой подсобной работы он приписал Марии, точно она обладала даром наводить порядок не только в его квартире, но и за пределами ее.

Мария ухитрялась приготовлять вкусные обеды, можно сказать, из ничего. Белье, мебель, казалось, даже обои постепенно восстанавливались. Когда Мария была еще ребенком, ее дразнили тем, что она видеть не может ни пятнышка, ни дырки. То невзначай протрет окно у соседа, то мимоходом на улице заплетет девочке косу. Она могла искать пуговицу от башмака с таким упорством, точно это была монета.

Теперь она с жаром бралась даже за такую работу, которая обычно человеку в тягость. Она чувствовала себя в долгу перед Гешке, как люди чувствуют себя в долгу за оказанное им гостеприимство. Ей было хорошо в этих четырех стенах, она здесь могла родить свое дитя. А до сих пор все земные силы противились его рождению.

Гешке казалось, что она счастлива. Когда лицо ее омрачалось, он считал, что это от страха перед родами: ведь первый ребенок. И он утешал ее тем, что решительно все люди появились на свет точно так же. Гешке упрекал себя за то, что его воспоминания о покойной жене потускнели. Она была такая же работящая и такая же ворчунья, как он сам, и с детьми она маялась. Марии же все дается легко, точно это игра, точно старший ребенок играет с младшими. Франц, тоненький, как былинка, и дерзкий, вместо того чтобы слоняться где-нибудь на площади или на стройке, теперь частенько сидел дома: она умела его занять. Старший, Пауль, был с ней ласковее, чем его отец, который стеснялся показать свою нежность. Даже девочка, такая же угрюмая, как покойная мать, наконец привыкла к Марии. В ребятах появилось что-то светлое, какая-то живость, точно они родились заново.

Мария робко попросила у Гешке разрешения воспользоваться старой бельевой корзиной для колыбели. Гешке крепко привязался к своей новой жене и почти забыл о том, что этот ребенок — четвертый, который здесь родится,— не его. Мария же давно перестала верить, что ее друг еще придет. Но стоило ей остаться одной, как в ее воображении неизменно возникал Эрвин. И Мария бежала за ним, держа на руках уже родившегося ребенка. И как будто в эти минуты она на самом деле изменяла мужу,— когда он приходил с работы, молодая женщина усиленным вниманием старалась искупить свою мнимую неверность.

Соседи только дивились счастью, выпавшему на долю Гешке. Фрау Мельцер, после смерти первой жены Гешке иногда присматривавшая за детьми, про себя твердо решила, что в этом браке что-то не так. Она злобствовала и искала причин для своей злости. Ее злило, что Мария считает свалившееся на нее бремя отнюдь не мукой и даже не тяжелой обязанностью, которую хочешь не хочешь, а надо выполнять, что работа, от которой другая только охала бы, у Марии всегда спорится. И потом, слишком уж неравная это пара: ворчун Гешке, мужчина в летах, и

молоденькая девчонка! Мельцерша покоя не давала своему мужу, Паулю, требуя от него новостей о семье Гешке. До войны Мельцер был дубильщиком. Сейчас он тоже стал подсобным рабочим. Раньше он частенько заходил к Гешке посидеть. Но если Мельцершу сердил каждый пустяк, касавшийся соседей, и она прямо искала поводов для злости, ее муж отнюдь не стремился проникнуть в загадку этой семьи. Его интересовали гораздо более важные темы: открытие новых звезд, каналы на Марсе, движение Вселенной. Вот с какими вопросами он обычно обращался к Гешке, который молча выслушивал его. Мельцер едва ли заметил, что Гешке женился во второй раз. Только позднее этот счастливый брак начал злить его не меньше, чем жену, потому что он лишился слушателя.

Пивная Лоренца была наискосок от дома, где жил Гешке. Гешке зашел туда, только чтобы взять к ужину бутылку пива. Его принялись удерживать:

— Можешь хоть разок опять посидеть с нами? Что ты все бродишь у себя наверху, точно старый кот?

На это Гешке промолчал, он видел, что Трибель, живший этажом ниже, с усмешкой в глазах ожидает его ответа. Во время войны они вместе сидели в окопах. Дома же, хотя их разделял всего этаж, только изредка заговаривали друг с другом, если же дело и доходило до слов, это были недобрые слова. А здесь, внизу, у Лоренца, можно было бы со всеми поговорить, даже с Трибелем. Здесь, внизу, все были свои, как в окопе.

Однако он отнес бутылку наверх и тут же выпил ее с Марией за ужином. Мария была кротка и услужлива, но еще молчаливее, чем обычно. Гешке подумал: «Они, пожалуй, правы. Почему бы мне еще раз не спуститься вниз? Девчонка ведь никуда не убежит. Ей уже тяжело носить, и она устала». Впервые он подумал: «В конце концов, я же тут ни при чем!» Когда он опять собрался уходить, Мария обрадовалась, что может отдохнуть.

Трибель сидел на том же месте, против стойки. Вокруг него уже все столики были заняты. Когда Гешке протиснулся между сидящими, у него возникло чувство, как будто он вновь обрел что-то, о чем, сам того не сознавая, давно скучал. Пить он не любил и с железной стойкостью удерживался от траты лишнего пфеннига и в безработицу, и когда имел работу. Очутившись в атмосфере пивной, среди шумных разговоров, тут же переходивших в спор,

Гешке точно проснулся. После войны он жил, замкнувшись в себе, и только теперь словно возвращался домой после долгого пребывания в чужбине. Он узнавал знакомые лица, он слышал споры о тех, чьи имена раньше только смутно, издали доносились до него. Именно тогда, когда горе после смерти первой жены и счастье со второй заслонили от него все события суровой действительности, видимо, и произошло все то, о чем он слышал сейчас: президентом Германской республики избрали Эберта, того самого Эберта, сказал Трибель, который так не хотел, чтобы кайзеру дали отставку; а спартаковцы теперь называют себя коммунистами. Гешке молчал, он не вмешивался в эти разговоры. Трибель и в окопах был таким же отчаянным. Он частенько сидел под арестом. Бог знает какова была бы его судьба, если бы не перемирие. Он всегда требовал слишком многого и требовал слишком рано, слишком громко, взять хотя бы требование мира. И сейчас вот он вскочил, словно перед ним Совет рабочих и солдатских депутатов, и начал превозносить Советскую Россию, эту неведомую страну, и всегда он так — расхваливает, захлебываясь, то, что и не проверишь. У него была совершенно лысая голова, глаза на заостренном лице сверкали. Он похож на арестанта, решил Гешке, и, вероятно, тем и кончит. Младший сын Лоренца, хозяина пивной, наставительно, точно старик, возражал Трибелю. Младшего Лоренца Гешке видел чаще других. Он приходил время от времени собирать членские взносы. И он, Гешке, обычно поскорее совал ему свои пфенниги, как суют монеты в автомат на одной и той же остановке — и в дни, когда терзает скорбь, и в дни, когда волнует радость. А сейчас молодой человек с обычной самоуверенностью заявил Трибелю:

— Если бы мы послушались твоего совета, у нас был бы такой же хаос, как в России, кровопролитие и смертоубийство, и союзники стояли бы не на Рейне, а на Шпрее, и наше государство полетело бы ко всем чертям. Эберт спас страну от этого.

Тогда Трибель разбушевался.

— Говоря по совести, невелика беда, если такое государство и полетит к чертям!

Гешке присутствовал здесь только одной частью своего существа, другой частью своих мыслей и чувств он был еще далеко. Многое было для него ново, многое казалось уже настолько устаревшим, что он даже удивлялся, как

это людям не надоест молоть одно и то же. Он так задумался, что незаметно для себя принялся строить из подставок для пивных кружек нечто вроде карточного домика. Затем его мысли перешли к первой жене и к тому, как он обидел ее: он уже давно совсем не думает о ней, а только об этой новой девчонке. Тут ему пришлось прервать критическое обозрение своей внутренней жизни: до него опять донеслись те два имени, которыми ему и раньше прожужжали все уши. Казалось просто невероятным, чтобы этого мужчину и эту женщину, будораживших весь город, когда Гешке был еще дома или уже далеко от дома, чтобы этих двух убили только в январе. А сейчас лето, не прошло и полугода. При тогдашней притупленности его чувств весть о их смерти только скользнула по нему, как скользили и разговоры о их жизни, хотя вместе с охваченными тревогой людьми к нему в дом врывались чаяния и требования растревоженных площадей и улиц. Он почти позабыл об этом событии. А тут было отчего опять разгорячиться; как в январе. Ведь только теперь удалось выловить эту женщину из канала, на дне которого она пролежала с тех пор, как ее убили. Об этом недавно стало известно. И Гешке почувствовал, что и в нем все всколыхнулось. Немногие шли тогда за гробом Либкнехта. Людей испугали усиленные наряды полиции, войска, избиения, аресты и потом свист и плевки по пути на кладбище. Воды Ландверканала, так долго скрывавшие убитую, дадут теперь людям возможность проводить тело так, как следует. Многим из тех, говорил Трибель, кто стоял тогда на тротуаре, было стыдно, что они вместе с другими не идут за гробом. Ведь между трусами, которые сами не пошли, и такими, которые плевали в тех, кто шел, уж не такая большая разница. Если человек боится вот так пойти вместе с другими, он обычно ищет повод, чтобы отнестись с презрением к тем, кто не боится. Трибель увлекся и принялся рассказывать то, о чем уже частенько рассказывал. Когда искали тело Либкнехта — стало известно, что он убит на улице,— кого-то послали в морг. Но там тела не оказалось. Тогда опять послали того же человека и внушили ему, что он должен, во что бы то ни стало должен найти его. Он пристал к директору морга, и тот проговорился, что есть-де в подвале еще более глубокий подвал, где трупы лежат во льду. И вот этот человек спустился туда, поискал и нашел Либкнехта во

льду. Гешке внимательно слушал, как и все остальные. Он слышал впервые эту историю относительно льда, и она ему очень не понравилась, на него повеяло холодом, а смерть еще холоднее; жуткие штуки проделывает это государство, когда ему дают волю. Пивная показалась Гешке подвалом, ледяным подвалом. Он решил непременно участвовать в похоронах. Он уже не на чужбине. Этот город — его город, и его товарищи не имеют отношения к подобным низостям, это он Трибелю и докажет. Все же Трибель не станет от этого симпатичнее.

.

Мария удивилась, когда Гешке сказал, что не знает в точности, когда вернется с кладбища: если назад не идти, а ехать, и то нужно не меньше трех четвертей часа. Сначала Мария подумала, что он хочет побывать на могиле первой жены, может быть, сегодня как раз годовщина ее смерти? Однако, узнав из разговоров на лестнице о назначенных на сегодня похоронах какой-то Розы, она решила, что Гешке, а с ним и несколько соседей идут на другие похороны; ведь, кроме него, никто бы не отправился на кладбище в годовщину смерти его жены. Да и звали ее не Розой, а Анной. Только постепенно поняла она, отчего люди так взволнованы. Сидя там, наверху, на совсем уединенном островке, она ничего не знала о том, что делается на свете. Вечером к ним зашел Лоренц и спросил Гешке, как это он согласился участвовать в похоронах. А Гешке подумал: «Ни ты, ни Трибель ничего мне предписывать не можете. Я давно в этом варюсь, гораздо дольше, чем вы оба!» Он хорошенько не знал, что разумеет под «этим» — народ, рабочий класс или прожитую жизнь. Вслух он сказал:

— Успокойся, я сам знаю, что мне делать и чего не делать.

Очерствевшая Мельцерша смягчилась, когда однажды утром Гешке позвал ее, прося заняться его хозяйством: у них-де сегодня ночью кое-кто раньше времени на свет появился. Мельцерша прилетела как на крыльях, с невероятной готовностью. Она так рьяно взялась за пеленки, кофейную мельницу и кухонные горшки, словно они были виноваты во всем.

— Для преждевременных родов мальчуган прямо огромный,— заявила она.

— Пожалуй, что да! — отозвался Гешке.

Мельцерша продолжала:

— Ведь мы же с Марией по очереди присматривали за детьми, когда они играли на Бель-Альянс-Плац. А вы тогда еще даже не замечали ее.

— Ну и хитрая вы, фрау Мельцер! — сказал Гешке.

А Мельцерша, терзаясь бешеным и бесплодным любопытством и готовая пойти на все ради его удовлетворения, дерзко заявила, что, хотя роды и преждевременные, однако кровать и даже колыбель почему-то успели застелить чистым бельем, обед заранее приготовлен и пеленки сложены, а ведь такие роды — случайность, их заранее не угадаешь.

— При случайностях так оно и бывает. У нас в Берлине их нипочем вперед не угадаешь,— сказал Гешке.

Мария спокойно слушала, подперев голову рукой, и думала: «Неплохой это человек, к которому я попала». Ее обрадовало, когда Мельцерша не без ехидства похвалила ее молоко, а также силу и жадность ребенка. Потом явились соседки посмотреть новорожденного и под предводительством Мельцерши осмотрели, кстати, и все, что находилось в комнате. Марии казалось, будто ребенок весь покрылся пятнами от множества прикасавшихся к нему липких взглядов. Теперь, когда она среди разговоров и разглядываний баюкала на руках своего крепкого, здорового малыша, она уже не помнила о пережитой боязни потерять его. Ведь он был здесь. Конечно, он родился не на райском лугу, но на земле есть, несомненно, места и хуже этого. Немолодая, спокойная, гладко причесанная женщина только кивнула ей в дверях и оставила в подарок несколько яиц; она понравилась Марии. Мельцерша, раздраженная и яйцами и молчаливостью посетительницы, заявила, что эта особа стара для своего мужа, для Трибеля, вот он и путается на стороне; обычно она к Гешке и глаз не кажет, оттого что мужья между собой как кошка с собакой. Пришел из своей квартиры и сам Густав Мельцер, он принес Марии карту звездного неба и показал, под какой звездой родился ребенок, какая ему угрожает и какая благоприятствует. А Мельцерша добавила:

— Вот видите, Мария, насколько важно знать, преждевременные это роды или нет.

Мария подарила ей два яйца, чтобы она успокоилась насчет звезд. Еще больше боялась она замечаний тети Эмилии. Та весело вошла, постукивая высокими каблуками, на ней было, как обычно, короткое пестрое платье. Под цветочным горшком все еще лежали нетронутыми деньги, одолженные тетей Эмилией на уплату Хэниш. Но Эмилия, которая была по натуре вовсе не злопамятна, похвалила грудь Марии. Когда Мельцерша предложила ей кофе, она заявила, что не откажется: она обожает кофе и может пить его в любое время. Мария так и заснула под болтовню обеих женщин: одна говорила добродушно, другая — язвительно.

Мария поставила корзину с ребенком на солнышко; узкий луч падал на балкон, прилепившийся к фасаду дома, точно гнездо под другими, симметрично расположенными гнездами. Отсюда ей было слышно приближение людского потока из центра города, как в родной деревне был слышен нараставший шум прибоя. И бесконечно, как там тянулись отмели, тянулись здесь стены и улицы, и по ним, как и там, скользили лучи вечернего солнца и тени облаков.

Охватившая ее тоска по родным местам дошла почти до отчаяния: ведь она могла затеряться здесь, в этой жуткой городской толчее, как и там, в безлюдных полях.

Когда Гешке вернулся с работы и его встретил крик ребенка и запах пеленок, он только подумал: «Ну что ж, еще один малыш. Через неделю Мария будет такой, как прежде». Он, правда, не мог бы в точности сказать, какой Мария была прежде, но он знал, что жизнь опять пойдет по-прежнему, немного более полная, немного более трудная, а потом и эту жизнь, ставшую более полной и трудной, опять будешь называть прежней.

Оба мальчика не интересовались новым братцем; угрюмая Елена полюбила его, оттого что он не смеялся над ее большущими ноздрями и скоро стал сосать молоко у нее из бутылки так же охотно, как и материнскую грудь.

В последние дни Гешке пришлось грузить дрова в Ланквице; раз он, как всегда, выехал ранним утром, но был вынужден заняться по пути починкой фуры и подъехал к складу в своем квартале несколько позднее, чем предполагал. Одержимый страхом потерять из-за своего опоздания и эту работу, Гешке отчаянно спешил, объехав несколько

баррикад, решил узнать уже на месте, по какой причине они появились, и ни разу не задержался, чтобы прочесть плакаты, перед которыми толпился народ.

У закрытых планками ворот склада, во дворе которого находился и грузовой парк, стояли два его товарища, вчера вместе с ним перегружавшие дрова. Они так и кинулись к нему, но их слова потонули в оглушительном гомоне толпы, которая ждала у входа. Казалось, всех этих людей так клубком и вымели со складского двора. А этот опустевший двор с загадочными в своей неподвижности полосами оглобель, пятнами колес и кучами песка казался особенно огромным. Большинство собравшихся здесь уже видело расклеенные прокламации капповцев; люди сейчас же сдирали эти листки и рвали их в клочья, следуя чьему-то неуловимому и молниеносному приказу. Совсем молодой паренек с румяным безбородым лицом открыл кран колонки у ворот и улыбался, как улыбался святой, когда из скалы по воле божьей капля за каплей потекла вода, чтобы напоить жаждущих, но этот юноша улыбался потому, что вода уже не текла.

Чудо удалось — началась всеобщая забастовка!

Гешке строго смотрел вместе с другими на кран, как будто сам, своей волей остановил воду; он сжал губы, его глаза сузились, словно все его «я» без колебаний, всеми мыслями и мышцами подчинилось принятому решению. Иссякла не только вода, погасли газ и свет, остановились все другие жизненно важные предприятия, а также все жизненно важные мысли, действовавшие до сих пор в сознании Гешке, или по крайней мере те, которые он считал важными. Пусть его теперешняя жизнь — собачья жизнь, все равно объявляют ли себя эти сволочи в прокламациях правительством или нет. Но если они останутся у власти, то и эта его жизнь будет окончательно загублена, без всякой надежды на перемену к лучшему. Обычно ему трудно было решить, кто прав — может быть, Лоренц, может быть, Трибель, но одно он знал совершенно твердо: если у власти останутся все эти каппы и люттвицы, тогда совершенно незачем из кожи лезть ради лучшего будущего, тогда погибнут последние остатки надежды на лучшую жизнь. Их гнусная шайка надеется вернуться в свои дворцы и министерства и пить народную кровь, хотя народ и так истек кровью на войне! Его вдруг охватила неудержимая ненависть к этим наглецам, он был готов всех их тут же пере-

стрелять и был готов к тому, что пристрелят и его, настолько ненужным казался ему оставшийся кусочек жизни, чтобы еще дорожить ею. И все собравшиеся на складе были охвачены той же ненавистью — ведь теперь, отняв у них последние остатки достойного существования, их хотели лишить даже последних остатков надежды на достойное существование; они готовы были прикончить всю эту нечисть и, если на то пошло, погибнуть и самим.

С той минуты, когда Гешке явился на склад, подгоняемый страхом потерять работу, и до того мгновения, когда он решил пожертвовать своей жизнью ради того, что ему казалось самым важным, прошло ровно столько времени, сколько Марии понадобилось, чтобы накормить ребенка. Она положила его в корзину и занялась хозяйством. Но тут она услышала на лестнице голоса и беготню соседок.

В дверь к ней постучали, первой явилась Мельцерша; Мария узнала о том, что произошло. Сначала она поняла только одно: бакалея закрыта, да и покупать перловую крупу все равно бессмысленно, так как газ выключен. Постепенно к ней в кухню набились женщины; они набивались всюду, где только видели открытую дверь. Они усаживались на порогах, как будто перегородки между отдельными семьями рухнули.

Вдруг послышались выстрелы, и даже совсем недалеко — отряд капповцев пытался пробиться к центру. Мария была рада, что ребенок крепко спит. К ее удивлению, Гешке прислал сказать, чтобы она отправила дочь, которая лежала больная в постели, с его солдатским вещевым мешком на склад; она с трудом подняла девочку, и та еще не успела уйти, как явился парень, тоже работавший на складе, и насовал ей полный вещевой мешок патронов; девочка тут же убежала, точно сразу все сообразив. Мария молча помогла ей собраться, хотя поняла не смысл, а только интонацию приказания. Затем явился от Гешке еще один посланец, совсем ей незнакомый; он отодвинул кухонный шкаф, поднял половицу и вынул оттуда винтовку, которую Гешке спрятал там, когда вернулся с фронта. Мария и не подозревала, что в квартире есть оружие. И точно всеобщая забастовка и ее подчинила своим требованиям, молча и послушно выполнила она все эти странные распоряжения. Вернулась дочь, ей было приказано, хотя она вся горела в жару, найти братьев и отвести их к отцу. Все

трое ребят должны помогать ему подносить патроны тем, кто будеть стрелять, чтобы остановить войска.

Дети вернулись только перед самым вечером; когда Мария испуганно спросила, где Гешке, оказалось, что они ничего не знают. Они с завистью поглядывали на братишку, который, захлебываясь молоком, сосал материнскую грудь: им-то пришлось лечь голодными. Ночью Гешке домой не вернулся; по доходившим до Марии вестям можно было заключить, что белым их затея не удалась. Пришла также и весть о том, что один из рабочих умер от ран — немолодой, спокойный, отец семейства, человек, который пробыл всю войну на фронте, от первого до последнего дня. Но смерть настигла его не в Карпатах и не в Аргоннском лесу, а на Розенталерштрассе. Он не принадлежал и к числу тех, кто бегает по собраниям — охотнее всего он сидел дома, в кругу семьи,— и к спартаковцам он не имел никакого отношения, имя его нигде не упоминалось. Так что в эту ночь люди больше говорили о нем — погибшем, чем прежде о живом. И если они обычно то и дело ссорились, спорили и даже ненавидели друг друга, сегодня между ними царили согласие и радость оттого, что теперь опять можно будет ссориться и спорить о будущем и о том, какой должна стать страна, из которой выгнали всю эту шайку.

Гешке вернулся только на другой день к обеду. Забастовка кончилась. Кухонный шкаф все еще стоял боком, так как винтовку принесли обратно лишь вчера вечером, можно было опять положить ее на прежнее место. Тогда, после войны, Гешке не долго думая запрятал ее. У него никогда не было ни близких друзей, ни советчиков. Его толкнуло на это просто желание не отдавать хорошее оружие, а приберечь его.

Мария с удивлением узнала, что, оказывается, у Гешке есть секреты, о которых он ей и словечком не обмолвился. В квартире было теперь два центра: бельевая корзина, в которой лежало ее дитя, и подпол в кухне, где хранилось оружие, а Гешке так же упорно уклонялся от навязчивых вопросов о своем, как она о своем.

— Ты мне никогда об этом ни слова не говорил,— заметила Мария.

— А зачем? — отозвался Гешке.

II

Майор фон Мальцан и Венцлов рано утром отправились в Берлин; это его обязанность, как друга отца, пояснил майор жене. Приехав, он потащил молодого человека в ресторанчик на окраине, где можно было поговорить по душам. Но оказалось, что ресторанчик закрыт: по случаю забастовки не явились ни кельнеры, ни повара. Тогда майор и Венцлов отправились пешком — трамваи также не ходили — на Момзенштрассе к советнику юстиции Шпрангеру. Они дружили с детства: Мальцан, Шпрангер и убитый на войне отец Венцлова.

Юстиции советник Шпрангер вознаградил их за несостоявшийся завтрак: на столе появилось множество разнообразных настоек, вишневка, тминная водка, бренди и даже старый французский коньяк; бутылки были покрыты толстым слоем пыли.

— Так сохраняется аромат старины,— улыбаясь, пояснил Шпрангер.

— Ты прежде всего обязан прочистить мозги нашему общему сыну,— заявил Мальцан.— Этого молодого человека, видишь ли, мучит совесть оттого, что сегодня утром он не стоял рядом с Людендорфом у Бранденбургских ворот, когда вступала эрхардтовская бригада.

Шпрангер ответил, все еще с улыбкой:

— Угрызения совести — привилегия молодости.— И затем, бросив быстрый взгляд на хмурое молодое лицо Венцлова, заговорил совсем другим тоном: — Для нас все это не менее тяжело: ведь здесь перед нами характернейший для человеческой жизни конфликт, когда сердце говорит одно, а разум другое.

Венцлов внимательно посмотрел на хозяина дома. Но Шпрангер недаром занимался адвокатурой уже не один десяток лет. И недаром многие берлинские семьи считали, что он на редкость не болтлив и действует, как опытный хирург. Его клиентами были до сих пор члены семейств, принадлежавших к чиновничеству, даже к придворным чинам, и Шпрангер, ведя самые запутанные личные и служебные дела этих людей, неизменно оставался верен упомянутым качествам и действительно напоминал хирурга, бесстрастно переходящего от одной операции к другой. Он был специалистом по тяжбам, связанным с печатью и кино, и по таким процессам, которые раньше подлежали бы, са-

мое большее, суду чести, а теперь, после войны, стараниями некоторых лиц превращались в политические дела и получали широкий отклик в определенных кругах общества.

Шпрангер предложил своим гостям сигары, каких ни Мальцан при своей пенсии, ни Венцлов при своем лейтенантском жалованье не могли себе позволить.

— Милый Фриц,— сказал он,— я, как правило, берусь защищать уголовное дело только тогда, когда есть какой-нибудь, хотя бы малейший шанс на успех. Иначе я бы считал свои услуги как адвоката просто обманом. И я уже давно заявил некоторым господам, мой дорогой мальчик, что я к этому их путчу руки не приложу, и, поскольку другие честные люди ответили так же, я бы на месте некоторых господ тем более держался от всего этого подальше. Может быть, то, что произошло сегодня утром, предостойно и препочтенно. Но, к сожалению, этаким легоньким путчем Германии не перевернешь, тут необходимо еще кое-что, а это все преждевременно, несерьезно, словом, гиблое дело.

Венцлов, который слушал с каменным лицом — подергивались только скулы,— вдруг заявил хриплым от волнения голосом:

— Разумеется, господин юстиции советник, то, что не удается, всегда гиблое дело. И вы полагаете, господин юстиции советник, что недостаточная подготовленность путча может служить оправданием для тех, кто не поддержал его? И что вообще не следует поддерживать начинания, заведомо обреченные на провал? Но ведь они только потому и проваливаются, что мы их не поддерживаем! Они преждевременные оттого, что мы своевременно не выступили.

Оба старика хотели было образумить молодого человека, но тут вошла хозяйка дома. Гости вскочили и, после того как она поставила на стол поднос с бутербродами, поцеловали ей руку. Она все подала сама и извинилась: когда муж у себя в кабинете, он не выносит присутствия горничных; извинилась также за пыль на бутылках: муж требует, чтобы чувствовался налет времени,— и обвела взглядом комнату, словно предлагая убедиться в сугубой опрятности всего остального. И действительно, глобус на письменном столе, пресс-папье с золотым Меркурием на маленьком земном шаре и все письменные принадлежности сияли, как набор медицинских инструментов, которые протирают

спиртом, а не тряпкой; в паркете, натертом до блеска, все отражалось, как в воде, и персидский ковер точно плыл по нему; стекла книжного шкафа и стекло на портрете хорошенькой дочери, снятой во весь рост в свадебном уборе, так и сверкали. Дочь была замужем за секретарем шведского посольства; весь облик самой советницы, высокой и грациозной, как большинство шведок, и сейчас еще говорил о том, что в свое время она была красивее дочери. Хозяйка дома опять извинилась — на этот раз за поджаренный хлеб вместо булочек. Но из-за этой забастовки все булочные закрыты.

— Вот видишь, мой мальчик,— сказал Шпрангер,— совсем недавно на этом же месте сидел твой товарищ, он мне возмущенно доказывал, что никогда дело не дойдет до всеобщей забастовки, потому что всего несколько месяцев назад социалисты и спартаковцы насмерть передрались.

Выходя из комнаты, фрау Шпрангер заметила:

— Ну, ворон ворону глаз не выклюет.

А Мальцан добавил, обращаясь скорее к самому себе:

— Да, вот если бы всякие каппы и люттвицы не требовали, чтобы под воззванием стояли непременно их подписи, и если бы найти никому неведомого человека из массы, такого, которого народ еще не знает и которому еще готов доверять,— тогда другое дело!

— Если бы, если бы, если бы,— отозвался Шпрангер, при каждом слове постукивая по столу безымянным пальцем, на котором носил кольцо своей студенческой корпорации.— Если бы недоверие одной половины народа к другой оказалось сильнее, чем недоверие к нам... но до этого еще далеко. После окончания войны не прошло и двух лет...— Вдруг он повернулся к Вепцлову и с живостью продолжал: — Моя жена вечно упрекает меня за то, что ты занимаешь в моем сердце такое же место, как наши собственные сыновья. Мальцан прав, когда убеждает тебя не рисковать своим будущим. Нам, старикам, нужно твое будущее.

Мальцан, улыбаясь, заметил:

— Ты будешь еще молодым, когда понадобишься нам для возрожденного отечества. Правда, мы со Шпрангером тогда совсем поседеем.

— Мы и сейчас седые,— сказал Шпрангер,— поэтому не огорчай, пожалуйста, нашего мальчика, ждать уже недолго.— Он ласково положил свою руку на стиснутые паль-

цы Венцлова.— Я же отлично понимаю, каково вам ждать, пока рухнет то, что все равно обречено на гибель. Особенно если в дело включились достойные люди и намерения у них наилучшие. Вся беда в том, что у них нет терпения.

Он умел любезно выпроваживать гостей и сейчас предложил воспользоваться автомобилем дочери-шведки.

— Герб на дверцах и консульская ливрея шофера предохранят вас от неприятных случайностей всеобщей забастовки.— И, провожая их к машине, смеясь, добавил: — К счастью, в нашей стране, несмотря на все эти безобразия, все-таки сохранилось врожденное уважение к символам власти.

Вечером, уже дома, в Потсдаме, этот разговор возобновился. Но говорил только Мальцан. Венцлов молчал. На ту позицию, которую Венцлов занимал несколько часов назад у Шпрангера, теперь встали все три женщины: мать и дочь Мальцан и тетя Амалия. Они уже тешили себя мыслью, что кайзер скоро возвратится из Амэронгена в Берлин. А теперь стало ясно, что во дворец вернется рейхспрезидент, с перепугу бежавший вначале из Берлина. Глядя на опущенные углы рта и поджатые губы тети Амалии, Венцлов понимал, что втайне тетка сердится на него. Ему ли не знать ее лица! Такое же выражение появлялось на нем, когда племянник, бывало, в детстве порвет штаны или забудет поклониться, а теперь она злилась на то, что он не поддержал мятежников. Он думал: «Если бы только ты знала, чего мне это стоило!» Маленькая Мальцан потянула его за рукав. Она сказала вполголоса:

— Не расстраивайтесь, вы, наверно, поступили правильно. Я всегда вам верю.

Он с радостью посмотрел в ее разгоряченное лицо. Глядя на ее грудь, он видел, что она уже не маленькая девочка. Все же она еще слишком юна, чтобы можно было целоваться с нею.

III

Экстренный вызов, переданный офицерам добровольческого корпуса, был зашифрован под коммерческую телеграмму. Клемм приказал своему шоферу явиться с вещами в Амёнебург. В этот день Бекер был хозяину не нужен и потому поехал утром с молодой хозяйкой в Висбаден к

портному. Он с первого дня невзлюбил ее, она казалась ему гордячкой, да и вообще не отвечала его представлениям о женской красоте. «Она,— не раз говорил он в кухне,— такая тощая, что слышно, как кости стучат». И теперь он с особым удовольствием заявил:

— К сожалению, госпоже фон Клемм придется обратно ехать на такси — господин фон Клемм вызывает меня в Амёнебург.

И был очень разочарован, когда Ленора спокойно ответила:

— Ну так поезжайте скорей, Бекер.

Ей-богу, ей незачем подгонять Бекера, раз его вызывает сам хозяин. С годами господин капитан превратился для него в его Господина.

Ленора ждала этого вызова. Она знала, в чем тут дело. Красные войска, засевшие под носом у союзников в Рурской области, были угрозой для всей Германии. После провала берлинского путча красные еще больше обнаглели; Эберт не в силах справиться с революцией — и вот он снова, как в прошлом году, обратился за поддержкой к старым офицерам, которым в столице сам совал палки в колеса. Теперь он, наверно, счастлив, что распущенные добровольческие бригады и расформированные корпуса отнюдь не распущены и не расформированы, а смещенные генералы на самом деле не смещены. Ленора сняла блузку, которую ей примеряла портниха. Выходя, Бекер подумал: «Никакого стыда нет у этой женщины, даже подождать не может, пока я выйду. Шофер для нее уж и не мужчина».

Но для Клемма он был и остался тем, кто делил с ним военные труды и опасности; Бекер поспешил отвезти ему вещи, и по пути в Хёхст его Господин снова превратился в господина капитана, хотя мундир и лежал еще в чемодане. Для переезда в неоккупированную зону они выбрали самую обычную дорогу — на Грисгейм, так как здесь охрана их давным-давно знала.

— Сначала нужно будет забрать нашу почту у Шлютебока,— сказал Клемм. Это был один из директоров концерна «ИГ Фарбениндустри», у которого была вилла на склоне Таунуса; он был доверенным лицом для передачи информации из оккупированной области в неоккупированную — увядший, забавный господинчик в высоком стоячем воротничке и с усиками. Казался он человеком бесцветным, неопределенных лет, и по его внешности никак нельзя

было предположить, что он еще до войны изъездил весь свет в поисках сырья и рынков сбыта и что он знает Тяньцзинь, как свою папку с делами, а Сидней — как ящик своего письменного стола. Иногда он доставал Клемму хорошие заказы и нужных для их выполнения людей в обмен на такие же услуги со стороны Клемма. Между ними установились прочные деловые и дружеские отношения.

Когда Клемм обращался к нему за советом как младший к старшему, то старался попутно выспросить его. А Шлютебок, давая ему эти советы как старший младшему, выспрашивал Клемма.

Сейчас он охотно выведал бы у Клемма, для какого заказчика он должен гарантировать тридцатилетнюю прочность и для кого нужен чистый деготь с высокой температурой кипения. Шлютебок раздобыл анализ. Но зачем он Клемму? Раньше такие заказы поступали из колоний. Сейчас заказчик, вероятно, англичанин или француз, во всяком случае, кто-то живущий за морем, в тропиках. Шлютебок задал гостю как бы мимоходом несколько вопросов. Сегодня Клемм был взволнован, что не мешало ему быть начеку.

Пока он искал на карте место, куда его вызвали по телеграфу, слуги принимали в кухне Бекера. Совершенно так же, как знали имя Клемма, где бы он ни появился, знали и Бекера, как «шофера Клемма», и слуги всех друзей его господина выказывали ему в гаражах и кухнях такое же почтение как его господину в конференц-залах и офицерских клубах.

Перекусив, они тут же помчались дальше среди ночного мрака. Клемм начисто стер в своей памяти весь истекший год, советы Шлютебока, разнообразные заботы, связанные с делами фирмы и с оккупацией, и внушал своему шоферу, что сейчас они окажутся на гораздо более опасной территории, чем та, по которой разъезжали вместе после окончания войны. Бекер слушал его наставления с удовольствием. Он был до смерти рад, что наконец отделался от дурацких поездок с женой хозяина, и так гнал машину, что людские лица полосами проносились мимо. На одном переезде через полотно железной дороги Бекер подметил недоверчивые и хмурые взгляды охраны, точно и в его господине и в нем самом, хотя они еще были в штатском, чувствовалось что-то подозрительное. Они проехали через несколько заводских поселков, разбросанных среди подернутых копотью по-

лой на подступах к большому городу; здесь уже попадались караулы и патрули, состоявшие из солдат рейхсвера и добровольческих бригад. Усмехаясь, Клемм и его шофер указывали друг другу на обрывки красных плакатов, на лохмотья нарушенного на этой неделе соглашения: рабочий контроль на предприятиях, красные сотни и запрещение рейхсверу переходить границу данной территории. После того как выгнанные из Берлина офицеры нагло провели своих людей через этот город, надписи, сделанные на стенах красными, были соскоблены и замазаны дегтем. Патрули добровольческого корпуса «Лихтшлаг» и рейхсвера ходили по улочкам, где было пусто и тихо, и только гремели сапоги да позвякивали шпоры, так как все мужское население еще яростно сражалось в пригороде за каждую букву того самого соглашения, от которого остались уже одни лохмотья. Клемм был командирован в штаб некоего майора Вальдорфа, помещавшийся далеко от города в сельской школе. На школьном дворе солдаты расположились бивуаком. В ворота заглядывали две девочки с косичками. Выражение их круглых, как яблочки, испуганных лиц свидетельствовало о том, что они не устояли перед соблазном и, несмотря на запрет, решили посмотреть на тех, кто, по словам их отцов и матерей, разрушает все самое дорогое на свете. Когда Клемм выскочил из машины, они в испуге убежали.

Бекер отправился в солдатскую столовую, Клемм пошел доложиться. Счастье, что еще вовремя прибыл! Капитана Л. увезли в Хагенский госпиталь; деревню Р. нужно во что бы то ни стало удержать, пока не придет подкрепление. Если это удастся, то до завтра очистим от противника и этот участок. Клемм постарался запомнить на карте и участок, и нарисованную карандашом стрелу, изображавшую подкрепление. Он нахмурился; времени, протекшего между окончанием войны и этой минутой, больше не существовало. Это уже не разговоры о делах фирмы, это приказ, распадавшийся на ряд совершенно таких же точных приказов. Клемм был так поглощен изучением карты, что вздрогнул, когда кто-то хлопнул его по плечу. Перед ним стоял его друг — хладнокровный красавец Ливен. Они вышли на школьный двор, так как Клемму предстояло сейчас же ехать дальше. Оказалось, что и Ливен едет туда же. Бекер выбежал из столовой. Он удивился, а затем радостно рассмеялся, узнав Ливена, так как возил его несколько

раз вместе с фон Клеммом, и был рад, что снова повезет их обоих.

Они выехали из города, миновали равнину и поднялись на холмы. Ливен предостерег шофера — здесь то и дело происходят автомобильные аварии: вдруг оказывается, что поперек дороги протянута проволока; только со вчерашнего дня весь этот район окончательно в наших руках. Вокруг — нагие кусты, вдали — зеленовато-серый лес, поблескивающий в неверном мартовском солнце речной рукав. Мост был взорван красными, и теперь наведен понтонный. Мелькнул полусожженный хутор. При въезде в деревню они увидели толпу: какую-то женщину привязали к оглоблям и секли за то, что она помогала сведениями рабочим, которые под угрозой репрессий выходили на работу; заводские трубы дымились над безмолвным, точно кладбище, поселком. Весь район до деревни Р. был оцеплен. Совсем как на неприятельской территории — где-нибудь в Арденнах или на Украине. Они поднимались с холма на холм, миновали несколько деревень. Что-то со свистом рассекло воздух и пробило наискось оба стекла в машине. В сидевших сзади только брызнуло осколками. Когда они доехали до места своего назначения и Бекер попытался открыть дверцу, силы изменили ему. Шофер извинился, он был бледен и не мог встать, его куртка пропиталась кровью. Выяснилось, что его задела пуля, пробившая окно. Но он, стиснув зубы, продолжал вести машину, чтобы доставить своего господина до места. Клемм обнял его и поддерживал, пока раненого не уложили в постель, потом зашел еще раз, когда Бекера перевязывали. Они посмеялись, вспоминая, как во время войны Бекер так же вел своего раненого господина.

Ранение оказалось пустяковым, просто царапина, и, когда бои за Рур были кончены, Бекер сам отвез Клемма и Ливена в Хёхст. Клемм сошел у дома Шлютебока, где ему по дороге сюда был вручен приказ. Ливен решил принять приглашение Клемма и поехать отдохнуть к нему в Эльтвиль. Для переезда через демаркационную линию ему на время раздобыли чей-то пропуск.

Ленора еще лежала в постели, когда услышала, что подошла машина мужа. Она с горечью подумала: «Вот они разбили красных, бои окончены. А что я в это время де-

лала? Его дом стерегла». Она завернулась в халатик из серого шелка. В нем она казалась особенно тоненькой и скользкой. Волосы собрала в узел, но они сейчас же опять рассыпались. Насвистывая, сбежала она вприпрыжку по лестнице. Шофер Бекер стоял возле дверцы машины. Однако вышел не Клемм, а какой-то незнакомец. Он представился и, усмехаясь, спокойно принялся ее рассматривать. Ливену отвели комнату, которую прежде занимал брат Леноры Венцлов. Когда сели завтракать, Ленора была уже тщательно одета, как подобает хозяйке дома. Девочка, решил Ливен, которая старательно изображает из себя даму, а вот ногти подстрижены кое-как, кружочком. Ему нравилось, что ее серые глаза то и дело меняют свой цвет. Поэтому он тут же принялся рассказывать об опасностях путешествия сюда в машине, о пуле, пробившей два стекла, о том, что на Бекера действительно можно положиться. Всю вторую половину дня и вечер они просидели на террасе, над Рейном. Казалось, небо местами треснуло, точно над облаками было еще второе, настоящее небо. И его свет прорывался сквозь трещины обыкновенного, более низкого неба и лился на отдаленный хутор, на лесную опушку, на ржаное поле, на паром.

Отовсюду зазвенели трубы — в казармах далеко вокруг начинался «Salut aux Armes». Из Майнца доносились звуки оркестра — происходил смотр какой-то воинской части. Ночное небо снова сомкнулось, только на западе осталась багряная щель, она долго рдела, даже когда вся равнина за Рейном была уже усеяна огнями и фонари на баржах и пароходах тянули по воде свои шлейфы. Ливен рассказывал обо всем, что ему приходило в голову. А воспоминаний у него было достаточно. Он немало пережил и много читал. Ленора ловила каждое его слово. Он казался ей прямо волшебником, умевшим придать невероятную полноту той жизни, которую она считала такой однообразной. А если Ливену не хватало собственных приключений, он вспоминал о друзьях, которые при тех же или других обстоятельствах испытали больше, чем он. Высыпали звезды. Теперь очередь дошла до звездного неба, которое он знал хорошо. Никто еще не показывал Леноре созвездий. Она слушала его с изумлением, точно он все это сам открыл — и Большую Медведицу и Кассиопею. Ливен сказал небрежно, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову:

— Звездное небо надо мной, и вечный закон в моей душе. Этот закон привел меня из русского плена, несмотря на все козни большевиков, через все опасности в Финляндию к генералу Маннергейму, потом обратно в Германию как раз в нужную минуту, чтобы выгнать спартаковцев, участвовать в боях за Рур, и, наконец, сюда. Как утверждает теория сродства душ, встречи между людьми не случайны, они неотвратимы и совершаются по вечным, неотвратимым законам, как движение звезд в созвездии Ориона.— И он положил свою руку на ее. Она нахмурилась, как бы соображая, удобно ли ей будет отдернуть руку.

«Ты не отдернешь руки,— думал Ливен.— Я всю тебя переверну, если даже мне придется пробыть здесь только завтрашний день. Я хочу, чтобы в тебе остался след, даже когда я буду далеко отсюда».

— Кучка красных,— продолжал он рассказывать, чтобы продлить их пребывание вместе,— бежала от нас за Рейн, а переход в оккупированную зону запрещен, и на другой же день союзники отправили их обратно. Теперь они сидят у нас под замком.

Лепора сказала:

— Надеюсь, их уже расстреляли? Хороший урок для этого сброда, который братается с врагом.— Наконец она все-таки отдернула руку, побежала в детскую, взглянула на спящего ребенка и, насвистывая, вернулась.

Ливен сказал:

— Вы похожи на одну героиню Достоевского. Она была так стройна, что ее можно было завязать узлом.

Лепора рассмеялась. Достоевский — этого имени она никогда не слышала. Никогда среди окружающих не встречался ей человек, который бы так много читал, как Ливен. А он принялся рассказывать о своем детстве — сначала в Прибалтике, в имении у родственников, затем в русско-немецкой школе в Петербурге. Он, Ливен, все эти годы был одинок и поневоле, еще мальчиком, привык находить себе друзей среди героев книг. Его ближайшими товарищами стали Родион Раскольников и Иван Карамазов. Он рассказал о них и обещал прислать ей книги.

На другое утро оба решили пообедать в Висбадене. Они улыбались, как заговорщики, придумавшие ловкую проделку. Бекер знал, что Ливен — один из ближайших друзей его господина. И оба они в надлежащую минуту умели говорить надлежащим тоном — властно или по-това-

рищески. Сам Бекер не терпел ни тех господ, которые смотрят на тебя свысока, ни тех, кто ко всему прибавляет «пожалуйста». Все же он сейчас испытывал легкое презрение к Клемму оттого, что колени этого Ливена время от времени касались обтянутой шелковым чулком ноги Леноры, жены его господина. Сколько бы господа ни задирали нос, все же — Бекер мог убедиться в этом, заглядывая в зеркальце против сиденья шофера,— только дело дойдет до баб и романов, их постигают такие же неудачи, как и нашего брата. По какой-то еще непонятной для Бекера причине горничная Элла уже не относилась к нему с прежней благосклонностью.

Когда они подъехали к отелю «Кайзерхоф», Ливен сказал:

— А теперь, дорогой Бекер, не забудьте хорошенько закусить и выпить, разумеется за мой счет.

За столиком он и она склонились над карточкой кушаний, и виски их соприкоснулись. Хотя Ленора была воспитана в духе самой скаредной экономии, она, став женой Клемма, отвыкла интересоваться ценами прейскуранта, а Ливен готов был выбросить большую часть своего жалованья на этот обед вдвоем в «Кайзерхофе». Он остался верен своему решению — в этот короткий срок навсегда перевернуть и изменить всю ее жизнь. Такое вмешательство в чужие жизни он с детства считал доказательством своей власти, касалось ли это школьного товарища или одной из тех девушек, с которыми он заводил свои первые романы. «Даже сейчас,— думал он,— Ленора и внешне и внутренне уже другая, чем она была вчера, когда я приехал».

Они были в зале единственной немецкой парой, французских же офицеров с приятелями набралось немало. Когда Ливен учился в Петербурге, он неплохо овладел французским языком. Два сидевших за соседним столиком лейтенанта заметили вслух, что эта пара — немцы чистейшей воды, но, без сомнения, из хорошей семьи. Ливен перевел:

— Им хочется знать, как немка разводит амуры.

Бледное, даже серовато-бледное лицо Леноры покраснело. А французские лейтенанты констатировали, что эта женщина не имеет ничего общего с обычным типом здешних немок, у всех у них раньше были пышущие здоровьем щеки, пышная грудь, так что война многим даже на поль-

зу пошла: они стали малокровнее. Ливен приказал подать в зимний сад кофе и сигареты.

Бекер был очень доволен, что ему приходится так долго ждать своих господ. Его новая подруга — горничная из гостиницы — ждала вместе с ним возле машины, и он с гордостью показывал ей следы пуль; эти следы по его указанию уже были покрыты лаком в цвет машины. Затем он подсчитал, что уже пять раз спасал своему господину жизнь — на войне, в Берлине, в Руре. Новая подруга, горничная из гостиницы, слушала разинув рот. Когда Ливен со своей дамой наконец вышли, она рассмотрела их подробно и с большим интересом.

На следующее утро Ливен очень рано приказал шоферу отвезти их завтракать на Бирштедскую гору. И он и она сидели неподвижно каждый в своем углу, словно боялись коснуться друг друга. Бекеру в зеркало было видно, что Ливен искоса наблюдает за молодой женщиной, а она смотрит перед собой невидящими глазами. Мартовский день был настолько теплым, что можно было завтракать на открытом воздухе; потом они бродили по лугам и, вернувшись, засунули найденные ими фиалки в стеклянную вазочку на стенке машины. Бекеру было приказано провести день, как ему заблагорассудится, им, дескать, хочется совершить прогулку пешком, да ведь и он, наверно, не прочь получить свободный денек и хорошенько отдохнуть, а вечером пусть заедет за ними в гостиницу. Ливен отдавал все эти приказания, слегка улыбаясь глазами и как бы намекая этой улыбкой на многие пережитые вместе опасные дни.

Уже в восемь Бекер был у «Кайзерхофа». Он жаждал увидеть горничную. Дома эта Элла только загадки ему загадывает. Девочка из «Кайзерхофа» разрешила ему обследовать вырез ее платья, но клятвенно заверила, что никогда не позволит себе принять какое-нибудь предложение от наглых французских жеребцов. Она рассказала ему, что его господа недурно провели денек.

— Гуляли?

— Какое там гуляли, они сняли семьдесят восьмой номер с ванной, на третьем этаже, окнами в парк.

Так как Бекер всегда терпеть не мог эту гордячку Лепору, он тут же возмутился, но что его возлюбленному господину разок не повезло в любви, это Бекер считал делом чисто человеческим, в таких случаях природа не при-

видел разницы. На обратном пути он украдкой взглянул в зеркало: лицо Ливена было спокойно, таким шофер видел его в зеркале не раз за последнюю неделю в самые рискованные минуты. Лицо его спутницы было серьезно и еще бледнее обычного. Оба молчали.

Бекер ничего обо всем этом не рассказал в кухне, считая, что такая болтовня — бабство и вредит репутации дома. Но тайком пристально наблюдал за обоими; однако наблюдать было больше нечего.

На другой день Бекера рано утром вызвали в Майнц, где на вокзале его ждал Клемм. Ливен, конечно, нравился Бекеру. Но, разыскав на вокзале среди прочих лиц лицо Клемма, он решил, что жена Клемма, как все женщины, не видит, кто из них двоих лучше. Однако дал себе слово молчать о своих подозрениях: в конце концов, открытие, сделанное им в «Кайзерхофе», основано только на бабьих сплетнях. Кроме того, он боялся, что такие люди, как эти двое, сейчас же будут стреляться и ему не удастся доказать Клемму, как нелепо враждовать двум порядочным мужчинам из-за столь неосновательной молодой особы. Он испытал только чувство легкого торжества и превосходства, когда Клемм поздоровался с ним.

И на обратном пути он был доволен, что ничего не выдал, да и сам почти забыл об этом неприятном инциденте. Казалось, даже Ливен забыл о нем, ибо радостно приветствовал хозяина дома. Гость уехал в тот же вечер. А Клемм нашел, что его жена ведет себя, как обычно, то капризно молчит, то отдается каким-то присущим ей необъяснимым бурным порывам. Иногда она спрашивала, не прислал ли ей Ливен книгу. Книгу? Тогда она оживленно принималась рассказывать о каком-то романе какого-то русского писателя, и это казалось Клемму очень забавным.

Однажды Клемм сообщил ей, что Ливен командирован в Силезию. Там он дерется с поляками. Ленора ушла в детскую и заперлась там: наконец она поняла, почему Ливен не пишет. Но поняла и то, что он никогда больше не вернется, и стала такой же спокойной, какой была до его приезда. Былые приступы нежности, которые вначале казались Клемму милыми и пленительными, а позднее стали его раздражать, теперь совершенно прекратились. Она просто терпела мужа, спокойно, бесстрастно, равнодушно.

IV

Лиза мыла пол на кухне, она решила сделать в субботу большую уборку. Христиан подмстал двор и при этом просто ковылял, а не заносил больную ногу при каждом шаге. Ребячий плач, мычание коров в хлеву только подчеркивали тишину, не нарушая ее. Вокруг царил глубочайший мир. Как только Лиза из какой-нибудь трещины что-нибудь выскребала, они с Христианом пересмеивались. Весь этот хлам вызывал смешные воспоминания. Тут стеклянный шарик, там головная шпилька, нашлась даже монета, которую когда-то они везде искали, чтобы отдать бакалейщику, да так и не нашли.

Из кухонной двери упала какая-то тень. Увидев Вильгельма, своего мужа, Лиза испугалась, но тотчас овладела собой и весело затрещала.

— Господи Иисусе! А я ведь думала, ты завтра вернешься, да и решила все прибрать к воскресенью. Но ты хорошо сделал, что приехал нынче.

Надлер промолчал. Он казался очень усталым. И от усталости сел там, где стоял,— прямо на пол, в лужу воды. Если жена и удивилась, она сочла излишним это показывать. Она засмеялась и с какой-то шуткой начала подметать вокруг него.

А Вильгельм Надлер все не вставал, как будто в последнее время только и сидел бог знает в каких лужах и бог знает где. Он прислонился головой к холодной печке, закрыл глаза. Но и с закрытыми глазами он видел перед собой полосы на широком фартуке жены, от этого все картины и воспоминания, которые теперь всплывали перед ним из недр подсознания, были полосатые: приближение к Темпельхофу капповских полков, ожидание приказа — их всех в качестве резерва держали на окраине города,— дурные слухи, которые начали понемногу просачиваться, когда этот последний приказ так и не был получен. А вместо желанного приказа пришла весть о том, что все кончено, никакого подкрепления не нужно — в Берлине никаких боев нет,— и затем позорное тайное бегство маленькими кучками. Его капитан Дегенхардт приказал, чтобы каждый, у кого есть возможность где-нибудь спрятаться, уходил; сам он остался с основной группой солдат. А когда капитан отпустил и его, Вильгельм был совершенно убит. Никакая разлука ни с какой семьей не могла срав-

ниться с этим. И вот оно, это возвращение домой, такое же дурацкое, как полосатый Лизин фартук. Как они не оплили проклятую всеобщую забастовку! Лиза выбежала во двор и зашептала Христиану:

— Что-то ему не по нутру пришлось, смотри не показывайся в доме!

А Христиан Надлер подумал сердито и насмешливо: «Наверно, у капповцев был. Говорят, вся сволочь там была».

Вильгельм Надлер стащил солдатские сапоги. Мундир он сбросил по пути, чтобы незаметно пробраться в деревню. Он швырнул сапоги на середину кухни. Лиза спокойно поставила их рядышком. От зимних запасов осталось еще немного копченого окорока. Она дала мужу ломоть, налила тарелку супу, нарезала хлеб.

— Ешь, ешь, ты проголодался!

Он жадно набросился на еду, как будто всю свою злость обменял на голод. Да, окончательное возвращение на родину представлялось ему иначе: в кармане у него достаточно денег, чтобы нанять себе работника или нескольких работников и поденщиков; если он иной раз ненадолго явится домой, его встречают радушно, с почтительными поклонами, как хозяина на его собственной земле. Как барона фон Цизена, который живет на том берегу озера, ходит в высоких хромовых сапогах и иногда надзирает за работами. Лишь теперь, когда все полетело к чертям, Вильгельм понял, насколько иным должно было быть его возвращение.

Раньше он только и думал, как бы войти в Берлин и прогнать к дьяволу всю эту красную банду. Он заботился об отечестве. По крайней мере воображал, что заботится. Ведь свою жизнь ставишь на карту только ради того, что тебе дороже той жизни, которую ты вел до сих пор. Он с жадностью впитывал слова и призывы на плакатах, которые с самой войны так на него и сыпались. Почему именно эти, а не другие плакаты? Не другие слова? Потому что они обещали ему то, к чему он стремился с детства: власть и славу. Славой была для него только официально признанная, вызывающая зависть и восхищение, украшенная орденами слава. А властью — та власть, которая делала бы его сильнее поденщиков и батраков, сильнее всех остальных крестьян. Это не имело никакого отношения к тому, о чем болтали попы,— к славе и силе из «Отче

наш». На что господу богу эта слава, невесомая и туманная? И зачем ему там, наверху, вся его сила, раз он невидим? А теперь никакой славы и силы ни для Германии, ни для Вильгельма Надлера не будет. Верх взяли теперь бродяги, состряпавшие Версальский договор. Те самые люди с красными повязками, которые, когда он возвращался домой, сорвали с него ордена и железные кресты. Тут ему пришло в голову, что, вероятно, уже не удастся заполучить высокие чины и тому господину из военного министерства, перед которым капитан хотел замолвить за Надлера словечко. И он, точно утопающий, слышал, как его захлестывают волны этой нищенской, мучительной жизни, слышал и в реве ребят, и в мычании коров, и в шорохе метлы по камням двора.

Вильгельм так решительно отпихнул локтем пустую тарелку, что она упала на пол и разбилась. Затем улегся на кровати; Лиза подобрала все осколки. Он позвал:

— Поди сюда!

— Сейчас ведь не вечер,— возразила Лиза,— чтобы ложиться спать.

Но муж крикнул:

— Иди! Я же сказал!

Он в бешенстве схватил ее и начал трясти, как будто она была всему виной.

Позднее Лиза сказала Христиану:

— Только не попадайся ему на глаза.

А Христиан про себя подумал, что неплохо бы им обоим больше никогда не попадаться на глаза его свирепому братцу. Но потом он сказал себе, что ведь брат все-таки здесь хозяин и, видимо, вернулся окончательно. Это окончательное возвращение ни для кого не радость. Ни для Лизы, которая охотнее жила с Христианом, так как он был мягок и ласков; ни для Христиана, ибо хорошего от старшего брата ему ждать было нечего; ни тем более для самого Вильгельма, для которого жизнь здесь не представляла никакого интереса. Христиан был неглуп и отлично понимал, что произошло с братом.

Для себя лично он видел выход: он все же крестьянин, и этого достаточно, чтобы жить не мечтами, а тем, что можно осуществить на деле. Еще при жизни отца он изучил сапожное ремесло. Перспектива просидеть всю жизнь на табуретке тогда не казалась ему особенно привлекательной. Но отец потребовал, чтобы младший из сы-

новей научился какому-нибудь ремеслу, так как земли на всех не хватало. Отец умер, третий брат был убит на фронте. А Христиан при своей хромоте все равно не мог бы как следует работать в поле. Он уже давно привык чинить обувь родным и знакомым. Самое лучшее, если он устроится самостоятельно, тогда и его оставят в покое. Конечно, жаль совсем отдать Лизу этому жеребцу, но Лиза уже давно сама смекнула, что ничего другого не остается. Не могла же она допустить, чтобы хозяйство совсем погибло, а с ним и дети. И не мог же он — ни один, ни с ней — уйти от всего этого на своей изувеченной ноге!

Все они прикованы к этой земле, к семье, к крестьянскому хозяйству. И оба брата, каждый по-своему, жаждали вырваться из узкого круга семьи, из тисков этого хозяйства.

Но для каждого из них подобная попытка была обречена на неудачу. Христиану Надлеру не было никакого дела ни до националистов Вильгельма, ни до красных, ни до чего ему не было дела. Он мог самое большее подыскать себе какой-то угол, где он будет работать, где его наконец оставят в покое.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Когда Вильгельм Надлер вернулся домой насовсем, он нашел, что жизнь здесь не так уж плоха. Собственная жена оказалась приятнее, чем он ожидал. Все-таки неплохо иметь в постели молодую, сильную женщину, которая к тому же целый день в поле, при каждом взмахе лопаты только и думает, как бы преумножить их общую собственность. И здесь, в глуши, можно найти людей одинаковых с ним взглядов, да и его начинают ценить по заслугам как человека, который испытал побольше, чем остальные, не только на войне, но и в послевоенные годы. Несколько раз в месяц хозяин «Дуба» предоставлял собственную парадную комнату особо почетным посетителям, которые съезжались из деревень, разбросанных по равнине и по берегам озера. Надлеру доставляло удовольствие шествовать мимо глазевших на него крестьян, не принадлежавших к «Союзу», в отдельную комнату, где собирались его единомышленники и где под ногами не извивались корни, а пол был покрыт хорошим ковром. Тут они могли откровенно рассуждать о том, как худо все обстоит на свете, и гадать, как дела пойдут дальше. Вильгельму очень не нравились настроения деревни. Но ему теперь дана возможность встряхнуть это сонное гнездо. С тех пор как Надлера назначили председателем местного отделения, он установил день памяти павших. Деревенских жителей разбирало любопытство: что там происходит, в этой парадной комнате? В годовщину объявления войны Надлер и его компания шумно пили и кричали «ура», так что на улице было слышно, в годовщину заключения Версальского договора устраивалось траурное собрание, а после убийства Эрцбергера тайком праздновалось избавление от него, ибо он подписал этот договор. Постоянные посетители трактира прокрады-

шлись в комнату «Союза», чтобы поглядеть на висевшую там карикатуру из «Альдейче цейтунг», на которой Эрцбергер был изображен в виде толстого маленького попика. Даже местный пастор Мёбиус, и тот потихоньку ходил смотреть: он не переваривал этого иезуита Эрцбергера. Правда, пастор был возмущен, что христиане радуются убийству, но над карикатурой все же посмеялся.

Правление «Отечественного союза крестьян — участников войны» раз в месяц собиралось в гостинице, стоявшей на берегу озера, и там под председательством господина фон Цизена совещались владельцы вилл и усадеб. Они тоже держались обособленно и пили вместо пива вино. Фон Цизен жил теперь с семьей в имении на другой стороне озера. Он то и дело ездил на собственной машине в Берлин на пангерманские конференции.

Надлер был совсем покорен господином фон Цизеном, а тот уже прощупал Надлера и убедился, что на него можно положиться; барон давал ему теперь ответственные задания и требовал точного отчета об их выполнении. Вильгельм старался запечатлеть в своей памяти лицо Цизена, его манеру выражаться, его жесты и остроты, так же как некогда запоминал привычки и выражения своего капитана Дегенхардта.

Лиза была очень довольна, что муж отсутствует в определенные дни, она охотно обходилась иногда без супружеских радостей, но неуклонно следовала принятому решению — больше не подавать Христиану никаких надежд. Ей и так стоило немалых хлопот удерживать мужа дома — он на каждом шагу искал случая, чтобы впутаться в какую-нибудь драку, в какую-нибудь авантюру, которая освободила бы его от хозяйственных забот. Жена умела отвлечь его от мыслей, которые опять могли толкнуть его к воякам из эрхардтовской бригады, чьи остатки были расселены где-то в Силезии, или из черного рейхсвера, сидевшего по берлинским казематам. Когда ему предстояло решить вопрос о том, участвовать или не участвовать в боях за какой-нибудь клочок земли, Лиза до тех пор поддерживала в нем колебания, пока одна из споривших сторон не брала верх.

Христиан уже начал подыскивать себе новую возлюбленную, что при его хромоте, да еще в деревне было нелегко. Но прежде всего он обдумывал, как бы ему поскорее наладить свою сапожную мастерскую. Он обошел все

дома и стучался во все двери, извещая о своем решении стать сапожником, и спрашивал, будут ли ему давать работу, потом несколько минут молча и грустно ждал ответа, и так как чаще всего ему не говорили ни да, ни нет, а только пытались ободрить, ковылял дальше, жалкий и подавленный.

Под конец он обратился даже к самым прижимистым и упрямым крестьянам. И взгляд, которым он смотрел на них, уже не был ни жалобным, ни беспомощным, но таким же упрямым, как их взгляд, и поблескивал жесткой, злой синевой. Вспоминая потом этот взгляд, они спохватывались, что парень-то потерял здоровье на войне и грех не дать ему починить башмаки. Все удивились, когда он вдруг заковылял в церковь; пасторша и три ее взрослые дочери невольно обратили внимание на инвалида, который подтягивал свою левую ногу обеими руками. Средняя дочка пришла к Христиану в понедельник и попросила подбить подметки. Местный сапожник проклинал этого бессовестного лицемера: Христиан теперь не пропускал ни одной проповеди. А ведь пастор Мёбиус, к счастью народивший многочисленное потомство (во время каникул из Берлина приехал еще сын с несколькими детьми, и они тоже стаптывали башмаки), пастор муштровал своих прихожан, точно фельдфебель на казарменном дворе, заставляя их сидеть в церкви навытяжку.

Иногда Цизен присылал за ним автомобиль или моторную лодку. Иногда воскресным утром, когда Мёбиус обещал сказать особо назидательную проповедь, приезжали дамы Цизен. И в гостинице на берегу озера, и в доме Цизена хвалили проповедь пастора, произнесенную им по случаю убийства Ратенау.

— В священном писании,— возгласил Мёбиус с кафедры,— рассказывается об одном еврее: он сопровождал священную колесницу, на которой избранный богом народ вез ковчег завета. В нем хранились скрижали. В священную колесницу были запряжены волы, ибо народ божий был народом-землепашцем, волов он употреблял как рабочий скот, совершенно так же, как вы, сыны мои и дщери. Но раз, когда волы споткнулись, еврей этот взялся рукой за ковчег, опасаясь, чтобы тот не соскользнул. Тогда усумнившегося поразила молния, и он упал мертвый. Почему же его поразила молния, сыны мои и дщери? Разве этот еврей поступил дурно, испугавшись за ковчег завета? Свя-

щенное писание,— продолжал Мёбиус тихо и проникновенно, и напряжение слушателей еще возросло благодаря его многозначительной паузе,— священное писание говорит о смерти этого еврея как о примере того, что постигает человека, когда он самонадеянно дерзает превысить положенное ему.

Прихожане тяжело вздохнули, задние ряды не видели, что семейство Цизен в переднем ряду улыбается. Христиан Надлер, сидевший сзади всех, не улыбался, потому что вообще никогда не улыбался. И ему было совершенно все равно, кто кого прикончит: он отлично понимал, на что намекает пастор. В газете было напечатано, что два молодых человека, проезжавших в автомобиле, застрелили министра Ратенау: своеобразный удар молнии! Христиан выразил внимание пастору Мёбиусу, нуждавшемуся в подметках, как и большинство смертных, посмотрев на него открыто и чистосердечно своими невинными голубыми глазами. С тех пор как Христиан, отделившись от семьи брата, спал и жил в своей конуре, он никогда не тратил больше того, что давало его ремесло. Свою пенсию по инвалидности он каждый месяц откладывал. Прошло уже столько лет с тех пор, как мир был заключен, что ему удалось скопить если и не очень большую, то все же кругленькую сумму. Часть он предложил брату взаймы, и притом таким робким голосом, точно боялся обидеть его своим предложением, смиренно и смущенно добавив, что ведь иного выхода нет. Арендатору тоже туго приходится, он и сам не рад, что связался с этим участком, и, наверно, согласится взять обратно деньги — ведь он задолжал за пользование молотилкой, а уплатить одновременно и за аренду, и за машину не мог.

Как раз в это время хозяйство у Надлера пошло лучше благодаря владельцу одного берлинского отеля, который решил не ждать, пока яблоки поступят на центральный рынок, а прислал своего агента прямо в деревню, и тот сговорился, что в октябре ему будет отдан весь урожай. Однажды вечером Вильгельм Надлер вернулся домой из очередного своего объезда очень довольный; он привез с собой незнакомого подростка, которого нанял по пути, и отрекомендовал как своего поденщика: со сбором яблок надо было спешить. Паренек казался слишком юным для работника и был очень уж худ, учился он в последнем классе; его отпустили на неделю для сбора урожая; отец убит на

войне, мать, старшие сестры и зятья работают на цементном заводе по ту сторону озера. Мать не видела иного выхода, как послать мальчика на поденную, причем обязала Надлера заплатить ее сыну продуктами. Марка уже начала колебаться, и заработную плату переводили па яйца, муку и хлеб. Таким образом, семья мальчика получит хоть что-то реальное, что не растечется между пальцами, как недельная получка на цементном заводе. Кроме того, пока парень работает, его будут и кормить.

Подросток — его звали Пауль Штробель — оказался выносливее, чем можно было ожидать. Правда, Надлер так крепко взял его в оборот, что у того иной раз от усталости даже голод пропадал. Свои мальчишки, привыкшие к такому труду, дивились, что чужой не вылизывает дочиста всю миску. У него были торчащие уши, круглые веселые глаза и чудесные зубы. Дома ему внушали: молчи, что бы тебе ни говорили, не то еще расплюешься с хозяином до конца уборки. А Вильгельм Надлер испытывал невесть какую гордость оттого, что у него есть в некотором роде батрак,— пусть даже жалкий батрачишка, пусть даже на время.

— Ну и выжига ваш брат,— сказал мальчик, сидя в мастерской у Христиана.

На что Христиан с усмешкой ответил:

— Да ведь ты скоро отделаешься от него.

Парнишка отозвался живее, чем в кухне, где он молча глотал куски и замечания Надлера:

— Вот я на пасху школу кончу и поеду в Берлин, буду там учиться на сварщика.

— Смотри, там из тебя тоже все соки выжмут.

— Ну, самое большее восемь часов в день, а потом я свободен.

Христиан ничего не ответил. Он знал, что крестьяне вечно ругают берлинских рабочих за их дурацкие требования, только бессовестные лодыри могут настаивать на восьмичасовом рабочем дне: мыслимое ли дело после восьми часов работы уже не доить или не косить? Накануне отъезда Штробеля Христиан сам предложил мальчику подбить за ночь новые подметки к его стоптанным башмакам, так как днем он носил их не снимая. При этом Христиан сказал:

— Ты бы не получил своих башмаков, если бы я не пожелал работать свыше восьми часов.

— Послушайте-ка,— сказал мальчик. Больше всего он любил сидеть в мастерской у хромого Надлера: тут он ощущал присутствие чего-то такого, чего в доме у Вильгельма не было; как и все мальчуганы его возраста, он всегда чувствовал, есть ли в людях то, что ему по душе. И из всех членов надлеровской семьи это что-то он находил только в молчаливом и угрюмом Христиане, который постоянно торчал в своей мастерской, отгороженной от хлева лишь дощатой перегородкой.— Послушайте-ка,— сказал мальчик,— насчет подметок — это, конечно, с вашей стороны замечательно. Но ведь подметки-то для такого же, как вы!

Христиан промолчал. Паренек ему нравился, и он жалел о нем, когда тот ушел, надев рюкзак, в котором лежало все, о чем договорились, и ни на грамм сверх уговора. Но сколько воспоминаний о полудетских, неслыханных в деревне разговорах и диковинных, может быть подхваченных на цементном заводе, мыслях оставил ему этот мальчик! Подобно всем сапожникам, Христиан мог, постукивая молотком по подметкам, без конца предаваться размышлениям обо всем услышанном.

Вильгельм вскоре опять обратился к брату. Теперь, когда он отделался от арендатора, кормов у него было вдоволь, а к кормам полагается корова; настало время подумать и о планах, с которыми Лиза уже давно к нему пристает. Правда, Вильгельм только что заново отремонтировал весь свой инвентарь, но если он увеличит и свое поголовье, мужики прямо рот разинут. Христиан один раз дал ему взаймы, почему бы не дать еще раз? Однако Христиан опередил его: когда торг по поводу коровы был в самом разгаре, он приковылял из своей конуры в кухню.

— Этот еврей заломил такую цену, что мне не хватит, даже если я отдам все яблочные деньги,— сказал Вильгельм.

Христиан кивнул; он сделал несколько попыток сбить цену, посматривая исподлобья на посредника, который, засунув руки в пустые карманы пальто и выпятив нижнюю губу, настаивал на своем. Тогда Христиан предложил брату взаймы, если тот не будет поспевать со взносами.

А посредник, старик Леви, только диву давался: никогда еще не приходилось ему встречать подобного великодушия — ни у евреев, ни у христиан, но раз младший Надлер дает письменное обязательство, его лично это устраи-

вает. Вильгельма это, конечно, устраивало еще больше. И когда потом Христиан, опустив глаза, дал понять, что должен же он как-нибудь отблагодарить брата, уступившего ему свой чулан под мастерскую, Вильгельм счел себя необыкновенно великодушным, согласившись на предложение Христиана.

Лиза опять забеременела, на этот раз, без сомнения, от законного мужа. Иногда, убирая утром у скотины, она слышала, как Христиан ковыляет по своей конуре, отделенной от хлева только дощатой перегородкой. Вот он передвигает табуретку, вот стучит по сапогу. Христиан неизменно держался в стороне от семьи брата, только один раз крикнул:

— Эй, Лиза, приведи как-нибудь малыша.

Тогда она вошла к нему в мастерскую и с одного взгляда поняла, что дела его идут неплохо: груда башмаков, которые надо было подбивать и латать, наверно, давала ему солидные денежки, и можно было жить только на этот заработок, не трогая пенсии. Она спросила:

— Которого же?

Христиан, продолжая стучать молотком, сказал с расстановкой:

— Ну, конечно, младшенького, мне хочется поглядеть на него.

Женщина присела на ящик.

— Когда тебе время возиться с малышом? Вон сколько у тебя всяких сапог навалено!

Христиан не ответил; Лиза не уходила.

Несмотря на выступающий живот, она принялась болтать ногами, она даже вытянула губы и сделала попытку посвистать; Христиан метнул на нее взгляд исподлобья, затем низко склонился над работой. Она ждала, тихонько посвистывая; тогда он сказал:

— Ты не бойся, Лиза. Мне и в голову не придет, чтобы такая, как ты, когда-нибудь опять слюбилась с таким, как я.

Лиза ответила, смеясь глазами:

— Ну ладно. Если тебе непременно хочется поглядеть именно на младшего, я быстренько приведу его к тебе, сегодня ему в первый раз идти со мной на картошку, он уже большой.

Она ушла. Убедившись, что мужа со старшим мальчуганом нет дома, она встряхнула младшего, который, ожи-

дал ее, выдергивал щетину из щетки. В мастерской он занялся обрезками кожи. Христиан ничего не сказал. Он продолжал постукивать молотком, забивая гвозди и словно не замечая обоих.

Так как вопрос с коровой был решен, Вильгельм начал вводить в своем хозяйстве кое-какие улучшения. Однажды он собрался в Берлин.

— Ты мог бы мне дать расписку, какую выдал этому Леви, что, мол, ты, Христиан, ручаешься за своего брата Вильгельма... На случай, если я найду что-нибудь подходящее, а то вдруг у меня не хватит денег.

Христиан опустил голову, точно сам чувствовал, что глаза у него слишком синие и слишком колючие, лицо же приняло почти смиренное выражение, он тут же сообразил, что выдать такое поручительство, по которому любому немецкому суду в один прекрасный день станет ясно, сколько брат ему задолжал, не только не вредно, но, напротив, очень даже для него выгодно. Ведь дело не в том, что ему предстоит истратить часть своих сбережений, а что он тем самым получает право на компенсацию из их общего наследства. Раз братья земли не делили, он должен получать от брата пособие на изучение ремесла и оборудование мастерской, а также определенную долю на старость, жилье и питание. Христиан предпочитал, чтобы такие вещи были написаны черным по белому раз навсегда. А брат не способен представить себе заранее то, что еще не случилось. Он даже хорошенько не посмотрел, чего там нацарапал Христиан. Главное, чтобы он благодаря своей и Христиановой подписи получил в рассрочку нужные ему части машины.

А Христиан, видимо, не спешил получить обратно свои деньги, он даже не заговорил о них, когда Вильгельм весьма выгодно продал берлинскому скупщику птицу, поросят и сверх того излишки картофеля.

II

После отъезда Ливена Ленора каждый день ждала письма, хотя ей уже было ясно, что он к ней никогда не вернется. Вся прислуга скоро заметила, что она два раза в день из углового окна высматривает почтальона. А тот, шагая через поля со своей почтовой сумкой, мог бы от са-

мого Эльтвиля видеть сквозь стекла ее лицо и высушенные ожиданием глаза, следившие за ним на протяжении целого километра. Но он приносил только деловые письма для господина фон Клемма или письма от единомышленников, которые, опасаясь оккупационных властей, поддерживали связи со своими союзами и объединениями по ту сторону демаркационной линии с помощью всевозможных хитростей и уловок. Тем временем Клемм организовал из служащих и инженеров своего завода, а также отдельных рабочих некое собиравшееся по вечерам сообщество, которое числилось в списках союзов как «Рейнское содружество». У них была та же программа, что и у других сходных союзов в самых отдаленных немецких городах. В Эльтвиле и в окрестных деревнях люди уже давным-давно пронюхали, что́ за письма получает Клемм — вечером в трактире они выспрашивали почтальона.

Ленора ни разу даже не видела ливеновского почерка. Однажды вернулось письмо, на котором она сама написала адрес Ливена. При том чувстве покинутости, которое ей самой казалось непонятным и невыносимым, молодая женщина решила все же поступиться своей гордостью, лишь бы он подал хоть какие-нибудь признаки жизни. С напускным оживлением просила она Ливена в этом письме прислать книги, которые он так расхвалил; письмо вернулось с пометкой: «Адресат не найден». Ливен исчез из ее жизни так же, как появился, скользнув мимо, точно призрак, и оставив после себя несколько чуждых ей представлений, странных цитат, воспоминания о ласках и заглавиях книг. Каким грубым и неловким казался ей теперь Клемм! И его молодцеватость и его остроты — сплошная пошлость. Когда он, случалось, обнимал ее, Ленора только терпела его объятия. И Клемм, не выдержав, как-то сказал двоюродному брату — тому Клемму без «фон», своему бывшему заместителю на предприятии, которого он некогда оттеснил, но теперь вполне компенсировал почти братской откровенностью,— что Ленора, видимо, принадлежит к типу женщин, обещающих в девичестве очень много, но после замужества переносящих всю свою нежность на детей. Этим объясняются и ее былые порывы, которые его так удивляли в полевом госпитале, а в первый приезд домой просто ошеломили.

Однажды за обедом Клемм упомянул о том, что его друг Эрнст Ливен отличился в Польше в боях с повстанцами.

Ленора чуть побледнела, как бледнеют от природы бледные женщины. Ее лицо как будто побелело изнутри.

Клемму было приятно видеть, что на вечерних собраниях «Рейнского содружества» Ленора стала вдруг держаться настоящей хозяйкой дома, чего нельзя было сказать прежде.

В этот вечер невесты и жены членов «Содружества» поднялись все наверх, чтобы послушать доклад хозяина дома, теперь и о Леноре они отзывались лучше, видя ее гостеприимство. Несмотря на тесноту, всем нашлось место в кабинете, куда были поданы чай, вино и домашнее печенье. Бекера тоже позвали наверх. Клемм заявил:

— Каждый камрад — желанный гость.— Пусть их собрания послужат опровержением марксистской болтовни относительно классовых противоречий. А Бекеру было очень приятно, что госпожа фон Клемм по приказу мужа должна и ему, Бекеру, наливать чай. И так как чашки передавались по кругу, то даже сначала ему, а уже потом директору Шлютебоку. Последний в виде исключения тоже оказался сегодня здесь. После совещания Клемм убедил его присутствовать на докладе. Они договорились объединить филиалы своих фирм в Люксембурге и зарегистрировать их под видом французской фирмы. Таким образом удастся избежать всех неприятностей, которые могут возникнуть в связи с выплатой репараций или прекращением выплаты. В Амёнебурге они быстро пришли к единому мнению: постыдный Версальский договор не должен бросать тень на их старое почтенное предприятие. Затем вернулись в машине Шлютебока в Эльтвиль. Бекер был свободен и вместе с остальными ждал доклада. Шлютебок, старичок неопределенного возраста, уже не раз слышал, как его единомышленники восхваляют «Рейнское содружество», и потому решил лично ознакомиться с этой образцовой организацией, которую Клемм с такой ловкостью и знанием людей создал на своем заводе. Директор легко дал себя уговорить еще и потому, что был в хорошем настроении. Во время разговора с Клеммом о делах ему удалось-таки узнать, для кого именно Клемму понадобился деготь с высокой температурой кипения, чтобы при пропитывании не повредить растениям: оказывается, не для тропиков, а для какого-то большого садоводства на юге Франции. Когда Шлютебок вошел, Клемм как раз вбивал в головы своим гостям, насколько важно поддерживать именно здесь, среди

прирейнских жителей, волю к единству германского жизненного пространства и сознание необходимости как можно решительнее вводить в дело германские добровольческие корпуса в самом восточном из боевых районов. Клемм воткнул флажок в определенную точку на карте, висевшей над его письменным столом; судьба Аннаберга в Силезии, атакованного одним из германских добровольческих корпусов, должна быть нам не менее близка, чем судьба Фельдберга в районе Таунуса. Враг взял отечество в клещи с Востока и с Запада; на Востоке клещи эти захватывают Силезию, а на Западе доходят до Рейна. То, чего здесь хотели добиться санкциями, от которых мы страдаем с Лондонской конференции, в Верхней Силезии достигнуто с помощью плебисцита. Клещи должны отхватить там кое-что в пользу поляков, а здесь, придравшись к пустякам, враг оккупировал Дуйсбург и ищет предлога, чтобы занять всю Рурскую область. Ведь шахты Рура и Силезии — это главное богатство страны, ее основная сила.

Пока Бекер чистил машину, Ленора поднялась наверх к мужу. Клемм сидел за письменным столом спиной к двери. Она еще раз отыскала на карте флажок, обозначавший то место, где был ее возлюбленный. Она решилась даже спросить как бы мимоходом:

— А где теперь наши люди?

На что Клемм тоже вскользь ответил:

— Конечно, опять в Германии. Из-за этих голосований и соглашений они ведь и в Польше лишились того, что завоевали своей кровью.— И добавил: — Ливен, наверно, тоже сидит теперь где-нибудь в Восточной Пруссии, там несколько порядочных людей попрятали у себя по имениям остатки корпуса.

Когда Клемм спустя полчаса выехал в Амёнебург, его шофер Бекер повернулся к нему:

— Если господин фон Клемм разрешит мне высказать свое мнение, господин фон Клемм произнесли сегодня такую речь, что просто мурашки по спине бегали.

— Да? Значит, тебе понравилось, Бекер? Когда в Верхней Силезии происходила вся эта история, там участвовало немало наших с тобою старых знакомых. Лейтенанта Ливена там ранили... Ты ведь, наверно, помнишь его?

— Ну еще бы! — отозвался Бекер.

Он был горд тем, что Клемм сказал «наши с тобой старые знакомые». Он был горд тем, что хранит в своем сердце ключ к семейному счастью своего господина.

На той же неделе ему пришлось убедиться, что в отношениях, которые ему лично казались проще простого, и для него может таиться подвох. После примирения с Эллой он смотрел на их брак как на дело решенное, хотя и воздерживался от обычного предложения руки и сердца. За обедом в кухне Бекер любил разглагольствовать о том, что верность до гроба бывает только у солдат на действительной службе, ему и в голову не приходило, что Элла может обидеться на какие-нибудь его интрижки. Она ведь позволяла ему целовать себя с головы до ног и не стеснялась даже приходить к нему в комнату. Но вдруг однажды, когда он вошел в кухню, она выбежала вся заплаканная — слуги фыркнули; он заметил, что девушка повязалась платком, точно у нее болела голова.

— Ты и ночью спишь в платке? — спросил ей вдогонку садовник.

А когда Бекер в другой раз неожиданно настиг ее, рванул к себе и платок съехал на затылок, он увидел, что пышного узла волос у нее на голове больше нет. Элла, плача, объяснила, что, когда она возвращалась с танцев домой, на нее напали какие-то гнусные озорники и отрезали ей косы за то, что она якобы танцевала с французом, а на самом деле француз только заговорил с ней по пути, она изо всех сил отталкивала его, но он со своим обычным французским нахальством обхватил ее за талию; кто-то это видел и, вместо того чтобы хорошенько съездить француза по морде, стал ее срамить и уверять, будто она гуляет с французами; потом возле самой деревни ее подкараулили, наверно, какие-нибудь обиженные мальчишки, с которыми она не хотела танцевать, и вот они решили ей отомстить и сделать ее всеобщим посмешищем. Элла, видимо, надеялась, что милый утешит ее. Однако Бекер холодно посмотрел на нее.

— Что-то мне это не нравится, барышня.— И даже толкнул ее коленом в живот, когда она хотела обнять его.

В кухне он решительно заявил:

— Никто не может требовать от нас, чтобы мы ели за одним столом с французской шлюхой,— и добавил, точно хозяином дома здесь был он: — Собирай свое барахло и уходи.

Элла была уничтожена и так ошеломлена, что даже не защищалась.

Вся прислуга сначала всполошилась, но затем была вполне удовлетворена, когда чета Клеммов безоговорочно признала самовольное решение Бекера правильным. В кухне особенно хвалили хозяйку дома за то, что она в этом деле поддержала обоих мужчин — своего мужа и шофера, и все единодушно подтверждали, что Элла к такому дому, как дом Клеммов, не подходит. Такой дом, да еще в оккупированной зоне, должен быть чист как стеклышко. Да и парень, лишивший Эллу ее длинных кос, оказался членом основанного Клеммом «Содружества». А помощница горничной расхаживала по дому, гордо откидывая толстые косы, словно хотела сказать: «Мне-то не отрежут!»

Однако происходившим в доме совещаниям между немецкими и французскими экспертами нельзя было помешать. Приторный запах какой-то заграничной помады, знакомый жителям Прирейнской области запах постоя, распространился по всему дому, им пропиталась даже обивка машины. Бекеру впервые было не по себе: втайне он все же тосковал по Элле, с которой так грубо порвал, и все эти признаки оккупации — чуждые запахи, чуждые интонации — непрерывно напоминали ему, хотя он и скрывал это, какой испорченной оказалась выгнанная им девушка.

III

Остатки некогда стоявшего в Верхней Силезии добровольческого отряда, в который входил и Ливен, были размещены в имении, принадлежавшем семейству фон Глеймов, заявившему о своей готовности предоставить офицерам и солдатам убежище на неограниченное время. Однако и хозяева и гости были согласны в том, что неограниченное не значит безграничное и что это пребывание будет кратковременным и должно так или иначе скоро кончиться. Так же как солдаты, которые вернулись после войны, израненные, измученные, изувеченные, потрясенные до глубины души, не могли себе представить, что все вопросы могут быть урегулированы с помощью каких-то там конституций, договоров и санкций, так и теперь ни один человек не верил в то, что после недавних событий, опять стоивших

крови и тревог, все вопросы могут быть решены без его участия несколькими государственными деятелями. Последнее слово ведь еще не сказано. Молодежь нескольких стран пролила свою кровь во имя той или другой цели. Правда, в Венгрии уже давно покончили с красными, но над бесчисленными демонстрациями в бесчисленных городах грозно развевались красные флаги; и даже в Париже и Лондоне дети рабочих выводили на замерзших окнах серп и молот. Молодая Советская страна стряхнула с себя интервентов, она еще раз доказала историкам, что молодые народы после внутренних переворотов не слабеют, а, наоборот, крепнут и выпрямляются. Когда Буденный дошел до Варшавы, все столицы Европы насторожились: если красноармейцы, разутые и раздетые, действительно оказались под стенами польской столицы, кто знает, как далеко на запад они еще продвинутся. И когда Красная Армия остановилась под Варшавой, одни вздохнули с облегчением, другие замерли. Новое польское государство заявило о своих требованиях. Немецкие добровольческие корпуса вели бои против повстанцев в Силезии. Затем бои были приостановлены. Начались совещания, голосования, резолюции. Вдруг оказалось, что всю жизнь, всю пролитую кровь нужно втиснуть в формулы, бескровные, как газетная статья.

В бумажные решения никто не верил. В этом сомневались все, как бы ни были они чужды друг другу в остальном. Все ждали окончательного, добытого горячей кровью, настоящего решения. Но одни считали, что их собственная жизнь изменится, лишь когда весь мир изменится в корне; другие — что их собственная жизнь может измениться только в том случае, если опять возродится германская империя, грозная и могущественная, какой она была, Священная империя, как она уже некогда именовалась, а быть гражданином Священной империи германской нации — это стоило всех принесенных жертв.

А пока для отряда Ливена был построен целый поселок из бараков, находившийся дальше от господской усадьбы, чем от железнодорожной станции Банвиц, при маленькой деревушке того же имени, где жило несколько сотен крестьян-бедняков. Молодой Глейм продолжал даже после демобилизации состоять в добровольческом корпусе. В результате целого ряда непредвиденных смертей имение перешло в его руки. На случай, если действительно вскоре

произойдет переворот, эти солдаты, получившие у него приют, будут служить оплотом от нападений красных банд, которые представлялись людям типа Глейма неукротимыми и бешеными, точно стихийные силы. А до тех пор — во время жатвы и сезонных работ — солдаты явятся хорошей острасткой иностранным и отечественным рабочим.

Офицеры жили в одном из флигелей помещичьего дома; кроме множества комнат, там был огромный зал, выходивший окнами в сад. До постройки нового здания этот флигель и был главным домом. В те времена допускались всевозможные завитушки и отступления от архитектурного стиля. Образцом могли служить постройки Фридриха Великого в Потсдаме и Сан-Суси. При виде длинного фасада с полукруглыми окнами, среднее из которых между двумя коринфскими колоннами стояло открытым, особенно ясно чувствовалось, насколько эти архитектурные изыски не соответствуют волнообразной, пустынной, тускло мерцающей долине, расстилавшейся вокруг. Так размышлял Ливен, возвращаясь через сад, а не через главный вход, расположенный почему-то не спереди, а сбоку. Ливен выпросил у Глейма для общего зала всякую старинную мебель, часы, клавесин, ломберные столы. Друзья, сидевшие в зале и занятые игрой, чтением и вином, шумно приветствовали его. Руку он носил на перевязи; у него было такое чувство, как будто он и в самом деле вернулся к себе домой; где бы он ни находился — в номере гостиницы, в вагоне железной дороги, в чьей-нибудь усадьбе,— он всюду и на всем старался запечатлеть свои прихоти и приучить к ним окружающих.

Сегодня по его инициативе в большом зале офицеры давали бал, на который должен был явиться сам Глейм в качестве гостя, а не хозяина, а с ним — члены его семейства и семьи окрестных помещиков. Офицеры настояли, чтобы праздник был устроен за их счет на том основании, что Глейм хотя и обеспечил им приют и питание, но получал со своего поместья недостаточно, чтобы еще оплачивать их развлечения. Деньги присылались офицерам из Германии отдельными националистически настроенными группами, понимавшими, что эти добровольческие формирования пока не следует распускать. Ливен занялся осмотром сервировки, цветов и всех приготовлений, сделанных по его указаниям. Его однополчане были веселы; они радовались, что увидят хорошеньких женщин и что можно будет

потанцевать. Извинившись, Ливен под каким-то предлогом удалился на час, обещав вернуться до начала праздника.

Он уже чуял в этом разукрашенном зале приторное дыхание скуки: всех приглашенных он успел хорошо изучить за истекшие месяцы; он знал, что́ каждый скажет и как будет одет. Его друзья, видимо, ждут, что этот праздник по какому-то волшебству всех переродит. Но таких праздников не бывает. Единственное, что способно перерождать,— это опасность, только тогда люди становятся на себя не похожи — только тогда! На войне жить со всеми этими господами было еще можно — и в Прибалтике, и в Руре, и в Польше. А сейчас их кости уже скрипят, как старая мебель. Столь великодушно предложенное гостеприимство, может быть, ему нужнее, чем всем другим,— ведь у него нет ни своего угла, ни семьи, и все-таки ему опостылело существование в этом далеком имении среди примелькавшихся лиц, среди тех, что были его товарищами.

До него уже доносились разнообразные звуки, говорившие о том, что праздник скоро начнется: Лютгенс заиграл свой любимый мотив, кто-то громко расхохотался, загудел клаксон подъехавшей машины. Денщик бережно помог ему сесть в седло: Ливену мешала рука на перевязи. Когда он отъезжал, огни и тени в окнах свидетельствовали о том, что праздник начался. Он надеялся, что ему удастся забыть о том, как смертельно скучны некоторые из офицеров. Ведь они были раньше его братьями по оружию, затем стали братьями по судьбе, а теперь они братья по скуке.

Он поехал в деревню, уселся в трактире возле станции, но этот трактир оказался одним из самых унылых и безлюдных, в каких он когда-либо бывал. Через некоторое время вошли двое крестьян с мешками, они выпили по стакану пива, уставились на него и, склонив друг к другу всклокоченные головы, обменялись впечатлениями на его счет. Затем вошел посетитель, которого Ливен знал,— это был управляющий Глеймов по фамилии Шубгут. Он спросил Ливена, как его рука. Но хотя Шубгут и сел, Ливен решил помолчать и выждать, какую тему для разговора изберет тот.

— А я здесь дочку дожидаюсь, она приедет из Штетина, училась там в школе. Жена умерла во время войны, а что за жизнь для девушки со стариком отцом! — У него были почти по-молодому блестящие глаза и солдатское

усатое лицо.— Извините, пожалуйста, господин лейтенант, лучше я подожду на путях. Вы мне разрешите пока оставить здесь мой сверток?

Ливен смотрел ему вслед. «Отчего это старый хрыч такой радостный? Ему просто на месте не сидится. Ах да, дочь!» — вспомнил Ливен тут же.

Поезд пришел и ушел. Шубгут вернулся с дочерью. Ей было лет пятнадцать-шестнадцать. «Природа не дает определенных указаний на то, где водятся самые стройные девушки,— подумал Ливен.— Афины не получили в этом смысле исключительных прав: на железнодорожных станциях Восточной Пруссии такие девушки тоже иногда встречаются». У этой были стройные высокие ножки, небольшая крепкая грудь, на редкость густые косы, заплетенные от висков. Самое обычное становилось в ней привлекательным, как будто все это было обдумано заранее: разделенные на прямой пробор волосы, красно-синее платье цветочками.

— Мне нужно вынести пакет к встречному поезду,— сказал Шубгут,— я вам на несколько минут оставлю мою девочку.

Девушка спокойно посмотрела на Ливена. Глаза у нее блестели, как у отца. Ливен пристально разглядывал ее; его продолжительное молчание, видимо, нисколько ее не смущало, и то, что на нее смотрят в упор, беспокоило ее не больше, чем беспокоило бы пейзаж или птицу. Ливен сказал:

— Когда я был мальчиком, мне подарили книжку, наверно, она и у вас была: сказки братьев Гримм. Там есть сказка про девушку, которую колдунья заперла в башне. Девушка высовывала в окно голову, и ночью возлюбленный взбирался к ней по ее длиннющим косам.

Девушка сказала:

— Ой, наверно, ей больно было.

— Не думаю. Косы у нее были такие же длинные и крепкие, как ваши. В течение многих лет я старался представить себе эту девушку. Мне кажется, я всегда тосковал о ней.

— И что ж, вы ее встретили?

— Три минуты назад, хотя искать я давно уже перестал.

Она недостаточно быстро откинула косы за спину, и он успел схватить одну из них. Он так ловко намотал ее на

руку, что девушке пришлось слегка наклонить голову. Уже закинув обе косы за спину, она спросила:

— Что это у вас с рукой?

— Мы заложили мину и взорвали польский штаб. Вам отец, наверно, рассказывал... и нас всех приютил у себя Глейм, когда нам все-таки пришлось уйти оттуда.

— Почему?

— В результате подстроенного голосования. Межсоюзная комиссия подарила потом эту землю Польше.— Он торопливо начал рассказывать, она смотрела на него не мигая, точно видела перед собою все то, о чем он говорил. А ему приходило на память столько удивительных происшествий, впечатлений и эпизодов, как будто он жил не одной своей жизнью, но и жизнью многих других людей. Так случалось с ним всегда, когда в сферу его власти попадало что-нибудь, что ему особенно нравилось.

Вернулся Шубгут. От радости, что он видит дочку, он улыбался, и в уголках его глаз лучились мелкие морщинки. Перед станцией его ждал экипаж, куда он посадил дочь и запихал все свои свертки. Затем взял в руки вожжи. Ливен поскакал рядом.

Вскоре девушка поменялась с отцом местами: она пять месяцев просидела за партой и теперь ей хотелось самой править. Когда они доехали до того места, где проселочная дорога отклонялась от шоссе, Ливену следовало свернуть. Он отлично слышал, как во двор имения в колясках и автомобилях съезжаются гости. Но продолжал следовать за экипажем до самого дома управляющего. Перед ним была золотисто-каштановая грива его лошади, равнина, тянувшаяся до горизонта, красные полосы в вечернем небе, откинутая голова девушки с косами от самых висков. До него доносилась музыка, которой встречали прибывавших гостей. Все, что раньше представлялось ему унылым и пустынным, теперь превратилось в декорацию, на фоне которой разыгрывалось возвращение девушки. Ни зеленые ставни, ни кусты шиповника — ничто не было забыто в этой постановке. Экипаж и всадник остановились перед домом управляющего. Ливен помог распрячь лошадь. Ради приезда девушки экономка подала на стол кофе с пирожными. Ливену тоже поставили чашку. Шубгут был счастлив и горд тем, что красота дочери привлекла к нему в дом одного из самых знатных гостей. А Ливен, сидя за столом, чувствовал себя чужим и выключенным из непринужден-

ной и спокойной юности этой девушки — до тех пор, пока с помощью Шубгута не отодвинули стол в угол, чтобы освободить место для танцев. Вальс, который Лютгенс играл в барском доме, доносился сквозь пестрые занавески в неярко освещенную столовую управляющего. Девушка быстро снизу вверх взглянула на Ливена. Чуть блеснули в свете лампы ее глаза и зубы. «Пусть она завтра ждет меня, па сегодня хватит!» Подхватив девушку, как ребенка, под мышки, он посадил ее на колени к отцу, который, зажав в зубах трубку, с удовольствием смотрел, как они танцевали. Он был горд, их веселье правилось ему.

Десять минут спустя Ливен уже входил в зал, где его приятели принимали гостей. Ливена встретили смехом и упреками за то, что он заставил себя ждать. При его появлении праздник оживился, как потухающий костер, в который подбросили топлива. Играли тот же вальс; вокруг мелькали женские лица и обнаженные плечи. Может быть, эти женщины были очень красивы, может быть, очень безобразны. То волшебство, какое таит в себе каждая влюбленность, расточалось здесь в бесчисленных словах и взглядах, и каждый из гостей жаждал урвать себе что-нибудь, хотя и не мог знать, откуда повеяло таким волшебством. Глейм, худощавый и чопорный, представил Ливена нескольким друзьям. Он очень гордился тем, что ответы Ливена звучат так парадоксально и заставляют гостей призадуматься.

Глейм воспользовался их присутствием, чтобы назначить на завтрашнее утро совещание. Лишь немногие уехали почью домой, большинство осталось в поместительном главном доме на воскресенье. Будущий глеймовский тесть, министерский советник, взял слово. Его доклад соответствовал складу его ума: введение, основная часть, заключение. Ливен переводил взгляд с одного лица на другое. «Ничего не поделаешь — это мои единомышленники,— думал он.— Я здесь в гостях, а господин министерский советник — будущий тесть Гейма».

Он чувствовал всем существом, как нетерпеливо девушка ждет его и давно поглядывает из окошка на проселочную дорогу.

Когда Ливен только к концу дня наконец вошел в столовую управляющего и взглянул на его дочь, он увидел, что предчувствие не обмануло его. Ее покой, еще вчера казавшийся ему несокрушимым, был уже нарушен. Старик

оставил их одних, ему надо было ехать верхом в поселок, где жили батраки. Они прислали к нему депутацию, ввиду того что расселение нескольких тысяч солдат грозило пагубно отразиться на их заработке. Глейм объяснил им через управляющего, что бесприютным солдатам предоставлена для добровольного поселения только небольшая пустошь. Когда старик возвратился, гость сидел на том же стуле, а дочь поспешно выбежала, чтобы заплести косы. Затем она вернулась, но уселась с работой подальше от стола, куда едва достигал свет лампы. Отец рассказывал, как прошел день, он размышлял вслух о том, действительно ли солдаты из пограничной охраны и горных районов намерены поселиться здесь. И надолго ли? Ведь рано или поздно, но корпус опять начнет действовать. В его лобастую голову просочились те же слухи, о которых Ливен узнал на утреннем заседании. Опять было произнесено слово «переворот». «Что старик себе при этом представляет?» — раздумывал Ливен. Что ему это даст? Прибавку к жалованью, на которую тогда, быть может, хватит денег у Глейма, и никаких историй с батраками: им придется подчиняться тарифам. Прощаясь, он повернулся к отцу спиной и еще раз сжал рукой косы девушки.

Они условились встретиться в лощине за мельницей. Сначала он решил, что лучше не приходить на свидание; после первых порывов отчаяния она утешится, а он — он тогда сохранит ее в памяти такой, какой увидел впервые на станции: самым юным и самым прелестным созданием, которое он когда-либо встречал. Да, но самое прелестное сейчас было чуть-чуть менее прелестным, а самое юное — чуточку старше. Его, Ливена, уже не выкинешь из ее жизни. Поэтому лучше все-таки отправиться под вечер на условленное место. Она пришла, шагая непринужденно и твердо своими высокими ножками, ее осанка казалось спокойной и гордой, пока ему не видно было ее лица. От полотняного платья веяло свежестью и чистотой; потом ему стало жаль этого измятого платья. И он продолжал его разглаживать, пока девушка расплетала и заплетала косы.

В последующие дни он приходил то раньше, то позже, чем его ожидали. Он еще издали узнавал ее спокойную, уверенную походку. Он видел, как иссушены страхом ее глаза, когда он опаздывает, и как она, сидя на земле, рвет на части травинки. Он принес к ним в дом граммофон. Экономка готовила гостю вкусные блюда.

Иногда Шубгут спрашивал:

— Ну, когда же опять воевать будем?

Девушка, насупившись, ждала ответа, а Ливен бросал небрежно:

— Видимо, не скоро.

Здесь еще мало чувствовалась инфляция, о которой приезжие гости рассказывали всякие ужасы. То, что экономка подавала на стол, росло на своем огороде.

И вдруг он не пришел. Старик спросил свое дитя:

— Куда он пропал? Вы поссорились?

Девушка покачала головой. В том-то и загадка, что они ни разу не поссорились.

А в офицерском флигеле господского дома коротышка Лютгенс спросил:

— Эта маленькая Шубгут, Ливен, кажется, ускользнула от тебя? Ты бы видел, как она вчера отплясывала!

— Ну и пусть,— отозвался Ливен.

— Можно подумать, что ты тайно влюблен в кого-то? Уж не в невесту ли?

Так они называли будущую жену Глейма, дочь министерского советника. Это была чрезвычайно боевая особа, которая, по здешним понятиям, превосходно одевалась. Ливен лежал без сна на своей кровати. Дочка управляющего давно уже не влекла его. Он только чувствовал ее неустанное, бесполезное ожидание. И оно завораживало его больше, чем любовь. Окружающие рассказывали, что старик Шубгут с ума сходит: его дочь пустилась во все тяжкие. Она участвует во всех увеселениях — ни одна танцулька без нее не обходится, даже в поселке иностранных рабочих, куда ходить не принято.

Однажды он встретил девушку — она шла по деревне в сопровождении каких-то хулиганов и бросила на него быстрый взгляд, в котором должна была выражаться бравада, а на самом деле выражалось отчаяние. Этот взгляд проник Ливену в сердце, в ту сокровенную часть, которой, по его мнению, давно следовало отмереть и стать недоступной ни для каких чувств. Этот взгляд подтвердил ему то, на что он надеялся, но в чем не был вполне уверен: его след еще не исчез. Чтобы ощущать собственное бытие, Ливену необходимо было видеть себя отраженным в ком-то другом.

Он принялся усиленно ухаживать за «невестой», которой его и так дразнили. Поэтому Глейм нисколько не возражал, когда Ливен сообщил ему о своем отъезде. За этот год уже многие офицеры уехали из флигеля. Кое-кто хотел хоть временно вернуться в свои семьи; несколько человек отправились в Берлин, чтобы там получить назначение в тайно формировавшиеся части, которые скоро опять понадобятся. Но, как всегда в подобных случаях, имелись и такие, кому хотелось выждать в глеймовском имении, пока их призовут. Они не могли себе представить, что совсем затеряны и забыты здесь, и мечтали о походе на Рейн или в Силезию.

Вышло очень удачно, что двоюродный брат Ливена пригласил его к себе. На занятые деньги он снял в аренду землю на побережье, в нескольких часах езды отсюда. От тяжелого ранения, полученного им в Прибалтике, он почти оправился; он все еще был старшим в роде, хотя и без рода. Ливен написал, что приедет, как только сможет, написал также, хотя это не вполне соответствовало истине, что искренне рад увидеться с единственным своим родственником.

IV

С помощью тети Эмилии Мария стала надомницей. Мастерская, находившаяся во дворе тетки, сдавала еженедельную продукцию фирме, которая в свою очередь снабжала большой универмаг продукцией нескольких мастерских. После долгих переговоров с этой фирмой универмаг наконец согласился оплачивать товар по курсу доллара, и владельцы мелких мастерских теперь настаивали на том, чтобы фирма ввела такой же расчет и с ними. Работницы мастерской во дворе тети Эмилии были постоянно в убытке: пока с ними производится расчет, проходит один-два дня, в лучшем случае — несколько часов; за это время деньги уже успевают упасть, а цены вырасти, как волшебный цветок. Если жена ждала дома заработка мужа, а он запаздывал и ей вместо вечера удавалось пойти в булочную только на другое утро, то денег уже хватало не на целую буханку хлеба, а всего на несколько хлебцев. Намеченный заранее воскресный обед сводился к одной котлете. То, что раньше стоило мясо, по новому курсу марки

теперь надо было заплатить за два-три фунта костей, их хватало только на суп да погрызть детям.

Пришивая дома для тетки несколько сотен пуговиц или несколько метров тесьмы, Мария получала свои марки раньше, чем муж; она дожидалась во дворе, когда ей заплатят, и потом прямо от тетки бежала к мяснику или к булочнику, до того как возвратится Гешке, который работал теперь очень далеко от дома.

Иногда Мария просиживала ночь над шитьем, чтобы успеть в то же утро получить от Эмилии деньги на хлеб и молоко.

Теперь все швеи во дворе считали просто счастьем, что Эмилия умеет поговорить с каким угодно мужчиной. Она знала, как обойтись и с агентом фирмы, который появлялся лишь изредка и всегда был мил и весел, и с владельцем мастерской, человеком необщительным, даже угрюмым; она занимала особое положение; ни одну девушку, пользовавшуюся покровительством Эмилии, нельзя было теперь выбросить на улицу просто так, здорово живешь. И она нашла слова утешения для племянницы, когда Мария, чуть не плача, вернулась к ней от бакалейщика, так и не купив кофе на воскресенье, ибо цена на него уже успела за ночь снова взлететь. Ни один человек не мог понять, что означают эти цифры на денежных знаках — о миллионах и биллионах люди слышали раньше, только когда речь шла о звездном небе, а там — это уж дело всемогущества божьего. А теперь такие же числа замелькали перед ними на паршивых коричневых бумажках здесь, на земле. Гешке тайком сохранил сберегательную книжку первой жены; даже он никак не мог понять, каким образом ухитрилась она сколотить сто марок. Быть может, тогда, когда он еще сидел в окопах, а она заболела гриппом и, уже предчувствуя смерть, в последний раз нанялась мыть лестницу в доходном доме, чтобы подработать еще немного и довести свои сбережения ровно до ста марок? Мысль о нежданном наследстве, быть может, поддерживала ее в предсмертные минуты? Она, быть может, радовалась, умирая, что мужу и детям останется хоть эта память о ней? И то, что теперь эта сумма растаяла в несколько дней, казалось Гешке гораздо страшнее, чем крахи крупных банков. Он сунул маленькую, совершенно обесцененную книжечку в карман. Нет, он был неспособен сделать то, что сделал старик Бенш из подвального этажа: когда деньги

обесценились, он взял их со сберегательной книжки и повесил в уборной на крючок для бумаги.

Мария тянулась из всех сил, чтобы прокормить детей, так же как тянулась покойная жена Гешке. Если Мария хотела, чтобы сыт был ее собственный мальчуган, она считала, что совершенно так же должны быть сыты и трое ребят Гешке — Пауль, Франц и Елена. Сына она назвала Гансом — по своему отцу; случайно оба дедушки носили одно имя.

В свое время она побоялась предложить имя Эрвин, оттого что у нее на родине существовал обычай давать новорожденным имена умерших. Она не смела тайком отрезать своему мальчику лишний ломоть хлеба или сунуть ему — за спиной остальных ребят — кусочек сахару. Он был теперь так худ, что лопатки чуть не прорывали рубашку. И оттого, что он был кожа да кости, его лисье личико казалось еще острее. На подбородке у него была ямочка, а на лбу два бугорка, как у отца. Когда он сердился или смеялся, в его серых глазах тоже вспыхивали искорки. Больше всего ему нравилось удирать от нее как можно дальше и шататься вместе с Францем. А ей было бы гораздо приятнее, если бы он, как его старший сводный брат, сидел около нее в кухне и играл пуговицами.

По вечерам за скудным ужином Гешке думал не раз: если бы она знала, какие наступят времена, она бы так не стремилась родить ребенка. И словно это была дурная мысль, а дитя неповинно в бедах здешнего мира, он брал малыша на колени и начинал его подкидывать. Мария уже не была так хороша, как раньше: последний год состарил ее больше, чем старят роды и болезни, но вокруг лба, у корней волос, все еще лежало легкое сияние. И когда Гешке заглядывал иной раз к бакалейщику, он радовался, что эта узкая полоска света на голове одной из многочисленных женщин, стоявших там, светит именно в его жизни.

Однажды вечером — Гешке не было дома, а дети уже спали — явилась тетя Эмилия. С таинственным видом притворила она за собой дверь и на цыпочках подошла к столу, на котором Мария гладила. Ее вытянутая шея и поблескивающие глазки свидетельствовали о том, что на душе у нее есть какая-то важная тайна, о которой нельзя болтать и вместе с тем невозможно о ней не сообщить.

— Мария,— сказала она,— у меня был один человек и спрашивал про тебя. Понятия не имею, каким образом он

узнал мой адрес. И так настойчиво допытывался. Я сказала ему, что ты завтра с утра принесешь мне готовую работу.

Мария хрипло подхватила:

— Когда он говорит, то щурит один глаз, у него шрам от левой брови и до самых волос. Блондин.

— Да, блондин,— отозвалась Эмилия.— А шрама я не заметила. И потом я совершенно не обратила внимания, щурится он или нет.

Мария не спала всю ночь. Она знала; что Эрвин к ней вернется, если только он не лежит в могиле. Ее непрестанный зов должен был дойти до него, если он не умер. Она должна была призвать его своим ожиданием. Может быть, за последнее время Мария уже не ждала так неустанно, как ждут того, что человеку на свете всего дороже. Может быть, среди всех своих трудов и забот она изменила ожиданию, привязалась к чужим людям... А вот теперь ей предстоит стряхнуть с себя всю эту семью, которая так душевно относится к ней, бросить этих ребят, у которых нет другой матери. И Гешке станет прежним ворчуном; и как бы неожиданно горячо и буйно ни было ее счастье, Мария не смела себе признаться, что ей почему-то больно, словно ее милый отсутствовал уже слишком долго, а ведь ясно, что ей придется взять за руку сына и уйти отсюда. Она не испытывала даже угрызений совести за то, что все тут бросит, а только думала: «Как-нибудь уладится», или: «А бобы надо было все-таки замочить».

На другое утро она всевозможными хитростями старалась удержать сына дома. Затем выбежала во двор, куда он все-таки ускользнул, загнала его домой, надела на него все чистое и потащила на улицу.

— Он уже здесь,— сказала Эмилия и добавила: — Зачем ты малыша приволокла?

Гость вскочил. Его белокурые волосы были причесаны на пробор, на нем был стоячий воротничок и галстук.

Мария прижала к себе сына. Эмилия посматривала то на племянницу, то на гостя, и ноздри ее вздрагивали от любопытства. Гость воскликнул:

— Вы не узнаете меня, фрейлейн Мария? Простите, фрау Гешке? — И затем торопливо продолжал, видя, что Мария молчит: — Признаюсь, я сам женатый человек. Моя жена и не подозревает, где я сейчас нахожусь. Боюсь, она не в силах понять, отчего меня всем существом так потя-

нуло сюда. Она ни за что бы не поверила, что тут только влечение сердца, а вовсе не какая-то интрижка. Женщинам сразу приходят в голову нечистые мысли, они не понимают, что для нас, мужчин, главное — мечта, хотя принято считать совсем наоборот. Я как-то видел, что вы сюда вошли, тут мне вспомнилось — ведь вы здесь когда-то жили. Вы тогда произвели на меня неизгладимое впечатление, фрау Гешке. Я рад, что вы нашли свое счастье, хотя у нас с вами ничего и не получилось.

Мария вспомнила, что стоящий теперь перед нею мужчина и есть тот самый контролер подземки, который некогда на Бель-Альянс-Плац сделал ей предложение и уговаривал освободиться от ребенка. Этот румяный и белокурый молодой человек, ухитрившийся невзирая на инфляцию даже несколько располнеть, показался ей призраком. Она почувствовала смертельную усталость, на сердце у нее была такая же печаль, как в тот вечер, когда Эрвин впервые не пришел к ней. Ей почудилось, что появление этого чужого человека неоспоримо доказывает всю бесцельность ее ожидания. Оживленный, разряженный, с ярким галстуком, он представился ей зловещей птицей, весело хлопающей крыльями над могилой.

Она уложила на диван задремавшего малыша, пересчитала пуговицы и петли; молодой человек украдкой рассматривал ее склоненное лицо — после первого разочарования он почувствовал, что эта женщина опять влечет его к себе своей светлой головкой, своим тихим лицом.

Эмилия поспешила подать на стол кофе и оживленной болтовней о том и о сем удерживала у себя гостей, ибо имела особую склонность устраивать чужие любовные дела. Про себя она думала: «Может быть, этот парень и был отцом того ребенка, от которого в свое время освободилась моя племянница?»

Следующую ночь Мария опять просидела за работой, пришивая новую партию пуговиц; время от времени она на цыпочках подходила к своему сыну, который спал в одной кровати с Францем. Указательным пальцем она тихонько проводила по его бровям; она легла только под утро. В недрах ее отчаяния таилось какое-то успокоение, так же как прошлой ночью в ее счастье была какая-то необъяснимая тревога. Значит, ей все-таки не придется бросить на произвол судьбы эту чужую семью. Утром она побежала в магазин, чтобы успеть купить кусок колбасы — к полудню

колбаса станет уже недоступной. Увидев бутерброды, которые принес на завтрак Гешке, рабочие решили, что ему с молодой женой привалило прямо сверхъестественное счастье.

Он и сам был убежден в своем счастье. Никакого раздражения он в ней не заметил даже в тот день, когда его опять рассчитали. Мария стала только еще больше пришивать пуговиц и петель из тесьмы для тетиной мастерской. Когда он возвращался с биржи труда, она обычно лишь поднимала голову, вопросительно смотрела на него, и тени от темных ресниц так и оставались лежать на тихом личике, в котором он ни разу не прочел укора.

Тени остались и тогда, когда Гешке наконец радостно заявил, что нашел работу. Он устроился при какой-то фирме, перевозившей грузы для компании «Сименс-Бау-Унион». Городская железная дорога, которая вела с севера на юг, от Зеештрассе к Темпельхофу, достраивалась. По мере того как удлинялась линия, ездить на работу ему приходилось все дальше; однако, несмотря на ничтожную оплату — он получал восемьдесят восемь пфеннигов в час,— Мария снова давала ему с собой вкусные бутерброды, и товарищи завидовали Гешке.

Он верил, что счастье опять поселилось в его четырех стенах. И не мог себе представить, что приносящий счастье сам не всегда бывает счастлив.

А Мария все переносила спокойно. В плохие времена она повторяла себе: «Не так уж все плохо, как могло бы быть». А в хорошие времена: «Не так уж все хорошо, как могло бы быть».

V

Венцлов отдал приказ прочесать квартал до наступления ночи. Из какого-то дома были даны два выстрела, его солдат был ранен. Офицеры уселись в пивной, расставив вокруг нее часовых. На стенах еще висели обрывки листовок, выпущенных правительством земли Саксония, социалистических воззваний и призывов пролетарских сотен. Если бы буквы на этих обрывках были зрячими, они очень подивились бы тому, что здесь теперь сидят офицеры рейхсвера, посланные из Берлина не в Баварию, где правые то и дело затевали путчи, а в Саксонию, где образовалось ле-

вое правительство. Отдельные группы прочесывали квартал, от них каждую минуту поступали сведения о том, как идут обыски и разоружение.

В том квартале, за который отвечал Венцлов, находилась старая булочная, снабжавшая хлебом почти все его население. В булочной работал подмастерье, уже не первой молодости, совсем юношей попавший на фронт, а затем после ранения долго скитавшийся по лазаретам. В конце концов он опять нанялся за стол и квартиру к прежнему хозяину, который помог ему освежить забытые на войне познания в пекарном деле. По судорожному подергиванию левой половины лица было видно, что на фронте его действительно засыпало землей и контузило. Это был длинный, тощий малый, худосочный и бледный, как ростки картофеля в подвале.

Подмастерье пробрался в пивную через боковую дверь, выходившую в переулок, которого из окон дома не было видно. До войны это был простодушный, веселый парень, но увечье сделало его беспомощным, и постепенно он привык, где бы ни находился, искать себе прежде всего защитника. И это стало его второй натурой — всегда поддерживать того, кто сильнее,— и в роте, и в лазарете, и в семье булочника, и среди покупателей из этого квартала. Он был слишком туп и хил, чтобы интересоваться событиями, за которыми затаив дыхание следили не только клиенты булочной, но и вся Саксония. Для такого человека, как он, все эти собрания и демонстрации были лишены всякого смысла, не говоря уже о каких-то там отрядах гражданской самообороны или красных сотнях. Его дрожащие конечности, его ослабевшая, дурная голова не располагали никаким запасом сил, который дал бы ему возможность почувствовать себя равным другим людям, тем более людям, стоявшим выше него. Однако он ощущал всем своим существом, что блистающие обмундированием, вооруженные до зубов солдаты могут гораздо скорее защитить его, чем окружавшие его взволнованные, спугнутые с места, оборванные люди. Он был слишком тщедушен, чтобы примкнуть к добровольческим отрядам, сражавшимся заодно с рейхсвером против той части населения, которая поддерживала красное правительство земли Саксония. Это правительство было бельмом на глазу у центрального правительства. А союз между коммунистами и социалистами наглядно показывал всей стране, что такие союзы возможны.

Теперь на улицах было тихо; и если даже где-то раздавался женский крик, где-то хлопала дверь или что-то с грохотом катилось по лестнице, все эти звуки были все-таки тише обычного городского шума в обычные вечера, ибо то, что этот крик — крик женщины, у которой арестовали мужа, а грохот на лестнице — грохот от катящегося стула, пущенного кем-то в идущих делать обыск, вряд ли понимали сидевшие в пивной, не причастные к происходившему люди. Офицеры же за круглым столом, заваленным картами, планами города, именными списками и подставками для пива, отлично знали, что все эти звуки не меньше, чем выстрелы или слова команды, сопутствуют роспуску правительства, разгону депутатов и запрещению красных сотен. Они знали также, что гораздо легче распустить правительство какой-нибудь провинции или магистратуру огромного города, чем пролетарскую сотню.

Подмастерье уже несколько минут стоял в углу, держа шапку в руках; его ноздри вздрагивали, он понимал значение этих звуков не хуже, чем офицеры. Даже лучше, ибо отлично знал каждую квартиру и каждую семью многоэтажного дома, в котором находилась булочная. Капитан грубо приказал ему подойти к столу. Затем еще раз приказал выяснить, входят ли в список подозрительных лиц арестованные, которых собрали во дворе. Потом сделал ему знак, и парень выскользнул в боковую дверь. Через главный вход с улицы вошел ординарец. Он доложил, что операция закончена. Ночь, до которой было приказано ее закончить, еще далеко не наступила. Дневной свет еще доходил до стола, заваленного бумагами, хотя и лился в окно пивной всего лишь с узкой полоски городского неба. Между нависшими над улочкой крышами открывалась вторая, совершенно свободная небесная улочка, голубовато-серая и обесцвеченная томительным днем. Дырка от пули в треснувшем оконном стекле, как чей-то посторонний глаз, глядела в занятую офицерами комнату, где лежали осколки и разбитые бутылки. Уцелел только своеобразный берестяной сосуд с причудливой крышкой, сделанной из корневища. Этим сосудом хозяева пивной, наверно, очень гордились. На стене еще висели постановления последнего заседания ячейки и воззвание правительства, подписанное коммунистами и социалистами. Отчетливо были видны следы двух пуль: первая попала в одного из солдат Венцлова

как раз в тот момент, когда они занимали пивную, еще до того как началось прочесывание и оцепление, вторая пуля прошла над стойкой и застряла в одном из бортов, который пробила с особой аккуратностью, словно стараясь не задеть стоявших тут же пивных кружек.

Ординарец отступил на шаг, так как капитан просунул голову между головами сидевших офицеров, и они вполголоса начали о чем-то совещаться. Три лейтенанта, из которых один был гораздо старше капитана, тут же закивали, торопливо соглашаясь. Из числа арестованных надо отобрать тех, кто наиболее подозрителен, а именно: ответственных руководителей сотен и затем председателей ячеек.

— И все это немедленно, до наступления почи,— повторил капитан, невысокий человек, державшийся как-то особенно прямо и браво, и взглянул сквозь простреленное стекло на голубовато-серую небесную улочку, точно он капитан не рейхсвера, а небесных воинств. Он уже готов был отпустить ординарца, когда через боковую дверь вернулся подмастерье; капитан кивнул, и вошедший, взяв со стола аккуратно очиненный карандаш, подчеркнул в списке две фамилии, отобрав их с такой же тщательностью, с какой женщина отбирает на рынке нужные ей овощи. Капитан быстро провел карандашом черту, связав эти две фамилии с уже отобранными. А подмастерье вернулся на прежнее место у боковой двери. Венцлов искоса взглянул на него, не поворачивая головы, чтобы парень не заметил интереса к себе. Венцлов был еще настолько молод, что ум его не успел притупиться от многообразных впечатлений. За свою службу в армии он почти не имел дела с такими вот шпиками, и бледная физиономия подмастерья вызывала в нем тревожное чувство. Он думал: «Зачем этому парню так нужно было выдать еще двоих? Что руководит им? Алчность? Желание играть роль? Или он просто свихнулся еще с войны?» Тут капитан прервал размышления Венцлова, послав его проверить выполнение приказа. Венцлов взял с собой двух караульных, стоявших перед пивной.

Когда он, пройдя двое ворот, вошел во двор, перекличка арестованных уже кончилась: шестеро мужчин и две женщины. Лицо одной из женщин было сурово и спокойно. Решение, которое двадцать минут назад побудило ее стрелять из своей комнаты в ворвавшихся к ней солдат рейхсвера, было, вероятно, обдумано заранее. У второй, почти девочки,

были дерзкие глаза и вздернутый нос, она стреляла так же смело, как раньше на дворе швыряла камешки. Однако Венцлова не интересовали ни женщины, ни мужчины, загнанные в угол глубокого, уже сумеречного двора. Вокруг них стояли солдаты с примкнутыми к ружьям штыками. На металлических частях еще поблескивали последние лучи заходившего солнца, ибо все совершалось согласно приказу «до наступления ночи». Он выкрикнул еще две — отмеченные подмастерьем — фамилии. И тех, кто был отобран из группы, погнали во внутренний двор — узкую щель, отгороженную от большого двора и отделенную дощатой стеной от задней стены дома — здесь обычно хранилось топливо. На всех этажах были расставлены часовые. Все окна было приказано запереть — выходившие как во двор, так и на улицу. Отблески света на стальных шлемах и на штыках померкли. Отражение зари угасло сначала в окнах первого этажа, выходивших во двор, затем второго, и наконец ослепли все окна. Когда кучку обреченных вталкивали в щель за дощатой стеной, они яростно сопротивлялись, побуждаемые инстинктивным страхом смерти и ненавистью. А конвойным, также охваченным ненавистью и страхом смерти, казалось, что их предали и что они, несмотря на свое оружие, беспомощны в этом каменном мешке среди враждебных им людей.

Офицеры, сидевшие за столом в пивной, насчитали четыре выстрела. Во дворе конвойный вывернул руку девушке, которая вдруг стала звать на помощь. Девушка пронзительно вскрикнула — этот крик донесся в штаб, в пивную. Она укусила солдата в плечо и в руку.

Капитан, сидевший за столом, сказал:

— Готово.

На мгновение воцарилась такая тишина, словно в этих четырех выстрелах исчерпали себя все звуки, существующие на земле. Остановилось дыхание не только у расстрелянных, но и у всех людей во дворе и в домах. Даже Венцлов затаил дыхание. Затем издали донесся шум грузовика, подходившего, чтобы увезти остальных. Солдаты застучали прикладами. Молоденькую девушку ударили прикладом, ее пришлось тащить, она продолжала кусаться и царапаться. Тогда в воротах раздался еще один выстрел. Кем он был сделан — этого не поняли ни капитан, ни его люди, ни даже Венцлов, наблюдавший за погрузкой. Затем два

солдата вывели из ворот во двор какого-то паренька. Юноша не сопротивлялся, его взгляд был невозмутим. Блондин, лет двадцати, в этом доме не жил. Когда тут же выволокли со двора чье-то тело, его губы скривила легкая усмешка. Венцлов тотчас узнал убитого: это был подмастерье. Конвойные, вцепившись в юношу, поставили его перед Венцловом, показали ему револьвер, из которого тот стрелял в подмастерья. Убийца был совсем из другого района. Он оказался здесь случайно, как связной. Отец юноши тоже состоял в пролетарской сотне и тоже взволнованно и страстно ожидал великих событий. Но когда на прошлой неделе рейхсвер начал занимать город и вместо приказа о сопротивлении из Берлина пришел приказ о роспуске сотен, старик, бросив оружие, обозленный и разочарованный, забился в угол, точно стыдясь выйти на улицу без знаков различия своей сотни, как стыдился бы наготы.

Юноша, наверно, был очень ловок как связной, его никто не знал, его имени в списке не оказалось, и до сих пор никто его не выдал. Так и не удалось установить, зачем он пришел сюда сегодня вечером и как проскользнул через оцепление. В результате своих собственных или чьих-то наблюдений он убедился в том, что подмастерье доносит офицерам на жильцов; юноша прокрался следом за ним и тут, в этих воротах, через которые ходили также в булочную, застрелил его.

Одновременно пришло распоряжение от капитана — поторопиться с погрузкой арестованных. Венцлов приказал сейчас же прикончить парнишку. Раз вожаки схвачены, надо дать населению успокоиться.

Юноша не сопротивлялся, когда его повели в щель за дощатой стеной. Он знал, что его ждет. Его взгляд едва скользнул по убитым, лежавшим на земле и ожидавшим его. Раньше он регулярно бывал у одного из них в качестве связного. И когда выстрел уже прогремел и юноша уже лежал поперек убитого, на спокойном молодом лице было такое выражение, словно он, и мертвый, готов продолжать порученное ему дело. Перед тем, еще во дворе, он прямо и спокойно посмотрел на Венцлова без намека на слабость или страх, скорее внимательно. Венцлов приказал погрузить на первую машину всех арестованных, а на вторую — всех убитых. Потом дал приказ об отходе, оставив только часовых в воротах и на лестницах.

Когда вечером Венцлов наконец лег в постель, он был настолько переутомлен, что заснул не так быстро, как надеялся. Он старался представить себе предметы и образы наиболее отдаленные, например соседку, маленькую Ильзу Мальцан, как она когда-то давно, стоя на лестнице, торопливо и благодарно посмотрела на него. Представлял ее губы, которые он не решался поцеловать, ее маленькую грудь, которой не касался. Теперь, в полусне, он дерзнул наверстать то и другое. А будущая теща, фрау Мальцан, стоя на лестнице, смотрела на них из-за плеча тети Амалии. Это было просто смешно. Он повернул голову девочки так, чтобы ее не спугнуло любопытство обеих дам. Его лично оно не трогало. С тем большей смелостью позволил он себе все, что ему хотелось. Не помешало ему и то, что лестница сверху донизу быстро наполнилась людьми. Венцлов никак не мог теперь отогнать все те лица, от которых, засыпая, так хотел отделаться. Они разместились по ступенькам: капитан, затем три офицера из пивной, его собственные солдаты, на верхней площадке тот солдат с огромными ушами, в которого утром стреляли из дома, а также арестованные. Во сне они все мирно стояли вместе на лестнице, любопытствуя, как он дальше поведет себя с маленькой Мальцан. Парень, который стрелял в подмастерья, спокойно смотрел на него. Глаза у него были совершенно ясные, без всякого страха, но внимательные. В этих серых глазах вспыхивали крошечные светлые точки, и ему, Венцлову, они мешали. Однако этот парень вовсе не был связным, за какого себя выдавал, он оказался совсем другим человеком. И ему тут, на этой лестнице, совершенно нечего было делать. Венцлов давным-давно убил его. Его лицо даже начало разлагаться и посерело, за исключением четырех точек: двух бугорков на лбу и выступающих скул. Венцлову очень хотелось его кое о чем спросить, еще тогда, в машине, хотелось спросить: «Ради чего ты рисковал жизнью, объясни ты мне, ведь мы примерно сверстники». Но в присутствии Клемма спросить было невозможно. Клемм был выше всяких вопросов, не только этого вопроса. А Ливен тем более. Нельзя было задавать такие вопросы и в присутствии двух других — конвойного и шофера. И вообще нельзя, ведь парень-то убит. Клемм кивнул, а он, Венцлов, выстрелил. На лестнице уже не осталось никого, кроме тети Амалии, и она недовольно покачивала головой. Ее недовольство относилось к тому, как племянник ведет

себя с маленькой Мальцан. Почему он и принялся объяснять ей, что это как раз подходящая жена для него. И увидел по тонким, поджатым губам тети Амалии, что объяснение возымело свое действие. Даже во сне ощущал он, что тетка день и ночь его ждет. Она единственный человек на свете, который для него целиком свой. Наверняка тетка и сейчас думает о племяннике, она всегда о нем думает.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Окно кухни выходило в сад, и перед тетей Амалией он был как на ладони, но сама она оставалась невидимой. Помешивая мармелад, она никак не могла удержаться, чтобы время от времени не поглядывать на влюбленную парочку, которая, запрятавшись в кусты сирени, через забор смеялась и шутила, считая себя скрытой ото всех. При этом поджатые черствые губы тети Амалии обмякли. В уголках глаз и вокруг рта появилась особая улыбка, которая обычно бывает у влюбленных. Ее длинное костлявое лицо покраснело, подпертая тугим воротничком шея и высокая прическа делали его еще длиннее. Легкий отблеск чего-то на ее чертах и бережная мягкость движений говорили о том, что она могла бы стать совсем иной, если бы и на нее подул ветер жизни, который сдувает с листьев пыль, а с сердец старых дев сдувает горечь. Молодой человек уже не уговаривал девушку в соседнем саду, он показывал ей, как хорошо лежит ее ручка в его руке — точно птичка в гнезде.

Девушка в соседнем саду была, вероятно, еще слишком молода для любви. Тетя Амалия считала, что она к тому же еще слишком глупа, чтобы понимать, какого возлюбленного ей послала судьба. Венцлов был вылитый отец — ее брат,— когда тому было лет двадцать-тридцать: та же словно вытянутая кверху голова, увенчанная шлемом блестящих волос. Сын, может быть, держался еще более прямо и подтянуто, чем отец. Это сделала война, которая вошла ему в плоть и кровь; отец во время предпоследней войны, 1870—1871 годов, был, к сожалению, еще ребенком. Племянник же вырос в годы войны. На фронте он узнал не только с чужих слов, не на маневрах, что это значит — рисковать всем, что такое опасность и власть над людьми, над жизнью и смертью. Тетя Амалия понимала, почему пле-

мянник так сильно влюбился в эту невзрачную девчушку из соседнего дома: она могла со временем стать для него вполне подходящей женой, так как выросла в почтенной семье и воспитана в тех же правилах, в каких тетка, заменившая племяннику и племяннице мать, воспитала их. Правда, девочка слишком молода, но это, как говорится, недостаток, который убывает с каждым днем. И теперь, когда эта девочка положила голову на грудь молодого человека и тетя Амалия увидела, как он через забор гладит ее по волосам, которые были немного светлее его собственных, старой деве почудилось — первый раз в ее жизни,— будто он поглаживает ее по сердцу. Тетю Амалию никто никогда не любил. Ее собственная мать умерла рано, и она стала вести хозяйство отца, как вела потом хозяйство брата, тоже после преждевременной смерти его жены. Амалия никогда не была хороша, но она гордилась своим лицом: красивое там или некрасивое, оно почти до смешного повторяло фамильные черты Венцловов. Бывавшие у них офицеры, подвыпив, не раз уверяли, что у кронпринца в точности такое же, как у нее и у Фридриха Великого, удлиненное, сдавленное на висках лицо со слегка вытянутым носом, напоминавшее борзую, и они любили острить по поводу того, что, может быть, в прошлом столетии, когда семья Венцловов была принята при дворе, кто-нибудь из членов императорской семьи совершил грехопадение. Теперь она даже гордилась тем, что до сих пор носит столь дорогую ей девичью фамилию. Тете Амалии не пришлось менять ее на фамилию мужа, как обычно приходится менять женщинам, когда они выходят замуж.

Тетя Амалия поставила черную смородину на газ. Когда она возвратилась к кухонному столу, на котором ей уже нечего было делать, она увидела, как племянник, сжав между ладонями головку девушки, поцеловал ее в губы. Она даже увидела своими по-старчески дальнозоркими глазами, как та залилась румянцем. У тети Амалии тоже дух захватило. Вероятно, этот поцелуй затронул ее глубже, чем маленькую Мальцан, уже хотя бы потому, что Амалия, невзирая на сходство с гладильной доской, умела чувствовать очень глубоко. Маленькая Мальцан получила второй поцелуй и третий. А она, тетя Амалия, слышала при каждом поцелуе неровный бег времени, дыхание непроницаемого будущего, поступь новых поколений, которые ее переживут.

В соседнем саду кто-то позвал: «Ильза!» Девочка быстро отодвинулась. Венцлов сломал ветку сирени. Он еще держал ее в зубах, когда входил на кухню к тетке, помешивавшей черную смородину в тазу. Она осторожно вытащила ложку из таза, сказав:

— Тебе, конечно, хочется сладенького.— И протянула ему большую ложку, которую он с жадностью облизал, как в былые дни, когда ему для этого приходилось подниматься на цыпочки; теперь же он наклонил голову. Тетка засмеялась беззубым ртом, поджимая и без того тонкие губы. Она спросила:

— Может быть, пригласить к ужину маленькую Мальцан? — И, считая, что отлично владеет даром тайной дипломатии, добавила: — К сожалению, мне придется позвать ее одну. Мармелада хватит как раз на нас троих.

А Венцлов воскликнул:

— Ты чудесная женщина!

Таких слов еще не говорил ей ни один мужчина. Сердце у нее радостно забилось, и она припялась усиленно помешивать мармелад. Эти чужие маленькие секреты и уловки возмещали миновавшую молодость ей, никогда не имевшей причин для секретов и уловок.

— Кухня так забрызгана соком черной смородины, что можно подумать, здесь произошло кровопролитие,— сказал Венцлов.

А фрейлейн фон Венцлов лукаво продолжала:

— Девочка может потом помочь тебе укладываться, твой денщик не очень-то это умеет. И ей не помешает, если она с ранних лет приучится собирать все, что мужчине нужно при отъезде на войну или на маневры.

— До Галле меня подвезут в автомобиле. А в четыре утра — дальше. Начальство только тогда даст точный маршрут.

— А все-таки жалко, что насчет Померании ничего не вышло,— заметила тетка. Она преодолела в себе первоначальную неприязнь к службе племянника в рядах рейхсвера, увидев, что служба эта отнюдь не влечет за собой, как она боялась, необходимости принимать нежелательных гостей или выполнять какие-нибудь тягостные общественные обязанности. Никакого панибратства со всякими там республиканцами, поздоровавшись с которыми приходится мыть руки. Старик Мальцан тут же посмеялся над ней: «За племянника не беспокойтесь. Я не знаю, что для на-

шего мальчика постыднее, во имя божье присягнуть какой-то республике или ходить из дома в дом и продавать пылесосы. В нашем сословии еще живы традиции чести, на которые теперь тут всем наплевать. И мы скоро вытравим из наших рядов нежелательные элементы — всяких там красных и полукрасных».

— Почему жалко, тетя Амалия? — спросил молодой человек.— На севере мы вовсе не так нужны. В Средней Германии — вот где до зарезу нужно показать нашу мощь. Ведь это как раз те места, где безобразничают из года в год. Господин Эберт, и тот только на год запретил партию своих коммунистических сводных братьев, а потом не выдержал, и теперь она опять разрешена, надо ведь выбирать депутатов в рейхстаг, и мы все же стали республикой, и нам до смерти хочется собезьянничать что-нибудь у наших соседей — англичан или французов, в данном случае — прямое и тайное избирательное право. Поэтому у нас теперь шестьдесят депутатов-коммунистов вместо четырех, как было перед запрещением коммунистической партии, словно рейхстагу четырех недостаточно! И очень кстати будет показать этому сброду в Средней Германии, что мы еще умеем стрелять без промаха. Дорогая тетя Амалия, мне необходимо перед отъездом немножко отдохнуть. Боюсь прилипнуть к твоему мармеладу и потому ухожу в столовую. А так как ты, дорогая тетя, умеешь все это удивительно ловко устраивать, сходи, пожалуйста, к Мальцанам и пригласи дочку к ужину.

II

Муж Марии, Гешке, не участвовал в демонстрации, которая после известия о смерти Ленина прошла через весь Берлин.

— Мы же, в конце концов, не русские,— говорили люди, работавшие в гараже, и добавляли: — И тебе нечего ходить. Коммунисты все это повернут в свою пользу.

Юноша по фамилии Шлютер прямо побелел от гнева:

— Что повернут? В чью пользу?

— Да ты не горячись, малыш, успокойся. Вы же всегда пляшете под дудку Москвы.

Во время этого разговора Гешке молчал. Споривший паренек, глаза которого горели как угли, одетый в сол-

датскую куртку отца, уже совершенно выцветшую и истрепанную, но, видимо, не знавшую износа, паренек этот, ссылаясь в споре на рабочий класс, разумел рабочий класс во всем мире и его авангард; грузчики же, возражавшие ему, имели в виду отдельных мужчин и женщин — их звали так-то и так-то, их можно было снять и заменить другими, они могли быть по тем или иным причинам популярны или непопулярны. Гешке молча готовился выехать. Его взгляд еще раз упал на Шлютера, и тут, как бывает обычно в трудные минуты, когда все чувства и восприятия обостряются, ему вспомнилось одно мартовское утро и как тот же парнишка в той же куртке — теперь куртка стала ему как раз впору — с горящими глазами крутил кран колонки, проверяя, началась ли всеобщая забастовка.

В сегодняшнем споре Гешке было трудно разобраться. Он приблизительно улавливал, что́ имеют в виду обе стороны, но не ему было указать правильное решение, да он и не знал его.

Во всяком случае, он твердо решил на демонстрацию не ходить, хотя в глубине души очень сомневался в том, что идти — это значит непременно «плясать под дудку Москвы». Если его заметят, ему потом едва ли удастся получить через биржу труда еще работу. Но уже не раз бывали в его жизни случаи, когда он не боялся вызвать насмешки товарищей, не боялся оказаться безработным. Человек, которого только что похоронили, должно быть, действительно был великим, должно быть, он действительно задумал что-то грандиозное, да не вышло. Говорили, что по его стране бродят беспризорные, изголодавшиеся дети. Должно быть, у него бы и вышло, если бы все рабочие всех стран присоединились. Он, Гешке, один ничем бы ему не помог. И уж, конечно, не поможет теперь тем, что пойдет в траурном шествии.

Когда он возвращался домой, его задержала демонстрация. Глаза Гешке искали среди этих бесчисленных людей, шагавших по четыре в ряд, того самого паренька в солдатской куртке цвета хаки, как ищешь хоть одно знакомое лицо в необозримой людской массе. Утром кто-то из рабочих старался успокоить мальчика: «Против Ленина ничего не скажешь, он, наверно, задумал большое дело на благо своему народу и, наверно, многое бы сделал. Но теперь его нет и конец всем его планам». Однако сейчас у Гешке вовсе не было такого впечатления, что всему конец. И ему

стало жаль, что он не участвует в демонстрации. Но даже если бы он и захотел включиться в нее, четверки казались замкнутыми. И Гешке спрашивал себя, каким человеком был умерший и что если бы он видел свои похороны, гордился бы он этим траурным шествием в его память и траурными шествиями по всей земле? Демонстрации возникали во всех городах мира, и лица у демонстрантов были белые, черные, смуглые, желтые. Если бы все эти траурные шествия сомкнулись, можно было бы опоясать ими земной шар. Гешке тянулся вслед за демонстрацией, в которой сначала не хотел участвовать, какой-то тонкой, несмелой ниточкой, идущей из самых глубин его сердца. Рядом с ним стоял человечек, пожимавшийся от холода в своем плохоньком пальто; уши у него горели под потертой шляпой. Он пробурчал:

— Хорошо, кабы с ним похоронили и всех этих...

Стоявшая рядом женщина, может быть, его жена — она была значительно толще и крупнее его,— громко заявила:

— Я считаю, что для немецких рабочих это позор.

Гешке мрачно взглянул на обоих. В его голове пронеслось: «Стоять на тротуаре рядом с такими, как вы,— вот это позор!» Точно он с какой-то другой точки зрения смотрел на все: на ряды демонстрантов и на зрителей, и чуть не забыл, что сам он тоже в числе зрителей. Но даже та тонкая ниточка, которая тянулась из его сердца вслед за идущими и была только сожалением, что он не мог пойти с ними, связывала его с самой сердцевиной жизни, и его уже не мотало из стороны в сторону, как увядший лист.

Домой он вернулся позднее, чем обычно. Таким ворчливым Мария видела его только до женитьбы. Она вместе с соседками ходила на улицу смотреть демонстрацию. И она спросила мужа:

— Ты тоже был на демонстрации?

Он возразил:

— Зачем? Мы не коммунисты.— Он ответил ей четко и резко на те же вопросы, которые еще утром мучили его самого, и теми же словами, которыми его товарищи по работе возражали Шлютеру: «Нас это не касается, мы же не русские».

Потом они сидели за столом, дети поглощали ужин с такой же жадностью, с какой схватывали слова родителей, которыми те перебрасывались. Девочка охотнее бывала

дома, чем во дворе: ребята привыкли дразнить ее, а она привыкла не давать им отпора. Старшего не трогали: он был сильный, красивый малый и мастер на все руки. Он умел резать по дереву и рисовать и поэтому любил сидеть дома. На младшего из родных сыновей Гешке в семье обращали меньше внимания, разве что начнет озорничать или порвет штаны. Он не понял всего того, что говорилось за столом — фразу за фразой, а только подхватил слова: «Нас это не касается, мы же не русские».

В школе у него был учитель, к которому он больше привязался, чем к родителям. А этот учитель недавно сказал ученикам, чтобы они дома отмечали все истинно немецкое: отца, мать, хлеб, речь, уголь, картофель. Он похвалил Франца за его сочинение; потом повесил на стену большую карту Германии. Отец никогда не просматривал школьные тетради своих детей, так как в этом не было нужды. А если и случалось, он только смеялся или начинал рассказывать про собственные школьные годы.

Мария налила супу всем поровну. Младший вылизал тарелку дочиста, затем посмотрел на мать. Он знал, что больше ничего не будет, и смотрел просто так. Мать всегда была тут, с тех пор как он жил на свете. Как солнце, которое всегда тут, с тех пор как люди живут на свете. Мария перехватила его взгляд, но она не налила бы ему ни одной ложкой больше, чем насынкам.

Вода кипела на плите. В кухне было даже жарко. День кончился, семью клонило ко сну. Казалось, даже намека нет на то, что их покой может быть нарушен. Угасающая заря была едко-багряного цвета, какой она бывает в студеные вечера. Дети дышали на морозные цветы, которые уже начали затягивать окна. Гешке рассердился, когда кто-то из них открыл окно, чтобы соскоблить цветы. Мысли Марии уплыли далеко. Когда это было, что перед ее высохшими, как будто выплакавшими все слезы глазами, на окне опустевшей девичьей комнаты вырастали ледяные цветы? Теперь она едва помнила, что напрасно ждала тогда любимого. Теперь это было самое большее сном. Он приснился ей до ее настоящей жизни, а настоящая — это теперешняя, в которой много всякой работы, всяких горестей и разочарований и немного радости. Теперь прошлое осталось слишком далеко позади, чтобы еще причинять боль, и вместе с тем оно было тут, в настоящем: так одна январская ночь похожа на другую.

III

Глейм предложил Ливену собственный экипаж, чтобы доехать до станции, и даже кожаный чемодан, если ему не во что уложить вещи.

Ливен давно тянул с отъездом и охотно уступал просьбам товарищей, уговаривавших его подождать, даже тогда, когда в глубине души уже понял, что дело безнадежно и что переворот отложен на неопределенное время. И теперь он молчаливее обычного выслушивал всевозможные предсказания, которыми занимались сидевшие в общем зале офицеры, взволнованно вырывая друг у друга газеты с последними новостями. То они ждали сигнала с запада, ибо даже после того, как пассивное сопротивление в Руре было отменено, они все еще считали вероятным, что отступление перед французами имеет целью стянуть втихомолку все добровольческие корпуса на восток и вернуть Верхнюю Силезию, то прислушивались к вестям с юга, из Мюнхена, где какой-то одержимый, о котором раньше никто и не слыхивал, вдруг решил идти ва-банк. Он, вероятно, вообразил, сказал Ливен Лютгенсу, когда они уже лежали в постелях, что весь мир ахнет, если он со своими парнями промаршрует к Фельдхернхалле *. Но их тут же разогнали: несколько выстрелов, и все. Восстание левых, на которое можно было бы обрушиться, тоже не начиналось. Красных в Саксонии быстро подавил рейхсвер. Таким образом, обе стороны обессилели и окончательное решение опять откладывается. Ливен сказал Лютгенсу:

— Я сразу понял, что из этого ералаша ничего не выйдет, революция начинается совсем не так. Были бы вы со мной в 1917 году в России, вы бы поняли, как это делается.

Теперь каждому из них приходилось решать что-то лично для себя, раз всеобщий сигнал, освобождавший каждого от подобного решения, так и не был дан. Где провести этот период ожидания, который теперь растягивался на неопределенное время? Торчать и дальше в имении? Но Ливену и Лютгенсу здесь уже до смерти надоело. Переехать к друзьям в город? Но друзья успели за это время обеднеть, озлобиться и сами не знают, что предпринять. К счастью, еще есть несколько стран, сулящих войну и

* Здание в Мюнхене, перед которым происходил гитлеровский путч 9 ноября 1923 года.— *Здесь и далее примечания переводчиков.*

мятеж. Ведь только когда человек постоянно стоит на грани между жизнью и смертью, он ощущает непрерывный подъем. А во имя чего эта жизнь и во имя чего эта смерть — вопрос второстепенный.

В Берлине, где можно, впрочем, найти все, что угодно, существует даже своего рода бюро, подыскивающее офицеров для некоего Абд аль-Керима, который со своими рифскими племенами сражается в Африке против французов и испанцев. Лютгенс сказал:

— Там можно хоть французов позлить!

Но Ливен, рассмеявшись, ответил, что для него лично главное, чтобы этот Абд аль-Керим, или как его там зовут, поскорее бросил их в бешеную схватку, а с кем, ему решительно все равно. В Южной Америке тоже есть предприимчивые страны: Боливия, Парагвай и другие. Там тоже есть свои войны, консульства и вербовочные бюро.

Берлинские родственники Глеймов знали немало людей, имевших отношение к подобным вербовкам для заграницы. Лютгенс боялся ехать без денег. Но Ливену успело опостылеть все, что его окружало. И он решил коротать ожидание у своего двоюродного брата. Он не мог больше выносить ни эту местность, ни этих людей, свидетелей стольких безнадежно рухнувших планов на будущее.

За последним общим завтраком Глейм вручил Ливену железнодорожный билет с присущей ему чопорной вежливостью: он словно боялся стеснить друга, предложив эту помощь. В душе Глейм был очень рад отъезду Ливена. Он успел за это время жениться. Молодая хозяйка из Берлина слишком охотно проводила время с офицерами, особенно с Ливеном, для которого одевалась тщательнее, чем для собственного мужа. И Ливен никогда не упускал случая сказать ей, что она удачно выбрала такой-то цвет или что он сегодня в первый раз видит на ней эту блузку. Уезжая, он думал о своей школьнице со сказочными косами. Он до дна перевернул ее жизнь, и притом гораздо основательнее и быстрее, чем это могла бы сделать связь, доведенная до своего естественного конца, и привычные, уже наскучившие и потускневшие встречи. Что-нибудь менее стоящее не имело смысла и перевертывать, а эта Глейм, эта столичная штучка, дерзкая и остроумная, несравненно мельче его школьницы.

За прощальным завтраком Ливен был еще раз почетным гостем. Вот когда за ним захлопнутся главные ворота,

потом дверца экипажа, потом дверца купе в поезде, тогда он уже будет не почетным гостем, а только человеком без определенных занятий и без крова. И он заранее предчувствовал это состояние, хотя твердо решил не поддаваться страхам, что его заграничный план может рухнуть... Он считал, что самым главным препятствием для осуществления всяких планов обычно и являются подрывающие волю заботы и сомнения. И тягостное предчувствие, вероятнее всего, лишь отзвук слишком хорошо знакомого ему еще с юных лет ощущения бесприютности и необеспеченности. Уж сколько раз видел он лица друзей и родных, ландшафты, предметы в том мерцающем и беспощадном свете, в каком видишь их при расставании!

По пути на станцию он твердил себе, что это счастье — в последний раз проезжать по расстилавшейся вокруг него унылой, пустынной равнине. Кучер Глейма внес одолженный его хозяином саквояж в привокзальный ресторан. Хотя саквояж оказался очень невелик, было слышно, как скудное имущество Ливена перекатывается в нем с места на место. Белья у него осталось в обрез. Одни рейтузы и еще кое-какие части военного обмундирования. Сейчас на нем хорошо сохранившийся, но уже далеко не модный штатский костюм. От последних десяти лет у него уцелело только чем прикрыть свою наготу. Сидя в ожидании поезда за стаканом пива, Ливен надменно твердил себе, что не в его обычае возить с собой трофеи, он предоставляет это другим. И женщин, с которыми Ливен имел связь, он каждый раз оставлял на месте. Так было на всем его пути: в Финляндии и в Берлине, на Рейне и в Силезии. Так оставляют разбитый корабль с фигурой наяды на носу.

Вдруг он заметил, что сидевший за соседним столиком человек — на вид ни барин, ни мужик — уставился на него. Да, пьянство здорово подорвало Шубгута, бывшего управляющего; Ливену сказали, что Шубгута уволили, оттого что он никак не давал себя урезонить. В доме, заросшем шиповником, поселился новый управляющий. Было уже поздно менять столик. Шубгут, до того молча тянувший пиво, вдруг решительно подошел к Ливену:

— Это вы! Наконец-то!

Ливен встал. Шубгут удержал его с той настойчивой мягкостью, какая иногда появляется у пьяных.

— Я живу здесь, в деревне. Вы себе представить не можете, как мне иногда хочется поговорить по душам, да,

по душам... Почему по душам? И разве можно говорить по душам?

«Раздавленная лягушка,— подумал Ливен,— никакой жалости, только отвращение». Он прижал локти к телу, но опасение, что пьяный затеет скандал, быстро улеглось.

— Я с каждым поездом поджидаю свою дочку. А почему? Ей ведь живется неплохо, она уехала в Берлин с почтенной семьей.

Ливен имел неосторожность спросить:

— Разве она не в школе?

— Ох, нет, нет,— отозвался Шубгут.— Мне нечем платить за учение. Конечно, ей было бы лучше, если бы родной отец мог прокормить ее.

— Без сомнения,— сказал Ливен.

— Не правда ли? Вы единственный человек, с которым можно поговорить по душам.— Это выражение, казалось, особенно нравилось бывшему управляющему.— Когда вы вдруг стали приходить все реже, а потом и совсем сгинули, да, сгинули, точно вас ветром сдуло, я ждал вас не меньше, чем моя девочка. И мне почти так же, как ей, хотелось реветь.

Подобно всем пьяным, он бессвязно выкладывал какие-то потаенные, задушевные мысли, и они переплетались с другими, скользившими только на поверхности его сознания. Он уже забыл, какую роль сыграл Ливен в крушении его жизни. Он помнил только, что лицо этого человека всегда ему нравилось.

— Вы скажите ей, если встретите, скажите, чтобы она мне когда-нибудь все-таки написала.

— Непременно скажу,— ответил Ливен,— если встречу.

Шубгут сделал неловкую попытку обнять его на прощание своими необычайно длинными руками. Ливен обрадовался, когда подошел поезд. Бывший управляющий непременно хотел внести в вагон ливеновский саквояж и чуть было не свалился вместе с ним под колеса. Когда поезд тронулся, он махал вслед, хотя Ливен даже не смотрел в окно.

Вот и станция, от которой надо было идти пешком до деревни Ольмюц. За ней и жил двоюродный брат Ливена. Глеймовский саквояж Ливен перекинул на ремне через плечо. С каждым шагом на душе у него становилось все

легче. Прошлое осталось позади, маленький саквояж был не тяжел, шоссе, озаренное лунным светом, расстилалось перед ним, точно река. Слышно было только, как коровы пережевывают жвачку. В некоторых домах еще горели огни. Хотя побережья не было видно и ночь стояла безветренная, Ливен чувствовал близость Балтики, этой праматери стольких стран.

Минут десять шагал он по шоссе через деревню. Ливен никогда не считал двоюродного брата особенно требовательным и сразу догадался, что этот унылый, скорее упрощенный, чем приукрашенный, крестьянский дом, напоминавший своей низкой, как у других домов, крышей присевшую на отдых птицу, что этот дом мог принадлежать только его кузену Ливену. В честь гостя уже был поднят флаг. Ливен узнал и собачку, которая жила у Отто Ливена в его прибалтийском имении. Ее звали, как собаку в одном русском романе — Перезвон.

Отто Ливен стоял на крыльце. Он воскликнул:

— А, наконец-то! — обнял гостя и поцеловал его.

Эрнст Ливен, давно уже отвыкший от подобных встреч, даже не понял, к кому относится это «А, наконец-то!». Не может быть, чтобы Отто в сумятице рушащихся и вновь создаваемых планов действительно ждал его.

Но позже, когда они сидели за ужином — столовая была отделена от просторной кухни только пестрой занавеской,— Эрнст Ливен, к своему глубокому изумлению, почувствовал себя так, словно наконец вернулся домой. От всех движений старшего Ливена, от его голоса веяло чем-то успокаивающим, это чувство Ливен-младший испытывал и раньше, в дни своей беспокойной и бурной юности, когда попадал в эту семью, под ее кровлю. Хотя сейчас это была уже не кровля на старом доме с ампирными колоннами в имении под Ригой, а островерхая крыша, низко нависшая над довольно убогим крестьянским домом. Вместе с несколькими моргенами земли он был куплен на выпрошенные взаймы деньги. Ливен-старший тянулся изо всех сил, чтобы выплатить долги и взять к себе мать и сестру, живших где-то в Берлине. Он первым вставал спозаранку вместе с работниками и ложился последним: сидя у себя в комнате до поздней ночи, он писал письма и проверял счета.

Младший Ливен рассматривал старшего с некоторым даже изумлением, повернув к нему такое же удлиненное, такое же красивое лицо; у кузена лицо было загорелое и

обветренное, как у крестьянина, но под глазами лежала тень усталости и забот.

Эрнст Ливен сообщил брату, что сейчас он ждет вестей через связного, которого ему указало семейство Глеймов. Его могут в любую минуту вызвать в Берлин, чтобы ехать в Риф, в штаб Абд аль-Керима, если только у этих дикарей такие штуки существуют.

Отто Ливен сказал:

— Почему ты непременно хочешь уехать? До сих пор ты воевал, защищая Германию. Зачем тебе растрачивать силы в какой-то там Африке? Нам нужен каждый человек, каждый наш атом здесь, в нашей стране.

Эрнст Ливен возразил:

— Зачем? Где? Может быть, за окошком в банке, за которое меня посадят, если мой заграничный ангажемент вылетит в трубу? Или в какой-нибудь радиофирме? Это там-то нужен каждый наш атом? Подходящие места, нечего сказать! — Он рассердился оттого, что заговорил вслух о тех возможностях, одна мысль о которых претила ему. И добавил, словно защищаясь от молчавшего Отто: — Ты, конечно, считаешь себя все еще главой рода, обязанным, если даже сам сидишь в дерьме, взять нас под мышки и всеми правдами и неправдами вытащить из него. Ты это считаешь своим долгом? Да? Ты себе, наверно, именно так представляешь свои обязанности? Ты изводишь себя, хотя отлично знаешь, что все это ни к чему. Ты надрываешься на пашне, которую взял в долг, как будто тебя пожаловали леном.

— Может быть,— сказал Отто Ливен. Он смиренно опустил голову с бледным, несмотря на загар, лицом.— Отец научил меня относиться ко всему, что попадает в мои руки, словно к полученному мною лену, будь это участок земли, лошадь или ребенок. Оно мое и вместе с тем не мое. Мне потому и дали его в лен, чтобы я управлял им как нужно. К этому моего отца приучил его отец и так далее, и так далее... У других это, может быть, по-другому, они все забыли. А у нас это так и таким должно остаться.

Ливен уже не сердился. Ему, наоборот, хотелось погладить двоюродного брата по голове, как гладят неразумного, но очень серьезного ребенка. Он сказал:

— Милый Отто, когда орден немецких рыцарей завладел землями у Балтийского моря, это были тоже чужие земли, как и те, куда нам теперь приходится выметаться.

— Ты, может быть, еще помнишь,— отозвалс
как будто это событие произошло всего несколько
зад,— что мы получили лен после того, как перевез
ликого магистра ордена по замерзшему морю на
сделанных из наших щитов. Нас отделяло тогда от ос
ального населения очень многое, как и сейчас. Ибо наверня
ка большая часть этого населения считала немецкий орден только захватчиком, врагом. Но наши предки сейчас же узнали в его рыцарях людей более светлых и сильных.

— И склонились перед ними.

— Склонились? О нет! Признали! Не принудительно уступив силе оружия, а тут же, немедленно и добровольно. Узнали и признали.

— Во всяком случае, нашим предкам повезло на потомков.

— Мы никогда не разбазаривали полученную в лен землю. В этом смысле — да, им повезло. Мы обрабатывали ее, и наше имение стало цветущим...

Эрнст Ливен подумал: «Бедняга, он прямо вынуждает меня злить его». И еще раз вставил, так как не мог сдержать закипавшую в нем досаду:

— Вероятно, все местное население было возмущено тем, что наши предки принимали этих рыцарей уж слишком восторженно. Не удивительно, что им пришлось смастерить для захватчиков сани из собственных щитов. Эти предки, наверно, чертовски нуждались в поддержке и содействии. Они же не могли знать, что встретят такое понимание у своего праправнука.

Но Отто Ливен словно не замечал его тона. Он терпеливо продолжал:

— Впоследствии англичане подарили эту землю латышам вместе с нашим имением. Но нам его когда-то дали потому, что мы заслужили его: именно здесь проходила граница Германии, а не бог знает где, на юге, куда ты рвешься.

— Милый Отто, но то была граница еще одной страны, таково свойство всякой границы.

— Да, но мы, мы оказались сильнее, в нас были те качества, которые дали нам право на владение.

— Я считаю, что тогда мы были сильнее, но постепенно сильнее стали русские, а в конце концов — англичане. Ты, может быть, сам поехал бы со мной, будь ты сильнее,

Отто. Я считаю, что человек тогда заслуживает право чем-то владеть, когда он сильнее всех остальных.

— А я считаю, что ты вовсе этого не считаешь. Есть разные способы быть сильным. Ты ведь...— Он поискал нужное слово и договорил: — Ты ведь, в конце концов, христианин.

Эрнст Ливен рассмеялся и воскликнул:

— Тут я вынужден жестоко разочаровать тебя. Я отнюдь не христианин, я до мозга костей язычник, и я поклоняюсь тому, чему поклонялись язычники: Силе и Красоте, Власти и Наслаждению.

— Мне кажется, язычники поклонялись и другим богам, кроме Власти и Наслаждения, например Мудрости. И во всяком случае, я за то, чтобы мы пораньше легли спать. Спокойной ночи под моей кровлей.

«Что он имел в виду, говоря о своей кровле?» — размышлял Ливен. Сам он охотно готов был смотреть на этот дом как на временное пристанище. Он спал крепко и долго, и, когда встал, оказалось, что Отто давно уже в поле.

Вечером младший спросил:

— Кто эти две красивые женщины на портрете, который я рассматривал, чтобы скоротать время?

— Разве ты не помнишь мою мать и мою сестру?

— Твоя мать похожа на девушку, а сестра — на замужнюю женщину.

Эрнсту Ливену не угрожала скучная жизнь с глазу на глаз с двоюродным братом: в доме бывал постоянный гость. Учитель местной школы, долговязый блондин, родом из Гамбурга. Всю войну от первого до последнего дня он провел на фронте и набрался там разных теорий, которые теперь пускал в ход, занимаясь со своими учениками. Каждый вечер, сидя у Ливенов и обвив стул длинными руками и ногами, он излагал свои мысли. И битвы, уже отбушевавшие на Западе, в Средней Германии, Гамбурге и Саксонии, еще вызывали словесные бои в этой затерянной в глуши крестьянской горнице. Несмотря на запальчивость, спорщики были наилучшими друзьями, больше-то им не с кем было спорить здесь, в деревне. Эрнст Ливен дивился: все, о чем говорил этот долговязый молодой человек, повторяло те рассуждения, которые Эрнст привык считать взглядами большевиков, евреев и безымянной массы недовольных, одичавших людей. «Наверняка,— думал Ливен,— такие же разговоры ведутся сейчас в каждой деревне, на

каждой улице, в таких же вот комнатах с самодельной мебелью, с висящими на стене изображениями Гинденбурга, Шлагетера, Людендорфа или же Иисуса Христа. Это просто жалкая попытка скоротать время, такая же, как чтение книг, которыми Отто Ливен заполняет свои полки, как игра на скрипке, которой нередко завершаются их споры. Вероятно, в этом и состоит мирная жизнь, чтобы, как мячами, неторопливо перебрасываться мыслями, безобидно и праздно пережевывая их».

— Та сила, которой создается история, никогда не шла от масс,— говорил Отто Ливен.— Она всегда рождалась только из идей, а идеи рождались в отдельных личностях, как вы и я.

— Скольким людям в Германии не до идей,— отвечал учитель,— оттого что они голодают и мерзнут. И мы еще совершенно не знаем, какие идеи они способны создать.

— Построение социалистического беспорядка,— заметил Эрнст Ливен.

— Революция никогда не совершается с соблюдением чистоты и порядка,— продолжал учитель.— При такой радикальной уборке неизбежны грязь и кровь. Так было во время Французской революции, так было и у нас в средние века во время крестьянских войн. Христианство при своем возникновении тоже не принесло людям покоя и порядка. Образованные римляне ненавидели его, потому что оно шло в глубину народных масс, двигало ими. Впервые появилось нечто доступное для всех, а не только для отдельных избранников вроде нас с вами.

— Оно было не интернациональным, а сверхнациональным, оно никогда не смазывало границы между отдельными народами. Оно объединяло лучших представителей каждого народа в одной идее, которая была выше всех народов. А ты что на это скажешь? — Ливен-старший так быстро повернулся к кузену, что тот не успел согнать со своего лица насмешливое выражение и ответил:

— А что, по-твоему, я должен сказать? Я не способен, как вы, с такой быстротой носиться по всей Вселенной.

Учитель заявил, обращаясь к Ливену-старшему:

— Все зависит от того, что́ вы понимаете под словами «идея», «идеалист». Если людей, которым их идея дороже собственного блага, то идеалисты мы, именно мы. Потому

что мы всей своей жизнью боремся против материи, которая унижает человека.

«Подождем»,— решил Эрнст Ливен. Все слова казались ему только пылью, поднятой множеством событий. А все это столпотворение слов — только ветром, взметающим пыль.

Он мог выносить нокой лишь в ожидании лучшего. Но вот пришло письмо из Берлина, в нем зять Глейма писал, что вербовка прекращена и что если Ливен не захочет ехать в Мюнхен, где сейчас живет большая часть его земляков, то и в Берлине найдутся люди, которые могут устроить уволенных чиновников и демобилизованных офицеров хороших фамилий в банки и на промышленные предприятия.

Эрнсту Ливену вдруг показалось, что, может быть, Отто и прав: какое бы место ты ни занимал, ты все равно представляешь лучшее, что есть в твоем народе. И пусть даже это место агента при какой-нибудь фирме световой рекламы, которое зять Глейма посулил Ливену в виде утешения в своем следующем письме.

IV

Вильгельм Надлер был весьма удивлен, когда брат внезапно вошел к нему в кухню, чего по вечерам никогда не делал. Лиза крошила в корыте корм свиньям, который она всегда приготовляла накануне, чтобы утром успеть накормить их перед уходом в поле. Христиан начал, как всегда, кротко и скромно: он-де только что принял решение, которым и спешит поделиться с братом. Дело в том, что по завещанию их отца — тут Вильгельм насторожился, хотя Христиан нерешительно мямлил, произнося эти многозначительные слова,— так вот, по отцовскому завещанию имущество должно делиться между братьями, в общем, поровну. Земля пришлась на долю старшего, а средний после войны не вернулся, значит, ему, Христиану, полагается некоторое возмещение в виде определенных реальных ценностей в том случае, если он уйдет отсюда. Ведь от него в поле мало толку. Он помог брату частью своей пенсии и даже, как брат может судить по квитанциям, превысил ее.

Блестящие голубые глаза Лизы метали порой короткие колючие молнии на свекольное крошево. Она чувствовала,

как Вильгельмом овладевает один из знакомых ей приступов неистовой ярости. Уже лицо его побагровело. А Христиан продолжал что-то мягко и довольно бессвязно лопотать. Однако Вильгельм сдержался.

— Ну, не тяни, выкладывай,— прорычал он.

Так вот, сказал Христиан, он решил, что для всех будет лучше, если он уйдет отсюда. На берегу озера есть сарайчик, предназначавшийся для хранения лодок, так вот, если им заняться, его можно привести в порядок. Там очень удобно устроить мастерскую, это избавит Вильгельма от некоторых расходов. У него, у Христиана, уже и сейчас много заказчиков, и он мог бы обслуживать их тут же, когда они идут в церковь. Словом, брату нужно только пособить ему: когда он завтра поедет на приозерный участок, пусть прихватит барахлишко и койку Христиана; хотя сарай еще не приведен в порядок, это ничего, от одного дождика Христиан не размокнет.

— Это все? — спросил Вильгельм. Он вздохнул с облегчением, оттого что брат не запросил большего. При чем тут завещание, с которого тот начал, так и осталось неясным из бессвязного лепета колченогого калеки.

— Да, все,— отозвался Христиан.— Только ты завтра это обделай... достань уж и черепицу для крыши... Ты получишь ее на стройке за гроши.— Затем, помолчав, добавил: — Пойди сейчас в «Дуб», там сидит подрядчик, вот ты с ним и столкуешься...— И он ушел, спотыкаясь на каждом шагу, как спотыкался на каждом слове.

Лиза, прикусив губу, отнесла тяжелое корыто на очаг. Она была рада этому усилию, оттого что сердце у нее заныло; работа заглушала это чувство, которого она сама не понимала. Ей не понравилось решение деверя. Хотя Лиза, с тех пор как вернулся муж, избегала Христиана, самое присутствие его рядом, в конуре, радовало ее, она то и дело прислушивалась к его неровным шагам. Ей было приятно за общим столом передавать ему тарелку с супом так, чтобы он видел в глубоком вырезе платья ее грудь. И когда ее собственный муж рычал: «Пролаза, хитрый пес», это тоже нравилось ей, а ночью, когда к ней лез Вильгельм, ее забавляло, что Христиан подслушивает из своей мастерской, забавлял ее и Вильгельм, который раньше все грозился, а теперь стал шелковый.

Она отправилась в мастерскую и обратилась к деверю, который продолжал работать, не поднимая головы.

— Что это ты вдруг переезжать собрался? На лопятный идешь?

Он отвечал, все так же не глядя на нее:

— Хочу сам себе хозяином быть, не хочу, чтобы надо мной на каждом шагу измывались.

— Кто же это измывается над тобой, скажи, пожалуйста! — Лиза взяла такой тон, чтобы вызвать его на важный для нее разговор.

Но хлопнула дверь кухни, и муж крикнул: «Лиза!» Она пожала плечами и вернулась к себе. Христиан прислушался. Значит, брат еще не ходил насчет черепицы. Но будет черепица или нет, он завтра же переберется в сарай на берегу. Христиан отлично понимал, что Лиза хочет избежать неприятностей, которые ни к чему не ведут. Она все же хозяйка на этом крестьянском дворе, и у нее куча ребят. Он сам еще настолько крестьянин, что понимает это. Беда в том, что он слишком привязался к ней. И она, по их бабьей манере, нет-нет, да и пройдется с вызывающим видом мимо него. Поэтому лучше держаться подальше и от брата и от нее. В глубине души Христиан в отличие от Вильгельма испытывал просто потребность жить в мире и тишине. А там можно будет сидеть перед сараем на треноге: вода поблескивает, еще издали услышишь, что кто-то идет по дороге, узнаешь по походке, кто именно, с озера доносится вой пароходных гудков. Здесь же слишком затхло и тесно, чтобы жить постоянно.

Из кухни послышались ужасный крик и шум. Затем в мастерскую снова пришла Лиза.

— Надо тебе пойти туда, опять этот посредник явился, что-то там неладно.

Христиан последовал за ней со всей быстротой, на какую был способен.

На посреднике были городские башмаки и засаленный резиновый плащ. Он сидел с невозмутимым видом, а Вильгельм весь побагровел от ярости.

— Нет, как это тебе нравится? Он хочет завтра утром угнать обратно нашу новую корову!

— Да ты сначала успокойся,— сказал Христиан.— А что с вами, господин Леви, какая муха вас укусила?

— Но позвольте, ваш брат сам договорился со мной, что в случае неуплаты очередного взноса — после моего предупреждения — корова возвращается к владельцу. Ну вот, я вас предупредил!

Вильгельм заорал:

— Я вам остался должен только последний взнос, это все, что я вам должен, слышите!

— Да ведь и я получаю скотину не задарма. Последний взнос примерно и есть то, что я на этом деле зарабатываю. Я же не ради удовольствия занимаюсь скотом, а вы не ради удовольствия доите своих коров. Если вы сейчас же не заплатите, завтра корову угонят.

— Ну так знайте, в доме есть ружье. Посмотрим, кто завтра что угонит. Видно, придется продырявить ваш поганый плащ зарядом дроби.

— Господин Надлер, не навлекайте на себя беды. Наверху за это не похвалят. Если я буду вынужден подать жалобу, к вам явится полиция.— Он говорил спокойным тоном человека, который видит в небе тучу и ждет ненастья как неприятности, но отнюдь не как неожиданности.

До сих пор Христиан не вмешивался, а вслушивался, чтобы уяснить себе положение.

Старший Надлер бушевал:

— Ну конечно, наверху рады помочь вашему брату, чтобы вам сподручней было драть шкуру с честного крестьянина.

Христиан встал:

— Подождите-ка. А ты, Лиза, налей-ка ему стаканчик вишневки, тогда и разговор пойдет другой.

И он заковылял из кухни. Лиза послушалась Христиана, как в былые дни.

Посредник еще пил вишневку, когда Христиан вернулся, держа в руках листок бумаги.

— Вот вам еще одно поручительство. Можете продлить срок. А вот и расписка, из которой видно, сколько мне брат должен. Я вам переуступаю право получить с него деньги. Это устроит нас троих. Марка ведь больше не скачет. Она стала честной и смирной.

— Ну что ж, ладно,— сказал посредник, прочитав долговое обязательство.

Он допил последние капли вишневки. И вдруг почувствовал, что младший Надлер пристально на него смотрит своими ярко-голубыми глазами и глаза эти такие жесткие и блестящие, что у посредника пропала всякая охота к дальнейшим спорам, как будто на него уставилось дуло ружья.

Когда утром Вильгельм запрягал телегу, чтобы ехать на приозерный участок, Христиан с трудом выполз из своей конуры. Старший помог ему уложить барахло, койку, колодки, треногу, прошивную машину. Соседи, смотревшие, как он переезжает, говорили друг другу:

— Ну вот, мужик и отделался от сапожника.

А Лиза смотрела из окна кухни. Когда запряженная коровами телега выехала из деревни, она отвернулась. У нее было так тоскливо на душе, что хоть реви. Но какое значение имело ее горе в сравнении с заботами о пашне, о наследстве детей после смерти мужа! Она вообще никогда не плакала, ее глаза были так странно устроены, что они совсем высыхали в тех случаях, когда у других женщин льются слезы. Сейчас у окна кухни ее глаза блестели холодным блеском кремня.

Сарай на берегу озера не был приспособлен для жилья, хотя стены у него были плотные и внутри стояла чугунная печурка. Христиан быстро оборудовал его под мастерскую и сделал навес над мостками пристани. Когда он переезжал в сарай, стояло солнечное утро, и он сейчас же уселся со своими инструментами над самой водой. Христиан смущенно поблагодарил брата за его великодушную помощь. А брат, услышав эту благодарность, решил, что вполне заслужил ее. Сидя за работой, Христиан не раз бросал колючий взгляд через плечо туда, где шел за плугом Вильгельм в сопровождении двух или трех светлых фигурок.

Вскоре похолодало и начались сильные осенние ветры, так что Христиану пришлось перекочевать из-под навеса в сарай. Брат привез ему дров, угля и немного брикетов. Каждый раз Христиан смущенно благодарил его. И Вильгельм считал, что он опять оказал брату великое благодеяние. А Христиану нравилось жить на юру в этой лачуге: здесь никто за ним не следил, люди жалели его и не ехидничали. И он довольствовался тихими радостями такой жизни. Он не жаждал верховодить в каких-то там союзах. Ему не нужны были никакие благодарности перед строем. Он ничуть не стремился к славе, которая для его брата составляла единственный смысл жизни.

И ему доставляло удовольствие отыскивать среди всех склоненных над пашней голов белобрысую детскую головенку, которая одна только интересовала его — это кукушкино яйцо в битком набитом гнезде брата. Он постукивал молотком в такт своим мыслям: ведь на деле братнина

усадьба у него в руках, а шума ему никакого не нужно. От него теперь многое зависит, и чем меньше об этом будет известно, тем лучше.

В дверь неожиданно постучали. Опять явился посредник: Вильгельм опять задерживал взносы. Из всех членов семьи наличные деньги были только у Христиана. Берлинская гостиница, делавшая раньше закупки у Вильгельма, уже давно брала товар на рынке. Взглянув на посредника, Христиан сказал:

— Вы сейчас похожи на того первого человека, которого господь бог вылепил из глины.

— Да ведь дороги совсем размыло,— жалобно пояснил человечек в резиновом плаще,— а ваш брат не пожелал везти меня на телеге.

— Зачем же вы явились сюда, господин Леви?

Человечек пожаловался на свои огорчения. Не может же Христиан не помочь единственному брату! Продажу с молотка тоже без конца не будут откладывать.

Христиан уже знал все эти жалобы: Леви начинал с неуплаченного взноса и доходил, точно по ступенькам, до самого господа бога. А таких людей нет на свете, чтобы отказываться от долгов и самому на мель садиться. Это надо быть прямо святым! Посредник не раз задавался вопросом, почему младший брат вечно суется в дела старшего: уж, наверно, не из одних только христианских чувств.

Христиан опять позаботился о том, чтобы была записана сумма, которую он отдал за Вильгельма. В одном он был с братом согласен — они оба терпеть не могли посредника. Христиан не выносил его болтовни, ибо представление о силе и власти было связано для него с молчаливостью. И Вильгельма он тоже не выносил за его болтовню: только и делает, что хвастается своим геройством на войне, да словечек понахватался в этих своих союзах.

На фронте Христиан никогда не задумывался над тем, кто какой человек. Он видел, что для пуль никаких различий не существует. Они разят всех — так солнце в небе светит одинаково на правых и виновных. Однажды при нем один солдат, фамилия которого тоже была Леви, умер в страшных мучениях от раны в живот. Эта смерть его особенно потрясла — они любили поговорить друг с другом. Каждый рассказывал о доме. И это чертовски тяжело, когда потом такой товарищ стонет, умирая возле тебя. Сын хозяина трактира «Под дубом», сидевший с ними в том же

окопе, когда все было кончено, заявил: «Ну что ж, вот еврей и отмучился». Эти слова прочно застряли у него в памяти.

Вильгельм Надлер считал в порядке вещей, что Христиан всегда ищет случая вознаградить его за благодеяния. Он видел в этом только вполне понятное желание несчастного калеки искать помощи у такого молодца, каким Вильгельм считал себя: ведь отблеск его величия падал на всю семью — он стал теперь председателем «Отечественного союза крестьян — участников войны», охватывавшего не только их деревню, но и всю округу. К удивлению соседей, почтальон приносил ему теперь всякие повестки и извещения. А раз в неделю он ходил в качестве представителя своего союза в гостиницу на берегу озера на заседания, где все решалось совместно с другими представителями. Обычно эта гостиница служила местом встреч для союза немецких офицеров и руководителей «Стального шлема». Крестьянина там не увидишь. И только теперь в гостинице начались совещания представителей местного населения. Мысль о жизни дома вызывала у Вильгельма ужас, но скоро ему стало казаться, что он только приехал в отпуск, который, по мнению людей, с чьими взглядами нельзя не считаться, кончится довольно скоро. Скоро протрубят сигнал и не для забавы, не для обычных маршировок, к которым была теперь привлечена и деревенская молодежь, еще не побывавшая на войне.

В этом году в доме пастора появлялось множество гостей, особенно когда умер Эберт и для избрания нового президента потребовалось провести подряд два голосования. Барон фон Цизен усаживался за письменный стол пастора как самый обыкновенный гость. Между занавесками, которые стараниями пасторских дочек всегда отличались особой белизной и воздушностью, ему был виден его собственный дом по ту сторону озера. На письменном столе стояла ваза с ветками едва распустившегося ракитника. На стене позади пастора висела гравюра Дюрера, изображавшая Лютера. «Великий человек,— писал Дюрер,— спасший мою душу от многих бед». А господин фон Цизен, сокрушаясь о своих бедах, решил, что это настоящий пасторский дом, каким он себе всегда представлял его. И он открыл пастору свое сердце.

— Правда, я связан решением моих единомышленников. Но разве, голосуя за Людендорфа, я не принесу моему

народу больше пользы, чем отдав свой голос тому почти неизвестному человеку, которого выдвигает моя партия?

Священник сказал:

— Я в политике не разбираюсь. Вы должны следовать голосу своей совести.— А потом добавил: — Крестьянин Надлер, которого вы, вероятно, тоже знаете, принес мне бутылку домашней вишневки. Разрешите налить вам.— Правда, жена запретила пастору откупоривать бутылку до пасхи, но высокий гость являлся желанным предлогом.

Цизен сказал, глядя в пространство:

— Национал-социалисты выставили кандидатуру Людендорфа. Я ими раньше особенно не интересовался, их главарь Адольф Гитлер два года назад сидел в тюрьме после того, чтб учинил в Мюнхене. И я всегда спрашивал себя, разве может выйти что-нибудь путное там, где замешано слово «социализм»? Даже если к нему прибавляют «национальный». Но Людендорф — это заставляет меня призадуматься.

Через две-три недели Цизен сидел в том же кресле и в той же комнате и угощали его той же вишневкой. За это время все успело прийти в порядок — и положение дел на свете, и его совесть. Правый блок выставил кандидатом Гинденбурга, который внушал Цизену и многим другим не меньше доверия, чем Людендорф. Этот убеленный сединами старый вояка не возглавляет ни одной из новых партий с дурацкими названиями, в которых никак не поймешь, что к чему. Пастор рассказал гостю, что у него был местный учитель — в первый раз,— ибо учитель посещал церковь только в крайних случаях, когда ему приходилось вести туда своих учеников; тоже один из молодых людей, у которых в голове не того.., вот-вот угодил бы в сети к социал-демократам, если бы те не умудрились голосовать за представителя центра Вильгельма Маркса. Но даже учителю это показалось чересчур.

Тут их беседу прервала старшая дочь пастора: сапожник Надлер принес туфли из починки. Его позвали в комнаты, чтобы расплатиться. Христиан вошел со смиренным, почти униженным видом. Цизену предварительно объяснили, что это вполне приличный малый, но ему на войне все кости перебили, вот и приходится теперь заниматься сапожным ремеслом. Христиан, словно ему было стыдно даже говорить о такой ерунде, заявил, что позволил себе подложить сбоку под каблуки фрейлейн кусочки кожи,

чтобы башмаки не так скоро стаптывались. Цизен, который всегда интересовался мнением народа, в данном случае — мнением Христиана, перебил разговор о башмаках:

— А вы, господин Надлер, надеюсь, поможете нам выбрать в воскресенье Гинденбурга?

Христиан обратил потупленный взгляд на сапоги гостя, которые были недоступной роскошью для его обычных клиентов, но в один прекрасный день и они, бесспорно, потребуют его услуг.

— Конечно, господин барон,— ответил он.

В ближайшее воскресенье он после обедни действительно завернул в трактир «Под дубом», ибо там находился избирательный пункт. При входе портрет фельдмаршала так и лез в глаза, точно не могло быть сомнения, что выбор падет на него. Вильгельм Надлер сидел тут же за столиком — он помогал при регистрации голосовавших и в прошлую ночь отколотил каких-то подозрительных типов, распространявших листовки. Вечером портрет фельдмаршала должен был перекочевать с избирательного пункта к нему в дом, уж очень он Вильгельму понравился.

Подойдя к урне, Христиан Надлер скомкал свой избирательный бюллетень и сунул его в карман. Он знал, что брат записывает по порядку каждого явившегося на выборы. И знал, что потом Вильгельм осторожно нанижет все бюллетени на вязальную спицу и можно будет, читая фамилии избирателей в том порядке, в каком они опускали бюллетени, узнать, за кого каждый из них подал свой голос. Последними явились старик Вулле и его сварливая жена. И так как бюллетеня Христиана недоставало, то вечером люди посмеялись над глупой старухой, которая до сих пор не может понять, что женщинам даны избирательные права, и полагает, будто одного мужниного голоса достаточно на двоих.

V

В кухне престиж шофера Бекера еще больше возрос, после того как господа одобрили его решение изгнать горничную, лишившуюся своих кос в наказание за то, что она спуталась с французом. Его мнение приобрело среди слуг такой вес, что к нему обращались буквально с каждым пустяком. Господа наняли по его рекомендации новую гор-

ничную, Эмму, сестру некой Берты, служившей в вилле на Таунусе у директора Шлютебока, с которым хозяин был связан и деловыми узами и принадлежностью к одной партии. У Бекера была с Бертой мимолетная интрижка — для препровождения времени — в перерывах между интрижками и здесь, и во Франкфурте, и в Майнце, и в висбаденских гостиницах. С тех пор как он чуть было не женился на Элле, этой «французской шлюхе», как он теперь с досады называл ее, Бекер уже не помышлял о браке.

Новая горничная Эмма была услужливая, скромная пожилая особа. Уж она-то не заведет себе таких кавалеров, из-за которых ей отрежут косы, и шестимесячной завивки тоже не сделает. Жена Клемма поблагодарила шофера за посредничество, хотя обычно избегала всяких разговоров с ним — из гордости, как полагал Бекер, на самом же деле оттого, что скучала по уволенному много лет назад прежнему шоферу, о котором с тех пор не было ни слуху ни духу.

Через несколько дней, в течение которых Эмма прислуживала так хорошо, словно всю жизнь только здесь и работала, выяснилось, что она католичка. Никому, кто знал ее младшую сестру Берту, это и в голову не могло прийти. Но Эмма сама заявила о своих религиозных убеждениях во всеуслышание и притом с некоторым даже жаром, что, как всегда в подобных случаях, сразу же оказало на умы известное воздействие. Ввиду того что была пятница и Эмме, как ревностной католичке, в этот день полагалось воздерживаться от мяса, она не пожелала есть бифштекс, а извлекла из холодильника вчерашний салат с селедкой. Бекер по этому поводу заметил: он-де тоже родом из католической семьи, но его мать перестала ходить к исповеди, так как священник — они обычно это делают — завел связь с сестрой Бекеровой матери. А девушка с косами, помощница горничной, заявила, что постный день — только для богатых, не то совсем обожрутся и животы расстроят. Теперь она закладывала свои длинные косы узлом на затылке, и ее пышная грудь так и выпирала из блузки. Для Бекера все обитатели усадьбы были предметом тщательных наблюдений, и он решил, что этот вздор наверняка внушает девице парень, которого он нередко видел с ней по вечерам. Шофер успел также узнать, что этот малый работает в Амёнебурге, с тех пор как бежал сюда к нам, на оккупированную территорию, оттуда, где за хорошие дела его

хотели арестовать. Такие висельники охотно укрывались в Прирейнской области, где чувствовали себя в безопасности под крылышком у оккупационных чиновников. Следовало бы хорошенько вздуть парня, прежде чем он испортит эту смазливую девчонку.

Новая горничная Эмма молча выслушивала все эти разговоры. Или ей не было дано защищать свою веру, или казалось бесполезным защищать ее от подобного рода людей, только она почти смирилась с тем, что пятница для нее — самый неприятный день. В этот день Бекер непременно изводил ее. Он уверял, что поститься каждую пятницу — это уж слишком, это притупляет память о свершившемся. Правда, в «Рейнском содружестве» они намерены отмечать каждое 26 мая — день, когда французы расстреляли Шлагетера за саботаж. Но ведь не каждую же неделю! И он даже не знает, какой день недели был 26 мая. Эмма возразила, что это другое дело. Спаситель-де принес себя в жертву за все человечество при наместнике Понтии Пилате. Бекер же, гордый своими познаниями, отпарировал: «А Шлагетер — за всю Германию при Тираре». В ответ Эмма только пожала плечами. «Это она всегда так,— подумал Бекер,— когда ей крыть нечем».

За время оккупации уважение к шоферу постепенно переросло в славу. Она была, как и прежде, связана со славой его господина. При последних переговорах, происходивших на территории, оккупированной англичанами, случай свел Клемма с коммерции советником Кастрициусом, у которого в Бонне была городская квартира, а под Рюдесгеймом — небольшое поместье. Жена советника, для которой и была построена эта вилла, давно умерла. Дочь, выросшая под присмотром воспитательницы, была уже подростком с круглыми, блестящими, как вишни, глазами. Старик показал гостям открывавшийся за окном ландшафт: склоны холмов пестрели французскими трехцветными флагами и топорщились виноградными лозами. Он говорил, что с удовольствием наблюдает за тем, как растут его дочь и его виноград. Бекер понял, что его господину до смерти приятно ужинать у старика Кастрициуса. Его самого не раз приглашали наверх, в отделанную дубом столовую, и шофер сидел среди молодых людей, с которыми беседовали господин коммерции советник и господин фон Клемм. Как только поднимался вопрос о том, как бы вызволить какого-нибудь парня, арестованного французами за то, что он

стрелял в одного из деревенских бургомистров-сепаратистов, они советовались с Бекером, как будто он им ровня.

— Кто согласен в этом участвовать?

— Конечно, я,— отвечал обычно шофер Клемма. И ему давали другую машину, так как автомобиль Клемма никак не должен был фигурировать в таком деле. Два подростка раздобывали себе разрешение на свидание. Если их отказывались впустить на тюремный двор, они стреляли, потом вскакивали в машину, и Бекер как вихрь мчал их всех через цепь часовых за демаркационную линию. А на другой день Бекеру доставляло особое удовольствие отвозить французских контролеров на завод Клемма.

Клемм ограничил свое «Рейнское содружество» только самыми верными и надежными людьми, чтобы в результате какой-нибудь неосторожности не подпасть под новый закон о запрете тайных обществ. А верность и надежность были так же неотделимы от Бекера, как сердце и почки. Даже в кухне Бекер не хвастал тем, что самой госпоже фон Клемм пришлось собственноручно наливать ему чай, ибо Эмма была здесь явно чужеродным элементом.

Премьер-министр Пуанкаре, перед тем как в мае 1924 года уступить свое место Эррио, постарался еще раз с помощью неожиданной волны арестов выловить тех порядочных молодых немцев, которые злили его, избивая сепаратистов.

За последнее время к Клемму все чаще обращались с просьбой предоставить своего шофера, чтобы тайно перевезти через границу некое лицо, которое обвинялось в саботаже и разыскивалось со времени сепаратистских путчей или с момента оккупации Рура. А Бекер знал все места, где можно было тайком переехать границу, и все способы подкупа пограничной охраны. Его даже пригласили к Кастрициусу, и они совещались втроем — хозяин дома, Бекер и его господин. Затем посадили к нему в машину молодого химика, которого особенно важно было переправить через границу целым и невредимым. Кастрициус, следуя примеру Клемма, обращался с Бекером, как с равным.

После того как химика благополучно перевезли, они, опять-таки втроем, обсуждали эту удачу, и теперь уже не на вилле Кастрициуса, а в саду гостиницы. Несколько рабочих с дорожного строительства, пивших пиво за соседним столиком — у них был обеденный перерыв,— с удивлением

отметили это равноправие. Бекер блаженствовал. А Клемм, словно угадывая его чувства, сказал:

— Ты вот пьешь с нами пиво, Бекер, а вон для тех господ напротив это нарушение принципов классовой борьбы.

Кастрициус добавил:

— Нужно только уметь подойти к таким молодчикам. Мы еще этим фокусом не совсем овладели. Дело в том, Клемм, что ведь все они как один человек боролись вместе с нами против сепаратистов. В ту пору они тоже чувствовали, что их отечество начинается не за Москвой.

Клемм задумчиво ответил:

— Это-то да, но надо действовать осторожнее. Подобный же прием пытаются применить и наши противники. Такая любовь к отечеству пришлась красным бонзам очень некстати. И тогда они перевернули все чувства шиворот-навыворот и принялись уверять, будто они против богатых, на этот раз — против богатых французов, которым мало своей и они хотят слопать еще и чужие страны.

Кастрициус, не настолько привыкший к обществу Бекера, как Клемм, предпочел бы обсуждать этот щекотливый вопрос без шофера. Он заговорил опять о побеге химика. Дочка его плакала из-за этой вынужденной разлуки, но, в общем, приказ об аресте оказался весьма кстати. Ведь она отчаянно влюблена в этого химика. Но она его забудет и найдет себе подходящего жениха. Клемм спросил, смеясь, кто же мог бы быть этим подходящим женихом, на что Кастрициус ответил:

— Говоря по правде, хотя бы вы, дорогой Клемм, вы бы подошли. Но, к сожалению, вы женаты. Я могу быть с вами откровенным, так как вы исключаетесь. У вас есть все те качества, которые обычно встречаются у людей в разрозненном виде и которые нравятся и молодым девушкам и их отцам.

— Искренно сожалею,— отозвался Клемм,— мне следовало познакомиться с вашей дочкой лет семь-восемь назад.

— Ну, тогда она еще в куклы играла.

— Я думаю, она и теперь еще играет. Женитьба меня, наверно, состарила.

Оба позабыли о Бекере, который внимательно прислушивался к их разговору. Он думал: «Да, вот эта девочка действительно была бы настоящей женой для моего господина. Она гораздо больше подошла бы к нашему дому, чем

эта жердь, которая и рюдесгеймского вина от хохгеймского отличить не умеет».

Клемм и Кастрициус уже давно говорили о другом, а Бекер все еще додумывал эту мысль.

— Я сразу понял,— говорил Клемм,— что план Дауэса кое-что даст и нам. Он не может быть плох для нас уже потому, что французы яростно протестуют против него.

— Да ведь им ненавистно все, что не имеет целью растерзать нас на мельчайшие кусочки. Они не столь практичны, как их союзники. Месть обычно не бывает практичной. А англичане и американцы жаждут не мести, а только акций. Они хотят забрать в руки все наши железные дороги. Для этого нужны империя и люди, которые бы ездили по этой империи, а тем в свою очередь нужны деньги на дорогу. А для этого нужна устойчивая валюта.

После каждой высказанной Кастрициусом мысли на его здоровом, упитанном лице появлялось такое выражение, как будто он смаковал вино необычайно высокого качества. Клемм восхищался им, хотя вообще восхищался другими людьми крайне редко. Он сказал:

— Но они все еще позволяют французам сидеть у нас на шее.

Кастрициус ответил, сохраняя то же выражение добродушной хитрости:

— Мы до сих пор недостаточно, на их взгляд, сократили свой генеральный штаб, а также армию и все еще выпускаем слишком много пушек и слишком мало дождевых зонтиков.

То, что Бекеру было понятно в таких разговорах, он потом вечером пересказывал в кухне. И насчет таможенных штрафов, которые ложатся на завод слишком тяжелым бременем. Он лично прямо рад будет, заявил Бекер, если государственные железные дороги перейдут в частные руки — тогда фирме Клемма «Смолы и лаки» не так будет страшна задолженность. Повариха, садовник, даже Эмма, невольно во всем подражавшие Бекеру, ибо он был в кухне главной персоной, также выразили по этому поводу свое удовлетворение.

С восхищением отнеслись они и к рассказу Бекера о том, что скоро исполнится тысяча лет, как прирейнские земли вошли в состав Германской империи, и что эта дата будет отпразднована с особой торжественностью. Он тоже

ожидает с нетерпением этого праздника, хотя сам родом из Вестфалии. Садовник сказал:

— Да, тысяча лет не шутка.

В кухне все привыкли вместе с Бекером подтрунивать над Эммой. Серьезные разногласия обнаружились между ними, лишь когда умер президент Эберт и обитатели клеммовского дома проследовали к избирательным урнам.

И тут Бекер спросил:

— Ну, Эмма, что же вы теперь выберете — салат с селедкой или бифштекс?

Эмма давно уже решила уйти в добропорядочную католическую семью, но она промолчала: с новым местом еще не все было выяснено. Она голосовала не за Гинденбурга, рассказывал потом Бекер, ведя машину, а за центристского главаря — Вильгельма Маркса.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Клемм уехал в Берлин на автомобиле, а жена с сыном Хельмутом — в спальном вагоне. Он встретил их на Ангальтском вокзале и спросил жену, как она желает: сначала остановиться в гостинице, принять ванну и позавтракать или сначала она съездит в Потсдам, чтобы показать малыша тетке? Для Леноры целью этой поездки было пребывание в родном доме на Шарнхорстштрассе. И она отнюдь не собиралась сейчас же после визита к тетке возвращаться в отель «Адлон». Поэтому Клемм попросил Бекера отвезти жену и ребенка в Потсдам. Ему важно было, чтобы во время конференции ему никто не мешал.

Дорога через скучный Груневальд, как и все дороги Германии, по которым Бекер гонял машину, вызвала в нем бесчисленные воспоминания о совместной жизни с его хозяином, Клеммом. Вспомнился ему и тот зимний день, когда он ждал в чужой машине, а Клемм и его спутники торопились покончить с парнем, которого везли из Берлина на допрос. Вот здесь, возле просеки, у них лопнула шина. Они пересели в чужой автомобиль, в котором арестованного должны были доставить в Новавес. Бекер охотно рассказал бы госпоже фон Клемм, какие штуки они вместе с хозяином вытворяли в былые дни. Но у нее, видно, никогда не возникало желания поболтать с ним; Бекер не представлял себе, какое удовольствие мужчине от этакой сухопарой жерди. Но были же в ней какие-то чары, иначе его господин не влип бы.

Лепора сидела, обняв малыша. Бекер неохотно возил мать, но ребенка он любил. У мальчика была вихрастая темная головка, веселые глаза, и вообще он настолько напоминал Клемма, что Бекеру нетрудно было перенести свою любовь с отца на сына. Он увидел в зеркальце, что

лицо молодой женщины вдруг побледнело от волнения, когда они покатили по тихим потсдамским улицам. Ленора сказала: «Здесь». Они свернули в улочку, окаймленную палисадниками. Низенькие домики, как отметил про себя Бекер, давно нуждались в ремонте, штукатурка почти всюду облупилась. И какие смешные были на них украшения: тут какая-то фигура, там солнечные часы, там забавная башенка в виде луковки над крошечным фонарем. Леноре казалось, что желтевшие на мостовой осенние листья лежат здесь еще со времен ее юности. Только их золото стало немного гуще да запах сильнее, как будто бабье лето уже шло на убыль. Должно быть, этот силуэт в застекленном фонаре и есть тетя Амалия, но она, вероятно, считает, что ждать и волноваться — неприличное ребячество. Бекер не успел распахнуть дверцу машины, Ленора сама торопливо открыла ее. Ребенок с любопытством смотрел на приближавшуюся тетю. Она неторопливо сошла с лестницы, сдержанно поздоровалась с племянницей. Ленора видела по тонким поджатым губам, что тетя Амалия все же страстно и нетерпеливо ждала их. Маленький Хельмут продолжал рассматривать эту странную тетю, державшую за руку его мать. Она была гораздо худее, чем обычно бывают старухи, цепочка от часов обвивалась вокруг ее шеи и исчезала за поясом. Рот был сведен странной гримасой. Она строго смотрела вниз на его макушку, похожую на монету, на подстриженные в кружок волосы, словно укоряя его за вихры, затем вдруг притянула мальчика к себе так, что скрипнула ее грудь, плоская и жестковатая под застегнутой до подбородка блузкой. В этой груди шевельнулось то же чувство, что и в давно высосанной голодными ротиками груди какой-нибудь бабушки, впервые увидевшей внука. Леноре впервые пришло в голову, что у тети Амалии никогда не было поклонников, она растила только детей брата и вела только хозяйство брата. Ее сердце вдруг переполнилось нежностью, но она не знала, куда девать эту нежность. Невозможно было излить ее на тетку, как невозможно было и поцеловать остроносое длинное лицо, подпертое стоячим воротником и увенчанное высоким пучком поседевших волос.

А шофер Бекер тем временем искал какой-нибудь предлог, чтобы сейчас же вернуться в Берлин. Он заявил, что господин фон Клемм ждет его как можно скорей обратно.

— Так пусть он едет! — воскликнула тетка.

Ленора вспомнила ее привычку отдавать приказания слугам, обращаясь к ним в третьем лице. И когда молодая женщина услышала, что машина отъезжает, она вздохнула с облегчением, как будто боялась, что этот шофер чего доброго утащит ее обратно. Как только дверь, скрипнув, захлопнулась за ней, стены дома обступили ее, а переживания и ошибки многих лет точно остались за порогом. Леноре казалось, что на мебели и посуде лежит отпечаток всех радостей и горестей ее детства, и она снова ощутила их привкус, словно они прилипли к комнате, к вставленным в рамку похвальным листам отца, к рукоделию тетки.

Тетка отказалась от помощи племянницы. Она подала сама — прислуги она не держала — кофе и круглое печенье, которое испекла вчера. Радостное изумление племянницы даже превзошло все падежды тетки. Ленора и Хельмут жадно принялись за печенье, словно все те разнообразные печенья, которые постоянно подавались на стол в доме над Рейном, были просто горсточками пыли.

После завтрака они поднялись наверх по лестнице, которую в честь своих гостей тетя Амалия, надев перчатки и елозя на коленях, собственноручно натерла — особенно же в честь маленького Хельмута, ибо он являлся наследником рода Клеммов и для тетки был все равно что старший внук; Ленора погладила желтый медный шарик на перилах. Тетя Амалия была права, приложив все усилия к тому, чтобы именно эта лестница особенно блестела, так как она вела в девичью комнату Леноры, в эту неприкосновенную и нерушимую сокровищницу воспоминаний. При виде висевшей на стене литографии «Расстрел шиллъских офицеров» она окунулась в поток давно забытых переживаний. Сонного малыша уложили в детскую кроватку, стоящую под литографией. Он едва в ней поместился, но тете Амалии непременно хотелось, чтобы он спал именно в этой старинной детской кроватке.

Оставшись одна, Ленора тут же вытянулась на своем девичьем ложе, оказавшемся чрезвычайно узким и жестким; она опять почувствовала, как ее охватывает то же спокойствие, что и в былые годы, спокойствие, присущее молодости и возникающее из равнодушия к жизненным невзгодам, известным только со слов взрослых, а те обычно все преувеличивают. По стене скользнул силуэт тетки, точно чудовищная тень великанши, точно символическое очертание ее сухой и суровой жизни; над этой жизнью Ле-

нора в детстве смеялась, затем презирала ее, затем просто о ней забыла. Сейчас ей больше всего на свете хотелось, чтобы тетка навсегда захлопнула за ней и ее сыном дверь этого домика, оградив их от вторжения внешнего мира. Здесь она могла бы забыть о доме, отражавшемся в водах Рейна, о мягком воздухе и нежных, смутно переливающихся красках, о своем муже, этом насмешливом и веселом человеке, а также об исчезнувшем любовнике, которого она в начале поездки мечтала встретить в Берлине. Но теперь она больше не хочет видеть его никогда, не хочет видеть те книги, которые накупила, следуя его советам. А вот грубоватая, сухая тетя Амалия ей близка, в ней больше честности, чем во всей той мишуре, в тех пустяках, которыми Ленора некоторое время увлекалась. У тетки ее мальчуган мог бы вырасти порядочным человеком, каким, вероятно, был ее отец. Тут она смутилась, невольно подумав: «Но не его отец». Затем спросила себя: «А что я могу возразить против Клемма? Ведь я же была отчаянно влюблена в этого человека еще тогда, в полевом госпитале, и потом очень недолго была так же безумно влюблена в Ливена, как до того в Клемма. Я только постепенно поняла, что Клемм любит командовать и быть центральной фигурой, он жаждет блестящей жизни...» А огромная тень тети Амалии продолжала поучать ее: «Ты же сама этого хотела, вот и терпи. Ты что ж, мечтала таскаться повсюду за любовником? Оставайся с мужем, сделай из сына порядочного человека, и с тебя хватит дела».

Ленора была поражена, когда на другое утро встретилась с маленькой Мальцан, вышедшей в прошлом году за ее брата. То робкая, то озорная, эта Ильза, которую она помнила только с косами и в коротких линялых платьицах, превратилась теперь в совершенно взрослую особу. И у нее были слишком блестящие глаза и заострившееся, по-особому хитроватое лицо, какое бывает у женщин к концу беременности. Полк ее мужа стоял в Ганновере, и она приехала к родам домой. Ильза с гордостью показала золовке кучу всяких детских шерстяных вещиц: так как девочкам полагалось розовое, а мальчикам — голубое, то, не дожидаясь родов, нашили и навязали все голубое. Тетя Амалия прислала колыбель, в которой спал ее отец, а потом брат. Как водится в таких случаях, родственники посмеялись над тем, что вот совсем взрослые люди и даже давно покоящиеся в могиле, а, оказывается, тоже когда-то лежали

в колыбелях. У маленького Хельмута был необуздани характер — сказалась отцовская кровь. А сын, которо ожидали, наверно, пойдет в семью матери.

Ночью тетка разбудила Ленору и нерешительно сообщила ей, что маленькая Мальцан родила, но не сына, а дочь. Когда Ленора прибежала к соседям, она увидела, что невестка свежа и здорова, но что ей почти стыдно за свою неудачу.

— Тебе хорошо говорить,— сказала роженица,— у тебя сын.

Старик Мальцан заявил:

— В следующий раз исправите свою ошибку.

Ленора испытывала какую-то неловкость, причины которой сама не понимала. Ведь она тоже была твердо уверена, что сын всегда лучше и желаннее, чем дочь.

Она сказала:

— Откуда же возьмутся сыновья, если не будет матерей, чтобы родить их? — Она относилась к новорожденной с такой нежностью, что брат, приехавший на крестины в Потсдам, даже начал поддразнивать ее. Ленора серьезно возразила:

— Мне кажется, одна я искренне радуюсь ее появлению на свет.— Не понравился ей и робкий взгляд, которым маленькая Мальцан встретила мужа, словно прося извинения за то, что не родила желанного сына. Ленора почувствовала неведомое ей ранее острое недовольство окружающими ее людьми, о которых так тосковала. Но в том мире, в котором она жила, она не знала других, не знала лучших. Она незаметно присматривалась к невестке, которая уже встала и, смеясь, расхаживала по дому. Это была хорошенькая молодая женщина, носившая пестрые, хрустевшие от чистоты летние платья. Брат, не стесняясь сестры, время от времени крепко целовал жену.

Клемм был не менее доволен, чем его шофер, что в берлинском отеле их никто не беспокоил.

Почти одновременно приехал из Бонна Кастрициус со своей веселой дочкой. Он, Клемм и директор Шлютебок явились в качестве представителей от Рейнской области для обсуждения связанных с ней проблем. И они заседали с представителями промышленности от всех частей Германии, чтобы выяснить те мероприятия, необходимость которых вытекала из недавних событий. Их территория по берегу Рейна все еще оставалась оккупированной: тут ни

Локарно, ни Генуя ничего не изменили. Прием в Лигу наций не сделал выплату репараций слаще. Их нужно было умелым хозяйствованием выжимать из железных дорог, пошлин и крупных предприятий. Восьмичасовой рабочий день не увеличишь, он был защищен законом. Поэтому надо было сократить число рабочих и выколотить из них побольше прибыли, ввести новые машины и при сокращении рабочей силы выбрасывать на рынки больше товаров.

Центральной фигурой всех этих совещаний, а также вечеров за кружкой пива или чайным столом неизменно был Кастрициус. Он стал ею по тем же непонятным законам, по каким в любой группе людей появляется центральная фигура. Кастрициус не принадлежал к числу тех, кто произносит решающее слово. Тем охотнее бегали к нему в гостиницу запросто и большие и маленькие люди. А он покорял и представителей правительства, и военных, и коллег своеобразной сочной речью — талант, который связывали с его прирейнским происхождением. У Кастрициуса была седая голова, и его дочь можно было принять за его внучку. Он жаловался на то, что схоронил уже двух жен, и, смеясь, предупреждал женщин, чтобы они не засматривались на него в надежде на короткий брак. Господа фон Стиннес, фон Крупп и фон Вольф охотно предоставляли ему слово; с помощью своей напористости и остроумия он протолкнул немало решений, так же как многого добивался у себя на производстве, ловко нажимая на рабочие делегации и производственные советы. А потом в разговоре пояснял:

— Мне на моих заводах нужны умные люди, которые умели бы обращаться с моими дорогими машинами. А в наши дни каждый умный рабочий сочувствует левым и желает бороться за свои права. Поэтому мы действуем только во вред себе, когда выгоняем и запираем в тюрьмы всех этих левых. Пора придумать что-нибудь другое, чтобы они не убегали от наших машин. Немецкий рабочий умеет работать только добросовестно. По природе он не лодырь. Нам необходимо найти подходящего человека с хитроумной программой, чтобы мы по-прежнему держали рабочих в руках и они в конце концов не забрали себе волю.

Перед своим отъездом Кастрициус дал раут — для самых близких друзей, как он заявил. Он снял в отеле «Адлон» целую анфиладу комнат, в том числе и гостиную, находившуюся между его спальней и спальней дочери. Норе минуло восемнадцать. Отец отзывался с большой похвалой

о ее воспитательнице. В основном и отец и воспитательница смотрят на дело одинаково — девочка должна научиться всему, что от нее потребуется в родительском доме; она должна уметь принимать гостей, играть в теннис, плавать и ездить верхом, а также знать всю домашнюю работу. Слуги подчиняются лишь той хозяйке, которая сама все отлично умеет.

Каждый из приглашенных был доволен, что он попал в число ближайших друзей. И два генерала, и лейтенанты из добровольческого корпуса, и художник из Бонна, и адвокат, и редакторы «Вохе» и «Дейче цейтунг». Клемм приказал жене проститься с теткой и провести последнюю ночь в «Адлоне», чтобы они оба могли явиться на приглашение Кастрициуса. Весь вечер Клемм внимательно следил за Норой, которая, раскрасневшись, помогала наливать ликеры и разносить печенье. Он решил, что эта девочка лучше ориентируется в жизни, чем его собственная жена. Клемм выпил порядочно, так как, наливая ему, Нора всякий раз поглядывала на него веселыми карими глазами.

Ленора молча курила. Лицо ее казалось усталым и равнодушным, ибо в эту минуту среди окружающих не было никого, от чьего присутствия вспыхнул бы ее взор. Она безучастно смотрела на мелькавших мимо нее людей, на военные мундиры и модные, элегантные костюмы. И ей чудилось, будто она уже когда-то видела всех этих мужчин страдающими и окровавленными, лечила и перевязывала их.

Вошел запоздавший гость, его узнали и радостно приветствовали. Клемм даже подбежал к двери:

— А я уж боялся, что ты нас совсем забыл.

Кастрициус сказал:

— Мы-то вас, во всяком случае, не забыли: вы нам когда-то помогли навести порядок в Билефельде.

Клемм обнаружил старого друга в кафе Кранцлера, и вышло очень кстати, что он при этом заплатил по счету Ливена. Ливен истратил уже почти все свое жалованье; он все-таки поступил на то место, которое ему предложил зять Глейма, а именно — агентом в одном отделении фирмы световой рекламы. А эта фирма имела какую-то связь с владельцем одной из электростанций, который в свою очередь был связан с семьей Глеймов.

Ленора сперва даже не узнала Ливена, друзья, приветствуя, обступили его и заслонили от нее, и потом за последние дни она совершенно забыла того человека, о кото-

ром раньше думала почти непрерывно. Хотя Ливен никогда даже не вспоминал об этой женщине, сейчас он почувствовал легкий укол самолюбия. Ленора сказала вдруг таким знакомым и насмешливым тоном:

— А, это вы, Ливен. Ведь я вас не узнала.

В ответ он спросил, действительно ли так изменился.

— Нет, но иногда человек не узнает других, оттого что сам очень изменился.— Она не могла бы придумать ответа, который уязвил бы Ливена больнее.

Тут его подозвали бывшие товарищи, они непременно хотели с ним чокнуться в память каких-либо боевых эпизодов. Они чувствовали себя на этом празднике точно не в городе, а на уединенном острове. Сначала они восхваляли хозяев, отца и дочь, затем спросили Ливена, знает ли он жену фон Клемма.

— Очень, очень хорошо,— ответил Ливен, опустив глаза и таким тоном, который был красноречивее слов.

Он даже надеялся, что кое-что из этого разговора долетит до ушей Клемма; Ливен вдруг возненавидел его, видимо, Клемм крепко держал жену в руках.

На другое утро Бекер с радостью повез своего господина и старика Кастрициуса обратно на Рейн. Дочь Кастрициуса предпочла ехать в собственной машине и с собственным шофером. Она посадила к себе свою воспитательницу и Ленору с маленьким сыном.

Кастрициус уже настолько привык к шоферу Клемма, что, не задумываясь, выкладывал в его присутствии свои заветные мысли.

— Вы, наверно, еще в школе учили, Клемм, насчет первых христиан. Они, как уже показывает самое название, были настроены в высшей степени по-христиански. Катакомбы и прочее... Но, наверно, для какого-нибудь римского министра внутренних дел это были крайне неудобные люди, пока одному из императоров не пришло в голову объявить христианство государственной религией и для разнообразия распять несколько язычников.

— Я где-то читал,— отозвался Клемм,— что после этого христиане кое в чем изменились.

— И да и нет. А что из этого? Ведь вы-то, Клемм, не Мартин Лютер и вы не собираетесь вывешивать свои тезисы на стене Майнцского собора? Мне все кажется, что

следовало бы объявить социализм государственной религией, чтобы он не прихлопнул нас снизу, как в России.

В эту минуту Бекер попросил разрешения подъехать к бензоколонке, чтобы заправить машину.

— Отличный человек этот ваш Бекер,— сказал Кастрициус.

Бекер спешил, он был просто счастлив, что вместо женской и детской болтовни имеет возможность услышать мнение таких двух мужчин, как Клемм и Кастрициус. Он надеялся из этого разговора все-таки узнать, в чем гвоздь новой партии, которая называет себя «Национал-социалистической рабочей партией Германии» и волнует умы даже в Рейнской области. Быть кому-нибудь преданным означало для Бекера пройти за ним огонь и воду, разделять его жизнь и его взгляды. К сожалению, во время заправки машины он пропустил кое-что из разговора и услышал только дальнейшие слова Кастрициуса:

— Вы всегда предполагали, Клемм, что это будет все то же самое, только для разнообразия без евреев. Я же вам сразу сказал, Клемм, что это не имеет ничего общего с социалистическим бредом. Этот человек действует совершенно так же, как я, когда оставляю на своем производстве открытыми все клапаны. Ни одного слова против производственных советов, против забастовок, против Первого мая, наоборот, пожалуйста, если вам нравится. Пусть он спокойно называет свою штуковину социализмом, пусть спокойно называет свою партию рабочей. Сейчас, мол, германский рабочий — самая важная фигура в государстве. Я, между прочим, тоже так думаю. И если держишь его в руках, то держишь все. А если рабочему больше нравится старое название, что же, попробуем сыграть на старом названии. У нас вот противятся конфискации коронного имущества. А меня это и навело на такие мысли. Говорят, Гитлер сколотил свою партию из людей, которые желали именно подобной конфискации. Вот, скажите по совести, Клемм, разве вы видели когда-нибудь стопроцентного социалиста, который был бы против любой конфискации? Социалист всегда против собственности. Идет ли речь о моей фабрике, о вашем автомобиле или о новой ливрее вашего шофера Бекера. Пусть будет всем плохо, всем одинаково плохо.

«Вот уж правда-то! — подумал Бекер.— Поэтому сын нашего садовника все время и шпыняет меня: с моей

точки зрения, вы, Бекер, мол, прямо крепостной. А говорит он это потому, что завидует мне. Он хочет, чтобы и мне жилось так же плохо, как ему».

Бекер опять испытал большое удовольствие, когда они втроем, сидя за одним столом, обедали в гостинице.

II

Когда последние гости простились с хозяином, Ливен еще поговорил кое с кем в лифте и в вестибюле. Посмеялись над обысками, произведенными в последнее время в гаражах и квартирах их единомышленников, которых обвиняли в организации запрещенных союзов. Левая пресса была переполнена описанием найденных документов. Капитан Штеффен рассказывал, что он сразу же переехал в отель «Эден», так как за его квартирой следят, но он, как и все, считает, что им не грозит ничего серьезного до тех пор, пока президентом остается Гинденбург.

— Весь этот шум в печати поднят собаками, которые брешут, но не кусают.

— Когда нам подадут сигнал, мы живо примемся за дело, предупреждать без конца мы не будем.

Ливен надеялся, что капитан Штеффен предложит ему выпить рюмочку коньяку. Но сегодня все точно сговорились, никто не пригласил его. Казалось, они все были до крайности поглощены неотложными делами, а потому дали ему спокойно уйти из отеля «Адлон» и пересечь Унтер-ден-Линден. Он решил поехать автобусом, так как денег на такси у него не было. Может быть, Штеффен даже боялся, что их разговор кончится просьбой о деньгах или об устройстве на работу. Хотя Ливен и берег костюм для таких случаев, как прием у Кастрициуса, фасон его порядком устарел. В мундире Ливен имел бы прежний вид, насмешливый и дерзкий, равнодушный ко всему свету. А теперь он стоял, втиснувшись в переполненный автобус, который мчал его по вечерним улицам, где огни вспыхивали быстрее, чем звезды в небе. Он умел хранить равнодушие на всех полях сражений, во всех опасностях, во всех войнах, а сейчас ему требовалось беспредельное равнодушие, чтобы отстоять себя в ночной столице, которая совершенно равнодушна к тому, погибнет ли он сию минуту или включится в ее треволнения, в какие-нибудь заговоры, любов-

пые истории или финансовые аферы. Автобус катился то посреди сумрака глухой улицы, где фонари словно тонули в мареве, то мимо ярких и пестрых огней киноре клам, но у Ливена не было денег даже на кино, хотя он и служил агентом в фирме световой рекламы, куда его устроил зять Глейма, когда выяснилось, что Абд аль-Керим больше не нуждается в иностранных офицерах.

Ливен каждый месяц принуждал себя добывать два-три заказа, пуская в ход остатки своего красноречия, что стоило ему таких же усилий, как утомившемуся фокуснику особо сложный трюк. Когда у него оказывалось достаточно денег, чтобы разок пообедать в ресторане, хотя бы потом пришлось впроголодь жить весь месяц, он целыми днями и не вспоминал о своей службе. Его не увольняли только потому, что какой-то обер-директор внушил какому-то унтер-директору, что Ливену нужно оказать поддержку.

Он сошел в Штеглице. Торопливо миновал несколько тихих улиц. Ливен снимал здесь комнату, ему нравился район. В этом городе-гиганте были небоскребы и фабрики, были и кварталы, напоминавшие своей пустынностью деревню, провинцию, порты, даже заморские города. У Ливена теперь не хватало денег на комнату в доме, выходящем на улицу, и вот он идет двором во флигель, где снимает комнату у хозяйки. Но лестница здесь все же натерта, и медные шары на перилах все же поблескивают. В сущности, ему, Ливену, должно быть все равно: входит он во дворец или во дворовый флигель. Но его равнодушие нуждается в людях, которых бы это злило. А на заднем дворе в районе Штеглица, да и вообще в Берлине людям решительно нет никакого дела до того, что Ливен к чему-то равнодушен.

Он пробрался между играющими на лестнице детьми. Девочки постарше с любопытством провожали взглядами незнакомого жильца, как будто на его аккуратном пробо ре еще лежал отблеск таинственных приключений. Когда он отпер дверь, хозяйка поднялась ему навстречу: коротконогая, коренастая, стриженая, она была похожа на толстого пожилого мальчишку. Она сообщила:

— Пришел господин фон Лютгенс.

Хозяйка не ложилась и ждала Ливена в кухне только для того, чтобы сказать ему о приходе гостя, фамилию которого она произносила с особым удовольствием.

Ливен обрадовался, что будет в комнате не один. Впрочем, его радость значительно остыла, когда коротышка Лютгенс возвестил, что намерен провести ночь у него на диване и что свое место в радиофирме он потерял окончательно. Но он уже сговорился с приятелем относительно одного дельца. Сестра приятеля зарабатывает гимнастикой для грудных детей. Теперь они решили объявить курс для детей постарше — до двенадцати лет, а затем самых способных мальчиков отправят в настоящий спортивный союз. Ливен спросил:

— И грудных тоже?

Лютгенс ответил:

— Брось, пожалуйста, свои остроты, я говорю серьезно. Мы утратили гармонию между душой и телом. Древние народы лучше нас разбирались в этом. Они уже в колыбели изменяли форму голов и костей сыновьям своих жрецов и властителей, чтобы эти сыновья всю жизнь выглядели иначе, чем обыкновенные люди.

Ливен сказал:

— Вот как?

Ему очень хотелось сострить, но он сдержался. Он поставил на стол недопитую бутылку вина, так как есть было нечего. Сам Ливен до известной степени насытился сандвичами в отеле «Адлон» и теперь принялся описывать этот прием и бывших там гостей. Лютгенс внимательно слушал. Болтливость овладела им, только когда он изрядно выпил; ожидая Ливена, он рылся в его книгах, и то, что успел вычитать, изливалось теперь обратно, как вода по сточной канаве. Ливен слушал его терпеливо. Он уже привык к тому, что его друзья от безделья в эти пустые и унылые дни переносились в некий фантастический мир, который был насыщен отвагой и опасностью настолько же, насколько окружавшая их действительность была скучна и безопасна. Лютгенс набрасывал план будущего церковного государства, церковного, но без бога. И совершенно так же, как в церковном государстве прошлого, во вселенском государстве христиан были гонимы и прокляты неверующие, так и во вселенском безбожном государстве грядущего гонимы и прокляты будут верующие, эти мещане с их гнилым христианством, с их старыми, истасканными религиозными догмами.

Он пил и кричал:

— Нам необходима религия для неверующих!

Ливен сказал смеясь:

— Советский Союз?

Лютгенс пришел в ярость:

— Диктатура пролетариата? То есть диктатура оборванцев? Республика негров и дикарей? В моем государстве могут быть у власти только те, кто свободен и смел, как мы с тобой. Слушай! Вот тебе заповеди безбожника: «Сотвори себе другие кумиры, только не меня», «Убивай с наслаждением», «Прелюбодействуй как можно чаще, чтобы народить как можно больше сильных сыновей». Лишь тот заслуживает уважения и почета, кто следует этим заповедям. И тогда это будут уже не мещане из Веймарской республики, а люди, как ты и я, люди силы и воли.

Ливен слушал его не возражая; сначала все это забавляло его, потом наскучило. Бедняга Лютгенс, наверно, до чертиков устал от своих неудач в радиофирме, и ему кажется гораздо более заманчивым убивать с наслаждением, чем продавать радиоаппаратуру.

— Пока мы не построили республики безбожников,— сказал Ливен,— давай-ка ляжем спать.

Лютгенс еще некоторое время продолжал нести какой-то вздор. Его поджарая мальчишеская фигура сновала по комнате. Он перестал проповедовать, когда уже лежал на спине, затем снова привскочил.

— У тебя клопы в диване? — Потом утихомирился и только молча почесывался.

На пол комнаты полосами падал свет из нескольких окон на той стороне двора. Лютгенс наконец заснул. Раньше Ливен мог спать хоть под ураганным огнем, а теперь он лежал с открытыми глазами и курил. Жизнь, которая весь день катилась куда-то, унося его с собой, показалась ему сейчас, ночью, в этой комнате, невыносимой: она давно стала безрадостной, она лишена всяких неожиданностей. Но нельзя же давать ей без конца волочь себя куда-то, нужно же когда-нибудь овладеть ею, подчинить ее себе. Скучны были часы, проведенные у Кастрициуса, скучны сандвичи и коктейли, скучна барышня-дочь, скучны эти господа, которые в своих союзах и обществах по-дружески приветливы с ним, а в «Адлоне» сдержанно-холодны, оттого что Ливен в поношенном костюме. Да и Клемм уже не прежний. Нет, довольно!

В ком найти опору, на кого положиться? К какому примкнуть сообществу? Правда, он охотнее всего бывал

один, но, очевидно, сейчас невозможно жить одному или надо вести такую жизнь, как Отто, его двоюродный брат, на своей собственной земле. Но ведь теперь и земля-то не своя; и Отто тоже понадобилась помощь, и ему пришлось обратиться к людям. Даже получением этой гнусной должности, которая спасала Ливена только от голодной смерти, он обязан помощи какой-то группы людей. Но где найти такую группу, которая не даст умереть от голода, от омерзения и скуки? Все эти старые партии только жуют и пережевывают свои старые лозунги, хотя это одна солома, но они неустанно всерьез жуют ее. Коммунисты? В России он знал несколько человек из старых дворянских родов, которые, к ужасу остальных, пошли служить советской власти. Но стоило ли ему предпринимать подобный шаг только для того, чтобы огорошить своих прежних друзей? Он испытывал отвращение к людям, одержимым определенными идеями, а такого рода идеями в особенности. Они лишали человека его последней сути, они отнимали у человека то единственное, что ему принадлежит, и они тем более сделают Ливена бездомным и нищим. Они оспаривают единственную гордость, которая ему осталась,— его имя, его происхождение и его силу. Ну а нацисты? Они, правда, тоже одержимые, они вечно кричат о Версальском договоре, о значении расы, как коммунисты кричат о классовой борьбе. Дерзкие и остроумные молодые люди, против которых он решительно не возражает, вдруг пускаются в пространные рассуждения насчет мирового еврейства. Он отлично понимает, что причиной всех его несчастий является проигранная война. Но до евреев ему нет никакого дела. Он никогда с ними не сталкивался и сильно сомневается в их дьявольском могуществе. Однако всю эту болтовню еще можно претерпеть при условии, что нацисты будут его содержать. Было бы, например, неплохо, если бы удалось стать тайным членом их партии, а за это обещать им всевозможную информацию. Тогда можно не таскаться на сборища и не заявлять открыто о своем сочувствии.

Во всяком случае, надо будет в ближайшее время приглядеться к этим людям, ведь за это денег не берут. Они ценят каждого человека в соответствии с тем, чего он действительно стоит, и особенно такого человека, как он,— за остроумие, за горячность, за его ум и его имя. Маленький Лютгенс с ними уже спутался. Это видно по тем глупостям,

которые он сегодня изрекал и которые представлялись Ливену попытками мальчугана, подражающего взрослым, показать себя демонической, необузданной и свирепой натурой. В доме на улицу одно окно гасло за другим.

Наконец погасла и бледная полоска света на худой, цыплячьей шее Лютгенса.

III

Венцлов был, вероятно, самым небогатым жильцом того дома, где после женитьбы снял небольшую квартиру. Дом затерялся среди садов предместья. В нем жили разные люди: врач, семья коммерсанта, юрист и несколько чиновников. У всех у них были всевозможные побочные доходы, облегчавшие им каждодневное существование и гораздо более значительные, чем то скудное жалованье, на которое Венцлов должен был сводить концы с концами. Когда молодые Венцловы позволяли себе принять несколько человек гостей или отправиться на какую-нибудь вечеринку, которая устраивалась вскладчину, им приходилось потом долгое время довольствоваться скудными обедами. Денщик, происходивший из семьи ремесленников, помог молодой хозяйке обставить комнаты дешевой мебелью, и Венцлов очень гордился тем, что приятели хвалили его квартиру и что его жена, которую до сих пор еще иногда называли маленькой Мальцан, очень похорошела и всегда весело исполняла обязанности хозяйки. Она действительно оказалась для Венцлова подходящей женой, как и надеялась тетя Амалия, подглядев из окна кухни их первый поцелуй.

Жена Венцлова бывала неизменно вежлива с соседками и приветлива с их детьми, она ни к кому не заходила, а у себя принимала только жен мужниных сослуживцев. Она считала, что ее ребенок совсем другой, чем все остальные дети, игравшие в общем саду или спавшие на солнце в своих колясочках. Со временем ее дочка тоже станет женой совсем другого человека, не такого, как здешние мужчины, и матерью совсем других сыновей, так же как мать ее мужа, его тетка и ее собственная мать были совершенно другими женщинами, не такими, как эти.

Затаив насмешку, она охотно восхищалась удивительными игрушками и нарядами, которые другие жильцы по-

купали для своих детей, но ей были не по средствам. И муж, и она, и лежавшая в колясочке девочка не имели ничего, кроме своего имени, а его нельзя было заработать, оно принадлежало им уже в течение ряда веков. В незапамятные времена кто-то завоевал его честью и храбростью, и каждый, кто носил или будет носить это имя, обязан также блюсти родовую честь. Имя обязывало быть каждую минуту готовым пожертвовать жизнью ради самого дорогого, что есть на свете, а самое дорогое и было отечество. Если бы кто-нибудь спросил маленькую Мальцан, что такое отечество — правда, никто ее не спрашивал,— она бы, наверно, ответила: народ, в ком течет та же кровь, что и в ее стройном чистеньком теле, а такие люди, как ее муж и она, являются самой сущностью и сердцевиной этого народа. Она чувствовала презрение и недоверие к чужим, так презирала бы пшеница кукурузу, если бы та стала уверять, что из нее можно испечь хлеб. Но молодая женщина никогда не встречалась с людьми, которые попытались бы привить ей другие мысли, ибо общество, с детства ее окружавшее, было тщательно изолировано от всего огромного сообщества людей.

Теперь Венцлов мог бы считать себя счастливым: он обладал женщиной, которой хотел обладать, она была всегда одета к лицу, никогда не докучала ему неисполнимыми желаниями, охотно и неутомимо заботилась о ребенке и доме. Венцлов был на хорошем счету у начальников и у подчиненных, держался вдалеке от споров, ссор и разногласий. На службе он строго и неукоснительно исполнял то, что считал своим долгом, а каким должен быть этот долг в каждую данную минуту, он узнавал в свободное время из дневников видных полководцев и офицеров былых времен, некогда придавших его отечеству тот блеск, которым оно обладало еще в великую войну. Потом все погубили предатели и дураки.

Разочарование по поводу рождения дочери прошло у него даже быстрее, чем у жены, и не только потому, что малышка ему нравилась, что на нее весело было смотреть; он испытывал к дочке непонятную для него самого нежность, выходящую за пределы положенной меры чувств. Ему было приятно, когда жена забавы ради давала ему подержать девочку. От теплого, вертлявого тельца исходил ток новой, непонятной жизни, и это чувство не имело ничего общего с его представлением о любви, а тем более

с возвышенными понятиями чести и славы. Не вдумываясь ни во что, он попросту радостно ощущал, как детская головенка прижимается к нему, а ножки, брыкаясь, толкают его в грудь. Он мог бы считать себя счастливым, если бы по временам его не мучили воспоминания об отце. Отец пал с честью на поле боя, отец прославил имя, которое сын носит с такой гордостью. Но перед войной Венцлов-старший, рано выйдя в отставку, жил дома; и при воспоминаниях о том времени и сын и дочь приходили в ужас. Своим вынужденным бездельем и своими капризами отец сделал жизнь в семье невыносимой. Сын начал свою карьеру так же рано, как и отец; до сих пор ему по порядку давали чин за чином. Мальцан оказался прав, уговорив его служить в рейхсвере. И хотя их сословие было сильно урезано, оно больше, чем прежде, служило залогом того, что понятия долга и чести еще живы. Но шансы выдвинуться были теперь совсем ничтожны. Войны, когда можно было бы совершить что-то исключительное, не предвиделось. Хотя Гинденбург и был президентом, но, для того чтобы послать к чертям всю систему и призвать к власти соответствующих людей, он был слишком стар. И вот Германия утешалась Лигой наций. Она заключала договоры направо и налево, она стремилась добиться равноправия, вместо того чтобы стать ведущей. А это влекло за собой еще большее сокращение ее военной мощи, давало еще меньше перспектив для возрождения; для Венцлова же все это означало неизбежную раннюю отставку.

Старик Шпрангер, друг его отца и тестя, некогда с успехом ходатайствовавший за Венцлова, и тот не мог бы добиться для него какого-нибудь назначения в штаб или в министерство. Военная карьера Венцлова, так же как и карьера отца, просто должна была оборваться, даже если бы он и служил в настоящей армии. И неужели тогда он, как и отец, будет с утра до ночи брюзжать, сделается пугалом для семьи — для жены, для крошечной девочки и для детей, которые еще родятся? Ни честь, ни имя не могли смягчить предвидение этих серых дней. Правда, сейчас он был еще настолько молод, что мог рисовать себе неизбежное угасание молодости только во время редких ночных приступов тоски. Он скрывал их от жены, даже от самого себя. И если Венцлов относился неодобрительно к любому слишком сильному движению чувств, то тем более упрекал он себя за эти постыдные приступы уныния. Со-

мневаться в правильности законов, управляющих жизнью, а тем более опасаться их — казалось ему чем-то вроде преступного неповиновения. И он силился побороть страх, сжимавший ему сердце, скрывал его, как тайный порок, даже от своего давнего и вновь обретенного друга Штахвица, который в этом году был переведен в гарнизон Венцлова.

Ребенком Штахвиц жил по соседству от них на Шарнхорстштрассе. Тетя Амалия по каким-то непонятным причинам предпочитала его всем другим мальчикам, хотя он был строптив и груб; в семье, где он был младшим, имелась еще куча мальчиков и девочек, и болезненная мать уже не справлялась со всей оравой. По столь же непонятным причинам и этот предоставленный самому себе мальчуган мирился с выговорами и назиданиями тети Амалии.

Мальчики вместе поступили в кадетский корпус. Штахвиц — на освободившуюся вакансию. Потом они воевали на разных фронтах и потеряли друг друга из виду. Однажды до Венцлова дошел слух, что его друга чуть не силой удержали от самоубийства, когда стало известно, что кайзер бежал в Амэронген. Венцлову было даже трудно себе представить, что это известие могло так подействовать на товарища его юности. И все-таки, когда он сам, охваченный отчаянием, начал задумываться, вся эта история уже не казалась ему такой невероятной. Ведь именно то, что заставляло Штахвица все эти годы держаться, теперь рухнуло.

Но за это время он, видимо, успел примириться с новым государством и с теми возможностями, которые оно перед ним раскрывало. Как и Венцлов, он, наверно, нашел человека, облегчившего ему это примирение. Во всяком случае, он кончил тем же гарнизоном, что и Венцлов. Они возобновили прежнее знакомство. И скоро Штахвиц начал являться без приглашения и предупреждения, когда вздумается. Но его нигде не любили так, как любили Венцлова. Теперь, как и раньше, то и дело приходилось выручать его из беды, в которую он попадал из-за ссоры, любовной связи, долгов, из-за чрезмерного служебного рвения или небрежности. Он никогда не таил про себя своих дурных настроений; Венцлов рядом с ним казался спокойным и выдержанным и умело скрывал малейшие следы своего страха перед жизнью.

Как бы ни был неосторожен Штахвиц, он решительно уклонялся от всяких споров, которые теперь вспыхивали повсюду. Генерал фон Сект был смещен, после того как пригласил на маневры рейхсвера принцев из дома Гогенцоллерн. И Венцлову невольно вспомнились некоторые уже давно циркулирующие слухи, когда вечером Штахвиц, сидя у него, заявил:

— Я не знаю, почему вы проливаете из-за Секта столько слез! И правильно сделали, что его сместили, хотя право сейчас не там, где полагают правительство и министры. Чего ради подвергаться риску из-за этих принцев? Зачем принципиально цепляться за того, кто добровольно и отнюдь не принципиально уступил свое место? Мы были когда-то готовы пролить за них свою кровь. Они сами от этого отказались.

— Добровольно или нет,— отозвался Венцлов,— но наше отечество стало под их правлением мощным государством. Чернь не может понять символику тех чувств, которых она никогда не разделяла. А мы не позволим презирать наши символы даже тогда, когда сойдут со сцены отдельные люди, воплощавшие их в себе.

— Мы найдем новые и лучшие символы,— сказал Штахвиц,— найдем и человека, в котором они будут воплощены.

— Когда? Кого?

— Я еще не знаю,— продолжал Штахвиц.— Я ищу, я жду. Может быть, он сегодня еще идет за плугом, может быть, стоит в мастерской, а может быть, завтра будет стоять в солдатском строю. Он нужен нам — и поэтому он существует.

Венцлов, смеясь, покачал головой:

— Плуг, мастерская! Скажи уж тогда гроссбух или рубанок!

— А почему бы и нет?

— Потому что престол есть престол, а не плуг и не гроссбух. Он установлен свыше, и кто-то посажен на него свыше.

Штахвиц подошел к окну. Он смотрел на пестрое от осенних садов предместье, словно искал среди веток и коричневатой листвы того самого человека, о котором говорил.

«На друзьях виднее, чего тебе самому недостает,— думал Венцлов.— Штахвицу столько же лет, сколько и мне.

Быстро проходят годы и приближается время отставки. Он ждет события, которое бы все перевернуло и обеспечило нашу жизнь».

Настроение у Штахвица менялось так быстро, что он за ужином опять готов был шутить. И лепил из хлеба разные смешные фигурки, что всегда возмущало тетю Амалию.

IV

Мария уже едва помнила о страхах былых лет: тогда ей чудилось, будто какая-то злая сила стремится помешать рождению ее ребенка, а потом, когда он все-таки родился, та же сила будто не хотела, чтобы он жил. Однако это чувство давно сменилось обратным. Теперь ей казалось, будто ничто уже не может причинить вред ее сыну. Она привыкла к тому, что он приходил домой оборванный, исцарапанный в кровь и всегда предпочитал кухне двор, а домашним играм — драки с мальчишками. Не перепугалась она даже тогда, когда его однажды принесли домой почти без сознания: его ударили чем-то острым так, что он едва не лишился глаза; она так спокойно смывала кровь, точно знала, что с властью зла раз и навсегда покончено. У мальчика было острое личико, напоминавшее мордочку лисенка, и он плакал и смеялся реже, чем другие дети его возраста. Он настороженно следил за всеми движениями окружающих, словно выжидал удобного момента для прыжка. Гешке даже удивлялся, что Мария больше тревожится за старших детей, чем за собственного ребенка. В душе она была убеждена, что скорее с этими детьми приключится какое-нибудь несчастье — ведь их не охраняла добрая звезда,— чем с ее мальчиком, который спасен окончательно.

Однажды под вечер Ганс вернулся домой в слезах. Она не встревожилась и после того, как выяснилось, что он заболел. Она все еще не верила в возможность какой-нибудь серьезной угрозы этому худенькому тельцу, которое снаружи было теперь усыпано красноватыми точками, а внутри таило то, что было ей дороже жизни. Но спокойствие ее поколебалось, когда он тут же заразил скарлатиной старших детей. И она почувствовала себя виноватой, когда Гешке сказал:

— Твой парень принес заразу в дом, а теперь вот все заболели.

Он еще никогда не говорил так: «твой парень» — чужой ребенок среди своих детей.

Ганса первого увезли в больницу, а мать с балкона, похожего на клетку, смотрела вслед больничной машине, которая с воем умчалась в город, опять показавшийся Марии загадочным и бурным, как море у нее на родине. И среди этих каменных груд, окутанных дымом, исчезло ее дитя. Она не плакала, но теперь она знала совершенно точно, где у нее сердце: мучительная боль между ребрами говорила ей — где. Она всматривалась в этот город. Был полдень. С грохотом мчались машины. Как люди спешили попасть непременно вовремя в определенное место! А где-то там, среди каменных громад, лежало ее дитя, осыпанное багровыми точечками. Она молилась, чтобы помогли ее ребенку, затерянному в предвечерней суете пыльного каменного города; она молила об этом жизнь, ту непостижимую вездесущую силу, частью которой был и ее покрытый красной сыпью мальчик, и грубоватое лицо мужа, и лицо ее милого, давно растаявшее в мерцающей дымке прошлого, и лица детей Гешке, и облака, и камни мостовой.

Старший мальчик и девочка заболели на другой же день; их увезли, потом увезли и второго мальчика, который сначала казался здоровым. Гешке грустный уходил на работу, грустный возвращался домой в пустую квартиру. Обычно он относился к детям равнодушно. И то, что он все-таки связывал с ними какую-то смутную и бессмысленную надежду, вероятно единственную в его однообразной жизни, в которой и труд и редкая удача — все было предрешено,— это Гешке понял только сейчас, когда квартира опустела. Обычно он испытывал только чувство долга перед своими детьми, иногда они немного развлекали его. Но теперь оказалось, что эта ни на чем не основанная, ему самому неведомая надежда на их маленькие, незаметные жизни, в которых ничего еще не было предрешено, что эта неопределенная надежда и была для него самым главным, а вовсе не каждодневная работа, не получка, кстати тоже весьма зыбкие на будущее. Пусть все в его собственном однообразном существовании было предопределено до самой смерти, только эти дети связывали его с чем-то неведомым. Этим неведомым и неопределенным и была надежда, и самая неопределенность делала ее беспредельной. Но теперь в кухне стало тихо, пища потеряла вкус. Стол был пуст. После работы Гешке обычно ездил в больницу. Через

неделю он привез домой девочку и второго мальчика, старшего и самого младшего пришлось еще оставить.

Однажды вечером Гешке торопливо забежал домой с работы захватить две пары носков, которые жена связала из распущенного шерстяного шарфа, чтобы согреть детям ноги, так как они, несмотря на жар, зябли. Мария осталась ждать его в темной кухне. Она узнала его шаги на лестнице. В особой тяжести и медлительности этих шагов таилось что-то, отчего ее сердце замерло. Войдя, Гешке ничего не сказал, и лицо его в сумраке она не могла разглядеть. Но от этого входившего человека веяло, как от айсберга, таким холодом, что, казалось, замерзает самый воздух. Мария почувствовала, как у нее немеет челюсть, она не могла провести языком по губам. Она спросила сдавленным голосом:

— Ну как?

Но и тут Гешке ничего не ответил; он переставил кастрюлю с плиты на подоконник, как делал всегда, когда опаздывал, и проглотил несколько ложек супа. Мария сидела, сложив руки на коленях. Сердце ее стучало, одним ударом оно приказывало: «Спроси», другим ударом: «Молчи». Кухню рассекал луч фонаря. Гешке сидел по ту сторону этой светлой полосы, этой узкой бездны, через которую уже нельзя было перекинуть вопрос. В пивной играл граммофон. Гешке швырнул ложку и сказал:

— Он умер.

Мария спросила осипшим от страха голосом:

— Который?

Гешке бросил на нее злобный взгляд, у него чуть было не сорвалось: «Мой». Невольно он проглотил это слово, хотя только страдал и ни о чем не думал. Она так же не видела его взгляда, как он — ее побелевшего лица. Гешке сказал:

— Старший.

Мария разрыдалась. Стоя у окна, он с минуту смотрел на нее, затем добавил:

— Маленькому лучше, скоро его отпустят домой.

А Мария плакала и плакала. Наконец она заговорила:

— Мало на свете таких хороших ребят, как старший. Помнишь, ты наказал Лену за то, что она разбила миску, и отправил ее в постель без ужина. И тогда он отнес ей свой кусочек колбасы, ты помнишь?

— Да, да,— отозвался Гешке. Ему припомнилось все. Все подробности, самые ничтожные и незаметные мелочи, подтверждавшие его уверенность в том, что старший сын был действительно хорошим мальчиком; ведь жизнь самого Гешке еще не все; может быть, благодаря этому мальчику и он нашел бы какой-то выход из тупика. Но теперь сын мертв, и возможность его влияния на жизнь отца кончилась. Гешке оперся локтями о край подоконника и положил голову на руки; кухню все так же пересекал луч фонаря, так же горланил граммофон.

Гешке слушал плач жены, которая никак не могла успокоиться. Затем Мария подошла к нему, она положила руку ему на голову и почувствовала под пальцами чужие волосы — теплые и какие-то неподатливые. Ее страх исчез. Слезы высохли. Она почувствовала теплоту и неподатливость всей этой чужой жизни, в которую — худо ли, хорошо ли — она вошла. Мария подняла с пола ложку, она принялась уговаривать Гешке, чтобы он хоть немного поел горячего, и, так как он покачал головой, подвинула свой стул к окну. Гешке посмотрел на ее выпуклый светлый лоб и мало-помалу успокоился. Они еще немного посидели рядом молча, в темноте.

А жизнь пошла дальше, сначала робко, как будто она еще не решалась идти тем же шагом, лишившись одной из своих надежд. А потом эта жизнь, немного оскудевшая и ставшая одной надеждой беднее, опять сделалась обычной жизнью. Ганс еще долго не выходил на улицу, но уже, как прежде, внимательно следил за всеми движениями окружающих. Он еще не был готов к прыжку, в его глазах еще не вспыхивали светлые искорки. Мальчик напоминал уставшего лисенка. У него слегка щемило сердце при мысли о школе, в которую ему уже пора было идти, и он прислушивался к рассказам старших детей; Мария тоже побаивалась за него. Ганс знал о внешней жизни лишь то, что проникало в их квартиру: это была прежде всего жизнь отца, который изредка ласково потреплет его за чуб, долго что-то подсчитывает с матерью после получки, вечно боится остаться без работы; это споры отца с Трибелем из нижней квартиры и маленькая копилка на полке рядом с горшками, куда мать клала деньги — за ними каждую неделю являлся какой-то человек, а иногда сын хозяина пивной Лоренц. Как только входил Трибель, мальчик знал, что сейчас начнется спор. Трибель уже два раза терял

временную работу. Гешке спросил его, смеясь, не намерен ли он снять квартиру побольше.

— Зачем?

— Чтобы было куда вешать новые портреты каждый раз, когда у русских появится новый президент.

На это Трибель сказал:

— Сталин не президент. Он генеральный секретарь партии и останется им надолго. Скорее меня не будет, чем его.

— Может быть, если вы будете продолжать в том же духе.

— Если что мы будем продолжать? — спросил Трибель. И опять пошел крик. Ганс слушал, посасывая лакричную карамель. Когда говорили о черно-красно-золотом *, он представлял себе что-то пестрое, а когда говорили о Союзе красных фронтовиков — что-то яркое, и при этом отца, от которого пахло табаком, и Трибеля, который, говоря, плевался от волнения, и мать, которая всегда была тут, как солнце в небе. Она никогда ни во что не вмешивалась, брала надомную работу у тети Эмилии, если заработков Гешке не хватало. Тогда у них бывало мясо; послушная мужу, она бросала в копилку монетку, которую с трудом выгадывала, а эту копилку потом опустошал кто-то, кого Трибель ругал. Но мать была дружна с женой Трибеля, однажды подарившей Гансу яблоко. Она сказала при этом:

— Теперь тебе нужно поправляться.

Как только Ганс выздоровел, Мария повела его в школу. Елена, которая раньше провожала братьев, теперь сама пошла в школу для девочек, находившуюся за два квартала от их дома. Старший, Франц, уже умчался со своими дружками. Болезнь Ганса, когда он чуть не умер, поколебала веру матери в то, что ее сыну предназначено жить. А Гансу было стыдно, когда мать хватала его за руку, точно колеса каждого автобуса угрожали ему смертью. Какой жалкий вид был у него в доставшейся ему от умершего брата одежде, хотя и перешитой, но все же слишком широкой! Каким острым и бледным казалось его личико при утреннем солнце! Они шли вдвоем, мать и сын, и сердца их сжимались неопределенным страхом перед тем, что им

* Цвета флага Веймарской республики.

несет наступающий день. Усталые люди спешили прийти минута в минуту на работу. Утренние лучи отражались в витринах магазинов, освещали яблоки, кочаны капусты, куски сырой говядины на лотках. Чем ближе была школа, тем больше детей отделялось от толпы. Перед высокими воротами мальчики остались почти одни, взрослые постепенно отсеивались от них, как мякина от пшеницы.

Если вначале Ганс сердился, что мать провожает его, то теперь, растерявшись в незнакомом месте, он был рад, почувствовав на плече ее руку. Учитель был очень длинный, худой человек, напоминавший травинку, надломленную во многих местах. Он получил на фронте тяжелое ранение и от последствий этого ранения страдал до сих пор. Говорить он мог только вполголоса и частенько бывал вынужден выходить из класса; учитель очень старался, чтобы слухи о его недомогании не дошли до начальства. Мария испуганно заглянула ему в глаза, они были темные и печальные, чувствовалось, что он покорился судьбе. Он отошел с Марией к оконной нише. Мария уже не была так хороша собой: выпуклый лоб и волосы еще слегка светились, на щеках еще лежала тень от густых ресниц. Вот и все, что осталось от прежней красоты. Но учителю Хальштейну она показалась прекрасной. Почти такой же прекрасной, какой она показалась в пивной «Якорь» Эрвину, когда он там искал убежища, а нашел то, что важнее всякого убежища, нашел, быть может, на всю жизнь, но вся жизнь его вскоре после того оборвалась.

Учителю Хальштейну Мария показалась прекрасной не потому, что была молода, но потому, что была матерью одного из его учеников. Их объединяло одно желание — чтобы Ганс выучил азбуку; для учителя азбука была костяком языка, на котором говорили его жена и мать, языка Лютера, гётевского Фауста, языка его любимых писателей Гейне и Клейста и втайне любимого «Погфреда» Лилиенкрона, языка Томаса Манна, а с недавних пор — языка Маркса и Энгельса, любимых также втайне. Учитель сказал:

— Вы привели ко мне своего мальчика? Самое лучшее, что у вас есть.— Мария кивнула, удивленная тем, что он как будто знает ее тайну. Он продолжал: — Для меня он тоже самое лучшее — он мой ученик.

Теперь Мария стала раньше возвращаться домой. Ганс учил азбуку; он садился в кухне у подоконника и учил

прилежно, потому что учитель ему нравился, а когда Ганс хорошо знал урок, то получал от учителя премию — картинку из автомата. Братья часто спорили о том, чей учитель лучше. Мария скрывала свою досаду на то, что старший, Франц, еще лучше учится у своего учителя, чем Ганс у своего. Но Гешке не имел ни времени, ни повода знакомиться с учителями своих мальчиков. Франц давно уже вышел из того возраста, когда школьные дела детей интересуют родителей. Гешке же гордился вообще всеми школами, которые, как ему твердили, были созданы в стране его партией.

Когда они все вместе сидели в кухне, Мария иной раз спрашивала себя: «Неужели он уже примирился со смертью старшего?» А Гешке думал: «Она уже забыла старшего, может быть, потому, что это все-таки не ее собственный ребенок». Он опять получил работу, и было похоже на то, что он ее не так скоро потеряет. На их улице многие получили работу. Возможность наесться досыта за обедом, купить какие-то мелочи, в которых была крайняя нужда — рубашку, щетку,— все это делало домашнюю жизнь легче. Какое счастье, что теперь человек зарабатывал уже не миллионы, а самые обыкновенные марки. Все эти бумажки с неправдоподобными цифрами день ото дня обесценивались. Кусок мяса превращался в котлетку, а котлетка — в суповую косточку. Но теперь, если даже заработной платы не хватало на кусок мяса, в ней все же было что-то отрадное — ее можно было заранее распределить. Соседки ворчали то на одно, то на другое, мужчины проклинали эту собачью жизнь, а Мария отвечала тем, кто утверждал, что при такой заработной плате немыслимо сводить концы с концами: «Нужно только все правильно распределить».

Этому она научилась с детства в родной семье, которая была еще беднее. Из-за этого в доме считали, что она несколько ограниченна, хотя и очень добра, всегда готова помочь, если кто-нибудь болен или нужно что-нибудь занять. Привычка выводить каждое пятнышко и чинить каждую дыру всегда помогала ей пережить трудные времена; Гешке был рад вернуться после тяжелого рабочего дня в свой угол. Он уже не вспоминал о том, что Мария, в сущности, пришла к нему чуть не с улицы. Тогда его сильно тревожила ее крайняя юность и необычайная красота; теперь он уже не тревожился: она была похожа на всех других женщин. Мария никогда не делала различия между собст-

венным ребенком и чужими детьми. Ее постоянно мучил страх, как бы не стать той мачехой, которая, как утверждали люди и старые сказки, всегда оказывалась злой. Во всех своих нуждах и заботах она была так тесно связана с Гешке, что едва ли имела время вспоминать о прошлом. У каждого человека, убеждала она себя, есть душевные раны, которые никогда не открываются или, во всяком случае, очень редко. У каждого. У нее свои, у Гешке свои. У нее — первая любовь, а у Гешке — смерть первой жены и смерть любимого сына.

Надо только перетерпеть, стиснув зубы, и в конце концов худшее останется позади, говорил себе Гешке. Казалось, не только в его хозяйстве, но и во всем государстве после долгой неурядицы все начинает приходить в порядок. И государство правильно делает, когда затыкает глотку крикунам, которые вечно только критикуют, вместо того чтобы помогать. Взять хотя бы его — теперь у него есть постоянная работа. Правда, заработная плата могла бы быть побольше. Но его жена, которая из ничего умела сделать что-то, из немногого теперь делала многое. Жена Трибеля этого, видимо, не умела, хотя казалась неглупой женщиной. Однажды он встретился с Трибелем на работе. Когда человека, с которым знаком только по дому, вдруг встречаешь в непривычной обстановке, то всегда испытываешь странное чувство. Гешке вез строительный материал для нового поселка Рейникендорф, который предполагалось переименовать в поселок имени Фридриха Эберта. Сидя на козлах, он думал: «А ведь этот малый, там, внизу, чертовски похож на Трибеля!» Десятник дал свисток на обеденный перерыв. Гешке уже знал его повадки. Не то чтобы эти повадки ему особенно нравились, но что есть, то есть. Если они получили этого десятника, так получили впридачу и его характер. Совершенно так же, как и его бородавку. Обычно десятник спокойно оставался сидеть на своем месте и продолжал жевать бутерброд. Пасть у него была такая широкая, что он одновременно с бутербродом засовывал туда свисток. И когда люди после свистка бежали на свои рабочие места, он продолжал неторопливо жевать. Что касается Гешке, то он давно уже разгрузился, и рабочие уже забрали привезенные им материалы, чтобы тащить их дальше. Он даже успел подумать: «Что же Трибель все сидит?» А Трибель — это было очень на него похоже — продолжал спокойно жевать, пока жевал десятник.

Тогда тот яростно накинулся на Трибеля, а Трибель тоже спуску не дал: вышиб у него булку из рук. Затем последовала затрещина, потом удар лопатой, потом драка, а после драки Трибеля выгнали с работы. Ну, Трибель мог это себе позволить, у него ведь нет детей. А его жена настолько добродушна, что просто пожала плечами, когда он опять лишился работы. Гешке не уследил за всеми подробностями потасовки, о которой его вечером расспрашивала Мария.

— Свою дудку он так потом и не нашел,— мрачно сказал Трибель,— я ее в песок закопал. Подудит вам завтра в новую. А вы-то себе продолжали копать и грузить.

— Что же нам было делать? — возразил Гешке.— Тогда мы все потеряли бы работу, так же, как ты. Ведь он уже просвистел.

— Да, и получил за это как следует. Я этого негодяя до крови лопатой обработал, ну и он дал сдачи. А вы продолжали копать, оттого что он, видишь ли, уже продудел. Только бы вам не потерять работы, как мне. Но смотри, вас еще не так заставят плясать под их дудку, и попляшете, вы же до смерти боитесь работу потерять.

— Не задавайся, у нас ведь дети, а у тебя нет. И работу теперь тебе трудновато будет получить.

А Ганс думал: все это из-за нас, детей,— одни тащат свою ношу дальше, других бьют до крови.

Мария спросила:

— А ты что же, сразу узнал Трибеля?

— Еще бы, я же наверху сидел и сразу подумал: «Это похоже на Трибеля!»

Мария испытывала неловкость, она сама не знала почему, но не нашла подходящих слов, чтобы это выразить, ни подходящих мыслей, чтобы это додумать. На другое утро она встретила жену Трибеля на лестнице и спросила ее:

— Неужели вы не сердитесь, что у него опять нет работы?

Жена Трибеля спокойно ответила:

— А почему я должна сердиться? Нужно или все терпеть, или ничего. Надо, чтобы вся жизнь переменилась, тогда не придется под их дудку плясать.

Мария помолчала, затем спросила:

— Фрау Трибель, как это так вышло, что у вас нет детей?

Соседка печально ответила:

— Сначала мы не хотели их иметь, просто времена были слишком тревожные и плохие для ребят. А потом просто не было.— И продолжала другим тоном: — Но если бы у меня были дети, и даже больше, чем у вас, для них я уж наверняка не хотела бы такой жизни.

«Нет, это не для Гешке,— подумала Мария.— И я должна быть ему за это благодарна, что это не для него. Теперь почти все в нашем доме получили работу. И для него было бы гораздо хуже не иметь ее. Ведь он кормит нас. Я за все должна быть ему благодарна. Видно, так надо. Не знаю».

Чем старше становилась Лена, дочь Гешке, тем больше делалась она похожа на свою покойную мать. Она была в точности такая же добродушная, молчаливая и такая же работящая, как та, покойница. Ее присутствие было почти неощутимо, ведь она всегда занимала то место, которое было свободно, и помогала именно в ту минуту, когда было нужно. Мальчики были как мальчики, не то что умерший брат. Они дрались из-за всякой чепухи, и Мария разнимала их своими ловкими руками, которыми все умела распутывать: нитки для вязания и ссоры. Она дала старшему, Францу, свои ножницы, чтобы вырезать картинки из листа картона, подаренного ему учителем. Младший смотрел с завистью, как из склеенных бумажных частей получается корабль, который повесят на ночь под лампой для просушки. Франц даже примирился с тем, что мать на другой день пошла провожать его в школу, только бы никто не вырвал у него из рук картонный корабль, ведь учитель хотел повесить его в классе.

Лишь гораздо позднее, через несколько месяцев, очередная ссора между Гешке и Трибелем напомнила ей ссору ее мальчишек из-за ножниц и бумаги. Гешке отказался взять листовку, которую Трибель старался навязать ему. Гешке перед тем смеялся над коммунистами, что они опять придумали какой-то плебисцит — на этот раз против постройки крейсера. Если он, Гешке, против войны, заявил Трибель, так почему он не против крейсера? И если его единомышленники, как он уверяет, все против войны, почему же они не голосуют против того, чтобы строились подобные штуки?

— Для борьбы существуют способы получше, чем бессмысленное собирание голосов,— возразил Гешке.— Тогда

тоже поставили на голосование конфискацию коронных земель, а потом из-за каких-то там подтасовок все равно ничего не вышло. Люди и так устали от всех этих затей, из которых ничего не выходит.

Да, но почему из них ничего не выходит? Пусть Гешке сам подумает, вместо того чтобы всегда подпевать своим партийным бонзам.

Гешке спокойно ответил, что Трибель гораздо усерднее подпевает своим, а это более утомительно, так как они меняются каждые два-три месяца.

— Да, конечно, меняются, а цель борьбы не меняется.

Так спорили они, как обычно, повторяя все те же слова, и слова звучали тем отвлеченнее, чем больше соответствовали действительности, и тем мудренее, чем были для них важнее. Но оба еще не осмыслили этих слов, брали их прямо из газет и речей ораторов.

Марии вдруг вспомнилось, что она где-то уже видела слово «крейсер», и притом не в газетах — она их почти не читала,— а на принесенном Францем из школы листе картона, из которого он ее ножницами вырезал картинки на кухонном столе, а Гешке подумал: учитель знал, что делает. Он наверняка уже тогда знал, для чего нужно детям вырезать именно эту картинку. Вероятно, эта штука и сейчас еще висит в классе, а потом, когда она будет построена из стали, ребятам придется лазить по ней. И они уже будут знать что к чему.

V

Хотя Вильгельм Надлер не обладал особым воображением и был вовсе неспособен понимать других людей, все же, как только он узнал Цизена поближе, он начал расписывать жене его взгляды, и настроения, и даже внешность так подробно, что это сделало бы честь любому художнику. За все время их брака Лиза только раз слышала, чтобы муж отзывался о ком-нибудь с таким благоговением — а именно о капитане Дегенхардте, вместе с которым Вильгельм по окончании войны перешел в бригаду, просуществовавшую до капповского путча и распущенную после его ликвидации. Да пусть себе изливается, это не могло повредить ни ее планам на будущее, ни ее хозяйству. Фон Цизен жил далеко отсюда, на той стороне озера, в небольшом

наследственном именьице, которым гордился, которое тщательно обрабатывал, хотя от доходов с него не зависел, ибо у него были деньги в банке. Если бы Надлер в былые времена, еще при предках Цизена, работал в имении, он поневоле подчинялся бы правилу, установившемуся во времена религиозных войн: хотя новая евангелическая вера и была разрешена, но крестьяне должны были верить в то, во что верят их господа.

Вильгельм и не подозревал о сомнениях и колебаниях, которые иногда терзали барона фон Цизена и даже привели его однажды в дом пастора. Эти сомнения и колебания, конечно, звучали и в тех речах, которые произносились бароном в дни выборов и празднеств и так нравились Надлеру. Сам Вильгельм никогда видной роли не играл, и ему необходим был человек, на которого он мог бы смотреть снизу вверх и чьим приверженцем мог бы стать. Надлер принадлежал к числу тех людей, которым достаточно чувствовать себя в роли заместителей более высокой особы, чьим решениям они следуют, хотя никогда с ней сравняться не могут. Причем у них есть еще то преимущество, что им не приходится выбирать между всяческими «за» и «против», которые в конце концов приводят к таким решениям.

Надлер был, как всегда, счастлив, когда получил за подписью Цизена приглашение быть на совещании членов «Союза» в гостинице близ озера; правда, сам Цизен на это совещание не явился.

Лиза была весь день очень весела: ей хотелось, чтобы ее Вильгельм хоть на несколько часов убрался куда-нибудь подальше. Она уже давно намеревалась взглянуть, как устроился деверь. У Христиана была теперь хорошая клиентура: он подбивал подметки не только местным крестьянам, но и занятым на дорожном строительстве рабочим, уже больше месяца асфальтировавшим дорогу, которая шла по берегу озера, через поле и лес к станции. Он продолжал все так же охотно давать брату деньги в долг, но теперь он позволял себе удовольствие не сразу соглашаться на просьбы брата, когда тому приходилось туго. А Вильгельму все время было туго. У него появилась страсть к приобретению всяких новинок, на которые крестьяне только дивились, и он то и дело что-нибудь покупал, вместо того чтобы из занятых денег починить наконец самое необходимое. Он никак не соглашался хоть раз разобраться в своих расходах и доходах. Лиза сама вы-

считала, что, например, доходом с молока и масла, которые они сдавали, никак не окупается новая маслобойка. Втайне Вильгельм все же опасался, что урожай не даст ему возможности покрыть ссуду, взятую в банке, и придется продать часть пахотной земли.

Не только посредник отравлял ему жизнь, досаждали ему и другие, например представители берлинского машиностроительного завода, нажимавшие на него, когда он и там пропускал сроки взносов. Но ведь Христиан не рог изобилия, и урожай тоже, хотя все надежды возлагались именно на урожай. Единственным неисчерпаемым источником являлась рабочая сила. Однако детей использовали только во время каникул — срок слишком короткий, чтобы они могли заменить батрака. Только Лиза могла. Как говорится про крестьян, она была сильна, как сама мать-земля. Нет, Лиза была сильнее земли. Ибо земля, частью плохая, частью средняя, давала лишь определенный урожай, Лиза же, если бы это зависело только от нее, давала бы два урожая, которых наконец хватило бы, чтобы расплатиться со всеми кредиторами. Хорошо было Вильгельму ругать государство, которое предоставляет своим гражданам подыхать с голоду, ругать евреев, капиталистов, фирму, выпускающую машины. Лиза знала: руганью не поможешь. Она только отнимает драгоценное рабочее время. Но если хочешь сохранить землю для детей, то нужно копать, копать и перекапывать, невзирая ни на что: на капиталистов ли или евреев, республику или империю, на град или засуху. Теперь старший мальчик вполне управляется со скотиной, девочка уже иногда делает в доме большую уборку, но второму мальчику нужно учить уроки, а от самого младшего еще мало толку. Лиза и ее муж решили после обеда перекопать огород до самой дороги, начав с разных концов. Но так как Вильгельм ушел, то ей пришлось работать в одиночку. Зато он теперь поздно вернется домой, а это имело для нее свои выгоды. Она бросила наземь пояс, чтобы ветром немножко продуло пропотевшее платье. Пот буквально заливал ее голубовато-серые, блестящие, как галька, глаза, он стекал из-под волос тонкими струйками, точно хотел смыть ее бесчисленные веснушки. Лиза никогда не теряла мужества, так как знала, что сильное тело никогда ее не подведет: оно было неистощимо и мощно, это кряжистое тело, лучший ее помощник. Она с силой всаживала лопату и нажимала еще

ногой, словно хотела отбросить вместе с землей все грехи, которые когда-либо совершила, и все, которые могла совершить.

Лиза кончила работу даже раньше, чем ожидала. Младшего она отправила домой по дороге, а сама пошла тропинкой вдоль озера.

Стояло ясное бабье лето. Христиан уже соорудил перед своим сараем новый навес и перенес мастерскую на открытый воздух. У него не было времени смотреть по сторонам, но, когда он переставал стучать молотком, ему было радостно слышать плеск воды под мостками, особенно сильный, когда по озеру шел пароход. А когда Христиан поднимал глаза, то видел раскинутую над водой легкую сетку бледно-золотого осеннего света. Вода искрилась, и в ней отражались и облака, и дальний берег с церковным шпилем и купами деревьев, и плуг, и девушка, стиравшая белье, и тренога, на которой он сидел. С детства любил он это озеро и все, что имело отношение к воде. Он принадлежал к числу тех людей, которые больше любят воду, чем землю. И вот судьба самыми извилистыми путями — тут помогло и увечье, и его чудачество — увела его от плуга на берег озера. Мальчиком он долго учился запускать камешки, чтобы они делали побольше прыжков по воде. Сейчас ему вдруг захотелось опять заняться этим. Но в ту минуту, когда он отложил работу, он увидел, что через поле идет Лиза. Живот у нее слегка выпирал, хотя она на этот раз не была беременна. Христиан подумал: «Пусть бы оставила меня в покое». Миновали времена злобы и любви и возвращения тех, кто выжил. Теперь только бы приводить в порядок то, что еще уцелело от души и тела. Этим ему и надлежит заниматься до конца своих дней; так разбитое грозою дерево с опаленными ветвями решает, погибнуть ему или продолжать жить.

— А у тебя тут неплохо,— сказала Лиза.

Он ответил:

— А почему тут должно быть плохо?

— Только зимой ты здесь замерзнешь.

— Я уже поставил новую печурку: сын хозяина «Дуба» даст мне антрацита. Осталось только трубу наладить.— Он не предложил Лизе сесть, так как хотел, чтобы она поскорее убралась отсюда.

А она, сложив руки на груди и не садясь, против своего обыкновения сразу же заговорила:

— Последнее время муж очень был доволен, когда ты выручал его. Тут народ кругом до того завистливый, только и ждет, как бы у нас что-нибудь сорвалось. Я хочу тебе сказать кое-что: когда ты вот тут сидишь на своей треноге и стучишь молотком, у нас ничего не слышно, и все-таки от нас к тебе что-то тянется, как нитка какая... Занятно...

Он опустил глаза на свою работу. Ему был виден только уголок ее фартука в голубую клетку; что ж, Лиза женщина умная. Она опять права. Даже стук молотка у них не слышен, его, Христиана, все равно что не существует, он даже и не вроде нитки. Занятно!

Она спокойно продолжала:

— Мы только потому и получили ссуду, что было поручительство. Но платить проценты надо очень аккуратно. Тоже небольшая радость.

А он подумал: «Может быть, она хочет опять из меня деньги выжать?»

— Но как дело пойдет дальше, если мы ничего не продадим, прямо не знаю. Вильгельм все надеется, авось случится что-нибудь. Это у него от войны осталось. На войне всегда может случиться чего не ждешь: то удача, то неудача. Там сразу можно разжиться. А у нас все должно идти по порядку. Продал урожай — заплатил налоги. Я сначала очень обрадовалась, когда мы отказали арендатору, а потом была рада, что нашли другого.— Она вдруг села наземь. Теперь он на своей низенькой треноге был выше ее; снятый пояс валялся рядом с ней. Ее голубые глаза так переливчато блестели, что можно было подумать, они вот-вот зазвенят.

Он сказал:

— Ты, верно, хочешь посмотреть, как я устроился?

Но Лиза опять заговорила:

— Мой муж так и остался солдатом, он дома только для виду. Я уверена, что он в душе мечтает, как бы поскорее кончился этот дурацкий мир. Он воображает, что получить поле под клевер очень просто: навел пулемет, и все. А что надо горб гнуть — этого он не желает понимать. И что надо платить взносы и налоги — этого он тоже не желает понимать, он воображает, что, если у него захотят отобрать корову или взносы потребуют, он пальнет — и дело с концом.

— Зато жена у него подходящая. Ты все на себе тянешь.

— Да,— отозвалась Лиза.— Я хочу сохранить хозяйство для детей, а то оно развалится, пока они вырастут. Стоит Вильгельму услышать, что где-то стреляют, и он тут же нас бросит. Так что в самом деле на мне одной все держится.

Загудел пароход, и они оба повернули головы в ту сторону. Тень огромного облака лежала на озере и на полях, оно медленно закрывало солнце. На дальнем конце равнины косой луч вдруг озарил какую-то деревню, о которой все думать забыли, а она взяла да и вытянула вверх свой церковный шпиль, как острый указательный палец. Пароход остановился на минуту у следующей пристани. Лиза и Христиан уже не смотрели на него. Они взглянули друг на друга украдкой, словно проверяя, тут ли каждый, но так как оба повернулись друг к другу одновременно, то их взгляды столкнулись. И сейчас же разошлись. Христиан несколько раз взмахнул молотком. Лиза жевала травинку. Он должен сию минуту ее обнять — все равно, хороший он или плохой. Пусть будет каким угодно фальшивым, но она только тогда успокоится, если это произойдет,— ничего не поделаешь. Иначе никогда она не найдет в себе покоя, а жизнь у нее и без того несладкая, и немножко спокойствия все же человеку необходимо, чтобы соображать что и как и не пустить все прахом. Но, кроме этого, ничто на свете не может дать ей покоя: ни работа, ни дети, ни собственный муж, и вообще ни один мужчина, будь он хоть раскрасавец и не такой фальшивый, как этот Христиан,— насквозь фальшивый. Христиан все это понял; он уже оглянулся — не подсматривает ли кто за ними. Потом встал с той быстротой, на какую был способен, и сказал:

— Пойдем.

В сарае пахло лодками и сапожной мастерской, пол, даже койка были усыпаны стружками и обрезками кожи, и пахло клеем двух сортов: клеем для дерева и клеем для кожи.

Когда они вскоре вышли опять из сарая, пароход уже был на дальнем конце озера. Тонкий и пенистый след, как хвост, еще тянулся по воде. Христиан снова уселся на свою треногу, опять застучал молотком. Лиза бросила ему: «Спокойной ночи». В ответ он только что-то буркнул; домой она пошла полем.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Несколько недель спустя до Вильгельма все-таки дошел слух о том, что жена наведывалась к его брату и долго пробыла в лодочном сарае. После этого он день и ночь боролся с желанием переломать Христиану ребра. Вильгельм уже видел мысленно, как брат в ужасе ковыляет прочь от своего сарая, а он выкидывает ему вслед треногу, прошивную машину, десятки башмаков-инвалидов, таких же изувеченных и перекореженных, как сам Христиан. Но видел он это только мысленно. Поддавшись ярости, Надлер даже побежал было к брату, но у околицы столкнулся с Леви, который опять плелся к нему за последним взносом. А Вильгельм перед тем как раз заплатил фирме за ремонт машины все, что мог наскрести. Когда почта оказывалась бессильной, фирма обычно посылала собирать взносы кого-нибудь из своих агентов и посредников, знавших местность и обходивших пешком ряд деревень. Люди бывали разные: блондины и брюнеты, старики и молодые, но все они при выжимании последних взносов действовали с одинаковой решительностью, ибо за это им и платили жалованье. Кто именно платил — этого они хорошенько не знали: кассир, выдававший жалованье, был таким же рядовым служащим фирмы. А какие у фирмы глаза и какой цвет волос — это им всем было столь же мало известно, как и Надлеру. А вот посредника Леви, уже много лет торговавшего скотом по эту сторону озера, где уже много лет пахал землю Надлер, крестьяне знали очень хорошо. Для любви и ненависти нужно что-то вполне осязаемое, а не такие туманные штуки, как «фирма» или «идея», когда себе и представить ничего нельзя. Поэтому Надлеру при виде идущего ему навстречу Леви кровь от бешенства так и бросилась в голову. Если приходил кто-нибудь из

других агентов фирмы, у него от страха душа в пятки уходила. И если в дверь к нему стучался незнакомый человек и потом заявлял, что его прислала фирма, Вильгельм в бешенство не впадал, а терялся и чувствовал себя несчастным.

Благодаря помощи брата Вильгельм и должен-то был Леви остаточек остатка. Перед тем Христиану опять удалось смягчить сердце посредника и уговорить его еще немножко потерпеть с этим остаточком, но, когда оказалось, что у Вильгельма и сейчас не припасено ни одного пфеннига наличными, Леви заявил:

— Вашего Христиана я хорошо знаю! Он-то наверняка не оставит вас в беде.

Леви понимал, что крестьянам сейчас живется хуже, чем когда-либо: корма были недоступны, с рожью тоже дело обстояло плохо, на рынках яйца, масло и сало уже не расхватывались, ибо в безработном Берлине на них нелегко было найти покупателей.

Вильгельм прорычал:

— А вот попробуйте сами,— и послал посредника к брату. Но так как теперь уже не на кого было излить свою злость, от которой он чуть не лопался, Надлер, вернувшись в кухню, ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, обрушился на ничего не подозревавшую Лизу и начал таскать ее за волосы.

Лиза закричала:

— Да что я тебе сделала?

А он в ответ:

— Сама знаешь, стерва!

На самом деле Лиза сейчас же поняла причину его бешенства. Она не понимала одного: каким образом муж через столько времени все-таки узнал, что она наведывалась в лодочный сарай? Когда Надлер, запыхавшись, наконец выпустил ее, она побежала в хлев, чтобы привести волосы в порядок. Она думала: «Бог знает, что он теперь сделает с Христианом, а я даже не могу предупредить его».

Через час посредник вернулся. Он сказал с довольным видом:

— Я же говорил вам! — и показал Вильгельму какую-то бумажку, которую тот должен был подписать. Посредник думал при этом: «Кто его знает, чем все это кончится. К счастью, я с этими людьми разделался».

Христиан же, когда Леви вошел к нему, спросил:

— А вы были уже у моего брата? — и при этом как-то странно поглядел на него.

— Он меня к вам и послал.

Тогда Христиан сам, и охотнее, чем когда-либо, предложил помочь. Он уже давно знал, каким образом брату все стало известно. Некий крестьянин Швальм, ехавший на пароходе к родственникам, которые жили по ту сторону озера, видел с палубы, как Лиза ушла за Христианом в сарай. С этой минуты Христиан ждал, что брат вот-вот к нему явится. Он стал работать только в сарае и загородил дверь, чтобы, когда Вильгельм начнет ломиться к нему, выиграть время и пригрозить ему кое-чем. Но посещение посредника доказывало, что брат не может позволить себе скандала. А Лизе сейчас дома, должно быть, несладко приходится; что ж, сама во всем виновата! Однако что толку в этих отвлеченных соображениях? Важны факты. Осенью истек срок аренды; брат и Лиза и раньше сами ждали этого, так как земля им была нужна под клевер; теперь у них клевера вдоволь, но ведь клевером детей не накормишь. А молоко надо продавать, все до последней капли, иначе не покроешь расходы. Как и Вильгельм, Христиан отнюдь не желал, чтобы усадьба или часть ее была заложена или продана с молотка, как и Вильгельм, он считал, что эта земля — наследство, которое нужно оставить детям, но лично он имел в виду одного определенного ребенка; его глаза уже издали сразу находили головку, которая была так светла, что мальчугана прозвали в деревне Белобрысый. Но как сделать, чтобы именно этой головке досталось наследство, когда у Лизы такая куча ребят,— этого Христиан еще не знал, тут могло помочь только чудо или какая-то ему самому еще неясная хитрость.

После того как Вильгельм лишился возможности отколотить брата, ему вдруг стало казаться, что, может быть, и слушок-то насчет жены — вранье. Лиза, наверно, просто подразнила Христиана, а до последнего дело не дошло, ведь если бы оно дошло, то такой человек, как он, Вильгельм, наверно, не побоялся бы вышвырнуть брата из его сарая. От страха перед бешенством мужа Лиза вначале перебралась было спать в постель к младшим детям, однако вскоре почувствовала, что бояться нечего. Ярость Вильгельма иссякла, и он скоро дал ей понять, что все может идти по-прежнему.

И хотя он окончательно перестал верить сплетням, но никак не мог решиться оставить Лизу наедине с Христианом. Однако ехать в город было необходимо. Банк уже два раза присылал предупреждение, а Надлер все еще медлил, хотя деньги для уплаты процентов у него на этот раз были давно приготовлены. Наконец он получил последнее предупреждение; тогда он нашел и выход. К сараю Христиана прилегала закута, в которой хранилась старая лодка. Чинить эту развалину уже не стоило, давно пора было пустить ее на дрова. Вильгельм велел старшему сыну сегодня же довести это дело до конца.

Увидев приближающегося парнишку с топором, Христиан сначала удивился. Узнав из расспросов об отъезде брата в город, он понял, что племянник приставлен наблюдать, как бы Лиза незаметно не проскользнула к нему в сарай.

Когда Вильгельм Надлер вышел из вагона пригородной железной дороги на Потсдамском вокзале и прошел несколько улиц, он вначале испытал то, что испытывает каждый, кто после долгой жизни в деревне попадает в город. Ему казалось, что все люди невероятно спешат, бегут куда-то по каким-то своим, конечно пустяковым, делам, а ему, Надлеру, по его делу — банк был очень далеко — все время идти мешают.

Реденький, но ледяной дождь заставлял прохожих жаться друг к другу. Вильгельм то и дело задерживался, да и страшновато ему было снова просить в банке ссуду. А сам только из-за нее и постарался вовремя приготовить деньги на уплату процентов и давно уже, до срока, внес бы их полностью, если бы не все эти семейные неурядицы. Закинув голову, он посмотрел на небоскреб, который вырос с последнего его приезда. Холод пробирал Вильгельма насквозь, и осенний дождь раздражал его здесь сильнее, чем дома. Уличные торговцы, бранясь, прятались под мокрые зонтики. Вильгельм разглядывал витрины магазинов, хотя знал, что никогда здесь ничего не купит; читал рекламы, восхвалявшие предметы, назначение которых ему было неизвестно. И опять ледяные колючие струи дождя. И опять люди, все больше людей, и они так же к нему равнодушны, как он к ним. Они перехватывали у него под носом места в трамвае и в автобусе, по совершенно непостижимым причинам они пересаживались на тех же остановках, что и он. Надлер вспоминал времена,

когда входил в этот город с музыкой и знаменами; он мог тогда по своему желанию разгонять толпы людей: он был при оружии; люди бежали от него, огромная площадь пустела в миг.

Вильгельм остановился; сморщенный старичок срывал какие-то обрывки бумаги, затем помазал клейстером из банки поверх старых плакатов и наклеил новый, который он завтра опять заклеит другим, еще новее,— странное ремесло! И еще странно, что здесь уже заклеивают тот плакат, который у них в деревне считается новым. И там от самого Надлера зависит, сколько времени плакат провисит на подобающем месте. И люди в деревне только еще начали удивляться, читая его. А здесь уже всем известно, что на нем написано. Люди здесь давно приняли к сведению весть о «порабощении немецкого народа», они знают, что такое план Юнга; они только качали головой, подгоняемые дождем и страхом опоздать. Они уже свыклись с мыслью, что их дети и внуки должны шестьдесят лет искупать то, в чем отцы не виноваты, ибо все считали себя невиноватыми. Ведь уже больше десяти лет прошло с окончания войны, и в сердцах промокших людей, которые спешили во все концы города, царила страшная путаница и переплетались всевозможные чувства — надежда и злоба, горе и голод, но чувства вины у них не было. Они растерянно глазели на цифры, которыми, подобно цифрам времен инфляции, обычно пользуются только астрономы. А теперь людям самим предстояло работать так, чтобы выплачивать астрономические суммы. День едва начался, а их уже охватила усталость, зима еще не наступила, а они уже зябли; дождь только моросил, а они уже насквозь промокли.

Сморщенный старичок с клейстером, кистями и плакатами перекочевал на следующий угол.

В банке Надлер уплатил проценты, но ему не удалось поговорить о ссуде, хотя это и являлось главной целью его приезда. Соответствующего банковского чиновника или действительно не было, или он хотел спровадить Вильгельма, чтобы не разговаривать о новой ссуде. Так как Надлер был теперь свободен, он решил выпить пива. Если уехать домой в полдень, то как раз поспеешь к тому времени, когда парнишка покончит с остатками лодки. Однако, пройдя еще несколько улиц, Надлер встретил однополчанина, бывшего фельдфебеля Струве. Струве теперь слу-

жил швейцаром при большом магазине, и его обязанности состояли в том, чтобы встречать с большим ярким дождевым зонтиком тех дам, которые выходили из своих автомобилей. За этим делом его и увидел Надлер. Швейцар уговорил Вильгельма подождать в ближайшей пивной, пока он сменится.

Надлер утешал себя мыслью, что Лиза и так вернется домой раньше, чем он: ей нужно стрянать и доить коров. Будь он в деревне, он тоже примерно в это время отправился бы в трактир.

Пришел Струве с намокшими от дождя усами. Надлер завистливо подумал: «Вот он-то еще держится!» Похожая на мундир ливрея с рядами блестящих пуговиц придавала Струве прежний, почти военный вид. Струве настоял на том, чтобы угостить Надлера. Он и раньше отличался щедростью. До войны он учился в унтер-офицерской школе. Теперь у него жена и куча детей; благодаря хорошим рекомендациям и своей выправке ему легко удалось устроиться на место. Они пили и вспоминали однополчан. Струве уговорил Надлера пойти вместе с ним на собрание в «Спортпаласт». Он, Струве, тоже не намерен сразу же идти домой. Жен баловать не следует.

— Ах, этот! — заметил Надлер по поводу докладчика, которого Струве, хотя обычно насмехался над каждым, кто был ему только по плечо, превозносил до небес:

— Маленький, а знаешь какой, ого!

Вскоре, однако, Надлеру пришлось с ним согласиться. Людская масса в зале казалась еще огромнее, оттого что на эстраде стоял карлик. И его голос как будто гремел еще раскатистее, оттого что исходил из столь тщедушного тельца. Надлер пришел сюда с недоверием. Члены «Стального шлема» в деревне Надлера частенько смеялись над Геббельсом. И частенько бранили нацистов за их дурацкие выходки и кривлянье. Теперь Надлер, слушая этого карлика, был поражен. Ибо тот назвал его, Надлера, главной опорой нации, он назвал его тем родником, из которого здоровая кровь течет в больное тело народа. А то, что самого оратора природа обделила ростом, только подчеркивало силу и мощь его аудитории. «Такие, как вы,— говорил он,— были на войне лучшими солдатами. Вы — армия, вы знаете, что́ вы защищали, земля для вас не отвлеченное понятие, вы напоили ее своим потом и кровью».

Он знал все, что знал Надлер, с той разницей, что умел это высказать. Даже Леви он не пропустил; точно оратор бывал самолично у них, описывал он посредника-еврея, который, крадучись, заползает в деревни. Надлер, скрипя зубами, еще раз пережил вместе с говорившим и свой беспомощный страх, и то, как ему не хотелось отдавать еврею последние деньги.

Окидывая взглядом собравшихся, Надлер вдруг заметил за колонной барона фон Цизена, перегнувшегося через балюстраду. Цизен жадно слушал оратора, и выражение его лица, по которому Надлер научился уже многое понимать, произвело на Вильгельма глубокое впечатление. Он чувствовал, что барон потрясен и приворожен не меньше, чем он сам, и что теперь этот Геббельс, над которым Цизен раньше только смеялся, заставляет его над многим призадуматься. Тот факт, что барон здесь и что на лице у него такое выражение, поразил Надлера не меньше, чем сам оратор. Надлер напоминал великана из сказки, который всегда готов был служить сильнейшему и от сильного повелителя переходил к более сильному, перед которым первый смиренно склонялся. И почтение перед Цизеном незаметно для самого Надлера стало ослабевать.

II

Всякий раз, когда Клемм и Кастрициус собирались прокатиться, начинался спор, и Бекер всякий раз надеялся, что он разрешится в его пользу, как, впрочем, чаще всего и бывало. Дочка Кастрициуса обычно требовала, чтобы ехали в ее машине. У нее была нелепая детская привязанность к собственному шоферу — кто ее знает почему, наверно, просто из каприза и желания настоять на своем. Бекер не обижался на нее за капризы, он был уверен, что рано или поздно ему удастся заслужить ее благосклонность. Только бы несколько раз покатать ее вдвоем с Клеммом; но от этого девочка пока уклонялась и для катания предпочитала собственного шофера. Это был хмурый, молчаливый парень, холостой, как и Бекер. В кухне Кастрициусов, где Бекер скоро стал своим человеком, тоже не удавалось сойтись с ним поближе. Когда приходилось совершать поездки на автомобиле, Клемм и Кастрициус были вполне согласны в том, что участие дочери весьма

желательно, но Клемм предпочитал ездить с Бекером, Кастрициусу же хотелось уступить желанию дочери. Отсюда и возникал между ними веселый спор, неизменно кончавшийся в пользу Бекера.

Летом Кастрициус ездил со своим шофером, но один, без дочери, на целый ряд важных совещаний. И Бекер вместе со своим господином слушал потом подробный отчет об итогах и впечатлениях, которыми Кастрициус был явно удовлетворен. Клемм не ездил с Кастрициусом в Дюссельдорф, где Гитлер развивал свои планы перед магнатами Рейна и Рура, но не раз совершал экскурсии в Годесберг, так как охотно обещал отцу в его отсутствие развлекать дочку; однако в машине Клемм, к сожалению, не ухаживал за ней — девчонка держалась недотрогой. Как она вела себя в другое время, Бекер не мог сказать: едва его господин садился за стол с молодой хозяйкой, его сейчас же отправляли ужинать на кухню.

На обратном пути Клемм бывал гораздо молчаливее, чем обычно; слуги в Эльтвиле уверяли, что госпоже фон Клемм теперь с ним прямо сладу нет. Он и спит-то один в своем кабинете, и домой приезжает только на часок, чтобы поболтать с мальчиком.

Хельмут уже учился в Майнце, в реальном училище, куда и покойный старик Клемм когда-то отдал сына. Если Клемм ехал в Хёхст, он ссаживал мальчика у Кастельского моста. И Бекер видел, как его господин озабоченно и задумчиво смотрит вслед мальчугану, а мальчуган был веселый крепыш; Бекер начинал догадываться, над чем теперь ломает себе голову его господин.

Когда Кастрициус вернулся из Дюссельдорфа, опять начались совместные поездки с отцом и дочерью, и каждый раз им предшествовали те же словопрения.

Однажды во время такой прогулки Кастрициус сказал:

— В жизни нужно делать не только то, что правильно, но и делать-то в нужную минуту. Иначе из правильного может получиться неправильное. Я уже давно говорил вам, что старые партии, по моему мнению, окончательно выдохлись. Они только и знают, что поливать друг друга помоями, а этим никого к себе не привлечешь. Мы пока со своими заводами кое-как выкрутились, мы так распределили обложение, что уже съехали с мели... Но нам теперь нужен попутный ветер, Клемм. Невелика радость,

что только дети вашего Хельмута выплатят наконец остатки тех долгов, которые наделал их дед, проиграв войну.

Клемм сказал:

— Я ее не проиграл.

— Знаю. Я просто для краткости называю «проигрышем» все то, после чего остаются долги. Тыл перестал поддерживать фронт, солдаты сложили оружие, кайзер Вильгельм укатил на всех парах. Все это больше не должно повторяться. Мы кое-как выкрутились, но этого мало! Поэтому я теперь решил поместить деньги в Люксембурге. Но разве я могу добыть нужную сумму, если мне то и дело суют палки в колеса этими стачками, как в прошлом году? И тут, в конце концов, не помогут ни увольнения, ни локауты. Дело может кончиться так же плохо, как война. Нет поддержки тыла, и люди складывают оружие.

«Господин Кастрициус уже не раз высказывался в том же роде. Я даже отлично помню, когда именно,— размышлял Бекер,— когда мы ехали из Берлина на Рейн». Для Бекера все разговоры и совещания были как бы придорожными знаками его автомобильных поездок.

— Рабочий клюет теперь только на социализм,— продолжал Кастрициус,— а на капитализм не клюет. Мне придется завтра опять рассчитать шестьдесят человек. Необходимо как можно скорее сбить заработную плату. Вы же сами понимаете, Клемм, что я не могу трогать основной капитал. Я должен рассчитать столько-то человек, чтобы как можно скорее освободить деньги, которые я смогу поместить в Люксембурге. Но я всегда был того мнения, что с рабочими следует ладить. Нам нужен общий, объединяющий нас социализм. И эту горькую пилюлю придется проглотить, то есть проглотить только рецепт такой пилюли.

Кастрициус невольно понизил голос: до его сознания вдруг дошло, что ведь этот чужой шофер может кое-что намотать себе на ус, да и вообще такие рассуждения не очень-то годились для посторонних ушей. Правда, Клемм любит своего шофера, и все-таки этот малый не совсем тот человек, перед которым можно высказываться откровенно. Однако шофер, казалось, был поглощен своим делом. И Кастрициус продолжал свои рассуждения — из осторожности почти шепотом,— не замечая, что тут-то Бекер особенно навострил уши.

Клемм сказал:

— А кто поручится, что дело ограничится рецептом? Что массы не поймают нас на слове?

— Вот потому-то этот тип в Дюссельдорфе и произвел на меня впечатление. Он чует, чтб именно нужно. Я подчеркиваю «чует», а не «знает». Умом он не блещет. И особых знаний у него тоже нет. Он выступал перед нами в Дюссельдорфе совершенно так же, как выступал перед всяким сбродом в Берлине. Если бы такие хитрецы, как мы, заявили что-нибудь подобное, нам бы просто-напросто не поверили. А он настолько верит в свой собственный рецепт, что можно подумать, будто он говорит по наитию свыше.

Клемм сказал:

— Кто знает, может быть, так оно и есть.

Кастрициус покосился на него своими узенькими глазками, затем расхохотался густым, утробным смехом. Его здоровое, упитанное лицо сморщилось и покрылось сетью мелких морщинок.

— Ну, раз вы так говорите, значит, мы действительно нашли нужного человека для нужного нам дела. Если фокуснику удается убедить первые ряды в том, что его фокусы внушены свыше, значит, он в самом деле хороший фокусник, а если уж фокусник сам считает свои трюки внушением свыше, то ему все должно удаваться. И как раз теперь настал подходящий момент, чтобы выпустить его на сцену. Именно теперь нам следует напомнить о том, что уже десять лет, как нам навязали Версальский договор.

— Не знаю,— отозвался Клемм.— Я не очень верю, чтобы все были в таком восторге от этого нового социализма. Ведь массы, в конце концов, уже отравлены, у них уже больше десяти лет перед глазами другой, настоящий... то есть фальшивый, социализм, с конфискациями и всем прочим. Да вы и сами, Кастрициус, в свое время не протестовали ни против Локарно, ни против торговых соглашений с Советской Россией!

Кастрициусу казалось, что Клемм говорит при Бекере слишком громко. Такое же чувство испытывают взрослые, когда кто-нибудь рассказывает в присутствии ребенка двусмысленный анекдот. И он ответил нарочито громко, чтобы Бекер услышал:

— Мы вынуждены с ними торговать, пока мы слабы,

А каждая лишняя цистерна только на пользу Германии.— Затем продолжал опять вполголоса: — У нас же есть, к счастью, одна старая партия, которая усердно старается втолковать нашим рабочим, почему такая революция, как большевистская, им принесет только вред. Эта партия работает на нас и неутомимо перечисляет все трудности, с которыми приходится бороться новому советскому государству. Поэтому нам русского социализма особенно бояться нечего. Рабочие до такой степени увязли в спорах друг с другом, что просто рады будут чему-нибудь новенькому, только бы наконец кончилась эта всем надоевшая грызня. Поэтому я как раз решил подкинуть этим нацистам немножко денег, хотя мне все свободные деньги и нужны для Люксембурга.

— Ну, не знаю, не знаю,— повторил Клемм.— Для меня тут слишком много всего накручено. Взять хотя бы эту ненависть к евреям!

Упругое румяное лицо Кастрициуса снова покрылось сетью морщинок, и, как обычно бывает с полными лицами, щечки выступили, точно два надувшихся шарика:

— Позвольте! У меня есть директор одного филиала, его фамилия Зондгеймер, дельный малый, но я все-таки предпочту расстаться с ним, чем со всеми моими рабочими. И уж лучше пусть бедняге переломают ребра и мне затем придется отправить его за мой счет в санаторий, только бы не разгромили мои машины или мой дом в Годесберге.

Они как раз остановились перед домом, который Кастрициус охотнее сохранил бы, чем ребра своего директора.

Хозяин сказал:

— А вы, Бекер, идите-ка в кухню, и пусть вас там хорошенько угостят.

Дочка Кастрициуса, подпрыгивая, взбежала по лестнице впереди отца и гостя. Она мигом приказала откупорить вино того сорта, который Клемм особенно любил, и заменить уже стоявшие на столе гвоздики другими цветами — красными и голубыми,— в тон ее платью. В машине она молчала, но заметила, что Клемм непрерывно за ней наблюдает. И за столом она то и дело поглядывала на него смеющимися темно-карими глазами, а он был почти мрачен.

В этот вечер Клемм приказал своему шоферу позвонить домой, что он задержится по делам. Они остановились перед загородным садом-рестораном. Клемм заказал вина. Он пригласил Бекера выпить вместе; лица обоих почти мгновенно покраснели, как обычно краснеют от этого сорта вина румяные, полные лица.

В голове Клемма роем проносились потаенные, даже неосознанные мысли. А Бекер молчал, он сидел, выпрямившись и слегка отодвинув стул от стола, чтобы соблюсти подобающее расстояние между слугой и господином. Он-то отлично знал, какие мысли одолевают Клемма: смуглая веселая девочка нравится ему гораздо больше, чем тощая молчаливая жена.

— Хорошо вас угостили, Бекер?

— Еще как! Я так полагаю, господин фон Клемм, счастлив будет тот, кому барышня достанется.— У Бекера было к Клемму примерно такое же чувство, как бывает у отца к любимому сыну.— Хоть и молода, а хорошо хозяйничает. Наверно, с малых лет приучилась, мать ведь все болела.

Клемм кивнул. Он ничего не сказал. Ему было очень приятно, что Бекер говорит об этой девушке и тем самым словно ставит на стол ее портрет. Он заказал вторую бутылку; они были одни в саду ресторана. Клемм пил, продолжая размышлять. Оказывается, его покойный отец все-таки был прав: он ведь всегда желал, чтобы сын женился именно на такой девушке. А теперь Клемм, как честный человек, должен покориться своей судьбе, жена почти спасла ему жизнь: выходила его тогда в госпитале, но самое главное — родила ему сына. Он принялся рассуждать вслух, видимо не нуждаясь в собеседнике. А Бекер преданно слушал. Мысли Клемма западали ему в душу, и там они отстаивались. Когда Клемм, дав волю отчаянию, вдруг умолк, Бекер осмелился заметить, что ведь сына с отцом не разлучат. Клемм продолжал размышлять вслух: без всякого повода сына у матери не отнимешь, нет такого закона. Бекер снова высказал свое мнение, ни на минуту не изменив почтительной позы и не нарушив вежливости своего ответа неподобающей фамильярностью тона:

— Война,— сказал он,— создает и для житейских дел свои особые, исключительные законы. Так, например, в районе военных действий совсем другие правила движения, чем на прирейнских дорогах в мирное время.

Клемм слушал, слегка удивленный: он не ожидал, что его Бекер умеет так разумно рассуждать. Вот уже пятнадцать лет, как они вместе, и он никогда не замечал в нем этой способности. И Клемм почти с раскаянием подумал, что до сих пор не ценил своего бывшего денщика. Оказывается, в голове у Бекера есть не только свои человеческие мысли — он способен угадывать и мысли другого человека, потому что любит его.

— Никто,— продолжал Бекер,— будь он хоть солдат, хоть офицер, не может без конца подчиняться исключительным законам, которые ему навязала война. Значит, и такие штуки, как дружба, любовь, брак,— все это во время войны бывает совсем по-другому, чем в мирное время.

А Клемм подумал, если можно думать вслух: «Да, на войне лицо Леноры было как солнце надо мной, и все освещалось им: бинты, шприц, даже ночная посуда — все было, так сказать, озарено им. Да, так было бы и теперь, если бы в это проклятое мирное время еще сохранился остров, называвшийся войной, и на этом острове госпиталь. А ребенок гораздо больше мой, чем ее. Я никогда не отдам сына. Но в случае развода ребенка присудят ей, этого я не вынесу! Ради сына я пойду на любую жертву...»

А Бекер слушал, и ему страстно хотелось помочь, он искал выхода, как ищет отец для любимого сына, видя, что тот страдает.

Бутылка опустела только наполовину. Бекеру очень хотелось выпить, даже сильнее, чем до того, но его господин забыл подлить ему. А сам он не отваживался. Решив, что пора действовать, он начал запинаясь:

— Нужно все-таки придумать такой выход, чтобы ребенок остался у вас.

Клемм наконец налил ему и сам выпил еще. Он сказал:

— Да ведь нельзя же его разлучить с матерью.

— Нет, можно, если она стала плохой матерью, и даже нужно.

— Да как же разлучить? — воскликнул Клемм.— Закон не дает никаких оснований.

Бекер и сам не понимал, откуда он все это знает, но ему слишком сильно хотелось помочь своему господину. Да и вино иной раз подсказывает человеку такие соображения, до которых он так бы ни за что не додумался: соображения, дающие выход из всех положений.

— Можно, можно! Если разводятся по вине жены, тогда ребенок наверняка остается у отца!

Клемм приказал подать третью бутылку. Он налил себе и шоферу. Бекер жадно стал пить, точно умирал от жажды, потом сдержался: таким людям, как он, быть жадным не подобает. Теперь он сидел уже чересчур прямо и чересчур далеко от стола. Клемм сказал:

— К сожалению, она — ангел. Никакой судья ни в чем не может обвинить ее.

Бекер как бы подстегнул себя. Минута настала, необходимо открыть его господину правду, которую он из чувства приличия до сих пор таил, этим он укажет ему способ добиться своего счастья.

Клемм заночевал в одной из годесбергских гостиниц. Когда он остался один и сидел на постели, его вдруг охватило чувство неловкости: затевать столь щекотливое дело при помощи шофера показалось ему предосудительным. Бекер же, получив разрешение, уехал в Висбаден. Там в гостинице «Кайзерхоф» все еще служила его подружка. Он напомнил ей давнишний эпизод, заставил ее обещать, что она на суде даст нужные показания, и гарантировал соответствующую компенсацию за потерю времени и за беспокойство.

Клемм не стал особенно углубляться в сообщение Бекера, но оно пришлось весьма кстати. Правда, процедура развода довольно противна, зато теперь он быстро разделается со всей этой историей и его не в чем будет упрекнуть, во всяком случае, сожалеть о случившемся поздно.

III

Ленора опять поселилась у тетки и спала на своей девичьей кровати, совсем как в дни юности. Когда она приехала и ее спросили о мальчике, она ответила уклончиво. Утром тетя Амалия по ее лицу сразу увидела, что ночью Ленора плакала. Племянница была еще молчаливее и неприветливее, чем раньше. Но если люди сами не рассказывали, тетя Амалия никогда не спрашивала.

Соседи удивились этому неожиданному приезду, но Мальцан, побывав в офицерском клубе, все там узнал. Сначала он посоветовался с женой, все-таки положение щекотливое и не ясно, какую позицию следует занять: с

одной стороны, ради фрейлейн фон Венцлов приходится щадить племянницу, с другой — Клемм, теперь часто наезжавший в Берлин, дружен с их друзьями, желанный гость в доме Шпрангера, и суд признал Ленору виновной стороной. Поэтому решили, что самое лучшее — делать вид, будто они ничего не знают, и вежливо здороваться с племянницей, чтобы не навести на подозрения тетку.

Однако тетя Амалия вскоре и сама заметила, что случилась какая-то беда: старики Мальцан переглядываются, у племянницы вечно заплаканные глаза, она получает какие-то официальные письма. Сначала тетка решила, что тут налицо обычный развод, она никогда не доверяла этому Клемму, ясно, что такой человек живет, как ему вздумается. Жена ее племянника, так же как и во время первого посещения Леноры, приехала домой родить. Семья теперь была многолюднее, чаще собиралась вместе, и тетя Амалия из намеков вскоре поняла, что́ произошло. Она была потрясена. Ведь девочка, как она мысленно все еще называла Ленору, выросла у нее в доме. Конечно, она поступила нехорошо и наказана жестоко — у нее отняли сына; теперь у нее нет другого крова над головой, кроме вот этого, под которым ее воспитали. Но если Ленора сама не заговаривает о своем несчастье, лучше молчать.

Ленора так и жила — молча и без объяснений; другие члены семьи скорее избегали ее, чем щадили. Никто не хотел заговорить о причине ее приезда. Тетя Амалия боялась обмолвиться при соседях лишним словом, чтобы не набросить тень на свою родню. Мальцаны боялись нечаянно оскорбить старую гордячку, а Ленора не испытывала ни ненависти, ни гнева, ни озлобления. Она больше не плакала. По ночам тетка слышала, как племянница ходит взад-вперед по своей девичьей комнате. Ленора была рада, что ее никто ни о чем не спрашивает; если бы она и рассказала о себе, легче от этого ей бы не стало. В этой комнате спал когда-то ее мальчуган; она мечтала воспитать его в тех же правилах, в каких была воспитана сама. Но теперь она лишилась предмета своих грез, и весь дом лишился того, чем ей был дорог с детства. Она сразу же созналась во всем, в чем ее обвинил Клемм; она не знала, существует ли способ бороться против решения суда. И только испытывала глубокую благодарность к этой старухе, к тете Амалии, за ее решительное молчание; во всем остальном этот ее приезд на Шарнхорстштрассе ничем не

отличался от того, когда она приезжала с сыном Хельмутом.

У золовки родился второй ребенок; она лежала, как и тогда, стиснув зубы, но не потому, что ей суждено в муках родить детей своих — ведь уже в Библии сказано об этом,— а от горя и досады, так как и второй ребенок оказался девочкой; Ленора занялась новорожденной, а также старшей девочкой, которая приехала с матерью. Ленора все делала безрадостно; не решаясь и в этот раз утешать роженицу, она даже сама подумала: «Конечно, сын был бы лучше, кто знает, что ждет девушку в наши времена?» Леноре не могла прийти в голову мысль о том, чтобы поменять свой мир на другой, так же как дерево не может думать о бегстве в другой лес. Оно, наоборот, будет все глубже и глубже пускать свои корни.

Приехал брат, чтобы забрать жену и детей. Ленора думала только о собственном горе. Но она, точно так же как и в прошлый раз, почувствовала странную и мучительную неловкость, когда Ильза встретила мужа виноватым взглядом. Собственное горе научило Ленору острее чувствовать, что в окружающей ее среде есть что-то неправильное и непонятное, но неотвратимое.

Сослуживцы, которые регулярно собирались у Мальцанов, постепенно узнали о происшедшем. Но они тоже молчали, ибо всякий вопрос нарушил бы атмосферу семейного уюта и благополучия. Ленора Клемм сидела среди них, молчаливая, порой даже угрюмая, вертя в руках чайную ложку. Ее брат говорил один за всех. Он был здесь гостем, и его засыпали вопросами; всех волновал Ульмский процесс. Группа молодых офицеров основала национал-социалистские организации и способствовала их возникновению среди солдат. Ленора недоуменно рассматривала удлиненное лицо брата. Неужели оно всегда было таким? Неужели он всегда так говорил? Он рассказывал об арестованных молодых людях свысока, как будто сам был значительно старше их: что ж, попались на удочку этих новых идеек, но офицеру может быть дорога только одна идея — армия. Ведь армия — это нация, самая надежная сила нации при любых обстоятельствах. Все дело в том, что обстоятельства-то непрерывно меняются, только в этом и состоит новизна. Приходилось ли ему сталкиваться с подобными организациями? Нет, не приходилось. Он беспощадно стал бы бороться с ними.

Вдруг Штахвиц сказал:

— Может быть, они имели в виду то же самое, что и ты,— старое при новых обстоятельствах? А этим может быть только мощная армия, основанная на всеобщей воинской повинности, а не урезанный договором рейхсвер.— И осторожно добавил: — Я предполагаю, что так думали и эти молодые люди.

Венцлов ответил почти резко:

— На войне не спорят, куда идти. Только потому, что тебе нравится другое направление атаки, в батальоне не создают какие-то организации. Приказывать и подчиняться — вот два единственно возможных направления человеческой воли. Подчиняться для свободного человека — такой же акт воли, как и приказывать.— Он вспомнил бесчисленные разговоры, происходившие у него дома. Вероятно, Штахвиц тоже ищет выхода в этой беспокойной, запутанной жизни и, вероятно, знает насчет новой партии больше, чем хочет показать.

Штахвиц снова стал молчаливым, как обычно. Он привык вставлять два-три слова, после которых слушатели напрасно ждали продолжения. В сущности, он заехал во время отпуска только для того, чтобы повидать тетю Амалию, к которой с детства питал необъяснимую привязанность.

Много месяцев спустя Клемм и его шофер опять сидели в саду того же ресторана. День свадьбы был уже назначен, все приготовления закончены, все трудности преодолены. Ленора давным-давно уехала к тетке. Ей даже в голову не пришла возможность серьезной борьбы. Со времени ее отъезда Хельмут жил в Годесберге. Только из-за одного спорил Клемм со своей невестой, но в конце концов уступил, чтобы в последнюю минуту не раздражать ее. Она во что бы то ни стало хотела взять с собой собственного шофера. Правда, Бекеру будет нисколько не хуже у Кастрициуса, будущего тестя Клемма, который охотно согласился на обмен. Таким образом, Бекер будет избавлен от поисков места, а Клемм — от расходов, которые считал бы для себя обязательными в случае простого увольнения.

Когда Клемм оставался один, он начинал досадовать, что дал невесте это обещание. Но потом утешал себя мыс-

лью, что, выйдя замуж, она забудет о своем предубеждении против его шофера и Клемм, конечно, сможет опять взять Бекера к себе.

«С неприятными делами нужно кончать как можно скорее»,— подумал Клемм. И решил сказать Бекеру об увольнении до отъезда домой.

Бекеру, как всегда, было очень приятно, когда его господин предложил ему вместе выпить. Он блаженствовал, ловя удивленные взгляды посетителей. Сел он, как всегда, несколько отодвинувшись и подчеркнуто соблюдая возможно большее расстояние между своим стулом и краем стола. Если видишь человека в последний раз, то видишь его так же наново, как и в первый. И Клемм впервые отметил его манеру держаться по-дружески, но без панибратства, он будто разглядывал Бекера, перед тем как его нанять, а не уволить. Он думал обо всей этой истории с шофером: «Какая жалость! И что это моя девочка забрала себе в голову? Таких людей нелегко найти. Надежен не знаю до чего, притом ни тени панибратства». Он сделал над собой усилие.

— Дорогой Бекер,— сказал он,— чего только мы вместе не пережили!

Бекер ответил:

— Вот уж истинная правда, господин фон Клемм.

— И мне нелегко сказать вам то, что я должен сказать. Поверьте, я никогда не забуду ваших услуг.

А Бекер подумал: «Куда он гнет?» И выпил, так как Клемм тоже выпил. К удовольствию шофера, за соседним столиком сидели те же дорожные рабочие, что и когда-то, и опять дивились, как это хозяин пьет с ним вместе.

— Вы столько сделали для меня, Бекер, а такие вещи не забываются. По крайней мере я не способен их забыть. И поэтому знайте, что со всеми нуждами и заботами вы должны прежде всего обращаться ко мне.

«Странно,— думал Бекер.— Что это нынче на него накатило?» Он сказал:

— Ну, конечно, господин фон Клемм,— и быстро допил свой стакан, так как Клемм тоже допил. Клемм опять налил ему и себе.

— Дело в том, Бекер, что нам с вами придется расстаться, хотя бы на некоторое время. Моя невеста настаивает на том, чтобы к нам перешел ее шофер. Тут мы с

вами, Бекер, ничего не можем поделать. По крайней мере сейчас. Я, конечно, употреблю все усилия, чтобы, ну, скажем, через год, взять вас обратно, в этом можете не сомневаться. До тех пор я устрою вас на хорошее место. Мой тесть сейчас же готов взять вас. И жалованья даст больше. А работы, по-моему, меньше.— Бекер, оцепенев, широко раскрытыми глазами смотрел на своего господина. А Клемм продолжал: — Помнится, вы когда-то расхваливали дом Кастрициусов, и я считаю, что вы там просто отдохнете.

Бекер хрипло прервал его:

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь, господин фон Клемм.

— Как же мне не беспокоиться, дорогой Бекер, ведь мы были все это время с вами как братья, молодые женщины таких вещей не понимают. Мне кажется, тут у Норы просто какая-то навязчивая идея — она боится, что вы будете контролировать ее, как наблюдатель, приставленный к ней мужем. Но все это обойдется. Я уверен, что на будущий год во время нашего летнего отпуска ты покатаешь нас обоих по Европе.

Он выпил только что налитый стакан. Бекер тоже; он сидел все в той же позе, прямой как палка. Никогда еще ни горе, ни пуля не причиняли ему такой мучительной, нестерпимой, неисцелимой боли. И, будучи еще не в силах охватить до конца эту сокрушительную новость, он цеплялся мыслью за какие-то пустяки: «Конечно, я ей помог выйти за моего господина. Я же наладил дело с разводом, я, можно сказать, ее из воды вытащил, а она меня теперь за это утопить хочет. Наверно, боится, как бы я и за ней следить не стал».

Клемм воскликнул:

— Ну, поехали, Бекер, мне нужно еще забросить в Майнце визитную карточку фрейлейн Клас. А потом мы через Кастельский мост вернемся домой.

За сдвинутыми вместе соседними столиками рабочие продолжали пить, к ним подсели еще несколько товарищей. Когда Клемм и Бекер проходили мимо, кое-кто из рабочих бросил на них короткий и пристальный взгляд. Затем головы над столиками сблизились. Кого этот Клемм субсидирует и кого принимает у себя в доме, было им известно лучше, чем французским полицейским агентам. Когда Бекер раньше заезжал сюда, ему очень льстило, что

Клемм сажает его за один стол с собою. Дорожные рабочие, конечно, не в состоянии этого понять, думал он тогда. В их башку никак не лезет, что у таких людей, как он и его господин, одна родина, и они вместе воевали, и у них общие воспоминания. А сейчас, проходя мимо тех же рабочих, он подумал: «Неужели Клемм воображает, что меня, как крепостного, можно просто уступить Кастрициусу?»

Когда он дошел до машины, сел и включил мотор, он подумал уже отчетливее, так как клубок смутных ощущений, боли и разочарования уже распутался в его душе: «Я все делал для этого человека, я много раз ему жизнь спасал. Когда я увидел, как ему хочется развестись и он ищет выхода, а я любил его как сына или как отца, я сделал для него даже такое, что не больно-то чистоплотно. Я и на это пошел, чтобы выручить его. А он, может быть, теперь думает — с парнем, который на такие дела идет, нечего церемониться».

Они поехали в город по правому берегу Рейна через Буденгейм и через Момбах. Клемм наклонился вперед:

— Как это в самом деле досадно, что нам придется расстаться! Обдумайте мое предложение, а уж я-то свою девчурку перевоспитаю, года не пройдет. Поэтому лучше вам быть поблизости. Мы ведь привыкли выкладывать друг другу все, что у нас на сердце.

Бекер видел лицо Клемма в свое зеркальце. Оно было добродушно и моложаво. Бекер давно привык к тому, что именно это лицо с густыми рыжими усами, с веселыми глазами и толстоватым носом самое дорогое, лицо самого дорогого на свете человека, а сейчас вид этого лица причинял ему боль.

Клемм продолжал:

— Пусть это будет для вас, ну, вроде отпуска, эта разлука — просто глупость какая-то! Я же говорю, бабья прихоть! Бабам не понять, что могут значить друг для друга двое мужчин. Помнишь, как в Арденнах нам, тебе и мне, пришлось ползать среди кучи трупов и мы заряжали и стреляли, а враг воображал, что нас не двое, а двадцать? Помнишь, Бекер? А как ты меня потом ночью перетащил через вражеский рубеж?

Бекер хрипло ответил:

— Мы даже не знали, что французы уже заняли деревню.

— А как мы потом на Балканах получили машину? Я уверял, будто мой денщик был раньше шофером, чтобы тебя оставили у меня.

Бекер сказал с трудом, как будто давился каждым воспоминанием:

— Я в две недели научился водить машину.

— И ты был бы не виноват, если бы мы тогда разбились. Но мы благополучно прикатили из Константинополя в Софию, а из Софии в Будапешт и потом в Вену.

Бекер подумал: «Я уже тогда мог разбить машину, убить и его и себя. И вины моей тогда бы не было».

— А тот тип, которого мы посадили в машину на венгерской границе! — вспоминал Клемм.— Мы повезли его в обратном направлении, а он даже не заметил. Он решил, что мы уже у чехов. А потом побелел как мел, когда понял, в чем дело!

Бекер сказал:

— Да... — и подумал: «Все приказы этого человека были для меня святы, как десять заповедей».

Им пришлось несколько задержаться в майнцской таможенной гавани; два сторожа наводили разводной мост для машин и пешеходов. Клемм продолжал:

— А в Берлине, помнишь, мы приехали как раз вовремя, чтобы прогнать красных? Ту ночь, когда мы очистили манеж? Ты, Бекер, возил меня с одного участка на другой. Одна пуля попала в крыло машины, другая — в спинку сиденья. И как мы потом на обратном пути в Новавес встретили машину с пленным из Народной морской дивизии. И мы, чтобы не возиться, тут же прикончили его.

Бекер сказал угрюмо:

— Нет, я в этом не участвовал.

Клемм поспешно возразил:

— Ну как же, разве ты не помнишь? У нас лопнула шина, и нам пришлось пересесть в машину, в которой везли пленного. Мы еще раз все вылезли, чтобы его прикончить. И этот проклятый Ливен был с нами.

Бекер сказал:

— Да, он был, я нет.

— И Венцлов, мой бывший зять.

— Он тоже,— сказал Бекер, точно пьяный или отчаявшийся, который уперся на своем,— и еще конвойный, он тоже участвовал. Сначала нас было пятеро. А потом вы

из машины вышли, я остался. И вы ликвидировали его. Но только без меня, с тремя остальными. Я только помогал потом закапывать его.

— Ну ладно, ты только помогал закапывать. Я сейчас поскорее заеду на Таунусштрассе, одиннадцать. Надеюсь, старой девы не окажется дома.

Они въехали в город. Бекер остановился у подъезда. Он собирался было закурить, потом раздумал: «Какой смысл теперь курить?» Даже сигарета утратила для него свой вкус. Клемм тут же вернулся с сияющим лицом:

— Слава богу, старушки действительно нет.

Бекер выскочил из машины, чтобы, как обычно, открыть дверцу. Но, когда он нажал на ручку, его охватило какое-то новое, властное чувство. Клемм, садясь, уже не видел лица своего шофера. Бекер поспешно отвернулся. Глядя на Клемма, он уже не испытывал того, что в нем обычно будил этот человек. Все добрые чувства были мгновенно погашены, как порывом ветра, знакомые черты вызывали теперь только ненависть, распахивание дверцы казалось унизительным. Клемм стал торопить его:

— Живо, живо! Через десять минут мы должны быть дома.

Бекер подумал: «Живо, живо, ишь чего захотел! Этот тон тебе придется бросить!» Его охватила неодолимая потребность отомстить — так же быстро и решительно, как избавились от него. Но руки, еще подчиняясь привычке, послушно переключали скорости. Он круто повернул, и они понеслись к въезду на мост со стороны Майнца. Бекер вел теперь машину со скоростью, которая на мостах была запрещена.

— Осторожно! — сказал Клемм.— Вон французский часовой.

Но Бекер еще увеличил скорость. Клемм положил ему руку на плечо. В нескольких метрах от французского часового стоял местный полицейский, он поднял руку, чтобы остановить машину. Но так как она вихрем пронеслась мимо, точно обезумевший бес, полицейский свистнул часовому на другом конце моста. Бекер почувствовал властный нажим хозяйской руки, понуждавшей его остановиться. И этот нажим сдвинул в его душе последний рычажок — он рванул руль. Машина, идя все с той же скоростью, пробила решетку моста и ринулась в Рейн.

Тетя Амалия чистила в кухне картошку и увидела в окно племянницу и племянника на их любимом месте — на старых качелях.

Слов она не разбирала, но почувствовала облегчение, видя, как племянница в чем-то горячо убеждает брата. Бедняжка правильно делает, это единственный человек, перед которым она может высказаться откровенно. За последнее время Ленора даже по ночам больше не плакала, она словно окаменела. И тетя Амалия испытывала теперь к ней своего рода уважение.

— А где же Ливен и Клемм столкнулись? — спросил Венцлов, узнавший всю эту историю от родителей жены.— Они дрались на дуэли?

— Какая там дуэль! — отозвалась Ленора.— Ливен уже давно исчез. Я понятия не имею, где он сейчас находится. Правда, я однажды в течение нескольких часов была влюблена в него, не отрицаю. Но ведь это случается и с вами, мужчинами. Теперь у меня нет ни малейшего желания его видеть. А Клемм и не старался найти его. Он вовсе не хочет, чтобы его подстрелили на дуэли. Он хочет второй раз жениться.

Венцлов сказал:

— Ты сделала ужасную глупость, сестренка. Почему ты сразу же во всем созналась мужу?

— А что еще мне оставалось? Ведь я думала, дело кончится самое большее разводом, я же не поняла, что он хочет отнять у меня ребенка.— И добавила: — Во всем этот Бекер виноват, его шофер, я его всегда не выносила. Он для Клемма на все пойдет. Даже на убийство, если Клемм захочет.

Венцлов сказал:

— Да, вот уж подходящая парочка.

Несколько дней спустя пришла весть о катастрофе. Ленора получила от суда разрешение взять к себе сына. Опекуном был назначен тот самый Клемм, который в отсутствие своего двоюродного брата вел его дела и должен был вести их впредь. Ленора почти не знала его. Покойный Клемм отзывался о нем несколько иронически. А тот Клемм считал, что его всегда обходят. До сих пор ему действительно не везло. Он был педантичен, неумен и мелочен.

У него были свои сыновья, и ему отнюдь не хотелось обременять себя еще чужим ребенком. Леноре незачем

было опасаться его вмешательства. Он даже обрадовался, что все будет опять по-старому. Она поехала в Наугейм за сыном.

В Наугейм мальчика привезла старая воспитательница, жившая у Кастрициусов. Хельмут прожил многие месяцы в доме человека, который должен был стать тестем Клемма. Воспитательница плакала оттого, что мальчика приходилось отдавать матери сомнительной нравственности. Лучше бы его воспитание поручили ей. А Хельмут настолько уже привык к новому окружению, что тоже расплакался. И от этого Ленора испытала новый приступ горечи. В ее характере не было той легкости и веселости, которые помогли бы сыну быстро утешиться. А жизнь у тощей, черствой тети Амалии в ее убогом доме едва ли могла заменить мальчику жизнерадостную атмосферу в доме Кастрициусов, которой он лишился.

IV

Так как Ливен теперь почти не появлялся в кругу своих прежних приятелей — каждая перемена знакомых и квартиры равнялась чуть не переезду в другую страну,— то скандал в семье Клеммов не скоро дошел бы до него, даже если бы Клемм усиленно его разыскивал. Но Клемм, располагая нужными свидетельскими показаниями, добился всего, чего хотел, и у него не было особого желания гоняться за Ливеном. А Ливен все еще жил в своем облупленном флигеле; старый приятель Лютгенс ночевал у него на диване чаще, чем Ливену хотелось, ибо Лютгенс давно был без места: курс гимнастики так и не состоялся. Чем больше Лютгенс страдал от унизительности своего положения, тем дерзновеннее и широковещательнее становились его ночные излияния об ожидавшем его воображаемом будущем. И чем более голодным и обездоленным ложился он вечером на ливеновский диван, тем большую власть сулил он себе в будущем, когда ему предстоит повелевать трепещущими людьми и предаваться демоническим страстям.

Прием Ливена в национал-социалистскую партию совершился на тех условиях, которых он желал. Его освободили от того, что он называл публичным исповеданием своей веры, оно внушало ему такое же органическое от-

вращение, как и демонстрации, сборища и вербовки в партию служащих фирмы световой рекламы. Руководство сочло даже полезным, чтобы он продолжал играть свою роль и по-прежнему слыл среди старых знакомых безработным офицером. Когда же дело касалось переговоров между представителями нацистов и военными группами, Ливен искусно играл роль человека, который в целом нацизма не приемлет, но сотрудничество с нацистами считает возможным. И в результате ему почти всегда удавалось установить связь между этими группами.

Удачи или неудачи редко приходят в одиночку, а всегда полосами, и в этом году у Ливена был ряд удач. Сначала он встретился с неким капитаном Штеффеном, который был членом «Стального шлема» и, как таковой, участвовал в вышеупомянутых вечерах «сближений». Ливен познакомился со Штеффеном несколько лет назад на рауте, данном господином Кастрицпусом в отеле «Адлон». И Штеффен отлично помнил, что Ливен был тогда в числе ближайших друзей хозяина. Поэтому он пришел теперь к выводу, что общение с Ливеном желательно. А несколько потертый вид Ливена подсказал ему однажды решение помочь этому человеку снова встать на ноги. Штеффен пил с ним и болтал, он обещал свести его с банкиром Геймсом, которому наверняка нужны представители для ведения дел с Востоком, ибо эти дела как раз сейчас развертывались,— представители, владеющие языком и способные внимательно наблюдать.

— Мне кажется, Ливен, вы как раз подходящий человек для моего хозяина, господина Геймса. Кажется, он слышал вашу фамилию. Ведь у вас там поместья в Латвии.

— Были. Конфискованы.

Правда, имение конфисковали у двоюродного брата, у него лично земли было и раньше не больше, чем сейчас, но их фамилии удачно совпадали.

— Только вы Геймсу не выдавайте своих симпатий к национал-социалистам: он слова «социалист» слышать не может. Да вы не пугайтесь. Я же заметил, что вы им сочувствуете. На службе я тоже скрываю свои симпатии.

А Ливен подумал: «Оказывается, множество людей имеют свои тайные симпатии».

Штеффен сказал:

— Может быть, вокруг нас гораздо больше замаскировавшихся нацистов, чем мы предполагаем.

Они еще пошутили на эту тему:

— Может быть, сам Брюнинг? — заметил Ливен.

— Нет-нет, он — нет. Каждый раз, перед тем как издать чрезвычайный закон, он бегает со свечой вокруг церкви, чтобы успокоить свою совесть.

Несколько дней спустя Ливен покинул фирму световой рекламы. И отныне стал передавать своему нацистскому начальнику, некоему Ремеру, дубликаты важнейших писем и документов, которые проходили через его руки на новом месте.

Правда, он все еще не имел возможности ужинать там, где ему больше всего хотелось, однако он получал уже прилично и перед ним уже не стояла дилемма — проторчать ли весь вечер в своей комнате или в пивнушке. Теперь Ливен обычно заходил в ресторан на Курфюрстендамм, где мог хоть на несколько часов спастись от непрерывных разглагольствований Лютгенса. Хотя Ливен презрительно посмеивался над безвкусной роскошью этого ресторана — над скверной музыкой и желтым шелком, серебристыми тарелками, затененными лампами, над всем, что должно было вызывать у посетителей иллюзию, будто они в гостях в богатом доме,— тем не менее ему было здесь так же приятно, как и остальным. Ужиная, он обычно с удовольствием разглядывал посетителей: и парочки, и женщин, как будто выскочивших из новейших фильмов, солидных мужчин, которые входили с полным сознанием своего достоинства и озирались, проверяя, доходит ли это сознание до остальных. Вот вошла тонкая, худая женщина, она как будто ступала по трясине и казалась еще выше от стройных, обтянутых шелком ног и высоких каблуков. На плечах лежала горжетка. Ливен подумал: «Лисья мордочка на горжетке больше располагает к себе, чем лицо этой особы». Волосы у вошедшей были так коротко подстрижены, что серьги были видны целиком. К неудовольствию Ливена, длинноногая подошла к его столику. Она выставила вперед одну ногу и вильнула бедрами.

— Добрый вечер, Ливен.— Потом рассмеялась.— Ты ни чуточки не изменился.

— С кем имею честь? — спросил Ливен.

Она продолжала беззвучно смеяться, вся вздрагивая от смеха. Точно какие-то последние капли прошлого вылива-

лись из давно опустевшего сосуда. Постепенно от висков до бедер, словно по волшебству, выросли косы. Из-под пудры выступило бледное худенькое лицо, полное отчаяния, несколько блестящих капель скатилось по нему.

— Угостишь по старой дружбе? — Она поспешно села и близко придвинулась к нему. Так как их руки очутились рядом, она торопливо подергала каждый его палец, один за другим.

Он сказал:

— Ты невероятно изменилась.

Она рассудительно ответила:

— Ничто так не меняет человека, как время, я тоже так считаю.— Она выпустила его пальцы. Начала барабанить по столу. Ливену показалось, что руки у нее не очень чисто вымыты.

Он заметил:

— Твой отец — я видел его, когда уезжал из имения Глейма,— был уверен, что ты все еще живешь в той семье.

— Ах, отец! Но я же не могла там принимать гостей. Пришлось устраиваться самостоятельно.

— И ты не думаешь вернуться?

Она решительно ответила:

— Нет. После всего, что мне пришлось пережить. Ты же знаешь, я была в тебя влюблена. И ты, вероятно, даже представить себе не можешь, до какой степени.

В ее голосе уже не звучало насмешки. Только «я» и «ты» она произносила, как собственные имена, причем, видимо, не отдавала себе отчета в том, что «я» — это она сама, а «ты» — сидевший рядом с ней мужчина.

— Какие глупости, какие хитрости я только не придумывала, чтобы вернуть тебя. А так как это оказалось невозможным, то мне стало все равно. А теперь уже настолько все равно, что я даже представить себе не могу, что это было когда-то так важно для меня.

Она уже не помнила связи между событиями, как не помнил ее отец, плакавший при прощании с Ливеном.

Затем она весело спросила:

— Ну, как ты поживаешь? А знаешь, занятно, что я с тобой опять встретилась! Мы могли бы, если хочешь, сговориться на завтрашний вечер.

— Очень сожалею,— сказал Ливен,— но завтра я рано утром уезжаю из Берлина.

Он заказал и оплатил ужин. Затем отправился в Штеглиц.

Впервые он был рад, что Лютгенс дома. Впервые ему хотелось рассказывать самому, а не слушать, засыпая, разглагольствования Лютгенса. Тот спокойно выслушал его и дал себе волю лишь после того, как Ливен приписал своей жестокости то состояние, до какого докатилась девушка.

— Извини меня, Ливен, но у тебя в крови застряла чисто славянская бацилла самобичевания. У русских писателей то и дело наталкиваешься на героев, для которых нет больше радости, чем раскаяние. Я вынужден лишить тебя этой радости. Будь эта девушка такова, какой она представлялась тебе, никогда бы она не скатилась так низко, не сбилась бы с пути, оттого что любовник низко поступил с ней. Девицы такого типа всегда найдут повод сбиться с пути. С ними от природы что-то неладно.

Обычно Ливену приходилось подбадривать Лютгенса, сегодня он сам охотно выслушивал поучения и утешения приятеля.

V

Гешке был счастлив, когда его приняли на прежнее место. Правда, это была опять временная работа, но после долгих месяцев полной безработицы он и ей был рад. Не только Кале, его товарищ по партии, обещавший похлопотать за Гешке, сдержал слово, еще три-четыре человека в следующих инстанциях сдержали слово, и вот чудо свершилось.

Значит, все-таки хорошо, что он не отступился от них. Теперь они отблагодарили его за то, что он остался им верен. Хорошо, что он не дал себя сбить с толку, что послушался разума, а не сердца. Так размышлял Гешке, словно разум и сердце — это те две лошади, в которые запряжено его «я», как в былые времена была запряжена его подвода.

Ему нужно было утром три четверти часа на то, чтобы доехать до склада. За те же восемь рабочих часов приходилось делать гораздо больше концов и участвовать в погрузке. Раньше ему давали для этого подсобного рабочего. Гешке работал теперь опять у Сименса, где условия рабо-

ты были еще хуже, чем в других местах. Для выполнения нового подряда, а именно постройки поселка на городской окраине, Сименс пустил в дело весь грузовой парк, взявший на работу и Гешке. На этот раз его сделали мастером-грузчиком. У Сименса, вероятно, чтобы утешить рабочих, их наделяли самыми звучными наименованиями, но рабочие говорили по этому поводу: «Хоть чины и хороши, а дают одни шиши».

Гешке заметил также, что разница между заработной платой и пособием по безработице не так уж велика, и если отбросить траты на дорогу и вычеты за рабочую одежду, то позволить себе можно уж не бог весть что. Правда, теперь к обеду было мясо, но только по воскресеньям. А покупку штанов, которые он обещал Гансу, все-таки пришлось отложить. Мария сказала, что она может скопить нужные деньги в течение трех месяцев, если он до тех пор не потеряет работу. Все же у Гешке была потребность как-то отпраздновать эту нежданно-негаданно свалившуюся на него удачу. Он уже давно обещал показать жене вишневые сады в цвету. Но всякий раз эта экскурсия всей семьей, со всеми тремя детьми по какой-нибудь причине оказывалась невозможной. А во время безработицы они всё откладывали ее на следующую весну.

Девочка помогла матери сделать большой сверток с бутербродами, уложила и маленький пакетик молотого кофе; ночью Лена помогла также дошивать платье, лежавшее скроенным в ящике комода; мальчики предпочли бы не участвовать в этой поездке. Старший до последней минуты надеялся на своего учителя Дегрейфа, который брал его с собой на всякие экскурсии и спортивные праздники, хотя Франц уже не учился в школе. Но оказалось, что Дегрейф с несколькими учениками уехал под воскресенье за город. И Франц сердито что-то напевал, потому что Дегрейф на этот раз его забыл. Учитель возглавлял теперь сплоченную группу мальчиков, и Франц чувствовал, что они его оттирают. Франц поступил учеником на строительство. И дальше его судьба в лучшем случае ничем не будет отличаться от судьбы отца: то мелькнет надежда на работу, то опять торчи на бирже труда, вот и все. А он жаждал гораздо большего. Он считал, как и все люди на свете, что рожден для лучшей участи, и одновременно испытывал неосознанный страх, что жизнь так и пройдет мимо него. Соседские ребята, которые иногда прихватыва-

ли его с собой, ничего этого не испытывали. Какими нелепыми казались ему их песни и их прогулки в сравнении с его надеждами и опасениями. Даже когда они гребли и плавали, у них это выходило как-то неуклюже. Его учитель Дегрейф уже в школе требовал от «германского юноши» гораздо большего: необыкновенных усилий, опасных фокусов; все это вполне отвечало желаниям Франца — ведь он рожден для большего. И если бы Дегрейф предложил Францу последовать за ним на Луну, он согласился бы без возражений и даже не оглянулся бы, чтобы посмотреть на Землю.

Гансу очень не нравилось сидеть вот так, с прилизанными волосами, между матерью и сестрой в теснотище дачного поезда. Но едва только местность за окошком вагона позеленела, люди, невзирая на духоту и тесноту, облегченно вздохнули и повеселели. Когда Мария увидела широко распахнувшееся небо, ее охватила щемящая тоска по родной деревне. Вот уже много лет, как она лишена возможности съездить домой. Сейчас у нее опять мелькнула мысль о поездке. Но мечтать об этом бесполезно.

Гешке обливался потом и думал: «Лучше всего по воскресеньям сидеть у себя дома». Но по его понятиям о загородных поездках принято мечтать.

Наконец измученные пассажиры вылезли. Вся эта огромная толпа, потея и бранясь, растеклась по дорогам, которые вели к деревенским закусочным. Люди дивились, глядя на фруктовые деревья, которые здесь, в Вердере, действительно цвели — было время цветения. Елена шла немного впереди, широко раскрыв глаза, жадно дыша широкими ноздрями. Она еще никогда не слышала, чтобы земля так чудесно пахла, она не знала, что деревья могут быть покрыты белой и розовой пеной. Когда на строительной площадке зеленела живая изгородь, уже и это радовало ее. Братья лениво плелись мимо кустов. Гешке устремился к одной из садовых калиток, она была ему давно знакома. Он усадил семью вокруг стола под деревьями, а те над их головами продолжали спокойно цвести. Теперь он был горд и поездкой, и свободным столиком, вокруг которого усадил свое семейство. Гордился он и кофейником с кипящей водой, и ситечком, и тем, что Мария принялась готовить кофе, в точности как у себя в кухне. Взгляд Гешке случайно упал на лицо девочки, и он понял, что поездка удалась; Елена вся затихла, радуясь празднику, и при-

шла в полный восторг, когда на стол упал цветок вишни, словно хотел доказать девочке, что она действительно сидит под открытым небом.

Вдруг Гешке сказал:

— Вот был бы доволен сегодня покойный наш мальчик!

Мария грустно кивнула. Она не могла забыть о смерти старшего и обрадовалась, что Гешке в эту минуту сказал «наш». Она тихонько принялась укорять сыновей за то, что они то и дело прикладываются к кружкам светлого пива, которое заказал отец. Она раздала бутерброды, затем подперла голову руками и рассеянно стала смотреть на толпу, из которой доносились смех и визг.

Вдруг Гешке спросил:

— Что с тобой?

Она торопливо ответила:

— Ничего.

К счастью, он тут же встал и пошел в буфет. Мария не сводила глаз с соседнего столика наискось от нее. Там среди других людей она увидела невысокого человека. Все лицо его смеялось, и крупные белые зубы блестели. В точности так же смеялся он тогда в «Якоре». И совершенно так же прищелкивал пальцами, когда подыскивал ответ.

Теперь Мария поняла, почему она так долго откладывала эту поездку. Ведь вот почему-то сегодня деньги на нее нашлись? И почему-то Гешке повел ее именно в этот сад? Среди множества чужих лиц оказалось именно это, такое важное для нее лицо. Она сама не подозревала, как точно все запечатлелось в ее памяти — не только любимый, Эрвин, но и все, что окружало его. Она толкнула под столом Ганса. Мария всегда старалась ничем не выделять своего сына среди остальных детей Гешке. Теперь у нее не было выбора. Мальчик поднял голову. Тихое бледноватое лицо матери неожиданно изменилось. Это показалось ему настолько же странным, как если бы раскололось небо или земля или случилось еще что-нибудь, относительно чего он был уверен, что это неизменно. Он пододвинулся к матери вплотную, так как понял, что она хочет ему что-то сказать. Она обняла его, чтобы посмотреть, не попала ли ему в глаз соринка. Ганс сидел смирно, он понимал, что остальные не должны слышать.

— Наискось от нас,— прошептала мать,— сидит человек, когда он смеется, видны зубы. Не спускай с него

глаз. Ты должен выяснить, где он живет, и никому ни слова. Об этом будем знать только ты да я.

Потом она сказала громко, так, чтобы слышали все и Гешке тоже,— он как раз вернулся к столу:

— Гансу домой пора. Я обещала тете Эмилии сдать сегодня работу.

Гешке начал ворчать. Мальчик тут же поднялся. Человек, которого ему показала мать, еще раз, смеясь, откинул голову, затем вышел с двумя приятелями из сада. А Гешке за своим столом некоторое время ворчал, что вот теперь все воскресенье испорчено. Мария же спокойно уговаривала его выпить еще кружку пива.

Ганс сел в поезд вместе с незнакомцем. Тот все смеялся и разговаривал со своими спутниками. На Потсдамском вокзале они вышли. Мальчик ждал, стоя у них за спиной, затем вскочил в тот же автобус. Они сошли на Бюловштрассе. Он последовал за ними через двор во флигель. И в нерешительности остановился: он услышал, как они поднялись до третьего этажа и отперли дверь. Тогда он ушел. Он слонялся по Бюловской набережной, где ему редко приходилось бывать, и размышлял о том, кто этот человек. Гансу было радостно, что у них с матерью есть тайна, в которую посвящены только они и больше никто.

Когда он вошел в кухню, родители ужинали. За столом сидела надушенная и разряженная тетя Эмилия. Отец тотчас начал браниться, почему Ганс, вместо того чтобы вернуться домой, слонялся по городу. Мать пристально взглянула на Ганса, а он опять почувствовал радость, что у них есть своя тайна.

Мария подошла к нему, когда все улеглись. Ее тихое лицо показалось мальчику невыразимо прекрасным. Он назвал ей улицу и спросил:

— Кто это?

Мария подумала, затем ответила:

— Мне кажется, я когда-то встречала его. Он был с моим братом на фронте.

На следующий день Ганс вместо школы отправился на Бюловштрассе. Он поднялся на третий этаж. Толстуха, отворившая ему, сердито заявила, что никакого постояльца у них нет, пусть убирается вон. Толстуха не понравилась Гансу, и он ей не поверил. Ему не хотелось возвращаться домой, не выполнив поручения матери, поэтому он остался в воротах.

Как он и ожидал, незнакомец в конце концов все-таки вышел. Видимо, он спешил, поехал он в северную часть города. А мальчик неотступно следовал за ним по запутанным переходам подземки, входил и выходил, поднимался и спускался, шел по извилистым переулкам, потом долго ждал перед каким-то домом. Втайне он боялся, что незнакомец исчез окончательно, и сердился на себя, что не посмел заговорить с ним дорогой.

Но вот незнакомец появился снова, он нес чемодан и сверток. Ганс подскочил к нему и предложил донести вещи. Незнакомец испытующе взглянул на него, и этот взгляд понравился мальчику, а взгляд мальчика понравился незнакомцу. Он отдал вещи и подозвал такси. А Гансу казалось, что все это имеет непосредственное отношение к его матери — и поездка на вокзал, и пытливый взгляд незнакомца, и машина с мягким сиденьем. Он отнес вещи в буфет. Незнакомец обещал мальчику заплатить за помощь, если он явится в двенадцать часов к этому же столику.

Ганс прибежал домой: он сейчас на вокзале, мать может с ним переговорить. Мария все утро ждала вестей. Может быть, этот человек только ненадолго заходил к кому-то на Бюловштрассе. Ведь в большом городе, как и в жизни, можно исчезнуть безвозвратно. Мария вышла, теперь сын вел ее. Лицо у нее было такое тихое, что мальчик больше ни о чем не спрашивал.

Вот и оказалось, что рассудительные соседи неправы — время ничего не залечивает. И они лгали, утверждая, что все испытанное в юности — ребячество, а серьезная жизнь начинается только потом. Жизнь, наоборот, притупляет человека нуждой и трудом и мелкими радостями. Серьезная жизнь, которая будто бы приходит на смену юности,— это на самом деле глупость. «Если ты,— думала Мария,— в годы первой любви, измучившись ожиданием, все еще продолжала бесцельно ждать, вот тогда-то ты и поняла серьезность жизни. И если потом дверь все-таки открылась, значит, радость твоя была рождена тем, что действительно достойно радости. А не так, как сейчас, когда радуешься и временной работе, и увеличению заработной платы, и воскресной поездке за город. И раз он потом все-таки не пришел, то справедливым было твое отчаяние, значит, что-то большое пропало навсегда».

Ганс сказал:

— Вон он сидит.

Но Мария и так уже узнала его. Она отстранила своего мальчугана. И он уселся на багажную тележку против входа в буфет. Он видел, как мать робко подошла к незнакомому человеку. Она сказала:

— Вы, может быть, меня совсем не помните. Много лет назад вы зашли в одну пивную — она называлась «Якорь» — вместе с моим другом. Его звали Эрвин. Кажется, вы были его другом. Я вам обоим тогда подавала. Я была официанткой в этом «Якоре».— Теперь она говорила уверенней, так как ей показалось, что взгляд незнакомца потеплел.— Мы потом сошлись, Эрвин и я. Мы очень любили друг друга. Он приходил всегда вовремя. Потом не пришел. Он вдруг исчез. Прошу вас, пожалуйста, скажите мне — почему? Ведь вы же были, наверно, его другом?

Незнакомец холодно посмотрел на нее, нахмурился, и у него на лбу легли две морщины в виде восклицательных знаков. Он сказал:

— Я не знаю, о ком вы говорите, голубушка. Какой Эрвин? А вас я никогда не видел.

Тепло в его глазах уже исчезло. Мария сказала:

— Я наверно знаю, что это именно вы. Я сразу вас узнала. Вы должны мне сказать, что с ним сталось.

Он покачал головой. Теперь, когда он уже не смеялся и зубы его не были видны, он показался ей менее знакомым, чем вчера.

— Никакого Эрвина я не знаю. Никогда в жизни не бывал в пивной «Якорь». В Берлине найдутся тысячи людей, похожих на меня. Может быть, тот и был на меня похож. Да ведь и лет прошло с тех пор немало.

Мария хотела еще что-то сказать, даже губы ее дрогнули, но потом пожала плечами и ушла. Вероятно, этот человек пережил так много, что забыл их встречу, забыл то воскресенье и своего товарища. Может быть, он и с Эрвином был недолго дружен. И может быть, в то воскресенье даже не обратил внимания, в какую пивную они зашли. Жизнь в большом городе для многих битком набита впечатлениями, и то, что одному кажется самым важным, для другого — пустяк, загородная прогулка. Да и она сама уже не так уверена, как вчера. Выходя из буфета, она наткнулась на своего мальчика, который все еще сидел на тележке. Она сказала:

— Иди в школу. Оказалось все не то.— И потом доба-

вила: — Нет, ты больше к нему не подходи. Это совсем не он, я ошиблась.

Она поехала домой не сразу. Сначала зашла во двор к тете Эмилии. К счастью, Эмилия была в мастерской. Мария нашла ключ от квартиры под половичком у входа. Она подошла к зеркалу, стоявшему на комоде. Почему же все-таки этот человек ее не узнал? Ведь в ее сердце все было так живо. Но в зеркале тети Эмилии все уже потускнело. Оно отразило ее усталое лицо, истаявшее до того, что остались только скулы, губы да виски. Она опустилась на краешек дивана, усталая и грустная. Она не плакала, ее глаза просто высохли. И лицо стало еще суше и старше. Потом она заторопилась домой, не забыв сунуть ключ на его место, под половичок у двери.

Гансу давно уже следовало быть в школе; при виде матери его сердце сжалось — он сам не знал почему. И если вчера ее лицо внезапно просияло, то сегодня оно так же внезапно померкло и точно опустело. Сперва Ганс мечтал, получив деньги от незнакомца, купить себе перочинный ножик. Он уже давно облюбовал этот ножик с блестящей перламутровой ручкой. Он всегда считал такую покупку недоступной для себя. Сегодня утром она стала для него доступной. Правда, мать запретила ему подходить к незнакомцу — она-то ошиблась, но это не причина отказываться от ножика. Ведь решительно никто не узнает, что он успел заработать облюбованный ножик. Он подбежал к столу. Незнакомец поднял голову и сказал:

— Ах, это ты. Ну хорошо, возьми вещи и проводи меня.— А на платформе добавил: — Если хочешь получить столько же, будь сегодня вечером у того же выхода.

Он сел в купе третьего класса. Места было достаточно, и он положил сверток и чемодан рядом с собой. Кроме него, в купе сидела еще пожилая крестьянка с ребенком и низенький человечек с портфелем. Незнакомец сел в уголок и на минуту прикрыл глаза: ему не хотелось разговаривать.

Мария не ошиблась. Это был друг Эрвина. Но она ошиблась, решив, что для него встречи и знакомства с людьми — пустяк вроде воскресной прогулки за город. Он сам не доверял подобным личностям. Ему издавна были противны и подозрительны люди, воображающие, что они призваны свершить великие дела и поэтому имеют право не

принимать в расчет отдельного человека. Они ничем не отличались от тех равнодушных, чья жизнь так пестра, что для них отдельные романы и встречи только лишние цветные пятна в калейдоскопе. Он же, с тех пор как начал мыслить, был убежден, что каждый человек, встретившийся ему на пути, достоин всей полноты его внимания. И каждый, о ком он вспоминает, должен отчетливо выделяться из общей массы — со всеми своими индивидуальными чертами и желаниями.

Он не сразу узнал эту женщину. Сияние исчезло с ее побледневшего лица, осталась только узкая полоска на лбу. Но день, о котором она говорила, он помнил отлично. Ведь блеск той короткой дружбы ничто не могло погасить, и со сколькими людьми он бы потом ни дружил, на их близости уже не было отблеска тех дней. Те звезды померкли. Это он сознавал ясно. Сидя в уголке купе, он вспомнил теперь и девушку, которая подавала им в «Якоре». А вот она его сразу узнала, хотя он считал себя неузнаваемым. Она узнала его по тем мелочам, которые не заносятся ни в один паспорт, по тем неизгладимым черточкам, которых не найдешь ни в одном из документов, давших ему тогда возможность покинуть родину. Он подсчитал, что с тех пор, как он уехал тогда из Берлина, уже третий раз отдан приказ о его аресте.

Крестьянка, сидевшая в том же купе, усердно успокаивала и без того спокойного ребенка. А Мартин думал, словно оправдываясь перед мертвым другом: «Я ведь не имел права признаться ей, что я — это я, слишком многое поставлено на карту. Пойми, сейчас в точности, как было тогда,— те же аресты, преследования, поддельные паспорта. Та же борьба и те же надежды. Именно сейчас, и в точности, как тогда».

Он вернулся вместе с другом с фронта, они ожидали переворота, они боролись и рисковали жизнью. Собственная смерть казалась им чем-то незначительным, как будто страшный суд, предстоявший всему миру, все равно разбудит мертвых. После штурма манежа Эрвина арестовали и увезли. Спустя некоторое время в Груневальде нашли убитого. Вероятно, это он и был. Мартину же удалось бежать.

Прищурившись, он посмотрел в окно. Дома предместья раздвигались, открывая озера и леса, желто-зеленую равнину. Железнодорожные пути сплетались и расходились.

Человечек с портфелем уткнулся в газету; крестьянка убеждала ребенка, что нехорошо все время смотреть на чужого дядю.

Теперь Мартин видел умершего друга совершенно отчетливо. Прежде не было ни времени, ни причины так рассматривать его. В сравнении с ним крестьянка и человек с портфелем казались призраками. «Как ты думаешь, кого я встретил на вокзале? Ту девушку из «Якоря». У тебя, может быть, была с ней связь... Ты мне что-то говорил... Тебе следовало все мне рассказать, как водится между друзьями. Ты был ведь моим лучшим другом. У меня больше никогда не было такого друга».

Лицо умершего оставалось таким же спокойным, каким оно было всегда. На него не влияли ни тряска вагона, ни только что сообщенная новость. Оно всегда было такое: ни веселое, ни печальное — только спокойное. Он, Мартин, ругался и рычал, а иногда хохотал неудержимо. Но это лицо оставалось спокойным и неподвижным, неподвижным было оно и сейчас.

«Я ничего не мог ей объяснить. А она, может быть, надеялась, что я объясню, и это мучит меня. Сейчас я еду в Бранденбург. Там должны встретиться руководители заводских парторганизаций из разных провинций».— Он продолжал торопливо говорить, обращаясь к мертвому лицу, которое было бесстрастней и мужественней, чем когда-либо.

«Мы теперь стали большой партией. Мы сильны, как никогда. Трещина, которая образовалась в свое время между нами и теми рабочими, что не пожелали отойти от старой партии,— эта трещина также стала теперь шире. Нет ни одного города и ни одной улицы, ни одного дома и ни одной комнаты, где не чувствовалась бы взаимная ненависть, где рабочий не спорил бы с рабочим, где брат не восстал бы на брата».

Мартин сделал усилие, чтобы удержать перед собой дорогие черты. Но прочесть в них он мог только одно: «Я-то уже умер!»

«Все те люди, на которых мы тогда возлагали надежды, умерли: Люксембург, Либкнехт, Иогихес — все умерли. Но наша новая партия, которая была вам дороже жизни, и старая партия, которая нас тогда ненавидела,— мы до сих пор продолжаем ненавидеть друг друга; и еще сильнее, чем тогда, нас всех вместе ненавидят люди, нена-

видящие всех красных и тех, кто похож на них. Они натравили на нас свою белую гвардию. Они так расхрабрились и обнаглели, что решили: теперь, когда все вы умерли, пришел их час, теперь никто не будет серьезно сопротивляться. Великие огни отгорели, великие голоса отзвучали. Теперь страна безропотно отдастся им в руки».

Мартин уже не так ясно представлял себе лицо умершего; его черты то проступали с необычайной четкостью, то опять исчезали в тумане. «Каш вошел в Берлин с Эрхардтом и белыми бандами. И вдруг мы перестали спорить — на один-единственный день. И, даже еще не сговариваясь, все вместе вышвырнули Каппа. Рабочие сообща возненавидели эту банду так, что ненависть сделала больше, чем всякое другое чувство. Но потом мы опять начали спорить. Тогда Эберт, чтобы заткнуть нам рот, призвал на помощь те же банды, от которых только что сам бежал».

Крестьянка заметила:

— Не нужно дяде все время надоедать.

Мартин сказал:

— Да она нисколько мне не надоедает.— Он погладил девчурку по волосам, которые были разделены аккуратным пробором, точно по линеечке. Ее коротенькие косы были заплетены так туго, что торчали на голове, словно веточки.

«Мы продолжали сражаться в Руре и в Средней Германии, в Тюрингии и в Саксонии. Мы все еще верили, что нам удастся сделать Германию советским государством, а всю Европу— содружеством советских государств. Русское советское государство уже родилось и стало Советским Союзом, он продолжал существовать, становился все сильнее и рос. И где бы я ни был, что бы я ни делал, при каждом аресте я знал, что теперь все это совсем другое, чем когда бы то ни было. Раньше люди боролись за то, что жило только в их сердцах, теперь наше дело впервые стало реальностью. Ты умер, но дело наше живо».

Девочка пристально рассматривала его, как будто лицо незнакомого человека — лесная чаща. Крестьянка повторила:

— На чужих так не смотрят.

А Мартин видел, как сквозь круглое личико девочки, правда все реже, проступает другое лицо — лицо того, о ком он думал.

«И нас потому ненавидят и преследуют, что наше дело стало реальностью. Так ненавидят и преследуют только то, что действительно существует. А вдруг все заметят эту реальность и скажут себе: «Но ведь и мы можем сделать то же самое». И те, кто хочет этому воспрепятствовать, изо всех сил стараются доказать, что это совсем не то, чего все ожидали, и совсем не стоит за это бороться».

Однажды он попытался со всей присущей ему пылкостью переубедить Эрвина. И чем несокрушимее было спокойствие друга, тем сильнее он сам горячился. Мартин даже схватил его за пуговицу. Он прямо чувствовал в руке эту пуговицу, как будто она сейчас только оторвалась. Он даже подумал: «Может быть, той девушке из «Якоря» пришлось потом пришивать эту пуговицу». Сейчас он представлял себе только пуговицу, но уже не лицо.

«Ты видишь, великое существует. Оно стало еще величественнее, а дурное еще хуже. И сколько было разочарований, сколько крови, сколько надежд! Одни исполнились, другие разбиты. Ты всех нас можешь узнать, и все-таки ты все пропустил. Ты не дожил до того, как Красная Армия подошла к Варшаве, и не дожил до нашего горя, когда она отступила. Не при тебе умер Ленин, ты не слышал имени Сталина. Ты не знал, что появилось множество новых имен — Пилсудский в Польше, Муссолини в Италии. Ты все это время был мертв. А у нас после Эберта выбрали Гинденбурга, его ты еще знал. Вот тебе и весь урок, который наш народ извлек из войны, вот все, к чему привели раны и страдания. Он избрал себе фельдмаршала. Цергибель стрелял в нас на тех же улицах, на которых в нас и тогда стреляли. Он запретил нам Первого мая идти с красными знаменами. И теперь безработные, которым не на что купить себе рубашку, радуются, когда бесплатно напяливают коричневые рубашки на их измученные, отощавшие тела. За это они поют знакомые тебе песни, только на новые наглые и пошлые стихи. А запретный красный флаг теперь разрешен, если на нем пашит белый круг со свастикой посередке».

Поезд подошел к Бранденбургу. Маленький человечек, все еще сидевший на своем месте, покосился на Мартина, не поглядывает ли тот на его портфель. Крестьянка бранила девочку, которая стремилась выйти раньше всех. Мартин отбросил все свои мысли. На платформе он увидел два милых, хорошо знакомых лица и забыл о мертвом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Вечером того же дня Мартин опять стоял со своим чемоданом у выхода с вокзала в Берлине; чемодан стал гораздо тяжелее; Мартин озирался, ища носильщика. Ганс подлетел к нему, Мартин уже забыл про этого мальчика. Ганс, стиснув зубы, вынес ему с вокзала чемодан; он опасливо посматривал направо и налево, так как боялся взрослых носильщиков, которые имели здесь все права. Однако незнакомец всем спокойно отвечал: «Это мой родственник». Он спросил мальчика, сможет ли тот внести его чемодан по лестнице в квартиру. Ганс, конечно, высказал полную готовность. Перед тем он решил, что разумнее ничего не говорить матери об их уговоре. Правда, ее лицо стало теперь совершенно таким же, как раньше, и он не знал, почему это лицо беспокоит его: вероятно, потому, что разочарование ничего не прибавляет, а что-то отнимает у человека. Она еще раз резко сказала: «Это совсем не он». И Ганс чувствовал, что упоминание о незнакомце сейчас совсем не нужно и даже неприятно ей. Но ему понравился этот человек, хотя он, как оказалось, не имел никакого отношения к матери. И сейчас на вокзале незнакомец вел себя хитрее, чем обычно ведут себя взрослые. Он подозвал такси. Сначала Ганс сидел в машине, неестественно выпрямившись, но потом решительно откинулся на спинку. Мартину понравилось его лицо. Глаза мальчика блестели от удовольствия, что он едет в машине. Рот он крепко сжал, чтобы не поддаться никакому чувству, никакой радости, ничему. Мартин задал ему несколько вопросов — сколько ему лет, в какой школе он учится и есть ли у его отца работа.

Они остановились перед одним из домов на Александриненштрассе. Значит, этот человек и в самом деле не

живет на Бюловштрассе, подумал Ганс. Но матери это должно быть теперь безразлично. Он взял вещи, незнакомец помог ему. Ганс испугался, что тот теперь меньше заплатит. Однако чемодан из передней в комнату Ганс донес сам. Мысль о покупке перочинного ножика придала ему сил; кроме того, он успел рассмотреть другие вещи, продававшиеся в магазине, он имел даже дерзость выбрать мысленно еще несколько предметов, которых, правда, сейчас еще не мог купить, но со временем купит: лук и стрелы, пневматическое ружье, а главное, колесико, которое при вращении брызгало искрами.

В комнате Мартина стояла качалка, и Ганс не мог удержаться от соблазна: он перекинул ноги через ручки и стал качаться. Мартин рассмеялся, дал ему обещанные деньги и предложил прийти на следующий вечер, так как мальчуган показался ему весьма подходящим для разных поручений.

Дома Ганса расспрашивали, где он пропадал. Потом его побранили; он ничего не выдал. Ему было приятно, что от всех этих взрослых людей у него есть своя тайна.

Через некоторое время Мартин уже привык к тому, что этот мальчик время от времени появляется у него в квартире и спрашивает, нет ли каких поручений. Он просил его отнести то пакет, то письмо, то встретить вновь прибывшего на вокзале и отвезти по определенному адресу. Он часто давал ему мелочь, а иногда и забывал дать. Ганс считал своей обязанностью во всем помогать этому человеку. Частенько ему приходилось ждать, пока Мартин закончит чтение книги или работу. Тогда Ганс усаживался в качалку и жевал сигарету, которую ему давал Мартин. Среди разбросанных повсюду книг и газет он выискивал что-нибудь позанятнее. Ганс многого не понимал, но все эти мелочи — сигарета, присутствие этого человека, скрип пера по бумаге, щелканье выключателя,— все вместе постепенно складывалось для него в ощущение какой-то другой жизни, чем та, которую он вел в школе, на улице или дома в кухне. Мартин тоже привык к его посещениям. Ему нравилось это остренькое личико, напоминавшее мордочку лисенка, которое вдруг появлялось в дверной щели, и, как Мартину казалось, именно тогда, когда он был сердит или озабочен. На самом деле он принадлежал к числу тех людей, которые всегда сердиты или озабочены. Ведь общие вопросы, все суровее и суровее

вставшие теперь перед всеми, были втиснуты для него в деловые совещания или в скупые слова докладов. Среди всего этого вилась та тонкая нить, которую он считал своей личной жизнью: пришло письмо из дому — женщина, которую он любил, больше не желала ждать его в одиночестве, он же собирался скоро уехать очень далеко, а она не хочет только ждать и ждать, может быть, вечно. Ему казалось, что такова его доля жизненных огорчений, не имеющих ничего общего с огорчениями всех других людей. И именно тогда, когда Мартин особенно страдал и падал духом, появлялся этот малыш и смотрел на него, как смотрит ребенок на взрослого, от которого он ожидает только самого хорошего. Ганс боялся, что его отправят домой, но, когда ему разрешали остаться, его остренькое личико становилось спокойным и мягким. Нос у него был усеян веснушками, волосы — каштановые, с бронзовым отливом, и только отдельные светлые пряди словно выцвели. Мартин чувствовал себя как-то спокойнее, когда позади него сидел этот мальчик, ему легче писалось и читалось под скрип качалки, как будто эта своеобразная музыка успокаивала его.

Нередко заходил и хозяин его квартиры Герлах. Это был пожилой сдержанный человек, но в эти дни у него столько бывало поводов для тревоги, что ему необходимо было высказаться. Он чрезвычайно высоко ценил своего жильца. Мальчик внимательно слушал их разговоры, хотя понимал немного. Речь шла о тех же вопросах, которые обсуждались и в кухне у Гешке. Герлах возвращался с завода измученный и совсем обескураженный, он не потерял работу только потому, что имел высокую квалификацию и считался в своем цеху незаменимым. Иногда он не помнил себя от огорчения, гнева и бесплодных усилий:

— Я спрашиваю людей: если тебе одну руку оторвет, скажи, это меньшее зло, чем если отхватит обе? И разве меньшее зло умирать медленно от туберкулеза, чем сразу от скоротечной чахотки? Тут выбирать нечего. Никто на свете не может поставить меня перед таким выбором. Вам давно следовало ликвидировать банду, которая ставит нас перед таким выбором.

Мальчик опустил ноги на пол, он уже не раскачивался. Ему хотелось уяснить себе: когда у них дома на кухне Трибель спорит с отцом, кто из них был бы на стороне Мартина?

В самые тяжелые дни Мартин вспоминал о мальчике с острым личиком, который поджидает его. И если Ганс откусывал от бутерброда, Мартину казалось, что он сам вновь испытывает то удовольствие, какое испытывал ребенком, когда возвращался домой голодный как волк и ел бутерброд. И если он показывал Гансу какую-нибудь картинку, он дивился, как оживают его собственные, казалось бы давно притупившиеся, впечатления. Так же бывало и тогда, когда Ганс что-нибудь покупал на заработанные им гроши или когда восхищался быстрым вращением механизма в автомате с бутербродами. Однажды Мартин взял его с собой в кино. Показывали «Конец Санкт-Петербурга».

Перед тем Мартин объяснил ему, почему Петербург теперь называется Ленинградом. Мальчик слушал его молча, явно из вежливости. Зато в кино он сидел, оцепенев, рот у него был набит жареным миндалем, но он не жевал. Его губы, обычно сжатые, раскрылись, так что были видны зубы, словно ему хотелось откусить кусочек фильма, где он увидел полицейского, который явился в квартиру, выходившую во двор, и женщину, которая, чтобы предупредить возвращавшегося домой мужа, недолго думая швырнула в окно первую попавшуюся бутылку, а муж обо всем догадался и поспешил скрыться.

Мартин чувствовал себя так же, как осенью 1917 года: все, что было потом, казалось, растаяло как дым. Следы пуль на стенах еще не были заштукатурены, а мертвые не похоронены.

Приближался вечер. Ганс, стоя перед зеркалом, разглядывал свою новую синюю рубашку, красный галстук. Мария с улыбкой смотрела на него. Она спросила:

— Откуда это у тебя?

Он ответил:

— Парень тут один мне одолжил.— И добавил: — Оскар Бергер.

Бергер как-то ненадолго заходил к ним, видимо, хороший паренек, медлительный, слегка насупленный, с длинной шеей и глазами навыкате. Ганс ни словом не обмолвился о том, откуда идет это знакомство. Бергер был племянником Герлаха, хозяина квартиры, где жил Мартин. Отец Бергера работал с Герлахом в одном цеху. У матери Оскара тоже были длинная шея и глаза навыкате. Крепкая, хорошая семья. Старший брат Хейнер — коренастый

и плечистый, как отец, с таким же прямым, открытым взглядом — был безработным.

Ганс вертелся перед зеркалом, он очень себе нравился в обновке. Но отец рассердился:

— Это еще откуда?

Мать ответила:

— Оставь, раз ему доставляет удовольствие. Да и своя рубашка целее будет.

— То же самое говорят и матери штурмовиков, когда их сынки любуются на себя в зеркало,— отозвался Гешке.

Мария опустила глаза. В этих словах ей почудился упрек. Совсем на днях Мельцерша болтала, будто она своими глазами видела старшего, Франца, где-то в другом районе и с целой бандой нацистов. Ребята, мол, потому удирают на дальние улицы, чтобы их дома не ругали. А Гешке, который как раз вошел, сказал:

— Нет, потому что громить чужие квартиры и избивать рабочих в чужом квартале удобнее, чем в своем.

Мария вдруг пожалела, что она просто темная женщина, ничего не читала, ничего не знает. Но одно она знала твердо: никогда она не допустит, чтобы ее собственный мальчуган попал в банду таких вот парней, которые дома боятся отца и поэтому избивают рабочих в чужих кварталах. Она почувствовала и скрытый упрек за то, что она заботилась о пасынке не так, как родная мать.

Хорошо, что Гансу еще несколько лет учиться в школе, хоть какой-то порядок будет в его жизни. Старшие дети два раза в неделю ходили с отцом на биржу труда; Франц ругался, что заплата на его штанах слишком заметна. Мария сказала с грустью:

— Я сейчас не могу тебе купить новые.

Франц пробурчал:

— Могла бы зашить поаккуратнее.

Гешке вспылил; Мария остановила его, так как он теперь легко давал волю рукам. Она сказала:

— Я сделала все очень аккуратно, я свою старую юбку изрезала, чтобы наложить хорошую заплату. Я же не виновата, если цвет чуть-чуть не подходит.

— И ты еще извиняешься перед этим лодырем? — возмутился Гешке.

Тогда Франц крикнул с искренним отчаянием:

— Да поймите же, мы только что с Зузой поладили, и она дала отставку Герберту, с которым раньше ходила.

Я себе весь язык отмотал, уговаривая Лёркса позволить мне хоть разок убрать лестницу, чтобы подработать и пригласить Зузу в воскресенье на чашку кофе! А как я теперь поведу ее гулять с этакой красотой на заду?

Мария молчала; младший готовил уроки, сидя у подоконника; к счастью, он-то еще не обращал внимания на красоту. Не только разговоры, но и самый воздух в этой комнате, где наступали сумерки, казался ему гнетущим. И он принялся обдумывать, как бы удрать. Когда Гешке ушел, Мария дала старшему еще вполне крепкую праздничную рубашку отца, которую она тщательно берегла, она убеждала себя, что раздражение Франца понятно: он же красивый малый и тем более ему неприятно ходить в рванье.

«А все-таки хорошо, что девушку полагается пропускать вперед,— думал Франц в воскресенье,— так она не увидит белесых узоров на моих серых штанах». Но успокоился он окончательно, только когда они сели за столик у Ашингера.

Незадолго до того в бюро выдачи пособий у него произошла знаменательная встреча. Франц сразу узнал стоявшего впереди гладко причесанного высокого человека. Между двадцатью и тридцатью годами внешний облик людей меньше меняется, чем между десятью и двадцатью. Поэтому Франц и узнал своего бывшего учителя, перед которым еще мальчиком преклонялся. Но учитель Дегрейф не узнал Франца, даже когда тот приветствовал его, радостно засмеявшись. А Францу тут же почему-то вспомнилось, как этот все еще моложавый бравый блондин рассказывал классу о том, чем была Бранденбургская марка тысячу лет назад. И Франц тогда понял, что живет не только в своей семье и среди соседей, но что он — часть германской нации.

Однако учитель Дегрейф постепенно вспомнил взъерошенного паренька, сидевшего в классе на передней парте.

— Разве ты стал безработным сразу после школы? — спросил он.

— Ну да, господин учитель, а вы?

— Ты учился, вероятно, в предпоследнем классе, когда меня уволили. Видимо, в благодарность за то, что я кавалер Железного креста первой степени.

— В школе у моего брата теперь соединили два клас-

са,— сказал Франц.— Подумайте, шестьдесят мальчиков вместе! Разве один учитель может с ними справиться?

— А все потому, что государство отдает каждый грош в уплату репараций, вместо того чтобы держать столько преподавателей, сколько нужно.

— Знаете, господин Дегрейф,— сказал Франц,— а ведь вы были замечательным учителем. Я для вас на все был готов и представить себе не могу, что вас теперь нет в школе.

Дегрейф сказал:

— Таких, как я, даже поспешили уволить в первую очередь.

— За что?

— Я учил вас, мальчиков, понимать, что такое отечество. А теперь скорее позволяют красным подпускать марксистский душок — евреи с этим охотно мирятся.

Длинная очередь наконец втиснулась с улицы в приемную. Дегрейф шел, повернувшись боком, чтобы не терять из виду своего ученика. Францу было обидно, что его любимый учитель не в лучшем положении, чем он сам. А Дегрейф испытывал то же самое, глядя на него.

— Мне за тебя больнее, чем за себя. Подумать только — такой крепкий и бравый парень! — С горьким смехом потрепал он Франца за вихор, как в былые дни.— Тебе уж наверняка пристало быть в другом месте. И то, что ты при твоей молодости околачиваешься здесь,— это противно священнейшим законам природы.

Франц с изумлением слушал то, что смутно чувствовал сам, но что никогда не облекалось в слова и не высказывалось ни отцом, ни матерью, ни его подружкой Зузой. Значит, ходить с заплатой на штанах, торчать на бирже труда — это не просто плохо, это противно священным законам. «Значит, все, что сказал Дегрейф,— истинная правда»,— в приливе умиленной любви подумал он.

А тут Дегрейф сказал:

— Посчитай-ка, сколько здесь евреев.

Франц неуверенно ответил:

— Сразу не разберешь, в нашем участке их вообще мало, должно быть, их больше в других участках.

— Если их где и много,— сказал Дегрейф,— так знай, мой мальчик, они только для того и ходят в благотворительные учреждения, чтобы скрыть, сколько у них капиталов в банке.

Франц недоумевающе посмотрел на учителя. В его голове носилось множество приятных воспоминаний об уроках Дегрейфа: рассказ о семечке, которое буйный ветер носит из страны в страну до тех пор, пока оно не застрянет между камнями мостовой у них во дворе; о Рейне, который сбегает с Альп в Боденское озеро, а когда затем выходит из него, это все тот же Рейн, и тысячелетие за тысячелетием, становясь все тише и спокойнее, он вливается в море и будет вливаться еще тысячелетия. А если учитель знал так много истинного и прекрасного, то как могут быть его знания в какой-то своей части вдруг неправильными и ошибочными? Тут же выяснилось, что учитель уже давно нацист. В списке членов нацистской партии он стоял одним из первых. Когда кончилась война и Дегрейф, получив Железный крест, вернулся, он был примерно в том же возрасте, в каком сейчас был Франц, так же, как Франц, не имел работы и так же нуждался в поддержке. И как для Франца, для него было утешением слышать от кого-то, что он рожден для лучшей доли, сомневаться в этом не было никаких причин как тогда, так и теперь. И он, как и Франц, сделал вывод, что самой природой поставлен выше всех этих безработных оборванцев и принадлежит к числу тех, кому суждено свершить что-то великое, но не ради всего человечества, которое представлялось ему чем-то непонятным и туманным, а для своей германской нации, и только для нее.

С тех пор он относился ко всем другим учениям, которые все-таки стороной до него доходили, с глубоким недоверием. Ведь они могли лишить его того высокого права, в сознании которого он способен был кое-как переносить нужду и голод,— права принадлежать к избранному народу. И он сказал Францу:

— По крайней мере этого у нас никто отнять не может.

Франц пошел с учителем к нему домой. Дегрейф говорил:

— Я, видишь ли, принадлежу еще к старому типу учителей: мне хотелось бы не терять из виду моих учеников в течение всей их жизни. Я боюсь, как бы ты дома не стал жертвой лжепророков. Тебя могут сбить с толку и ввести в заблуждение. Мне хотелось бы предостеречь тебя, мой мальчик, от всяких превратных идей. Ты, может быть, даже дома слышишь обо всем этом — о классовой борьбе,

о солидарности. Ты не должен быть солидарен со всяким сбродом, с нищими, а только с сильными и решительными людьми. Этим ты поможешь своей нации.

Дегрейф перебрался с женой к ее родителям — старым педагогам, жившим на пенсию. Франц чувствовал всем существом, что эти люди совсем другие, чем его семья, хотя и тут квартирка была маленькая, а из-за двух внуков было так же тесно, как и у Гешке. В вылощенной столовой над полками с книгами висели изображения людей, которых Франц сразу узнал: Бисмарк, Лютер, Гёте. Над диваном — по его виду никак нельзя было сказать, что здесь ночью спят,— висел портрет Гитлера с его автографом. На прощание Дегрейф подарил Францу булавку для галстука с маленькой свастикой. Дома, на лестнице, Франц вытащил ее из страха перед отцом и соседями.

Две недели спустя в клубе гитлерюгенда он увидел на флаге ту же свастику, но только огромных размеров. Франц посмотрел на нее смущенно и растерянно, но отнюдь не враждебно или презрительно. Все это произошло совсем незадолго до ссоры с родителями из-за штанов. Мать не была виновата в его беде, это он и сам отлично знал. После ссоры она даже жалела его. Но все же она слишком невежественна, чтобы ей можно было тайком объяснить все, что говорил учитель Дегрейф.

Гапс и рад был поехать с Оскаром, с которым его свел Мартин, и побаивался незнакомой обстановки.

Стояла холодная осенняя ночь; на молодежной туристской базе рабочего спортивного общества ребята теснились поближе к огню. Среди них был мальчик, умевший играть на гармонике. А у одной высокой, очень красивой девушки оказалось небольшое контральто. Когда она запела, мальчики потребовали от «гармониста», чтобы он прекратил свою пискотню. Тот перестал играть. А они с удивлением смотрели на поющую, точно это была девушка из сказки; ведь она только что суп варила, и вдруг оказывается, это вовсе не обыкновенная девушка, а какое-то неземное, волшебное существо. Она пела своим слабым, легким голоском одну песню за другой, словно только сейчас сочиняла их. Она и сама думала только о той песенке, которая звенела у нее в горле и под пальцами, перебиравшими струны мандолины, о тепле очага и о том, как хорошо быть всем вме-

сте. При слабом свете ее волосы чуть поблескивали на лбу. Ганс подумал о матери и вдруг вспомнил, что не раз видел эту сказочную девушку в доме напротив. Она ходила каждое утро в мастерскую тети Эмилии. Но он и не подозревал, что она такая и что по вечерам люди слушают ее затаив дыхание. Ганс нашел среди присутствующих еще одно знакомое лицо, лицо темноволосого кудлатого мальчика с Циммерштрассе, где у его отца была лавка старого платья. Мальчик был горбатый, он носил очки, его часто дразнили. И Гансу показалось очень чудно, что мальчик этот — в той же комнате, греется у того же очага, слушает те же песни и ест тот же суп, что и он, Ганс, а не удирает от него со всех ног и не смотрит на него с безопасного порога отцовской лавки презрительным и грустным взглядом. Певица передала свою мандолину другой девушке, не такой красивой, но с более звучным голосом. Все стали подпевать. Нескольким детям захотелось побегать на свежем воздухе. Ганс последовал за ними. На западе обнесенный забором участок примыкал к шоссе, на востоке за ним тянулись поля, жнивье было озарено лунным светом, и казалось, что оно побелело от инея. На севере участок упирался двумя выступами в сосновую рощу, а к югу от него лежало озеро. Вокруг поместительного здания стояло несколько низких бараков, и все это вместе называлось молодежной туристской базой. Через дверные щели этих бараков без окон местами просачивался слабый свет и доносилось пение. Пожилой человек, который запыхался, бегая вместе с детьми, предложил развести костер. Нескольких мальчиков отправили за хворостом; Ганс еще никогда не бывал ночью за городом. Оказывается, как огромен мир! В темноте он как будто еще растягивается, и везде, где огонек, там люди. Дома, со своего балкона, мальчик не раз наблюдал звезды, о которых учитель говорил, что это отдельные миры. Если он прав, значит, небо все усеяно мирами. А почему он, Ганс, бегает именно здесь, по этому миру? Почему не там, наверху, по другому? Какой-то мальчуган обогнал его и скорее его набрал в лесу хворосту. И он знал, как нужно складывать хворост, чтобы костер получился высокий. Ганс еще никогда не видел костра под открытым небом. Как весело потрескивали сучья! Кажется, и сам трепещешь, точно пламя. Может быть, там, наверху, на одной из звезд, тоже разводили костер?

От волнения он притих и сидел не двигаясь, что-то и в

его существе жаждало гореть вместе с этим костром. Он и в себе ощущал целый рой крошечных искр, которым хотелось взметнуться вверх. Ганс только сейчас заметил, что мальчик, собиравший с ним хворост, вовсе не мальчик, а девочка, у нее коротко остриженные волосы и кошачий носик. Наморщив лоб, она вместе с остальными пела неведомые ему песни. Увидел Ганс и ту девушку, которая до этого пела одна. Она сидела теперь поодаль от костра, в тени, легкий отблеск света падал на ее колени, которые она обхватила руками. В сознании Ганса эти песни и этот костер соединились со всем, что было лучшего в его жизни: ему вспомнилось лицо матери, круглая голова его взрослого друга, несколько посещений кино и другие картины той обычной жизни, частью которой был он сам. Костер догорал, и молодежь потянулась в свои бараки. Ганс подполз к сухопарому пожилому человеку: тот начал рассказывать о звездах, другие дети обступили его, среди них был и горбатенький. Горбатенький больше всех задавал вопросы и знал названия многих звезд. Сухопарый обхватил рукой его горбатую спину. Ганс провел ночь на соломе, под одним одеялом с Бергером, племянником Герлаха.

Гешке очень рассердился, когда, вернувшись из пивной, узнал, что обоих мальчиков еще нет. Мария через тетю Эмилию получила работу на дом. Дочь Елена, которая на курсах с успехом училась шитью, в воскресенье осталась дома. Она была невзрачна и еще не обзавелась дружком.

Старший, Франц, находился с Дегрейфом и другими ребятами на том конце Берлина и тоже на молодежной базе, где так же весело провел воскресный день, как и Ганс на своей. И там пели песни, и там разжигали костер. Те же звезды блестели и там, наполняя благоговением и восторгом сердце подростка. Он тоже дивился при виде того или иного знакомого лица. Это были соседские ребята, и они потом долго спорили между собой, кому нести свернутый флаг со свастикой, который по Берлину было запрещено носить развернутым. И все-таки, выслав вперед разведчиков и оглядываясь назад, они развернули его и так пронесли по одной-двум улицам. Дегрейф сказал на ухо югендфюреру:

— Да ведь это больше не запрещено.

— Оставь, им так больше нравится.

В подземке они встретили горбатого мальчугана в очках и мгновенно намазали мелом у него на горбу шестиконечную звезду. Перед тем как вернуться домой, Франц из страха перед отцом торопливо спрятал все свои значки. Мария по шагам угадала, что первым вернулся пасынок.

Старший, как и младший, по воскресеньям всегда возвращался веселый. Когда младший смеялся, Мария улыбалась. Но когда она слышала, как хохочет Франц, прощаясь со своими приятелями, ей становилось не по себе, хотя причину этого тревожного чувства она никак не могла определить. Что оба то и дело убегают из дому — это в порядке вещей. Гешке стал теперь как бесчувственная колода. Он часами все думал о чем-то, а затем неожиданно вскакивал и начинал отчаянно браниться. Так вот вышло у него и с Трибелем. Они раньше даже любили друг с другом поспорить. Трибель ведь давний его сосед, на фронте вместе были. А в последний раз они так поспорили, что Трибель перестал приходить к Гешке. Речь шла о плебисците против прусского правительства. Гешке накинулся на Трибеля:

— Для вас главное — борьба с нашими министрами и с нашей партией. Чтобы их выгнать, вы способны голосовать заодно с кем попало...

На это Трибель ответил, стараясь говорить как можно спокойнее:

— Заткнись ты! Нам нужно новое правительство, от которого наконец-то будет прок.

Мария слушала их очень внимательно, силясь понять, кто из двух прав. Гешке она не решилась потом спросить, он словно заледенел от ярости. И к Трибелю ей был закрыт путь, а то бы у его жены нашлось больше терпения, чем у мужа, чтобы все ей толком объяснить. Но Трибель на сей раз со злостью захлопнул свою кухонную дверь. И Гешке на сей раз заявил:

— Чтобы больше его духу тут не было.

Мария закинула скрещенные руки за голову; она ждала, когда вернется младший и уляжется рядом со старшим.

И Гешке не спал. Где их носит? Видимо, они не вместе, так как вернулся пока один. А такие ребята на какую хочешь удочку попадутся. Когда отец им дома приказывает, они огрызаются. А там, в городе, за стенами дома, кого-то слушаются. Кто же так упорно стремится отнять у него сыновей?

II

Венцлов тем тщательнее скрывал свое недовольство, чем сильнее оно угнетало его. В его сознании существовал потаенный уголок, о котором знал только он один, туда никто не должен был проникать: ни друг, ни жена, ни даже он сам, за исключением самых сокровенных минут, когда он считал, что за ним никто не наблюдает. Ночью, убедившись, что жена крепко спит, или иногда после службы Венцлов делал вид, что читает, но на самом деле только бессмысленно смотрел в газету и тихонько отпирал свой тайник. Не было там ни сокровищ, которые бы он ревниво хранил, не было ни увлечений, ни воспоминаний, которые надо было бы прятать от чужих глаз. Это была сокровищница иного рода — если только можно назвать сокровищами страх перед жизнью, боязнь будущего и тоску; все же это было своеобразное недозволенное достояние в его повседневной жизни, протекавшей между казармой, офицерским собранием и домом.

С любопытством и тайной надеждой, в которой Венцлов сам себе не хотел признаться, слушал он однажды после маневров рассказ своего бывшего однополчанина Боланда. У Боланда был родственник, два года назад уехавший в Китай и участвовавший там в создании армии. Боланд называл знакомые фамилии тех людей, с которыми были восстановлены связи и которые могли поддержать их начинания. Он подумывал взять отпуск, чтобы все решить там, на месте.

Венцлов знал о Восточной Азии не больше, чем о планете Сатурн. Сначала он прятал от чужого взора карты и книги, полученные от Боланда. Ильза Венцлов очень удивилась, когда, спросив его однажды по поводу каких-то сообщений в газете, получила чрезвычайно точные, исчерпывающие ответы. Она, правда, не запомнила имени человека, который там, на Дальнем Востоке, хотел в своей старой стране создать новую и сильную нацию. И хотя ей казалось странным, как могут перед этими непонятными желтыми людьми стоять те же вопросы, что и здесь, она понимала, что человек с трудным именем нуждается в сильной армии и хочет у себя тоже покончить с красными.

Благодаря этим неожиданным перспективам Венцлову стало теперь полегче на душе. Он уже не вспоминал на каждом шагу своего угрюмого отца, отравившего его моло-

дость. Боланд быстро решил принять предложение своего родственника. От своего имени и от имени Венцлова он завязал связь с офицерами, находившимися в командировке на Дальнем Востоке.

Венцлов никогда не отличался ни предприимчивостью, ни особым богатством воображения. Эти, еще едва намечавшиеся перспективы сулили какой-то выход из тупика: в своей бесцветной, строго ограниченной жизни он знал заранее каждое повышение по службе и каждый этап вплоть до отставки и смерти. Обычно ответственность за то, что он делал, и ожидание заранее известного угнетали его. Но теперь он чувствовал себя, как мореплаватель, которого после всяческих похождений ждет дома надежный приют.

Сам он никогда ничего бы не придумал, что дало бы ему возможность отклониться от предначертанного пути. Сам он не обладал никакими талантами, его не томила жажда путешествий, не увлекали никакие идеи, тут действовал просто тайных страх за свое будущее, которое грозило растечься между пальцами, как вода, стать ничем. А теперь ему вдруг представился выход, словно некая таинственная сила схватила его, уже немолодого, умеренного человека, и потащила за собой. Она точно воспользовалась этим Боландом и как бы через него передала: «Я вижу, что, если тебя подтолкнуть, ты втайне сам будешь благодарен. Тебе тоже хочется доказать, что ты и храбр, и предприимчив. Есть на земле места, где в этом еще нуждаются».

Они решили бы не иметь больше детей, признались друг другу ночью муж и жена, если бы судьба не отказала им в сыне. Но провидение почему-то именно им упорно посылало дочерей. Венцлову теперь приходилось часто бывать в Берлине. Намеченный отъезд приближался.

На этот раз жена не поехала рожать домой. Она разрешилась от бремени в своей ганноверской квартире. Тетя Амалия получила извещение о том, что наконец родился сын. Ленора Клемм никогда еще не видела, чтобы лицо тетки сияло таким счастьем. Это выражение счастья казалось на нем почти гримасой, ибо его черты не были приспособлены для выражения подобных чувств. Тетка сделала несколько попыток скрыть свою радость, ей самой казавшуюся до неприличия демонстративной. Однако ночью, лежа в своей постели, где она всю жизнь пролежала одна, лишь изредка позволяя себе мысли, которые были

бы для дневного света, пожалуй, слишком смелыми, старая дева отдавалась восторгам безудержной гордости, как будто она была праматерью рода и видела, что ее потомство растет. Тут выяснилось, что ее сердце далеко не все принадлежит сыну Леноры, который после катастрофы жил с матерью. Теперь тетя Амалия считала своим наследником только новорожденного, который будет носить ее имя.

Хельмут проводил каникулы у родственников в Эльтвиле. Дядя Клемм до сих пор не делал, к счастью, никаких попыток продлить пребывание своего подопечного; у него были собственные дети и немало забот; он уже сейчас опасался, что этот мальчик предъявит такие притязания, которые нанесут ущерб его сыновьям. У тети Амалии были свои предубеждения против того, что она называла «рейнскими каникулами». Мальчик всегда возвращался изменившимся, болтливым — под болтливостью она разумела склонность к зубоскальству,— избалованным, что сказывалось в предпочтении к известным блюдам, в желании совершать какие-то необыкновенные экскурсии и тому подобном. Мать следила за ним испуганными, удивленными глазами. Она отобрала у тетки всю работу по дому и в саду. Правда, Ленора могла бы иметь теперь такие доходы, которые позволили бы ей нанять прислугу, но она не хотела пользоваться деньгами, унаследованными от ее неудачного брака, и брала только то, что нужно для сына, так как одних ее средств на его воспитание не хватало.

Гости, улыбаясь, не могли не признать, что Ленора уже становится похожей на тетку. Та привлекательность, которой веяло некогда от ее худощавого, стройного тела, исчезла. Глаза померкли, они перестали неожиданно изменять свой цвет. Только по ночам лампа горела в ее бывшей девичьей комнате дольше, чем у тетки было принято. А романы, которые Ленора читала, она днем прятала от старой девы так же, как в детстве. Утром у нее был усталый вид. Во время этого тайного чтения в определенных местах книги ее глаза, как бывало, то вспыхивали зеленоватым светом, то угрюмо темнели. Только молоденькая библиотекарша знала о ее пристрастии к чтению. Ленора больше не думала о Ливене. Этот короткий роман казался ей теперь какой-то неизбежной принадлежностью ее бесцветной юности, которая так и прошла незаметно между войной и миром. Она не знала, где теперь Ливен, и не интересовалась

этим. Его честолюбивое желание — оставить навсегда след в ее жизни — осуществилось в том смысле, что ей запомнились названия нескольких книг. Ей было хорошо, только когда она читала. Ленора не сомневалась, что все страсти, описанные в книгах, действительно существуют, но книги кончались тогда, когда на самом деле все только начиналось. И часто, закрывая прочитанный роман, она говорила себе, что только сейчас начинается правда, которая не стоит ни того, чтобы ее описывать, ни того, чтобы о ней читать. И она привыкла придумывать настоящий конец книги: возвращение к обычной жизни, к неотвратимым будням, угасшую любовь.

Она обрадовалась неожиданному приезду брата Фрица в Берлин. Ей всегда казалось, что это единственный человек, с которым можно потолковать по душе. Однако скоро выяснилось, что он поглощен служебными делами и собственной семьей. А когда ему хотелось поговорить на домашние темы, он принимался рассказывать всякие подробности о маленьком сыне. И Ленора чувствовала, что если бы даже брат и хотел, то никакого откровенного разговора все равно не получилось бы, так как она сама теперь не знала, о чем ей хотелось поговорить с братом.

Тетя Амалия была веселей, чем когда-либо; она достала две бутылки вина, припрятанного ею для особо важного случая. На крестины ей не пришлось поехать: своих денег у нее не было, а взять у Леноры из денег, оставшихся после Клемма, она не захотела. Теперь она гордилась тем, что может угостить вином приятелей племянника и соседей. Выпили за будущее новорожденного. В одном все были согласны: будущее это должно быть гораздо светлее, чем жизнь его отца. Та война, которая начнется, когда малыш вырастет, не может кончиться вторым Версалем. И когда он окажется достаточно взрослым и поймет, что такое отечество, позор с Германии уже будет смыт. Офицер опять будет тем, чем он был когда-то. Тетя Амалия очень гордилась, что она была единственной женщиной, оставшейся в тот вечер среди мужчин: фрау фон Мальцан ушла домой, Ленора ложилась как можно раньше, чтобы читать, и тоже под каким-то предлогом удалилась. Тетя Амалия гордо задрала подбородок над стоячим воротничком.

— Лига наций наконец согласилась на увеличение рейхсвера. Это все-таки лучше, чем ничего! — заявил Мальцан.

— Нет, хуже! — крикнул Штахвиц, который проводил свободные от службы дни у Венцловов.— Этим они притушат негодование, отвлекут людей от запретной мысли о восстановлении воинской повинности.

Тетя Амалия кивнула, желая показать, что она вполне понимает Штахвица; из всех приятелей Венцлова он так и остался ее любимцем. Тут вмешался старик Мальцан:

— Всеобщая воинская повинность,— заявил он,— единственное средство, которое сможет положить конец всему этому дилетантству и бутафории, всем этим штурмовым отрядам и так далее. Шумиха вокруг них создана типами, которые давно отвыкли от всякой нормальной армии, вроде Рема, ставшего главарем разбойничьей шайки. Это все, чему он научился в Боливии.

— Я с тобой не согласен,— ответил Фриц Венцлов,— извини, но не согласен. Тут ищет себе выхода нечто, чего так и не удалось подавить в молодежи. Молодежь гордится тем, что носит оружие. Молодые сами пришли к выводу, что без оружия человек пропадет. Они добровольно подчиняются дисциплине.

Старик Мальцан насмешливо обратился к зятю:

— Помнится, мой мальчик, когда ты приезжал в прошлый раз, ты был другого мнения, и юношей, которые внутри армии создают еще какие-то организации, ты решительно осуждал.

— Та сила, которая движет ими, пойдет на пользу армии.

— Ну, посмотрим. Пока я предпочитаю, чтобы эти молодцы дрались друг с другом. Тебя ведь тут не было, когда разыгралась история со Штеннесом.

— Да, но Гитлер скрутил их. Они живо смирились. Как раз на этом примере и видно, кто прав. Это заменяет им военную субординацию.

Штахвиц промолчал. Когда речь коснулась людей, с которыми он был когда-то связан, он уже готов был ответить резкостью, но прикусил язык. А Мальцан сказал, как обычно, когда не находил, что сказать:

— Ну, там посмотрим.

Хельмут сидел в уголке; он старался быть как можно незаметнее, чтобы тетка не вздумала выслать его из комнаты. Ему было не совсем понятно, о чем, собственно, идет речь, и он с волнением ловил каждое слово. Хельмуту было двенадцать лет. В школе были мальчики, повторявшие под-

хваченные дома остроты насчет штурмовиков. Были и такие, вроде Браунса, которые носили в ранце портрет Гитлера, а ночью тайком клали его под подушку. Эти мальчики слышали о том, что Гитлер спасет отечество. Взамен той жизни, которая казалась им серой и однообразной, придет другая, лучшая, блестящая и бурная. На днях во время перемены произошел такой случай: некий Густав Гельмер, сын врача, вдруг выпалил: «Штурмовики просто жулики, а Гитлер самый главный жулик». За это Браунс ударил Гельмера кулаком по лицу и выбил ему передний зуб. Отец-врач пришел жаловаться, а учитель взял Браунса под свою защиту: мальчики уже вышли из того возраста, когда им можно запретить драки.

Маленький Клемм был за Браунса; он чувствовал неприязнь к старику Мальцану за то, что тот не признает Гитлера. Хельмут втайне любил покойного отца, которого почти не помнил. Эльтвильский дядюшка однажды намекнул, что отец давно уже ставил Гитлера очень высоко. А Хельмут готов был преклоняться перед любым мнением отца. Теперь он будет почитать и дядю Венцлова, потому что дядя защищает Гитлера. От волнения мальчик начал заплетать в косички бахрому скатерти. Тетя Амалия прикрикнула на него:

— Как? Ты еще не в постели?

А дядя Венцлов заслужил еще большее расположение племянника, добродушно заметив:

— Оставь его, завтра же воскресенье.

III

Ливен был рад, что теперь зарабатывал достаточно и мог снять себе хорошо обставленную комнату на Кайзердамм, притом в доме, выходившем на улицу, а не в дворовом флигеле. Хотя на войне ему было все равно — он мог спать на сене и на голой земле и даже считал спартанское ложе неизбежной частью походной жизни,— в мирное время он испытывал потребность в таком окружении, которое соответствовало бы его привычкам и наклонностям. Кроме того, он был рад, что отделался от прежней толстой хозяйки. Новая хозяйка тоже сдавала комнату по недостатку средств. Она была завита в меру, хорошо одевалась, не встречала его расспросами и не приставала к нему с сер-

дочными излияниями, нарушающими должную дистанцию между хозяйкой и жильцом; такие излияния, по его мнению, обычно связаны с вынужденным отречением от всех земных благ. Ведь он тоже, когда был беден, терпеливее выслушивал разглагольствования Лютгенса и даже сам говорил о своих мыслях и делах больше, чем следовало.

Теперь покончено и с этой ночной болтовней друга, и с разговорами остриженной под мальчика хозяйки. Прощаясь, она растрогалась и подарила ему на память подушку с вышитой на ней свастикой. Ливен ненавидел всякие символы и атрибуты новой веры, в том числе и портреты фюрера; вешать их на стену он не был обязан, так как ему еще разрешалось скрывать от прежних единомышленников и их организаций свою принадлежность к нацистской партии. Он говорил:

— Будь я еще итальянцем! Муссолини по крайней мере похож на кондотьера. А на самых скверных снимках он напоминает портреты кисти Мантеньи и вообще произведения эпохи раннего Ренессанса.

Лютгенс отвечал:

— Настанет день, когда мы выжжем на теле врагов наши символы. А до тех пор ты не можешь запретить всяким мещанкам вышивать их на подушках.

Коротышка Лютгенс был благодарен Ливену, что тот уплатит хозяйке за два месяца вперед. По крайней мере теперь он мог спать на кровати, а не на диване; все его попытки пристроиться куда-нибудь одна за другой терпели поражение. А пойти на биржу труда для него было все равно что оказаться пригвожденным к позорному столбу.

У Ливена не было сейчас любовной интрижки, не было женщины, с которой он хотел бы провести свой отпуск. Поэтому он написал кузену Ливену, что стосковался и желал бы увидеться. На самом деле никакой тоски у него не было, а была только тоска по тоске.

Усевшись в купе, он от скуки стал рассматривать пассажиров: почтенную супружескую пару; господина с остроконечной бородкой, от которого пахло приемной врача; пожилую женщину, непрерывно вязавшую, как будто ей нельзя было терять ни минуты; одетую в черное молодую девушку. Ее он рассмотрел очень внимательно, чтобы решить, красива она или нет. Но так и не решил. Продолго-

ватое лицо девушки, на лбу которой волосы росли треугольником, было бы красивым, если бы его не искажало выражение насмешки и ледяного равнодушия. Глубокие тени под глазами могли быть результатом бессонных ночей, которые она провела, оплакивая кого-то, по ком носила траур, но могли быть также следами усталости другого рода. Глаза красивые, почти сияющие. «Но я никогда не видел,— подумал Ливен,— чтобы глаза могли так сиять и быть такими холодными. Интересно, замечает одетая в черное девушка, что сидящий рядом господин с бородкой пододвинул свою ногу к ее ноге?» Его платье было настолько пропитано хлороформом, что скоро и купе стало напоминать приемную врача. Девушка не отодвигаясь закинула ногу на ногу, затем встала и вышла, а господин с бородкой последовал за ней. Когда Ливен вскоре после этого пришел в вагон-ресторан выпить рюмку водки, он увидел, что девушка в трауре и господин с бородкой сидят вместе за одним столиком, пьют кофе и покуривают. К своему удивлению, он услышал, как девушка несколько раз звонко рассмеялась. И потом со своего места в другом конце вагона он слышал еще несколько взрывов смеха, звонкого, язвительного, иногда почти злобного. Он не знал, заметила ли его эта девушка, и даже не успел придумать какой-нибудь план ухаживания.

Во время долгого пути от станции до деревни он несколько раз мельком вспоминал о ней. Он представил себе ее руки, лежавшие на коленях: руки были даже не очень холеные, но, бесспорно, породистые. А смеялась она почти вульгарно. Вечером он добрался до Ольмюца. Во всех окнах дома вспыхнули приветственные огни. За то время, что он отсутствовал, домик точно отдохнул под своей широкой крышей. Казалось, он еще глубже врос в землю. Прибитый над входом щит с выгравированным гербом успел уже полинять. Как будто с последнего посещения Ливена прошли века. У посаженных тогда деревьев были теперь суковатые стволы. Все здесь росло как будто быстрее, чем в других местах.

Кузен обнял его. Стал уверять, как и тогда, что все время ждал его. Знакомый запах напомнил Ливену то счастливое чувство, которое он испытывал ребенком, когда, приезжая на каникулы, слышал этот запах в вестибюле дома Ливенов. Комната кузена за это время не изменилась. «А от этого и тут не спасешься»,— подумал Ливен, увидев

на полке томик Шпенглера и томик ван ден Брука. Они, как семена, которые ветер разносит по самым дальним местам, оказались и здесь.

В уголке дивана кто-то рассмеялся. Ливен резко обернулся, он только сейчас заметил, что они с двоюродным братом не одни. С удивлением уставился он на девушку в трауре, ту самую, с которой ехал сюда в поезде.

— От нас так и несет хлороформом,— заявила она,— мы ехали с врачом.

Отто Ливен сказал:

— Ты, видно, забыл мою сестру.

— Вас, кузина, я почти не помню. Но вашу куклу помню очень хорошо. Она была какая-то ужасно большая и вечно попадалась под ноги.

— А я-то уж и подавно помню свою куклу.— Лицо девушки как будто чуть-чуть смягчилось, и этого было достаточно — она сразу стала красивой.— Я даже во время бегства не знаю сколько дней тащила ее с собой. А потом она осталась в поезде, который обстреляли. Моя мать, и я, и многие другие — мы бежали в деревню, еще не занятую красными. Слуга моей матери был убит, он хотел во что бы то ни стало спасти наши вещи. Мама плакала, и я тоже. Но я никому не призналась, что плачу только о кукле.

Отто Ливен сказал:

— Наша мать умерла в прошлом месяце в Дрездене. Элизабет служила в санатории на Бюлерхойе, чтобы как-нибудь оплатить лечение матери.

— Я решила там остаться,— поспешно вставила Элизабет.— А к тебе я буду каждый раз приезжать в отпуск. Нет, пожалуйста, не возражай. Не начинай спорить при кузене. Я никогда не буду сидеть у тебя на шее. Мой брат вечно боится, что со мной может стрястись беда. Я была и остаюсь, для него маленькой сестренкой, против чего я, впрочем, не возражала бы, если бы и он не оставался для меня маленьким братцем, который нуждается в моей помощи гораздо больше, чем я в его.— Она презрительно скривила губы: — Ты помнишь, как мы однажды вечером играли в овраге и каждый уговаривал другого не убегать слишком далеко? Мы оба боялись остаться в одиночестве.

Брат засмеялся и поцеловал ее.

— Ведь мы с Эрнстом еще раз все это видели, и озеро, и дом, и овраг. Мы с холма еще раз смотрели на имение.

Эрнст Ливен сказал:

— И надеялись, что через несколько часов будем дома, а вместо этого нас отбросили назад и тебя ранили.

Элизабет слушала, затаив дыхание, как брат описывал ей встречу с крестьянской семьей, которая раньше принадлежала к их челяди. Эрнст Ливен добавил:

— При отступлении я видел их всех опять. Они лежали убитые на полу комнаты. Только маленькая девочка осталась в живых. Она лазила между обломками и подъедала остатки завтрака. Вероятно, ей сейчас столько же лет, сколько вам, кузина. Наверно, красавица теперь.

Отто обнял сестру:

— Не такая красавица, как ты.

Эрнст Ливен посмотрел на девушку в упор:

— Если я не ошибаюсь, та девочка была сделана из другого материала, чем вы. В ней чувствовалось то, чего вам, Элизабет, недостает.

— Чего же?

— Тепла.

Однако он ошибся, ожидая, что в ее чертах мелькнет хоть тень смущения. Она ответила:

— Не знаю, у какого огня в этой стране я могла бы согреться.

— Но ведь это наша страна, наше отечество,— сказал Отто Ливен.— В Германии ты у себя дома.

— Не сердись на меня, брат, я знаю, что я для тебя все еще недостаточно взрослая. А для меня, маленькой девочки, отечество — это что-то слишком огромное, притом что в детстве справа и слева от нас находились два таких колосса, как Россия и Германия. С меня довольно того, что я могу окинуть взглядом: сад, озеро, несколько рощ — словом, то, что вы тогда увидели с холма. И я совершенно не знаю, к чему мне эти города и большие реки, о которых ты говоришь, что все они — мое отечество.

Она опять уселась в свой уголок. Мужчины продолжали непринужденно болтать:

— А где учитель с такими длинными руками и ногами?

— Мы за это время по-настоящему сдружились. Я научился от него многому, чего раньше не понимал, а он — от меня. Наши споры принесли нам большую пользу: я расстался с очень многими предубеждениями, со своей гордостью, а он, мой друг,— со своими фантастическими мечтами о всемирной гармонии.— Отто подождал, не скажет ли Эрнст что-нибудь, и продолжал: — Он теперь наконец

понял то, что я ему всегда говорил: все его интернационалы не могут устоять, каждая новая война будет взрывать их, потому что всегда какой-нибудь народ захочет соперничать с другим. А я, я теперь знаю твердо, что в моей голове нет ни одной мысли, самой оригинальной, самой возвышенной, которой я не был бы обязан своей нации.

«Ну, теперь пошел! — сказал себе Ливен.— Теперь нужно дать ему выговориться». Элизабет, подперев голову рукой, из своего угла смотрела на брата то ли насмешливо, то ли растроганно, как смотрит мать на своего ребенка, чем бы он ни играл.

— Эта нация,— продолжал Отто, взволнованный тем, что может наконец высказать вслух то, что обычно таил в себе,— эта нация непрерывно обрабатывает поля и добывает уголь и в то же время непрерывно, из века в век, говорит на своем языке, создает свою музыку, свои картины и свои соборы, вооружает свои армии и рождает своих великих писателей, славных государственных деятелей и отдельных людей, как мы с тобой.

«Ну, теперь мне и на каникулах придется выслушивать то же, что в Берлине»,— подумал Эрнст Ливен. Вслух он сказал:

— Мы оба стали национал-социалистами, хотя и не знали этого друг о друге.

— И мы, наверно, пришли к этому разными путями, и еще наш друг — учитель. Он тоже понял, что исполнить песню другой нации на своей скрипке он может, но создать ее — нет. Он настроен националистически, так же как и я. А я настроен социалистически, как он. Это наглядно показывает все величие человека, основавшего национал-социалистскую партию. Это общий кров над всеми нами.

Эрнст Ливен подумал: «Надеюсь, не слишком прочный кров».

Оттого что сестра Отто сидела в углу, вечера не были такими скучными, как боялся Эрнст Ливен. Она не участвовала ни в каких спорах, не пускалась ни в какие разговоры с Эрнстом, самое большее — обменивалась с ним взглядом, казалось говорившим: «Мы одни понимаем друг друга в этом доме. И мы их теориями не соблазнимся. Мы не разделяем их священных убеждений, мы не хотим ни

программ, ни клятв». Учитель пожирал глазами красивую чужую девушку, которая вдруг появилась в его деревне.

Накануне отъезда она поднялась в комнату Эрнста Ливена:

— Я хочу проститься с тобой.— Уж он ли не знал женщин, но тут все же был удивлен. Она подошла к нему совсем близко и сказала: — Ты нравишься мне.— Затем сейчас же отступила, прислонилась к стене и начала рассказывать, как будто только ради этого и явилась к нему в комнату:

— Мы бежали из поезда, который обстреливали красные и где осталась моя кукла. Мы с мамой бежали из деревни в деревню, чтобы добраться до какого-нибудь порта, а красные все время преследовали нас. Мы видели, как на вершинах холмов пылают зáмки. Тогда было сожжено и наше имение. Отца убили, но мы узнали об этом гораздо позднее. Иногда мама останавливалась. Вместо того чтобы отдохнуть, она начинала целовать меня. Наконец мы добрались до порта, до Штеттина. Я два дня ничего не ела, моя мать еще дольше — она все отдавала мне. Она вошла со мной в первую попавшуюся гостиницу, на улице она причесала волосы и надела кольца, которые вытащила из сумки, прихваченной с собой, и вдела в уши серьги. Мы наелись досыта, но заплатить нам было нечем, какой-то посетитель смотрел на нас. Кельнер начал браниться. Посетитель встал, за все заплатил и сказал: «Извините за беспокойство». Он платил позднее и за нашу квартиру, потом он дал маме денег, чтобы она поместила меня в какой-нибудь пансион, но в конце концов ему пришлось уехать очень далеко. Тогда его друг принял участие в моей матери. Когда я приезжала на каникулы, мы с мамой страшно радовались нашей встрече. Она была очень красива и очень добра ко мне. Потом она заболела, некоторое время за нее платили врачу, а за меня в школу. Но друг, который платил за нас, видно, решил, что болезнь слишком долго тянется. Тогда дрезденский врач устроил меня работать в санаторий взамен платы за маму. Она всегда говорила мне: «Ничего не пиши брату, не надо обременять его». Скоро мама умерла, но мне не повезло так, как ей. Я не встретила такого человека, который бы все оплачивал и потом щелкал каблуками и говорил: «Извините за беспокойство». Главный врач оставил меня на работе. Теперь я уже привыкла. Я регистрирую больных. Мне одной жалованья вполне

хватает. И теперь не нуждаюсь в друге, который бы мне помогал. Разве только он мне самой очень понравится.— Она потерлась затылком о стену. Взялась руками за серьги: — Мама захватила их в сумочке, когда мы бежали. Она ни за что не желала продавать их, чтобы они мне остались. Мне хотелось бы еще хоть раз побывать дома. Мне хотелось бы, чтобы хоть раз, хотя бы на один час все было так, как бывало дома. Что дальше будет, я не знаю. А впрочем, мне все безразлично.

IV

С тех пор как Вильгельм Надлер на собрании в «Спортпаласте» увидел, что фон Цизен не менее, чем он сам, захвачен речью Геббельса, барон уже не занимал в его сердце прежнего места. Однако Вильгельм еще не мог окончательно расстаться со своим кумиром: ему мало было новой идеи, возвещенной откуда-то издали, он нуждался в чем-то реальном, в живом человеке из плоти и крови. У каждой идеи свой представитель, глашатай, посредник. Подчиняться крестьянину вроде Хармса, начальника штурмовиков, ему претило. А тот собрал уже вокруг себя несколько парнишек здесь, на берегу, и в соседней деревне, где у Хармса было свое хозяйство, однако такое запущенное и заброшенное, что оно вот-вот пойдет прахом. Правда, Вильгельму Надлеру самому все время угрожало разорение и он от всех своих бед жаждал найти себе какого-нибудь кумира, который бы возвысил его, Вильгельма, хотя бы в мечтах. Но так как он еще не вполне уяснил себе новое, то пока держался за старое.

Он был даже рад, когда зимой в деревне распространился слух, что дом на той стороне озера ремонтируется и что барон возвращается. Надлер не знал причины этого возвращения, а причина была простая: Цизен, когда лопнул банк, потерял очень много денег. Его последним крупным расходом была свадьба дочери; девица еще успела заполучить в мужья своего Лотара, ветреного молодого человека, имевшего большой успех у женщин. К счастью, неприятный вопрос о приданом, о городской квартире и туалетах удалось обойти, так как Лотар и его жена уезжали в Афганистан, где Лотар получил место в консульстве. Но если Надлер и не подозревал об этих трудностях, которые, в сущ-

ности, его не касались, то в главном вопросе, который касался и его, дело было еще запутаннее. Невзирая на все сомнения, он считал себя обязанным сохранять верность Цизену, правда, уже не на почве общих взглядов и общих целей, а в силу какого-то безмолвного обета, не мог же он просто-напросто порвать те нити, которые связывали его с былым кумиром. Он сообразил, что на предстоящих президентских выборах не следует снова голосовать за Гинденбурга, ведь Гинденбург никак не может расстаться с Брюнингом, а почему — непонятно: Гинденбург же протестант, как и Гогенцоллерны, а тот католик! Надлер терпеть не мог Брюнинга за его «восточную помощь» * — как будто здесь мало бедных крестьян! Брюнингу потому удалось обвести Гинденбурга вокруг пальца, что из старикашки уже песок сыплется. Вильгельм слышал речь, произнесенную Цизеном в гостинице на берегу озера перед членами «Отечественного союза крестьян — участников войны». И он постарался запомнить все то, что ему предстояло внушить людям, собиравшимся в «Дубе», чтобы они в свою очередь убедили всю деревню голосовать за представителя «Стального шлема» Дюстерберга. Они расклеили на всех углах его портрет. Ничего не скажешь, видный мужчина. А кто все-таки будет голосовать за Гинденбурга, это в тот же вечер покажет вязальная спица, с помощью которой Вильгельм подсчитывает голоса. Портреты не стареют. И Гинденбург выглядел так же свежо, как пять лет назад, когда Надлер сам вешал его портрет. Но жизнь под властью этого старика с каждым днем становилась хуже. А портреты Тельмана наверняка притащили дорожные рабочие: во всей его деревне не нашлось бы таких смельчаков. Тельман хочет, чтобы в Германии, как и в России, стерли все межи между земельными участками, а Вильгельм Надлер больше всего на свете боялся, что тронут его участок. Избирательного плаката гитлеровцев никто не срывал. Самого Гитлера на нем не было, а были изображены мужчина и женщина, видимо, супружеская чета, оба измученные нищетой, окончательно обессилевшие. Но по обоим видно, что люди они положительные. У женщины белокурые волосы, и она красивее Лизы, только вид у нее печальный и растерянный, а Лиза всегда весела, даже по-

* Имеется в виду субсидирование правительством Брюнинга крупных землевладельцев на востоке Германии.

сле того, как ее поколотишь. Муж тоже растерян и печалец. Он, видимо, безработный, хотя скорее напоминает солдата. Вот жалко малого! А под плакатом подписано, кого следует выбирать: национал-социалистов.

Самому Вильгельму Геббельс так понравился, что он, кажется, сейчас же пошел бы к нему на службу. Он надеялся, что барон фон Цизен покончит со своими колебаниями и после того вечера сам перейдет к нацистам. Однако барон пока оставался тем, кем был. И Надлеру пришлось по его приказанию расклеивать плакаты «Стального шлема». Перед самыми выборами Надлер пережил прямо-таки потрясение. В его собственном дворе, на двери его собственного амбара, появился плакат коммунистов: «Кто голосует за Гинденбурга — голосует за Гитлера».

Какой же негодяй знал секрет, как к нему во двор отпирается калитка? Это не мог быть никто из живущих в его доме и даже никто из деревенских. Надлер позвал жену и нескольких соседей, чтобы показать им эту штуку. Надпись на плакате была им непонятна. Если бы она говорила правду, Мюллер, проживавший рядом с Надлером, наверно, не поругался бы со своим старшим сыном, который командовал в деревне и подчинялся Хармсу: сын решил голосовать за Гитлера, а отец за Гинденбурга. Не стали бы они ругаться, если бы это было одно и то же!

Вся эта путаница, происходившая в деревне, вызвала и в голове Цизена целый вихрь мыслей. Надлер очень обрадовался, когда выяснилась необходимость вторичных выборов. Теперь уже не надо было по приказу Цизена расклеивать специальные плакаты. Теперь все националистические союзы сошлись на Гитлере. Цизен вздохнул с облегчением, вздохнул вместе с ним и Надлер: благодаря этим вторичным выборам он был освобожден от необходимости заменить свою путеводную звезду другой или следовать за ней только по обязанности. А когда, несмотря на все, Гитлера опять не выбрали, а выбрали Гинденбурга, то разочарование снова сблизило Вильгельма с Цизеном.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Вскоре после этого Цизен ехал в машине по берегу озера. По пути ему пришло в голову заехать к пастору. А пастор как раз беседовал с Христианом насчет починки башмаков. Взглянув в окно и увидев гостя, он воскликнул:

— Скорей, Христиан, продень мне ремешок.

Христиан взял башмаки, которые пастор снял и отдал ему, чтобы подбить на них подметки. Дюреровский Лютер, висевший над письменным столом, по привычке укоризненно смотрел на заштопанные носки своего пастора.

— Сию минуту, господин пастор,— отозвался Христиан тем смиренным тоном, каким он говорил в пасторском доме.

Выходя, Христиан столкнулся с Цизеном и сказал, опустив глаза:

— Добрый вечер.

Однако Цизен успел перехватить один из тех косых взглядов, которыми Христиан иной раз готов был куснуть неприятных ему людей, если бы не относился ко всему на свете с полным безразличием.

У Цизена остался какой-то осадок. Войдя в кабинет пастора, он сказал:

— Странный тип этот ваш сапожник.

— Да, бедняга кое-как ковыляет по жизни и все-таки все эти годы честно помогал своему брату. Вот если бы вы могли им оказать содействие! Людям всюду плохо живется. На нашем берегу было три продажи с молотка. И Вильгельму Надлеру от этого не спастись. А Христиану, на беду, и пенсию сократили.

— Я сам потерял бог знает сколько. И не похоже, чтобы в ближайшее время дела поправились.

Цизен принялся рассказывать о крахе своего банка, затем и о других неудачах. А Лютер, висевший над голо-

ной священника, внимал со стены жалобам на тяготы бытия, которые и ему были хорошо известны.

— Одно меня радует, что Брюнинга все-таки отставили. Как он ни обхаживал старика, ничего не вышло. У Гинденбурга еще хватило смелости не считать себя обязанным этой протобестии — виноват, господин пастор, это у меня нечаянно вырвалось. Хоть бы Гитлера посадили на его место. Правда, он тоже католик. Говорят, в Австрии все католики, но он не папист.

Пастор по секрету сообщил барону, что мнение церковного совета таково: только Гитлер может служить оплотом христианскому государству. Они еще некоторое время обсуждали дела этого мира и пили вишневую наливку: невзирая на запрещение хозяйки, они опять откупорили бутылочку.

Христиан Надлер еще ковылял по дороге, когда его нагнала машина. «Бедняга,— подумал барон,— больная нога втрое удлиняет ему путь. Будь у него деревяшка, он все-таки шел бы быстрее. Но он, видно, предпочитает ковылять на собственной ноге».

Вернувшись к себе, Христиан разжег чугунную печурку. Было еще довольно холодно, и он не хотел переходить под навес, а просто придвинул треногу к открытой двери, хотя при этом одна половина его тела зябла, а другой было жарко. С глубоким удовлетворением смотрел он вдаль, на озеро и на бескопечную плоскую равнину, как будто земные просторы вознаграждали его за собственную неподвижность. Весенний свет придавал воздуху какую-то стеклянную прозрачность, словно с мира сняли пелену,— так отчетливо видел он и воду с легкой рябью, и колокольню в далекой деревне, и лемех на том берегу. Белые пушистые облака время от времени заслоняли солнце, свет и тени скользили по худой, ловкой руке Христиана, которой он прошивал подметки, по его удлиненному лицу, которое не было сейчас ни хитрым, ни льстивым, а серьезным и спокойным. К отдельным людям Христиан был глубоко равнодушен. Он никого не любил. Но к широкому миру, расстилавшемуся перед его глазами, он отнюдь не был равнодушен. Он чувствовал себя одиноким в отдельных точках этого мира — в трактире, в деревне, в доме брата. Но в мире как целом, он чувствовал себя дома.

С озера донеслось стрекотание моторной лодки. Сегодня все было видно и слышно гораздо яснее. Какие-то парни

ехали на работу; один из них помахал издали Христиану. Лодка остановилась на этом берегу, перед соседней деревней. Прошло некоторое время, и на проселочной дороге появился человек, направлявшийся к его сараю. Это был долговязый парень в тужурке и с травинкой в зубах. Вид человека, казавшегося издали черной черточкой, перерезанной голубой полоской шарфа, позабавил Христиана. Но сам человек, остановившийся перед ним теперь и глядевший на него сверху вниз, был ему безразличен.

— Разве вы не узнаете меня, Христиан? Я Пауль Штробель. Много лет назад я работал у вашего брата на поденной. И вы меня тогда тайком подкармливали.

— Ну и вырос ты! Опять жрать хочешь? — Христиан заковылял к своему сундуку, отрезал ломоть хлеба и положил на него кусок ветчины, а парень уселся на сундук, как в былые дни. И как прежде, принялся болтать.

— А Вильгельм, ваш драгоценный братец, и не подозревает, кто ему Тельмана наклеил на амбар? Вы порядком обеднели за эти годы. Не можете себе даже новый амбар поставить.

— Почему мы? Я ко всей этой лавочке больше не имею никакого отношения.

— А я иду в соседнюю деревню, там участок Хёниша собираются продавать с молотка. На прошлой неделе нам удалось помешать этому. И аукцион отложили. Мы заставим нацистов выполнить ту программу, которой они так хвастают — насчет крестьян и немецкого социализма. Хёниш ведь немецкий крестьянин, верно?

— Конечно, конечно,— сказал Христиан,— и Вильгельм тоже. А я немецкий сапожник. А сапоги, которые мне нужно подбить,— это сапоги немецкого пастора.

Паренек весело продолжал:

— Мы даже этих чурбанов расшевелили в деревне, даже этих нацистов.

Он вызывающе посмотрел на Христиана. Парень подзадоривал его своими замечаниями насчет семьи, деревни и государства. Пауль с детства любил поспорить. И вечно выискивал себе партнеров для словесных поединков. Но Христиана больше нельзя было вызвать ни на какие разговоры. Этот парень уже мешал ему в его тихой мастерской. И он только бормотал в ответ на его рассказы: «Так, так! Действительно...»,— пока у Пауля не пропала всякая охота разговаривать, но когда он потом уходил полями и его

шарф развевался в весеннем воздухе, как голубой флажок, он постепенно переставал быть в глазах Христиана назойливой помехой, превращаясь в зыбкую полоску, доставлявшую ему удовольствие.

Несколько дней спустя Христиан в первый раз сидел под навесом. Было уже тепло, только временами налетал порыв холодного ветра, нагонял на солнце темную тучу и из нее лился дождь. Если Христиан садился боком, он мог следить за светлыми точками на пашне: это были его брат, невестка и дети. Волосы среднего мальчика были желтобелые, как лен. Они так и не потемнели, и Вильгельм иной раз сердился на это, а Христиан думал: «Так я его сразу нахожу». В прошлый месяц Христиан отказался помочь брату при уплате налога, ссылаясь на то, что ему сократили пенсию. Брат до того запутался в долгах, что еще немного, и он совсем разорится.

Солнце светило Христиану в глаза; он повернул свою треногу и начал вбивать гвоздики один за другим. Удивительно, сколько этот Пауль Штробель тратит сил ради чужой деревни, где он даже никого не знает, только бы уберечь от продажи с молотка совершенно неведомый ему двор! Удивительно, сколько люди кладут сил невесть на что! А обычно самое лучшее приходит без малейших усилий. И ветер без всяких усилий разрывает облака над озером, и тоже без особых усилий со стороны Христиана, медленно, неуклонно накапливаются долги Вильгельма. Солнце пекло, как летом. Пароход дал гудок.

Христиан не слышал шагов за спиной; обернуться ему было лень, и он только поднял брови, когда его окликнули: «Христиан!» Так как он не обернулся, то Лизе пришлось подойти к нему. Он взглянул на нее: от ее веснушек у него побежали мурашки по спине; он рассердился, что опять начинаются все эти истории. Он сказал:

— Что, собственно, тебе нужно?

Брату они были отлично видны с пашни. И он, вероятно, проследил, куда она пошла.

Лиза ответила:

— Может, мы зайдем в сарай, я тоже хочу присесть!

Он отрезал:

— Нет.

Тогда она опустилась на доски. Опять никакого покоя нет от этой Лизы! А она сразу же стала выкладывать свое дело. В прошлый раз он отказался одолжить брату деньги,

а сегодня утром пришло от банка последнее предупреждение. Они попали в петлю. Если он не поможет, их постигнет та же судьба, что и Хёниша.

— Сама знаешь, что мне пенсию урезали.

— Ах, брось,— возразила Лиза,— с тебя хватит. Ты уж бог знает сколько времени ни одного пфеннига не брал оттуда. Ты же зарабатываешь. Крестьяне, у которых нет денег, приносят тебе сало. И все-таки у тебя какая ни на есть пенсия. Ты, наверно, прячешь все деньги в чулок или кладешь в банк? Нам необходимо заплатить на этой же неделе. Тогда самое страшное минует нас. Ты должен дать обязательство, что платеж будет сделан в три срока. Тогда мы кое-как выкрутимся.

Он помолчал. Потом заметил:

— Наверно, Вильгельм нарочно тебя подослал: он думает, так скорее дело пойдет.

— А ты послушай-ка, что я тебе скажу: если наше хозяйство пойдет прахом, то и все пойдет прахом. Ты об этом подумал?

Он продолжал молчать. Но его молчание только подстегивало ее высказать до конца все свои соображения. Она накрутила травинку на палец и спокойно заявила:

— Ну да, ты, конечно, все обдумал. Я тоже кое-что обдумала. Хотя не знаю, ты думал об этом или нет? Что есть, то есть. А чего больше нет, того нет. Об этом ты тоже подумал? Ведь землю можно не только продать с молотка, ее можно кой-кому оставить в наследство. Так вот как обстоит дело: ты Вильгельма можешь разорить, на это тебе наплевать, но ведь если ты у него что-нибудь отнимешь, ты же отнимешь не только у него. Ты отнимешь у его детей. Им тоже придется выметаться отсюда, у них тоже ничего не будет, им придется по миру идти.

Христиан продолжал усердно прибивать подметки к башмакам, которые пастор просил починить как можно скорее. Он даже не подозревал, что Лиза способна на такие длинные речи.

— Я уже тебе сказал: нет у меня ничего.

— Есть, есть,— настаивала Лиза,— ты же каждый месяц откладываешь. У тебя должно быть около тысячи двухсот.— Она так точно угадала, что он невольно подумал, не выдал ли ей размеры своих сбережений. Едва она произнесла слово «наследство», как он понял, куда она гнет. Христиан не раз представлял себе, как это проклятое се-

мейство совсем сядет на мель, и тогда он призовет к себе вихрастого, похожего на белого пуделька мальчугана, к которому он привязан — да, привязан, ничего не поделаешь,— и выложит ему денежки: вот, малыш, это только тебе. Становись-ка сам на ноги. Конечно, участок земли был бы лучше. Но кое-что на эти деньги малыш все-таки сможет сделать, правда, маловато. А его брат, Вильгельм, оставит детям землю, но самые лучшие участки получит старший, младшему ничего хорошего не достанется. Непременно нужно придумать такое, чтобы вся сумма, какую Вильгельм задолжал ему, Христиану, досталась малышу. Он слышал, будто в городе есть такие ловкачи-адвокаты, которые умеют обделывать подобные делишки. Лиза ждала, она видела, что Христиан что-то обдумывает. Но он думал слишком долго. Она больше не могла ждать ответа. Достаточно того, что она заставила его призадуматься. Она встала:

— Ты еще хорошенько все сообрази.

Затем поспешила к мужу.

— Он пока ничего не сказал, но все утрясется.

Вильгельм знал наперед: «Если кто умеет подъехать к этому чертову парню, так только Лиза, для нее он что угодно сделает».

Все ему до смерти надоело. Все эти просрочки и отсрочки, предупреждения и унижения, уговоры и разговоры. Правда, теперь кое-что пошло по-другому. Надо только некоторое время потерпеть в этом мраке, а потом взойдет солнце. Он ничуть не сомневался, что такая жизнь скоро кончится и начнется новая. И поскольку он вообще был способен представить себе что-нибудь, чего не видно воочию, это новое рисовалось ему как безмерная власть и величие для него самого или для всех, кто стоял над ним,— ведь от этой власти перепадет тогда и ему. И в свете этой власти все его тяготы исчезнут как дым. Но пока он трусил: что ждет его и семью, если Лиза все-таки ошиблась и брат больше не поможет ему?

II

Жены безработных отыскивали всевозможные рецепты, сохранившиеся со времен войны. Они бегали друг к другу в кухню и спрашивали, что можно сделать из яблочных

очистков, капустных листьев, хлебных крошек и даже кофейной гущи. Они уже давно узнали друг от друга, что, например, на воде, в которой варилась картошка, можно сделать суп и засыпать его высушенной гороховой шелухой. Казалось, что Берлин — осажденный город, в котором люди поддерживают свою жизнь, питаясь самой неожиданной пищей. Мария очень огорчилась, когда подавая в воскресенье на стол жаркое из копины, услышала возгласы детей: «Эй, но-о...»

Однажды Елена вбежала в комнату и заявила:

— Я получила работу.

Все посмотрели на нее с изумлением, именно так, как Елена себе и представляла по пути домой. Девушку еще ни разу в жизни не встречали с радостным изумлением. А сейчас все посмотрели на нее так, как будто она изобрела что-то необыкновенное. Отец даже пододвинул ей стул, а мать — тарелку. Елена принялась рассказывать: она тайком делала пробную работу для мастерской художественной штопки, одна девушка, с которой она познакомилась на бирже труда, показала ей кое-какие приемы, а также употребление особой иглы для стягивания ниток. Эта знаменитая и дорогая мастерская в западной части города отобрала для пробной работы несколько десятков женщин; мать ведь знает, какие у нее ловкие руки. А теперь ей сказали, что завтра утром, в восемь часов, она может явиться в мастерскую. Для начала ей будут платить восемнадцать марок в неделю. Отец сказал: «Вот это да!» Мать сказала: «Ты ведь всегда была искусницей». Девушке сейчас же наскребли тарелку супу. Елена чувствовала, что судьба решила теперь искупить свою вину перед ней. И вот в конце концов награда: она ведь всегда мирилась с тем, что некрасива, неостроумна и невесела, и это вынуждало ее молча сидеть в уголке. А теперь она, единственная в семье и даже на всем этаже их дома, получила хорошо оплачиваемую работу и, кроме того, особенно чистую работу, на которую не всякий способен и которая показала, чего Елена на самом деле стоит.

Чувство гордости и сознание своей полезности еще усилилось, когда она на следующее утро вбежала в подземку, чтобы ехать в западную часть города. «Удивительно,— думала она в битком набитом вагоне,— что все эти люди едут на работу, в моей семье я одна имею ее, да и во всем нашем доме очень немногие имеют работу».

Под вечер, когда она вернулась, ее ждал обед, точно она была главой семьи. Елену засыпали вопросами, она объяснила, что еще месяц будет продолжаться испытательный срок, но можно не сомневаться — она выдержит. Она оказалась еще искуснее, чем ожидали. Девушке сразу удалось показать свое мастерство: на автомобиле прикатила важная особа с Курфюрстендамм и, плача, сказала, что прожгла себе сигаретой дырку в новой юбке от костюма, она предложила владелице мастерской тройную плату, лишь бы костюм сейчас же при ней починили. Одна нижняя юбка этой дамы, которая нетерпеливо ждала, пока Елена штопала дырку, наверняка стоила дороже, чем целое бальное платье. Когда дама заплатила за работу столько же, сколько безработные получают за целый месяц, Елена не удивилась, как не удивляется астроном, когда к нему в телескоп попадает звездочка из целого звездного мира.

Месяц истек, и опять все ждали Елену с тревогой. Но девушка молча положила перед отцом пакетик, где было полфунта кофе, как доказательство ее окончательно упрочившегося положения. Ганс нашел под подушкой плитку шоколада; сестра спала на клеенчатом диване в кухне, и мальчик прошмыгнул к ней. Он сел на краешек дивана и принялся за шоколад. Елена смотрела на него без улыбки, но с тем выражением, с каким смотрят на человека, который дорог твоему сердцу. Старшему брату она ничего не подарила. Елена и Ганс отлично знали, что их связывает. И хотя Ганс молчал, он понимал причину этой щедрости. За ее костлявое, бледное лицо с черными, слишком широкими ноздрями мальчишки прозвали ее скелетом. И чтобы разозлить ее, повсюду рисовали череп. Однажды озорники схватили ее во дворе, зажали ей голову и измазали все лицо мелом и углем. Ганс как раз возвращался из школы. Он был слишком мал, чтобы вцепиться хулиганам в горло, но ударил их каблуком куда следует. И они тут же отпустили девушку.

Оскар Бергер, который ездил с Гансом на молодежную туристскую базу спортивного общества «Фихте», за последнее время стал частенько появляться на кухне у Гешке. У Марии всегда был наготове кофе, хотя и очень жидкий. Старший брат, Франц, поглядывал на этого гостя недоверчиво. Правда, он редко сталкивался с ним, так как

был занят своими делами. Приятелям же он говорил: «Мой старик на этот счет безнадежен». Однако дома он помалкивал и держал про себя свое мнение. Мария догадывалась, с какими парнями сошелся Франц. Она сказала:

— И как ты можешь бывать у людей только потому, что там больше еды, чем дома!

На это Франц ответил:

— Да ты многого не понимаешь. Моя родная мать, наверно, поняла бы меня. Будь она жива, она знала бы, что ее сын не из-за жратвы туда ходит.

— Будь твоя родная мать жива,— сказала Мария,— она, наверно, надавала бы тебе хорошенько. Говорят, хорошая была женщина. Едва ли ей понравились бы эти хулиганы.

Франц посмотрел на нее, и в его взгляде была ненависть.

А Мария с грустью старалась вспомнить, когда она упустила этого мальчика. Ведь она твердо решила не быть мачехой детям Гешке. А теперь Франц ушел в бешенстве; он хлопнул дверью кухни, и вдруг она с испугом подумала, что звук этой хлопнувшей двери никогда не затихнет. Правда, она шила на мальчика и стряпала, как на собственного сына, но никогда не переживала из-за него тех тревог и забот, которые не дают ночью заснуть. А Гешке, родной отец, был до такой степени измучен постоянной безработицей, которая казалась ему непонятной и постыдной, что мало обращал внимания на своего сына. Вот из-за этой нерадивости Франц от них и ускользнул.

Но малышу она не даст ускользнуть от нее. Гешке бранил его так же, как и старшего, оттого-то Ганс под любым предлогом старался удрать из душной квартиры и слонялся где-то по городу. Мария тихонько совала ему последний грош, чтобы у него было на проезд. Он всегда возвращался домой счастливый, и то, от чего он бывал счастлив, вероятно, было достойно счастья. Она никак не могла понять до конца все, о чем он рассказывал: про какую-то звезду, про костер, про Советский Союз, про одну девочку, которую зовут Эмми.

— Ганс знает, за кого он,— говорил Оскар Лупоглазый.

Мария хорошенько не понимала, что это значит — за кого должен быть Ганс, и за этих ли людей она сама, и Гешке, и дочь, и, может быть, соседи, и, может быть, тетя

Эмилия. Однажды Лупоглазый притащил газету и показал Гансу снимок:

— Вот видишь, эти все с нами. Это все мы.— Он сказал Марии, также склонившейся над фото: — Это рабочий класс, фрау Гешке, а вот это делегат от нас, это — от негров, это — от китайцев, это — от русских.

В комнату вошел Франц, он остановился в недоумении и сказал:

— А тебе, парень, что за дело до этого? Мы ведь живем здесь, в Германии.

И пошла история. Оскар назвал Франца врагом рабочего класса, а Франц ответил, что это, мол, вздор, никаких классов нет, есть только расы. И у него, Лупоглазого, видно, испорченная кровь течет в жилах, раз он не чувствует, что такое раса. А Оскар Лупоглазый возразил: уж, конечно, немецкому рабочему негритянский рабочий ближе, чем господин Сименс, у которого работает его отец, если даже господин Сименс случайно и уродился немцем.

Мария слушала обоих, нахмурив брови. Она спрашивала себя, кто ей ближе, гораздо ближе — негр, такой же бедняк, как она сама, или какой-нибудь богатый господин, который говорит по-немецки? И да и нет, и нет и да. Разобраться в путанице этих чужих мыслей ей было так же трудно, как ворочать камни.

Пришла Елена, и спор кончился. Елена приглянулась старшему брату Оскара Хейнеру. Он встречал ее по вечерам возле ее мастерской. Но в дом ее родителей они всегда входили порознь; он был неразговорчивый и медлительный. Елена обычно тоже не была разговорчива. И теперь вся семья удивилась, когда она в присутствии Хейнера неожиданно засмеялась. У нее еще не было ни одного поклонника, и то, что Хейнер вдруг увлекся ею, Елена так же приписывала судьбе, как и работу, которую получила одна из всей семьи. Мария была за нее рада: девушке нужна любовь. И Гешке теперь относился лучше к этому чужому парню. Ему не нравилось только, что Хейнер подстрекает Ганса, потому он раньше и сердился, что тот ходит к ним.

Когда Хейнер брал по воскресеньям с собой за город Елену, Мария была довольна, она думала, что теперь Ганс будет под присмотром сестры. Однако напрасно Мария надеялась: сестра не очень-то присматривала за ним — едва они приезжали на туристскую базу, как парочка уединя-

лась. Елене казалось, что, перестав быть никому не нужной, она перестала быть и невзрачной, она уже не стыдилась своих огромных ноздрей, которые как будто даже стали меньше. Теперь она училась плавать в озере, о чем раньше и мечтать не смела, и гордилась своим стройным молодым телом, которое обычно было скрыто залатанным, вылинявшим платьем. Дома она знала только, что у нее некрасивое лицо, а здесь выяснилось, что у нее крепкая молодая грудь, стройный, гибкий стан. И она была спокойна и довольна. На базу приехал старик учитель, дети понесли ему свои книги. Он сел посреди них на камень, принялся читать и объяснять им. И тут обнаружилось, что самые трудные слова запоминала именно Елена и она же разбиралась в самых запутанных вопросах. Старик с удивлением остановил свой светлый взгляд на девушке: он подумал, что давно ждал такой вот ученицы, как она ждала такого учителя. До сих пор она знала только, что штопает гораздо искуснее других женщин. А сейчас вдруг оказалось, что она может объяснять совершенно новые для нее мысли и никто так быстро не схватывает их, как она.

Ганс подбегал к сестре, только когда у него были порваны штаны или он нуждался в какой-нибудь помощи. Дети скоро поняли, что она может выручить из любой беды. Большие группы людей обычно разбиваются на меньшие, и здесь дети образовали маленькие самостоятельные группы. Иные теснились возле старика учителя, который объяснял книжки, иные обступали сухопарого человека, рассказывавшего про звезды; его особенно любил маленький горбун, отец которого торговал старым платьем. Ганс не хотел бы иметь такого отца, но он очень дружил с сыном, который вечерами в городе, откинув голову на горб и устремив кроткие близорукие глаза в небо, рассказывал про те звезды, которые блестели над Бель-Альянс-Плац. Иные же охотно собирались вокруг мордастого дерзкого парня, уже прошедшего огонь и воду и хваставшего своими приключениями. Немало женщин, девушек и детей теснилось вокруг Елены, с которой можно было посоветоваться решительно обо всем: как перекрасить платье, и как приготовить такое-то кушанье, и что говорил старик учитель. Едва Елена выходила из дому, чтобы ехать на вокзал, а затем на базу, как ее охватывало ощущение счастья, будто она вступала в новый мир. Для нее тогда кончался тот, другой, испорченный мир, в котором она была

некрасивой, невежественной девушкой. А в этом новом мире, жизнь в котором начиналась теперь, не только последние были первыми, но и невежды становились умными, а дурнушки — красивыми.

Так как сестра Елена постоянно уединялась с Хейнером, Ганс привязался к маленькой Эмми, которую коротко остриженные волосы делали похожей на мальчика. Эмми жила на другом конце Берлина и никогда не приходила к нему домой. Но он знал, что она поджидает на шоссе, чтобы увидеть его уже издали. Она ждала, как ждут женщины.

Мартин сразу сказал Гансу, что должен скоро уехать. Так как Ганс, видимо, пропустил это мимо ушей, Мартин решил, что тот, должно быть, не слишком огорчен его отъездом. Ганс был теперь так крепко спаян со своей группой, что мало думал о Мартине и только изредка, когда она не собиралась, ездил на Александриненштрассе.

Он даже не очень удивился, когда его друг однажды приказал ему отнести чемодан на вокзал. Мартина огорчило, что Ганс так холодно относится к его отъезду. Но он утешал себя тем, что все же оставил какой-то след в его жизни, даже если Ганс потом и забудет, кто именно оставил этот след. Когда они подходили к вокзалу, он сказал:

— Ты должен быть твердым, что бы тебе ни угрожало.

Ганс спросил:

— Когда ты вернешься, сегодня же или завтра?

— Я уже давно сказал тебе, что больше не вернусь.

Ганс оторвался от рельсов, которые внимательно разглядывал. Он так пристально посмотрел в глаза Мартина, как взрослые уже не умеют смотреть, а из детей — только те, кто еще не понимает, что скрыто в глазах взрослых. Лицо его казалось острым и злым. Крошечные точечки, мерцавшие иногда в его зрачках, вспыхнули и погасли. Взгляд стал холодным, зубы приоткрылись. Мартин боялся смотреть слишком долго в глаза мальчика, он отвел свой взгляд.

— Я уже давным-давно сказал тебе о своем отъезде. Я еще вчера повторил, что сегодня уезжаю.

Ганс ответил:

— Нет.

— Да что ты выдумываешь? Я тебе несколько раз говорил, что мне скоро придется уехать.

— Вы мне никогда не говорили, что вы хотите уехать насовсем, далеко, без меня.

— Но послушай, ведь совершенно ясно, что я должен уехать без тебя. Не могу же я взять тебя с собой!

— Почему не можете?

Мартин привел причины. Мальчик слушал с мрачным видом. Но чем больше друг старался ему все это объяснить, тем запутаннее становились объяснения. Наконец Ганс опустил глаза, словно с него довольно было смотреть в изолгавшиеся глаза взрослых. Проводник крикнул, что пора садиться в вагон.

— Обещаешь всегда быть порядочным?

Ганс сказал:

— Ну да.

Он даже не подождал, пока отойдет поезд. Посвистывая, он лениво пошел прочь. Оглянуться, тем более помахать рукой казалось ему бессмысленным. Обычно он считал, что сердце — это такая штука, о которой только поется в песнях да болтают соседи. Сейчас он мог коснуться его пальцем — этот человек сделал ему больно. Раньше Мартин был добр к нему, и Ганс всем сердцем привязался к старшему другу.

За последнее время мальчик реже навещал его. Мартин стал ему не так нужен. Да и веселее было с ребятами у лагерного костра, чем с одиноким молчаливым человеком в его комнате. Но все хорошее вошло в жизнь Ганса благодаря этому человеку: новые друзья, песни, кино, даже звезды. Все это с Гансом останется. А друг — друг уехал. Что бы там ни было, а Мартин изменил Гансу. Верно, уж не так сильно любил его, иначе не бросил бы его, Ганса. А Ганс любил Мартина, как никого не любил ни раньше, ни вообще. Мать в счет не шла: она была просто тут, как снег или солнце.

Ганс бегал по городу, пока не стемнело. Весь город казался ему опустевшим, а шумные улицы и заманчивые кино — унылыми и безлюдными. Как он будет жить теперь?

III

Однажды вечером Ливен столкнулся со знакомым; тот садился в такси, но при виде Ливена опустил на тротуар занесенную было ногу.

Венцлов еще не привык всегда иметь деньги в кармане и ездить в автомобиле, чтобы поспеть вовремя. Он все еще пугался при взгляде на счетчик. Но потом вспоминал, что деньги, которые он за это краткое прощальное посещение Берлина истратит на такси,— пустяк: ведь у него лежит в бумажнике аванс на дорогу. Однако сейчас ему не удалось уехать вовремя. Он так давно не виделся с Ливеном, что в первую минуту этот худощавый блондин показался ему незнакомым. И только слегка выступающие скулы на тщательно выбритом красивом лице и первые слова, произнесенные вкрадчивым, но резковатым голосом, напомнили Венцлову кого-то, кто звался Ливеном и с кем он раньше был знаком.

Оба чувствовали то, что чувствуешь всегда, неожиданно встретив приятеля, с которым был связан в былые дни. Тотчас же невольно думаешь о том, как быстро проходит время и как оно уносит с собой молодость. А потом — что ты все-таки еще и сейчас молод, но только тогда молодость была другая, более свежая, неизжитая, как бы более молодая молодость. И в той, другой, свежей молодости что-то связывало тебя с этим человеком, который сейчас вдруг оказался перед тобой. Он изменился так же, как изменился ты. В чем же Ливен изменился настолько, что Венцлов его даже не сразу узнал? Во-первых, он был в штатском, а не в форме. В воспоминаниях Венцлова Ливен был так неотделим от военной формы, что сейчас, без погон, это был даже не настоящий Ливен. Но, посмотрев на него вторично, Венцлов нашел и тут же заявил, что Ливен удивительно мало изменился. Взгляд его серых, косо поставленных глаз был так же независим и насмешлив, как прежде. Так же блестели слишком мелкие мышиные зубы между дерзкими красивыми губами. Ливен держал под мышкой портфель; у Венцлова мелькнула мысль, что Ливен наверняка занимает какой-нибудь особый пост.

— Да нет же! — отозвался тот.— Я просто служу в банке у Геймса.

Оба одновременно пригласили друг друга в ближайший ресторанчик, чтобы отпраздновать встречу. Но тут же, входя, каждый подумал: «Зачем я его пригласил? Ведь в прошлом вышло что-то неладное, и оно касалось нас обоих. Ведь произошло что-то неприятное, о чем не следует вспоминать, чего мы не должны касаться». Они уже сидели за столиком, когда оба вспомнили: ах, да, эта история

с разводом Леноры. Ливен уже давно слышал, что Клемм и его шофер погибли во время какой-то автомобильной катастрофы. Но он отнесся к этой катастрофе с глубоким равнодушием. Его нимало не заинтересовали рассказы о происшедшем. И так как он взял за правило никогда не возобновлять былых романов, а кроме того, Ленора не играла никакой роли в его воспоминаниях, оба так и не заговорили на ту тему, которой опасался Венцлов. Он подумал: «Наверно, жизнь у тетки Амалии отбила у бедняжки Леноры охоту к приключениям. Но не удивительно, что она однажды влюбилась в этого малого, он очень недурен».

— Значит, вы до сих пор в армии? — сказал Ливен.— Если так можно назвать ваш рейхсвер.

На его красивом спокойном лице Венцлов заметил насмешливое выражение, несмотря на то, что глаза были опущены. Это выражение появлялось у него всегда, когда он высказывался о чем бы то ни было, хотя бы предмет и не заслуживал насмешки. Венцлов вспомнил, что в присутствии Ливена обычно стеснялся обнаруживать свои чувства, будь то негодование или восхищение. Он рассказал о предстоящем путешествии. Ливен заметил:

— Никак понять не могу, зачем вы едете к китайцам? И почему у вас не хватает терпения подождать, пока люди, подобные вам, займут здесь подобающие места?

Длинные руки Ливена и даже то, как он налил вино в бокалы, почему-то не понравились Венцлову, не понравились и необыкновенно густые и длинные ресницы собеседника. Он подумал: «Лучше Леноре об этой встрече не рассказывать». Заиграла музыка. Первые пары, изгибаясь, уже протискивались между столиков. Табачный дым пластами висел над столиками, сквозь него поблескивали бокалы, зубы, серьги. За окнами были видны прижатые к запотевшим стеклам носы и глаза, полные любопытства и удивления.

Венцлов сказал:

— Я еду потому, что там я сразу займу место, на котором буду нужен.

Ливен ответил:

— Каждый из нас где-то нужен, и прежде всего здесь. И вовсе нет надобности уезжать из Германии, чтобы найти то место, на котором ты нужен.— Теперь в его лице уже не было насмешки. Он посмотрел на Венцлова в упор.— Для нас ценны даже самые скромные усилия. Нам

нужны теперь все. Нам нужны и вот эти...— Он указал на приплюснутые носы за стеклом.— Нам нужны крестьяне на полях, нам нужны вы и я...— Он невольно употребил те же слова, которые произнес Отто Ливен, когда Эрнст собирался ехать служить за границу.

Венцлова он навел на раздумье, хотя сам Ливен часто себя спрашивал, внесет ли та победа, на которую так надеялись его новые друзья по национал-социалистской партии, существенную перемену в эту унылую и однообразную жизнь. Уже по тону Ливена Венцлов догадался, на чью именно победу, на какую партию и на какое будущее Ливен намекает. Венцлов подумал: «Значит, вот к какому берегу он пристал, и он тоже...» Венцлов жаждал порвать нити, связывавшие его все с той же унылой жизненной колеей, даже если для этого надо было уехать очень далеко и оставить неразрешенными множество сомнений. Хотя в их разговоре имя Гитлера не было названо, но мысль о нем то сковывала, то волновала Венцлова. Его притягивала дерзновенная напористость, которой в его жизни так не хватало. Чтобы не омрачать их встречи, Ливен торопливо положил свою руку на руку Венцлова:

— Во всяком случае, те опорные пункты, которые вы там создадите, нам чрезвычайно пригодятся.

— Теперь мне пора домой,— сказал Венцлов и тут же добавил, чтобы имя его сестры Леноры как-нибудь не замешалось в разговор: — Моя жена не хочет перед отъездом ни одной минуты быть без меня, она ведь с детьми пока остается здесь. Я обещал провести этот вечер в семье.

— А я однажды был у вас,— вспомнил Ливен,— я даже у вас ночевал, и вы ночью подошли к моей кровати, вы были чем-то расстроены, но только чем... Ах, да, в Груневальде кого-то откопали, и об этом было в газетах, а вы как раз за несколько дней до этого прихлопнули там одного парня...

— И вы, и Клемм,— торопливо добавил Венцлов,— и еще тот конвойный, который вез парня в машине, а потом отвел в лес... Теперь я припоминаю, нам пришлось тогда поменяться машинами.— Хотя Венцлов давно уж не вспоминал об этом случае, но сейчас его охватило то же беспокойство, которое он испытал при неожиданной встрече с Ливеном. Полуосознанная уверенность в превосходстве этого остроумного и блестящего человека подсказывала Венцлову, что с ним нужно держать ухо востро.

А Ливен продолжал:

— Увы, мы за это время стали старше, и такие штуки уже не действуют нам на нервы. А что, старушка еще жива?

— Тетя Амалия? Ну еще бы! Мне кажется даже странным самый вопрос, жива ли она? Разве она когда-нибудь может умереть, наша тетя Амалия?

Ливен еще остался сидеть за столиком. Он рассматривал женщин с гладкой кожей, в пышных мехах. Ему страстно хотелось все это послать к чертям и уехать, как Венцлов. Ему хотелось сделать именно то, от чего он только что отговаривал Венцлова, и он негодовал на судьбу за то, что такое путешествие и такие задачи предстоят Венцлову, а не ему. Ведь это же самый будничный, добропорядочный человек, ему нужны покой, одобрение начальства, своей собственной жены, а может быть, даже этой до ужаса костлявой и, видимо, необычайно живучей тети Амалии.

Вероятно, на Дальнем Востоке, как и здесь, в Германии, Венцлов, выполняя самые опасные и щекотливые поручения, будет думать только о наградах и похвале начальства, но сам не испытает никакого удовольствия, никаких острых ощущений.

Он же, Ливен, ощущал жизнь, только когда стоял на тончайшей грани между жизнью и смертью, на грани, которой с таким ужасом избегают мелкие людишки. От серых будней у него почти делалось головокружение, как у канатоходца, который чувствует себя уверенно на своем канате и неуверенно на ровной земле. И этот ресторан, в котором он сидел теперь так спокойно, и музыка, и ловкие кельнеры, и танцующие парочки, то медлительные, то необузданные, в соответствии с ритмом музыки, и оранжевые ковры — все это находилось на безопасной ровной земле.

— Ты должен привыкнуть к терпению,— говорил ему его новый друг Вейдель.— Мы должны дождаться, пока все люди, шагая под свои старые марши, примкнут к нам, а тогда мы заиграем другие марши.

А Ливен думал: «Вот этот Венцлов сидит сейчас в своей столовой среди семьи, может быть, он уже лег в постель. Но чтобы вырваться из родного дома, нужно его иметь, этот родной дом, и чтобы расстаться с семьей, нужно иметь семью».

IV

Однажды Мальцан сидел утром против своего старого друга Шпрангера в его кабинете. Выражение хитрости и насмешки, то и дело появлявшееся раньше на лице Шпрангера, теперь к нему как бы приросло. За последние годы ведение одного запутанного процесса за другим упрочило его известность и состояние. Его правильное лицо с тонким носом и коротко подстриженными усами стало постепенно неотъемлемой частью определенных судебных процессов, так же как определенное дерево становится неотъемлемой частью пейзажа. На всех знаменитых процессах — разбиралось ли убийство, совершенное по приговору феме *, или дело Карла Осецкого — его лицо неизменно появлялось в зале суда. И постоянная публика этих процессов уже привыкла к тому, что он здесь, как люди привыкают видеть на празднествах одних и тех же генералов, министров и красавиц. Хитрость и насмешка незаметно как бы врезались в черты его лица и мало-помалу придали ему выражение скрытой жестокости.

Мальцан сказал:

— Ты — знаменитость. А я остался тем, чем был,— отставным майором.

— Тогда сделай мне хоть одно одолжение,— сказал Шпрангер смеясь,— и время от времени пользуйся безвозмездно моими советами, за которые мои клиенты обычно предлагают мне большие деньги. А если ты один раз послушаешься меня, тебе больше не придется ломать себе голову.

— Я больше и не ломаю себе голову, но то, что Венцлов именно сейчас уезжает так далеко и, может быть, надолго, для нас очень серьезное обстоятельство.

— Мальчик уезжает далеко именно сейчас... Ты мне позволишь называть его мальчиком. Хотя он твой зять и имеет уже троих детей, но для меня он остался тем же серьезным мальчиком, который приходил сюда, чтобы поговорить о своих сомнениях. Вспомни времена капповского путча! Нам пришлось чуть не силой его удерживать, а то он так и побежал бы в полной военной форме к Бранденбургским воротам приветствовать Каппа. И почему ты

---

* Тайные фашистские судилища, расправлявшиеся с представителями коммунистической партии и революционных рабочих.

говоришь «именно сейчас»? Да, именно сейчас такая командировка — дар судьбы. Этот Чан Кай-ши или как его там зовут, этот желтый дуче получил указание с неба, разумеется с западного неба, пригласить к себе Секта и всю его свору, чтобы они натаскали его армию и при этом поупражнялись, как лучше уничтожать красных. Это знамение с неба касается и нашего мальчика в нашем частном случае, и всего порядка на земле в целом. Представь себе, что Советский Союз получит там, в Азии, еще этот красный привесок. Тогда на земле окажется семьсот миллионов большевиков. А нас, немцев, всего-навсего шестьдесят миллионов, ты только себе представь! Конечно, это еще далеко не всемирная революция, о которой мечтал их Ленин. Но все же соседство пренеприятное. Азия — ведь это не пустяк! И он совсем не так глуп, как желт, этот китайский дуче! И никто, никто не умеет так навести порядок, как наши офицеры, которые знают свое дело. Это относительно порядка на земле. А теперь о семье: я тебе не случайно напомнил, что наш мальчик был вне себя в те капповские дни. Так позволь тебе сказать, милый друг, что наступили опять такие же дни. Но только на этот раз старая веймарская тележка окончательно разобьется.

— Если ты так уверен, что она разобьется, то почему ты хочешь, чтобы он уехал?

— Ну, пока до этого дело не дошло. Когда в наших руках снова будет вся страна и армия, тогда мальчик может спокойно вернуться, но все это еще проблематично. Мы представили публике друг за другом трех фокусников, и каждый показал, что он умеет: поклон направо, поклон налево. С одной стороны — восточная помощь, чтобы бароны не ныли, а с другой стороны — молодежь помогает в деревне голодному населению. Прусские конюшни очистили, но других коней, хотя они и ржут, к кормушкам еще не подпустили. Сначала говорилось: штурмовые отряды — отлично, воля нации к вооружению и так далее, и так далее. А что, если эти штурмовики станут сильнее рейхсвера? Если произойдет драка? Я, правда, знаю довольно хорошо, что такое национал-социализм, но что такое нация, откровенно говоря, я не очень хорошо знаю. И если у этой нации окажутся две воли к вооружению вместо одной, что тогда? Мне кажется, наш мальчик будет очень против того, чтобы вдруг начать стрелять в штурмовиков, которые ведь выражают волю нации к вооружению, а не

стрелять — выделяться среди остальных, перейти на другую сторону — тоже неприятно. Его место среди своих. Тогда нам в этой комнате удалось удержать его от путешествия к Бранденбургским воротам, а теперь мы его будем держать в Китае, подальше от всей этой неразберихи.

Мальцан спросил:

— А ты веришь, что все это кончится как надо?

Но тут вошла фрау Шпрангер. Она все еще была хороша — продолговатое лицо, белоснежные волосы. Однако легенды об ее красоте в молодости теперь напоминали только о бренности всего земного. Пудра лежала на ее веках и голубоватых жилках, как иней. Она улыбалась и смеялась чаще, чем прежде, желая показать, что на щеках у нее все еще ямочки, а не просто какие-то впадины, складки и морщины. Мальцан легко вскочил и поцеловал ее руку. А Шпрангер, в то время как жена ставила на стол поднос с пропыленной бутылкой старого коньяка и двумя смешными стаканчиками, продолжал разговор:

— Я уже отвык от веры во что-либо. Из трех основных краеугольных добродетелей — веры, любви и надежды — я две первые отбросил и сохранил только надежду. Я могу только надеяться, и я надеюсь на такого человека, который окажется достаточно сильным, чтобы прекратить весь этот шабаш и обуздать то, что мы называем народом,— эту темную, плотную массу, которая и в дождь и в ясную погоду затопляет наши улицы и по еще неведомым химическим законам то растекается, то угрожающе сгущается, как кровь. Брюнингу этот фокус не удался, ему не помогло ни угодничество, ни чрезвычайные законы. Не удался он и Папену, несмотря на всю его хитрость и безупречные манеры. Боюсь, что с этим не справится и Шлейхер. И очень вероятно, что справится Гитлер. Он сам вышел из низов, и потому лучше других знает, как там обстоит дело. Говорят, это какой-то припадочный истеричный пошляк, но он как будто одержим некоторыми идеями, которые нам весьма кстати. И потом, в конце концов, если мне принесут золотой слиток, который я могу использовать, то мне решительно все равно, сделал его алхимик или нашел геолог. И по мне, пусть он сколько угодно выкатывает глаза, и орет, и трясет своей прядью на лбу, я ведь не собираюсь выдавать за него свою дочь. Я ее уже давно выдал за атташе посольства. По моему скромному мнению, этому человеку нужно дать несколько лет сроку и, конечно, достаточно

денег. Но это еще необходимо объяснить тем, от кого все зависит. Словом, я нахожу, что предложение, которое сделали твоему зятю и нашему мальчику — пожить некоторое время за границей,— просто счастливый случай, ибо, когда он вернется, в Германии все встанет на свои места и будет ясно, в кого надо стрелять.

Фрау Шпрангер сказала:

— Разрешите налить вам еще стаканчик, милый майор, вы знаете, мой муж не позволяет стирать пыль с бутылки. Он называет это ароматом времени, а я — просто грязью.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Тетя Амалия всегда с нетерпением ожидала, когда на Шарнхорстштрассе появится почтальон, но не сбегала с лестницы, как ее племянница Ленора. По разнообразным звукам, следовавшим за стуком калитки, по восклицаниям радости или огорчения она узнавала, пришло ли от Венцлова письмо молодой жене, жившей в соседнем доме, или он написал тетке, которая заменяла ему мать. Если письмо было адресовано ей, она запиралась в своей комнате с фонарем, хотя цветные стекла в нем только затрудняли чтение ее ослабевшим глазам. Конверт, надписанный таким же ровным и аккуратным почерком, каким был человек, надписавший его, был для тети Амалии лучшим или, быть может, единственным подарком, на который она в жизни еще могла рассчитывать.

Здесь, в своем фонаре, она чувствовала себя связанной с отдаленной точкой на другом конце света; там находилась частица ее плоти и крови, ее существа. Пробежав письмо, она звала Ленору, чтобы та прочла его вслух.

«Дорогая тетя Амалия,— писал Венцлов,— ты можешь найти место, где я нахожусь, на карте генерального штаба. Я живу здесь вместе со своим другом Боландом и нашим переводчиком Гань Син-ляо — вы уже знаете его по моим прежним письмам, это он был прикомандирован ко мне с самого начала и сопровождал меня в глубь страны. Хотя даже Боланд настаивает на том, чтобы мы держались обособленно, как нам настойчиво рекомендовали наши немецкие начальники, я считаю его человеком почти близким, насколько это возможно по отношению к представителю желтой расы. Он учился за границей и знает английский не хуже меня и даже немного немецкий. В нем нет ни одного из туземных пороков. Он превосходно воспитан. Во вре-

мя наших переездов старается показать нам красоты своей страны и объяснить ее особенности.

И поскольку речь идет о пейзажах и произведениях искусства, это ему удается. Но вообще здесь повсюду такая бедность, которая далеко превосходит все самое тяжелое, что ты, дорогая тетя Амалия, можешь наблюдать в северных и восточных районах Берлина. У нас безработные жалуются на обед, которого здесь целой семье хватило бы на неделю. Но эта раса — что для нас совершенно непонятно — привыкла к нищете и лохмотьям, к болезням, к голоду и даже к смерти.

Я тебе, дорогая тетя Амалия, давно не писал, потому что был все это время очень занят. Ты не можешь вообразить, каких трудов это стоит — создать из такого человеческого материала настоящих солдат. Генерал Чан Кай-ши знал, что делал, возложив именно на нас эту задачу.

Только мы с нашим опытом, приобретенным во время войны и во время мира, можем выдрессировать этих людей, не представляющих себе, что такое дисциплина. И даже тогда, когда мы считаем их вполне вымуштрованными, они в решающую минуту перебегают к противнику. Вы там, в Германии, представить себе не можете, до чего они ненадежны. Повиновение и дисциплина для этих кули только пустой звук. Они действуют, сообразуясь лишь со своим чувством, которое у них играет решающую роль. Мы должны быть ежеминутно готовы к тому, что местное население вдруг поддастся красной пропаганде. И так же как у нас в больших городах есть уже известные красные районы, так и здесь, в этой, казалось бы, мирной стране, где все принимает гигантские размеры, существуют целые красные провинции. Имение, в котором мы стоим, находится у самой границы такой красной провинции, поэтому мы возвели здесь укрепления и проложили подъездные пути, по которым могут подойти моторизованные части. Я пишу об этом только потому, что некоторые воображают, будто у этого нищего народа нет вообще никакого оружия и он не способен оказывать нам серьезное сопротивление. Многие уходят на юг, к красным, раньше чем мы успеваем их окружить. Конечно, иным не удается удрать, и они прячутся. Мы, отыскивая их, прочесываем всю местность. И разговор с ними потом недолог — тем более, что смерть, как я уже писал тебе, в этой стране не имеет такого значения, как у нас, а существование этих людей угрожает нашему продви-

экспию в красные районы особенно потому, что они обычно прикрываются самыми мирными профессиями и, только когда приближается армия, объединяются в опасные банды. Представь себе, дорогая тетя Амалия, что у нас дома был бы садовник или почтальон, который вдруг оказался бы главарем разбойничьей шайки! Так, например, на днях перерезали весь штаб дивизии.

С некоторых пор у нас царит волнение, так как японцы заняли Шанхай и на севере древнее государство Маньчжурия отделилось от Китая. Конечно, китайцы с их ненавистью к чужеземцам не в состоянии понять, что у врага, которым они считают Японию, есть многое, чего им самим недостает и благодаря чему японцы добились успеха. На мой взгляд, чем раздувать эту ненависть, лучше было бы воздействовать на население, чтобы оно покорилось и признало власть противника, раз он оказался сильнее. Но большинство, даже мой переводчик, сочли бы это оскорблением.

Вот он идет, пора кончать. Мы обещали научить его игре в скат. Он очень скромный и тактичный человек, и приходится искренне сожалеть, что устав запрещает нам всякое сближение. Даже ты, дорогая тетя Амалия, видя, как он умеет держать себя, иной раз забывала бы о том, что он принадлежит к желтой расе. У него отличная выправка, а главное, такая любовь к родине, которая заслуживает более достойной родины».

— Мне очень хотелось бы,— сказала тетя Амалия,— познакомиться с этим китайским Гансом или как там его зовут.

— Надо поискать его на снимке,— отозвалась Ленора.— Фриц прислал Ильзе карточку.

Тетка подавила в себе вспышку ревности, которую испытывала всякий раз, когда Венцлов сообщал какие-нибудь сведения о своей жизни соседям, а не ей. Вся ее доля участия в жизни, все ее желания и надежды были связаны с племянником, и она не хотела терять ни грамма от этой доли.

Хотя в семье было принято обмениваться полученными письмами, проходило несколько часов, а иногда и дней, пока тетя Амалия наконец решалась переслать полученную ею корреспонденцию соседям. Даже смех обеих девочек, доносившийся из сада, казался ей дерзостью со стороны этих осчастливленных судьбою людей. Она предпо-

читала старшую, хмурую, некрасивую, похожую на мальчика Аннелизу младшей, Марианне, которой благодаря ее веселому нраву и миловидности восхищалась вся семья. А колыбель сынишки Венцлова — он был для нее все равно что родной внук — она охотнее всего перетащила бы к себе в фонарь.

После каждого письма Ленора Клемм особенно остро чувствовала, что все эти далекие страны не для нее. И этот восхваляемый братом переводчик казался ей невероятно чужим и притом наделенным всеми качествами, какими обыкновенно наделены мужчины в бесчисленных книгах, которые она прочитывала по ночам в своей девичьей постели. Зато юному Хельмуту было очень скучно с вечно читавшей матерью и вечно грезившей теткой, и он живо интересовался далекими странами. Он надеялся повидать их, он уже заранее предвкушал сладость путешествий. Он любил дядю, которого едва знал, лишь потому, что тот был далеко и его письма хоть изредка нарушали однообразную жизнь семьи.

У маленького Клемма было две опоры в его скучноватой жизни: первая — это покойный отец, чей образ он создал себе частью с чужих слов, частью на основе собственных скудных воспоминаний; вторая — дядя Фриц Венцлов, который сейчас находится очень далеко, но все же достижим и со временем вернется. Иногда Хельмуту удавалось послушать дома, как мать читает дядины письма, обычно он слушал их у соседей, где эти письма читались вслух Мальцанам и их гостям — регулярно собиравшимся у них старым офицерам, часть которых уже вышла в отставку. Была у Хельмута еще третья опора, но она была от него так далеко, что служила даже не опорой, а скорее путеводной звездой. Под матрасом он хранил портрет Гитлера; об этой тайне знал только его учитель, вешавший такой же портрет внутри классного шкафа, подальше от глаз инспектора, чтобы Веймарская республика его не рассчитала. В этом отношении маленьким кузенам Хельмута в Эльтвиле, сыновьям дяди Клемма, двоюродного брата покойного отца, было легче: в их спальне висел Гитлер во всех видах — не только снимки из газет, приколотые кнопками, но и настоящие портреты на глянцевой бумаге и в рамках. Когда гости иронизировали по этому поводу, отец мальчиков обычно отделывался шуткой. Ибо ни для личных, ни для официальных гостей не было тай-

ной, что в Эльтвиле имелась группа уважаемых лиц, которая задавала тон всем почтенным семьям в округе, а она отзывалась о частично или временно запрещенной партии отнюдь не с насмешкой и недоверием.

Но здесь, в Потсдаме, мальчик не мог даже подолгу смотреть на фюрера, ибо портрет его не висел на стене. Он был как звезда и словно ближе к покойному отцу, чем к живым людям, хотя бы и находящимся очень-очень далеко от Хельмута; ведь звезды там, наверху, скорее имеют отношение к потустороннему миру и к его обитателям — мертвецам, чем к земле. Тетки, старые девы, ворчуньи, редко смотрели на них. Они хныкали, когда мальчик отправлялся со своим учителем на собрание гитлерюгенда или за город. Они постоянно восставали против этой жажды Хельмута сломать перегородки, отделявшие его от других немецких мальчиков. Их возмущали совместные маршировки, иногда даже под командой молодых людей, не принадлежащих к лучшим семьям,— сыновей почтальонов, мясников или сапожников. Эльтвильский дядя в отношении своих детей не был так щепетилен, и тетя Амалия называла это неуважением к установленным богом сословным границам, что, к сожалению, в некоторых частях Германии очень распространено. Она даже уверяла в сердцах, что это пережитки Французской революции, не искорененные в Рейнской области до сих пор, хотя в доме дяди достаточно часто говорилось о том, что только национал-социализм может покончить с этим злом.

Хельмут иногда убегал из дому один. Когда ему хотелось подышать вольным воздухом, он бежал на Юнгфернзее, где его поджидал в лодке школьный товарищ; скользя среди камышей, они или изливались друг другу, или порознь мечтали. Что за страна эта Германия? Среди всех других единственная, на чьей земле, в чьей крови, в чьем языке заключено все, что было Хельмуту дорого и свято: спокойное красивое лицо матери, могила отца, любимый школьный учитель, великие деяния прошлого, озеро с камышами, птицами и тишиной, нарушаемой только плеском весел; осенью — груды блеклых листьев, зимой — снежные метели, летом — обласканные ветром золотистые поля, весной — крошечные почки, как будто выраставшие из-под снега, и такая красота, такие бесконечные дали, о которых товарищ Хельмута не имел никакого представления, потому что бывал только в Берлине и самое боль-

шее — на Балтийском море, а Хельмут обычно ездил во время каникул на Рейн. Мальчики, наверно, взбунтовались бы, если бы их заставили признать благородным и возвышенным то, что, по их мнению, подобной оценки не заслуживало. Но что можно возразить против почитания могилы отца и прекрасного лица матери, против золотистых полей и тихого озера? Незаметно для себя бессознательно они прибавляли сюда еще и то, что им внушал тот или другой учитель, сумевший завоевать их доверие. Гитлер — хотя над ним многие смеются и многие презирают его — сделает из Германии, в которой есть все, что им дорого, мощную страну, и все народы, которым дорого то же, что и им, будут любить ее. А если они не поймут ее, они должны будут склониться перед ней. Гитлер выведет Германию из тупика. Вот тот простор, который им необходим. Гитлер обещал власть и победу, и они верили его обещанию. Власть над чем? Победу над кем? Этот вопрос их не тревожил. Ударив несколько раз веслами, они достигали бухты, избранной ими для тайных бесед, и так забивались в камыши, что никто бы их не нашел. Посмеявшись тому, что вспугнули двух птиц, они пели те песни, которые было запрещено петь на улице. Пели и свои любимые песни, которые стеснялись петь при всем классе: старинные народные, грозные и тоскливые песни о смерти и любви, с которыми они еще не сталкивались, а только смутно чувствовали, что и то и другое как-то между собою связано. Их влекло все запретное и неведомое, а заодно и тайник в камышах, и запах воды. Привязав лодку и изредка обмениваясь словами, мальчики шли домой, готовые к тому, что их будут бранить за опоздание, и непривычно уставшие от дружеских излияний и от всех этих непомерных пережитых и пропетых чувств.

II

Все те годы, что Христиан жил в лодочном сарае брата, он ходил только к заказчикам в деревню и в церковь. У него ни разу не явилось ни надобности, ни малейшего желания съездить в соседнюю деревню, а тем более в город. Он радовался, что сидит в сторонке, всеми забытый, никому не известный. Прилепился к этому клочку земли, к семье брата, сидит и радуется долговым распискам.

А Вильгельм — тот нимало не тужил о долге, совсем не так усердно занимался делом, как ему следовало бы, и только постоянно намекал, что скоро все переменится к лучшему. Когда Хармс посылал за ним, он сразу же бросал любую самую спешную работу. Крестьяне, заглядывавшие в мастерскую Христиана, ворчали на Вильгельма — он на всех орет, всех обрывает, портит людям сыновей и как оглашенный гоняет с ними в грузовике по всей округе. Хармс всегда пользовался дурной славой в своей деревне, а теперь он командует не только в своей, но и в окрестных деревнях. И мальчишки стоят перед ним навытяжку.

Христиан помалкивал, когда другие жаловались. С ним потому и говорили охотно и много, что он не мешал людям собственными соображениями. Но у него у самого в голове неуклюже и порывисто, как взлетает выпь, поднимались неповоротливые мысли. На случай, если с братом что-нибудь приключится, нужно ему, Христиану, раз и навсегда обеспечить свою долю. Брат опять лезет во всякие потасовки и может на этом в конце концов сломать шею. Ему тогда почти ничего не достанется от обремененного долгами наследства. Самому Христиану ничего и не нужно, кроме треноги под навесом, только очень уж он размечтался о своей доле в хозяйстве и о том, чтобы по-своему распорядиться ею на случай собственной смерти.

Из разговоров крестьян он узнал, что в Берлине на Кантштрассе живет адвокат, за малую мзду распутывающий самые заковыристые дела. Такой уж, наверно, сумеет выжать что нужно из долговых расписок брата и состряпать бумагу, которая законным образом закрепит его, Христиана, наследственную долю. Идти через лес на станцию было для него слишком далеко. И когда к нему заглянул кто-то из дорожных рабочих и попросил подбить каблук, он передал, чтобы пришел Пауль Штробель. Это был тот самый парень, который в незапамятные времена еще мальчишкой работал у его брата, а в прошлом году неожиданно явился к нему. Пауль сидел без работы, значит, времени у него было много. Когда Христиан собрался в путь и запер свою лачугу на висячий замок, Пауль перевез его в лодке через озеро, прямо к станции на противоположном берегу.

Хотя двигался Христиан с большим трудом, но в серьезных предприятиях был ловок и находчив. Он почти не знал Берлина. Однако отнюдь не растерялся. Ему и в де-

ревне была докучна и совсем не интересна вечная болтовня и суетня, а уж огромный город окончательно не интересовал его. Ему хотелось как можно скорее добраться до того дома, который один только интересовал его среди всей массы совершенно безразличных домов. Он отыскал автобус, который довез его до Кантштрассе. Из всего виденного и слышанного дорогой он сделал такой вывод: в этот раз Вильгельм как будто поставил на верную карту — кругом не продохнешь от свастик. Не успеешь оглянуться, как такую штуку прилепят на государственный флаг. «Надо мне поскорее привести в порядок свои делишки»,— подумал он.

Адвокат был низенький толстяк со свиными глазками, на животе у него висела часовая цепочка массивного золота. Когда Христиан пристально посмотрел на него, он опустил глаза на бумаги и при этом подумал: «Странный субъект!» Христиан Надлер показался ему не похожим на обыкновенного крестьянина: он ничуть не робел перед должностным лицом. Христиан объяснил, что́ именно привело его сюда. Целых четырнадцать лет он давал и давал взаймы старшему брату все, что только мог наскрести.

— А есть у вас письменные доказательства? Ведь вы понимаете, господин Надлер, закон признает только документы.

Толстяку адвокату нередко случалось видеть, как его клиенты доходили до нищеты и отчаяния оттого, что полагались на людскую честность и добросовестность, а не на расписки. Но этот чудак явно не принадлежал к их породе.

— А как же, господин адвокат! Вот вгляните, тут так и написано черным по белому.

Он выложил все, что принес; с годами выросла кипа бумажек не меньше министерского архива.

— Сперва я хочу, чтобы вы это все толком разобрали, потом хочу знать, как обернуть дело, чтобы утвердиться в правах на это имущество. И как его взыскивать тому, кто будет наследником, когда я помру и брат Вильгельм тоже помрет.

Христиан явно не видел ничего странного и несуразного в своей просьбе. Адвокат же слышал за свою жизнь столько странных, столько несуразных претензий, что не удивлялся больше ничему. Задав несколько вопросов, он выяснил, в чем тут дело с наследником. Его, разумеется,

нимало не удивило рождение в конце мировой войны внебрачного сына, законность которого никогда не оспаривалась юридическим отцом. Ничего удивительного не нашел он и в том, что сына надо обеспечить на тот случай, если он ничего не унаследует от юридического отца. Теперь уже адвокат нравился Христиану больше, чем вначале. Тут можно было говорить прямо и открыто, без обиняков, так же как у врача. Адвокат обещал сперва точно установить законность его притязаний, а затем закрепить их и прислать все бумаги по почте заказным письмом. Перед уходом Христиан задал вопрос:

— А это все останется законным, господин адвокат, если вдруг у нас будет новое государство с этим самым Адольфом Гитлером?

— Что вы, господин Надлер! — воскликнул адвокат.— Государство всегда будет государством, закон будет законом, собственность — собственностью. Сейчас без конца толкуют об упразднении римского права, говорят — надо создать новые немецкие законы. Я лично убежден, что основа нашего общества — право собственности при этом не будет ущемлено ни в малейшей степени. В крайнем случае заберут имущество у нескольких евреев. Вы ведь не еврей, господин Надлер?

— Боже упаси, господин адвокат,— ответил Христиан тем же тоном, каким говорил у пастора, и так же возвел глаза к небу.

— И еще, пожалуй, конфискуют имущество врагов государства. К ним вы ведь тоже не принадлежите, господин Надлер?

— Боже упаси, господин адвокат.

Несмотря на это посещение, Христиан никогда всерьез не думал, что его привычная жизнь может измениться, а тем более что он может умереть. О смерти брата он тоже не думал всерьез, даже когда представлял себе, как вытаращит глаза его племянник, старший сын брата, неповоротливый увалень, если ему придется уступить часть наследства младшему братишке, Белобрысому. Да и почему с братом Вильгельмом и с ним самим, с Христианом, должна приключиться такая странная штука, как смерть? Ведь обоим из года в год хватает дела — одному подбивать подметки, а другому — пахать, косить и молотить.

Не прошло и нескольких дней после путешествия к адвокату, как сама судьба показала Христиану, насколько умно он поступил. Дочка Надлеров, Анни, приземистая, медлительная девочка, из тех, однако, о ком с детства говорят: на нее можно положиться, рысью прибежала вечером, в неурочное время, из деревни в лодочный сарай. Она терпеливо ждала, пока Христиан отворял ей, а затем заявила:

— Дядя Христиан, у нас беда, отец при смерти.

С утра Вильгельм Надлер по приказу Хармса созвал деревенских парней-штурмовиков. Они отправились в Вердер, где их ждали пять грузовых машин. Две уже были заняты Хармсом и его молодчиками. Вильгельм был горд, что раньше всех исполнил приказ Хармса. Остальные, из соседних деревень, явились позднее. Вильгельм видел, что Хармс считает его человеком надежным и исполнительным. А для него самого Хармс давно уже перестал быть завязшим в долгах проходимцем из соседней деревни, теперь это был человек, которому господь даровал власть безошибочно определять, кого надо считать надежным и исполнительным, человек, в силу этого ставший хозяином над несколькими деревнями, включая сюда людей, землю и скотину, а не только нескольких записавшихся в штурмовики мальчишек. Стоило Хармсу мигнуть, как перед ним, точно из-под земли, вырастали грузовики, мотоциклы, мундиры, флаги и оружие. С самого заключения мира Вильгельм постоянно втайне тосковал по оружию. И когда грузил рожь, и когда обмазывал известью стволы плодовых деревьев; одно только оружие давало человеку власть, неограниченную, богоравную власть над жизнью и смертью. Начальник его, капитан Дегенхардт, когда-то уделил ему частицу этой власти, но после провала капповского путча капитан сгинул, а с ним вместе и власть. Барон фон Цизен с того берега озера долго соблазнял его видимостью власти. Но тут дело дальше видимости не шло. Только этот самый Хармс, такой неосновательный и обтрепанный в прежние дни, он один показал, что значит власть.

Они отправились в Обершёневейде, где неожиданно был назначен сбор всех частей. По пути к Обершёневейде находилась фабрика, а вокруг нее — деревня, частично превратившаяся уже в фабричный поселок. Жители поселка возмутились: не пропустим штурмовиков! Берлинская полиция очистила улицы, полицейские остановили машину

Хармса, ехавшую впереди, и передали ему инструкцию ехать к месту сбора, минуя поселок.

Хармс только посмеялся в ответ и что-то приказал шоферу; тот пустил машину на полную скорость, остальные грузовики помчались за ним следом через село. Рабочие протянули проволоку поперек главной улицы, и всей колонне пришлось затормозить. В эту минуту кто-то крикнул из окна:

— Эге! И Надлер тут! Смотри, дождь будет. Как бы у тебя сено не подмокло. Поворачивай лучше домой!

Вильгельм осатанел. Ему не удалось разглядеть лицо насмешника, он наугад пальнул в темное окно. Тут штурмовики выскочили из машин. Проволоку порвали. Зазвенели стекла, двери разлетелись в щепы; Вильгельму Надлеру, когда он упал, выстрелы показались приглушенными, зато непомерно громко скрипели чьи-то сапоги.

Ему сделали перевязку в тамошней больнице, медленно и обстоятельно рассказывала Анни, а через день его привезли домой. Одному богу известно, выживет ли он. Полиция арестовала в Обершёневейде и в фабричном поселке много народу, потому что там стреляли из окон по грузовикам.

Христиан не проявил ни горя, ни возмущения. Смерть брата показалась ему теперь возможной, но маловероятной. Попутно он отметил, что у племянницы Анни уже обрисовывается грудь.

Потом он нехотя запер сарай и отправился вместе с девочкой в деревню. Он уже много лет не ночевал у брата. Лиза устроила ему постель на старом его месте, в чулане. Она не говорила ни слова и избегала его взгляда. Однако по ее глазам, по-прежнему блестящим и ярко-голубым, он понял, что она не верит в смерть Вильгельма.

Вильгельм лежал на своей кровати перевязанный, с закрытыми глазами. Кругом толпились любопытные и смотрели на него. Среди них было несколько штурмовиков, остальные — соседи. Штурмовики ругались и грозились во весь голос у самой постели больного. А соседи высказывались только на улице:

— Вот оно к чему ведет. Подальше от таких затей.

Они боялись говорить дома, при сыновьях.

Хармс прибыл самолично из своей деревни вместе со свитой. Прежде чем сесть на парадный стул, он постоял минутку в строгой позе, какую, судя по фотоснимкам, при-

нимал Гитлер, когда жаловал к жертвам «красного террора». На другой день явился и пастор.

Для пастора Лиза обтерла стул передником и придвинула его к постели. Пастор со скорбной миной созерцал страдальческое лицо раненого, с которого Лиза сгоняла мух, затем обронил несколько слов насчет пятой заповеди и намекнул при этом, что человеку, столь жестоко пострадавшему, трудно будет подавить в себе всякую мысль о мести, таков, однако же, долг христианина.

Вильгельма Надлера посетило еще более высокое лицо. Теперь он уже почти что оправился и раздулся, как индюк, когда у крыльца затормозил автомобиль и оттуда вышел барон фон Цизен. Было вполне естественно, что барон в качестве председателя «Отечественного союза крестьян — участников войны» навестил раненого Вильгельма Надлера. А Вильгельм совсем разомлел от восторга, что его посетил тот, кого он долгое время почитал превыше всех смертных. Это посещение означало, кроме всего прочего, что он, Надлер, в глазах Цизена сила, с которой приходится считаться. Вильгельм хвастал важным гостем перед приятелями, в особенности перед Хармсом, перед женой и детьми, а также перед своим убогеньким братом, перед Христианом, который все это время спал в чулане и помогал по хозяйству.

Христиана ничуть не тронул высокий гость. Барон существовал для него только от пола до лодыжек, в пределах полуботинок. Единственное, что он подумал, как и во время поездки по Берлину: «В этот раз Вильгельм, пожалуй, поставил на верную карту. Странно, ведь он же дурак». Едва только брат оправился настолько, чтобы взяться за дело, Христиан вернулся к себе в лодочный сарай.

III

Мария упорно искала любой работы, с тех пор как Гешке был безработным. Эмилия не могла ей в этом помочь. Мастерская только что закрылась, и фабрике, которую она снабжала, тоже грозил крах. Эмилия была уже далеко не первой молодости; несколько лет назад она завела дружбу с одним коммивояжером, время от времени ходила с ним танцевать и не очень сокрушалась, когда коммивояжер вернулся к жене в Дрезден. Однажды вечером она прибе-

жала к Марии и сообщила, что ее давно позабытый приятель появился снова — он приехал по торговым делам в Берлин и, совсем как в былые времена, пригласил ее потанцевать в кафе «Роковая семерка». На этот раз Эмилия отказалась пойти, потому что ее парадные туфли поизносились. Она пригласила дрезденца к себе и пришла занять до воскресенья горсточку кофе, сохранившегося еще у Марии; гость принес с собой торт и бутылку ликера. Хотя Эмилия немножко охмелела на тощий желудок, любовь ее не доставила дрезденцу прежнего удовольствия. Он дал понять, что его великодушие надо ценить, потому что вечерок в каморке Эмилии обошелся ему не меньше, чем кутеж в шикарном заведении, но он не из тех, кто забывает прошлое. Назавтра он привел с собой знакомого, с которым вел дела. Следующий затем день был воскресенье. Мария пришла утром к тете Эмилии получить долг, потому что воскресная чашка кофе была для Гешке единственной радостью после голодной недели. На столе царил беспорядок — грязные стаканы, остатки майонеза, остатки ликера. Эмилия в зеленой рубашке искусственного шелка, зевая, вылезла из постели. С выкрашенными в рыжий цвет взлохмаченными волосами, с опухшим от сна лицом, она была похожа на ведьму. Она дала денег, чтобы Мария сама купила кофе. Муж тети Эмилии, убитый четырнадцать лет назад, в каске, в мундире, лихо подбоченясь, круглыми глазами смотрел с фотокарточки на неубранный стол.

— Какая жалость, что ваша Елена лицом не вышла,— заметила Эмилия.

— Плохо же ты знаешь Гешке,— возразила Мария,— он бы ее изувечил.

Когда она возвратилась с фунтиком кофе, Эмилия сидела у заставленного грязной посудой стола и, положив голову на руки, отчаянно плакала; Мария даже не предполагала, что она способна так плакать.

— Изувечил бы,— всхлипывала она.— А что мне делать? Шупке грозился вчера выбросить меня на улицу. Позор-то какой — ты только подумай! Ведь мы сюда въехали еще с моим покойным Августом, я здесь работала, пока мастерская не закрылась. Шупке требует, чтобы я переселилась на четвертый этаж, к Граупе. Они, видишь ли, тоже задолжали за квартиру, так Шупке надумал, чтобы мы сложились и вместе отдавали долг, у него тогда будет только

одна неоплаченная квартира. А как я могу переехать к Граупе, посуди сама?

Мария представила себе Граупе, который иногда скандалил так, что слышно было здесь, внизу.

— Конечно, не можешь, тетя Эмилия,— ответила она и печально погладила рыжеватые волосы тетки, сильно поредевшие и седые у корней.

Франц один из всей семьи всегда был хорошо настроен. Но его веселье не заражало. Мария хмурилась, когда слышала, как он свистит, поднимаясь по лестнице. Он не был с ней груб, только холоден. Иногда она вставала ночью, услышав, что он вернулся. Он входил в кухню, плюхался на стул, вытягивал ноги, зажигал сигарету. Мария задумчиво оглядывала его:

— Погреть тебе супу?

— Еще чего? — отвечал Франц.— Сами лакайте свой суп.— И добавлял более мягким тоном: — Сделай милость, не хлопочи ты обо мне и не жди меня по ночам, я уж где-нибудь заморю червячка.

Он думал, что мать после этого ляжет снова, а она стояла позади него, босая, в длинной рубашке, и думала: «Франц красивый малый, ладный, крепкий. Мне уже давно ничего не приходилось ему чинить. Почему одежда на нем теперь меньше снашивается? И отчего это он сейчас так устал? Гешке не раз говорил ему: «Не смей сюда показываться, ночуй хоть на улице или у своих новых приятелей, а меня уволь от этого позора». Но Франц предпочитал ночевать дома и потому никогда не рассказывал откровенно, где проводит время. Что-то еще привязывало его к этому большому привычному дому, с чердака до подвала набитому людьми, которых он видел вокруг себя с детских лет. Что держало его? Уж никак не еда: его кормили досыта в другом месте. С отцом он ссорился, о сестре и не вспоминал, малыша дразнил и на нее, Марию, смотрел как на чужую. И все-таки угроза отца, должно быть, произвела на него впечатление. Должно быть, в глубине души ему все-таки страшновато было порвать последнюю нить.

Вдруг он ощутил устремленный на него взгляд Марии и, медленно обернувшись, блеснул щелками сонных глаз.

— Что ты тут еще торчишь? — сказал он.— Смотреть досадно, как ты надрываешься из-за нас всех и до сих пор

веришь отцовой болтовне. Если поступать по его указке, так никогда лучше не будет. Он крепко держится за старую труху. А ты, мама, ты ведь моложе его, тебе нечего пугаться нового, новое — оно тут, на пороге. Скоро всем нам будет лучше житься. Тебе бы и сейчас уже жилось лучше, если бы ты слушала меня, а не стариковские бредни отца.

Мария села на кушетку, спрятала ноги под подол рубашки, закуталась в одеяло Елены. Дочери не было дома, она ушла с Хейнером. Наконец-то парень разоткровенничался и высказался напрямик.

— Твой отец считает, что эти нацисты против народа,— возразила она.— Он считает, что Гитлер прикарманивает денежки, чтобы обвести народ вокруг пальца. Потому он и вам, мальчишкам, покупает белые и коричневые рубашки и кожаные пояса. А чем вам придется расплачиваться, одному богу известно. Надо полагать, он и себя не забывает.

— Вот и вздор,— резко оборвал Франц.— Отец болтает вздор. Как раз себе-то он ничего не покупает. Он даже мяса не ест и не пьет ни капли вина. У него нет ни жены, ни детей. Отец говорит, что нацисты против народа, а кто ж тогда, по-твоему, народ? Все мы, ты и я, народ. А когда нам с тобой будет лучше житься, и мы получим работу, и тебе не придется варить суп из трех сушеных горошин, ты уже не скажешь, что нас обвели вокруг пальца.

— Очень может быть, что твой Гитлер не ест мяса,— заметила Мария.— Только нам от этого не перепадет больше. У него наверняка найдутся приятели, которые не побрезгают бараньей ножкой. Да и без мяса я тебе назову немало лакомых блюд вроде вишневого пирога со взбитыми сливками.

— Куда ты пропала, Мария? — крикнул из постели Гешке.

— Ступай спать, Франц, ты ведь устал,— сказала она,— но, только если тебя захочет накормить не мать, а кто-нибудь чужой, прежде чем есть, подумай сперва, кому за это придется расплачиваться.

Он собрался было огрызнуться, но прикусил язык. Мария встала, неожиданно взяла его за чуб и потрепала, чего никто не делал с тех пор, как он вырос, кроме учителя Дегрейфа, да и тот всего лишь один раз. А глаза матери при этом смотрели на него в упор, глаза посветлевшие, как вечернее небо, серо-голубые и кроткие.

— Вот и насчет народа,— прибавила она,— конечно, и ты и я — мы оба с тобой народ. Ну а важные господа, которые сейчас заманивают вас, те, по-моему, нет. Их мало, и они боятся, как бы мы их не прогнали. Они-то не могут прогнать народ, нас слишком много, зато они могут натравливать одного на другого, чтобы нас стало меньше.

Мария долго лежала смертельно усталая, но без сна. Она за это время успела узнать, какую значительную часть жизни занимает ожидание. Не только обычное ожидание, когда стоишь в очереди перед лавками, но и ночное ожидание, когда лежишь не шевелясь. Ожидание съедало человека и пожирало время. Однажды, когда она напрасно ждала любимого, ожидание в несколько часов поглотило ее юность. Теперь она каждую ночь ждала сыновей, особенно своего родного, Ганса. Если Франц и приходил поздно, она все-таки засыпала. Елена, та не мучила ее ожиданием, когда еще спала рядом, на кухне; теперь же она по большей части ночевала на квартире у родителей Хейнера. И Мария осталась одна с Гешке и двумя сыновьями. Она уже не была, как прежде, спокойна насчет того, где мальчик проводит время: Ганс стал более замкнутым и серьезным. Он и раньше не был шумлив, а только жизнерадостен, не вспыльчив, а только упрям. Теперь же у него были радости и горести, о которых он не рассказывал. Возможно, его втайне угнетало, что скоро — должно быть, после пасхи — учению в школе придет конец и начнется будущее — необозримая жизнь взрослых, без принуждения и без свободы. Он нехотя и гораздо резче, чем прежде, отвечал на расспросы матери, и она даже не знала, как назвать то неизвестное, что отвлекало и манило его. Она надеялась когда-то, что ее любовь заслонит и оградит его от всего, но он ускользнул от нее, как котенок через щель в крепкой ограде.

Ганс по-прежнему ездил по воскресеньям на молодежную туристскую базу, резвился, играл у костра и разучивал одну песню за другой. Но что бы он ни делал, в глубине души он не переставал удивляться, почему все это уже не радует его. Радость ушла: Мартин увез ее с собой. Ганс по-прежнему дружил с Эмми. Они крепко держались друг за друга, как двое ребят в зимнем лесу. У Эмми было такое же горе — старшая сестра ее уехала с мужем, железнодорожником. Эмми была привязана только к сестре и теперь чувствовала себя в собственной семье совсем чу-

жой. Раньше, что бы в семье ни случилось: ссорились ли родители, бывала ли плоха еда или вовсе было голодно, завел ли брат любовную интрижку, сестра — тоже небольшого роста, но много старше Эмми — все объясняла несколькими словами; она бранила и утешала девочку — и все сразу приходило в порядок. Теперь, когда она уехала, мир словно опустел для Эмми; был у нее еще брат Фриц, правда, она его любила меньше, чем сестру, но он был бойкий парень. Отец ходил всегда хмурый и недовольный, мать — озабоченная и заплаканная. Фриц давно уже бросил базу и называл ее детским садом. Он любил бывать там, где пахло скандалом. Для него не было лучше забавы, чем на собраниях избивать и выгонять несогласных. Его уже два раза сажали в тюрьму, причем отец приходил в ярость, а мать плакала, но Фриц возвращался после отсидки таким же, как прежде. Эмми терлась около него, потому что все остальное было уж очень неприглядно. Однажды на обед была особенно противная полупротухшая конина, в жареном виде она на вкус напоминала сладковатую падаль. Брат внезапно смахнул все со своей тарелки, выбежал из комнаты — его стошнило, но вернулся он как ни в чем не бывало и заявил:

— Вот что я вам скажу, с меня хватит!

На следующий день, когда он пришел домой, карманы у него были набиты сосисками и колбасой; люди рассказывали — кто с возмущением, кто со смехом,— что Фриц с компанией рано утром, до открытия магазинов, взломали мясную лавку и тут же принялись раздавать продукты. Фриц будто бы стоял в белом фартуке за прилавком и так важно, словно сам кайзер Вильгельм, широким жестом швырял в толпу одну колбасу за другой и каждый раз выкрикивал: «Моему народу!» Когда подоспела полиция, все уже было роздано. Фрица не выдали. Отец твердил, что это позор для рабочих, и отказывался есть награбленное, мать плакала, однако запрятала колбасу в печь.

Через несколько дней Эмми сказала:

— Фриц опять что-то затеял. Ты пойдешь с нами, Ганс?

В этот вечер Ганс рано вернулся домой. Марии не пришлось ожидать его. Утром она удивилась, почему он так рано встал. Он направился в северную часть города. Там, позади боен, в темноте, на холоде стояла Эмми, и брат оттирал ее посиневшие руки. Другие парни, смеясь, прикрывали детей от пронизывающего ветра. Потом они вста-

ли по углам улицы, чтобы поднять тревогу, если нагрянет полиция. Эмми было поручено влезть в люк, куда старшие не могли протиснуться, а затем изнутри отодвинуть засов. Ганс должен был перепрыгнуть через наружную ограду, а после того, как Фриц дважды коротко свистнет,— через внутреннюю. После этого он должен был перебросить на улицу то, что подаст ему Эмми. Весь план был тщательно продуман и подготовлен. Старшие парни явно трусили и держались в стороне. Дети ничуть не боялись. Ганс перемахнул через первую стену, как будто на уроке гимнастики. Эмми нырнула в люк. Вдруг Фриц свистнул, но не дважды, потому что Эмми еще не успела даже добраться до внутренней ограды, а трижды, что означало: полиция. Ганс круто повернулся. Он понял и мигом очутился снова на улице. Старших парней нигде не было видно; он почувствовал, что надо спасаться, и пустился бежать в темноте, как бегут, спасая свою жизнь, хотя никто не гнался за ним. Он вскочил в первый попавшийся автобус. Свист, который должен был предостеречь его от полиции, этот свист непрерывно звучал у него в ушах. Теперь уже ему было страшно повсюду. Он пугливо оглядывался по сторонам. В школу он явился без книг. Там он почувствовал себя сравнительно спокойно.

Старшие парни удрали, полиция застала одну только девочку, ее за ноги вытащили из люка и отвели в участок. Так мала и так испорчена! На вид ей можно было дать даже меньше двенадцати лет. Ей было холодно и страшно. Она и вообще-то боялась взрослых, а тем более таких здоровенных верзил в мундирах и при саблях. Ее пихнули к столу. На нее накинулись с вопросами. Острые подбородки долбили, как клювы, усы топорщились. Точно серна, заблудившаяся в горах, подняла она свои карие глаза на небритые щеки в складках и шрамах.

— Как зовут?

— Эмми.

— Сколько лет?

— Двенадцать.

— Кто тебя научил?

Она уже сообразила, что врать надо без запинки, не останавливаясь ни на минуту.

— Чужой дядя, он обещал мне дать марку.

— А мальчишка был с тобой?

— Какой мальчишка?

— Который перепрыгнул через ограду?

Она поняла, что, если бы его поймали, он тоже был бы здесь. Ей самой, конечно, не повезло, но Ганса им не видать. Уж она-то его не подведет! Она сказала:

— Его тоже привел чужой дядя. Я его не знаю.

На нее рычали, орали, точно целая сотня отцов. Она твердила одно:

— Я его не знаю.

Ясно, что так и надо было, иначе они перестали бы орать. Правда, ее и по головке гладили и говорили:

— Бедное дитя.

А она думала: «Ну вот, теперь пробуют по-другому». Она смертельно устала, ее стошнило от страха. Кто-то засмеялся, кто-то сказал:

— Посмотрите-ка, что у девчонки в желудке — картофельная шелуха.— Ее спросили, она объяснила:

— Маме жалко было выбрасывать столько добра.

Полицейские пожали плечами. Один из них подарил ей медяк. Все бы на том и кончилось, если бы дальше участка дело не пошло. Полиция препроводила ее домой. Отец отколотил ее, мать поплакала. А немного погодя пришел вызов в суд по делам несовершеннолетних. Опять посыпались вопросы, то грубые, то вкрадчивые. Но это совсем не было похоже на отца. Тот хоть и бил, а все-таки у него душа болела за свое дитя. Мать тоже если попрекала, у нее все-таки душа болела за дочку. А сидевшим тут людям она была безразлична, но эти люди были государственной властью. Фриц давно объяснил ей: полиция — это государственная власть, суд — это государственная власть, а мы — мы против этой власти.

— Чужой дядя обещал мне дать марку,— сказала она и перед судом.— А мальчишку я не знаю.

Ее отправили в приют для несовершеннолетних преступников как ребенка без воли, не способного противостоять дурным влияниям.

Ганс сидел в школе, решив про себя совсем не возвращаться домой, а сбежать и скрываться где-нибудь. Раньше он никогда не знал страха и даже не представлял себе, что люди могут бояться. Страх был в его глазах одним из отличительных признаков взрослых. Они вечно чего-нибудь боялись: кто хозяйки мастерской, кто десятника, кто директора, кто полиции; муж боялся жены, жена — мужа. А кто боялся, что скажет приятель. Были и дети, которые боя-

лись родителей и преподавателей. Таких детей, заразившихся пороком взрослых — страхом, он всегда презирал. Но когда брат Эмми свистнул три раза вместо двух, у него самого душа ушла в пятки от страха.

И страх все рос, принимая чудовищные размеры. Сперва ему казалось, что в школе он вне опасности, точно так же как взрослые, когда теряют равновесие, то пугаются, то успокаиваются без всяких причин. А теперь он считал уже возможным, что полиция ворвется в класс; он боялся, что его схватят в воротах школы, и прошмыгнул боковым ходом через двор. Он ни за что не пошел бы домой, если бы не налетел на собственную мать. На этой улице была дешевая лавка, куда она ходила за провизией. Она велела ему нести кошелку. Он боялся, что полицейский ждет его возле дома, но все-таки около матери было спокойнее. Дома, на лестнице, он натерпелся страха на каждой ступеньке. Однако все сошло гладко.

С течением времени мать стала замечать, что он по целым дням молча слоняется по квартире и старается держаться поближе к ней. Раньше ее огорчали его загадочные прогулки, а теперь она начала беспокоиться, почему он сидит дома,— верно, боится чего-то. Однажды ночью она встала с постели и пошла в комнату, где он спал с братом. Он лежал один на широкой кровати, брата еще не было дома. Она села возле него. Ее не удивило, что он не спит. Она знала: ему что-то не дает покоя.

— Сейчас нас никто не слышит,— начала она.— Скажи мне, что тебе покоя не дает?

— Мне? Откуда ты взяла? — ответил Ганс.

— Ну, тогда ничего,— заметила она.— А то мне казалось, ты чего-то боишься, и я думала, не могу ли я как-нибудь помочь тебе.

— Чего мне бояться? — попробовал он было возразить.

Но так как Мария продолжала сидеть на кровати, правда выскользнула у него, как мышь из норы.

— Мне все полиция представляется.

Мария испугалась этого слова. Самой ей полиция ни разу не причинила зла. Трибель, тот, может быть, затевал что-нибудь против государственной власти. И Мальке, которая, случалось, таскала на рынке то, что плохо лежит, тоже имела причины бояться. А у них в семье этого не водилось, никто не делал ничего недозволенного. Франц говорил, что плюет на нынешнюю власть. Ну, так он и изво-

рачивался как умел. Слово «полиция» испугало ее потому, что в ней глубоко засел страх перед произволом власти.

— А что полиции от тебя нужно? — спросила она.

Мальчик принялся рассказывать с отчаянием и с облегчением. Мария выслушала, подумала, потом сказала:

— Если бы Эмми тебя выдала, полиция давно бы уже явилась сюда.

— Она не такая, она не выдаст,— живо возразил Ганс, как будто и не боялся ни минуты. Он вдруг почувствовал, что есть что-то поважнее побоев и попреков.

— Зачем ты пошел с ними? — спросила Мария.— Не могу же я постоянно быть возле тебя, никак не могу. Только совесть твоя всегда с тобой. Ей не надо готовить на вас всех, чинить и штопать, не надо зарабатывать деньги. У нее нет другого дела, как постоянно смотреть за тобой. Даже когда ты далеко от дома и путаешься со всякими шалопаями, которые только и думают, как бы обмануть тебя, и даже когда ты один-одинешенек. Она еще меньше, чем Эмми, ей нипочем полиция, она пройдет через любые преграды, прошмыгнет в замочную скважину и всегда доберется до тебя, и всегда скажет тебе правду. На то она и существует.

— Мария! — крикнул Гешке.

— А теперь спи, теперь уже ничего не может быть,— сказала она перед уходом.

Оставшись один, Ганс оперся на локоть. Вон она уже тут как тут, сидит в ногах постели: она, совесть, совсем маленькая, говорила мама, еще меньше, чем Эмми. Оказалось, что она — крошечный карлик, черный, как ночь; в предрассветных сумерках карлик посветлел, стал серым, потом улетучился совсем.

IV

Гешке успокаивался, как только Мария ложилась около него. Он не спал и лежал с открытыми глазами. Минутами в доме стояла такая тишина, что было слышно, как храпит наверху Шванке. Какой Шванке крепкий старик! Сам он, Гешке, стал совсем слаб от топтания по кухне, от выстаивания в очередях на бирже труда, от беготни за случайной работой: где снег разгрести, где мусор подмести,— он так ослаб, что даже не мог заснуть. К тому же сейчас

в комнате, выходящей во двор, завизжит краутеровский младенец.

Трибель перестал заходить к нему после того, как он в ярости вытолкал его вон из кухни. Прошлым летом они случайно встретились и опять жестоко сцепились друг с другом... Вот краутеровский младенец уже и завизжал. А сейчас Мюллер будет изо всех сил колотить в пол, чтобы ему дали спать спокойно, как будто бедняжка фрау Краутер может унять визг.

Последняя ссора с Трибелем произошла после ночи, которую Гешке, как и большинство ночей, провел без сна. Но та бессонная ночь прошла иначе, чем остальные; он тихонько встал, чтобы никого не разбудить. На кухне он не спеша попробовал, хватит ли у него силы одному сдвинуть кухонный шкаф. Вдруг его вызовут с утра и ему сразу понадобится винтовка. Правительство земли Пруссия было отстранено самым позорным образом. Министра, члена его партии, точно какого-то проходимца, выставили из служебного кабинета.

Шкаф был набит всякой всячиной, а Гешке был уже не первой молодости. Он не считал себя старым, отнюдь нет, но и не таким крепким, как в те времена, когда ему ничего не стоило сдвинуть шкаф.

Вот уже наверху стучат и Мюллер ругается, а Краутер ругается внизу. А младенец от этого визжит еще сильнее.

В ту ночь он один бесшумно сдвинул шкаф. Но на следующее утро никто не пришел. Отставленный министр не обратился за помощью к Гешке: он обратился в Верховный суд. А Гешке все ждал и ждал и наконец решил, что теперь, пожалуй, лучше будет бросить винтовку в Шпрее. Он сразу до того ослабел и одряхлел, что ему трудно было совок поднять, а уж о кухонном шкафе и о винтовке даже говорить нечего, и, когда он проходил мимо Трибеля, тот крикнул ему с порога:

— Что ты так пыхтишь? Трудно подниматься по лестнице? Или горюешь о своем министре? Ничего не поделаешь, он уступил силе — это его собственные слова.

Гешке вскипел:

— Вы давно старались его спихнуть, вам на руку то, что случилось.

Краутеровский младенец заснул. Гешке слышал, как на улице горланят пьяные — это, верно, Хольм, сосед тети Эмилии, он в пьяном виде всегда орет во всю глотку.

«Вам на руку то, что случилось». Трибель ответил совершенно спокойно, хотя его большие уши так и запылали:

— Что было хорошо вчера, то не годится сегодня. Эта сволочь сбрасывает одного, а завтра на его место посадит другого, похуже.

Но Гешке было уже не до словопрений, он весь дрожал от бешенства и отчаяния. Стоя на лестничной площадке, он начал яростно браниться. Он бранился тем яростней, чем сильнее чувствовал, что сейчас гибнет самое ценное и важное в жизни.

Трибель тоже вышел из себя.

— Кто никого не слушает, того не вразумишь,— крикнул он.

— Я его больше знать не желаю,— сказал потом Гешке жене.

С того раза они даже на лестнице больше не разговаривали.

Гешке услышал свисток поезда городской железной дороги, верно последнего, первый это не мог быть. По крайней мере он не заметил промежутка.

Он сам надеялся, что нацистов сотрут в порошок, когда они устроили демонстрацию на Бюловплац перед Домом Либкнехта. Но они как пришли черно-коричневой сворой, так черно-коричневой сворой и ушли. Он отлично понимал, что нелепо было бы стрелять в них. Тогда вся толпа вокруг была бы мигом расстреляна. В глубине души он ждал чего-то, что сам считал нелепым ребячеством и всю свою жизнь презирал. Раньше он за три квартала обходил Дом Либкнехта. Но от нацистской вылазки на Бюловплац ему стало больно. Как будто сердцем Берлина, непризнанным и гонимым сердцем, был именно этот дом, а вовсе не имперская канцелярия, куда Гитлер не замедлил въехать. Так всегда бывает: где находится сердце, узнаешь, только когда оно заболит.

Теперь минутами наступала такая тишина, словно в большом городе все замирало. Все, но не его мысли!

Он еще раз столкнулся с Трибелем, но не у себя на лестнице, а, как это часто бывает, на другом конце города. Он примкнул к демонстрации, ему никто этого не приказывал и никто не запрещал. Погода стояла холодная, одет он был плохо и коченел при каждой остановке. Все равно он пошел бы, если бы даже кругом свистели пули. Свобода

умерла, в этом он уже не сомневался, и оживить ее не было возможности. Он даже толком не мог бы сказать, в чем она заключалась: жизнь его в последние годы была очень несладка, а раньше, с самой войны, и того горше, тоскливее, изнурительнее. Но только в ней случались проблески радости, время от времени появлялась надежда на перемену к лучшему. Теперь с этим кончено. Надежда кое-кого из приятелей, что Гитлер сам себя угробит, дорвавшись до власти,— такого рода надежда его не утешала. Если в свое время производственный совет по своей мягкотелости уступал предпринимателям или отменял стачку, заработная плата после этого никогда сама собой не поднималась. Тем, кто сидит наверху, только палец протяни, они сразу заграбастают всю руку.

Поезд, оказывается, был не последним, а первым, вот пошел и следующий. Снова послышались свистки, стук колес и даже скрип ступенек на лестнице, а потом шаги по мостовой.

Ему было очень не по себе, когда четыре года назад Цергибель, тогда полицей-президент, член его же партии, во время майской демонстрации стрелял в красные знамена. По-видимому, Трибель оказался прав — это было начало конца. И позднее, когда его партия с готовностью подала голоса за Гинденбурга, Трибель тоже был прав, говоря, что кончится это Гитлером. Сперва Гинденбург знать не желал Гитлера, а в конце концов сам же пригрел его. Пожалуй, ему, Гешке, следовало пойти за Трибелем и порвать со своей братией. Почему он не пошел за Трибелем? Потому что не верил ему до конца, в чем-то, пожалуй, верил, но не во всем. В великий переворот, немедленный и решительный, он не верил, своим собственным руководителям он тоже не верил до конца — он не верил ни тем, ни другим. Не было никого, кто бы увлек его за собой, кому бы он доверился всецело. В этом и была вся его беда: он больше не верил ни во что.

Перекрывая все шумы просыпающегося города, должно быть, у ночного сторожа из большого гаража прокукарекал первый петух.

В этом и была вся его беда: он больше не верил ни во что.

Много надо человеку сил, чтобы делать то, во что веришь; много сил надо, чтобы медленно вести людей вперед, отступая, оступаясь, но вперед... И еще больше — чтобы

всё, весь свой опыт, всю свою жизнь без оглядки сразу отдать революции. Прежде всего нужны силы, чтобы делать то, во что веришь. Но больше всего нужно сил, чтобы верить во что-нибудь по-настоящему. У него же совсем не осталось сил. Он не верил ни во что, о чем бы ни подумал.

Издалека, от самой площади, послышалось чье-то шарканье и фырканье: это, должно быть, Больцер с четвертого этажа. Этот тащится последним из кабака, когда другие уже спешат на работу. Так уж повелось.

Свобода умерла. Но сидеть у себя на кухне, когда всем народом хоронили свободу, он был не в состоянии. Такой мощной демонстрации не бывало уже много лет. Он остановился где-то на перекрестке. В ларьке давали горячий кофе. Он глотал, еле шевеля замерзшими скулами, потом положил на прилавок монету.

— Кофе бесплатный.— Посиневшая от холода женщина в ларьке приволокла котелок с кофе из своей собственной кухни.

Он бросил монету в кружку МОПР'а в первый и последний раз в своей жизни. У этого ларька он столкнулся с Трибелем.

На лестнице раздался шум, сейчас начнутся дикий грохот, драка, плач, стук сверху и снизу, потому что Больцер обычно возвращался домой в лоск пьяный. Вот и в самом деле начался грохот, за ним плач. Краутеровский младенец, растревоженный шумом, завизжал с новой силой. И опять послышался стук. Счастливцы те, кого можно разбудить, потому что они спят настоящим, крепким сном.

У этого ларька он столкнулся с Трибелем. У обоих на языке вертелись слова, не то очень добрые, не то очень злые. Потому ни тот, ни другой ничего не сказали, только скулы у обоих судорожно дернулись, возможно, просто от холода. Они не подали друг другу руки, они кивнули друг другу в знак примирения или просто на прощание. Он поспешил встать четвертым в свой ряд, а Трибель — в свой; потом в доме они больше не встречались.

Ребенок успокоился. Скоро у Лерке зазвонит будильник; у самого Лерке до сих пор есть работа. На углу остановился грузовик; Гешке услышал, что с него спрыгивают люди; он услышал тяжелые шаги. Шаги остановились перед их домом; входная дверь шумно распахнулась. Мария

внезапно поднялась на постели. Шаги громыхали по лестнице; похоже, что полиция. Нет, эти были еще похлеще полиции — хлопали дверьми, барабанили кулаками, стучали сапогами. Остановились этажом ниже, ну да, конечно, у Трибеля. Одним ударом вышибли дверь. Послышался треск разбитых, разломанных вещей, женский крик.

Изо всех дверей на лестницу выбежали люди. Мария вскочила с постели.

Стоя на пороге кухни, Гешке видел, как штурмовики гнали вниз Трибеля. Один из штурмовиков выкручивал руки жене Трибеля; она вцепилась зубами ему в мундир, а он крутил ей руки, пока у нее не подогнулись колени и она не упала. Машина штурмовиков тронулась. Изо всех окон высовывались люди. Люди толпились на лестнице. Что случилось? Эти гады в коричневых рубахах выуживают из домов кого им вздумается и попросту пихают в свой грузовик, да еще командуют и держат себя как главное начальство. У них-де полицейские полномочия. А еще на прошлой неделе им бы на этой улице головы проломили, вздумай они ворваться к кому-нибудь. Откуда у них вдруг взялись такие права? Почему им побоялись пробить головы? Почему весь дом не бросился на помощь Трибелю? Мало ли бывало стычек, и никого не пугали дубинки и револьверы полицейских.

«Что же случилось?» — спрашивали друг у друга жильцы и протискивались на кухню к тем, у кого были открыты двери.

— Рейхстаг горит. Говорят, его подожгли коммунисты.

— На что им нужен рейхстаг?

— Неужели коричневая сволочь не могла придумать чего-нибудь поумнее?

Выполз Мельцер, стуча зубами от холода; жена накинула на него пальто. Он сказал:

— Я все время ждал, что стрясется беда. Под знаком Сатурна непременно должно что-нибудь стрястись.

— Заткнись ты со своими звездами!

Мельцерша поспешила воспользоваться удобным случаем и сунуть нос в чужую кухню. Давно уже прошли те времена, когда она могла сколько ее душе угодно загляды-вать на кухню Гешке. «И чего ради,— думала она,— в такое тяжелое время цеплять на кухонные окна белые занавесочки?»

— Я еще вчера говорил, когда Трибель выходил из

дому, что под этим знаком коммунистам ничего не следует предпринимать.

— Да ведь подожгли не коммунисты, дурень ты этакий.

Но Мельцер стоял на своем:

— Меня высмеивали, когда я предостерегал от неблагоприятного положения звезд. Пускай теперь на себя пеняют.

V

Ливен остановил свою миниатюрную машину у цветочного магазина. Он любил сам себе делать рождественские подарки. В нынешнем году банк так щедро выдал наградные, что можно было внести задаток за эту машину марки «ханомаг». Он быстрым взглядом окинул цветы и остановил свой выбор на простом букете фиалок, обернутом в серебряную бумагу. Те несколько шагов, которые осталось пройти до вращающихся дверей отеля «Адлон», он небрежно помахивал букетом, держа его двумя пальцами.

Его позабавила надпись на огромном плакате: «Ласковое тепло окутывает посетителя, приходящего в отель «Адлон» к пятичасовому чаю». Из-за толстых стекол музыка едва была слышна снаружи. Тепло, окутавшее его при входе, действительно ласкало, и так же ласкали многочисленные взгляды за многочисленными столиками — незаметные беглые взгляды людей, желающих показать, будто их ничто уже не может поразить, и меньше всего элегантный молодой человек в черном эсэсовском мундире, небрежно помахивающий букетом фиалок, обернутым в серебряную бумагу. Ливен остановился посреди холла. Он понимал, что все втайне заинтересованы, кому он назначил свидание. Любопытство это было удовлетворено, когда с кресла в углу поднялась девушка. Английский костюм от первоклассного портного как раз в меру подчеркивал ее фигуру. Взгляды из-за столиков установили, что на ней нет никаких драгоценностей, кроме серег, зато они при строгом жакете, открытой шее и гладко зачесанных назад волосах очень бросались в глаза. Эти же серьги, унаследованные от матери, были на ней и в доме брата.

Они сели за столик и заказали чай с ромом; упорные взгляды посетителей говорили им, что они превосходная пара; музыка и здесь, в зале, звучала приглушенно и создавала соответствующее настроение. Элизабет Ливен сра-

зу рассказала, что она по-прежнему служит в санатории на Бюлерхойе, директор пригласил ее вместе провести конец недели в Берлине и побывать в театрах. Вчера они видели «Императрицу» в «Фольксбюне».

Ливен искоса поглядел на кузину — она показалась ему гораздо соблазнительнее, чем в доме у брата.

— Не понимаю, зачем смотреть эту вещь,— сказал он,— ведь музыку к ней написал еврей.

Элизабет громко расхохоталась.

— Черный мундир, по-видимому, обязывает тебя к определенным убеждениям. Но с этим можно мириться: мундир тебе очень к лицу. Кстати, не волнуйся, ваш фюрер сидел наискось от меня, так что я не посрамила нашего рода.

Он посмотрел на нее, скосив глаза и не поворачивая головы. Она ответила ему таким же косым взглядом. Он засмеялся и сказал:

— Нет, правда, Элизабет, мы похожи друг на друга. У нас одни и те же глаза, и смешит нас одно и то же. Нам одинаково наплевать на многое.

— Что из этого следует — подходим мы или не подходим друг к другу?

— Сегодня вечером мы, по-моему, созданы друг для друга.

Он встал, она оперлась на его руку. Явно гордясь друг другом, они медленно по диагонали прошли сквозь глазеющую толпу. Он усадил ее в «ханомаг». Она уткнулась лицом в его плечо. Ночной город был опушен инеем, сверкавшим на деревьях Тиргартена, на обрамлении витрин, на проводах и фонарных столбах. Они остановились на Курфюрстендамм, где жил теперь Ливен.

— Мы пойдем ко мне,— пояснил он.— С семи я должен быть наготове на случай тревоги.

Лестница была устлана коврами, на площадках в стены вделаны зеркала. Ливен сначала отпер входную дверь, а затем дверь в свою огромную, почти роскошную комнату, которая так же, как лестница, была в коврах и зеркалах. У него был свой прямой телефон. Элизабет оглядела все: фотоснимки незнакомых людей, икону, которую он всегда возил с собой, небольшую картину кисти Нольде, стоившую ему двухмесячного жалованья, портрет Гитлера — подарок его бывшей хозяйки, который он все-таки водрузил на стену в противовес язвительным расспросам приятелей по по-

воду картины Нольде. Он пододвинул кресло к батарее, Элизабет все еще держала в руках его букет фиалок.

— Сколько ни сиди у горячей батареи, согреться можно только у печки,— заметила она.— Помнишь, как было дома, в имении?

Он провел рукой по ее волосам и при этом сладострастно зажмурился, как будто гладил изящный и драгоценный сосуд из старинного, слегка отполированного металла.

— Как? Все еще тоска по родине?

— Только тоска по родине, и больше ничего. Подумай, шестнадцать лет, как мы оттуда уехали. А мне все напоминает о доме — выпавший снег, какой-нибудь случайный запах. Ты думаешь, мы вернемся туда?

— Непременно,— ответил он и даже не улыбнулся при этом.— Обещаю тебе, что ты вернешься домой.

Она рассмеялась.

— Ты говоришь это так серьезно, что приходится верить.

Она вскочила и ни с того ни с сего рванула балконную дверь. Оба выглянули вниз, на улицу; несмотря на освещенные дома и на проносящиеся мимо огни, улица казалась пустынной под усеянным звездами небом.

— Почему ты должен сидеть дома? — спросила она.

— Так надо. Если меня вызовут, придется съездить в город.

— Какой ты стал усердный служака! Видно, что ты принимаешь свои обязанности всерьез.

— Совершенно верно, и стоит того.

— Не понимаю! По-моему, ничего не стоит принимать всерьез.

— Стоит, когда знаешь, что́ от этого зависит.

— А что же от этого зависит, мой милый?

— Вещи немаловажные: от этого зависит, вернешься ли ты к себе в имение или будешь служить в своем дурацком санатории, смогу ли я приглашать тебя пить чай в отель «Адлон» или в лучшем случае в кафе «Автомат». Придется ли мне быть агентом в фирме световой рекламы или же носить этот мундир.

— Как бы то ни было, я надеялась провести вечер веселее, иначе ты бы меня не заманил к себе. Ты для меня слишком солиден и рассудителен.

— Чем же развлечь тебя? Уехать мне нельзя, я должен ждать вызова. Хочешь, заведу патефон?

— А у тебя есть негритянские пластинки?

— Что ты! Конечно, нет. Это для меня теперь исключено. Даже для твоего удовольствия я не могу внедрять в немецкую нацию чужеродный элемент.

Элизабет засмеялась.

— Ой-ой-ой! Я, правда, не раз отмечала сегодня, что тебе очень к лицу форма. Однако боюсь, не слишком ли тяжелую обузу ты взвалил на себя.

— Ведь я же тебе объяснял, почему имеет смысл поддакивать даже такой мещанской белиберде. Хочешь, радио включу?

— Скучно! Господи, почему у нас в имении никогда не бывало скучно? Даже одной в лесу не скучно. А здесь, на Курфюрстендамм, где столько огней и автобусов, такая скука.

— Может быть, выпьем вдвоем?

— Скука.

— Ну, тогда придумай сама.

Она обхватила руками его шею. Он постоял минутку, свесив руки, как будто в рассеянности, и подождал, какая еще блажь придет ей на ум. Больше он ничего не сказал. И больше вообще ни одного звука не раздалось в доме, ни шума шагов, ни звона бокалов, ни лишних слов. Только когда мимо проезжал автобус, дом содрогался весь до основания. Спустя некоторое время она заговорила:

— Можно подумать, что ты на войне и прилег отдохнуть по-походному на краю проезжей дороги.

Он отодвинулся от нее, закурил сигарету. Он успел выкурить пять-шесть сигарет, прежде чем зазвонил телефон.

Ливен вскочил, крикнул в трубку: «Слушаю!», быстро привел себя в порядок, надел портупею, висевшую на спинке стула рядом с аккуратно сложенным английским костюмом.

— Этого вызова я и ждал. Мне нужно немедленно ехать в штаб.

— А что случилось? — сонным голосом спросила Элизабет.

— На месте узнаю. Верно, придется что-нибудь захватывать или прочесывать какой-нибудь квартал.

— Это тебя забавляет?

— Забавляет! Господи! Это моя обязанность. Иногда это бывает прескучно, а иногда доставляет большое на-

слаждение, например когда красные что-нибудь затеют и яростно сопротивляются. Большое наслаждение прижать их. Или же еще заполучить в руки этакого махрового, как следует взять его в работу и обломать в конце концов — как же не наслаждение? До свидания, Элизабет. Не знаю, когда я вернусь. Ты к тому времени, должно быть, уедешь со своим директором.

— Мы уедем завтра. Ах да, уже больше двенадцати, можно считать, что наступил новый день.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

I

Ливен прервал ужин и распрощался с приятелями. Они ужинали в отдельном кабинете, чтобы покутить без помех. Когда он шел через главный зал ресторана, навстречу ему все руки вытягивались в гитлеровском приветствии — так порыв ветра сгибает ветки кустарника в одном направлении. Хозяин семенил впереди, чтобы распахнуть перед ним дверь. Ливен так резко захлопнул ее, что едва не прищемил ретиво вздернутую руку хозяина.

Он направился в привокзальное кафе, где его ждала Элизабет.

— У нас два часа времени,— сказала она.— С ночным поездом я уезжаю в Дрезден. Директор вышлет машину, чтобы я сама доставила в санаторий больных, которые должны прибыть с тем же поездом.

Костюм Элизабет служил доказательством того, что портной не зря получает бо́льшую часть ее месячного жалованья: ее узкие бедра, маленькая грудь, широкие плечи были подчеркнуты как нельзя лучше. В ушах сверкали все те же серьги покойной матери.

— Когда ты наконец отделаешься от пагубного предрассудка, будто тебе необходимо при всех обстоятельствах зарабатывать себе на жизнь? — спросил он.

— Что делать, милый мой Эрнст, я не могу жить в доме у Отто,— ответила Элизабет.— Мне там нестерпимо скучно. Отто усвоил себе от скуки отвратительную привычку: он часами размышляет на самые разнообразные темы, и что хуже всего — вслух. За столом волей-неволей приходится его слушать и вдобавок высказывать свое мнение. А теперь, когда без конца происходит что-нибудь новое, он не дает ни минуты покоя. В каждый мой приезд

он набрасывается на меня с требованием присоединиться к его очередному увлечению и поражается, что самого главного я даже не заметила.

— А что, на его взгляд, самое главное, чего ты не заметила? — полюбопытствовал Ливен.

— Они с гамбургским учителем в восторге от этого пресловутого немецкого социализма, оттого что теперь больше не нужно профсоюзов и партий и что все немцы справляли Первое мая, праздник Немецкого труда, под знаменем со свастикой. Отто жаждет меня просветить. Он говорит,— добавила она, и в глазах ее заискрился смех,— что хочет высечь искру из моей бесчувственной души. Я бы сама не прочь увидеть эту искру. Он-то, во всяком случае, ничего не высекает, а только говорит без умолку. Впрочем, я вовсе не для того приехала, чтобы жаловаться на брата. Ведь мне страшно повезло — мой собственный кузен бывает на этом идиотском процессе! Что там делается? Радио точно онемело. Кое-что удается иногда выудить из газет, которые выписывают наши больные иностранцы.

— Все это вышло гораздо бестолковей и неорганизованней, чем я даже предполагал.

— Бестолковей? Каким образом? Этот Димитров как будто толковый парень и держит себя молодцом.

— Да я не о нем говорю, я говорю о том, как ведется процесс. И мантии на судьях допотопные, и процесс они ведут по допотопным шаблонам. Им бы следовало раньше приглядеться к тому, кого они обвиняют. Они думали, очень просто взвалить на человека подобное обвинение, раз он был связан с Коминтерном. А там сидят люди не глупее нас. Врага нельзя недооценивать. Своими дерзкими ответами на суде этот субъект раззадорил даже таких людей, которые давно уже утихомирились. Я бы не удивился, если бы у нас теперь в самом деле стали поджигать рейхстаги. По рукам уже ходят листовки.

— А что он говорит?

— Когда Геринг кричит на него, он говорит: «Вы, очевидно, боитесь меня?» А когда Геринг орет, как он смеет дерзить, этакий дикарь из страны дикарей, он отвечает, что его страна не дикая, а дикари и варвары — фашисты в любой стране. Ответы, которые он преподносит,— готовые тексты для листовок. К счастью, люди в большинстве дураки и до них это не доходит.

Элизабет засмеялась.

— Смейся, смейся! — воскликнул Ливен.— Хуже, что тридцать миллионов человек смеются вместе с тобой. Как полиция ни усердствовала, все ее старания полетели к чертям.

— Да, видно, что он молодчина,— заметила Элизабет,— я бы не прочь побывать на процессе.

— Тебя это развлекает, а нам не до развлечений. Если по германскому праву Димитрову нечего делать на скамье подсудимых, то нам такого права не нужно. Прав либо *он,* либо мы. И если окажется, что прав он, у тебя еще и серьги вырвут из ушей. А мне придется напялить потертый пиджачок. Я тебе уже не раз объяснял это...

— Ах, что мне делать, вечно я смеюсь невпопад, а вы с Отто сердитесь на меня.

— Я вовсе не стремлюсь убедить тебя, можешь оставаться равнодушной ко всему на свете, но пойми одно: если ты согласна никогда не возвращаться домой в имение и до конца дней работать из-за куска хлеба, тогда веселись на здоровье по поводу Димитрова. Пойми это раз и навсегда.

— Хорошо, постараюсь понять,— сказала Элизабет,— и перестану смеяться и веселиться.

Во время последних его слов она не только слушала, но очень внимательно смотрела на него. Несколько раз она порывалась что-то спросить, однако все вопросы были безоговорочно разрешены, прежде чем она успела их задать, и они отпали сами собой. И все же что-то еще было ей неясно и неприятно. Она совершенно не видела для этого оснований, так как все доводы, приведенные Ливеном, были для нее вполне убедительны, но она тем пристальнее вглядывалась в его лицо. Знакомое и привычное лицо: зубы ровные и острые, только чересчур мелкие, точно мышиные. «Вот оно, то единственное, что мне в нем мешает»,— решила она.

Когда Ливен в этот вечер вернулся к себе на квартиру на Курфюрстендамм, его ожидало распоряжение немедленно явиться к Зиберту.

В здании гестапо в свое время помещалась хозяйственная часть одного из пехотных полков, затем какое-то благотворительное общество, затем отделение Красного Креста по борьбе с туберкулезом, затем столовая для бедных,

затем здание отдали налоговому управлению и, наконец, гестапо.

Ливена уже ждали. Его провели по внутренней лестнице. Как тщательно ее ни мыли, наслаивавшиеся здесь запахи разнообразных учреждений истребить не удалось. Начальник Ливена Зиберт собственной персоной дожидался его в кабинете на третьем этаже. При появлении Ливена он сделал знак своим молодцам, полукругом стоявшим перед ним, и те, сердито буркнув «хайль Гитлер», испарились.

Зиберт сперва предложил Ливену стул, затем сигарету, а сам с важным видом откинулся на спинку кресла. «Такому выскочке, как Зиберт, ужасно нравится самый процесс доклада,— подумал Ливен,— ему кажется, что он занят невесть каким полезным делом».

— Я дожидался тебя,— начал Зиберт,— нам удалось захватить некоего Лемле. Это и есть тот связной, которого мы ищем уже давно. Он лежал в больнице в Вестэнде. Ему там, видишь ли, делали операцию аппендицита. Мы арестовали врача. Донесение было получено от сестры милосердия, ей показалось подозрительным, что врач и больной при ее появлении сразу прерывали разговор. Уж три-четыре нужных нам адреса этот Лемле наверняка знает, а то, пожалуй, и все. Его немедленно доставили сюда. Только пока я подоспел, у него, как на грех, лопнул шов на животе. Я сейчас же вытребовал нашего врача, и тот заново перевязал его. Мы ждали тебя, чтобы ты попытал с ним счастья. С некоторых пор ты только и знаешь, что критиковать нас. Мы, мол, работаем по-дилетантски, нам недостает... забыл... как ее?.. Да, психологии. Разве упомнишь все иностранные слова! Вот посмотрим, как ты подъедешь к такой прожженной бестии. Попробуй выжать из него что-нибудь, пока он не улизнул от нас на тот свет,— сейчас он еще способен давать показания.

Они пошли к арестованному. При их появлении голоса смолкли, защелкали каблуки. Врач был пожилой, худощавый человек в эсэсовском мундире, с гладко зачесанными, почти седыми волосами. В комнате окнами во двор пахло, как в больничной палате. Больной лежал на скамье, рубаха у него была поднята, живот свежезабинтован. Эсэсовские молодчики выстроились поодаль вдоль стены, двое привалились друг к другу, и все глазели на происходящее у скамьи. Врач присел возле больного, смочил клочок ваты нашатырным спиртом и поднес к его носу.

— Ливен, прошу! — произнес Зиберт.

Врач уступил место.

— Зиберт, пожалуйста, вышли вон всю компанию,— сказал Ливен.

Человек на скамье вздрогнул, когда Зиберт рявкнул:

— Освободить помещение!

Ливен поморщился; он бережно опустил рубашку на перевязанный живот. Подняв голову, он увидел, что глаза лежащего устремлены на него. Глаза были такие темно-синие, что казались почти черными, и в них был тот незамутненный тенью земных забот блеск, какой бывает только в глазах умирающих.

— Я только что приехал,— почти шепотом начал Ливен,— и сейчас же помчался сюда, узнав, что вы арестованы. Я опоздал и не успел предотвратить то, что с вами сделали. Но самое страшное я еще могу предотвратить.

Он не знал, понимает ли его арестованный, и невольно опустил голову под нестерпимым блеском его глаз.

— Я сделаю для вас все, что в моей власти,— тем же шепотом продолжал он.— Я вызову машину, и вы сможете сейчас же уехать отсюда. Такие люди, как вы, внушают мне глубочайшее уважение.

Человек чуть пошевелил губами; врач протянул Ливену мокрую салфетку; Ливен поспешно вытер кровь с губ лежащего человека и положил мокрую салфетку ему на лоб. Человек прищурился, блеск его глаз померк.

Должно быть, он силился понять, что это за субъект в черном мундире, с вкрадчивым голосом, сидит перед ним.

— Почти все, кого вы стараетесь спасти, уже погибли. Вы не хотите выдавать товарищей, это мне понятно, это я одобряю и уважаю.

Зиберт, внимательно слушавший, протянул Ливену листок бумаги.

Больной следил за каждым его движением зорким взглядом уже не блестевших глаз.

— Герберта Мюллера вы не знаете? Отлично, кстати, он умер. Итак, вы его не знали — отлично, говорю я. К тому же, как только вы сами умрете, совершенно не важно будет, знали вы его или нет. Когда я уйду из этой комнаты, у меня уже не будет возможности вам помочь. Что тогда? Вы, несомненно, сами не раз уже задавали себе вопрос: что тогда? Ваша стойкость перестанет тогда давать вам удовлетворение. А Беца, Антона Беца вы тоже не знаете? Зато

он сейчас наслаждается жизнью. У него были денежки, и он бежал в Париж. Он попивает кофе на Монпарнасе и посмеивается. Вы же, спасая его, лежите здесь. Его обязанности перешли к Бергеру, и тот...

Глаза арестованного были невозмутимы, Ливен ничего в них не увидел, кроме отражения своего черного мундира. Он смочил ему салфеткой виски, отер капли крови с уголков губ.

Зиберт распахнул дверь и крикнул на лестницу:

— Эй, люди!

— Мне вас жаль, Лемле, вы так верили своей партии. А где она сейчас? Какая вам от нее помощь? Что-то я не вижу, чтобы за вами прислали специальный самолет, вами явно не так дорожат, как Димитровым...

Арестованный весь встрепенулся. Лицо его просияло.

— Он уехал? — вскричал он. И тут же рухнул обратно на скамью. Изо рта у него потекла струйка крови.

Ливен был ужасно зол, он не мог себе простить, что по его оплошности умирающий унесет с собой в могилу такое утешение!

Топот и гам уже наполнили комнату. Ливен вскочил. Глаза лежащего человека засверкали, когда он услышал мощные взмахи крыльев приближающейся смерти. Последняя весть оставила на его лице отблеск радости.

II

В один дождливый весенний день, когда слишком сыро было сидеть в саду, семейство Мальцанов, тетя Амалия, Ленора, ее сын и несколько гостей собрались в столовой. Молодые дамы — Ильза и Ленора — разливали чай; фрау фон Мальцан была горда, что хвалят печенье собственного ее изобретения из поджаренных овсяных хлопьев, рецепт остался у нее со времен войны. Пенсии мужа не хватало на более пышное угощение. На ее приемах вошло в обычай читать вслух письма Венцлова к жене, дочке Мальцанов. Два гостя помоложе, прежние товарищи Венцлова по полку, были членами союза германских офицеров, один из них служил теперь в банке, другой, Штахвиц, был лучшим другом Венцлова с ганноверской поры и даже раньше.

В каждый свой отпуск он непременно навещал тетю Амалию и непостижимым образом с самого детства поль-

зовался ее расположением, несмотря на всяческие проказы и сомнительные выходки. На двух отцах семейств были Железные кресты. Ни черных, ни коричневых рубашек в комнате не было видно, единственная свастика красовалась на белой рубашке Хельмута, члена гитлерюгенда. Мальчик радовался, когда майор Мальцан особо приглашал его. Иначе тетя Амалия, наверно, запретила бы ему присутствовать при чтении этих писем. Он смотрел на учение в Потсдаме как на неизбежное зло в промежутке между длительными каникулами у своего опекуна в Эльтвиле. Там не допускали, как у них дома, двусмысленных шуток и насмешливых улыбочек при упоминании о фюрере. Дядюшка Клемм объяснил ему, что в этих шуточках прорывается скрытая обида отставных офицеров. Они не могут простить Гитлеру запрещение «Стального шлема». Для них общегерманский котел существует лишь до тех пор, пока они могут варить в нем свои прусские сосиски. Презрительные замечания тетки насчет того, что эсэсовские проходимцы осмеливаются равнять себя с прусскими офицерами, эльтвильский дядюшка называл бабьей болтовней. Хельмут постоянно ждал, что скажет мать. При всей своей развязности он все-таки не осмеливался учинить ей допрос. А она становилась тем несловоохотливее, чем он был говорливее после возвращения от дяди. Она подолгу смотрела на сына непонятным ему, но проникавшим до самого его сердца взглядом. В этом взгляде были надежда, печаль и тревога, что-то приковывавшее и смущавшее его — он не знал, что это была любовь.

Хорошо его эльтвильским двоюродным братьям, что у них такой отец — он встал на сторону Гитлера, когда над фюрером еще открыто потешались. Двоюродные братья намекали Хельмуту, что между его родителями произошло что-то неладное, и показали ему в Висбадене красивую даму, которая с улыбкой кивнула им и очень пристально посмотрела на него. Он смутно припомнил эту даму, а перед ее спутником, эсэсовцем в больших чинах, все три мальчика вытянулись в струнку. «Она чуть было не стала твоей мамой»,— заметил старший кузен.

Хельмут думал обо всем этом, плетя косицы из бахромы мальцановской скатерти — привычка, которая строго порицалась. Он не знал, что Мальцан специально приглашает его на чай из-за того, что у него одного на рукаве свастика.

Мальцан перетрусил, потому что начали поговаривать, будто сборища у него в доме нарочито лишены всякой национал-социалистской окраски. Особенно стеснять себя перед подростком не было надобности, а свастика на его худой, мальчишеской руке — как-никак гарантия.

Старик Мальцан сам прочитал вслух первое письмо, которое тетя Амалия и ее племянница Ленора слушали уже в третий раз. Тетя Амалия прищуренными глазами оглядела гостей и с удовлетворением отметила всеобщее любопытство.

«Ты и представить себе не можешь, дорогая тетя Амалия, что мы почувствовали, получив здесь, на Дальнем Востоке, последние известия с родины. Мне кажется, что все опасения и сомнения, возникавшие в связи с приходом Гитлера к власти, и даже мои собственные колебания должны теперь окончательно отпасть. Нам, немцам, теперь ясно указан путь. Мы стоим перед свершившимся фактом, и всех нас успокоил и всем нам показался величайшим событием в истории нашего отечества тот факт, что Гинденбург и Гитлер встретились и протянули друг другу руку у гробницы Фридриха Великого. Я уверен, что в этот миг именно мы с тобой, тетя, были взволнованы одними и теми же чувствами.

Я возблагодарил господа, что сын мой увидел свет в ту эпоху, когда Германия, позабыв все наши пресловутые распри, вступает в новое, блистательное будущее».

После чтения письма мальцановская квартира наполнилась теми шумами, какие возникают, когда никто не решается выступить,— гости пили чай, откашливались, звякали ложечками, хмыкали.

В словах высокочтимого сына семейства как бы чувствовался мягкий укор за те замечания, которые так и сыпались по поводу вышеупомянутой встречи в этой же самой комнате во время открытия рейхстага в Потсдаме: «Вот хитрая лиса» или же: «Не очень-то весело было фельдмаршалу показываться в компании ефрейтора». Но попутно возникали уже и новые мысли: «Венцлов сам не варится в этом котле, ему издалека, пожалуй, виднее», и еще: «Это, очевидно, произвело благоприятное впечатление за границей» или же: «Может быть, у наших сыновей теперь действительно есть будущее».

— Посмотрим,— произнес вслух старик Мальцан.

Только Хельмут Клемм с наивным восторгом, без вся-

ких задних мыслей смотрел на письмо, словно перед ним был сам автор.

— Что-то не припомню у Фрица привычки благодарить бога,— заметил Штахвиц, за что тетя Амалия наградила его гневным взглядом.

Затем Ильза, дочка Мальцанов, конфузясь, принялась читать второе письмо; она читала с выражением, как школьница, декламирующая в классе стихи.

«Дорогая моя девочка,— при этом она покраснела, а гости ухмыльнулись,— девочкой ты для меня останешься на веки вечные, хотя твой портрет с тремя нашими детьми стоит передо мной на письменном столе. Мне пришлось пережить немало тяжелого. Мой жизненный опыт обогатился еще одним горьким разочарованием. Однажды вечером, когда мы — этот самый китаец Гань Син-ляо, мой сослуживец Боланд и я — сидели и играли в скат, китаец вдруг вышел из комнаты. Мы не обратили на это внимания, а на следующее утро, к величайшему нашему изумлению, выяснилось, что он бежал в машине Шрёдера. Патруль обнаружил машину на дороге, и куда же, ты думаешь, он бежал? Прямехонько на юг, по всем данным, в тот город, где находится командование красных. В предшествующих своих письмах я буквально пел хвалебные гимны этому типу. Я считал, что он исключение среди своих соотечественников, хотя не раз писал вам — словно предчувствовал,— что этой расе доверяться нельзя. Теперь я вижу, насколько право было мое начальство, предостерегая меня от тесного общения с этими людьми, даже когда они одного с нами культурного уровня. Неприятнее всего, что он захватил с собой ряд документов, которые лежали у меня в письменном столе. Этого я никак не ожидал от него: ведь он второй год с виду честно служил нам. По этому факту ты можешь судить, до какой степени скрытны и коварны местные жители и как опасно их коварство в сочетании с долготерпением — тоже чисто азиатской чертой характера. Где бы еще люди могли с такой неправдоподобной, почти что животной невозмутимостью терпеть страшнейшие лишения? У них прямо-таки врожденная способность притворяться невозмутимыми и покорными. И как мог человек его воспитания и образования спутаться с последними отбросами, вместо того чтобы стремиться к общению с нами?»

Дождавшись перерыва, Ленора Клемм поспешно поднялась, чтобы предложить гостям печенье. Она сама лишь

наполовину считалась гостьей и потому старалась оправдать свое присутствие мелкими услугами. Не успела она сесть на свое место в уголке, как вскочила снова налить чаю Штахвицу. Сын, зорко следивший за ней, увидел, как кончики их пальцев соприкоснулись у края фарфорового блюдца в голубых цветочках. Штахвиц впервые заметил, что глаза Леноры от скрытого волнения, быть может под влиянием письма брата, мгновенно меняют цвет.

— Оголтелый малый этот переводчик,— сказал Штахвиц.

У него была невеста, она ему нравилась, и он собирался жениться на ней, но сейчас ему захотелось сломать преграду, которая отделяла эту чужую, молчаливую, сидевшую в уголке женщину, сестру его лучшего друга, от прочих гостей. Ему захотелось завязать с ней разговор, так как всякая другая связь между ними исключалась.

— Что могло толкнуть его на этот шаг? — продолжал он.

— Меня это тоже интересует,— сказала Ленора,— но здесь нам этого никто не объяснит.

Ильза Венцлов выждала, пока за столом затихли возгласы удивления и негодования.

«Дорогая детка,— продолжала она читать,— ты, конечно, понимаешь, что меня глубоко оскорбило предательство человека, на которого я смотрел почти как на друга. Я все сильнее мечтаю о том дне, когда снова буду среди своих и обниму тебя. По этому происшествию ты видишь, что служба наша в этой стране связана с такими сложными проблемами, которые мы при всем желании не в силах разрешить. А сейчас перед нами вдобавок поставлены новые ответственные задания. Мы возвели вокруг областей, захваченных красными, целый пояс укреплений, построили стратегические дороги, а также аэродромы, чтобы сверху бомбить гнезда сопротивления. На подмогу нам прислали военные части, сражавшиеся в Шанхае против японцев. Даже сейчас еще кое-кто считает, что эти войска, по здешним понятиям дисциплинированные, должны продолжать борьбу на севере, вместо того чтобы в первую очередь навести порядок у себя дома. К счастью, у генерала до сих пор хватало ума, чтобы понять, что сперва надо справиться с внутренним врагом, а затем уже заниматься внешним. Я не могу обсуждать эти щекотливые вопросы с моим новым переводчиком, потому что он совсем не говорит по-не-

мецки, а по-английски говорит очень плохо и, кроме того, с ним вообще невозможно найти общий язык и хоть на минуту забыть, что у него раскосые глаза; к сожалению, мне случалось забывать об этом с его предшественником. Во всяком случае, мы должны быть готовы к завершению поставленных перед нами задач. Я уже заранее радуюсь свиданию с вами. После всего пережитого я страстно мечтаю заключить тебя в объятия, моя милая девочка, чистейшая и лучшая из женщин...»

— Можешь не читать нам всего,— перебил старик Мальцан.

— Вряд ли он так уж все и написал,— заметил Штахвиц.

Чтение этого письма, как и предыдущего, окончилось под перешептывание гостей и звяканье чайной посуды.

III

Когда Христиан Надлер, сдав починенную обувь, свернул с проезжей дороги на проселок, его обогнала группа рабочих, возвращавшихся домой на ту сторону озера. Чтобы сократить длинный путь на станцию и сберечь деньги за проезд, они в складчину приобрели старую моторную лодку, которую оставляли всегда у мостков Христиана. Один из них, по имени Вольперт, замедлил шаг и пошел рядом с Христианом, так что они очутились на некотором расстоянии от остальных.

— Послушай-ка, Надлер,— сказал Вольперт,— нечего тебе сегодня на ночь запирать заднюю дверь сарая. Можешь оставить ее хоть настежь, на твою невинность все равно никто не покусится.

Христиан искоса взглянул на Вольперта и ничего не сказал. Вольперт явно был удовлетворен таким ответом и продолжал:

— А если ты забудешь в сарае кусок ветчины и завтра окажется, что ее сгрызли мыши, так, пожалуйста, не расстраивайся.

Вольперт оставил Христиана и нагнал товарищей. Когда Христиан дошел до своего жилья, наполненная людьми лодка уже плыла по озеру. В сумеречном свете след от нее тянулся по воде. Рабочие тесно сгрудились в лодке,

только Вольперт сидел один у мотора. Легкий запах бензина быстро улетучился. Лодка, скользившая со своим грузом к берегу, была только одним из преходящих впечатлений вечера. Мысли, которым дал толчок Вольперт, мало-помалу заглохли в голове Христиана, как шум мотора, вскоре совсем выключенного.

В каморке у Христиана с потолка свисал окорок ветчины, завернутый в холстину. Христиан откромсал от него один ломоть, потом другой. Себе он отломил краюшку хлеба, а остальной хлеб вместе с ветчиной запихнул в пустую банку из-под консервов. Он отнес банку в ту часть сарая, где были сложены дрова и разный хлам, и закрыл на засов внутреннюю дверь между сараем и мастерской, а сам сел ужинать у открытой двери перед мостками. На противоположном берегу засветилось уже несколько огоньков. След от лодки так изгладился на озере, как не может изгладиться ни один след на земле. Христиан устал от ходьбы, он лег и уснул, рассудив, что на эту ночь сон — лучший вид бдительности.

Он проснулся, только когда кто-то потряс его за плечо.

— Дрыхнет, как сурок! — проворчал Вильгельм Надлер.

— Деревню тоже уже оцепили! — сказал другой голос.

Вдруг кто-то свистнул сквозь зубы. Вильгельм заметался, несколько парней ринулись снаружи к внутренней двери, сарай задрожал. Христиан приподнялся. На мгновение все штурмовики сбились в клубок, и ему не было видно, что́ находится там, посреди клубка. Брат высвободился первым и рявкнул: «Стой!» Кого-то тащили за ноги в мастерскую и подталкивали пинками в голову. Христиан свесил ноги с постели; он смотрел на обращенное к нему лицо, залитое кровью, а потому неузнаваемое. Он машинально нагнулся, чтобы засунуть под кровать пару башмаков. При этом глаза его приблизились почти вплотную к глазам, глядевшим с залитого кровью лица; он узнал несчастного. Это был все тот же Штробель — лет пятнадцать назад, когда он мальчишкой служил у брата, Христиан подкармливал его у себя в каморке. Позднее Штробель некоторое время работал на мебельной фабрике и мутил всю деревню, появляясь каждый раз во время выборов и распространяя листовки. Один раз он даже налепил избирательный плакат на двери братнина амбара. И уж, конечно, не кто иной, как он, поднял на смех Вильгельма, когда штур-

мовики проезжали через фабричный поселок. Вильгельм утверждал, что и стрелял в него Штробель. Как только штурмовики получили полную свободу действий, они ворвались в дом его сестры; сам он успел скрыться; вместо него они до полусмерти избили его зятя. А Штробель все-таки не угомонился. У него хватило наглости пробраться опять в деревню. Даже во время мартовских выборов, когда штурмовики охраняли каждый избирательный пункт, он изловчился прилепить избирательный плакат красных к дверям чьей-то риги. Вильгельм поклялся: «Уж мы его раздобудем живым или мертвым!» И он сдержал клятву. Почему Штробель не бежал на юг страны? На что он рассчитывал? Что ему удастся отвратить от Гитлера всех приозерных жителей?

Он продолжал гнуть свою линию, явно показывая, что плюет на Вильгельма с его шайкой. Однако они напали на его след и устроили настоящую облаву, оцепив озеро со всеми прилегающими к нему деревнями.

И вот теперь он лежал на земле, и у него изо рта текла кровь; он косился на Христиана. «Неужто он считает, что я донес на него?» — подумал Христиан.

— Крепко ж я спал,— сказал он вслух.

— Еще как,— буркнул Вильгельм. Он всей тяжестью навалился на грудь Штробеля: — Дайте-ка сюда дратву!

Все дальнейшее заняло не много времени: ноги обмотали дратвой, через нее пропустили веревку, привязанную к камню, парня выволокли на мостки — и бултых в воду.

— Теперь врассыпную по домам,— скомандовал Вильгельм. Он чуть задержался. Слышно было, как штурмовики, возвращавшиеся домой полем, нарочито громко горланят песню.

— Ну-ка, поворачивайся,— сказал Вильгельм, последнему замешкавшемуся.— Если спросят, отвечай: идем из Штансдорфа, были на храмовом празднике. Еще бы лучше нам всем сперва смотаться туда.

— А ты спи себе, почивай,— сказал он Христиану, как взрослые говорят детям,— если тебя кто-нибудь спросит, говори — спал, мол, ничего не слышал, ничего не знаю. А если ты вздумаешь что-нибудь припомнить, так придется тебе нырнуть под мостки влед за этим пареньком. Камней здесь хватит, а дратвы у тебя вон целый клубок.

Христиан растянулся на своей койке, он слышал, как

Вильгельм насвистывал ту же песню, которая доносилась издалека со штансдорфской дороги.

Ночь была тихая, луна светила в открытую дверь. Лучи ее серебрили скобы на сапожных колодках, колесики прошивной машины и клубок дратвы. Христиан лежал неподвижно и не искоса, как обычно, а прямо смотрел на клубок дратвы.

Штробель, конечно, уже утонул. Христиану захотелось пойти на мостки, пошарить багром. Только Вильгельм и его головорезы обязательно разок-другой оглянутся на мостки и возвратятся, если увидят его с багром. Парню этим не поможешь. Он, Христиан, давно предсказывал ему такой конец. С такими скотами, как Вильгельм, шутки плохи. Кто попался им в лапы, того они живьем не выпустят. Ты презирал Вильгельма, Штробель. Смекалки у него, правда, меньше, чем у тебя. Зато больше власти, власти над жизнью и смертью.

Откуда у него, собственно, такая власть? Кто ее дал ему? Кому это, каким гадам выгода от того, что Штробелю спутали ноги дратвой да еще привесили к ним камень? Голова Христиана была набита мыслями, как подушка перьями.

Несколько дней спустя Христиан повстречался с Вольпертом, который мирно заводил у его мостков мотор лодки. Дорожные рабочие стояли в ожидании посвистывая. Вильгельм еще раз недвусмысленно заявил брату, что ему придется плохо, если он не будет держать язык за зубами. Христиан смотрел, как запускают мотор, словно ждал, что парень, который гнил там внизу, под мостками, вот-вот подаст голос. Сам он на короткий вопрос Вольперта ответил:

— Я спал и ничего не слышал.

Утром он выдвинул свою треногу под навес. Там от близкого соседства с покойником ему было и легче и больней. Того уж, верно, совсем затянуло в песок, так что от него не осталось следов даже под водой. Вот взял бы Штробель пример с него, с Христиана, и жил бы себе тихохонько, как мышка, чтобы никто его не видел и не слышал. Только так и можно ладить с этими скотами.

Однако, каков бы ни был этот мир, есть же в нем точка опоры! Есть где-нибудь глаза, бестрепетно взирающие на мирскую суету? Нельзя, чтобы Штробель так и истлел под водой. Христианом вдруг овладело непривычное и

неотвязное беспокойство, у него явилась потребность перед кем-нибудь высказаться. Нельзя же в самом деле привязать правду к камню и потопить ее. Есть же кто-нибудь, кто видит под водой и даже под песчаным дном озера. Говорят, бог читает в сердцах, значит, он может читать и на дне озера; правда, туда расстояние больше, чем до человеческого сердца, и глаза нужны позорче. У Христиана как раз были в починке башмаки пастора. Он связал их шнурками и перекинул через плечо, решив сходить к нему — ведь пастору по должности полагается общаться с богом.

Пастор сидел на своем обычном месте, под портретом Мартина Лютера. Старшая дочь поставила к нему на письменный стол букетик левкоев.

— Что еще скажешь, милейший Надлер? — спросил пастор, видя, что Христиан нерешительно топчется у дверей, снова получив для починки пару башмаков.

— Мне хотелось бы кое о чем спросить вас, господин пастор,— произнес Христиан.

— Ну что ж, спрашивай,— сказал пастор.

— Теперь иногда творятся такие дела,— начал Христиан,— что одному в них никак не разобраться.

«У него, верно, вышел скандал с братом»,— подумал пастор, он вспомнил, что на деревне давно уже болтают про Христиана и Лизу, и не без самодовольства подумал, что он-то умеет помогать деревенским жителям добрым советом даже в чересчур земных делах.

— Ну, выкладывай все начистоту, сын мой,— подбодрил он Христиана.— Все сказанное здесь, в этой компате, никуда дальше не пойдет.

Ободренный Христиан расхрабрился. Он начал рассказывать о событиях памятной ночи. Едва он дошел до того места, когда его брат навалился всей тяжестью на грудь Штробеля и потребовал дратву, как на лице пастора появилось странное, поначалу непонятное, скорее умоляющее, чем негодующее выражение.

— Вы говорили, господин пастор,— прервал Христиан свой рассказ,— что сказанное здесь, в этой комнате, никуда дальше не пойдет.

— Вот именно, Христиан Надлер,— торопливо ответил пастор,— потому-то нам и не следует говорить у себя в комнате о том, что мы не решились бы сказать перед всем светом. Мы ведь не признаем ложного учения о тайне исповеди, когда каждый убийца может совершить бог

знает какое злодеяние, а затем вообразит, будто господь простил его только потому, что он исповедался перед священником. У нас правду надо говорить везде и перед всеми!

Христиан был так огорошен, что вопреки своему обыкновению посмотрел пастору прямо в лицо. Когда пастор опустил глаза, Христиан, держась уже за ручку двери, пролепетал:

— А что до башмаков, на них не нужно новых подметок, я подобью только там, где они стоптаны.

— Вот и хорошо, сын мой,— с облегчением ответил пастор.

На обратном пути Христиан бранил себя, что поддался слабости — и все из-за того, что он целый день торчит под навесом в соседстве с утопленником. Пастор, понятно, насмерть перепугался, что его впутают в сомнительное дело и он из-за этого потеряет место. Верно, он не раз уже слышал о таких подлостях и поступал, как Вильгельм с долгами: прикидывался дурачком или, еще лучше, забывал про них, да так забывал, что сам в конце концов не верил в их существование.

День выдался такой теплый, что Христиан сидел еще под навесом, когда дорожные рабочие возвращались домой. Его взгляд упал на Вольперта, и ему пришло в голову, что этого человека правда не испугает. А вдруг он опять промахнется? Вдруг покойник на дне озера совсем отнял у него разум? Вдруг он, Христиан, помешался на том, что ему непременно нужно открыть правду, которая, кстати, никому не интересна? Сердясь на самого себя, он все-таки подозвал Вольперта:

— Слушай, Вольперт, ваш Штробель никуда не уехал, нацисты его прикончили. Вильгельм к этому тоже руку приложил, они швырнули его в воду. Он по сию пору лежит вот тут, под мостками.

Сначала Вольперт наклонился над треногой, потом вдруг выпрямился, нахмурился, лицо его побледнело, и Христиан тоже вдруг побледнел. Вольперт смотрел вдаль через головы товарищей, которые как раз в это время усаживались в лодку; затаив дыхание, он мысленно давал оценку каждому в отдельности на основании того, что знал о них; стойко ли они себя держали, с тех пор как Гитлер захватил власть, отмалчивались или говорили с умом, были осторожны или трусили. Случайно оброненные

замечания пристали к ним сейчас как припечатанные: «Гитлер, видно, не промах», или «А что я вам говорил?», или же «Подумаешь, что он там может? У одного украсть, а другому отдать».

— Мне надо все обмозговать за ночь,— сказал он вслух,— можем ли мы что-нибудь сделать и что мы можем сделать. Можем ли мы найти парня и как его найти. Пока что ты тут у себя составишь ему компанию. Недаром он мне как-то сказал: «Христиан бывает иногда порядочным человеком».

И в ответ на невольное движение Христиана Вольперт добавил:

— Ну, до небес он тебя не превозносил, не думай, он говорил: «Христиан тоже дрянь, только как-то, где-то, в чем-то он бывает чуть порядочнее прочей дряни». А раз так, пусть он еще некоторое время потерпит твое общество.

IV

Ганс не решался пойти туда, где жила Эмми. Совесть внушала ему, что его долг — узнать, что стало с девочкой. «Ступай»,— твердила ему по ночам совесть. «Боюсь»,— отвечал он.

— Надо бы пойти спросить про Эмми,— сказал он матери.

— Зачем? — испуганно отозвалась Мария.— Не ходи, тебя там, чего доброго, узнают, а помочь ей ты все равно не поможешь.

Ганс чувствовал, что мать кривит душой потому, что боится за него. Правда, она сама показала ему в ногах его постели маленького человечка, у которого нет другого дела, как только заботиться о нем. У нее же, у матери, и без того много забот со всей семьей, и потому она боится.

Однажды в автобусе он оказался стиснутым между двумя штурмовиками.

— Смотри, ведь это Ганс! Хайль Гитлер, паренек! Ну-ка, покажи, какой ты стал? — услышал он.

Ганс увидел над собой широкую красную рожу Фрица, того самого, который подбил тогда детей на воровство.

— Я шесть лет околачивался без дела, а сейчас работаю. Выйдем со мной, паренек, я тебя угощу. Знаешь, даже наш старик устроился. Сначала он пробовал было

ворчать, как против всякого нового правительства. Видно, отвык надеяться на что-нибудь хорошее. А когда я пришел домой и сказал, что поступил на работу, он призадумался. Ну, а теперь-то у него самого есть работа, и, ясное дело, он тоже соображает, что Адольф Гитлер — это совсем другой коленкор. А мать, та даже помолодела с тех пор, как мы мужчины, не сидим у нее на шее. Правда, нельзя сказать, что брат Карл устроился по-настоящему. А все-таки его там, в лагере трудовой повинности, и натаскивают и кормят, так что он нас хоть не объедает. Когда выйдет ему срок, найдется работа и для него. Эмми? Нет, ее дома нет. Она ведь тогда попала в исправительное заведение на казенный счет. Там из нее сделают порядочную девочку. Теперь везде пошел новый дух. Все поняли, как вас, ребят, коверкали прежним воспитанием. Значит, мы правы были, что учили вас плевать на прежнюю власть. Это была не власть, а позор. Ну, а такую дерзкую козявку следовало взять в ежовые рукавицы, ей, это только на пользу. Когда ее выпустят оттуда, она сразу увидит, что теперь все по-другому. Вот, кстати, киоск с мороженым. Выйдем вместе, а? Не можешь? Спешишь куда? А мне тут выходить. Хайль Гитлер!

Ганс, собственно говоря, мог выйти и тут, но ему хотелось остаться одному. В это ясное утро в переполненном автобусе ему казалось, что он совсем один в глухом лесу, где воет ветер. Да и у них в доме многие теперь дули в одну дуду с Фрицем. Мельцерша говорила:

— Мне кажется, Гешке, ваш Франц не прогадал. Гитлер, видно, свое дело понимает.

Даже тетя Эмилия — правда, умом она никогда не отличалась,— и та время от времени изрекала:

— Я всегда подозревала, с кем водится ваш Франц, нюх у него оказался неплохой.

А сам Франц, открыто и нагло разгуливавший в коричневой рубашке, усвоил себе манеру похлопывать отца по плечу, приговаривая:

— Ну-ну, не злись попусту, дай дорогу нам, молодежи.

По протекции одного приятеля Франц поступил на машиностроительный завод Бока. Так как у него не было денег заплатить за учебу, его подучили прямо в цеху; он стал сам зарабатывать и тогда попал в вечернюю школу. Ганс часто притворялся спящим, чтобы подсмотреть, как брат тайком тщательно измеряет свой рост, ширину плеч,

мускулатуру и даже объем черепа, который не в его власти было ни вытянуть, ни округлить. Потом Франц записывал все свои размеры и хмурился. Для настоящего эсэсовца они никак не подходили. На службу в гестапо его тоже не принимали. Он злился на отца, считал его виновником своей неудачи. Ведь жил-то Франц в семье, а семья эта с официальной точки зрения была не бог весть какая. Отец долгие годы состоял в социал-демократической партии, что невозможно было отрицать; и в том, что Франц не вышел меркой, повинен опять-таки отец, ибо не кто иной, как он, произвел Франца на свет, что тоже нельзя было отрицать. Единственное доказательство доверия к Францу заключалось в том, что от него регулярно принимали донесения об образе мыслей других рабочих в цеху.

А Ганс не мог даже хоть на время убежать из дому на молодежную базу. Нацисты закрыли и эту отдушину. Отняли все, к чему он был привязан: молодежную базу, где ему бывало так хорошо, его милую подружку Эмми; учителя, долгие годы бывшего его любимым наставником, перевели неизвестно куда. От человека, которого звали Мартин, осталось только неправдоподобное воспоминание. Отец стал угрюмее прежнего. Вот только глаза матери были все так же спокойны, и он еще больше привязался к ней с той ночи, когда открыл ей свои страхи.

Но ему этого было мало, ему нужна была радость, радость огромная, неизведанная, буйная. Без радости жить нельзя.

И это отлично знал проклятый паук, своими крючковатыми лапами затягивавший к себе в сети и старого и малого. Он заполз уже и на знамена, и на классные доски, и на заводские стены.

Конечно, куда веселее бить в барабан вместе с гитлерюгендом, участвовать в походах за город, в играх, драках, а не стоять в сторонке, точно чесоточному, куда приятнее прыгать и плясать на празднествах вместе с целым городом, а не быть каким-то отверженным, какой-то золушкой. Но на всех концах и перекрестках разукрашенного флагами города ему мерещились две узкие, черные как уголь щелки — глаза его исчезнувшего друга, который насмешливо и печально, заложив руки за спину, глядел на него. А с плаката, скрестив руки на груди, зорко следил за ним Гитлер.

Ганс прошел по Александриненштрассе мимо дома, где раньше жил Мартин. Дом был серый и с виду нежилой; ему до боли захотелось увидеть в окне за занавеской лицо поджидавшего его Мартина. Окно оставалось пустым, как и весь дом. Он пробежал несколько улиц и остановился у дома на Вальтерштрассе, в котором поселилась сестра. К этому дому, где Елена жила теперь в семье мужа, словно тянулась нить от того дома, где его раньше поджидал пропавший без вести Мартин. Ганс всегда охотно бывал у сестры, там все еще шло по-старому. Старик Бергер кивал головой, как бы говоря: мы с тобой друг друга понимаем, а мать Оскара, длинная как жердь, много длиннее и мужа и сыновей, подмигивала хитрыми птичьими глазами навыкате. Парадную комнату отдали старшему сыну с Еленой, ожидавшей ребенка. Елена была здесь гораздо веселее, чем дома. Она сама уже не помнила, отчего всегда прежде бывала так угнетена, здесь она пришлась ко двору. Она со свекром кормила всю семью и вообще не отказывала никому, кто обращался к ней за помощью. У ее мужа был неполный рабочий день; младший брат мужа, Оскар, уже не ходил в школу, и от трудового лагеря он увильнул с помощью хитрости, которой его научил знакомый врач: он хромал и ходил с палкой, как будто у него повреждена коленная чашечка.

Дома кухня теперь всегда пустовала: Гешке своим угрюмым видом распугал соседей, а у Елены и ее новой семьи кухня была гостеприимно открыта для всех. Здесь можно было свободно, ничего не боясь, высказывать свое мнение. Единственный, кто в этом доме не внушал доверия,— это новый привратник с женой. В мастерской художественной штопки Елена видела жен высоких эсэсовских чинов. Откуда у нее вдруг взялось остроумие — ее рассказы о правах этих господ вызывали неизменный смех у соседей. Бергер рассказывал, как в его цеху мигом портили все, что налаживал нацистский ставленник, так что в конце концов попадало ему же. Таким образом, на кухне у Бергеров каждый старался на свой лад щелкнуть Гитлера по носу. В кухонных толках он был уже осмеян, посрамлен, изничтожен.

Ганс больше любил сидеть здесь, чем дома. Он находился в постоянном возбуждении и тревоге, но тщательно это скрывал. Оскар же никогда не бывал возбужден или встревожен, и ему нечего было скрывать. Они уединялись

в родительской спальне, где обсуждали разные вопросы и строили планы — иные из них по приблизительному подсчету потребовали бы целой жизни, другие касались самых ближайших дней. Мальчики толковали о своем будущем, о школе для взрослых и трудовой повинности для Оскара, а для Ганса — о дальнейшем учении после школы и обучении ремеслу. Только тут, в темноте, в голой и пустой комнате, где даже другу не были видны искорки в его глазах, Ганс разрешал себе помечтать об интересных профессиях, об изобретательстве. Из отцовского заработка нечего было урвать, чтобы дать ему возможность выучиться на слесаря-механика. Строить планы для себя самого было труднее, чем для всего человечества. Здесь, в темном уголке спальни, они надумали уговорить нескольких прежних товарищей по спортивному обществу «Фихте» войти в гитлерюгенд, куда их все равно зачислят, а там объединиться и установить крепкую связь между районами. Время от времени они будут встречаться здесь, на квартире. Арестов они не допустят. Они перечислили мальчиков, на которых можно положиться. У них не будет таких провалов, на которые жалуются старики. У них никто друг друга не предаст. У них никто не перемахнет к нацистам, соблазнившись работой, положением или деньгами. У них никто не изменит друзьям из страха перед тюрьмой. Голода они не боялись, не боялись за жен и сыновей. Они не могли себе представить, что когда-нибудь испытают этот страх, как не могли себе представить, что и у них поседеют волосы и выпадут зубы.

— Что вы там делаете в темноте? — окликала их фрау Бергер.

Она просовывала в спальню свою голову на длинной шее и протягивала им целую гору картофельных оладий.

Гешке сидели за столом. На ужин был студень из свиных ножек с капустой. Франц раньше всегда старался утаить случайный заработок, теперь же он безропотно вносил в дом ту часть жалованья, какая была определена гитлерюгендом. В их группе существовал даже девиз: немецкий юноша обязан помогать семье, пока не обзаведется собственной. Гешке так вяло глодал косточку, словно это была требуха, которой приходилось питаться в прежние годы.

— Соли мало? — спросила Мария и прибавила: — Теперь хоть чаще доводится поесть что-нибудь сытное.

Гешке в сердцах швырнул на пол обглоданную кость. Этого он не делал никогда.

— Какая тебя муха укусила? — спросила Мария.

Гешке позабыл свое правило таить все мысли про себя, его прорвало:

— Ну да, конечно, они для начала сдержали слово. Нам прибавили жалованья... Они исполнили что обещали. Они обещали: если послушаетесь нас и налепите паука на середку красного флага, тогда и в будни будете жрать свинину с кислой капустой.

Он встал и поднял с пола кость.

— На помойку ее, вот где ей место. Не хочу я ее обсасывать, пусть голодные псы лакомятся жирком.

— Что ты? Ведь прибавка тебе причитается за твой труд,— сказала Мария.

— Вот именно причитается. Это не милостыня. Это мне причитается, и я за это не намерен благодарить. Я морду набью тому, кто не заплатит мне всего, что причитается. Ты бы послушала, как они в последнюю получку превозносили Гитлера.

Мария сказала:

— А ты что? Говорил им то же, что мне? Нет? Ну и слава богу, а то мне не пришлось бы больше готовить для тебя студень. Ты вообще больше не вернулся бы домой. Прямым путем отправился бы в Ораниенбург.

— В том-то и дело,— ответил он несколько спокойней.— Вот Валау попал в Ораниенбург за то, что Первого мая не вывесил флага со свастикой. А Трибеля и вовсе, должно быть, забили до смерти. В том-то все и дело. Ты правду говоришь. А мне не хочется попасть в концлагерь.

Он снова закрыл лицо руками. Мария вытащила тарелку, зажатую у него между локтями. Пора было зажечь на кухне свет; свет из соседних домов отбрасывал уже косую тень от оконного переплета на убранный после ужина стол. Мария услышала шаги сына по лестнице. Только это оказался не старший, а Ганс, но и на нем была сегодня новая рубашка со свастикой на рукаве. Мария чуть побледнела. Гешке пристально взглянул на мальчика. Мать молча стала разогревать ему ужин. Гешке сжал руки, как для молитвы. Он думал: «У меня отнимают одного сына за другим». Он отвел глаза от своих рук и посмотрел в лицо

мальчика. В припадке гнева он подумал: «Какое мне до него, собственно, дело? Ведь это не моя кровь, довольно с меня своего горя». Мальчик съел дочиста все, что было на тарелке, даже не понимая, что ест. Он заметил, что отец хмурится, глядя на него. Обычно он слегка презирал отца, потому что тот со всем был согласен и ничем не возмущался. Сейчас он впервые почувствовал к отцу настоящее уважение именно потому, что тот презирал его за свастику на рукаве. Ему очень хотелось открыться отцу. Но он вспомнил про обещание, которое они с Оскаром дали друг другу и на котором он сам особенно настаивал; у отца сорвется слово, соседи его подхватят — и все пойдет прахом.

Гешке думал: «Я принял ее тогда к себе, как она была: с молодым лицом, с девичьей грудью и с ребенком. Что сделано, то сделано, и он мне теперь как родной сын, и он мне лишнее страдание». Гансу было обидно, что он должен скрывать от отца свой замысел, который утвердил бы их взаимное уважение. Молчание было для него тяжелее любого дела. Он медленно обгладывал свиную косточку и при этом представлял себе, что испытывают его товарищи под взглядами друзей и родных.

Гешке больше не смотрел на сына, его томило смутное чувство скорби и раскаяния. Он не мог точно определить, в чем ему следовало раскаиваться. Он не знал за собой ни одного подлого, ни одного малодушного поступка. Даже на мартовских выборах, когда никто не мог укрыться от зоркого ока нацистов, он не покривил душой. Он не отступил бы ни перед какой жертвой, отдал бы последнее, отдал бы собственную жизнь, сам бы взялся за оружие. Но от него никто не потребовал такой жертвы. В чем же ему раскаиваться? Где его вина? Трибель как-то напал на него: «Все от твоего окаянного послушания». Гешке не признавал себя виноватым, оттого что подчинялся лозунгам своего партийного руководства. Когда он сам был еще мальчиком, отец всегда твердил ему, что надо подчиняться этим лозунгам, хотя бы они привели человека на каторгу. Отца они и привели если не на каторгу, то в тюрьму. В те времена следовать лозунгам социал-демократической партии было небезопасно и приносило немало неприятностей, потом настали времена, когда это приносило и кое-что приятное. Сам он несколько раз получал подсобную работу по ходатайству руководства партии перед биржей труда. Но выгоды были не так уж велики. Теперь это руководство

лишили теплых местечек, по поводу которых всегда язвил Трибель, и, чего доброго, оно вместе с ним сидит в концлагере.

Пока Мария споласкивала посуду и время от времени бросала взгляд на сына, сидевшего так же безмолвно, как и муж, в голове Гешке всплывали и проносились те же имена и идеи, страны и события, какие проносятся в головах властителей мира. Перед ним вставали лица, которые он знал только по снимкам или видел издалека, и они мало-помалу запечатлелись в его памяти. Перед ним вставало лицо их сборщика членских взносов — куда он девался? Неужели и его уже засадили? И лицо президента Эберта, давно умершего, и Гинденбурга, и собственного старшего сына в коричневой рубашке, только не теперь, а в прошлом году, когда он его за это выпорол; он видел гроб Розы Люксембург, за которым шел сам, видел Вельса, в последний раз выступавшего в Люстгартене. Перед ним проносились также страны и дороги под солнцем или дождем, как их видишь в еженедельной кинохронике или в свой смертный час. Он видел уголок Советского Союза, уголок спортивного праздника на Красной площади, где у всех были довольные лица, в голове его мелькали фотоснимки и вырезки из газет: из «Форвертс», из «Арбейтер иллюстрирте» — обе эти газеты были теперь запрещены. В одном только он мог себя упрекнуть: что ничему не верил до конца, но к этому себя нельзя принудить. И раскаиваться, значит, в этом нечего. Зато он и не ощущал облегчения, какое дает раскаяние в дурном поступке. На душе у него становилось все тяжелее и тяжелее.

Когда в голове у него несколько прояснилось, он опустил руки и положил их на стол. Его размышления так же мало помогли мировому порядку, как совещания и конференции министров. Он точно так же не в силах был разрешить самые мучительные вопросы. Он оказался даже мудрее министров. Он пошел дальше, чем они. Он промолчал. Он встал и, не сказав спокойной ночи, пошел спать. С тех пор он вообще молчал. Он стал скупее на слова и озлобленнее, чем после смерти первой жены.

На пасху Гансу выпала неожиданная радость. Его сестра Елена пришла однажды прямо с работы к ним, вместо того чтобы ехать, как обычно, к себе, в семью мужа.

— Раз Ганс кончил школу, надо отдать его в учение. Я принесла деньги, чтобы вы сразу же подписали контракт,— сказала она.

Хотя Мария сама вырастила падчерицу — от маленькой девочки, игравшей в песочек, до взрослой женщины,— сейчас она смотрела на нее как на неземное существо, свалившееся к ним на кухню прямо с неба. Ее мальчик мечтал стать слесарем-механиком. Однако при теперешнем положении семьи это желание было так же неосуществимо, как путешествие на Луну. Последнее время Мария сильнее, чем когда-либо, ощущала ту непонятную, для нее необъяснимую преграду, которая стоит между человеком и его желанием. Ей казалось, что она вместе с сыном, точно арестант в камере, замурована в неотвратимо предначертанной им жизни, из которой не помогут вырваться никакие стремления, никакие дарования; только их общая камера, не квадратная каморка, а очень тесное, извилистое, отгороженное высокими скалами ущелье, и ведет оно от их жилища до могилы. Предложение Елены означало: вот ключ, открывающий лазейку из ущелья. Теперь нацисты не будут посылать Ганса то на трудовую, то на сельскохозяйственную повинность, ему не придется мыкаться каждый день по подсобным работам и вечно быть чернорабочим, и непременно на тех заводах, где нацистам всего нужнее дешевые рабочие руки, и лишь изредка получать несколько пфеннигов прибавки.

Ты не зря воображала, мать, что твой сын рожден для чего-то лучшего. Ты не зря плакала и таилась, только бы он мог появиться на свет. Тогда свет представлялся тебе не тропой, отгороженной высокими скалами, воображение не обмануло тебя, ты оказалась права. Твой сын и теперь не может стать чем-нибудь исключительным, но ты, конечно, была права в твоем тайном предвидении: он рожден для чего-то лучшего. Все мы, все рождены для чего-то лучшего. Жизнь не станет таким простором, как ты надеешься, но не будет она и тесным ущельем. Твой сын не будет выше всех, но будет не таким, как все. Он будет слесарем-механиком, а из всех механиков в мире он может стать самым лучшим.

Елена на все отвечала:

— Ты сама знаешь, я всегда особенно любила Ганса. И потом, брат мне все-таки ближе, чем деверь. Свекор хочет устроить Оскара к себе в цех, там он будет учиться и

сразу начнет зарабатывать. Хейнер работает теперь полный рабочий день, ребеночек мой первое время будет кормиться за счет господа бога, а потому я могу из своего собственного заработка помочь Гансу сразу же обучиться какому-нибудь ремеслу.

— Елена, возьми съешь жареной колбасы! Поешь ты хоть разок дома,— только и могла ответить ей Мария.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Трое подростков, склонившихся над парапетом Мёкернбрюкке, были в таких же точно белых рубашках и с такими же свастиками, как и у всех членов гитлерюгенда. По их спинам никак нельзя было угадать, о чем они спорят. Ганс, стоявший справа, следил за перепалкой двух остальных, причем только по напряженному выражению его лица было видно, что он каждую минуту готов вмешаться. От Оскара с его вытянутой шеей, с глазами навыкате и сонным видом никак нельзя было ожидать такой горячности. Макс Гро, самый младший из них, грыз яблоко, словно все это к нему не относится, хотя спор касался именно его.

— В последний раз спрашиваю: войдешь ты в наше руководство, да или нет? — говорил Оскар.

— Я уже вам объяснил, что не могу,— отвечал Макс.

— А мы-то думали, что ты ответственности не боишься,— сказал Оскар.

Гро бросил в воду огрызок яблока.

— Я ничего не боюсь! — крикнул он.

— Тогда объяснись. Чтобы теперь отказываться от такого дела, надо иметь серьезные причины,— настаивал Оскар.

Они гордились своим делом, гордились тем, что им удалось осуществить намеченный план и сохранить свое замкнутое ядро внутри гитлерюгенда. Они не попались на удочку югендфюрерам, каждый месяц со всяческими предосторожностями посылали представителя от каждого района на квартиру Бергера, выработали и роздали по своим группам лозунги, тезисы, каверзные вопросы. Они обменивались запрещенными книгами и общими усилиями выпустили листовку против трудовой повинности. Руко-

водство состояло из трех человек: Ганса, Оскара и еще одного парня постарше, который учился на печатника. Семья его оказалась на подозрении у полиции, и мальчика отправили в трудовой лагерь, чтобы изъять из-под влияния семьи. С его преемником они чуть не попали в беду; звали его Бертольдом, он был много начитаннее своих сверстников. О чем бы ни говорили на их собраниях, он все мог объяснить, как настоящий учитель: от Дарвина до диалектики, от ледникового периода до нормы прибавочной стоимости. Сначала он лучше всех умел заковыристыми вопросами посадить в лужу гитлеровских молодчиков либо раздразнить их до чертиков. Но вдруг ему взбрело на ум задавать такие же вопросы самому себе. Он так втянулся в эту игру, что теперь ему уже доставляло удовольствие все ставить под вопрос. Он до того наловчился, что мог с одинаковой легкостью доказать, почему евреи, безусловно, такие же люди, как другие, и почему они никогда не были такими, как другие. Он говорил: «В одном нацисты все-таки правы» или: «Евреи все-таки не такие люди, как другие». Иногда он нехотя сознавался, что ему самому многое стало не вполне ясно. Ведь у зверей существуют породы, а если есть породы у обезьян, почему их не может быть у людей? А если и у людей есть породы, почему же одни не могут быть лучше или хуже, чем другие, лучшей или худшей расы? Может быть, в послеледниковый период обитатели севера оказались лучшими. А если немцы лучшие среди них, то в лучшей расе может быть несколько человек самых лучших. В конце концов мальчики начали побаиваться, как бы он не выдал нацистам их подпольную группу.

Когда Ганс и Оскар стали думать, кем бы его заменить, их выбор пал на Макса Гро. У него были честные глаза, он не отличался особой находчивостью, но казался вполне надежным. Таким он был еще в школе и на туристской базе общества «Фихте». Его отказ крайне разочаровал их. Теперь обнаружилось, что их мало, и потому трудно всегда иметь наготове замену.

Они смотрели вниз, на баржи с яблоками. Гро совсем перегнулся через парапет. Груды желтых яблок внезапно озарились солнцем, словно слабый предвечерний свет наконец нашел свое место посреди мутной и грязной воды. Озарив груду желтых яблок, мимо которых спешили с работы толпы людей, солнечный луч нашел свое отражение

в глазах мальчика, перегнувшегося через парапет. Луч скользнул с яблок на металлические части землечерпалки, установленной посреди строительной площадки на противоположном берегу реки, и отовсюду — с яблок, с землечерпалки и с оконных стекол в домах позади строительной площадки — он бросал отблеск в сердце мальчика, как будто ему дана была власть озарять не только отдаленные предметы, но и отдаленные неясные чувства.

Гро думал: «Откуда этот Штейнмец узнал, что меня собираются куда-то назначать? Откуда он знает все, что у нас делается?»

Он позабыл, как сам же вчера говорил матери, что Штейнмец всегда ловит его, выспрашивает и по выражению его лица, как в детской игре «горячо или холодно», выуживает правду. Мальчику легко извернуться, но и легко покраснеть. Он не всегда бывал так хитер, как ему казалось.

— На нашей улице бензоколонку обслуживает махровый нацист Штейнмец. Моя мать у него на подозрении, а вы сами знаете, ее дела поважнее наших,— сказал он вслух.

— В каждом квартале найдется нацист, и за каждой семьей следят, не прекращать же нам из-за этого нашу работу,— ответил Оскар.

— Я только думал,— продолжал Гро,— что нет смысла самим лезть на неприятности, раз за нами шпионит нацист.— Его лицо было совсем детским и вместе с тем старчески скорбным.

Ганс до сих пор молчал. Он пристально разглядывал землечерпалку, которая выбирала ил, отбрасывала его назад и поворачивалась за новой порцией. Когда гудок возвестил конец работ, землечерпалка только что избавилась от очередной порции ила. Она загребла еще один ковш и, когда первые рабочие уже отправились по домам, опрокинула его на строительную площадку с такой невозмутимостью и четкостью, словно была гигантским дрессированным зверем. Ганс обладал даром подражать движениям не только людей и животных, но и машин; наморщив лоб, он повторял последние маневры землечерпалки и в то же время обдумывал доводы обоих друзей. Грохот на строительной площадке замолк. Слышались частые свистки поездов надземной дороги. Двигавшаяся по мосту толпа станови-

лась все гуще. В вечерних сумерках коричневые и черные рубашки нацистов не очень мозолили глаза.

— Нельзя его принуждать к тому, чего он не хочет,— сказал Ганс.

— Пусть подумает,— возразил Оскар.

А Гро думал: «Все-таки странно, что Штейнмец обо всем знал. Может быть, кто-нибудь выдал нас. Уж не Бертольд ли?»

На мосту зажглись фонари. Вечерний свет угас повсюду, кроме одного окошка где-то далеко за строительной площадкой, под самой крышей цементного завода, но не свет от фонаря, который зажегся на мосту и в воде, а этот последний едва заметный блик скудного вечернего света в чердачном окошке закрался в сердце Макса Гро. «Они уже и говорят со мной как-то недоверчиво»,— подумал он.

— Отвечай: да или нет,— настаивал Оскар.

— Я тебе уже сказал: нет! — ответил Гро.

«Во всяком случае,— думал он,— Штейнмец что-то знает, проболтался ли кто-нибудь или сподличал, это уже все равно». И, крикнув громко, так, чтобы слышали прохожие: «Хайль Гитлер!», он сердито сбежал вниз по лестнице подземки.

Место между двумя мальчиками у парапета осталось пустым. Они придвинулись друг к другу. Ресторан за Мёкернбрюкке был ярко освещен, круги и буквы световых реклам бросали отсвет на стены, на камни мостовой и на небо, проглядывавшее между стенами домов. Мальчики молча смотрели на усеянную красными и синими блестками воду. Ганс увидел внизу, на воде, среди пестрых пятен и огней, отражение звезд. Он закинул голову, чтобы отыскать эти созвездия на таком же пестром и пятнистом небе. Ему вдруг припомнился маленький горбун, который на туристской базе лучше всех знал названия звезд. У звезд были странные имена — Кассиопея, Орион, Андромеда. И у горбуна тоже была странная фамилия: Раппопорт. Где-то он теперь? Когда разгромили еврейские лавки, вся его семья переселилась в другой район города. У них не было денег, чтобы уехать куда-нибудь подальше, в Прагу или в Париж. А в Палестину, как требовали нацисты, и подавно. Туда было много дальше, а значит, и дороже. Поэтому они переехали только в другой район, где было больше евреев. Конечно, может быть, легче, думал Ганс, когда избивают

всех вместе, а не одного из всех. Тогда по его просьбе Мария спрятала маленького горбуна у них на балконе. Он совсем сжался и сгорбился за цветочными ящиками и ждал, пока кончится самый страшный погром. Когда ночью они открыли балконную дверь, чтобы его выпустить, оказалось, что он смотрит на звезды, как, бывало, на туристской базе. Гансу вдруг взгрустнулось, и грусть эта поднималась откуда-то изнутри.

Оскар упорно смотрел вниз; казалось, его выпученные глаза вот-вот упадут в воду. Теперь ему было жалко, что они нехорошо расстались с Гро. Какие бы у него ни были причины, все равно парень он честный.

— Кого нам взять на его место? — спросил он. Ганс пожал плечами.

Спустившись по лестнице в подземку, они увидели, что Гро стоит у автомата со сластями. Он вглядывался в толпу, отражавшуюся в автомате, и поджидал, когда мелькнут две рубашки гитлерюгенда. При этом он обдумывал, что бы ему взять: жареный миндаль или леденцы. Если ему не удастся сегодня же вечером помириться с ними обоими, разрыв неизбежен. Он будет у них на подозрении и не сумеет оправдаться. Все порядочные ребята, какие еще водятся, перестанут ему доверять, и он останется один. Отец его умер давно. Он жил вдвоем с матерью, которая служила кассиршей в универмаге. Это была солидная, положительная женщина; глядя на нее, никто бы не подумал, что над ней постоянно висит угроза смерти. Отдел, где она работала, стал местом встречи нескольких мужчин и женщин, получавших от нее сведения на кассовых чеках. Ночью, перед сном, несмотря на усталость, она старалась растолковать сыну все, что нужно, с ее точки зрения, знать, чтобы остаться порядочным человеком: какими уловками нацисты захватили власть, какими уловками они удерживают ее и к каким уловкам прибегают те, кто борется с ними. В эти ночные часы, постоянно ожидая ареста, она, усталая, необразованная женщина, старалась по возможности объяснить ему все — весь мировой порядок, структуру государств, различие между богатыми и бедными. А сил было мало. Откуда взять сил измученной вдове, необразованной кассирше? Если мальчик останется порядочным, сколько горя это повлечет за собой! У нее могут отнять право воспитывать его — подобные случаи теперь очень часты,— ее могут посадить в тюрьму или убить.

«Виновата мать,— думал Гро,— она советовала мне быть поосторожней, а это я не могу им сказать. Они и вовсе перестанут мне доверять, раз я все говорю матери. Что же мне делать?» Сказать друзьям, что мать, которой он больше верил, чем кому-нибудь на свете, была вообще против их затеи — образовать внутри гитлерюгенда свою замкнутую группу,— он и вовсе не решался. Они никогда не простили бы ему, что он посвятил мать в их тайну. Они так гордились своей группой. А мать с самого начала твердила: чем сколачивать группу в гитлерюгенде, лучше всеми способами держаться подальше от их организации. Чем больше семей дадут им отпор, тем легче будет давать отпор каждому в отдельности. Кое-кто из взрослых тоже вступил в нацистские организации, чтобы тайно вести подрывную работу, а потом эти люди либо сами заразились нацистским духом, либо подчинились поневоле. Вообще гораздо правильнее, умнее и честнее, сказала мать, не вступать в их организации без особых причин.

Гро припомнил весь разговор на мосту. Мать, как всегда, была права. Он вздрогнул, увидев отражение Оскара и Ганса, и торопливо взял жареный миндаль.

— Надо еще раз попробовать его убедить, по-моему, он порядочный парень,— говорил Ганс, спускаясь по лестнице. Увидев Гро и его торчащий вихор, припомнив все те годы, когда они вместе играли и резвились, Ганс внезапно с большей силой, чем Оскар, по натуре спокойный и несколько сонливый, почувствовал их взаимную связь и понял, что такую связь нелегко порвать.

— Может, спросить его, пойдет он сегодня ночью с нами расклеивать листовки? — сказал Ганс.

— Надо еще, чтобы мой брат согласился,— возразил Оскар,— а на что он тебе нужен?

— Нас осталось очень мало, и мне он нужен,— ответил Ганс.

Он подошел и положил руку на плечо Гро. Тот серьезно посмотрел на него своими карими, добрыми, как у щенка, глазами.

— Пойдешь сегодня вечером с нами расклеивать листовки?

— Конечно! — радостно ответил Гро.

Они дружно уселись на скамейку в подземке. Они грызли купленный Гро жареный миндаль. Они веселились и острили, им казалось, будто Гитлер смотрит на них и злит-

ся, что ему, несмотря на все происки, которыми он разобщил целый народ, их троих не удалось разобщить.

Дома на кухне происки Гитлера имели больший успех. Еще на лестнице Ганс услышал противный галдеж — так могли себя вести только гости его братца. Штурмовики, сидевшие вокруг обеденного стола, иначе пили кофе, иначе смеялись, иначе бранились, чем другие посетители кухни Гешке. По требованию Франца Мария вторично наполнила кофейник. Гешке сидел на своем обычном месте, у окна.

Франц сказал:

— Отец никак не привыкнет к тому, что сейчас уже можно не пить солодового кофе.

Лучший друг Франца Шлютер, более рослый, чем он, дюжий детина с тупым лицом, взял свою чашку кофе, поставил перед Гешке на подоконник и произнес с туповатым простодушием:

— Пейте, господин Гешке. Вы можете себе это позволить, полакомиться всякий не прочь. А тем более теперь, когда все переменилось. Мы ведь почти всех уже обеспечили работой.

Франц часто ему рассказывал, что Гешке все еще горюет о старых бонзах, гниющих теперь в концлагерях. Шлютер кичился тем, что понимает свои обязанности и знает, как с кем говорить.

Гешке ответил менее угрюмо, чем обычно:

— Ну, Шлютер, поздравляю. А мне и невдомек, что вы состоите в правлении завода.

Головы сидевших за столом повернулись к нему.

— Что это вы говорите?

— А как же? Вы сами сказали, что обеспечили всех нас работой. А где же, как не там, на верхах, обсуждалось такое важное мероприятие?

Шлютер сдержал раздражение. Его не раз хвалили за способность внушать свои взгляды.

— Ну что вы,— спокойным и добродушным тоном ответил он,— я простой штамповщик. И горжусь этим. Я человек неученый, ничего не знаю, куда уж мне обсуждать важные дела. Вы понимаете, какую ответственность несет директор такого огромного предприятия, разве мне это по плечу?

Остальные думали: «Шлютер его здорово отделает!»

— Конечно, такая ответственность — дело нелегкое,— согласился Гешке.— Куда тяжелее, чем тяжести, которые

я наваливаю на грузовики. Шутка сказать — какая тяжелая ответственность! И откуда только у директоров на это ума хватает?

— А вы подумайте, где только они не учились, сколько зубрили, дни и ночи напролет, чтобы держать весь завод в руках,— спокойно ответил Шлютер.

— Я и сам бы не прочь так поучиться,— не менее спокойно сказал Гешке.

— За чем же дело стало? Вам и сейчас не поздно подучиться. А сыновья пусть ходят в вечернюю школу, на курсы, если хотите, им можно даже попасть в школу фюрера. Теперь никакие труды, никакие старания даром не пропадают.

Вдруг ему пришло в голову, что он в пылу спора упустил самое важное. Он еще раз обернулся и изрек:

— Понятно, главное — это врожденные способности.

— Понятно,— отвечал Гешке,— но только как их вырадить?

— Будто вы уж так стары, что забыли? И если мы позаботимся об умножении нашей расы, так потом комиссия по выбору профессии позаботится, чтобы каждый занялся подходящим для него делом.

— Понятно,— отвечал Гешке,— только вдруг они найдут десять прирожденных архитекторов — ведь когда рожаешь детей, не думаешь о комиссии по выбору профессии. А сейчас как раз для постройки нового стадиона требуется тысяча каменщиков и всего-навсего один архитектор: куда же прикажете деваться с девятью остальными?

— Это уж забота комиссии по выбору профессии,— ответил Шлютер.— А вы, господин Гешке, зря во всем этом копаетесь, простите за выражение, точно крот. Ясное дело, каждому приходится иногда жертвовать собой ради других.

— Понятно,— согласился Гешке. Он счел благоразумным замолчать, увидев вдруг, что взгляды всех сидевших за столом устремлены на него, но уже не с насмешкой или издевкой, а с угрозой. Собственный его сын, Франц, смотрел на него предостерегающе.

Только Шлютер был спокоен и доволен собой и своими речами. Говорил он вполне искренне; все предыдущие годы он болтался без дела, не зная, куда применить свою медвежью силу. Теперь ей нашлось применение. Дома никто на него не обращал внимания. У матери было слишком

много сыновей, у учителя — слишком много учеников, у магистрата — слишком много безработных. Он решил, что лучше терпеть неусыпный надзор в рядах штурмовиков, чем быть совсем беспризорным.

Ганс тем временем стоя ел бутерброд.

— Я опять поздно приду, не жди меня,— сказал он.

Мария убрала со стола пустые чашки, она ни о чем не спросила. Не только этот день, а все ее дни, хорошие и плохие, полные любви и муки, кончались словами: «Не жди меня».

.

Ганс встретился с приятелем на пересадочной станции. Гро оставил матери записку: «Не жди меня, я вернусь поздно». Оба были довольны: они любили бывать по вечерам у Бергеров. Им было приятно и лестно, что старший брат провел их из кухни в спальню, это значило уйти от кухонной сутолоки, болтовни и острот в то святилище, где принимались важные решения. Хейнер так распределил обязанности: сам он и Гро будут раскленвать листовки, а Оскар и Ганс в основном прикрывать их. И когда Хейнер описывал улицу, где должны быть расклеены листовки, улицу, которая в эту ночь станет гранью между жизнью и смертью, Гро, захлебываясь от счастья, думал: «Они согласны водиться со мной, они решили испытать меня».

Путь их лежал мимо обширных строений мебельной фабрики «Борнхейм и сыновья». Как ясно было безлунное небо, как светла ночь! Нелепо ярко, точно фонарики, светились пуговицы на куртке Хейнера, в занавеске на окне просвечивали две щели, вся улица была усеяна светящимися точками. Они заглянули в кабак, в логово, наполненное пьяным гамом штурмовиков. Они прошли мимо двух-трех полицейских. Улица позади фабрики «Борнхейм и сыновья» была пустынна. Оскар и Ганс повернули назад. Оскар бросил последний взгляд на брата, перед тем как его поглотила темнота.

Они принялись расклеивать свою порцию листовок через определенные промежутки. Прохожие не обращали внимания ни на мальчиков, ни на приклеенные уже листки, мимо которых проходили. Высыпавшие из пивной штурмовики были пьяны. Листки, вкрапленные между разными плакатами и воззваниями, бросятся в глаза только утром. И слова, напечатанные на них, врежутся многим в

сознание и распространятся от одного к другому, из одного района города в другой. А пока что они были только полосками бумаги, от них липли пальцы и билось сердце.

Потом мальчики ждали на остановке. У Оскара оказалась в кармане пачка жареного миндаля, они грызли его, кончики пальцев пахли клейстером. Они ждали своих товарищей, у тех был более длинный путь. Они прислушивались к грохоту машин на фабрике, к шагам, к хлопанью дверей, к свисткам. До них донесся женский плач, завывание патефона из кабака, гул автомобиля, выстрел. Они пропустили один ночной автобус. Прежде чем пришел следующий, из-за угла появились те, кого они ждали. Сначала казалось, что Хейнер просто положил руку на плечо Гро. Когда они медленно приблизились, Оскар испуганно поглядел на брата. Тот шел, опираясь на Гро, и лицо у него было странное. Они подсадили его в автобус, пассажиров было мало. Хейнера устроили в углу, мальчики, стоя перед ним, заслоняли его от посторонних взглядов.

— Они окликнули нас, мы бросились бежать, они выстрелили, мне кажется, пуля угодила в него,— рассказывал Гро.

Хейнер почти что вывалился из автобуса, Гро держал его сзади за куртку, Оскар подхватил его внизу. Гро поехал дальше; Хейнер шел между Оскаром и Гансом, они скорее несли его, чем поддерживали, и со страхом глядели ему в лицо.

Елена не спала, она кормила ребенка. Сначала она обрадовалась, что муж вернулся. Она выслушала их рассказ, не отнимая младенца от груди, и распорядилась, как поступить дальше. Положить Хейнера на кровать, разуть его и побежать за доктором. Доктор был надежный человек, это он научил Оскара, как избавиться от трудовой повинности. Елена в испуге смотрела, как Хейнер силится что-то сказать, пытается улыбнуться, но у него ничего не выходит, его взгляд сначала остановился на ребенке у ее груди, затем как бы прошел сквозь нее и устремился в непостижимую даль. При этом он нахмурился, словно грудь жены преграждала ему путь.

Мария лежала рядом с Гешке, положив руки под голову. Прошел последний поезд подземки. Если Ганс вообще вернется, он должен вернуться сию минуту. Свет в пивной погас, теперь в спальню попадала, пересекая одеяло, только полоска света от уличного фонаря.

Мария услышала шаги мальчика под окном, услышала стук входной двери, поспешные шаги по лестнице. Она шмыгнула в кухню.

— Выпей горячего кофе!

— Почему ты не спишь? — спросил он. И прибавил как бы в утешение: — Не стоит ждать меня. Я могу и вовсе не вернуться.

— У меня нет никого, кроме тебя. Ты не должен идти на такие дела, с которых можно не вернуться.

Он сказал:

— Этого я тебе не обещаю. Ты сама как-то сказала, кого мне надо слушаться, кто всегда даст мне правильный совет, у кого всегда есть для меня время и кто меня никогда не оставит и, ничего не боясь, скажет мне всю правду. Помнишь, что ты мне тогда сказала? Меня подбили ограбить продовольственный склад, и мы с тобой боялись полиции. Помнишь? Неужели ты хочешь, чтобы я позабыл все, чему ты меня учила?

Он выпил кофе, зевнул и решил пока ничего не говорить о случившемся несчастье. Может быть, муж сестры еще поправится.

Мария посидела минутку возле него у стола. Она сначала так обрадовалась, будто он вернулся и не уйдет больше никогда. А сейчас на нее, словно холодом, пахнуло необъяснимым предчувствием. Ганс лег в постель рядом с братом. И скоро оба спали одинаково крепким сном, как будто и легли в одно время.

II

Когда Христиан Надлер выбирался из сарая под навес, он прежде всего искал глазами на поле брата две интересовавшие его точки: одну беловолосую — голову среднего сына, и другую рыжеватую — Лизину, которая больше его раздражала, чем радовала. Против своей воли при виде ее он неизменно испытывал какое-то щекочущее чувство. Из-за такой ерунды он, конечно, не стал бы портить себе кровь. Его мучило другое — жалость к ней. Он никак не думал, что может пожалеть кого-нибудь, а тем более такую здоровенную бабу. Самые отчаянные побои и самая каторжная работа были все равно что насморк для ее несокрушимо могучего, по самую грудь усыпанного веснушка-

ми тела. Ему было жалко и обидно, что Лиза, толстая, веселая, простодушная Лиза, каждый вечер ложится спать с этим дьяволом, с Вильгельмом. Правда, она была замужем за ним, она копала его поле, доила его коров и растила его детей. Но такой пакости Лиза все-таки не заслуживала, хотя и злила Христиана до чертиков.

Он отбросил крестьянский башмак и взялся за пасторский. Тут нужно было набить одни носки, скряга-пастор соглашался на новые подметки, только когда Христиан заявлял, что иначе ничего не выйдет.

Вот глупая баба, чуть что, норовит взяться за старое. Только останется одна, сейчас же тащится сюда — будто не знает, что за ними следят и с того берега и с лодок.

Услышав ее легкий, но твердый шаг, он, хотя никогда не имел склонности к фантазиям, все же подумал: «Хорошо бы нам с ней жить вдвоем в моей норе! Тогда бы она прямо с работы шла ко мне. Мы были бы мужем и женой перед богом и людьми. Она могла бы при всех сказать: «Милый мой Христиан!»

— Милый мой Христиан! — сказала Лиза.— Не худо бы, чтобы ты когда-нибудь прибил каблук и мне, а не только все чужим.

Он даже не поднял на нее глаз и вертел в руках истоптанный каблук; она сбросила туфлю, требующую починки. Он отложил башмак пастора, надел на руку ее туфлю, еще теплую внутри, но головы и тут не повернул.

— Нужно же, чтобы такой грех случился, когда я одна дома,— сказала Лиза.

— А где же все остальные?

— Сегодня большой праздник в Кольхазенбрюке.— Она облизала губы. И со смаком выговорила: — Туда приедет рейхсбауэрнфюрер, школы тоже соберутся его приветствовать, и наш малыш поднесет ему букет цветов.

— Подумаешь, какая важность! — заметил Христиан.

— Ну, не скажи,— ответила Лиза.

— Я думал, для такого дела возьмут цизеновского внука. Говорят, Цизен словчился заключить неплохую сделку с прусским правительством: всю землю, за которую ему нечем было платить налоги и проценты, у него, говорят, за бешеную цену откупило правительство и присоединило к его же родовому имению. За такое дельце стоит поднести букет высокому гостю.

— А вот и нет. Имение разделят между последней голытьбой, между такими, у кого своей земли кот наплакал. На них бы рукой махнуть, так вот нет же! Имение теперь поделят и дадут им землю в аренду, а всяким там, скажем, сапожникам, булочникам отведут тут же мастерские и лавки!

— Как! Всех голодранцев устроят?

— Ну, на всех земли не хватит. Говорят, выберут по одному из каждой деревни в нашей округе.

— А вас выберут?

— Ты что, рехнулся, Христиан? Какая же мы голытьба? У нас, почитай, своя усадьба. Может, Вильгельму удастся прирезать ту полоску, на которую он зарится, тогда и вовсе наш двор запишут в родовые дворы.

Христиан задумался.

— Какой это еще полоски ему не хватает для полного счастья?

Лиза стояла позади Христиана в одной туфле. Она смотрела сверху на его плешивую голову и думала: «И чем только он мне нравится?» Она предпочла оставить без ответа его последний вопрос и сказала довольным тоном:

— Господь бог помог нам наконец. А то хоть в петлю лезь. Теперь нас уж никто не тронет. Никто не посмеет описать.

— Господа бога ты оставь в покое,— отрезал Христиан. Он умышленно все время не смотрел ей в лицо, теперь этого нельзя уже было избежать; она присела перед ним на землю, чтобы надеть туфлю. Глаза у нее были блестящие и яркие, как стеклянные бусины. Христиан уставился на пасторский башмак, который опять взялся чинить. Он и без понуканий духовника отошел помыслами от Лизы и обратился к вечности. Жаль только, что пастор все испакостил ему своим страхом перед начальством.

Это была безмолвная развязка в тайниках его очерствевшего сердца. Другая развязка произошла открыто среди бела дня. Христиан рассказал Вольнерту, что Штробелю не удалось бежать и что он похоронен в двух метрах отсюда, на дне озера. И Вольперт стал раздумывать, как бы ему вскрыть истину, не повредив Христиану. Товарищам по работе он не решался довериться. Наконец он надумал, сделав вид, что старается сдвинуть с места лодку, пошарить вокруг мостков багром в надежде наткнуться на труп. Эта находка, несомненно, вызовет всеобщий ужас и

возмущение. Однако багор ни за что не задел, то ли потому, что Вольперт неверно направил его, то ли потому, что труп уже слишком глубоко затянуло в песок.

С противоположного берега кто-то заметил его возню и заподозрил неладное. Однажды Христиан, возвращаясь из деревни от заказчиков, увидел, что возле его сарая раскинулся настоящий лагерь штурмовиков. «Вот так штука!» — мелькнуло у него. Он медленно приблизился, сильно припадая на больную ногу, и искоса бросил на брата умоляющий взгляд. Вильгельм, увидя этот взгляд, подумал: «Экая слизь!» и крикнул ему:

— Ну-ка, подойди сюда!

На мостках лежало что-то только что вытащенное из воды, мокрое, скользкое, похожее скорей на огромную протухшую рыбу, чем на останки человека. Вильгельм насмешливо скривил рот и огляделся по сторонам. Теперь мы покажем этому мозгляку, означал его взгляд, он у нас все скушает как миленький.

А вслух он сказал:

— К нам поступили сведения, что здесь произошла драка между рабочими разных убеждений. Мы произвели расследование. Тут пахнет политическим убийством. Понимаешь, Христиан, этого беднягу, по-видимому, укокошили за то, что он перешел к нам.— Его смеющиеся глаза смотрели в глаза Христиану, а тот растерянно уставился на брата.

— Понимаю,— пробормотал Христиан.

На другой день утопленника похоронили. При этом даже была произнесена речь. Столкновения между рабочими вроде того, которое стоило жизни несчастному юноше, отжили свой век. Теперь, мол, весь народ един и не знает классовых раздоров.

В группе дорожных рабочих, переправлявшихся вечером через озеро, не хватало Вольперта. Христиан осведомился, куда он девался. Ему кратко ответили: в концлагерь. Христиан подумал: «Значит, он даже не сослался на меня. Значит, ему важно было, чтобы я считал его порядочным человеком».

Сам он не имел ни малейшего желания кончить, как Вольперт, из-за собственной порядочности. И все же, сидя на треноге под навесом, он испытывал гордость от сознания, что связан с такого рода людьми тонкой и хрупкой нитью порядочности.

III

Хотя у Ливена теперь денег было достаточно, чтобы провести отпуск, где ему заблагорассудится, он сел в скромный вагон узкоколейки, ведущей на Ольмюц, и отправился навестить кузена Отто.

Когда он очутился ночью перед высокой оградой, ему сразу стало ясно, почему его потянуло сюда: это единственное место на земле, где ему будут рады. Отто Ливен сам отворил ему и прямо повел гостя к себе в спальню. Постель была несмята, раскрытые книги, разбросанные бумаги свидетельствовали о бессонной ночи.

— Я так устаю за день, что каждый вечер надеюсь наконец-то уснуть. А потом ворочаюсь час-другой, встаю, пишу, читаю. Садись, милый, выпьем чего-нибудь на радостях, что мы снова вместе. Выскажем друг другу все, что накопилось на сердце.

— Выпить я охотно выпью с тобой,— смеясь, ответил Эрнст Ливен,— но на сердце у меня ничего не накопилось.

— Значит, ты сам справился со всем? Переварил все, что произошло? И пришел для себя к какому-то решению?

— Не знаю, каких ты от меня ждешь решений. И что такое произошло за последнее время? Что мне надо переваривать?

Старший кузен посмотрел на младшего прищурившись, как будто смотрит на него издалека. У Отто Ливена лицо было такое загорелое, что казалось темнее волос. Шишковатый лоб, орлиный нос, резко очерченный подбородок придавали ему суровый вид, а рот выдавал безволие. Он принес початую бутылку водки и две рюмки.

— Наконец-то! Раньше у тебя этого угощения недоставало,— смеясь, сказал Эрнст Ливен.

Они выпили.

— Ты спрашиваешь, что именно произошло,— начал старший Ливен.— По-твоему, ничего, что убили людей, на которых мы возлагали надежды?

— Кто это мы? И какие надежды? А кроме того, говорят, на войне нередко убивают людей, на которых возлагались большие надежды.

Отто сдвинул абажур настольной лампы. То ли от затененного света, то ли от тминной водки им казалось, что они случайные попутчики, едущие в одном купе.

— Эти люди не пали в бою,— сказал старший,— их убили.

— Их пришлось расстрелять, потому что они тормозили движение.

— Какое же это движение они, по-твоему, тормозили?

— Какое движение? Ты задаешь мне те же вопросы, что и твоя сестра Элизабет. Кстати, я не подозревал, что мы с ней встретимся здесь. При входе я заметил ее жакетку, как всегда, на самом неподходящем месте. Кажется, на дверной ручке. У нее прямо какое-то предубеждение против вешалок.

Кузен пристально посмотрел на него.

— Какое же это, по-твоему, движение? — повторил он свой вопрос.

— Все это я с превеликим трудом растолковал твоей сестре. А ты сам объяснял мне здесь, что такое национал-социализм, когда я еще считал его очередным немецким изобретением, очередным очковтирательством. А теперь ты хочешь, чтобы я тебе изложил его смысл.

— Незачем. Элизабет пересказала мне все, что ты ей объяснял, может быть, не в таких тонкостях, потому что ты сам тогда не был так просвещен, как теперь. Например, ты говорил ей: чтобы она могла вернуться домой в имение и чтобы тебе не корпеть на жалкой грошовой работе, нужно верить правительству, знающему, чем взять народ. А таким мелочам, как кричащие плакаты и пошлые песенки, не надо придавать значения. Ты и теперь, вероятно, повторишь ей то же самое: если она хочет вернуться к себе в поместье, пусть не придает значения мелочам — кричащим плакатам, пошлым песенкам и парочке убийств. Только за это время тебя, вероятно, научили выражаться осторожнее.

— Ну, знаешь, ты заходишь слишком далеко. Что это за речи?

— При этом наше родовое имение, куда сестра моя вернется, если пренебрежет кое-какими мелочами, повторяю, наше имение — сущий пустяк по сравнению с тем поместьем, где ты жил в бытность свою в Верхней Силезии. Воображаю, чем только не пренебрегают там! Теперь без конца толкуют о крови, расе и всяких таких штуках, поднимающих нашу нацию над всеми прочими нациями. Мне кажется, уж мы-то, Ливены, знаем цену этим качествам, мы ими обладаем и никому не позволим оспаривать их.

Мы знаем, что делает фюрера фюрером, мы не забыли, что делало господина господином, а вассалов вассалами, за что жаловали ленами.

— О да, я не забыл, как шестьсот пятьдесят лет назад мы перевозили великого магистра по льду на собственных щитах вместо саней,— сухо заметил Эрнст Ливен.

— Нет такой ценности, которую вы не поспешили бы опорочить, прежде чем опорочат вас самих.— Загорелое лицо Отто побледнело.— Тебя, по-видимому, нимало не тронет, если Гитлер отбросит некоторые принципы, как бы они ни назывались когда-то — социализмом или как-нибудь еще. Тебе наплевать на принципы. Ты и в Гитлера не веришь, ты веришь во власть, потому что от нее что-нибудь да перепадет на твою долю.

Эрнст Ливен встал.

— Вот не ждал неприятностей, когда ехал сюда! Никак не думал, что ты с первого же дня начнешь донимать меня принципами.

Старший кузен посмотрел на него, покачал головой и сказал:

— Ну хорошо, посиди со мной, допей рюмку. Я ведь живу очень одиноко, а душу излить хочется. Вот я и накинулся на первого, кто мне попался под руку. Случайно это оказался ты. Я вовсе не думал портить тебе первый свободный вечер, прости, пожалуйста.

Утром за завтраком Ливен встретился с кузиной, кузен давно уже отправился на поле. Завтрак, состоявший из черного хлеба, масла, меда, яиц и житного кофе, был подан на массивном шестиногом некрашеном столе в той части кухни, которую при желании можно было отделить от плиты занавеской. Занавеска, скатерть и фартук веселой толстухи крестьянки, ведавшей хозяйством, были из одинаковой красной клетчатой материи.

Элизабет сказала:

— Брат любит есть за одним столом с домашней челядью и с батраками. Он этим, видите ли, утверждает национальное единство. Только при всем равенстве рекомендуется не забывать, что он — первый среди равных.

— Если ты не возражаешь, Элизабет, мы задернем занавеску на время завтрака. Это создаст иллюзию уединения.

— Ты сам теперь убедился, что мой добрейший братец чересчур говорлив. Он очень возбужден, это меня

тревожит,— сказала Элизабет, бережно снимая сливки с молока в фаянсовый сливочник превосходной кустарной работы, как и большая часть посуды и мебели в доме.

— Да-да, он накинулся на меня в первый же вечер.

Элизабет намазала кузену хлеб маслом и медом.

— Я все время боялась, что вы с ним поссоритесь. Ты уж, пожалуйста, потерпи, если он будет докучать тебе. Он порядочный человек, а такие, к сожалению, всегда скучны. Я долго над этим думала.

Эрнст Ливен засмеялся.

— У тебя новая привычка — долго думать. И ты до чего-нибудь додумалась?

— Да, конечно. Я поняла, почему порядочные люди обычно скучны. У них есть принципы. Не скучно только то, что неожиданно, что беспрерывно меняется. А принципы не меняются...

— Занавеска не мешает прислуге слышать наш разговор. Если не возражаешь, перейдем на русский язык.

— С большим удовольствием. Я рада, что ты приехал. Надеюсь, тебе удастся помочь ему.

— Отто, к сожалению, дошел до того, что не знаешь, помогать ему или донести на него.

Элизабет быстро подняла на кузена изумленный взгляд.

— Эрнст, что ты говоришь?

— Случается, я говорю то, что думаю. Я не могу позволить себе роскошь пропускать мимо ушей все то, что ему непременно нужно выложить.

Элизабет посмотрела на него так же пристально, как вчера вечером смотрел ее брат. Потом кивнула, как будто что-то уяснив себе, разлила по чашкам кофе, взяла себе яйцо.

— Эта власть — моя власть,— продолжал Эрнст Ливен.— Все мое благополучие зависит от нее. И всякий, кто против нее, мой враг.

Элизабет налила ложку сливок в его кофе. Она, очевидно, поняла, как вести себя с ним.

— Милейший Эрнст, вряд ли твой кузен, а мой брат, сидя здесь, в Ольмюце, причинит серьезный вред той власти, которой ты вручил свою судьбу. У него больше склонности к монологам, чем к публичным выступлениям. Он не годится для таких штук, как «Черный фронт» и прочее. Это не для него. Оставь его в покое, он сам успо-

коится. На худой конец, он в следующий раз будет донимать тебя чем-то другим. Несколько лет назад ему ведь стоило настоящего труда, искренних душевных мук отказаться от старых убеждений и воспринять кое-какие новые. И к новым он стал относиться не менее серьезно, чем к старым. Что поделаешь, он ко всему относится нестерпимо серьезно. А теперь ты требуешь, чтобы он махнул рукой именно на те убеждения, которые стоили ему таких душевных мук.

— Я и не подозревал, Элизабет, что тебе не лень задумываться над текущими событиями. Меня только удивляет, откуда ты сразу все поняла здесь, в Ольмюце.

Элизабет нагнулась над караваем хлеба и стала медленно и ровно нарезать ломтик за ломтиком.

— Я думаю не о текущих событиях, а о своем любимом брате. А все, что касается его, я, разумеется, сразу поняла здесь, в Ольмюце.

Теперь ее лицо было таким же, каким Ливен впервые увидел его в вагоне,— выражение холодной насмешки делало это лицо почти неузнаваемым. По нему трудно было понять, сказала ли она «любимый брат» в насмешку или всерьез.

Два часа спустя Эрнст Ливен пошел прогуляться по деревне. Из какого-то сада ему навстречу вытянулась чья-то рука. Ливен не мог разобрать, кто его приветствует. Не мог разглядеть человека, закутанного, как полагается пчеловоду, он ничего не видел, кроме гитлеровского приветствия.

Когда Ливен шел обратно, человек уже стоял в сюртуке и галстуке. Он отрекомендовался новым школьным учителем Манке. Эрнст Ливен сел рядом с ним на скамейку. Манке был горд, что все проходящие крестьяне видят его в дружеской беседе с эсэсовским чином. Он глубоко польщен таким знакомством, он давно мечтал о приезде господина фон Ливена. Господин Отто весьма встревожен недавними событиями — это и понятно. Фюрера предали люди, которым он всецело доверял, кто мог ожидать чего-либо подобного от Рема, главы штурмовиков?

«Придется торжественно просить у Зиберта прощения за легкомысленную критику,— думал Ливен.— Совершенно очевидно, что наши воззвания не бывают непродуманными и психология у нас отнюдь не хромает. Очевидно, все это были мои выдумки. А люди так и рвутся верить любым нелепостям. Они верили в непорочное зачатие, они

верят в непотребное поведение Рема, они верят, что его на этом застукал фюрер тридцатого июня».

— Лес рубят — щепки летят,— изрек новый учитель Манке.— Раскрытие столь крупных преступлений нашло отголосок и в нашем узком кругу. И господин Отто, несомненно, очень тяжело пережил инцидент с моим предшественником.

Ливен насторожился. Ему лично этот субъект всегда был не по нутру, продолжал повествовать Манке, они встречались мельком на учительских конференциях. Долгое время он старался оправдывать выпады этого субъекта молодостью и неопытностью, ибо в его воззрениях наблюдались опаснейшие перегибы.

— Я не в курсе дела,— перебил Ливен,— пожалуйста, расскажите подробнее.

Предшественник его поехал на учительскую конференцию в Штеттин. И несмотря на предостережения, не постеснялся высказать там во всеуслышание свои предосудительные взгляды. Представители национал-социалистской партии, ознакомившись с отчетом, вызвали его для объяснений прямо с конференции. А ему, Манке, предложили немедленно вселиться с женой и тремя детьми в учительскую квартиру, кстати чересчур просторную для холостяка.

— А что же ваш предшественник? — Ливен представил себе влюбленного в Элизабет долговязого малого, как он сидит, обхватив стул руками и ногами.

— Боюсь, что он в концлагере,— ответил новый учитель приглушенным голосом, каким сообщают о щекотливом деле.

Когда Ливен поднялся, Манке спохватился, что позабыл свой главный козырь.

— Подсолнухи выросли с детские головы,— начал он.— Знаете, как они называются по-гречески — Helianthos. И знаете, что я в этом усматриваю? Неразрывное единство нордическо-греческой культуры.

— Н-да,— пробурчал Ливен.

За ужином Отто Ливен был гораздо спокойнее, рассказывал всякие деревенские новости. Эрнст Ливен вскользь спросил о прежнем учителе — новый наговорил о нем невесть что.

— Ах, да,— ответил Отто Ливен,— я уж совсем позабыл о нем. В концлагере — это все равно что в могиле, ведь правда? Туда и дорога тем, кто мешает великому движению.

Элизабет удивленно посмотрела на брата. Намек был ей непонятен, так же как и тон, которым Эрнст Ливен ответил:

— Еще бы! От таких надо попросту избавляться.

Перед сном она пошла в комнату к брату. Он сидел за столом под лампой и не обернулся на ее шаги.

— Это ты, Элизабет? Садись, душенька,— сказал он.— Ты мне не помешаешь. Даже наш кузен Эрнст не застал бы меня врасплох, я не читаю ничего запретного — ни заграничных газет, ни писаний, которые надо прятать.

Он сидел, подперев голову руками, перед ним лежала фотография Адольфа Гитлера в рамке.

— На стене останется пятно. Но я все равно больше не стану вешать этот портрет. Вглядись внимательнее в его лицо. Что ты о нем скажешь, Элизабет?

Элизабет стала позади брата и через его плечо смотрела на портрет, будто не видела его за последний год сотни тысяч раз.

Она сказала:

— В Берлине куча психопаток целовала шины его автомобиля, когда он подъезжал к отелю «Кайзерхоф». Рискуя омрачить светлый образ твоей сестрички, почему-то созданный тобой, я все-таки сознаюсь, что мне мало импонируют такие проявления человеческих страстей.

— Я долгое время считал, что этот портрет олицетворяет будущее Германии,— сказал Отто Ливен.— Удивительная штука — портрет, ведь он показывает самое очевидное в человеке, то, чего не подтасуешь. Можно так и этак толковать слова и мысли, но лицо, рот, нос, уши подделать нельзя. Так казалось бы. И что же — портрет другого человека на самом деле является всегда нашим собственным отражением. Мы видим в нем то, что нам хочется видеть. Мне хотелось что-то увидеть в этом портрете, и я уверил себя, что он изображает исключительную личность. Даже вот эта пресловутая прядь умиляла меня. Я видел в ней какую-то детскость, что-то наивное, неожиданное для человека, который сильнее нас всех, вместе взятых. Я смотрел на его глаза и говорил себе: конечно, это глаза одержимого, но одержимого высокой идеей, и

уставились они в одну точку, потому что провидят великое. А теперь мне противно его лицо. Это глаза одержимого, да, одержимого безумием, и уставились они на то единственное, что кажется ему великим,— власть. Говорят, кучка людей дала ему ход, чтобы он навел порядок в Германии. Ему, видите ли, известен фокус, как сделать, чтобы богачи оставались богатыми, а бедняки — бедными. Он самый ловкий алхимик на свете. Король ухмыляется, загребая поддельное золото, а сам отлично знает, что монеты фальшивые. Его алхимик очень полезен, он сам, должно быть, считает себя золотым человеком, и тут он, пожалуй, даже не обманщик, хотя и обманывает всех. Ты знаешь сказку о тени?

— Ложись спать, Отто. Тебе вредно думать по ночам.

— Это сказка Андерсена. Тень служит своему господину, пока сама не становится всесильной, тень становится сильнее своего господина. Алхимик, бывший на жалованье у короля, становится богаче короля.

— Пожалуйста, не рассказывай этого завтра утром. Особенно в присутствии Эрнста. По-моему, тебе было бы очень полезно уехать недели на две: ты болен и утомлен.

— Уехать из-за Эрнста? Ты боишься? Думаешь, он способен донести на меня?

— Видишь, ты сам это говоришь. Я даю тебе хороший совет — уезжай. Я побуду здесь, сколько ты захочешь. Эрнсту доверять нельзя. Он обожает неожиданные повороты.

— Что ты, Элизабет, меня-то уж он не тронет. А сейчас я пойду лягу. Я устал. Мне хочется выспаться сегодня ночью.

Элизабет молча смотрела на него.

— У меня нет никого на свете, кроме тебя,— сказала она неожиданно.

— Вообще я не люблю принимать эту пакость,— заметил Отто,— но сегодня я хочу спать как следует.

Он оперся на руку, чтобы сестра не видела, сколько он сыплет в стакан. При этом он думал: «Очень жаль, сестричка, но больше я не смогу опекать тебя».

Он лег и подвинулся к стене, чтобы она могла сесть возле него. Она подоткнула одеяло так же заботливо, как когда-то в детстве подтыкала мать. Он попросил ее уйти, он надеется сейчас же крепко уснуть и спать долго.

IV

Втайне Венцлов больше радовался свиданию с тетей Амалией, чем с женой Ильзой. Вековые семейные узы, горести и радости юных лет, неуловимый бег бесконечных годов — все привязывало его к старухе, выходившей его, как мать, нет — самоотверженнее матери. Сидя в отведенном ему купе первого класса, он мысленно твердил себе, что ни у одной матери не хватило бы самоотверженности отрешиться от материнского честолюбия, от материнских страхов и воспитать его, руководствуясь только непреложными, на удивление косными понятиями фамильной чести. Стоило ему закрыть глаза, как он отчетливо представлял себе длинную морщинистую шею тетки, и бородавку у нее на подбородке, и даже три волоска на бородавке, поражавшие его в детстве. О жене у него осталось только поверхностное воспоминание бело-розовой, белокурой дымки или пушка. Отдельные черты, робкие ласки растворились в этой нежной и непорочной дымке. Зато от недавнего времени у него сохранились воспоминания куда более пряные, менее непорочные и менее туманные. Сюда можно было отнести прощание с некоей Маней, которой он не позволил проводить его на вокзал, что она признала вполне правильным. Только выражение печали на ее склоненном личике и посейчас мучит его в специально отведенном ему купе. Последние два года с перерывами они часто бывали почти счастливы, хотя он прежде не допускал возможности такого счастья и сейчас уже не допускает опять. Теперь Мане придется искать нового дружка среди населения колонии, а потом еще и еще, пока она, вечная эмигрантка, не состарится там, где пристанет ее кочевая повозка после бегства из Сибири. Он с улыбкой представил себе ужас тети Амалии, если бы он привез Маню с собой в Потсдам как побочную жену, конечно допустив, что германские законы разрешают такую комбинацию; Мане пришлось бы тогда прислуживать и тете Амалии, и Ильзе, и ее родителям.

Вошел проводник и очень вежливо попросил у него разрешения до следующей станции, где прицепят новый вагон, посадить к нему в купе одного господина, который, к сожалению, слишком поздно пытался заказать себе отдельное купе. Проводник, человек пожилой, вел себя так же, как вели себя с Венцловом все подчиненные послед-

ние три года. Но поведение носильщиков резко отличалось от того, к какому он привык у своих кули: на его приказания они отвечали резко и отрывисто. Вежливому проводнику он ответил, что согласен уступить половину купе, после чего появился низенький господин в очках, служащий «Северогерманского пароходства», как он отрекомендовался. Проводник рассыпался в извинениях, расшибался в лепешку, стараясь поудобнее разложить багаж и всячески угодить. Пассажир из «Северогерманского пароходства» похвалил такую услужливость, а Венцлов с удивлением отметил, что при проезде через Советский Союз железнодорожные служащие показались ему если не такими ловкими, зато менее грубыми, чем здесь, дома.

— Там вы были только проездом,— объяснил пассажир,— а здесь останетесь, и здесь вы начальство, иначе говоря, принадлежите к породе тех людей, от которых народ жаждет избавиться.

Разговор приобрел интерес. Господинчик в очках был первый в Германии, у кого Венцлов после долгого отсутствия мог узнать подробности некоторых событий.

— Все мы сначала думали: посмотрим, на что он способен. Тем временем Гитлер успел показать, на что он способен. В первый год он показал, что способен добыть себе власть, а на второй — что способен ее удержать. Разумеется, и у нас нашлось немало людей, которые испугались, что с летней расчисткой он перехватил через край. Подумайте, одним махом отделался от двух десятков неудобных соучастников! События показали, что он мог себе это позволить. Вернее, не события, а полное отсутствие таковых. Никто и ухом не повел, а он разом избавился от всей шайки, которая толкала его на рискованные предприятия, на сомнительные фортели. Я тогда же сказал приятелям: увидите, он останется у власти. Подумаешь, кто будет плакать о Реме и компании? В Германии люди до сих пор делятся на тех, кто за Гитлера, и на тех, кто против него. Те, кто за него, понятно, всё одобряют. Те, кто против, к счастью, отнюдь еще не за Рема и ему подобных. Я говорю — к счастью, потому что наше государство снова бодро плывет на всех парусах и можно, доверившись ему, спокойно заниматься своими делами.

Венцлов уже не слушал. Он смотрел в окно на унылый предвечерний пейзаж, на тусклые глаза озер. Он отвык от этого великого безлюдья, в котором мерцали одиночные

огоньки. И несмотря на грохот поезда и болтовню попутчика, не слышал уже ничего, кроме тишины, проникавшей ему в душу из побуревших лесов, из полей и озер. Везде — на гостиничных кроватях, в машинах и на рикшах, во всех любовных и военных похождениях, думая о возвращении на родину, он представлял себе, что там наконец-то настанет тишина. Родина в его воображении сливалась с всеусмиряющей тишиной. И ничто не могло поколебать это представление, даже выстрелы, прогремевшие здесь после войны.

Путевых огней становилось все больше, рельсы переплетались, дома сдвигались плотнее, вытесняя из пригородного пейзажа леса и поля. Венцлов заглядывал в окна предместий. Ему вдруг стало страшно предстоящих встреч. На Силезском вокзале его ждала целая толпа. Он увидел лица старых полковых товарищей, лицо тестя, увидел сестру; его удивило, что и она здесь. Он давно не вспоминал о ней. Глаза у нее сейчас были почти сияющими и почти темно-синими. Дамочка в нелепой круглой шляпке, схватившая его за руку, очевидно, была его женой.

— Едем скорее домой,— сказал он.

Тетя Амалия, единственная, по ком он соскучился, не приехала его встретить.

— Ему не терпится увидеть сына,— крикнул Мальцан.

О сыне Венцлов совсем забыл.

Тетя Амалия стояла в фонаре с разноцветными стеклами, как всегда, когда ждала кого-нибудь. Венцлов был взволнован до слез, однако сдержанно поцеловал руку тетки, а тетка чмокнула его в пробор; у нее сжалось сердце от родного запаха его поредевших волос, которые пахли так же, как некогда его мальчишеские вихры. Ее лицо стало еще костлявее и длиннее. Венцлов внимательно вглядывался в него, как в знакомое поле, где прибавилось борозд.

Тетя Амалия, поджав губы, смотрела на свидание отца с детьми. Фриц Венцлов, спрятав свой страх, целовал и ласкал перепуганных ребятишек — двух девочек в расшитых крестиком платьицах и до неловкости чужого крошечного ваньку-встаньку в штанишках. На чужбине он не раз хвастал своим сыном, а дома его гораздо сильнее тянуло к обеим девочкам, к их пушистым, мягким волосам, круглым полным ручкам. Из девочек ему больше понравилась старшая. У нее была квадратная голова и сердитые глаза,

она уклонялась от его ласк и смотрела на него издалека недоверчиво и угрюмо, между тем как младшая все время жалась к нему.

Тетя Амалия накрыла сегодня стол в гостиной. Она настояла на том, чтобы обе семьи собрались у нее, хотя угощение было ей почти не под силу. На этой торжественной встрече она больше, чем когда-либо, чувствовала себя главой семьи. Все, кто сидел вокруг накрытого стола, были связаны с ней: возвратившийся Венцлов, племянница Ленора, семейство Мальцан, девочка, которой, как старшей, разрешалось есть со взрослыми, даже Хельмут Клемм, обычно бывший у нее бельмом на глазу, и ряд приятелей Венцлова, правда не состоящих с ней в кровном родстве, но которых не было бы здесь, не будь ее семьи. Не было бы неизменно циничного Штахвица и даже юстиции советника Шпрангера, приехавшего на торжество в автомобиле и называвшего Венцлова «мой мальчик».

Младшая дочка спросила, есть ли в Китае зайцы, и была разочарована, когда отец ответил:

— Да, есть и тигры и зайцы.

Он хвалил каждое кушанье в отдельности. Тетя Амалия долго копила деньги на настоящего зайца, она собственноручно освежевала его и начинила красной капустой. Венцлов вскочил и провозгласил тост за здоровье тети Амалии; она чокнулась со всеми, задыхаясь от гордости. Потом покосилась на Венцлова, желая узнать, по вкусу ли ему ромовый пудинг. А пудинг прямо таял во рту, так что Венцлов забыл обо всех лакомствах, какие когда-либо ему подавали во всех клубах и консульствах Азии и Европы. Единственная свастика за семейным столом была и на этот раз на рукаве юного Клемма. Его красивое, свежее, юное лицо было обращено к Венцлову, как поворачивается к солнцу молодой лист. Выражение спесивого превосходства, делавшее его порой упрямым и недобрым, сменилось выражением безграничной преданности. Часто при семейных ссорах и возникавших в классе или в гитлерюгенде спорах, при решении задач, которые, казалось ему, решить невозможно, он утешал себя мыслью: «Спрошу дядю Венцлова, когда он вернется». Венцлов даже отдаленно не подозревал, какое место он занимает в душе этого мальчика. Он не подозревал, сколько ненависти и надежд породили разговоры, происходившие между Хельмутом и теткой перед его приездом. Старуха на-

смешливо спрашивала мальчика, неужели он и при дядюшке намерен щеголять в таком наряде.

Дядя Фриц сразу же приветливо обнял его за плечи и сказал окружающим:

— Каждый раз, когда я там, за границей, видел в газетах, какова теперь наша немецкая молодежь, я невольно искал на снимке физиономию этого мальчугана.

Хельмут при этих словах бросил торжествующий взгляд на тетку, а она от злости поджала губы. Образ Гитлера маячил где-то далеко; ясный, определенный образ дяди был куда ближе. И вместе с тем он был близок к обожаемому образу фюрера, он как бы находился на полпути к нему. Тетя Амалия и сегодня обошлась без прислуги, предпочтя истратить деньги на пунш, и сама подала домашний торт, подарок Мальцанов. Она очень боялась, что торт своей высотой и пышностью затмит ее сладкое. С затаенным раздражением выслушала она восторженные возгласы; перед тем как подавать торт, она воткнула в верхушку черно-бело-красный флажок. Хельмут снова покосился на тетку, когда дядя заявил:

— Пускай мальчуган возьмет штурмом торт, чтобы мы поскорее соорудили новый, с новым государственным флагом.

— Наш мальчик умиляет меня. Он там, за границей, научился взвешивать каждое свое словечко,— шепнул Шпрангер Мальцану.

Когда все стаканы опустели и торт был уничтожен, а черно-бело-красный флажок валялся на смятой скатерти вместе с остатками кушаний, гости разошлись. Ильза Венцлов пошла в соседний дом укладывать сонную дочку. Фриц Венцлов отправился в сад с тетей Амалией.

— Благодарю тебя, дорогая тетя, за чудесное угощение,— сказал он. Он ничего не мог придумать умнее, хотя сердце его было преисполнено нежности.

— Хорошо, что ты вернулся,— отвечала она,— я в большой тревоге. Ты представить себе не можешь, как эти нацисты, эти выскочки, распоясались тут у нас. Сначала, когда Гинденбург приручил этого типа и часто показывался с ним, я надеялась, что этот тип — их теперешний фюрер — действительно обратился на путь истинный. Не мог же он не почувствовать, кому всем обязан. Боюсь, что ни он, ни тем паче господа, пришедшие с ним к власти, ничего не почувствовали. Теперь мундир носят какие-то про-

ходимцы. Они растлевают молодежь. Вот, например, у нас в доме живет сын Леноры и Клемма. Ты не поверишь, до какой степени он обнаглел у себя в гитлерюгенде. Нас он ни в грош не ставит, а когда возвращается после каникул от своего опекуна, с ним совсем нет сладу. Надо тебе прибрать его к рукам. К счастью, он по-прежнему обожает тебя так, как только подросток может обожать такого бравого дядюшку.

— Вот видишь ли, милая тетя Амалия,— начал Венцлов,— ты должна правильно понять происходящее. Тебе нелегко придется в нынешнее время. Многие из новых хозяев, конечно, не отвечают нашим прежним понятиям о чести, но нельзя отрицать, что мощь нашей страны несказанно возросла. Ты себе не представляешь, с каким уважением даже на Дальнем Востоке говорят о Германии. И как та категория людей, которая тебя шокирует, научила наш распустившийся, изголодавшийся народ дисциплине и выдержке. И нам, представителям старой армии, будет теперь легче сделать из современных немцев приличных солдат.

— Да, если они попадут к вам в руки.

— А как же? Ведь гитлерюгенд и все эти штурмовые и эсэсовские отряды только прелюдия. Нельзя же идти напролом.

— Дай бог, чтобы это была только прелюдия! Какое счастье, что можно обо всем поговорить с тобой! Ты знаешь, ведь беседы в большом обществе не для меня.

— Вспомни, тетя, Старого Фрица, когда он был молодым! Вспомни, как он ссорился с отцом. Тот знал только своих солдат — настоящий солдатский король — и разбил флейту о голову сына. Но позднее, когда сын — Фридрих Великий — стал королем, он сам запрятал флейту в дальний ящик. Он понял, что отец был прав, он понял, как нужно воспитывать народ для великих дел.

— Да, Фридрих Великий — та же Библия: у него всему научишься,— подтвердила тетка.— Я постараюсь понять то, что ты сказал. Нелегко это мне, старухе. А теперь ступай к своей Ильзе, мой мальчик. Нельзя же тебе первую ночь дома проговорить со старой теткой.

Он с чувством некоторой неловкости пошел в соседний дом. А тетя Амалия, когда все улеглись, убрала со стола и положила парадную скатерть в корыто, чтобы завтра с утра простирать ее.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

I

Ильзу Венцлов никто больше не называл маленькой Мальцан, с тех пор как мужа ее перевели с повышением в Кассель. В гарнизоне не было никого, кто знал бы ее прежде; Штахвиц тоже неизвестно куда девался, всех их разбросало в разные стороны благодаря назначениям, повышениям и перемещениям, связанным с новым законом о всеобщей воинской повинности. Вначале Венцлов смотрел на приезд домой как на отпуск, теперь же он по многим причинам был очень доволен, что может без труда порвать заграничные обязательства и остаться в Германии. Назначение в Китай, бывшее для него брешью в стене — в несокрушимой, крепостной стене жизни,— потеряло свою притягательную силу с тех пор, как пали сами докучные стены. Все, что произошло в Китае после его отъезда, героический поход Красной Армии, почти на глазах у врага форсировавшей Янцзы, он воспринимал как естественное явление для дальних краев, которые случайно оказались ему знакомы. Он не был из числа тех, кто способен привязаться к чужим странам и кому потом тесно на родине. Дома тоже открывалась уйма непредусмотренных перспектив и теперь и тем более в будущем, когда уже не придется тянуть лямку от повышения к повышению до выхода на пенсию, до могилы. Он спал теперь крепко и просыпался без приступов тоски и без пустых мечтаний. Можно было бы сказать, что он помолодел, если бы именно стремление к исключительным, труднодостижимым целям и страх перед обыденной жизнью с обыденными и все-таки непредвиденными опасностями не были характерны для его молодости.

Ильза Венцлов, принимая и угощая знакомых, обходилась без письменных и устных советов матери или тети

Амалии. Дома она была чем-то вроде старшей сестры для своих двух дочек и сына. Здесь же она по вечерам обсуждала с Венцловом вопросы воспитания и сначала сама казалась себе солидной и взрослой, а потом и в самом деле стала солидной и взрослой. Старшая дочь Аннелиза была из тех девочек, о которых в семье говорят: «Почему она не родилась мальчиком?» Словно сама природа хоть и раздумала осуществить семейные упования, но в последнюю минуту все же приняла их в расчет. У девочки были грубоватые черты лица, широкая кость, упрямый и своевольный характер и большая сноровка во всех физических упражнениях. Она постоянно пропадала в гитлерюгенде, что не очень нравилось родителям. Они предпочитали, чтобы она бывала в гостях у офицерских дочек, приглашавших ее. Тем более что там, у себя в группе, она неизвестно зачем дружила с дочерьми ремесленников и рабочих. Непосредственный детский интерес к своему народу заводил ее также в такие районы города, которые мать ее никогда и не видала.

— Этого именно и добивается фюрер,— вечером, когда дети уже спали, улыбаясь, объяснял Венцлов своей растерянной жене.— Вся нация должна слиться воедино, невзирая на классовые перегородки.

— Мне непонятно одно,— возражала Ильза,— каким образом у этой девочки, у нашей дочери, нет в данном случае чувства меры. А только попытаешься ей что-нибудь внушить, она сейчас же становится на дыбы.

— Пойми же,— доказывал Венцлов,— девочка выполняет определенную миссию именно потому, что она — наша дочь. Для тех семей, куда ей случается теперь попадать, именно благодаря этому стираются грани, раньше разделявшие классы. Так подготовляется почва, на которой нам легче воспитывать народ. Он становится доверчивее, а без доверия ни один приказ не может быть выполнен беспрекословно ни в военных, ни в мирных условиях.

Младшая дочка не давала повода для таких бесед. Ее с колыбели называли настоящей маленькой женщиной. Марианну часто за одно утро больше ласкали и родители, и учительница, и прохожие на улице, чем старшую сестру, Аннелизу, за всю ее детскую жизнь. При этом трудно сказать, потому ли мать наряжала ее, а отец сажал к себе на колени, что она постоянно смеялась и рада была услужить, или же, наоборот, она смехом и услужливостью бла-

годарила за ту нежность, которую вызывала ее милая круглая мордочка.

Мальчуган, самый младший из детей, был еще слишком мал, чтобы чем-нибудь, кроме забавного вида, смеха и шалостей, вознаградить родителей за дважды обманутую надежду на сына. Сослуживцы в один голос говорили, что Венцлов больше всего привязан к сыну. А фрау фон Венцлов рассказывала женам сослуживцев, что втайне муж больше любит младшую дочку.

Но самый заповедный тайник в его душе, неизвестный никому и даже ему самому, был отведен старшей дочери — угловатой, резкой, неласковой Аннелизе. Вернувшись вечером со службы, он бывал разочарован, если оказывалось, что девочка задержалась в своей группе. Он язвил по этому поводу, а сам был огорчен, потому что скучал по ней. Он любил ее больше всего именно в те минуты, когда жене казалось, что девочка особенно раздражает его. Он звал ее к себе в кабинет и читал ей нотации. Она равнодушно стояла у письменного стола с растрепанными косами, в помятой белой блузке, и свастика у нее на рукаве колола ему глаза как угроза и предостережение. Девочка невозмутимо слушала, как он строго выговаривал ей за то, что учитель и мать недовольны ею, что она забыла пойти в гости, куда ее приглашали, прозевала полковой праздник, что она постоянно шатается неизвестно где. При этом он чувствовал, что его упреки не только не проникают ей в сердце, но даже не задевают ее. В крайнем случае она сухо заявляла:

— Я не шатаюсь, а выполняю важные задания.— Или же: — Для нас, членов гитлерюгенда, это не упущение, а ерунда.

Он стучал кулаком по столу, кричал на нее. Чем бесплоднее были его упреки, тем они становились резче. Чем они были резче, тем нежнее он любил ее. Чем холоднее и равнодушнее вела себя девочка с ним, человеком, слывшим на службе хоть и справедливым, но неукоснительно строгим в отношении устава, тем больше он втайне восхищался ею, и ему казалось, что ни одна немецкая девочка не могла бы так смело вести себя с таким отцом, как он, сам он в ее возрасте и даже теперь, в зрелые годы, не был способен на подобный отпор.

В душе он чувствовал, что это не строптивая девочка держит ответ перед рассерженным отцом, а одна часть его

собственной совести перед другой частью. Он соглашался с мнением сослуживцев, что следует закрывать глаза на некоторые мероприятия национал-социалистской партии, так как она, что ни говори, вернула Германии былое величие. Хотя отдельные ее мероприятия глупы и подлы, но в ее активе имеются и большие дела — воссоединение Саара, всеобщая воинская повинность, восстановление офицерского престижа. Надо только зорко следить, чтобы она не зарвалась.

Для девочки же нацистская партия была совсем иное. Она была для нее самым первым и самым главным. А возражения отца Аннелиза называла предрассудками. Ему и самому хотелось перестать рассуждать и взвешивать плюсы и минусы.

Он перестал ощущать эту двойственность в тот момент, когда во главе своего артиллерийского полка переезжал мост через Рейн. Тут он, казалось ему, до конца прочувствовал, что это значит — его нация. Единый ритм сердца и стука конских копыт по мосту. Еще при въезде на мост услышал он крики ликования на том берегу. Крики отдавались в Рейне и неслись оттуда, из серо-голубой воды, где отражался зыбкий облик города. Свастика, так часто раздражавшая его на рукаве дочки, теперь развевалась на всех вышках и крышах и вместе с ними зыбко отражалась в воде. Он проехал мимо того места, где бывший его зять фон Клемм свалился в Рейн вместе со своим автомобилем и шофером. Он не знал об этом, а если бы и знал, ничего особенного бы не подумал. Он больше всего думал о своей дочке и мысленно просил у нее прощения. Девочка была права, что предалась фюреру душой и телом, безусловно и безоговорочно. Человек, который отважился, невзирая на запугивания и злопыхательство, занять Рейнскую область, имел право именоваться фюрером.

Теперь он видел перед собой только прямой путь — от Версаля до нынешнего дня, от позора до возрождения. Восторженные крики людей, бросавшихся к его солдатам с флагами и цветами, заглушили боязливые, робкие голоса, которые нередко поднимались вокруг него, а также недавние опасения, сомнения и даже странные секретные приказы: в случае вооруженного сопротивления немедленно отступать. Так как все кругом ликовало, он мысленно

иронизировал над сослуживцами, считавшими занятие Рейнской зоны легкомыслием. Так как захват удался и ни одна из иностранных держав ему не воспротивилась, то Венцлову задним числом казалось, что этот захват и не мог не удасться. Предостережения, полученные Гитлером с разных сторон, теперь, когда страхи не подтвердились, представлялись Венцлову малодушными, трусливыми, чуть ли не изменническими. И заграница, проглотившая все это без малейшего протеста, казалась ему настолько жалкой и слабой, что не стоило с ней считаться.

Но разочарование подстерегало его там, где он этого меньше всего ожидал. Он возвратился в Кассель с твердым намерением никогда больше не упрекать дочку. Он и жене собирался растолковать, что инстинктивно девочка лучше, чем родители, поняла веяние времени.

Жена встретила его озабоченная и раздраженная: девочка допрыгалась до несчастья. Во время состязания она упала с гимнастического шеста. Два ребра ушибла, одно сломала.

Девочка смирно лежала в постели. Рассказ отца она выслушала не восторженно, а молчаливо и довольно равнодушно. Она как-то притихла. Сперва Венцлов не обратил на это внимания. Не может же она после несчастного случая метаться как угорелая. Не удивило его и то, что она от скуки читает в постели книжки. И против книг, которые давала ей старая классная наставница, тоже нельзя было возражать. Похвально и то, что фрейлейн Ленерт часто навещает свою ученицу. И что школьный пастор заходит к ней — посещения болящих, вероятно, включены в круг его обязанностей. Правда, немножко глупо, что он оставил на тумбочке у кровати Библию, но нельзя же ставить пастору в вину, что ему непонятны настроения девочки-подростка.

Вокруг Аннелизы были возведены те же высокие стены, которые некогда стесняли жизнь ее отца. Эти степы были неумолимо воздвигнуты обществом, к которому она принадлежала по рождению; одиако в них попадались лазейки, ходы и выходы, через которые можно было улизнуть. Но, улизнув, можно было, как узнику, привыкшему к темнице, вернуться назад. Или же по привычке к узким рамкам видеть и в мире только привычные предметы. Случалось, что люди, жившие за пределами этих стен, проникали внутрь, то ли проскользнув случайно, то ли но-

лучив пропуск от стражей. У старой учительницы был такой пропуск, и она проникла к постели больной ученицы, был такой пропуск и у пастора. Они приходили на это узаконенное свидание в тюрьму и приносили с собой подарки и книги, мысли и слова. Пастор никогда не приходил с пустыми руками, он оставлял мысли, и эти мысли застревали у девочки, мучали и терзали ее. Она была потрясена одним изречением, которое он обронил и которое показалось ей удивительным, просто неслыханным: «Перед богом все люди равны». Если углубиться в эту мысль, можно зайти так далеко, что дальше уже побоишься спрашивать.

Когда дедушка и бабушка Мальцан предложили взять внучку к себе в Потсдам на поправку, их приглашение было принято с радостью. Венцлова и рассмешило и приятно поразило письмо тети Амалии, где говорилось: «Твоя старшая дочка Аннелиза очень радует меня, старуху. Она для меня настоящая отрада среди всех огорчений, какие мне причиняет клеммовский отпрыск. Мы были разочарованы, когда вместо сына, на которого надеялись, родилась она. Но по ней видно, что она — твой первенец, дорогой Фриц. Верь моему пророчеству — эта девочка до конца жизни останется верна принципам нашей семьи».

Ильза засмеялась — видно, девочка старается прилично вести себя в гостиной его тетушки.

А девочка постепенно начала осознавать себя в мире как самостоятельную, обособленную личность. Именно потому, что она лишь сейчас открыла свое «я», она и ощущала его сильнее, чем взрослые, успевшие забыть об этом открытии. И ей яснее, чем взрослым, была ценность этого «я», неповторимого и беспредельного. И она поспешила отдать его тоже целиком, без ограничений, прежде всего гитлерюгенду, а там уж постарались целиком поглотить его. Придирки родителей были противны девочке, она считала обоих эгоистичными и неискренними. Дворянская гордыня отца и матери была просто глупа. Возможно, что так же глупа была и расовая гордыня. А вдруг пастор Шрёдер прав? Вдруг перед богом все равны?

Конечно, тетя Амалия была не менее спесива, чем отец. Но с ней можно было о многом говорить, стоило только помогать ей на кухне. Скажешь ей, что пастор Шрёдер утверждает, будто перед богом все люди равны, а тетя Амалия ответит:

— Перед богом — да. Но здесь, на земле, в земной жизни мы должны подчиняться богом же утвержденному порядку, зато на том свете все решает он, не Гитлер, а он один, и больше никто.

После этого все опять становилось неясно, неопровержимые истины были поставлены под вопрос, а сомнительные, спорные утверждения объявлялись бесспорными. Девочке трудно было сразу разграничить этот и тот свет. Но она любила сидеть возле старухи, которая отчасти была согласна с отцом, отчасти с пастором Шрёдером. Аннелизе были приятны такие разговоры. Тете Амалии они тоже были приятны, потому что больше никто не имел ни времени, ни охоты вникать в ее рассуждения.

II

У кузена Клемма, опекуна Хельмута, сказывалось некоторое семейное сходство с покойным отцом мальчика. Но у него все было еще грубее — и мясистый нос, и рот, и глаза, и ум. В нем не было и тени того остроумия, той хватки, которые делали покойного Клемма центром любого общества. В данный момент кузен Клемм сидел, судорожно выпрямившись и вытянувшись перед эсэсовцем, вызвавшим его для весьма важного разговора. То, что от исхода беседы зависела будущность его подопечного, менее всего тревожило Клемма, но если Хельмута не примут в школу фюрера, где воспитывалось молодое поколение эсэсовцев, тогда мальчик спутает все его планы на будущее, тогда ему волей-неволей придется уступить племяннику руководство фирмой и тот станет поперек дороги его собственным сыновьям, которым он прочил эту не столь блестящую, но зато надежную карьеру.

Поэтому он был полон решимости противопоставить всем возражениям эсэсовца, вызвавшего его для уточнения семейных обстоятельств, такую твердость, на какую у него обычно не хватало пороха.

— Я позволю себе задать вам, господин Клемм, несколько вопросов, прежде чем переслать мою рекомендацию по принадлежности. Начну с того, что я лично вполне сочувствую вашим намерениям. Но, рекомендуя юношу в высший воспитательный орган государства, я должен быть сугубо осторожен. Судя по тщательно заполненным

вами опросным листам, вы стали опекуном Хельмута фон Клемма после смерти вашего двоюродного брата.

— Совершенно верно.

— Опекуном вы стали потому, что смерти от несчастного случая предшествовал развод?

— Совершенно верно.

— И виновной стороной была фрау Ленора фон Клемм?

— Совершенно верно.

— Вот видите. Это надо еще уточнить. В отношении питомцев привилегированного учебного заведения все вопросы должны быть выяснены до конца.

— Свидетельскими показаниями на суде неоспоримо доказано, что любовником фрау фон Клемм был некий господин фон Ливен, состоявший тогда в добровольческом. корпусе,— пояснил Клемм.— В период преступной связи Хельмут существовал уже как неоспоримый сын своего отца, моего двоюродного брата, зачатый в законном браке.

— Родословная вашего двоюродного брата налицо, она безупречна. Но какие у вас доказательства его отцовства?

— Любовник, господин фон Ливен, впервые явился в Рейнскую область, когда его бригада после капповского путча была брошена на подавление восстания в Руре. Эти обстоятельства были уточнены на суде.

— Все это так. Но как вы можете доказать, что поведение фрау фон Клемм до данной связи было безупречно? Против происхождения этой особы возражать не приходится, но поведение ее позволяет заключить, что она была не слишком строга в вопросе супружеской верности. В этом все дело. А наша задача — следить, чтобы в среду отборных питомцев фюрера не попало ни капли недостойной крови.

Клемм принялся с жаром возражать, считая, что любое преувеличение, любая подробность, которую невозможно проверить, тут только пойдет на пользу:

— С тысяча девятьсот шестнадцатого года, когда я был ранен и признан непригодным к военной службе, я проживал в доме моего кузена и тогда уже в его отсутствие ведал делами его семьи и предприятия. Ленора фон Клемм, имевшая образование медицинской сестры, ухаживала за своим свекром, а моим дядей до самой его кончины. Вся ее жизнь проходила, можно сказать, у меня

на глазах. Могу поручиться, что до встречи с вышеназванным Ливеном у нее не было ни одной связи. Я твердо знаю, что мой подопечный — старший мужской отпрыск нашего рода, и именно поэтому настоятельно желаю, чтобы он получил воспитание, соответствующее его способностям, и мог с пользой служить государству.

•

Хельмут лихорадочно ждал окончательного ответа, когда и куда ему являться, в случае если он будет принят. У своего югендфюрера он был на самом лучшем счету. Он знал, что все инстанции наперебой рекомендовали его. Знал он также, что некоторая заминка связана с прошлым его матери.

Фотокарточка отца стояла у него на ночном столике. Когда никто не видел, он вглядывался в смеющееся, грубоватое лицо с подстриженными светлыми усами. Он пытался прочесть в веселых, смеющихся глазах, правда ли то, что говорил дядя,— будто отец расчистил дорогу Гитлеру. Будто он принадлежал к тем немногим, кто предугадал значение фюрера, когда тот был еще не признан и осмеян. Четыре года он рисковал жизнью на войне; он получил Железный крест первой степени; он был трижды тяжело ранен. Хельмут знал также про денщика Бекера, который был потом шофером и погиб вместе с отцом. В легенде, созданной вокруг умершего отца, храбрый, до последнего вздоха преданный своему господину Бекер играл немаловажную роль. Хельмут знал и менее пышные послевоенные легенды, повествовавшие о преданной службе Бекера в ту пору, когда отец продолжал неуклонно сражаться за честь Германии наперекор Версальскому договору. От своего югендфюрера Хельбаха он узнал всю правду про опекунство дяди и про развод родителей незадолго до автомобильной катастрофы. Равнодушие мальчика к матери перешло в раздражение, когда Хельбах намекнул, что виною последней проволочки — его мать. Он и раньше уже изливал Хельбаху свою досаду на то, что ему приходится губить молодость в обществе двух старых баб. Двоюродную бабушку, тетю Амалию, он никогда в грош не ставил, а теперь и мать перестала для него существовать. Если бы материнство могло быть таким же спорным, как отцовство, он охотно объявил бы себя подкидышем.

Однажды утром перед занятиями его позвали к Хельбаху. Он сразу же по лицу Хельбаха увидел, что ответ благоприятный. Его зачислили с нового года. Югендфюрера первого известили об этом.

От возражений двоюродной бабки и матери Хельмут на первых порах отмахнулся как от смехотворного, ничтожного препятствия. Он не счел нужным даже делать вид, будто слушает, хотя они до поздней ночи пространно и настойчиво внушали ему, что теперь наконец молодому немецкому дворянину предоставлена возможность последовать примеру деда и прадеда и посвятить себя в своем освобожденном отечестве военной карьере и потому нелепо выбирать себе другое поприще. Капитан фон Венцлов, его дядюшка, вскоре поместит своего единственного сына в военное училище, а его собственный отец непременно стал бы кадровым офицером, не помешай этому Версальский договор.

— Брось, мама,— выкрикнул Хельмут.— Не ставь мне в пример отца, ты-то сама с ним не очень считалась.

Ленора, побледнев, смотрела на сына. Потом опустила глаза. Она не увидела, но явственно услышала звонкую пощечину, которую ее тетка отвесила мальчику.

В водянисто-голубых глазах тетки была холодная злоба.

— Как ты смеешь, глупый мальчишка?

Хельмут вскочил. С размаху хлопнул одной дверью, другой и бросился напрямик к Хельбаху; ночевал он у Хельбаха на диване, потому что наотрез отказался жить под одной крышей с тетей Амалией.

На следующий день Хельбах явился к обеим дамам с объяснениями. Никто, мол, не может помешать фрау фон Клемм, как матери, заявить протест по поводу зачисления ее сына. Однако же, помимо того, что подобное вмешательство пагубно отразится на всей будущей жизни мальчика, оно может иметь весьма неприятные последствия и для обеих дам, если он, Хельбах, предаст огласке все обстоятельства дела. В этом смысле весьма поучительна судьба неких супругов Ленкерт — членов так называемого «Библейского общества»: они были лишены права воспитывать своих троих детей. Как же! Об этом случае весь городок толковал целое лето. И насколько ему известно, Ленкерты отправлены в лагерь Ораниенбург.

Ленора молчала, а тетя Амалия грубо отрезала:

— Мы не члены «Библейского общества»!

Она решила взять переговоры на себя и, не дав племяннице слова вымолвить, с непривычной для нее мягкостью повела такую речь:

— Поймите наши чувства, господин Хельбах. Мне кажется, вам больше, чем кому-либо, понятен голос чувства. Мы принадлежим к тем старым семьям, которые сделали из Пруссии то, что она есть.— Тетя Амалия покосилась на голые волосатые икры Хельбаха, уж он бы о своей семье ничего подобного сказать не мог.— Поэтому мы и спросили мальчика, окончательно ли он решил отказаться от военной карьеры. Ведь фюрер снова возвысил Пруссию и открыл офицерским сыновьям широкие возможности.

Когда Хельбах ушел умиротворенный, она сказала племяннице:

— Вот как надо разговаривать с этой породой, а по твоему виду я сразу поняла — стоит тебе рот раскрыть, как мы обе угодим в концлагерь.— Племянница словно окаменела.— Мальчик ведь все равно отошел от нас.

Ленора сделала было движение, но сдержалась и не сказала ни слова. Она чувствовала себя бессильной, опустошенной, связанной по рукам и ногам. Она чувствовала себя во власти такой силы, которая в один миг смела ее жизнь. Что бы она ни противопоставила этой силе — просьбы и молитвы, любовь и отчаяние,— все было бы сметено жестоким натиском, точно сухие листья. Когда Хельбах начал говорить, ее серые глаза стали почти черными. Старая тетка, прожив с ней бок о бок столько времени, научилась понимать, что означает эта внезапная перемена в цвете ее глаз.

При слове «отошел» глаза вдруг посветлели, как будто загорелись лихорадочным огнем.

— Не надо было глупостей делать, когда с мужем жила,— сердито добавила старуха.— Теперь об этом горевать поздно. А мальчишка твой от нас ускользнул, и нечего его держать!

III

Христиан Надлер был крайне удивлен, когда к нему вдруг явился сын трактирщика. Заказчиком его он не был, потому что оставался верен ворчливому старикашке, деревенскому сапожнику. А просто принимать гостей Хри-

стиан отвык; его больше ничто не связывало с людьми, кроме подметок и заплат. Но сын трактирщика все не приступал к делу, и Христиану было невдомек, что тому от него нужно.

Гость сперва пространно расхваливал местоположение его мастерской. Затем заговорил об одиночестве и долго сочувственно качал головой.

— Кому что по вкусу,— сказал Христиан. Его раздражало, что он не мог сразу понять, к чему тот клонит.

— Живи я так одиноко и будь мне так трудно ходить, как тебе, я бы знал, что придумать,— сказал сын трактирщика.

Христиан насторожился.

— Ну-ка, что бы ты придумал?

— Просто-напросто завел бы себе радиоприемник. Тогда бы я посиживал на своей треноге, а сам был бы связан со всем миром и думать бы забыл, что у меня не две ноги.

Христиан искоса посмотрел на него. «Верно, парень служит в какой-нибудь радиофирме,— подумал он,— и получает комиссионные за каждый проданный ящик». Ухмыляясь про себя, он слушал разглагольствования посетителя. Сначала тот расхваливал радио, как таковое, затем перешел на дешевые приемники, которые всякому теперь по средствам. Большая часть изобретений, говорил сын трактирщика, идет на пользу только богатым. А вот национальное радио — дело другое; это, прямо сказать, подарок. Да оно и справедливо! Спрашивается, с какой стати отдавать на откуп богачам радиоволны? Нет, ты, как сын нации, можешь иметь их почти что даром, все равно, бегаешь ли ты рысью или сидишь сиднем.

— Верно,— ответил Христиан.— Вот когда вечером встает луна, я всегда думаю: она-то уж встает для всех нас, она — национальная луна. И когда зажигаются звезды, я думаю про себя — вот они, национальные звезды.

Сын трактирщика тревожно смотрел на Христиана. Однако лицо Христиана было вполне серьезно. И тогда он с жаром заговорил опять:

— Ты ведь зря не любишь ходить. И даже на большие собрания не приходишь. Тебе с больной ногой даже до моего отца нелегко добраться, когда по радио для всех деревенских жителей передают самые важные речи. А вот

будет у тебя радио, тебе и к отцу незачем будет ходить — речь сама прилетит к тебе по антенне.

— Все речи со всего света? — спросил Христиан.— Вот это будет здорово!

— Нет, только немецкие. Мы ведь только по-немецки понимаем,— ответил сын хозяина «Дуба».— На что же нам речи со всего света, ты их все равно не поймешь. Ведь ты бы не пошел мотаться по всему свету, хотя бы у тебя были ноги не хуже моих.

— Это верно,— согласился Христиан,— только когда человеку выпала доля сидеть сиднем, он воображает, будто другим невесть какая радость от здоровых ног.— «Лучше сразу согласиться,— подумал он,— а то повадится ходить и мешать мне каждый день».

В последнее время хозяйство Надлеров наладилось. Но вовсе не потому, что оно теперь стало доходнее благодаря каким-нибудь усовершенствованиям или хорошим урожаям, и не потому, что во всей стране вообще улучшились обстоятельства. Вильгельму Надлеру все еще приходилось довольствоваться этими скудными источниками доходов, которых никогда не хватало на покрытие долгов. Он не обогатился ни опытом, ни той сверхъестественной крестьянской силой, которая иногда выручает в самом безвыходном положении; он по нутру был больше солдатом, чем крестьянином, и рад был при малейшей тревоге сменить соху на меч, как боевой конь не может устоять на месте, заслышав звук трубы.

Между тем сыновья подросли. Старший был мальчиком рассудительным и прилежным. Хотя он безропотно участвовал в затеях гитлерюгенда, но воспринимал их не как развлечение, а скорее как беспокойство и помеху. Второй, по прозванию Белобрысый, старался сколько возможно увиливать, но ему спуску не давали. В этом Вильгельм Надлер не имел себе равных — другим он спуску не давал. Другие должны были наверстывать то, с чем он сам не справлялся.

У него теперь работало несколько посторонних подростков, спали они на сеновале. За грошовую плату они до кровавого пота надрывались в надлеровской усадьбе, однако жилось им здесь все же лучше, чем в лагере сельскохозяйственной повинности. Они, как и сыновья Надле-

ра, входили в гитлерюгенд. Отцы их были эсэсовцами, и потому бесполезными сомнениями насчет мирового порядка сынки не страдали. Утром к подъему флага со свастикой они выстраивались на деревенской площади вместе с остальными подростками, направленными сюда по сельскохозяйственной повинности. А вернувшись с занятий, неукоснительно проводившихся для них, хвастливо рассказывали Лизе, хозяйской дочке и младшим ребятишкам о том, что узнали про государство, про чистоту и процветание расы. Им очень нравилась сама Лиза, ее веселый смех и пышная грудь, обтянутая голубым ситцевым платьем. И особенно нравилось им как раз то, что по сути своей Надлер был не только и не вполне крестьянин, им нравилось, как он по-военному командует полевыми работами, словно они, парнишки, не батраки, а солдаты; по вечерам они заслушивались его рассказами из времен мировой войны и добровольческого корпуса. Работать только веселее, когда тебя иногда разнесут, а иногда и расхвалят.

Вместе с другими ребятами, которых выделили Надлеру для этой цели, они корчевали обширный лесной участок. Распоряжаясь работой, Вильгельм Надлер вел себя как заправский боевой командир — то пошутит, то прикрикнет, то выругается. Корчуемый участок был все равно что подарок. И не только для Надлера — подросткам тоже приятнее было работать под его окрики, чем выбиваться из сил в лагере трудовой повинности. Там все они числились под номерами, а тут каждый был сам по себе, полезный работник, из которого выжимал все соки бравый вояка.

Густая картофельная похлебка уже дымилась на столе, когда они, шатаясь от усталости, вваливались на кухню. Огненно-рыжая макушка Лизы горела, как пожар. Лиза стала веселее прежнего. Она решила про себя, что они с Вильгельмом теперь отличная пара. Правда, как муж он ее совсем не устраивал. Ее кровь восставала против него. С этим ничего не поделаешь. А во всем прочем Вильгельм оказался прав. Они выбрались из нищеты, вся их земля опять была у них в руках. От этого муж не становился ей милее, те часы, которые она проводила с ним наедине, кое-как уж можно было вытерпеть, зато весь остальной день проходил как нельзя лучше: ей, хозяйке большого крестьянского двора, был теперь почет от всей деревни — от парнишек, которые были у них, в сущности, батрака-

ми, и от штурмовиков, приятелей мужа, которые иной раз даже обращались к ней за советом, что немало льстило ей.

Для обработки лесного участка, а затем для посева понадобилось немало денег. Государственную ссуду, правда, нельзя было назвать подарком, проценты пока что приходилось платить порядочные, вероятно, потому, что еще не все враги государства были истреблены. Но под свое честное имя по знакомству кое-что при случае удавалось выудить. Однако пока выкорчеванный участок не приносил ничего, а урожая не хватало на покрытие налогов, процентов и на поделки. Надлеру опять пришлось задуматься, у кого бы перехватить, чтобы заткнуть дыры. На Христиана рассчитывать нечего: он вдруг заявил, что у него нет ни гроша.

А Вильгельму Надлеру к тому же хотелось теперь, чтобы все у него было честь честью. С прибавлением лесного участка его владение изрядно округлилось, и в мозгу у него оформилась мысль, зародившаяся под влиянием нового закона о наследственных дворах. Правда, его владение не достигло еще размеров, указанных законом; правда, доходов с него никак не могло хватить для полного обеспечения крестьянской семьи; правда, оно все еще было обременено долгами и налогами. Однако Вильгельм играл теперь такую роль, что в имперском управлении по делам крестьян на все это посмотрели бы сквозь пальцы, если умеючи взяться за дело. А так как земли ему все же недоставало, то не мешало бы прихватить хотя бы ту полоску, которую их отец когда-то завещал Христиану, ведь по тогдашним бестолковым законам наследство дробилось между всеми сыновьями. В случае если зайдет об этом речь, доказательств, что Христиану выплачена компенсация, не имеется. Но Христиан не в счет, с ним легко сладить.

Однако когда Надлер подал соответствующее ходатайство, он, к своему великому изумлению, получил отрицательный ответ. Правительство, мол, недавно строго приказало соответствующим органам по возможности воздерживаться от внесения в списки новых наследственных дворов без подробного обследования. Понятно, что теперь стали придираться к тому, на что раньше закрывали глаза. На Вильгельма Надлера подан ко взысканию вексель, и, кстати, его младший брат отнюдь не согласен отказаться от своей доли. Вексель же, как выяснилось, когда-то ка-

ким-то образом был переписан на какое-то совершенно неизвестное Надлеру имя. Леви, которому Надлер был в свое время должен, уже давно сгинул, и Вильгельм решил, что долг сгинул вместе с ним. Но дело обстоит вовсе не так, сказали ему. Вексель не погиб вместе с евреем в концлагере. Он перешел в другие руки еще при жизни Леви.

Вся деревня замерла от любопытства, когда однажды утром Вильгельм тяжелым шагом направился к жилью Христиана. Христиан сидел под навесом на своей треноге. По лицу брата он сразу же догадался, что́ его привело сюда, но продолжал преспокойно тачать.

— Тебя же никто не собирается выгонять из твоего сарая,— напрямик начал брат.— А не все ли тебе равно, чья будет та полоса? Разве ты осилишь такую работу, как наша? Я ведь помог тебе устроить мастерскую. И стоимость земли оплачу, не беспокойся, а пока что откажись от нее, тебе же лучше будет.

— И не подумаю,— ответил Христиан.

Вильгельм вытаращил на него глаза. Христиан хоть и не отрывался от работы, но, почуяв угрозу, добавил:

— Чего ты шумишь? Другие люди, наоборот, стараются, чтобы их двор не записали в наследственные дворы. Они не хотят, чтобы младшие дети остались без гроша, нипочем не хотят, чтобы наследовал только старший. Они говорят: на что нам майорат, мы не господа. Они хотят завещать свое имущество, кому им вздумается.

— А того не понимают, что тогда земельная собственность и вовсе будет раздроблена. Они хотят всех своих детей по миру пустить, а так хоть один сын будет прилично обеспечен и сможет помочь братьям. Да, кстати, тебе не доводилось слышать о каком-то господине Штромейере?

— Сроду про такого не слыхал.

— А вот поди ж ты, этот негодяй утверждает, что я ему должен. Помнишь Леви?

— Как не помнить. Он и ко мне частенько таскался, а я затыкал ему глотку то наличными, то твоими долговыми расписками,— ответил Христиан.

— Значит, выходит, я все деньги тебе должен?

— Ну, как сказать,— кротко заметил Христиан.— Это дело давнее, вексель, верно, перешел уже в другие руки. Может статься, что и к Штромейеру. И значит, он

имеет теперь право потребовать с тебя то, что ты был должен мне.

Крестьяне, издалека, с поля следившие за разговором двух братьев, так и ахнули. Вильгельм расставил ноги, растопырил локти и, казалось, вот-вот накинется на брата. А Христиан, сидя к брату спиной, преспокойно тачал дальше.

— Слыханное ли дело! Это называется брат! Ах ты, жмот этакий,— прорычал Вильгельм и так бешено затопал ногами, что Христиан обернулся. Лицо Вильгельма побагровело от злобы.— Сволочь окаянная! Какого черта тебе надо? Торчишь тут, один на своей треноге, ни семьи у тебя, никого нет.

— Ну, как сказать,— медленно произнес Христиан.

Хотя Вильгельм все еще не вполне уяснил себе, на что намекает Христиан, но уже смутно догадывался, что в голове брата копошатся старые, давно забытые семейные истории. Брата явно не устраивало, чтобы все наследовал один только старший сын.

— Ты на что намекаешь, пес шелудивый? — хрипло выдавил из себя Вильгельм.— Как это прикажешь понять?

— А вот взгляни-ка, сколько тут башмаков, это все, можно сказать, мои дети.

Тут Вильгельм окончательно осатанел:

— Ах ты, колченогий паршивец! Пули для тебя жалко. А то бы ты у меня мигом притих.

Христиан покачал головой, будто этим легким движением стряхивал с себя разъяренного быка — Вильгельма.

— Да ты пойми, Вильгельм,— сказал он еще тише,— ведь у меня векселя давно уже нет, он у Штромейера или как там его зовут.— При этом он тут же решил на всякий случай обзавестись злой собакой, чтобы не быть совсем беззащитным.

Вечером Вильгельм отвел душу в разговоре с Лизой. Он пил и бранился. Планы мужа на будущее всегда очень нравились Лизе. Она и сама лелеяла мечту поставить хозяйство на широкую ногу и округлить их владения.

— Видишь теперь, Лиза, что это за мерзавец, я всегда считал, что он продувная бестия. Вот изволь-ка радоваться, он задумал пустить по миру нашего старшего. Ступай к черту, гаденыш,— рявкнул он на второго сына и дал ему пинка.

Сначала Лиза, слушая его рассказ, возмущалась вместе с ним и сердито вторила ему, затем задумалась, а к концу умолкла. И вдруг ее злоба целиком обернулась против мужа. Она затаилась от него и с явным недоверием следила за ним.

К Христиану она уже не осмеливалась бегать. С пашни она видела, что подле треноги всегда теперь смирно лежал поджарый пес из породы волкодавов.

IV

Когда-то Ливен страстно добивался, чтобы банкир Геймс дал ему местечко у себя в банке. Должность была жалкая, но все лучше, чем служить агентом в фирме световой рекламы. Геймс был бравый коренастый старик с такими закрученными усами, что кончики их почти доходили до стекол пенсне. От него всячески скрывали, что Ливен связан с нацистами. Ливен, мол, ярый националист, но гитлеровцев не приемлет. Когда же Ливен вдруг заявился к нему в кабинет в черном эсэсовском мундире, пенсне чуть не слетело у старика с носа, так он выпучил глаза. Затем он убедился, что Ливен ничего против него не имеет, а значит, он может зачесть себе в заслугу, что задолго до прихода Гитлера к власти держал у себя на службе эсэсовца. Теперь он при всяком удобном случае старался показать, что давно уже знал, как обстоит дело с Ливеном. Такое поведение несказанно забавляло Ливена. Он быстро повысился в должности. Начальник его, Геймс, возвысился еще разительнее, его зачислили во всякие финансовые правления, советы, комитеты. Ливен благодаря знанию иностранных языков обосновался в отделе, ведавшем русскими делами. Среди его банковских коллег, а также среди сподвижников по нацистской партии шла молва, что он отлично умеет обходиться с большевиками.

Вскоре только и слышно было: «Как бы залучить к себе старика Геймса, ведь его правая рука — Ливен». Ливен вполголоса и в полный голос переводил вопросы и ответы. При переводе он старался пропускать те места, где разговор съезжал с деловых тем на посторонние.

— Судя по фамилии, вы из Прибалтики,— сказал как-то один из русских.

— Я вырос и учился в Петербурге.— И добавил: — Мы с вами представители двух очень молодых государств.

— По вашему шефу господину Геймсу это не очень заметно,— медленно произнес русский.— На мой взгляд, он порядком поседел с тех пор, как я впервые встретился с ним в Берлине. Происходило это в двадцатых годах. Мы тогда действительно только начинали и вели первые наши переговоры. Ваш Геймс и тогда уже был далеко не молод. С тех пор немало воды утекло, а он все существует. Выносливый старик!

Ливену пришлось по службе, для заключения какого-то договора, съездить в Ригу. Его начальству по нацистской партии это было очень на руку. Он получил кучу поручений к консулу и в заграничные организации нацистской партии. Накануне отъезда Зиберт пригласил его к себе. Он давным-давно женился на той учительнице, с которой в былые времена жил в Ланквице. У них уже было трое ребят. Ливен упорно уклонялся от знакомства домами, потому что вне службы эта семейка нагоняла на него отчаянную скуку. Ему претило и их угощение, и их потомство, и разговоры у них за столом, неизменно вертевшиеся вокруг семейного согласия супругов Зиберт. Они были единодушны решительно во всех вопросах — от воспитания детей до антикоминтерновского пакта, от войны с Абиссинией до пользы сырых овощей. Здесь всегда подавали много красиво и аппетитно приготовленных сырых овощей. Но Ливен намеревался как следует поужинать позднее и отказывался от всех блюд, отговариваясь тем, что ему жалко разрушать эти красивые клумбы.

Скучал он еще больше, чем обычно. И встрепенулся, лишь когда Зиберг спросил, правда ли, что у него родовое поместье под Ригой.

— Оно давно уже принадлежит этому ублюдочному латвийскому государству. А за ту смехотворную сумму, которую мой двоюродный брат получил в компенсацию, он тогда же купил крестьянскую усадьбу. Да еще взял взаймы у родных на добавку.

— Ваш двоюродный брат, кажется, покончил с собой? — спросил Зиберт, чересчур подчеркивая, что говорит это между прочим, вскользь.— Почему, собственно?

— Я противница самоубийства,— заявила фрау Зиберт,— но по совершенно иным причинам, чем церковь. Я против самоубийства не потому, что человек должен

ждать, пока бог возьмет у него жизнь, а потому, что его жизнь принадлежит фюреру.

— Вполне с этим согласен,— подтвердил Зиберт.— Жена верно говорит: не желать жить — значит не желать помочь фюреру. А что же приключилось с вашим двоюродным братом?

— Ерунда,— ответил Ливен,— любовная история. У него нервы совсем сдали после тяжелого ранения еще тогда, в Прибалтике.

— А я уж, признаюсь вам, боялся, что самоубийство вашего двоюродного брата как-то связано с событиями тридцатого июня. Да и за вами я сперва замечал одну странность,— ухмыляясь, добавил Зиберт.— Как бы это выразиться, вы, по-моему, ни к чему не относились с должной серьезностью.

— Надеюсь, вы успели убедиться, что я ко всему отношусь с должной серьезностью,— сухо заметил Ливен.

— Ведь это только к слову пришлось, иначе я бы и не заикнулся о своих сомнениях. Дети тоже не в один день вырастают. А сами мы немногим старше своих детей, раз мы вновь родились четыре года назад.

— Эта мысль часто приходит мне в голову,— подхватила жена Зиберта.— А уж дети наши — поистине сверстники третьей империи!

В ту же ночь Ливен отправился в Темпельхоф и просидел до отправки самолета в зале ожидания аэропорта. Он впервые летел на аэроплане. Но так как ему всегда было противно поведение людей, очутившихся в любом положении в первый раз, то он старался показать остальным пассажирам, будто для него летать — привычное занятие. Его соседу, одному из директоров «ИГ Фарбениндустри», предстоял далекий путь в Азию с короткой остановкой в Риге. В воздушных ямах и в облаках завязалось знакомство, обнаружилась общность связей и интересов на земле, которую из окна кабины, казалось, так легко обозреть и пересечь. Директор вел дела с фирмой Клемм в Амёнебурге как при теперешнем ее руководителе, так и при прежнем, его кузене.

— Помните, Ливен, того Клемма, который погиб в автомобильной катастрофе на мосту через Рейн?

Оттого что Ливен знавал и этого Клемма еще во время войны, берлинских беспорядков и рурских боев, некогда

было скучать в пути. «Ах, господи, да ведь я путался с его женой!» — вспомнил Ливен и подтвердил вслух, что господин фон Клемм был весьма обаятельный и деятельный человек.

— У кузена нет и сотой доли ума и энергии своего предшественника,— заметил директор концерна,— но ему достаточно идти по стопам покойного. Фон Клемм еще в те времена рьяно отстаивал Гитлера. Я помню, как он с пеной у рта доказывал, что мы недооцениваем его.

Они приближались к цели. Ливен узнавал рукава реки и остров Дален. Он показал своим попутчикам то место, где, как предполагалось, был ранен его кузен. Англичане немало всадили тогда денег в это горе-государство, чтобы оттеснить большевиков налево, а германские добровольческие корпуса — направо. А теперь это нечто вроде ничьей земли между германской и русской границами. Все пассажиры согласились между собой, что надо как можно скорее соединить Двину с Днепром и таким образом связать водным путем Балтийское море с Черным. Приземлились они очень довольные своими спутниками, а главное, собою.

За Ливеном прислали машину из консульства. О его прибытии было сообщено фирмой Геймса и нацистской партией. Чиновник из консульства спросил его за завтраком, не было ли у него здесь имения.

— У меня нет, а у моего кузена было.

— Нам приятно принимать представителей старой знати.— Оказалось, что чиновник обо всем осведомлен.— Ваш кузен ведь скончался. В нормальное время вы бы наследовали имение.

Ливену и в голову не приходила такая возможность. Слишком она казалась несбыточной. Он только попросил своего провожатого прокатиться с ним за город и занимал его теми же рассказами, какими утром скрашивал время своим спутникам, только при езде воспоминания вставали живее, чем при полете.

Дом в имении принадлежал теперь латышской семье, земельные угодья были отданы в аренду или поделены, как и различные отрасли хозяйства: рыбокоптильня, молочная ферма, кузница. Служебные постройки большей частью были перестроены или снесены. Но теперешний владелец, коммерсант, оставил главное здание нетронутым. Должно быть, потому, что его пленил портал с колоннами. Ампирные колонны прочно запомнились Ливену, но в па-

мяти его они были еще выше, еще белее и еще мягче были освещавшие их закатные лучи солнца. Здесь он мальчиком вылезал из экипажа, который посылали за ним на вокзал в Ригу, когда он приезжал на каникулы. Первым из домашних, кого он видел, был кучер. Молодая тетушка обычно встречала его на крыльце. Он неловко целовал ей руку, а она брала его голову обеими руками и крепко целовала его. От ее пышных волос шел приятный запах. Он еще в поезде предвкушал это удовольствие и не знал, можно ли ему обнять тетю. В конце концов, он всегда ограничивался поцелуем руки. Элизабет унаследовала материнскую грацию и гордую осанку, насмешливую и чуть печальную улыбку.

Чиновник из консульства, смеясь, предложил рискнуть и нанести хозяевам визит. Внутри дома воспоминания не оживились, а, наоборот, потускнели. Лишь очень немногое сохранилось от прежнего: лестница, камин, несколько окон. Да и лестница была скорее воспоминанием, чем настоящей лестницей. Дом был загроможден кучей хлама, которым очень гордился новоиспеченный хозяин, человек, видимо, денежный и живший здесь только летом. Он сперва недовольно, а потом безучастно выслушал извинения Ливена: ему, Ливену, с детских лет, мол, хотелось повидать те места, где прошли счастливейшие дни его жизни. Хозяин все же догадался предложить чаю. Это был ширококостный, неотесанный детина; верхняя пуговица брюк не застегивалась на его объемистом брюхе. Он показал посетителям сад, где разводил овощи и держал птицу. Хотя лицо его по-прежнему ничего не выражало, но всем своим поведением он явно хотел сказать: «Может, ты и провел здесь лучшие дни своей жизни, однако же, как видишь, мы превосходно обходимся без тебя». Ливен с улыбкой взглянул на своего спутника, когда новый помещик грубо рявкнул на прислугу, принесшую чай; прислуга, пожилая хмурая крестьянка, беспрекословно слушалась его приказаний. А в тоне приказаний слышалось: «Видишь, мы и без тебя умеем управляться с челядью. И приказывать тоже умеем!»

Вряд ли Элизабет найдет здесь то, о чем мечтает. Ну хорошо, несколько колонн, несколько ступенек. Все остальное пошло прахом.

V

Ганс снял башмаки, в одних носках тихонько пробрался к кровати родителей и потянул Марию за косу, светлевшую над одеялом. Она заметила, что он боится разбудить Гешке, и босиком прошмыгнула на кухню.

— Спрячь этот пакет, да так, чтоб его не нашли,— сказал он.

Она пыталась разглядеть сына в темноте; на ремне у него блестела пряжка. Но тут потушили огонь в пивной. И не стало последнего луча света, который, пересекая улицу, попадал к ним в кухню. Внизу шумели люди, выходившие из пивной.

— Я не хочу, чтоб с тобой случилось то, что с Хейнером,— сказала Мария.

Причину смерти Хейнера обе семьи, жившие отдельно друг от друга, на разных концах города, хранили в тайне уже больше трех лет. Маленькая девочка, которую Елена кормила грудью в ту ночь, когда муж вернулся смертельно раненным, давно ходила в детский сад. Гестапо так и не раскрыло тайну смерти Хейнера и не тронуло тогда ни его близких, ни Гро, жившего с матерью-кассиршей в пригороде Брице. Врач не мог спасти Хейнера, он мог только выдать фальшивое свидетельство о смерти. Тень той страшной ночи тем мрачнее тяготела над всеми ее участниками, чем упорнее они молчали. Елена по-прежнему ходила в мастерскую художественной штопки. После краткого счастья ее лицо стало снова некрасивым и хмурым, как в детстве, когда ее дразнили уличные мальчишки. Благодаря исключительной бережливости матери, Гро удалось поступить в торговую школу. Младший Бергер отбывал трудовую повинность. Ганс продолжал учение. Слесарь гордился учеником, а Ганс гордился своими успехами. С вошедших в обиход состязаний в мастерстве он постоянно приносил домой награды, отличия и похвалы и мог бы спокойно пользоваться всеми преимуществами, какими преспокойно пользуются многие другие, а именно тем, что он от рождения принадлежит к избранной нации, живет в стране, внушающей почтение и страх, и что из него вырабатывается отличный мастер, с первых шагов отмеченный среди менее способных учеников. Так нет же, он опять завел какие-то знакомства, и его вовлекли в опасные дела.

— Не для того я тебя родила,— как бы про себя пробормотала Мария.

— А для чего же?

Она с удивлением взглянула на него. Хотя в кухне было совершенно темно, она так хорошо знала его лицо, что ей казалось, будто она явственно видит его.

— Конечно, не для того, чтобы тебя замучили в гестапо! — почти про себя произнесла она.

— А ты хочешь — для войны? Чтобы я научился убивать других?

— И не для этого, я всегда думала, что для чего-то лучшего,— ответила она.

— Так оно и вышло. Я и на самом деле храбрей других. У нас никто не отваживается на такие дела. Пожалуй, у нас и наполовину не было бы того размаха, если бы не нашелся человек, который ни перед чем не отступит.

Он беззаботно улегся спать. Волноваться можно начать завтра, а пока что надо спокойно поспать несколько часов. Франц отбывал воинскую повинность. Ганс мог один располагаться на кровати. Засыпая, он слышал, как мать сдвигает с места кухонный шкаф. Видно, у нее там тайник.

Мария села на пол, подняла одну половицу. Для такого свертка больше и не было нужно. Она опустила в отверстие руку. Винтовка Гешке, завернутая в старое тряпье, все еще лежала там. Поиски оружия его благополучно миновали, а сам он в свое время не польстился на деньги, когда солдатам предлагали вернуть оружие за определенную мзду. Их семья всегда была вне подозрений, даже и при Гитлере. Гешке издавна слыл за угрюмого, боязливого человека, который не мог уже вполне проникнуться новыми веяниями, но опасности не представлял. «Интересно знать,— думала Мария,— помнит ли он сам о своем тайнике?»

Страх, охвативший ее, когда мальчик обратился к ней с такой просьбой, совсем прошел. Так же как двенадцать лет назад, когда его принесли к ней изодранного и в крови, она вдруг с уверенностью сказала себе: с ним ничего не может случиться, он неуязвим. Она легла рядом с Гешке; он спал крепко, с тех пор как снова стал работать в своем автогужевом парке.

Когда Ганс на следующий день крикнул ей уходя: «Не жди меня, я вернусь поздно», она отогнала от себя предчувствие несчастья, как будто таким путем могла отогнать самое несчастье. Елена, пришедшая к ним в гости, сидела на кухне у стола. Гешке играл с внучкой. Он сразу нахмурился.

— Не удерживай Ганса, отец,— сказала Елена.— Ему нужно быть сегодня в клубе гитлерюгенда. Лбом стену не прошибешь, потерпи, все пройдет.

— Может быть,— ответил Гешке.— Только как и когда? Когда меня не станет? У меня на работе многие прямо прыгают от радости на одной ножке, как мартышки на цепочке за кусок сахару. Само по себе ничего не проходит.

Елена переглянулась с матерью. Ей показалось, что мать все прекрасно понимает. Пожалуй, не худо бы и отцу сказать правду. Но он так утомлен, так подавлен и безнадежно настроен, по силам ли ему такие тайны? Он постарел, голова совсем седая. Елена видела, что у матери тяжело на душе, хотя она смеялась и спокойно разливала кофе. Ганс никогда не говорил матери, насколько Елена в курсе дела, а сестре — насколько осведомлена мать. Таким образом им обеим легче было разыгрывать спокойствие перед отцом, который пребывал в таком же неведении, как Еленина дочурка.

Ганс вернулся домой и на этот раз. Он вынул из башмака сложенный листок бумаги и тщательно разгладил его на подоконнике.

— Тебе, мама, надо хотя бы знать, что ты прячешь.— По дороге домой ему вдруг пришло в голову, что если арестуют его, а может быть, и всю семью, тогда она никогда не увидит, что прятала.

— Эта картинка — Европа в виде птицы, у нее два крыла и тяжеленное туловище, оно постоянно тянет ее вниз, а крылья стараются поднять ее ввысь. Туловище посередке — это Германия, видишь, свастика, одно из крыльев — Россия, второе крыло — Испания, потому что там теперь сражаются за свободу. Я сам это нарисовал и сам придумал.

Марии рисунок понравился, хотя она не все поняла.

— Да, очень хорошо, только если бы ты сам мог всем это растолковать...

Хотя она постоянно повсюду искала намеков на деятельность сына и при виде всякой листовки вроде этой,

всякого плаката думала, не дело ли это рук ее сына; на истинный след она нападала нечасто. Красный флаг, что внезапно взвился на высоченной заводской трубе — причем одни со смехом, другие с возмущением рассказывали, будто лестница была вымазана мылом, так что сразу снять флаг не удалось; листовка, которую тетя Эмилия вынула как-то из своего почтового ящика и в которой говорилось о Франции, о борьбе французских рабочих и еще о чем-то, что зовется Народным фронтом; серп и молот, нарисованные как-то мелом на витрине универмага,— все это, думала она, дело его рук. Когда Ганс, воодушевленный своей верой, говорил, что старые его друзья так же воодушевлены, как и он, и что они скоро будут способны на такие же отчаянные дела, тогда Мария думала: только он один на это способен.

В последующие дни она очень удивлялась, что он смирно сидит дома; она украдкой поглядывала на его круглый затылок и вдруг почувствовала, что на ее мальчика свалилось какое-то горе, оно сквозило в каждом его волоске. И вдруг опять она очутилась одна с сыном в тесной камере среди чужих людей, не разделявших их горя. Голова ее устала от мелких горестей и радостей, и воспоминаниям не находилось там места. Только сейчас, когда сыновнее горе перебросилось к ней, как раскаленный уголек, она поняла, что прошлое не могло испариться только потому, что она о нем никогда не думала. Оно так слилось с ней, что ей и не нужно было о нем думать. О неизжитом и чуждом поневоле часто думается. О том же, что вошло человеку в плоть и кровь, нет нужды вспоминать. Однако что же мучит мальчика? Не страх; за исключением отдельных приступов, которые нападали на него, как лихорадка, он давно преодолел чувство страха в целом — страха, разъедающего жизнь, страха перед полицией, перед тюрьмой, перед побоями, страха перед смертью.

Что же тогда? Любовь? Нет, ему не нравилась еще ни одна девушка, за этим Мария внимательно следила. Девушки, правда, иногда появлялись: блондинки, брюнетки, завитые или гладко причесанные. Увлечения вспыхивали и потухали, как сигнальные огни. Почему же он ни с того ни с сего сидит теперь подолгу дома? Такая редкость — долгие часы вдвоем, но они не дают радости, а, наоборот, только угнетают.

— Почему тебе не съездить к Гро? — спросила она.

Она часто ревновала его к фрау Гро, чужой матери, с которой ее сын больше считался, чем с ней. Фрау Гро лучше разбиралась в таких вопросах, о которых она и не слыхивала. Ганс часто ездил в Бриц за советом.

— Они уехали,— коротко пояснил он.

Она сразу увидела, что попала в точку. Он сухо прибавил:

— В Лейпциг, к родным.

— Надолго?

— Навсегда,— сухо ответил он.

Он вдруг поднялся с места.

— Пойду узнаю у Елены, нет ли писем от Оскара.

Но до последней остановки он не доехал, он вышел за три остановки и по привычке прошел мимо дома, где жил Мартин, к которому он так был привязан в детстве. Окно было, как обычно, пусто, весь дом смотрел угрюмо. Лет пять назад он тщетно высматривал здесь Мартина; хозяева квартиры с улыбкой отвечали: «Мы и сами не знаем, где он». Часто случалось, что он посреди города бросался вдогонку кому-нибудь, кто был небольшого роста и у кого была круглая как шар голова. Он, должно быть, искал что-то общее с другом в каждом лице и в каждой дружбе, которая встречалась на его пути. Он думал: «Я и теперь такой, как был,— привяжусь к человеку, а он уходит, и я опять один, и весь мир для меня тускнеет».

Вместо того чтобы сразу пойти к Елене, он свернул в боковую улицу и прошел мимо кафе, где прежде бывал Мартин. На тротуаре за решеткой, увитой плющом, стояли три столика. Чахлый плющ в те времена казался ему целым садом, а каждое слово старшего друга было важнее всего на свете. Он думал: «Вот тогда началось это со мной. С тех пор я не знаю покоя». Пыльные решетки, увитые плющом, все еще отгораживали кусок тротуара. Ганс был теперь такого роста, что мог заглянуть поверх них. За столиком сидел человек, похожий на Мартина. Не совсем, конечно, если вглядеться попристальнее; человек чуть напоминал его, он был небольшого роста. И с круглой, как шар, головой.

Ганс отступил на шаг, потому что человек этот поднялся с места. Ганс переломил себя и пошел навстречу. Несмотря на всю свою юность, он понимал, что надо проверить себя. Проходя мимо, он увидел только торчащие из карманов большие пальцы: у Мартина руки всегда были

засунуты в карманы брюк, а большие пальцы торчали наружу. Ганс бросил взгляд на лицо незнакомца. Мартин для взрослого был небольшого роста, а Ганс раньше смотрел на него снизу вверх; теперь же ему пришлось смотреть сверху вниз. Время несколько изменило знакомые и близкие черты. Но круглая голова была прежней. Прежним был смелый, веселый взгляд прищуренных глаз и нечто такое, чего нельзя определить, но что определяет человека и, постоянно меняясь, остается неизменным.

— Мартин! — сказал Ганс.

Человек не обернулся на это имя и невозмутимо пошел дальше. Ганс мог подумать, что, несмотря на все, действительно ошибся. Но, когда на перекрестке незнакомец как бы случайно обернулся, он понял, что тот заметил его, и вдруг сообразил, что должен был показаться Мартину чужим. Чего стоила хотя бы свастика у него на рукаве! Кроме того, он, Ганс, вырос за это время, а Мартин остался маленьким: взрослые не растут. Недолго думая он прошмыгнул через проходной двор и вскочил в автобус, в который Мартин сел на предыдущей остановке. Он остался на площадке, чтобы тот не сразу его заметил. При выходе из автобуса Мартин насторожился. Ганс вообще лучше разбирался в лицах, чем в словах, а в лице Мартина — лучше, чем во всяком другом; он сразу прочел его мысли: «Верно, этот парень следит за мной. Недаром он вторично попадается мне». Ганс ускорил шаг и взял его за рукав. Мартин остановился и спокойно поглядел на юношу: глаза его еще больше сощурились.

— Мартин,— произнес Ганс.

— Вы ошиблись,— ответил тот. Он полез в карман за документами.

— Вот ты и попался,— заметил Ганс.— Зачем сразу полез за документами? Только потому, что тебя окликнул парень из гитлерюгенда? Разве ты меня не узнаешь?

Тот пристально вгляделся в него и подумал: «Да это, кажется, Ганс, он меня узнал, ничего не поделаешь. Если я отопрусь, он все равно от меня не отвяжется». А Ганс думал: «Как это я его сразу узнал? Внешне он очень изменился. У него теперь усики и шрам на лице, он совсем другой, вблизи он на прежнего и не похож».

— Вот так штука, Ганс! — заговорил Мартин.— Ты здорово вытянулся. За пять лет мы порядком изменились и внешне и внутренне.

Ганс думал: «Он хочет меня убедить, что за последние годы все люди изменились. Но он-то ничуть не изменился. Такие, как он, не меняются. Я любил в нем то, что уж никак не меняется. Я потому и любил его, что еще глупым мальчишкой почувствовал в нем то, что никогда не меняется. Оно в нем есть и сейчас. Только он мне не доверяет».

Он сказал:

— Мартин, милый, пойдем в кафе, отпразднуем нашу встречу.

Мартин подумал: «Пожалуй, лучше всего пойти с ним. Расскажу ему, что разъезжаю по делам одной фирмы. Главное — не терять спокойствия».

Он заказал кофе и ореховое пирожное. Когда Ганс взял пирожное и улыбнулся, сердце Мартина сжалось. «Я был когда-то привязан к этому мальчику. Герлах смеялся надо мной: «Можно подумать, что это твой сын!» Я старался напичкать его всем, что знал. Я убедил себя, что несу за него ответственность, мне хотелось, чтобы он на всю жизнь был застрахован от подкупа, лжи и страха. Что ж осталось от моей ответственности? Свастика на рукаве и восторг по поводу орехового пирожного».

— Ты теперь сила,— вслух сказал он,— для вас, для гитлерюгенда, столько делают.

Ганс подумал: «Что он мне очки втирает? Почему он мне не верит?» И с горечью сказал:

— Ты сам знаешь, что это ерунда. Да, для молодежи делают теперь много, чтобы она стала силой для войны.

Мартин думал: «Нет, меня на этом не проведешь, их, конечно, специально натаскивают для таких разговоров. И хотя мне очень хочется верить, что он честный парень, я не имею права поддаться».

— Не могу поверить, что есть еще люди, внушающие вам такие мысли,— сказал он.

— Есть еще люди, которым рта не заткнешь. По Испании видно, что пахнет войной. Думаешь, мы здесь ничего не знаем? Зачем ты притворяешься? — спросил Ганс.

Мартин в это время думал: «Может быть, я уже на подозрении? Он пронюхал, куда я еду, и поэтому заговорил об Испании».

— Это все большевики, они рассчитывают, что Испания будет спичкой, которой можно поджечь всю Европу,— сказал он вслух.

Ганс с тоской думал: «Что я ни говорю, он мне все не верит!»

— Я так тосковал по тебе,— заговорил он опять,— я отдал бы жизнь за то, чтобы встретиться с тобой. Оказалось, наша встреча ни к чему. Что же, разойдемся! Я знаю, ты не изменился. Но я не имею права дать тебе адреса и сказать: спроси того, спроси другого. Ты мне не веришь, и я никакими силами не могу заставить тебя поверить.

Мартин думал: «Прежде всего я не верю самому себе, не верю в свою собственную силу, которую когда-то вложил в мальчика. Неужели ее хватило, чтобы устоять даже теперь?»

Свастика на рукаве юноши была лишним клеймом на густой толпе, заполнявшей кафе и все улицы.

Мартин сказал:

— Постой, присядь. Расскажи-ка мне еще что-нибудь. Что ты делал все это время? Как поживают старые знакомые?

Ганс опять сел. Он не знал, как ему раскрыть до дна все сердце, единственное свое сокровище, нерастраченное, незапятнанное.

— Муж твоей хозяйки давно умер,— робко начал он,— об этом ты, конечно, сам знаешь. Хозяйка твоя обменялась квартирой с сестрой, она неплохая женщина. Она и мою сестру знает.

— А что стало с обоими племянниками? Они в гитлерюгенде? Старший, верно, штурмовик? — спрашивал Мартин.

— Младший сейчас отбывает трудовую повинность, старший стал моим зятем. Он женился на моей сестре Елене. Помнишь, ты когда-то говорил о нити, которая проходит через весь город, от одного к другому. Сначала это только тонкая нить, она может порваться, но может, говорил ты, стать основой прочной ткани. Я все запомнил.

«А вдруг он не лукавит,— думал Мартин,— и я несправедлив к нему. Тогда, значит, не все еще потеряно. Значит, живы мысли, которые я когда-то заронил в его голову. И значит, в этом случае я взял верх».

— Твой зять теперь военный? — спросил он.

Ганс отрицательно покачал головой, сурово взглянул на него и сказал:

— Он умер.

Каждый искал в глазах другого те точки, которые открывают доступ в святая святых человека.

— Мы расклеивали листовки, его подстрелили, мы едва дотащили его домой, он умер, и причину его смерти скрыли, чтобы не навлечь ни на кого подозрений.

Мартин думал: «Как трудно не верить. И как трудно довериться!»

— Я все тебе рассказал, потому что верю тебе,— продолжал Ганс,— а ты бы на это не решился. И сейчас еще не решаешься. Пожалуй, веришь чуть побольше, чем вначале, но далеко еще не вполне.

Мартин думал: «Да я и права не имею. Ему-то еще не приходилось столько разочаровываться, как мне. Его еще не обманывали столько раз, как меня». К их столику подсели посторонние. Каждый из них двоих чувствовал себя то совершенно одиноким, то крепко спаянным с другим.

Ганс сказал:

— Мне хотелось бы хоть разок побывать в твоей комнате. Я все годы мечтал об этом. Там я впервые узнал то, в чем для меня теперь вся жизнь.

— Тебе встретится еще многое, в чем будет для тебя жизнь.

Ганс покачал головой:

— Неизвестно. Я ведь могу умереть совсем молодым. Муж моей сестры умер молодым.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

I

Они сидели вдвоем на кухне.

— Послушай, Гешке...— начала Мария. Он быстро поднял голову. По ее тону он понял, что она собирается сказать что-то важное.— По-моему, он уже теперь достаточно взрослый, по-моему, нужно ему наконец сказать, что ты...— она искала каких-то других слов, но не нашла,— что ты не настоящий его отец.— Произнесенные слова не понравились ей самой. Только она не знала почему.

Гешке с удивлением взглянул на нее. Он взял со стола катушку ниток и стал вертеть ее в руках.

— Незачем ему говорить, Мария,— сказал он.

— Почему? Надо же когда-нибудь сказать. Каждый человек должен знать, кто его отец.

— Да ведь ты и сама толком не знаешь. Что ты, собственно, можешь ему рассказать? За семнадцать лет ты ничего нового не узнала. Он же умер тогда, и все,— ответил Гешке.

Мария наклонилась над шитьем. Гешке, конечно, прав. Он умер тогда. А в ее памяти ничего не прибавилось и ничего не убавилось. Он все еще был таким, как тогда, когда пришел в ее каморку. В ее памяти все так же звучали его торопливые шаги по лестнице. На сердце у нее при этом воспоминании все так же становилось тепло.

— Понимаешь, Гансу скоро отбывать сельскохозяйственную повинность. Значит, ему придется в первый раз уйти из дому, а это такой важный шаг. Вот я и думаю, лучше, чтобы все было сказано начистоту,— попыталась она объяснить.

Гешке резко прервал ее:

— Нет, не смей говорить. Ты мне обещала не говорить. Держи обещание. Я не хочу, чтобы ты ему говорила.

— Да почему же не сказать? Он не маленький! А мне тяжело таиться в таком важном деле.

— Нет, не смей говорить. Разве я не относился к нему, как родной отец?

— После этого он будет еще лучше относиться к тебе, он уже не маленький, все поймет.

— Мария, у нас с тобой не было детей, ты всегда была добра к моим детям, а я был добр к твоему. Старший мой умер. Елена давно уже не живет с нами. Франц как будто и не сын мне. Сама знаешь, каким он стал. Я всегда ненавидел нацистов, и теперь их ненавижу, и всегда буду ненавидеть. Они дали мне работу и даже увеличили заработную плату, а я все-таки их ненавижу. Они предоставляют мне оплаченный отпуск и, если я пожелаю, предоставят путешествие по Тюрингии, а я ненавижу их всей душой.

Она думала: «И зачем он все это говорит? При чем тут Ганс?»

— Ганс не похож на брата. С ним можно иногда словом перекинуться. Он мне больше сын, чем Франц. Не хочу я лишиться и его.

— Ну хорошо, не хочешь — не надо,— согласилась Мария.

— Я, может, давно бы предпринял что-нибудь против нацистов, если бы не было вас двоих. Я бы выложил им в лицо всю правду. Вы, мол, нам хлеб маслите, вы нас умаслить хотите, сказал бы я им. Сами вы гусей уплетаете, а нам даете горох с салом, чтобы у нас слюнки не текли, чтобы мы не роптали, не возмущались, чтобы не бастовали,— вот что меня так и подмывает им выложить.

Мария думала: «К чему он все это говорит?»

— Вот что я сказал бы им открыто, прямо в лицо,— продолжал Гешке,— однако же сдержался, не стал говорить, чтобы вас не втянуть в беду. Ведь Ганс-то только начинает жить. Как же я могу губить свою семью? Своей собственной жизнью я ничуть не дорожу. На нее мне наплевать.

А Мария думала: «Гансу эта мысль и в голову не приходила. Он меня не щадит. Но разве он меня от этого меньше любит? А я его разве меньше от этого люблю?»

— Стоит нам пикнуть, как они сотрут нас в порошок. И как с каждым из нас, так они поступают со всеми народами. Потому-то они теперь стали дьявольски сильны.

Если ты нашему Гансу скажешь правду,— с горечью продолжал Гешке,— тогда ты отнимешь его у меня, последнего, кто у меня еще остался. Этого я сейчас не хочу, слышишь?

— Да,— тихо отозвалась Мария.

Некоторое время они молча сидели друг против друга. Мария заговорила о первом, что пришло ей в голову,— молчание тяготило ее.

— Жена Трибеля сказала мне, что ей разрешили свидание с мужем на десять минут. Он все еще в концлагере. Подумать только: так далеко ехать и такие деньги отдать, и всего из-за десяти минут!

— Значит, он еще жив, Трибель-то,— мрачно произнес Гешке и пересел к окну. Он представил себе, как Трибель переходит эту ветреную смрадную улицу, видел, как гневно и бурно он размахивает руками, видел, как он насмешливо кривит рот, видел его зоркие, дерзкие глаза, видел его в окопах, видел в пивной, видел у ларька на застывшей от стужи улице, где они выпили по кружке горячего кофе во время последней демонстрации зимой тридцать третьего года. Слышал резкие слова, обращенные к нему, Гешке. Но слышал теперь не смысл этих слов, а только их звук. И слышал, как хлопнула дверь, когда они окончательно рассорились.

— Из следующей получки я подсуну жене Трибеля под дверь немножко денег — незачем ей знать, от кого это,— сказал он.

Мария шила и думала: «Я ничего не скажу Гансу, раз обещала не говорить. Но только уж я ему шепну, кто подсунул деньги под дверь жене Трибеля. Мальчик этому обрадуется. Ему это, пожалуй, важнее, чем знать, кто его настоящий отец».

Когда Мартин и Ганс встречались в кино или в кафе, их обоих охватывала одинаковая радость: «Он еще жив, и мы снова вместе!»

У Мартина уже давно не было никаких сомнений. Теперь, поджидая Ганса, он знал, что сейчас в его собственную полную мытарств жизнь, в которой было немало бесплодных трудов и разочарований, вольется струя молодой жизни. Когда Ганс говорил с ним, он забывал разделяющие их годы, как при виде высокого, ветвистого, дающего

тень дерева забываешь, что сам же когда-то посадил его. Разница в годах сгладилась, как будто именно для последних лет была другая мера. Одному казалось, что время бешено мчится вперед, а другому — что оно застыло на месте и выжидает.

Для Ганса их короткие встречи были так же дороги, как и в детстве. Он целую неделю копил все волнующие его вопросы, чтобы разрешить их вместе со старшим другом. Он твердо верил, что непременно получит правильный ответ, и Мартин забывал свою усталость, стараясь найти этот правильный ответ. Когда Мартин бывал один, он подводил итоги своим размышлениям, он проверял себя, будет ли Гансу понятен, удовлетворит ли его такой ответ.

Правда, у Ганса было еще несколько друзей, с которыми он мог свободно говорить о многом. О многом, однако не обо всем. Только с Мартином он мог говорить решительно обо всем. Некоторые важные стороны жизни он мог обсуждать с такими друзьями, каким стал для него старик Бергер. Бергер служил убедительным примером того, что человек может оставаться верен себе, может продолжать бороться и при этом не обязательно попадет в тюрьму. Он по-прежнему работал на заводе; двумя-тремя как бы невзначай брошенными словами он искусно сеял среди рабочих сомнения и недоверие. «Хорошо, что мы продержали Гитлера четыре года!» — на что кто-нибудь неминуемо удивлялся: «В самом деле, уже четыре года?» Или: «Мне и вспомнить дико, сколько я себе крови перепортил, глядя, как сын у меня мыкается без работы». Тогда товарищи спрашивали: «Да, правда, куда он девался, твой Оскар? Разве он не вернется к нам в цех?» На что старик весело отвечал: «Покамест нет, дайте ему сперва отбыть трудовую повинность, а потом сельскохозяйственную повинность и еще два года воинской повинности. А уж тогда мы его подучим нашему делу! Надо полагать, он к тому времени не станет еще старой развалиной». На что сосед либо говорил: «Надо полагать», либо только хмурился.

У Бергера Ганс просил совета, как составлять листовки, как их печатать и умело распространять. Бергер всецело посвятил себя подпольной работе и, естественно, отбрасывал все, что могло ей помешать. Сомнений и колебаний он не знал.

Не берег он и своего сына, Оскара, хотя рано потерял старшего, Хейнера. Оскар был честный, хороший малый. Ганс даже стыдился, что не всегда находил с ним общий язык... Ведь Оскар был из тех, кто громко и решительно говорит «да», когда от него требуют, чтобы он, не задумываясь, поставил на карту свою жизнь во имя лучшей жизни для всех людей. Ганс даже самому себе не решался задать вопрос: какова же та лучшая жизнь, за которую борется Оскар, его верный и отважный друг? Для Оскара лучшая жизнь заключалась в том, чтобы не было ни сельскохозяйственной, ни трудовой, ни воинской повинности, чтобы он как можно скорей обучился ремеслу, женился на ком захочет и лучше зарабатывал, а значит, лучше ел и пил.

Под лучшим будущим он понимал только осуществление многочисленных крупных и мелких желаний, которые до сих пор были для него неосуществимы. По трезвости и вялости ума он не способен был мечтать о чем-то отвлеченном. Он не мог понять, почему Ганс тратит свой досуг на какой-то замысловатый чертеж машины. Он не мог понять, почему Ганс вдруг разочаровывается то в одной девушке, то в другой. А Ганс о многом стеснялся с ним говорить.

Только с Мартином он мог говорить обо всем. Его он не стеснялся. Со всеми прочими людьми он мог говорить только об отдельных сторонах жизни. С Мартином он свободно говорил о любых ее сторонах и не стыдился никаких переживаний, разочарований, сомнений, никаких своих чувств. Как бы незначительно ни было чувство, друг не отказывался вникнуть в него, не отделял его от более высоких чувств, потому что оно было недостаточно важно и серьезно; наоборот, он старался найти нить, связывающую это маленькое, незаметное, затаенное чувство с самым главным, все равно, шла ли речь о любовном увлечении или о патефонной пластинке. Ведь жизнь так драгоценна и так скупо отмерена, что нельзя упускать ни малейшей ее частицы.

С первой минуты сознательной жизни Ганс понял, что жизнь человеческая всегда под угрозой и в любую минуту может оборваться. Его жизнь постоянно была под угрозой. Он не замечал, чтобы люди, сновавшие по улицам, парни, учившиеся с ним в механической мастерской, и все те, кто веселился в кафе, так торопились и так жадно хо-

тели жить. Люди даже иногда убеждали себя, что жизнь бесконечна, потому что она не была под постоянной и явной угрозой. А ему, Гансу, с той самой ночи, когда они с Оскаром привели домой раненого Хейнера, раз и навсегда стало ясно: в любую минуту может произойти что-нибудь непредвиденное и надо быть наготове.

Конечно, это часто и надолго забывалось. Но иногда тебе вдруг об этом напомнят, да так, точно стукнут обухом по голове. Однажды они с Мартином сидели за той же увитой плющом решеткой, где случайно снова нашли друг друга. Сейчас, когда слабый и пыльный солнечный свет, просачиваясь сквозь листву, бросал на столик узорчатые тени, Ганс, как бывало в детстве, почувствовал себя точно в саду. Изгородь была такая же высокая и так же плотно отгораживала их от улицы. Мартин внимательно слушал его рассказ. Как он кончил учение, как выдержал экзамены — у него были приготовлены правильные и неправильные ответы на вопросы, которые нацистские представители задают экзаменующимся. Правильные — для самого себя, неправильные — чтобы заговаривать зубы учителям. Ему послужила уроком незадача одного ученика, который, несмотря на свои познания, провалился в прошлом году на экзаменах. Нацист спросил: «Что будет после третьей империи?» И ученик, не подумав, брякнул: «Четвертая», после чего ему заявили, что он не годится в подмастерья. Ганс, умудренный чужим опытом, ответил: «После ничего уже не может быть, этим кончается история человечества».

Оба посмеялись, и вдруг Ганс объявил, что его посылают отбывать сельскохозяйственную повинность.

— Значит, ты меня уже здесь не застанешь, когда вернешься,— сказал Мартин.

Ганса пронизала та же жестокая боль, как тогда на вокзале, когда он понял, что старший друг оставляет его одного в этом большом городе. Он заранее ощутил безнадежную пустоту огромного города. Вот он вернется, отбыв сельскохозяйственную повинность, и, может быть, еще застанет кое-кого из старых друзей: Бергеров — отца и сына, а может, свою мать, сестру Елену. Но самого главного не найдет. Улицы по-прежнему будут тянуться бесконечно, высокие дома будут по-прежнему давить его, сквозь увитые листвой решетки солнечные лучи будут

просачиваться на его столик, но его одиночество будет мучительно, почти невыносимо.

— Не поехать ли тебе со мной? — сказал Мартин. Ганс с удивлением посмотрел на него; Мартин продолжал: — Ты ведь уже взрослый человек.

Кратко и сухо, будто стараясь краткостью и сухостью разграничить факты и чувства, он объяснил, что добровольцы изо всех стран бесстрашно переходят границы, чтобы примкнуть к народной армии, которая сражается в Испании. Они стекаются со всех концов света, с островов на далеких морях, с неприступных гор, они спешат морем и сушей, не страшась долгого пути.

Ганс думал: «Уехать, уехать отсюда...» Это был тот призыв, которого он еще ребенком нетерпеливо ждал. И теперь, почти уже взрослым человеком, он чувствовал, что ничего так страстно не желает, как бороться открыто, не только расклеивать изредка по ночам листовки на улицах, не только придумывать глупые до наглости ответы учителям во время экзаменов, а яростно сражаться с оружием в руках, лицом к лицу с врагом. Он и сейчас, как тогда, готов был не раздумывая уехать с Мартином.

Однако он подумал и заколебался.

— Не могу,— произнес он, покачав головой.

— Не можешь? Ты? Там нужен каждый человек. Гитлер шлет в помощь Франко офицеров и самолеты. Только там для твоей жизни найдется настоящее применение.

— Здесь для нее тоже найдется настоящее применение. Друзья сказали мне: «Ты нам нужен, именно ты», сказали они.— Он задумчиво уставился в одну точку. И Мартин смотрел в ту же точку. Словно эта точка была сама жизнь, для которой так или иначе, но найдется применение.

Ганс первый очнулся и взглянул на Мартина:

— У меня такое чувство, будто все держит меня здесь.— Он сделал неопределенное движение рукой. Даже выглянув сквозь квадрат увитой листвой решетки, ничего нельзя было увидеть, кроме обычно пустой улицы, где начиналось предвечернее оживление. Но это и было все: улица, город, страна и люди в ней.

Мартин больше не настаивал. Но Ганс сам потом не раз задумывался над этим предложением, как будто Мартин продолжал его уговаривать. И все раздумья неизменно кончались одним: «Нет, Мартин, я остаюсь».

Когда вечером мать повернула голову ему навстречу, словно обрадовавшись, что он возвратился живым, он вдруг внимательно вгляделся в нее, как будто она в первый раз встречала его. Он в первый раз увидел, что ее волосы светлее у корней и золотятся вокруг лба. По дороге домой он мысленно твердил себе: «Впереди ненавистная сельскохозяйственная повинность, а потом, когда я наконец вернусь, Мартин уже уедет и кругом будет пусто». Но теперь он подумал, что она-то ведь будет здесь, она-то будет и в том случае, если с ним стрясется беда. Это как солнце, оно все равно останется, когда тебя самого не станет. Ему вдруг сделалось досадно, что после учения он не может поступить на работу. Опять он ничего не будет зарабатывать и не сможет купить ей такой красивый подарок, какого ей еще никто никогда не покупал. Может быть, шелковую кофточку или тафтяный передник, какого не было ни у одной соседки. Правда, после сельскохозяйственной повинности он поступит на платную работу, но ведь потом опять новая повинность — военная служба.

Мария сказала:

— Отец тайком сунул под дверь жене Трибеля немного денег.

Ганс молча кивнул. А вечером сказал равнодушным тоном, обращаясь к Гешке:

— Трибель по-прежнему сидит в концлагере. Ведь это прямо чудо — не сдался и все-таки еще жив. Что ты на это скажешь?

— Что мне сказать? Мне его жалко,— ответил Гешке.

— Когда такое слышишь, невольно думаешь: «Честь ему и слава».— Они привыкли за столом не утаивать своих мыслей, но и не высказываться до конца, как иногда актеры на сцене перебрасываются короткими репликами, полунамеками. Гешке сразу подхватил реплику:

— Конечно! Я тоже говорю: «Честь ему и слава!» Я и почитаю его. А любить не могу. Человек он приличный, но, на мой взгляд, он не прав.

— Он ни на йоту не поддался нацистам. И можно сказать, выстоял до конца.

— Он, говоришь, не поддался нацистам,— повторил Гешке.— А вот если бы он из концлагеря напрямик заявился ко мне на кухню, мы бы с ним опять повздорили. Он преклонялся перед Советским Союзом. За это его и

забрали. А что там сейчас делают? Устраивают один процесс за другим. Нацисты только смотрят и радуются.

— Вряд ли они так уж радуются. Русские, надо думать, хотят обеспечить у себя тылы на случай, если опять будет война,— возразил Ганс.

— Если, если,— передразнил Гешке.— А почему будет война? Нацисты и без пушек берут все, что им приглянется: Саар, Рейнскую область, Австрию, чем дальше, тем больше. Я в твои «если» не верю.

— А во что ты вообще веришь? Я все слышу — в одно ты не веришь, в другое не веришь. Во что-нибудь ты все-таки должен верить, отец?

На постаревшем сероватом лице Гешке появилось ничем не объяснимое страдальческое выражение, явно не относящееся ни к их разговору, ни к Трибелю, его могло вызвать лишь куда более глубокое страдание. Однако он ответил совершенно спокойным голосом:

— Я верю в здравый рассудок.

— А что это за штука, твой здравый рассудок? — спросил Ганс.

— Эта штука верная, недаром он здравый. Это тебе не фантазии, не бредни какие-нибудь, одно слово — рассудок. Это тебе не то что выдумывать, что было бы, если бы... Вот Трибель все выдумывал, а теперь сидит в концлагере.

— У меня рассудок здравый, вот я и думал, что кончу учение и стану слесарем-механиком,— заметил Ганс.

— Что ж, и станешь,— подтвердил Гешке,— через год, если все будет благополучно, вернешься домой и сразу же до призыва поступишь на работу.

— Да, через год, если я благополучно вернусь,— сказал Ганс,— вот и ты говоришь «если». Без «если» обойтись трудно. И если мне, да-да, если мне удастся поступить на работу,— весело обратился он к матери,— я на первые заработанные деньги куплю тебе косынку, как у тети Эмилии, синюю или зеленую.

Мария все время слушала очень серьезно.

— Если заработаешь и если не надумаешь купить какой-нибудь девушке,— с улыбкой сказала она,— тогда купи, пожалуйста, синюю, а не зеленую. А главное, вернись сперва домой.

II

Все эти годы Густав Клемм избегал встречаться с разведенной женой своего кузена. Переписку по опекунским делам он поручил адвокату. Но зачисление племянника в привилегированную школу фюрера побудило его пригласить мать Хельмута для личной беседы в Берлин, в отель «Кайзерхоф».

Планы на будущее для собственных своих сыновей он взлелеял про себя, доверив кое-что только жене. Ему было очень на руку, что единственный сын его кузена — главный наследник — не будет совать нос в дела. Дядюшка Клемм отнюдь не мечтал для своих сыновей о блестящей политической карьере, он предпочитал, чтобы они управляли фабрикой, особенно преуспевавшей за последнее время. Теперь, когда его подопечный воспитывался вне семьи, он счел своим долгом прекратить посылку денег в Потсдам, хотя такая сумма при их состоянии была сущим пустяком.

Ленора была ему не по душе даже в те времена, когда Клемм только привез ее из полевого госпиталя. И теперь, когда она вошла в холл отеля, ему стало неприятно, тем более что она почти совсем не изменилась, а он почему-то считал, что она должна была сильно измениться. Бесшумные, скользящие движения, однотонный, глухой голос, серые глаза, седовато-пепельные волосы — все в ней напоминало ему моль. Вообще же свидание оказалось совсем не тягостным, а даже, наоборот, приятным. Ленора Клемм и не подумала дать ему отпор, к которому он готовился. Она выслушала его, выпрямившись и не шевелясь, но, вместо того чтобы запальчиво и нагло настаивать на своих притязаниях, только слегка покачала головой. Если господин Клемм считает более целесообразным переводить деньги на воспитание мальчика прямо в школу, ей против этого возразить нечего. Все, что оставалось от денег сына, за вычетом суммы, которую она давала тетке на домашние расходы, с самого начала помещалось ею в банк на его имя. Хельмут, по счастью, располагает значительным наследством, которым она при создавшихся обстоятельствах ни в коем случае не желает пользоваться.

Клемм привык к долгим препирательствам и тут тоже ждал торга, а потому ответ Леноры почти что смутил его. Он решил про себя, что эта женщина либо невообразимо

глупа, либо невообразимо хитра. Если за отказом от денег кроется какой-нибудь подвох, он уж доберется до сути. Ему сейчас особенно противны были ее глаза, серые, как ночные бабочки, спокойно и кротко смотревшие на него. А Ленора думала, что этот человек похож на ее покойного мужа, своего кузена. Может быть, Клемм сделался бы точно таким, если бы остался жив. Но когда она влюбилась в него, он был молод, красив и отважен. Или же у него и тогда было семейное сходство с кузеном, только она этого не замечала? Кузен точно так же умел устраиваться в жизни и знал, как обращаться со всякими людьми. А сидевший напротив нее Клемм припомнил, что Хельмут жаловался, как трудно ему было уломать свою мамашу отпустить его в новую школу. Она бы, конечно, предпочла, чтобы мальчик наследовал отцу в делах.

— Как вас, должно быть, радуют хорошие вести от Хельмута! — сказал он, смеясь глазами, отчего стал еще больше похож на ее покойного мужа.

— Каждой матери приятно, когда ее сын доволен,— спокойно ответила Ленора.

Клемм подавил улыбку. Ему вдруг очень захотелось тминной водки, которой славился отель. Но тогда ему пришлось бы угостить эту женщину, что не соответствовало его намерениям придерживаться с ней строго деловых отношений.

— Как ни странно, но мне кажется, вы недовольны его зачислением в такую школу, хотя большинству немецких матерей это представляется недосягаемым счастьем,— заметил он.

Ленора возразила, что всегда мечтала для своего сына о том поприще, на котором подвизались ее отец и брат.

— Но ведь эта школа откроет перед ним те же возможности,— с жаром подхватил Клемм,— и вдобавок даст такое образование, которое позволит ему претендовать на высшие государственные посты.

Оба были довольны, что разговор на этом закончился. На обратном пути Ленора думала: «Хорошо бы не иметь ничего общего с этими людьми. Они отняли у меня сына. Ничего не поделаешь, отняли. Когда-то я радовалась, что мне его отдали. А теперь они окольными путями опять забрали его. Они с малых лет поддерживали в нем то, что я всеми силами старалась искоренить».

Неприятная встреча разбудила в ней воспоминания о прошедших днях, и в памяти всплыл исчезнувший любовник Ливен, который когда-то был приятелем ее мужа. Дома избегали упоминать его имя, с тех пор как узнали, кем он стал. Ленора вспоминала его глаза, голос, руки. Отдельные черты не потускнели и не изменились, как не меняются черты людей, изображенных в книгах. И эти черты не ушли в прошлое, они жили бок о бок с ней, наряду с тем убогим и томительным существованием, на которое она была обречена. Стоило ей размечтаться, и она уже жила событиями прошлого, в неведомых краях, с неведомыми людьми, по неведомым законам — и тут ни тетя Амалия, ни тупоумный кузен Клемм, ни сын, причинявший ей столько огорчений, не играли никакой роли. Это была выдуманная жизнь, возможная, пожалуй, только в книгах. Но обычная жизнь после кратких перерывов все равно берет свое.

Учителя юного Клемма докладывали по начальству: юноша обнаруживает качества, безусловно подтверждающие данные ему рекомендации. Недаром школьные и молодежные фюреры расписывали, как он был привержен национал-социализму, как горой стоял за него наперекор противодействию родных, наперекор карам и запретам еще в те времена, когда национал-социалистское движение подвергалось поруганию. В нем были все задатки молодых людей, которые по окончании образования будут надежной опорой фюреру.

Мальчик тем больше старался, чем сильнее его муштровали. Когда его на военно-спортивных занятиях заставляли с полной выкладкой прыгать в каменистый овраг или в болото, он подавлял в себе даже тень страха, как подавлял и тень сомнения, когда ему на уроках внушали, что история народов — просто-напросто борьба рас. Он боялся хоть о чем-нибудь спросить, чтобы учитель не усомнился в его добродетелях. Вскоре для него уже не существовало никаких вопросов.

Возглавлявший школу эсэсовец с первых же слов заявил своим юным слушателям, что претворить в дело приказ фюрера способен лишь тот, кто научился управлять своими мыслями и мышцами. Чем точнее они сумеют сами выполнять неожиданные и непонятные приказы, тем луч-

ше и точнее будут впоследствии выполняться подчиненными их собственные неожиданные и непонятные приказы. Его научили презирать людей неполноценных, не способных жертвовать жизнью ради тех идей, которые сами же проповедуют. В течение испытательного срока его мучило только одно — страх, что он не будет признан достойным выйти в фюреры. Кому нужны все эти фюреры, он не спрашивал, как не спрашивал, кому нужен главный фюрер. Этот вопрос для него просто не существовал. Ему так же не приходило в голову спросить, какая польза от фюрера, как верующему не приходит в голову спросить, какая польза от бога, или архангелу, воплощающему крылатую волю господню, осведомиться перед отлетом, что хорошего в этой воле.

У него, как и у всех его однокашников, вера не витала в пространстве, точно дух святой в небесах, он верил в тех, кто внушал ему эту веру,— в живых людей из плоти и крови, в своих учителей. Прежде всего в учителя гимнастики, отвечавшего за его физическое развитие. На втором месте стоял учитель иностранных языков. В согласии со школьным начальством Хельмут решил изучать французский язык. Учитель гимнастики обворожил его невозмутимой молчаливостью. Хельмуту очень хотелось вызвать у него возглас удивления или одобрения. Учитель часами заставлял измученных учеников повторять одни и те же упражнения, а затем проделывать рискованные прыжки, требовавшие незаурядной отваги. Хельмут втайне даже желал повредить себе что-нибудь, потому что учитель навещал пострадавших в лазарете. Все учителя начинали преподавание кратким вступлением, этот выбрал темой для вступительного слова страх смерти. Античный мир в пору своего расцвета не знал страха смерти, точно так же как и древние германцы. Страх смерти — уродливое порождение иудейско-христианского духа, навязанное им средневековью. Тогда-то людям и внушили, что им придется после смерти искупать грехи, совершенные при жизни.

Когда однажды Хельмут вывихнул себе руку, учитель пришел его навестить и на минутку присел к его постели, придав своему насмешливому лицу заботливое и даже ласковое выражение. Хельмут был счастлив, когда костлявые, жесткие пальцы учителя ощупали повязку; точно так же в былые времена к его постели присаживалась

мать. Впрочем, о матери он совсем не думал. Ленора писала ему аккуратно, но для него было докучной повинностью самое чтение этих писем, в которые Ленора вкладывала много старания, считая их единственным средством сохранить связь с сыном. Он даже вздохнул с облегчением, узнав, что ездить домой на каникулы не разрешается.

Он радовался, когда учитель гимнастики навещал его в лазарете, ему нравилось все, что тот говорил. Учитель приносил с собой Расина и Корнеля и показывал разницу между латинским и германским понятием чести. У нас — это верность фюреру, у них — служение пустой абстракции. Но и у представителей этой растленной расы, например у Корнеля, иногда проскальзывает германский дух. Надо только научиться распознавать его. Чувство превосходства чистой расы, присущее каждому немцу, французы решаются изображать лишь на сцене и лишь у представителей других народов. Трагедия Расина «Береника» — укор французам, давно уже не уважающим чистоту собственной расы. А в этой трагедии римский император ради государственных интересов изгоняет свою возлюбленную еврейку — правда, у него при этом сердце обливается кровью, но француз и представить себе не может, чтобы при такой жертве сердце не обливалось кровью.

Учитель приносил Хельмуту и тот яд, которым великая революция отравила французский народ. Приносил даже Вольтера. Школьное начальство решило послать Хельмута для усовершенствования во Францию, и потому надо было заранее, до поездки, впрыснуть ему противоядие. Ему следовало заранее понять, насколько пошло триединство французской революции: свобода, равенство и братство — слова, которые французы по сей день пишут на плакатах.

Однако поездка состоялась не сразу. Внезапно посреди какого-то спортивного состязания — школьное начальство било именно на внезапность — Хельмут получил приказ отправиться в сопровождении одного эсэсовца в селение Энзе в Рурской области. Он сразу понял причину: нужно приобщиться к собственной нации, прежде чем соприкасаться с чуждыми культурами. Ему предстояло провести каникулы в семье одного горняка. Энзе был небольшой фабричный поселок в ряду таких же селений, обитатели

которых жили исключительно работой на шахтах. Рабочему Бейеру было сказано, чтобы он не обращал ни малейшего внимания на постояльца, направленного к нему нацистской партией. И Бейер, немолодой человек, давно живший на одном месте, воспринял это как общение с народом той нацистской партии, которой сам служил и в хорошие и в плохие времена. Хельмут сперва чувствовал себя немного неловко в чуждой обстановке: несмотря на предупреждение, фрау Бейер поспешила все прибрать, состряпала воскресный обед и подала его на парадной посуде, а старик в первый же вечер угостил постояльца хвастливым рассказом о своих подвигах. Оказалось, что он был послан на первый нюрнбергский съезд национал-социалистской партии с первой делегацией горняков, и ехали они через всю Германию со своими эмблемами, с рудничными лампами. Когда он вернулся, у него выбили все окна, поносили его жену и даже детей, а его самого долгое время иначе не называли, как предателем рабочего класса. Мало-помалу Хельмут освоился, стал задавать вопросы и к концу вечера почувствовал себя в самой гуще народа. Спал он в одной комнате с ребятишками; ему дали отдельную, чисто застланную кровать, а ребята спали из-за него вповалку на одной кровати. И все же по сравнению с комнатами, где он привык спать, эта была убогой клетушкой. Днем он работал, как простой рабочий. Он был хорошо натренирован физически, ловко брался за дело и не скоро уставал.

В перерыв он пил пиво с Бейером и его приятелями. А на тех, кто хмуро или насмешливо поглядывал на него, он не обращал внимания. Рабочие толкали друг друга:

— Молчи. Какой смысл? Еще сболтнешь что-нибудь, а он донесет.

Молодой рабочий предложил Хельмуту распить с ним бутылку.

— Что ж, так вместе и будем работать? — спросил он серьезно, только глаза у него смеялись.

— Пока меня не отзовут,— ответил Хельмут.

— Вот оно что,— протянул рабочий.— А я-то думал, мы теперь всегда будем на равной ноге.

Хельмут почувствовал насмешку и решил в тот же вечер расспросить Бейера об этом рабочем.

Весной он с группой сокурсников под начальством учителя иностранных языков, который должен был довезти их до места назначения, поехал в качестве туриста в Париж и остановился у одного из чинов посольства. Ему прямо не терпелось собственными глазами увидеть народ, который был заклятым врагом Германии и самой растленной расой в Европе.

Он был почти разочарован оттого, что носильщики ничем не отличались от обыкновенных людей, если не считать красного шарфа на животе. Мостовые, по которым они мчались, блестели, отполированные бесконечным количеством автомобильных шин, как только может блестеть асфальт. Ехали они с такой головокружительной быстротой, как будто проносились по легендарным городам порока, по Вавилону или Багдаду, только что там не было автомобилей. И лишь когда Хельмут увидел свастику на посольской вилле в Отейле, он снова вздохнул свободно. Он жил в комнате для приезжающих с одним из соучеников. Им еще до отъезда объяснили, что цель их учебной командировки — так изучить обстановку и парижский жаргон, чтобы их нельзя было отличить от французов. Они бывали в Лувре, где французские короли собрали все сокровища мира. Они проезжали мимо Тюильри, ездили вдоль Сены и по улице Риволи. Эта арена житейских соблазнов, предупреждал учитель, ласкает взгляд, но в сердце оставляет пустоту. Взгляд Хельмута она, безусловно, ласкала, а сердце оставалось пусто, он не мог опомниться от потрясения — все глазел и глазел, но чувствовал себя одиноким и тосковал по дому.

По ком он, собственно, тосковал? Он считал себя слишком взрослым, чтобы тосковать о матери. Верно, его просто тянуло из этой удручающе чуждой страны к себе домой, к своим. Его повели в ресторан, в каком он еще никогда в жизни не бывал. Ему подавали такие вина и кушанья, о существовании которых он даже не подозревал. А потом появились две пары — белокурые женщины с кавалерами-неграми. В последующие вечера его водили куда-то на окраины, по всяким притонам. «Будущим деятелям национал-социалистской партии надо уяснить себе нравы народа, являющегося нашим исконным врагом».

Он растерянно глазел на девиц. Таких он еще не видел. Его тошнило, он не мог притронуться к вину. У него еще не бывало любовных интрижек. Он до сих пор не

имел дела ни с одной порядочной девушкой, а с другими и подавно. По его понятиям, только во вражеском городе могли существовать такие девушки, которые бесстыдно разглядывают мужчин, не стыдятся, когда их разглядывают, и пьют вино, сидя у мужчин на коленях. Он считал, что это возможно только среди растленной расы. Его тело, закаленное спортом и физическим трудом, осталось таким же, каким было, когда он со школьным товарищем катался на лодке по своему любимому озеру и заповедной бухте. Красивая голова его по-юношески гордо сидела на плечах, и по нему не видно было, что его разъедает та страшная болезнь, которая с некоторых пор пропитывала своим ядом каждую жилку, каждую клетку.

Он вполне усвоил многие обычаи чуждой расы, но язык не успел еще изучить достаточно хорошо, чтобы быть полезным в случае войны, как вдруг его отозвали домой. Учителя остались довольны его отчетом, его наблюдениями и выводами. Он сам жаждал вернуться к знакомым людям и ландшафтам. Но предвкушение радости оказалось, как оно и бывает обычно, сильнее, чем самая радость. Он испытывал легкое разочарование и не мог понять почему. Он ощущал в сердце холод и пустоту, а по какой причине, на этот раз никто не мог бы ему объяснить. На следующее утро он снова был весел и доволен, и, хотя ночью в постели ему все еще мешали холодок и пустота в сердце, проснувшись утром, он уже свыкся с этим. Его вернули в школу, перед тем как к Гитлеру в Годесберг прибыли важные гости из Лондона. Ему было сказано: «Если все сойдет гладко, сейчас же поедешь обратно». И он, сам не сознаваясь себе, мечтал об этом даже больше, чем о войне. А потому был почти так же доволен, как Чемберлен, который заявил, приземлившись после Мюнхена: «Я привез вам мир...»

Через несколько недель Хельмута уже снова приветствовали в Отейле.

III

В жизни Венцлова наступила, что называется, счастливая полоса: ему везло как в крупных делах, так и в мелких. После повышения в чине ему была предоставлена более

просторная, солнечная квартира. Единственный сын, которым он так гордился, с пасхи пошел уже в школу. Младшая дочка Марианна была предметом всеобщей зависти. Счастье, которое дарила ему молодая и все еще привлекательная жена, было настолько доступно, что не могло даже рассматриваться как особое счастье. Пока он отсутствовал, она терпеливо ждала его и воспитывала его детей. Его тройной долг — руководить домом, женой и детьми, ловко и весело лавируя между мелкими трудностями, неладами и заминками,— тоже нельзя было рассматривать как особо тяжкий долг.

Только старшая дочь Аннелиза доставляла ему неприятности, да и то не очень существенные. Она начала готовиться к конфирмации у молодого школьного пастора Шрёдера. После трех уроков Шрёдера уволили. Одна из матерей, которая хоть и не была активной деятельницей национал-социалистского союза женщин, но прославилась тем, что сумела воспитать четверых образцовых ребят, эта самая мамаша собрала с десяток подписей под письмом, требующим удаления пастора Шрёдера. Немецкие матери, значилось в письме, не могут допустить, чтобы духовным пастырем их детей был человек, высказывающий суждения, противные взглядам национал-социалистского государства. И Аннелиза вместе с остальными ребятами брала теперь уроки у другого школьного пастора. Казалось, на том дело и кончится. Выпады приверженцев евангельской секты Венцлов всегда считал беспочвенными. А из всех несогласных противнее всего ему были ревнители церкви. Когда жена обратилась к нему за советом, он объяснил ей, что заострение внимания на религиозных вопросах вполне понятно: в Веймарской республике был допущен такой перегиб в одну сторону, что теперь необходимо перегнуть в другую и таким путем найти правильный угол зрения. Конечно, он сам отнюдь не мог подписаться под всеми принципами нынешних «немецких христиан», но еще меньше склонен был он подписаться под официально утвержденным Веймарской республикой отрицанием христианства в семье и школе. В религиозных вопросах дело обстоит так же, как при стрельбе в цель: нужно учитывать сопротивление воздуха и притяжение земли и устанавливать прицел на два деления выше, чтобы поразить врага.

Однако выяснилось, что дочь Аниелиза еще раз бегала в пригород к отставленному пастору Шрёдеру, чтобы вер-

путь прочитанную книгу, утверждала она. А пастор имел наглость тут же дать ей другую книгу. Как выяснилось из подробного допроса, давая эту книгу, он заметил, что именно теперь, перед конфирмацией, юная душа восприимчива, как никогда. Вероятно, потому, что все избегали его и никто не желал с ним говорить, он не постыдился изложить свои бредни невинной девочке, своей прежней ученице, и заявить ей, что, подобно тому как природа следует своим собственным законам в том, что касается физического роста ребенка, так же и господь бог следует закону духовного созревания, и благодать его осеняет юную душу, готовящуюся принять причастие. Если этого безумного пастора привлекли теперь к ответственности за такую наглость, если он даже попадет в концлагерь, пусть пеняет на себя.

Ильза Венцлов была вынуждена сообщить куда следует об этом инциденте. Но он еще далеко не был исчерпан, хотя причинил ей уже немало неприятностей, да и собственная совесть была не совсем спокойна. Недаром Ильза Венцлов с ранних лет была доброй христианкой. Она не могла, как требовал Венцлов, попросту подчиниться, ей надо было обдумать, поступает ли она согласно велениям своей совести. Немало бессонных ночей пришлось ей провести, чтобы согласовать веления совести с тем, что велит муж. А девочка, вместо того чтобы пожалеть мать, выкинула новую штуку, и мать окончательно убедилась, что такому человеку, как пастор, достаточно было нескольких часов, чтобы вселить в ребенка свой строптивый дух. Как могло что-либо подобное прийти в голову ее дочке, такой тихой и бледненькой после того несчастного случая! Ильза часто сама вытирала пыль в комнате дочери — как теперь оказалось, к счастью. Она это делала, во-первых, потому что пример — лучшее наставление, а во-вторых, чтобы заглянуть в ящики дочери. И что же, она опять нашла ту же запретную книгу, хотя пасторскую книжку она тогда же отослала обратно с денщиком. Значит, у девочки хватило дерзости бог весть по чьему наущению пойти в городскую библиотеку и взять заинтересовавшую ее книгу. А теперь двум молоденьким библиотекаршам придется отвечать перед судом нацистской партии и, таким образом, двум, возможно даже вполне порядочным, немецким семьям будет причинено огорчение, и все это опять по милости пастора Шрёдера. Можно ли было ожидать от девочки такого зло-

стного упорства? А хитрость-то какова! Разве не хитрость — тайком добыть запрещенную, по недосмотру не изъятую из библиотеки книгу!

Венцлов сначала спокойно слушал жалобы жены. И при этом задумчиво теребил увядший цветок, что торчал в вазе у него перед глазами. Эту вазу он привез из Китая. Теперь он нередко рассказывал гостям, даже в присутствии жены, кто там, в Китае, поставил эту вазу с цветами на его письменный стол. Он показывал и фотокарточку Мани; она висела на стене в резной лакированной рамке рядом с наиболее удачными снимками дальневосточных жителей и пейзажей. Жена при этом, улыбаясь, ерошила ему волосы. С момента первого поцелуя в саду тети Амалии время не стояло на месте. Ильза уже не была наивной девочкой, она многому научилась и теперь непременно ставила несколько цветов в китайскую вазу, дорогую по воспоминаниям.

Резкий оттенок в голосе Венцлова не исчезал, даже когда он старался его приглушить:

— Не обижайся на меня, но ты все-таки мало следишь за девочкой. Моя тетя сама предварительно прочитывала каждую книгу, которую сестра брала в руки.

— Не вижу, чтобы такой контроль принес большую пользу твоей сестре,— сказала жена раздраженно, как говорила обычно, когда Венцлов ставил ей в пример тетю Амалию.

Венцлов не выносил намеков на неудачный брак сестры. Он повысил голос:

— В присутствии детей нельзя критиковать правительство. Я сам, случалось, замечал насмешливые улыбки у наших гостей, у приятелей, даже у тебя, и не порицал их. Теперь я вижу, что был не прав. Нельзя ни на миг забывать, что́ сделал для нас Гитлер. Все его мероприятия до сих пор только повышали престиж нашей нации перед всем миром. Некоторые из этих мероприятий в первую минуту были нам не вполне понятны. Однако без них не было бы событий текущего года. До других государств уже дошло, что мы охраняем те принципы, на которых покоится не только наша, но и их собственная культура. У нас для этого есть сила, которой нет у них. Они поняли, что будет лучше, если мы, немцы, возьмем в опеку эту растленную, насквозь пропитанную славянством расу, которая отделяет их от Азии. А такие страны, как Австрия, где имеются и свои

очаги заразы, но основное ядро — немецкое, те вздохнули с облегчением, когда пришли мы.

Ильза Венцлов, порядком удивленная длинной речью мужа, ответила несколько нетерпеливо:

— Должна сознаться, что мне совершенно непонятно, какая связь между занятием Вены и Судет и упорством этой дерзкой девчонки.

— Вам, женщинам, трудно понять то, что выходит за пределы ваших четырех стен. Подполковник Гюнтер на днях уезжает на восточную границу. Он прикомандирован к штабу. При наших отношениях я могу рассчитывать, что он перетянет меня к себе. Но если дело дойдет до этого, необходимо, чтобы на моем служебном пути не было ни малейшей помехи.

— Надо надеяться, что и не будет. О какой помехе может идти речь?

— Из-за глупости нашей девочки мы можем быть зачислены в категорию семей, где имеется неблагонадежный элемент, позволивший себе враждебную государству выходку.

Единственный, кто спокойно спал в эту ночь в квартире Венцловов, был их маленький сынишка. Аннелиза стояла на коленях в кроватке младшей сестры. Она слышала сквозь дверную щель каждое слово; младшая сестренка тоже сначала старалась слушать, однако сонливость пересилила любопытство. Аннелиза совсем прижалась ухом к дверной щели, но в течение двух минут не было слышно ни звука. «Значит, я теперь враг государства»,— думала девочка. Слова отца, видимо, произвели на мать сильнейшее впечатление.

— Что же нам делать? — произнесла наконец Ильза.

— Ехать на почту. Я отправлю срочную телеграмму тете Амалии. К счастью, она очень расположена к девочке. Эта глупая история заглохнет сама собой, если девочка будет некоторое время отсутствовать.

По шуму отодвигаемого стула девочка поняла, что отец ушел. Она поспешно скользнула в свою постель. Мать прошла в детскую; она прикоснулась к светлым волосенкам сына; у постели малыша она несколько утешилась — он еще ни разу не причинял ей огорчений, и ей казалось, что никогда и не причинит.

Ответная телеграмма пришла так скоро, что Ильза Венцлов сама поспешно уложила чемодан, чтобы дочь по-

пала на утренний берлинский поезд. Девочка угрюмо взглянула на отца, который сухо попрощался с ней.

Венцлов думал: «Непонятное существо! В ней много упорства и настойчивости. От матери она вряд ли могла это унаследовать. Это кровь Венцловов». По дороге на службу ему стало жалко, что он долго не увидит ее.

Ильза Венцлов проводила дочь до выхода на перрон. Дорогой она избегала всяких разговоров.

— Надеюсь, мы будем получать о тебе только хорошие вести,— сказала она на прощание.

Девочка, в сущности, была рада уехать от семьи. Перед самым отходом поезда у нее произошла неожиданная встреча. Пастор Шрёдер, этот камень преткновения, в том же поезде ехал на допрос в столицу в сопровождении двух корректных чиновников, по внешнему виду ничуть не похожих на гестаповцев. Девочка своими зоркими глазами издали узнала его и старалась пробраться сквозь толпу пассажиров. События, которые переворачивают всю жизнь, как, например, арест, могут либо окончательно сломить человека, либо вызвать из недр его души совершенно неожиданные силы. Девочке пастор Шрёдер показался вблизи совсем чужим, не таким, как издали. Он стал выше и бледнее, но при этом холодней и суровей. Гестаповцы не заметили, что его вспыхнувший взгляд встретился со спокойным, любопытным взглядом девочки с двумя косичками, затиснутой в толпе. Девочка хотела было броситься к своему учителю, но тот остановил ее торопливым жестом. Она только сейчас увидела, что провожатые недвусмысленно взяли его под мышки, и при теперешнем ее взбудораженном состоянии она скорее, чем обычно, поняла и цель поездки, и роль спутников пастора. Они так близко стояли друг к другу, что она разобрала слова, которые Шрёдер произнес шепотом:

— Я боюсь за тебя, девочка.— И еще тише добавил: — От Матфея, десятая, стих двадцать шестой,— после чего его втащили в вагон.

На Ангальтском вокзале ее встретила Ленора, которую дети называли «настоящая тетя», потому что она была сестрой отца. Ленора ждала, что девочка сразу же объяснит свой неожиданный приезд. Однако вопросов она не задавала, не перебивая девочку, которая весело о чем-то болтала. «У такого юного существа,— думала Ленора, сидя в пригородном поезде,— любовные истории еще не играют

никакой роли. Что же побудило моего милого брата послать срочную телеграмму?»

Тетя Амалия и подавно не собиралась расспрашивать девочку. Она считала, что неприлично задавать прямые вопросы своим ближним — безразлично, старым или малым,— если они сами не чувствуют потребности высказаться. Такая потребность казалась ей, в сущности, тоже неподобающей, в этом было что-то беспорядочное, разнузданное, самовольно переходящее те пределы, в которые господь бог замкнул душу каждого человека.

Поэтому она была недовольна, когда Аннелиза на кухне, где они утром вдвоем чистили ножи и вилки, начала изливать душу. Девочка подробно рассказала обо всех происшествиях, вплоть до встречи с пастором на вокзале. Тетя Амалия попросила ее осторожнее чистить ножи. Ей удалось как-то, когда племянник навязал ей немного денег из своих подъемных, приобрести по случаю набор посеребренных ножей и вилок. Серебро может легко сойти, а потому надо осторожно тереть каждый предмет в отдельности. Затем, сурово глядя в лицо девочки, которое показалось ей разгоряченным и расстроенным в строгом обрамлении туго заплетенных кос, она прикрикнула:

— Как ты смеешь в подобном тоне говорить о родителях? Твой отец никогда в жизни не сделает ничего такого, что не считает абсолютно честным.— А сама думала: «И кто только внушил девочке такие мысли? Школьный пастор, побуждающий ребенка судить собственного отца, плохо выполняет свой долг».

Она смотрела в окно на свой сад, оголенный по-осеннему, и при этом вспоминала племянника среди кустов сирени вместе с его еще неофициальной, но втайне давно уже предназначенной ему обеими соседствующими семьями невестой, а теперешней супругой и матерью троих его детей. Хотя она порицала характер Аннелизы как скрытный и уклончивый и не видела в девочке должной прямоты, но тут же при взгляде на сад у нее мелькнуло смутное подозрение, что в жизни отнюдь не все идет так просто, без уклонений от прямого пути. Девочка с жаром терла одну вилку за другой.

— Конечно, тетя Амалия,— ответила она,— отец ничего не сделает такого, что ему кажется бесчестным. А ты уверена, тетя, что все, что ему кажется честным, в самом деле всегда бывает честным?

— Что ты хочешь сказать? — в испуге спросила тетка.— Я запрещаю тебе задавать подобные вопросы. Дети не смеют судить своих родителей.

Девочка нахмурила брови и молча кончила свою работу. С последних каникул она твердо верила, что нашла себе опору в старухе тетке. Теперь она убедилась, что опора не такая уж надежная. Тетка может ее выдать отцу. «Потому Шрёдер и сказал: «Я боюсь за тебя»,— подумала она.

Вечером они все трое — Аннелиза, Ленора и тетя Амалия — пошли к соседям, к Мальцанам. Тетя Амалия почти примирилась с девочкой, по глазам ее прочтя, что Аннелиза по-прежнему считает главой семьи ее, а не бабушку Мальцан. Значит, у ребенка правильный взгляд на семейные отношения, не зависящие от степеней родства. Эта уверенность вознаграждала Амалию Венцлов за ту обиду, которая так ожесточила ее сорок лет назад. Какой веселой, свежей и влюбленной разгуливала тогда по соседнему саду молодая Мальцан! А она была осуждена на всю жизнь только исполнять свой долг, воспитывая детей брата. Теперь все было в порядке, раз старшая дочь племянника, несмотря на жестокую ссору, считала главой семьи ее, а не старуху Мальцан, хотя та до противности слащаво встретила внучку.

Приехавший в гости Штахвиц сидел за столом рядом с Ленорой. Когда Штахвиц приезжал в гости, Ленора оживлялась и казалась моложе. «Мы, несомненно, сошлись бы, если бы могли сойтись»,— так они оба наверняка думали подчас. Штахвиц ничего не имел против своей собственной миловидной жены. Ленора только редко и ненадолго занимала его воображение, когда касалась рукой его рукава. Мысль о том, что они подошли бы друг к другу, если бы так вышло, возбуждающе действовала на них за столом. Штахвиц был в отпуску. События этого года, даже последнее повышение по службе не утихомирили его, и он высказывался в доме Мальцанов свободнее, чем где-либо. Его сослуживцы, начал он, предварительно покосившись на Аннелизу, которая показалась ему слишком юной, чтобы из-за нее стоило остерегаться, все как один очень обрадовались, когда войска во многих пунктах сразу перешли чешскую границу, что как будто не было предусмотрено Мюнхенским соглашением. Возвращение в лоно империи каждой семьи, каждой деревушки, каждой области, которая имеет все основания считаться немецкой,— мысль превосходная,

вполне разумная и благоразумная, продолжал Штахвиц. Если таков план Гитлера, то нужно его только благодарить. Это предпосылка для мира! Но если верх возьмут люди, у которых главное — мания величия и жажда власти, тогда это будет предпосылкой для войны.

Штахвиц говорил быстрее и больше, чем обычно. Глаза присутствующих были устремлены на него. Даже фрау Мальцан на один миг удивленно взглянула на него испуганными и в то же время доверчивыми, заячьими глазами.

— Ну и чудак ты, Штахвиц,— сказал старик Мальцан,— что ты имеешь против войны? Ведь война — наше ремесло.

Штахвиц быстро повернулся к нему, хотел что-то ответить, но вовремя спохватился. Вместо этого он принялся расписывать ликование при вступлении войск в Судеты и как диссонанс одиночный выстрел какого-то чешского крестьянина в оккупированной деревне. Впрочем, все нечешское население было явно подавлено и молчало, если не считать этого одиночного выстрела. Эсэсовцы и тут успели подгадить: они убили стрелявшего крестьянина, не дождавшись допроса, а допросом из него наверняка можно было кое-что выудить. А так он лежал и молчал, мозг совсем вытек у него из черепа. Населению было запрещено к нему прикасаться. Люди глазели на него издали, на расстоянии десяти метров.

Сидевшие за столом молчали.

— И к нему в самом деле никто не прикоснулся? — звонко прозвучал голос Аннелизы.

— Ну еще бы! — ответил улыбаясь Штахвиц.— Вся местность была занята войсками. И вокруг стояли немецкие солдаты с винтовками.

Девочка что-то ковыряла в своей тарелке. Она размышляла. Недели две назад вопрос о войне или мире радостно или тревожно волновал всех, кого она знала: друзей отца и ее собственных, учителей и учеников, служащих в учреждениях, торговцев на рынках, членов гитлерюгенда, где она теперь играла не такую роль, как раньше, и не была на таком хорошем счету, но где к ней все-таки относились снисходительно из-за ее болезни и из-за прежних заслуг. Отец почти не бывал дома. Скулы у него непрерывно подергивались под тонкой кожей. По его волнению и по небывалой нежности в голосе и в глазах матери чувствовалось, что ожидается что-то очень большое, чего она не

могла даже вообразить; этого боялись и на это надеялись, не хотели, чтобы оно было, и страстно желали его; это было одновременно хорошо и плохо, ужасно и чудесно. Но вдруг скулы отца перестали дергаться; однажды он вернулся домой в неурочное время; он не крикнул: «Мир!», он крикнул: «Войны не будет!» И сразу все почувствовали страшное разочарование и страшное облегчение. Нежность совершенно исчезла из глаз и речей матери. Все смеялись над иностранными правительствами и государственными деятелями, которые с перепугу расторгли прежние договоры и отдали Гитлеру все, чего он требовал. Скулы отца стали снова дергаться, когда начались неприятности в его семье. Домашние обстоятельства почти заслонили от девочки внешний мир. Только теперь, после рассказа Штахвица, она задумалась над разговором родителей, подслушанным ночью через дверную щель с кроватки сестры. Что же общего между упорством Аннелизы и Судетами? Тогда ночью отец не так был уверен, как сегодня Штахвиц, что это возвращение в лоно империи положит всему конец и, значит, ей не придется пережить то, что одновременно ужасно и замечательно.

Затем ее мысли вернулись к чешскому крестьянину. Из его черепа вытек мозг, и к нему никто не прикасался, потому что его стерегли немецкие солдаты. Она видела перед собой гигантские тени немецких солдат на белой базарной площади, как будто ее тарелка была белая базарная площадь, а остатки пирога, которые она ковыряла вилкой,— тени немецких солдат. Она ощутила все могущество власти. А на что издалека глазели люди? На мертвого крестьянина. Что значит мертвый? Если Шрёдер прав, значит, души уже не было у него внутри и напрасно они так глазели. Что же там было? Вытекший мозг из черепа мертвого человека? Ведь это же не душа?

Она беспокойно огляделась кругом, она не знала, кого ей спросить в этой комнате, она даже точно не знала, о чем спросить. Комната, где она сидела, вся семья, весь дом, вся жизнь, каждое в отдельности и все вместе порождало вопросы, так что невозможно было при таком обилии вопросов спросить о главном. Ей казалось, что она в дремучем лесу, хотя она и сидела за белым, накрытым вышитой скатертью столом, на который бабушка Мальцан поставила теперь хрустальную вазу с компотом из консервированных фруктов.

Тетя Амалия очень удивилась, когда девочка задала ей вечером странный, но вполне позволительный вопрос: есть ли в доме Библия? После некоторого колебания она ответила:

— Конечно, есть, деточка,— и достала фамильный фолиант из приданого ее матери и прабабушки Аннелизы, матери того самого Венцлова, который рано вышел на пенсию и затем очень не ладил со своими детьми. Девочка терпеливо выслушала историю прежней владелицы Библии, которая была для нее еще мертвее, чем умершая мать ее отца. Ночью, лежа в постели, она отыскала то место, которое на вокзале, стоя между двумя гестаповцами, назвал ей Шрёдер. Вот оно, наверно; нет, даже наверняка оно: «Да не убоитесь сих». Она подумала: «Я и не боюсь». На внутренней стороне переплета она нашла надпись, сделанную тонким, дрожащим почерком: «Моей дочери Амалии». Она подумала: «Неужели тетя Амалия была когда-то такой девочкой, как я, и тоже маминой дочкой?» Она погасила свет. Есть ли кто-нибудь, кто видит и в темноте и заглядывает ей прямо в сердце, так что и сейчас она не одна? Засыпая, она с радостью заметила узкую полоску света под дверью Леноры, которая все еще не спала и читала.

IV

За это время Ливен так привык путешествовать в самолетах, как будто он всю жизнь парил в облаках. Ему уже не приходилось скрывать удивление — он перестал удивляться. Но теперь он только наезжал в Берлин, а жил почти постоянно в Риге, где заведовал филиалом банка. Дом, в котором он занимал целый этаж, принадлежал владельцу фирмы, снабжавшей древесиной бумажные фабрики Запада. По словам владельца, фирма была основана еще одним из его предков. Он не возражал против того, что квартира Ливена превратилась в сборный пункт немцев, и был даже очень доволен, что Ливен то и дело принимал у себя консульских и посольских чиновников, а также нацистских деятелей, хотя это выходило за пределы обязанностей заведующего банковским филиалом. Вместе с женой и детьми хозяин ходил в немецкую церковь, посылал детей в немецкую школу и в меру своих скромных сил, как он сам объяснял Ливену, старался уберечь родную страну от влияния

Советов. Еще дед его делал все возможное, чтобы не допустить евреев к торговле лесом, а это даже и при царе было затруднительно. Тогда еще не умели, как умеют теперь в Германии, блюсти чистоту расы. И хозяин с величайшим рвением где только мог помогал жильцу во всякого рода переговорах и сборах. Он отлично знал, какую роль играло семейство Ливенов до русской революции, и скорбел о том, что его правительству пришлось после войны конфисковать немецкие поместья. Ведь его несчастная страна могла благополучно существовать только при поддержке сильных соседей. Так куда же лучше было бы ей благоденствовать под охраной влиятельных и знатных семей, чем ждать, чтобы ее довела до погибели безграмотная чернь.

Ливен от души забавлялся и в то же время слегка презирал своего домохозяина, наблюдая, как тот в лепешку расшибается, чтобы узнать, в чьи руки перешли ливеновские владения. Оказалось, что их поделили между двумя или тремя сельскими общинами, какие-то пичтожные дольки достались мелким ремесленникам, лесной участок стал государственным имуществом, а помещичий дом был временно занят богатым дельцом из местных жителей. Хозяин до того усердствовал, что казалось, речь идет о его собственном имении. Между тем лично его мог волновать только лесной участок, в котором много лет подряд была заинтересована его фирма. То обстоятельство, что лесными угодьями распоряжалось теперь государство и частично делец — владелец помещичьего дома, было единственной связующей нитью между ним и родовым поместьем Ливена. Однако как ни тонка была эта ниточка, она побуждала его распутывать такие родственные связи, о которых даже Ливен понятия не имел.

Ливен часто ездил для переговоров в Берлин, а потому оставил за собой комнату на Курфюрстендамм. Однажды вечером он был очень удивлен, когда ему еще в передней ударил в нос табачный дым. Войдя, он увидел гостью, сидевшую в кресле, в углу.

— По-видимому, тебе не известно, что немецкие женщины не курят,— рассмеявшись, сказал он.

Вместо ответа Элизабет Ливен выпустила через ноздри длинную, замысловато перевитую струю дыма.

— И не красятся,— добавил Ливен.

Губы у нее были чуть краснее, чем прежде, а следы усталости на лице тщательно запудрены. Он отметил

вскользь, что она по-прежнему держится прямо и при этом непринужденно, а серое платье, как будто знакомое ему, подчеркивает ее необычайно пропорциональное сложение. В ушах были все те же неизменные материнские серьги и в словах все тот же налет насмешки.

— Обещаю тебе вдвое меньше курить, если ты на этот раз урвешь время и куда-нибудь повезешь меня.

— С величайшим удовольствием,— сказал он.

— А сейчас у тебя есть время? — спросила Элизабет.— Здесь гораздо удобнее говорить. Мы так давно не виделись. После смерти брата я почти не выезжаю из Дрездена.

Ливен пристально посмотрел на нее. Раз она говорит с такой наигранной беспечностью и преувеличенной небрежностью, значит, ей надо сказать что-то важное. Придвинув себе стул к ее креслу, он одной рукой сжал ей руку, а другой отнял у нее сигарету и сунул себе в рот. Она в свою очередь пристально посмотрела на него.

— У тебя неплохой вид, мой милый друг и кузен. Ты даже лучше, чем о тебе думаешь, когда долго с тобой не видишься.

Несколько мгновений оба, сидя рядом, без улыбки, испытующе вглядывались друг в друга, смотрели в глаза друг другу, и глаза у обоих были одинаково холодные, и нечем было согреться ни у одного из них.

— Ну, так в чем дело, ландграфиня Элизабет?

— Титул забавный, мне он нравится. Правда, я не помню, что с ней случилось, хотя мы, конечно, учили про нее в школе.

— Помнится, эта дама, твоя тезка, жила в средние века, помнится, у нее был злой супруг, если я не ошибаюсь, он даже запретил твоей тезке одаривать бедняков в его тюрингской земле. Но она не послушалась, и он поймал ее, когда она несла корзину с хлебом. Она солгала ему, что в корзине не хлеб, а розы. А когда злой ландграф не поверил ей и заглянул в корзину, тогда, как и полагается в таких случаях, произошло чудо — хлеб превратился в розы.

— Что ж, господь бог вовремя вмешался,— заметила Элизабет,— только если бы твоя Элизабет была такая хитрая, как я, она бы заранее положила поверх хлеба несколько роз. Но, конечно, чудо — это куда забавнее. А теперь пусти, пожалуйста, мою руку, мне надо зажечь сигарету. Милый Эрнст, я хочу задать тебе важный вопрос,

впрочем, не будем преувеличивать, относительно важный. Говорят, ты там, в наших краях, ворочаешь большими делами.

Он выпустил ее руку и вопросительно поднял брови. Она затянулась и продолжала:

— Мне бы очень хотелось навестить тебя и повидать те места, где мне так хорошо было в детстве.

— Это нетрудно осуществить,— сказал Ливен.

— Особенно если ты согласишься на мое предложение. Дело в том, что я хочу тебе сделать одно предложение. Только, пожалуйста, не пугайся.

Он слегка отодвинулся и в упор посмотрел на нее. У него было такое чувство, будто он в упор смотрел на свое отражение в зеркале и вдруг отражение опустило глаза.

— Право же, я не знаю ничего на свете, что бы меня испугало,— смеясь, сказал он,— а тем более какое-то твое предложение. Разве оно такое уж странное?

— Пожалуй, да. Что, если бы нам пожениться?

— Бог с тобой, Элизабет! — воскликнул он.— Нам пожениться! К чему это?

Она сказала:

— Нам, Ливенам, надо быть вместе. Вообрази себе, что я весь век проторчу здесь, в Германии, а ты будешь где-то далеко от меня, у нас дома, на севере, и в один прекрасный день тебе вернут имение.

— Предложение, конечно, дикое, но не такое плохое! Только, по-моему, у нас нет ничего общего. Мне кажется, я не в состоянии заново в тебя влюбиться, а ты — в меня, это все давно, давно прошло.

— Что ты, милый Эрист! Неужели для этого обязательно надо любить?

— Вообще говоря, так принято.

— Хорошо, но мы ведь всегда избегали того, что принято.

— И еще другое, Элизабет. Некоторое время тебе будет там хорошо. Скажем, года два. А когда дело дойдет до войны, имей в виду, там у нас будет самое неуютное место в Европе.

— Да ведь говорят, что сделано все для достижения длительного мира. Министры возвращаются с ваших конференций и, вылезая из самолетов, объявляют своим народам, что привезли им длительный мир.

— Тем не менее, детка, не исключена возможность, что рано или поздно мы будем воевать с Советами. И тогда именно там, у нас, будет жарче всего.

— А когда это будет?

— Во всяком случае, еще при нас, до нашей смерти.

— Ах, милый Эрнст, как можно заглядывать так далеко вперед? И зачем нам умирать?

— Говорят, это случается.

— Ах, Эрнст, что за мрачные мысли? А если даже ты прав, ну что ж, я предпочитаю умереть дома, чем здесь.

Он задумался и не заметил, что ее лицо чуть потеплело. Она с минуту подождала, скажет ли он «да» или «нет». А так как ответа не было, она вскочила.

— Пойду одепусь как следует, если ты еще не раскаиваешься, что обещал провести со мной вечер.

Он отрицательно покачал головой.

— Я никогда ни в чем не раскаиваюсь. И полагаю, что всю жизнь буду проводить вечера с кем мне вздумается, иногда даже с тобой.

— Конечно, а я буду терпеливо ждать этого,— подхватила она.— Надеюсь, ты не будешь заставлять меня тоже пользоваться свободой. Понимаешь, я столько уже пользовалась свободой с самого детства, что она мне порядком надоела.

— Мы с тобой неплохая пара, правда? — сказала она потом, когда смотрелась в зеркало, а он ждал, стоя позади нее.

Больше она в течение вечера не упоминала о своем предложении. Оба они обрадовались, что сразу же по дороге встретили нескольких приятелей-эсэсовцев. Веселый совместный ужин избавил их от пребывания вдвоем. Ливен констатировал, что она произвела отличное впечатление на его приятелей. Он внимательно следил за ней, не отзывался на ее остроумно-насмешливые реплики, от которых за столом не умолкал хохот, и незаметно устроил так, что они всей компанией отправились провожать Элизабет к ночному поезду. Она даже не искала его взгляда, его руки или возможности сказать хоть словечко наедине. В этот вечер вопрос так и не решился.

Писать Ливену не хотелось и подавно. Он сам себе удивился, когда недели две спустя мимоходом бросил своему хозяину-коммерсанту;

— В следующий раз я привезу с собой жену.

Хозяин весь завертелся от любопытства. Господин барон раньше не упоминал о своей супруге. Недавно ли он изволил жениться или состоит в браке уже давно? А может быть, только собирается вступить в брак? Ливен не дал ему исчерпывающих разъяснений, но краткими сведениями о молодой супруге, которая была из их семьи, родилась и выросла в здешних краях, непрерывно разжигал любопытство почтенного коммерсанта, с тем чтобы его преданность судьбам и интересам семейства Ливенов поскорее принесла осязаемые плоды. Тот был рад стараться. Путем разных махинаций ему удалось при участии друзей заполучить в свои руки помещичий дом, где теперешний владелец все равно жил лишь летом, да и то наездами. Дело в том, что Ливен задумал во что бы то ни стало приготовить этот сюрприз к приезду жены. Получив письмо, где просто-напросто говорилось, что ее ждет разочарование, так как для ремонта нет времени, Элизабет поняла, что Ливен обдумал и принял ее предложение.

V

В Париже еврейский юноша, не помня себя от отчаяния и гнева, выстрелил в некоего Эрнста фон Рата, третьего секретаря германского посольства. В Германии с утра 10 ноября все отряды моторизованной полиции и банды штурмовиков были брошены на избиение евреев.

— Стоп, номер семнадцать!

Ворота были на запоре. Железные брусья, заложенные поперек решетки, не поддавались бешеному натиску.

— Здорово забаррикадировались, сволочи,— заметил Бендер.

— Понятное дело, знают, чем это пахнет,— добавил Лангхорн.

Приятели держали совет, что лучше: сбить замки и засовы или, не задерживаясь, брать приступом ограду, обвитую колючей проволокой. С самого их прибытия изнутри раздавался яростный собачий лай. Франц Гешке надавил большим пальцем на кнопку звонка. Белый дом с закрытыми ставнями виднелся из-за оголенных по-осеннему, черных изогнутых магнолий. Широкая, посыпанная красноватым песком аллея, ведущая к гаражу, несмотря на ноябрь, была окаймлена яркой зеленью. С веранды, занимавшей

фасад дома, все было убрано ввиду осеннего времени, только между стройными колоннами с каннелюрами висели пестрые вазы оригинальной формы, придавая веранде праздничный, почти летний вид.

«Эти штучки у нас мигом разлетятся в куски»,— подумал Хагедорн.

— Ей-богу, тут неплохо живется,— заметил Вирт.

— Они, верно, думали, что мы так и позволим им без конца справлять свой шабаш,— подхватил Франц Гешке.

Он отбыл военную службу и был разочарован, что нельзя прямо идти на войну, а приходится возвращаться восвояси. Легко ли сидеть за кухонным столом с отцом и матерью, вместо того чтобы захватывать чужие страны на страх и удивление всему свету! Правда, оно спокойнее опять проводить время со своей девушкой и пользоваться всеми прочими привычными благами жизни, которые как-никак рискуешь утратить на войне, ведь там и до смерти недалеко. Старый его приятель штурмовик опять определил его на прежнее место.

Не отнимая пальца от звонка, Франц прикидывал стоимость ваз на веранде, кованой решетки во внутренней ограде, вычурных перил в стиле барокко и стоимость стекол в многочисленных окнах, наглухо запертых, как и ворота. Немудрено, думал он, что таким от страха не спится. Немудрено, что они запираются от народа на все засовы. Ему самому пришлось бы целый век работать за одну какую-нибудь штуковину из этой виллы, взять, например, бронзовых чудищ, что расселись на цоколе по обе стороны крыльца. Он заранее предвкушал, как брызнут осколки, когда он двинет ножкой стула по этим окаянным вазонам. Он предвкушал, как затрещат тоненькие нарядные колонки, он заранее смаковал, как разлетятся в пух и прах все эти дурацкие финтифлюшки, приобретенные проклятыми евреями за счет пота и крови таких, как он. Он предвкушал осуществление своей затаенной мечты — экспроприацию имущих.

В последнюю минуту Лангхорн счел нужным сделать внушение:

— Слушайте, ребята. В случае если вам попадутся эти самые, как их, произведения искусства, не смейте валить их в одну кучу с другим барахлом. Как увидите, сейчас же откладывайте в сторонку, их потом осмотрят и отправят в музей. Это ведь все награбленное национальное достояние.

— А как его узнаешь, что оно национальное достояние? — поспешно осведомился Вирт.

— Эрпенбек, за это отвечаешь ты.

Юный Эрпенбек отлично понял, к чему клонит начальник. «Хочет посмотреть, как я себя сегодня буду вести,— подумал он.— Будьте покойны, аристократический душок из меня полностью выветрился». Он горел нетерпением доказать Лангхорну, что ему более, чем кому-либо, понятно все значение этого дня.

Франц Гешке отнял наконец палец от звонка. На крыльце с вычурными перилами показалась горничная, вертлявая, нарядная, завитая, как опереточная субретка. Вся серьезность момента еще явно не дошла до нее. Она утихомирила собак, сидевших на цепи у крыльца и заливавшихся лаем с самого появления штурмовиков. Затем засеменила к воротам своими тоненькими фильдекосовыми ножками на высоких каблучках.

«Как сюда попала эта миленькая белокурая девчоночка? — подумал Франц Гешке.— Это давно уже запрещено. А такое черное шелковое платьице и белый фартучек стоят дороже, чем парадное платье моей невесты».

Горничная резво выкрикнула:

— Хайль Гитлер! — и простодушно добавила: — Что это вы в такую рань?

«Надо ей вправить мозги,— подумал Франц Гешке.— Чего она здесь трется? Вон какие серьги нацепила, верно, еврейский подарок».

— Открывай! — рявкнул он на нее.

Она весело передернула плечиками, взмахнула связкой ключей и округлившимися ярко-синими глазами посмотрела на штурмовиков, которые чуть не сбили ее с ног, едва только ворота были отперты. Вскинув удивленно-насмешливый взгляд на мрачную, насупленную физиономию Франца Гешке, она спросила:

— Господи, что случилось?

— Брось прикидываться. Сама понимаешь, что сегодня делается. Лучше скажи, как ты попала в еврейское логово?

— Куда попала? В какое логово? Ага, понимаю, вам, верно, к евреям нужно. Так они живут в номере семнадцать-а, вон там, позади нашего участка. В октябре здесь меняли нумерацию. Наш номер — просто семнадцать. А флаг мы спустили потому, что у нас должны делать ремонт. И убрано все потому. И сам господин гаулейтер Хе-

ниш со всем семейством уехали от беспокойства и запаха краски.

— Слышали? Семнадцать-а, направо за углом! — крикнул Франц Гешке. Ему было очень не по себе, гораздо больше, чем бывало обычно из-за какой-нибудь путаницы или служебной ошибки.

Не подарив ни словом, ни взглядом вертлявую горничную, на которую он зря истратил такой запал бешенства, проклиная ее вместе с господским добром, с вазонами на веранде, с красноватым песочком на аллее, ведущей к гаражу, и с дурацким собачьим лаем, он ринулся прочь и увлек за собой всю братию. Дорогой он постарался успокоиться, чтобы не растратить даром еще хоть частицу своего драгоценного гнева.

Мендельсоновский дом под номером 17-а так же мирно белел за оградой сада, как и дом номер 17. Тут был такой же красноватый песок на такой же аллее, ведущей к гаражу. Только тут вместо веранды с пестрыми вазами был фонарь с разноцветными стеклами. Франц Гешке не нашел нужным задерживаться на мелочах.

Он не стал нажимать большим пальцем на кнопку звонка. Рявкнув: «Вперед!», он всей тяжестью налег на ворота, они хрустнули и мигом поддались...

VI

Христиан Надлер приноровился так, чтобы разносить и собирать обувь главным образом по воскресеньям — тогда и крестьяне бывали дома,— и, окончив дела, он прямо шел в церковь. А узелок с обувью оставлял у хозяина «Дуба». К брату он не заходил давно. Сначала из страха, что брат опять накинется на него, а потом уже по привычке, хотя понимал, что ярость Вильгельма с течением времени утихла.

Дома он усаживался со своим псом на мостках и делил с ним обед, однако не заставлял его прыгать за каждым куском или служить, предварительно дав ему понюхать кончик колбасы... Нет, успокоив ворчащего пса, Христиан честно, как с равным, делил с ним еду. Насытившись, пес клал обе лапы на колени Христиана, а Христиан тихонько почесывал ему шею. Насторожив уши, пес смотрел ясными золотисто-желтыми глазами в озабоченное лицо Христиана.

— Как ты думаешь, Виду, что будет дальше? — говорил Христиан.— Старший к осени вернется с солдатчины, а Белобрысого, нашего Карла, только забрали. Мы его два года не увидим. Как тебе это нравится, Виду? — Пес тщательно облизывал ему лицо. Он был единственным существом в мире, видевшим длинные тонкие морщины, которые иногда бороздили лицо Христиана. Он старательно вылизывал их своим шершавым языком.

— Мне, Виду, это совсем не нравится. А вот что Гитлер хапает теперь один кусок колбасы за другим, тебе это нравится? Мне ничуть. Говорят, люди боятся, что он их укусит, и потому позволяют ему хапать. Только зубы у него острые и обратно колбасу не вырвешь. Начал он с кусочка, а теперь и все захватил.

Покончив с морщинами, пес принимался лизать Христиану руки, временами устремляя свои светлые глаза на влажное лицо хозяина.

— Да, Чехословакию,— продолжал Христиан,— и Данциг, и Мемель. Так зовутся эти города и страны. Они откликаются на свои имена, как ты — на имя Виду. Их вызывают по радио, по эфиру, и они откликаются. Гитлеру грозят невесть чем, если он не перестанет, а ты думаешь, пес перестанет хватать, оттого что ему грозят? Разве что вцепится в горло тому, кто грозит.

Пес смотрел на него не шевелясь, скаля зубы и сверкая глазами.

— Ума не приложу, Виду, как дело обернется дальше. Вильгельм воображает, что другие всегда будут такими дураками, как он сам. А мне думается, кто-нибудь да найдется не глупее нас с тобой. Не знаю, как оно обернется дальше, только пока что мне все это не по душе.

Он отстранил собаку, ему лень было играть с ней. По счастью, день был воскресный, и, по счастью, не пристало нарушать воскресный покой работой. Он никогда не отличался особым трудолюбием и считал, что безделье лучше самого легкого дела.

Плывший по солнцепеку, переполненный экскурсантами пароход принадлежал, наверно, нацистской организации «Сила через радость». И что это были за люди, набившиеся в него с чадами и домочадцами? Христиан любил представлять себе людей, которых никогда в глаза не увидит. А ведь, наверно, есть среди тех, кого он никогда в глаза не увидит, кто-нибудь такой, кто скоро заболеет и потом

помрет. Сейчас он плывет на пароходе «Сила через радость» и не знает об этом. Наверно, есть там женщина, которая родит в этом году, наверно, есть кто-нибудь, кто о чем-то горюет, а есть такой, кто чему-то радуется. А почему горюет или радуется, он, Христиан, никогда не узнает. Забавное суденышко! За нарядным пароходом тянулся по воде хвост. Если бы после всех пароходов оставались следы, все озеро было бы исчеркано. Как это ветру удается склонить в одну сторону все ветви ясеня, кроме одной развилистой ветки, которая норовит согнуться в другую сторону? А почему эта ветка норовит согнуться в обратную сторону? И почему у ветра не хватает силы как раз на эту развилистую ветку? Христиана раздражало, что в этот солнечный воскресный день ему не удается спокойно разматывать клубок мыслей, чтобы нить тянулась не обрываясь. Нет, одна мысль все время рвала нить, и ничего путного не получалось. Христиан всегда думал только о том, что можно видеть собственными глазами. Но эта мысль до тех пор сверлила где-то внутри, пока окончательно не порвала нити. Христиан почти не ощущал отсутствия парнишки, белобрысого Карла, последнее время никогда с ним не говорил, видел его редко, да и то издали, и потому не мог, конечно, по-настоящему ощущать его отсутствие. Он только всегда представлял себе, что Карл где-то есть на свете и даже когда его, Христиана, не станет, парень все-таки останется. Останется и озеро, и ясень с развилистой веткой, и стая птиц, а главное — этот малый, который служит порукой тому, что все будет, раз есть он. Сам Христиан успокоится вечным сном, а все пойдет по-прежнему, помимо него. Карл будет обрабатывать ту полоску земли, которую он, Христиан, отвоевал у брата. Тут все сошло гладко. Вильгельму он утер нос. Если нет силы, чтобы набить кому следует морду, надо его перехитрить. А вот правительство не перехитришь и морды ему не набьешь. И правительство у него на глазах уволокло парня. Бог знает когда он увидит его теперь. С тех пор как Карл отбывал воинскую повинность, Христиан упорно старался разведать, к чему его там готовят. Его мало трогало, что парнишка все эти годы валандался с гитлерюгендом. Сам он, когда был молодой, тоже валандался черт знает с кем и черт знает где — дурь со временем проходит. До сих пор он утешался этой мыслью. Однако теперь, когда они креп-

ко прибрали парня к рукам, утешаться было нечем. Теперь они могли послать его на самые отчаянные дела.

Он прислушивался к болтовне людей, приносивших ему обувь для починки. Сперва его даже забавляло их бурное возмущение. Кругом только и речи было, что о зверствах, учиненных над сынами германской нации в разных там Пичи, Вичи, Чичи и прочих польских логовах. Если они вдруг стали так чувствительны к зверствам, учиняемым над их соотечественниками, так он мог в свое время пригласить их ночью к себе на мостки и показать интересное представление. Весь этот гвалт только забавлял бы его, и он преспокойно наблюдал бы со своей треноги мирскую суету, если бы Карл не попал в эту кашу. Правда, он уже, наверно, успел научиться у себя в гитлерюгенде всяким подлостям. Сам он, Христиан, тоже когда-то научился всяким подлостям, пока ему не раздробило бедра и навсегда не отшибло охоты к ним. Ему недешево обошелся урок. А этому рослому, статному парню незачем так дорого платить за выучку. Христиану казалось, что крестьяне, которые приносили ему чинить рваную обувь, мало думают о своих сыновьях, хотя те и в поле подсобляли, и ходили с ними в трактир и в церковь, вместе ели и пили, а после рабочего дня спали с ними под одной крышей. Ему казалось, что он больше печалился о своем, хотя не был с ним связан ничем, кроме собственного воображения и пачки бумажек, которые ему подобрал адвокат. Он думал: «Кто знает, может, они тоже горюют. С чего бы они стали вздыхать при мне, я ведь при них не вздыхаю».

С Виду дело другое. Это были единственные по-настоящему человеческие глаза, желтые звезды в черных космах шерсти, перед которыми он не стыдился повздыхать.

— Виду, тебе нравится их новый выверт? Мне ничуть. Что это еще за пакт? Как ты это понимаешь? Помнишь, я тебе рассказывал про одного парня, как они ночью выволокли его на мостки, а сперва у нас в клетушке нашей дратвой спутали ему ноги, чтобы наверняка потопить его. Да я тебе про это рассказывал. А теперь скажи, Виду, можешь ты поверить, чтобы они вытащили его из воды и попросили у него прощения? Можешь ты поверить, что они стали бы оттирать ему ноги французской водкой и положили бы на солнышко просохнуть? Я не могу. А что до пакта, так, по-моему, тут опять кое-кто воображает, что другие не умнее его.— Он стряхнул с себя пса так, что тот

заворчал скорее от удивления, чем от злости. А сам Христиан стал яростно стучать молотком, хотя никогда, а особенно в воскресные дни, не усердствовал в работе.

Несколько дней спустя Христиан, еще лежа в постели, протянул руку и включил радио. Он сразу же решил: «Вот оно!» Слов он еще не разобрал, но по звуку голоса, строгого, важного, торжественного в столь неурочный час, понял, что этот голос может означать только одно. Такой голос он слышал один-единственный раз в жизни, но раз в жизни уже слышал, только не по радио и не у себя в сарае. Тогда голос звучал с балкона — вкрадчиво и торжественно, чтобы потрясти человеческие сердца, и как тогда, так и теперь он означал войну. И дело не менялось от того, сам ли голос был такой зычный, или его подхватил трубный глас архангела с облаков, или разносило радио через антенну. Христиан со злостью выдернул вилку. Выругался. Добились-таки! Это означало — добились войны, которой они так жаждали, и добились того, что Карл теперь уж неминуемо попадет на нее. Прямо с маневров — на фронт. «Только посмей мне вернуться калекой!» — грозно подумал он.

Сам он раз навсегда избавлен от этой мерзости. Он вдруг стал хромать еще больше, чем раньше. «Пусть смотрят и жалеют, дураки,— думал он.— Пусть видят, что́ их ждет. Тогда мы тоже веселились до упаду».

Встречаясь с ним, крестьяне говорили:

— Мы с этим делом в два счета покончим. Не горюй, Христиан, ты не успеешь и пожалеть, что не пошел с нами.

— Как сказать! — отвечал он.

— Вот говорят, в два счета покончим. Тогда небось то же самое говорили,— заметил крестьянин Уль, похожий на редьку.— Ты-то, Христиан, все равно не пойдешь, тебе как-никак здорово повезло.

— Как сказать! — отвечал Христиан.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

I

Лиза не узнавала собственного мужа Вильгельма Надлера, с тех нор как немецкие войска вторглись в Польшу и за несколько недель захватили всю страну. Она воображала, что за время их супружества изучила мужа вдоль и поперек. Она видела его, когда он был навеселе, и когда буянил, и когда лежал пьяный в лоск; она заранее знала, как он будет хвастать прошлыми доблестями в трезвом виде и как, подвыпивши, обратится к будущему и расхвастается свыше всякой меры. Она знала наизусть все его пространные рассказы о празднествах, на которых он бывал, о лихих вылазках штурмовиков, о нацистских съездах, а также его ругань и угрозы, когда что-нибудь не ладилось. Во всех ругательствах и похвальбах какой-то отрезок времени всегда звучало одно имя, словно ему в жизни нечего было бы ругать и хвалить, не будь этого имени. Сначала он по всякому поводу — выпивая, работая, делая долги, торгуясь — вспоминал капитана Дегенхардта, который был его начальником после войны, во время службы в добровольческом корпусе. Капитан выплывал на каждом шагу, не сам он во плоти — сам он сгинул после капповского путча,— но как воспоминание и пример. При нем, внушалось Лизе, жизнь шла совсем по-другому, под его началом жилось на славу. Затем Дегенхардт померк как звезда. Место его занял барон фон Цизен. Лиза внимала отзвуку его речей и даже созерцала сколок его манер. Когда он наконец заявился к ним в дом — после того как Вильгельма подстрелили на сборе штурмовиков,— звезда его была уже на закате, по крайней мере в воображении Вильгельма; сам-то барон уцелел вместе со своим имением по ту сторону озера, даже когда «Стальной шлем» был запрещен, а Виль-

гельм примкнул к нацистам. С тех пор путеводной звездой стал Хармс из соседней деревни. Этот светоч не был для Лизы новинкой. Он с незапамятных времен слонялся по всей округе, пока вдруг не воссиял ослепительным светом.

Однако с начала войны Вильгельм стал неузнаваем. В глазах появился блеск, он стал оживленнее, беспокойнее, по-иному смеялся и вздыхал, по-иному тискал Лизу, словно помолодел лет на двадцать, особенно это было заметно, когда что-нибудь в газете приятно поражало его. Пока его соседи мирно пахали и сеяли, словно так и должно быть всегда, он все время втайне ждал войны. Он не хотел даже думать, что это и есть его настоящая жизнь, что он жалкий крестьянин и осужден тянуть крестьянскую лямку. А теперь, когда опять понадобились солдаты, теперь видно будет, кто чего стоит.

Сперва Лиза заметила только, что он разочарован. Как это так — оба сына в армии, а про него не вспомнили в первую же минуту? Разочарование перешло в страх, когда Польшу захватили одним махом, быстрее, чем он мог даже вообразить. А вдруг заключат мир, прежде чем он успеет попасть на войну? Старший хвастливо писал, что весь поход оказался детской забавой. Они мигом заняли аэродромы, а порядочных укреплений у Польши на западе вовсе не было, все — на востоке. Жители в завоеванной стране немногим лучше цыган, какие, бывало, кочевали по дорогам. Его родной дом, можно сказать, дворец по сравнению со здешними лачугами. Младший сын Карл ни с того ни с сего очутился на крайнем севере. Теперь Гитлер крепко держит Европу за два кончика. Раньше даже никто и не знал, сколько там копошится всяких народов. Вильгельм волновался, как бы эти народы, поняв, что дело их дрянь, не поспешили заключить мир. Он не радовался, как многие соседи, что их оставили дома и они успеют собрать жатву. Созрела великая жатва. Там, на востоке, писал сын, стоят тучные хлеба. Вильгельм смаковал по письмам полевой почты каждый захваченный клочок земли. Он только потому работал в поле с женой и взрослой дочерью, что работа успокаивала его, и потому еще, что он не терял надежды все-таки попасть на войну.

Зимой, когда полевых работ почти не было и рано смеркалось, Лиза даже радовалась, что муж мало сидит дома. Сама она вместе с дочкой тоже таскалась по разным сборищам нацистского союза женщин и союза германских деву-

шек — все лучше, чем скучать дома. Дочка была теперь в самом соку, толстоносая и черноглазая, как отец. Веснушек у нее было не меньше, чем у матери, только у нее они не были разбрызганы, а сливались в пятна.

Лиза не вполне понимала, что мужу стыдно, почему о нем никто не вспоминает и он все еще торчит дома, почему он, именно он, никому срочно не нужен; его мучило сознание, что он на ущербе. Он злился на природу, что она не омолодила его к новой войне, ему стыдно было сидеть в трактире в компании со всяким немощным старьем.

Христиан наблюдал из своей мастерской, как они втроем маются в поле. Единственной милой его сердцу точки не было видно на пашне. Он даже не успел повидать сына, так спешно того отправили. Он не знал толком, удался или не удался его отпрыск, кукушкино яйцо, которое он в прошлую войну подбросил на братнин двор, хорош или плох он уродился. Он знал только, что тот существует. Теперь же эта помесь мечты и расчета оказалась под угрозой.

Дорожных рабочих давно призвали. «А наши мостки,— говорил Христиан своему псу,— стали прямо настоящей пристанью». С тех пор как где-то в лесу построили под землей новый завод, на мостках во время смены бывала страшная сутолока, потому что часть рабочих переправлялась в лодке через озеро. Люди все были новые; утром и вечером они приходили такие измотанные и злые, что им некогда было даже взглянуть на Христиана. Только один из них, по фамилии Фирль, иногда давал ему подбить башмак. В разговоре выяснилось, что он из Обершёневейде, как и Штробель — Христиан, верно, знавал Штробеля? Вколачивая гвоздь, Христиан искоса бросил взгляд на Фирля. Тот перехватил взгляд и кивнул головой. Потом побежал за остальными к лодке. Христиан смотрел вслед лодке. Тоненькая ниточка протянулась от него через озеро, через содрогающийся от взрывов и страха мир — к лодке, к приземистому крепышу Фирлю.

Когда было холодно и Христиан не мог работать под навесом, Фирль заходил к нему в сарай. Через некоторое время он решился наконец высказать свою просьбу. Вон у Христиана есть радио, так нельзя ли его покрутить? Он начал что-то настраивать, а Христиан наблюдал за ним. Хотя ему мало приходилось общаться с людьми, а может быть, именно от этого, он по мельчайшим признакам, по

лицу, по пальцам угадывал, что в людях происходит. И сейчас он думал: «Парень еще не знает, можно ли мне довериться».

— Да полезай ты в постель,— не вытерпел он наконец,— и накройся одеялом вместе со всей музыкой.

Он завесил окно, чтобы не подглядели с озера. Неприятности умудрили его.

Фирль давно уже мечтал послушать запрещенные передачи. Дома, в комнате, набитой людьми, он не мог себе это позволить. Вмешиваться в разговоры товарищей по работе он избегал. Изредка только ему удавалось перемолвиться словом со старым другом, который жил на расстоянии нескольких часов езды где-то в Бранденбурге и все-таки предпринимал иногда такое длинное путешествие, чтобы за полчаса почерпнуть у Фирля сведения и утешение. Они, спрашивая и отвечая, бродили эти полчаса по станции, потому что больше у друга не было времени. В зале ожидания или на платформе Фирль выслушивал вопросы и спешил дать ответы. Война с Финляндией? Надо убрать линию Маннергейма, раньше чем враг ринется на Россию. Само имя показывает, кому нужно это сооружение. Что такое Маннергейм? Палач народа времен гражданской войны. Раздел Польши? Русским никто не стал бы помогать, как не помогли Польше. Над их бедой все бы только злорадствовали. Верно, что пакт хорош для русских и плох для нас? На свете нет, не было и не может быть ничего такого, что хорошо для русских и плохо для нас. Разве для нас плохо, если единственное социалистическое государство выиграет время, чтобы стать непобедимым? Когда друг стоял уже на подножке вагона, Фирль сказал еще раз в виде напутствия: «Что хорошо для них — хорошо для нас. Что для них плохо — плохо и для нас».

Другу после таких разговоров становилось легче на сердце, но сам Фирль жестоко страдал от своего одиночества. Сейчас он яростно отшвырнул одеяло.

— На твой приемник только вальс «Грезы» и поймаешь. В следующий раз принесу с собой инструмент, попробую что-нибудь наладить.

С этого дня, когда приходил Фирль, Христиан сажал своего пса у дверей мастерской. Пес поднимал бешеный лай, как только кто-нибудь сворачивал с шоссе в поле. Много раз они пугались зря. Но однажды под вечер, когда последний паром с рабочими отчалил, а Фирль задержался

и решил вернуться домой пешком по берегу, Виду вдруг отчаянно залаял: кто-то шел напрямик к сараю. Христиан сразу узнал по голосу свою невестку Лизу, она старалась успокоить собаку.

— Не ждал гостьи, милый Христиан? — бойко и весело заговорила она, словно никакой ссоры и не было.— Мы с Вильгельмом решили разок собраться всей семьей к обеду, свининки поесть.

Христиан стучал по башмаку Фирля. Кое-какие винтики и проволочки от радио он запрятал в ящик со своими инструментами, как в самое надежное место. «Верно, я опять на что-нибудь понадобился им»;— подумал он.

— Вильгельма-то призвали! — весело тараторила Лиза.— Уж по такому случаю надо все распри позабыть. Вильгельм сказал: «Не хочу оставлять за собой никаких обид, чтобы с легким сердцем идти в поход». Вот я сразу и побежала к тебе.

— И-да,— промычал Христиан.

— Так приходи завтра к одиннадцати.

В кухне у Вильгельма, где пахло жареным, собрались все, кто еще остался из семьи, и несколько непрошенных или приехавших в отпуск приятелей. Младший сын, Густав, рослый парнишка и рьяный член гитлерюгенда, с благоговением и завистью смотрел на отца. Из всех членов семьи он был особенно безразличен Христиану. Он был бы ему и вовсе противен, если бы не был так безразличен. Христиан привязал своего пса во дворе. Вильгельм пожал брату руку; он совершенно отрешился уже от дома, и ничто относящееся к дому больше не вызывало в нем досады. Да и Христиан с Лизой вышли из того возраста, когда опасно надолго оставлять их наедине. Кроме того, он был сейчас выше всяких домашних дрязг. В Берлине он встретил человека, который знавал его в прежние времена. Тот мигом устроил, чтобы его зачислили на военную службу, хотя по возрасту он не подлежал призыву. Этот человек понял, что такие, как он,— исключение.

— Теперь трое из нашей семьи в армии,— гордо заявил Вильгельм.

— А Юргена ты не считаешь? — заметила Лиза.— Он теперь тоже из нашей семьи, раз они с Анни помолвлены. В следующий отпуск их обвенчают.

Новоиспеченный жених потирал руки при виде жареной свинины. Христиан припомнил, что этот молодчик был одним из штурмовиков, которые тогда почью схватили Штробеля у него в сарае и потопили в озере. «Бог даст, моей племяннице он не привяжет камней к ее толстым икрам»,— подумал Христиан. Но такие мысли сотрапезника не испортили Юргену вкуса к жирным яствам прощального обеда.

Через несколько недель Вильгельм Надлер со своей частью вступил во Францию, в одну из хлебородных местностей. Они заняли городок, называвшийся Питивье,— исполнилась мечта, которую он лелеял долгие годы. Он был снова на войне, и война оказалась точно такой, какой он воображал ее, что немногие могут сказать о своей осуществившейся мечте.

Бешеной сворой ворвались они в чужую страну. Чужой народ склонился перед их силой и мощью. А если кто-нибудь где-нибудь пытался сопротивляться, его мигом усмиряли. Всюду, куда вступал полк Надлера, в каждом городе, в каждой деревне ненависть превращалась в смятение при виде полновластных победителей. Когда Надлер мечтал о войне, он представлял себе такое выражение в глазах побежденных — немую мольбу: «Я в твоей власти, но будь великодушен, пощади меня!»

Жалкий клочок пашни, который никак не хотел уступить ему дома брат Христиан, был попросту кучкой песка по сравнению с нивами завоеванной страны. И когда они топтали нивы, казалось, хлеба тоже шелестят: «Я в твоей власти, но пощади меня!» И в шелесте лесов и в робких вопросах женщин и детей звучал один лейтмотив: «Да, конечно, я в твоей власти, но пощади меня!» Когда немецкие самолеты и танки подавляли вражеское сопротивление, Вильгельм полностью наслаждался властью. Это не была уже пресная власть над горсткой строптивых парней, а власть настоящая, единственная, которая заслуживает этого названия,— власть над жизнью и смертью. И когда его часть занимала разрушенное дотла, заваленное трупами, засыпанное обломками селение, которое сопротивлялось до последнего вздоха, он самолично помогал какой-нибудь женщине подобрать одну-две вещицы из ее скарба или швырял ребенку кусок сахара, чтобы до конца про-

чувствовать то, что сопутствует власти: собственное великодушие и благодарность обездоленных.

Только один раз его постигло разочарование. Они расположились на деревенской площади. Штаб полка поставил несколько столов и развернул карты прямо на припеке. С лошади спрыгнул майор. Вильгельм Надлер от нечего делать наблюдал за всем происходящим. Майор показался ему знакомым, и вдруг он узнал кумира своей молодости, капитана Дегенхардта, перед которым благоговел в те времена, когда в Германии была полная неразбериха. Вильгельм подошел к своему лейтенанту, попросил доложить о нем вновь прибывшему майору и с волнением следил, как передавали его просьбу. Что только не вспоминалось ему! Как была сформирована бригада, как они брали манеж, как выводили в расход пленных; одного им пришлось везти через Груневальд; их остановила офицерская машина, с которой случилась авария. Они поменялись машинами, и он вместе с новыми пассажирами прикончил своего арестанта. Потом целый год прошел в ожидании и надеждах. Дегенхардт только и знал, что натаскивал их и готовил для предстоящих событий. День роспуска бригады был самым скверным днем в жизни Вильгельма. Ему пришлось вернуться домой, а теперь опять все по-прежнему, и даже тот, кого он прежде обожал, опять перед ним. Он видел, что Дегенхардт окинул беглым взглядом площадь, где находился кто-то, как ему сказали, кто хотел с ним поздороваться. Но потому ли, что он не узнал Вильгельма Надлера или ему некогда было узнавать, только он отмахнулся и сейчас же сел в офицерскую машину.

Вильгельм проглотил обиду. Полк его перебросили из Питивье в соседнюю деревню. Шоссе было забито беженцами, которые, еле передвигая ноги, возвращались к тому, что уцелело от их крова. В тачках и на спине они волокли остатки своего добра — большую часть они, выбившись из сил, побросали по дороге; кто тащил постельные принадлежности, кто совсем неожиданные предметы — птичью клетку или картину, а кто забинтованного ребенка. Кто-то вез в детской колясочке крохотный гробик, чтобы хоть закопать его близ родного дома.

Два офицера, ехавшие верхом недалеко от Надлера, обменялись замечаниями:

— Странно, что в нас никто ни разу не выстрелил.

— Им приказали прекратить вооруженное сопротивление. Вот они и слушаются.

Полк вступил в деревню, где мычали недоеные коровы. Ящик полевой почты с немецким гербом уже висел на площади перед церковью. «Черкну-ка я несколько слов Лизе»,— подумал Вильгельм. Его поместили в крестьянском доме, который он сейчас же начал сравнивать со своим собственным. Узкий двор сбоку, а не так, как у него, позади дома. Несколько человек тупо смотрели из окон, вид у них был не крестьянский, должно быть, беженцы, приютившиеся здесь.

Вильгельм Надлер сбросил снаряжение и вышел во двор к колонке. Полуголые солдаты уступили ему место. Один услужливо предложил мыло, другой щетку.

Люди у окна смотрели на омовение тупо и внимательно, так смотрят на что угодно, лишь бы отвлечься от мыслей, на которых нет сил останавливаться. Тут было несколько стариков и старух, девушка в возрасте Анни Надлер, двое детей и молодой человек с рукой на перевязи. Это был солдат, он разорвал воинские документы и переоделся в чужое платье, чтобы не попасть в лагерь для военнопленных, который немцы устроили в Питивье. Он особенно внимательно следил, как мылись и скреблись солдаты, потому что его больше, чем остальных зрителей, мучила мысль, казавшаяся ему нестерпимой.

Вильгельм Надлер разоблачился; он был горд своим крепким тёлом, таким же упругим, как у самых молодых солдат. Беженцы у окна с любопытством смотрели, как он скреб себя чужой щеткой. С особенным любопытством смотрел переодетый солдат, потому что он только этим мог отвлечься от мысли, которая ему была особенно мучительна. Мысль была та самая, которую час назад высказали офицеры, ехавшие недалеко от Вильгельма Надлера: «Никто ни разу не выстрелил». Почему? Приказано прекратить вооруженное сопротивление. Почему? Кто кому приказывал? Кто кого послушался? Нас предали. Что значит предали? Нет ничего на свете страшнее предательства. Потому что обманщик подло и ловко играет на самых слабых струнах человеческой души. Почему мы поверили предателям? Почему мы послушались? Потому что нам больше хочется жить, чем умереть; чтобы иметь право жить, мы поверили выдумке обманщика. Вот и не удержался. Вместо того чтобы смотреть на возню у колонки,

он дал волю своим мыслям, которые станут грозными и опасными, если додумать их до конца.

Итак, он заставил себя наблюдать за голой солдатней. Вильгельм Надлер намылся так, что блестел, как медный таз. Он вытянул одну руку и намылил под мышкой; солдаты загоготали:

— Смотри, как уставились из окна.

— И немудрено,— ответил Вильгельм Надлер,— им сроду не приходилось видеть, чтобы человек мылся дочиста.

Он сделал жест, предназначавшийся женщинам в окне. Солдаты громко заржали. Надлер чувствовал себя бравым молодцом. Солдат, переодетый в штатское и сидевший вместе с другими у окна, нахмурив брови, смотрел, как Надлер вытянул другую руку и тоже намылил под мышкой. Этот голый немецкий солдат, усердно и самодовольно мыливший каждый уголок своего крепкого, здорового тела, был ему особенно противен. Это был враг во всей его наготе. Откровенное голое предательство, до блеска натертое голое самодовольство.

— А ну-ка, заткни пальцем кран,— сказал Надлер одному из солдат. Он отложил мыло, пригнулся и стал медленно поворачиваться, гордясь своим чистым, крепким телом. Из отверстия, которое солдат зажал пальцем, вода уже не била одной струей, а брызгала, как фонтан. Беглец напряженно следил из окна, как Надлер все вертится и вертится вокруг своей оси. Он думал: «Я больше не могу на это смотреть, лучше буду думать о чем-нибудь другом, если уж нельзя не думать». Он поскорее стал думать о своей матери, о садике в Памье, о занавеске из бисерных нитей, висевшей на входной двери вместо портьеры. Он попытался вспомнить рисунок занавески, чтобы не видеть, над чем смеется сейчас голый солдат. Он представил себе свою невесту, как она просовывала голову между бисерными нитями. При этом он вспомнил и рисунок. Как ни громко гоготал голый солдат, он даже не взглянул в ту сторону.

Школа в Памье, неказистый дом, неказистая улица; учитель, низенький, такой же неказистый, как дом и улица, и сочинения о Корпеле, и страх остаться на второй год — страшнее всего, что тогда опять пришлось бы писать те же пятнадцать сочинений, опять писать сочинение

о «Горации». У колонки больше не смеялись. Он думал: «Тот уже сполоснулся и сейчас начнет вытираться. Не буду смотреть туда, буду думать о маме и о школе в Памье, о школьном товарище Альфонсе. Учитель всегда хвалил, как он читает. У него голос был раскатистее, чем у меня. Он так и катал наизусть всего «Горация». «Что мог бы он сделать, один против трех? Умереть!..» Не надо смотреть туда, иначе... что иначе?» Он успел сунуть свой револьвер в карман штатских брюк. Если он об этом вспомнит, все погибло. Вильгельм Надлер выпрямился, самодовольно выпятил грудь и, взяв скрученное полотенце, стал сверху вниз тереть спину.

И тут случилось то, чему пытался воспротивиться француз,— ему надо было только смотреть на омовение, а он подчинился ходу своих мыслей.

Из окна прогремел выстрел. Вильгельм Надлер лежал мертвый и чисто вымытый возле колонки, из которой вода еще некоторое время била струей. Солдат, качавший воду, и солдат, затыкавший пальцем кран, вместе с другими солдатами бросились в атаку на крестьянский дом.

II

Элизабет Ливен сидела на ступеньке главного портала своего дома под ампирными колоннами. Двери были сверху донизу наглухо заколочены досками. Она курила сигарету за сигаретой, не обращая внимания на людей, которые толпились на шоссе, смотрели на нее или выкрикивали какие-то слова, вероятно угрозы. Казалось даже, что слова вот-вот превратятся в камни. Элизабет задумчиво чертила каблуком на песке перед ступенькой. Две машины, остановившиеся у деревни, были запяты молодыми людьми, которых Ливен час назад привез с собой для охраны; особенно один из них, его приятель Рецлов, ни на минуту не выпускал Элизабет из виду. Она упросила, чтобы ее еще раз взяли сюда, и Ливен уступил, хотя не понимал, какой смысл имеет прощание с заколоченными дверьми. Молодые эсэсовцы, приятели из посольства, обещали охранять его жену, пока он пойдет в деревню. С тех пор как немецкие семьи после договора с Советским Союзом выехали отсюда по приказу своего посольства, положение здесь стало весьма шатким и напряженным. Ливены были

в числе тех немногих немцев, которым поручили оставаться до последней минуты и кое-что наладить.

Эрнст Ливен добыл для своего домохозяина разрешение на выезд с семьей в Германию. Хозяин участвовал как подставное лицо во всех ливеновских сделках по сдаче и аренде имения и теперь дрожал за будущее. Каждый день ждали вступления советских войск.

Рецлов вылез из автомобиля и перешел через дорогу мимо смотревшей на него толпы. Ропот затих на мгновение и вспыхнул с новой силой за его спиной. Рецлов остановился перед Элизабет.

— Эрнст просил меня отвезти вас в город, если он сам задержится.

Элизабет только переменила ногу и теперь уже другим каблуком чертила на песке.

— Бросьте, милый Рецлов. Мне спешить некуда. Я подожду вместе с вами.

Он смотрел вниз на ее завитые волосы; она была причесана не менее тщательно, чем обычно у себя в имении и на приемах в посольстве. Чулки туго обтягивали ее длинные ноги. Он и теперь думал то, что думал постоянно: «Почему она именно меня не желает знать? Ведь для нее не тайна, что муж изменяет ей на каждом шагу. Говорят, у нее самой было в жизни немало романов».

Он сказал:

— Я обещал вашему мужу оберегать вас. Вы же сами видите, как настроен этот сброд.

— А как, собственно? Я в это не вникала.

— Все они хотят одного — поскорее избавиться от своих господ.

— Пожалуйста, отойдите немного, Рецлов. Благодарю вас.— Она взглянула на толпу.— Ах, вижу! Они не могут дождаться, чтобы я убралась отсюда. Пожалуй, я могла бы столковаться с ними. Отправьте пока что всех остальных. А меня оставьте здесь.

— Стирать в озере белье вместе с бабами? Вам этого хочется?

— В нашем озере и это было бы неплохо. Второго такого нет на свете.— «Люди, ведь я хорошо обращалась с вами. Смотрите, двери уже заколочены. Мне все равно нельзя уже войти к себе в дом. Потерпите, я скоро уйду. Сегодня мой последний день — потом вы окончательно избавитесь от меня».

Она посмотрела вверх на Рецлова и рассмеялась:

— А вы думаете: вот шальная бабенка — или еще что-нибудь похуже.

— Я думаю только, что обещал Ливену оберегать вас.

— Вот он идет! — крикнула она, затянулась раз-другой, отшвырнула сигарету и побежала к автомобилю. Люди на дороге смотрели ей вслед. Даже не оглянувшись, она села за руль.

— Я еду первой! — крикнула она сидевшим в другой машине. Ливен сел рядом с ней.

— Почему ты еще здесь? — спросил он.— Никогда не знаешь, что тебе в голову взбредет.

— Мне трудно было уехать.

Она вела машину с угрожающей быстротой, но так уверенно, что Ливен сразу успокоился. Он только не решался притронуться к ее руке, хотя чувствовал сейчас прилив нежности, к чему жена очень редко давала повод.

Он отлично понимал, что она изживает боль разлуки в этой бешеной гонке, в этих крутых поворотах.

— Детка, эта разлука не навеки. Пусть тебе кажется, что имение временно отдано в аренду.

Она не ответила.

— Я ни за что не взял бы тебя с собой,— продолжал он,— если бы думал, что ты примешь это так близко к сердцу. Ну, успокойся же. Обещаю тебе, что мы вернемся сюда, и уже окончательно.

— Когда?

— В скором времени. А до тех пор тебе придется посидеть в Берлине или где захочешь. Нельзя рассчитывать время, сообразуясь с личными чувствами, с тоской по родине или со скукой.

— Я давно собиралась сказать тебе что-то важное,— начала она совсем другим тоном,— но у нас все не было времени.— Она так круто повернула, что Рецлов даже свистнул за ее спиной.

— Я жду ребенка.

— Что? — произнес Ливен.

— Я жду ребенка. Я беременна, я в интересном положении, так ведь это называют? Удивительное название, да и положение удивительное.

— Ты с ума сошла.

— Почему, моя радость? Я бы сказала, ты странно приветствуешь нового гражданина земли, прости, я

оговорилась — нового сына нации. Почему это я сошла с ума?

Он помолчал, пока не овладел собой настолько, чтобы говорить спокойно:

— Ты никогда не хотела иметь детей. У нас на этот счет была молчаливая договоренность. И вот извольте — именно теперь, когда все полетело вверх тормашками. Война в разгаре, не известно, куда нам деваться. Возможно, что меня через неделю призовут. А ведь подразумевается, что я отец твоего будущего ребенка.

— Надо полагать, мой милый. Должна сознаться, что у меня с самого начала были задние мысли. Ведь я вовсе не была безумно влюблена в тебя.

— Не понимаю, ты же не крестьянская девка, чтобы непременно рожать ребенка, да еще теперь.

— Но ты сам только что обещал мне, что мы окончательно вернемся сюда.

Снова крутой вираж. Потом еще один. Рецлов чертыхнулся на заднем сиденье.

— Ребенку нужна земля, Эрнст,— продолжала она.— Я бы тоже не хотела иметь ребенка, если бы не верила твоему обещанию. Ребенок привязывает нас к земле, ребенок обязывает.

— Что за черт! С каких пор ты стала так верить мужчинам? Конечно, моему обещанию ты можешь поверить, но наверняка обещать можно только снег зимой, потому что зимой бывает холодно. А температура, которая нужна, чтобы захватить именно этот клочок земли, от времени года не зависит.

В этот миг они едва не налетели на большую подводу. Возчик выругался по-русски. Он вез запасные части на один из аэродромов, занятых советскими войсками. Эрнст Ливен едва удержался, чтобы не ответить смачным русским словцом.

— Ребенок прежде всего связан со своей нацией. Он может родиться от лангобардов в Северной Италии, и в Испании, и в Африке или же от готов на Волге. Он все равно будет сыном своей нации. А земля — это уже дальнейший вопрос.

Элизабет уменьшила скорость до шестидесяти километров — они подъезжали к городу.

— У тебя явные поэтические наклонности,— рассмеялась она.— Я давно это замечала. Ты прямо поэт. Потому-

то мне и нравиться жить с тобой. Лангобарды, готы... Сыночек мой — я имею в виду нашего сына, у нас непременно будет сын, нам нужен сын и для себя и для имения,— сыночек мой, послушай, какой у тебя ученый папа. Твоя мама, бедный мой сыночек, и вполовину не такая ученая. Она даже не окончила школы для будущих жен будущих отцов-эсэсовцев.

— Перестань шутить, Элизабет. Над этим не шутят.

— Скажи, пожалуйста. Сперва ты меня обозвал сумасшедшей, а теперь уж это, по-твоему, дело нешуточное. Знаешь, милый мой, я в первый раз замечаю, что ты чего-то боишься.

— Что?

— Да-да, боишься. Я всегда восхищалась твоей храбростью. Ничего не поделаешь, нас, женщин, пленяет мужская храбрость. Нельзя отрицать, что оружие и ордена, как эмблемы храбрости, обладают несомненной притягательной силой!

— Да перестань же болтать.

— Ты не боишься, как это говорится, целого враждебного мира, ты не боишься смерти. Ты храбрец. Но тебя пугает крошечный атом неведомой жизни у меня внутри. Чем он тебя пугает?..

Город, где перемежались солнечные блики и тени дождевых туч, был в одной своей части неправдоподобно тих, словно испуган и подавлен, а в другой — чрезмерно возбужден пока что робким, затаенным возбуждением. Люди еще не знали, что их ждет. Слухи ползли со всех сторон. Тут от них пустела улица, там, на площади, собиралась толпа. Одни дома с запертыми ставнями, казалось, вымерли — их обходили, словно они были зачумленные, в других бурлила жизнь. Церковные колокольни невозмутимо взирали своими сверкающими шпилями в пространство, словно и внизу и вверху не было ничего, кроме облаков. Пробегая мимо знамен с серпом и молотом, развевающихся над фасадом советского посольства, люди невольно поднимали головы. И, пройдя, оглядывались еще раз. А когда им на глаза попадалась свастика над немецким посольством, беглая усмешка, выразительный взгляд выдавали мысли, бродившие в них много лет.

Эрнст Ливен подвез жену к их городской квартире, где после отъезда хозяина почти все окна были закрыты ставнями. Через час он встретился с Элизабет в боковом фли-

геле посольства. Она укладывала кое-какие вещи с помощью персонала посольства, и ей повиновались охотней, чем другим дамам, потому что она давала указания спокойно и кратко.

— Замечательная женщина! — сказал Рецлов скорее самому себе, чем Ливену.

Ливен с минуту наблюдал жену. Она была по-прежнему стройна и тонка. До сих пор он ни разу не пожалел, что женился на ней. Элизабет умела ладить со всеми и в городе и в деревне. Она исполняла так называемые домашние обязанности, не мешая ему. И вообще ни в чем не была ему помехой. Она предоставила ему полную свободу — кого угодно любить, с кем угодно дружить. И вдруг эта дикая затея — ребенок. У него не было ни намека на отцовские чувства. Он по-своему понимал свободу. Он не выносил ни малейших обязательств. Кое-какие нацистские требования и запреты стоило терпеть именно потому, что, если умеючи им потакать, можно было как угодно жить, есть что угодно, любить кого угодно, убивать кого угодно. Но для этого надо было на многое махнуть рукой. И Элизабет превосходно поняла это. Когда она после двадцатилетнего отсутствия стояла, вся бледная от восторга, перед своим домом в имении, он сказал ей:

— Видишь, чего мы добились. Понимаешь теперь, что ради этого на все стоило пойти?

Только зачем имение натолкнуло ее на эту нелепую затею? Конечно, рано или поздно они опять окончательно будут здесь хозяевами. И смогут из рода в род сидеть на своей земле. Рискованные авантюры третьей империи нравились ему потому, что они делали жизнь приятной и разнообразной. К продолжению рода у него не было особенной тяги. Его не очень воодушевляли планы, которые будут осуществляться на его могиле. На узкобедром длинноногом теле Элизабет не было еще ни намека на подозрительную выпуклость. Рецлов пожирал ее глазами. Лучше завела бы шашни с Рецловом, подумал Ливен, чем устраивать такую пакость мне. Вечером на границе они пересели из автомобиля в спальный вагон.

— Перестань курить,— сказал Ливен.— У тебя даже пальцы пожелтели. Хотя опасно что-нибудь обещать тебе, но я тебя утешу: мы вернемся сюда, мы выбросим жильцов из нашего дома и наведем в нем порядок.

III

Мария сидела с шитьем в руках на своем любимом месте, на маленьком балкончике, который прилепился к фасаду дома, как птичье гнездо. Пониже ее, сбоку, в таком же гнезде, сидела жена Трибеля с надомной работой для фабрики. Ссора, разлучившая когда-то обе семьи, до сих пор стояла между ними глухой стеной, хотя обе женщины часто и охотно пробивали эту стену вопросами, советами и мелкими услугами. Фрау Трибель не видела своего мужа с того времени, как ездила к нему в Ораниенбург. Его давно уже перевели в другой лагерь, и она знала только, что он еще жив. Он был все тот же Трибель, дерзкий и живучий, каким-то чудом сумевший уцелеть под побоями, пытками, возможно, даже под пулями.

Мария молча сочувствовала не менее молчаливой жене Трибеля, которая всегда одинаково спокойно поднималась и спускалась по лестнице, словно с ней не случилось никакой беды. Особенно привязалась к ней Мария после одного случая, оттолкнувшего от нее остальных жильцов. Фрау Трибель неутомимо бегала из одного гестаповского подвала в другой, чтобы чем-нибудь помочь совершенно чужой девушке, которую арестовали и с которой ее связывало только одно — та была возлюбленной Трибеля. Родная семья бросила девушку на произвол судьбы. Гестапо не раз допрашивало фрау Трибель, рассчитывая что-нибудь выведать о девушке именно у нее. А она, нисколько не считаясь с испуганными взглядами и вопросами, по всему дому собирала деньги для девушки, как будто для родной дочери. Таким образом, все происки властей ни к чему не привели, хотя обычно в таких случаях успех обеспечен. Единственной, кто оценил мужественное поведение этой женщины, которая сейчас спокойно шила на балконе, была Мария, сидевшая с шитьем наискосок от нее.

На улице пронзительно кричали газетчики. Мария так привыкла к городскому шуму, что воспринимала его как тишину. Муж работал, старший сын стоял со своим полком где-то на севере, а младший был на Западном фронте. Елена работала на старом месте. Война увеличила спрос на художественную штопку в западной части города. Жильцы в доме говорили: Гитлер добился чего хотел. В их тоне чувствовалось восхищение человеком, который

добивается всего, чего хочет. Даже Гешке иногда говорил: «Он добивается чего хочет». Но в его тоне звучало раздражение. Когда Мария была одна, она припоминала каждый жест, каждое слово своего мальчика. То, чего хочет Гитлер и чего хотим мы,— это все равно что огонь и вода. Что Гитлер хвалит, то плохо. От чего он нас предостерегает, то как раз для нас хорошо. Мария обдумывала все это, сидя за шитьем. У нее теперь было больше досуга, чем раньше. Жизнь стала такой, как хотел Гитлер. Для мира теперь не хватает самой малости. Стоит еще только кое-кому уразуметь, что жизнь отныне должна быть такой, как хочет Гитлер, и тогда настанет мир. Сидя на балконе, можно было на некоторое время забыть о войне, хотя шла уже вторая военная весна. В ящиках зацветала герань. Солнце светило тепло и ласково, как всегда в мае; во дворе и перед домом резвились дети. Ни выкрики газетчиков, ни вой радио в пивной Лоренца — ничто в это утро не говорило о боях и сражениях. Если бы только не камень на сердце, не постоянный гнетущий страх — ведь уже месяц, как от Ганса нет писем. Однако она вздохнула с облегчением, когда письмоносец повернул за угол. Он, конечно, мог принести желанное письмо со штемпелем полевой почты, но мог, как это уже было однажды в их доме, принести извещение: «Убит!» И фрау Вейганд, вся в черном возвращавшаяся домой с кошелкой, своим видом напоминала, что мира еще нет, хотя солнце светит так ярко. Смерть еще витала вокруг, ее широкие, мощные крылья покрывали дом, всю страну, даже дымно-синее небо. Только она, смерть, так притаилась, что не слышно было даже шелеста ее крыльев.

Скоро жизнь будет такой, как хочет Гитлер. Правда, англичане еще не разбиты. «Будет и это»,— говорил Гешке. Со Сталиным вдруг заключили мир и дружбу. «Я всегда думал, что они столкуются»,— говорил Гешке.

Почему Ганс говорил: «То, чего хочет Гитлер и чего хотим мы,— это все равно, что огонь и вода»? Гешке работал. Солдат в эту войну требовалось немного. Зарабатывал он хорошо. Она сидела на балконе и шила и тоже зарабатывала хорошо. Где же огонь и вода?

Как она была счастлива, когда ее падчерица принесла деньги на учение Ганса. Она гордилась мальчиком, всякий раз как он приходил домой с похвальным листом, она думала: «Из него будет толк, у него есть выход». Однако

выход этот давно оказался запертым. Ганс не стал слесарем, он стал солдатом. После сельскохозяйственной повинности он недолгое время работал слесарем, а затем дверь захлопнулась. Мальчик снова в тисках. Только если сейчас и вправду будет мир, о котором Гитлер все твердит, тогда ей больше нечего беспокоиться за Ганса. Как же может быть плох мир, даже если его хочет Гитлер? Чем это плохо для нее самой, если она сидит на своем балконе, греется на солнышке и выполняет хорошо оплачиваемую работу?

И все-таки жилось плохо. Недоставало самого главного. И это видно было из того, что она даже толком не знала, чего недостает. Они были сыты и зарабатывали, сегодня утром она была совсем спокойна. Нельзя сказать, что счастлива, да этого и требовать немыслимо. Нельзя быть счастливой как в юности, когда приходит первая любовь. А почему нельзя? Надо бы, чтобы жизнь была постоянным страстным ожиданием, пока не услышишь, что счастье нетерпеливыми, быстрыми шагами взбегает вверх по лестнице.

Вместо счастья в дверь постучалась сейчас тетя Эмилия. На ней было летнее платье в цветочках, хотя она давно уже вышла из цветущего возраста. У выреза платья красовался новый значок, розданный в прошлое воскресенье нацистским союзом женщин. Каждым своим движением тетя Эмилия старалась показать, что гордится своим молодым и гибким станом. Даже поздоровалась она так бурно, как будто она и впрямь молоденькая. Мария сдала ей работу для ее мастерской; мастерская тем временем слилась с большим предприятием, работавшим на армию. Как в молодости тетя Эмилия не хранила про себя своих любовных дел, так теперь она спешила рассказать про любовные дела всех девушек из их мастерской. Можно было подумать, что она выполняла священный долг, сообщая Марии все до мельчайших подробностей. Втайне она, конечно, рассчитывала на чашку кофе. Она описывала страдания некой Оттилии:

— Я ей говорю: на мой взгляд, каждая женщина обязана теперь родить ребенка. В наше время дело обстояло иначе. Тогда матери еще не пользовались таким уважением, как теперь.

Когда наконец Эмилия убралась восвояси, Мария села на прежнее место и достала из новой пачки новую ра-

боту. Она хотела вернуться к мыслям, которые спугнул приход Эмилии, но это ей не удавалось. Она думала: «Сейчас мне неохота пришивать пуговки или обметывать петли. Неохота, и все. Я отложу работу и буду смотреть на улицу». Она стала смотреть вниз на Бель-Альянс-Плац. Длинные ленты людей спускались в подземку, будто их там наматывали на шпульку. Издали доносились звуки военного оркестра. Ленты людей, разматываясь со шпульки, тянулись из подземки и свивались в узел на площади, затем разбегались по улицам. Мария пристально смотрела вдоль своей улицы. Вдруг она побледнела. Случилось то, о чем она уже долгие годы и не думала: ее любимый, которого она когда-то напрасно прождала целую ночь, а затем снова ждала порывами и уже перестала ждать, подходил наконец к ее дому, свернув с Бель-Альянс-Плац.

Он был весь в грязи и утомлен, но радостен и полон нетерпения. Он загорел, похудел и шел насвистывая. Достаточно было одного его свиста, чтобы выманить ее откуда угодно. Она вскочила и бросилась открывать ему двери. Она слышала, как он взбегал по лестнице, перепрыгивая, как обычно, через три ступеньки. И вот он перед ней, она обвила его шею руками. Она положила голову к нему на грудь.

— Вот и я, мама,— сказал ее мальчик,— нас перебрасывают. Никак не мог написать заранее.

— Счастье, что я дома,— сказала Мария.

У нее немного кружилась голова. Ганс сел на свое обычное место, на диван в кухне. Он снял фуражку. Мария прижала его голову к груди; она прежде всего ощупала его волосы, они были жесткие от грязи. Она закрыла глаза, потому что запах его волос лучше всего доказывал ей, что он здесь.

— Сейчас я тебе отрежу колбасы,— сказала она.

— Не откажусь! — Она еще живее ощутила его оттого, что он сразу же стал есть. Он, правда, не был голоден и насытился уже одним запахом еды.— Сядь ко мне на колени.— Он притянул ее к себе, смеялся, расспрашивал о тех, о других.

Вошла соседка, Мельцерша. Она всплеснула руками и воспользовалась случаем окинуть зорким взглядом кухню Марии.

— Здорово вы там поработали! — заметила она.

— Где это?

— Да во Франции. Они воображали, что могут спокойно играть в скат за линией Мажино. А когда, по-твоему, мы будем в Англии?

Ганс с веселым любопытством смотрел на нее — она все та же. Так иногда видишь во сне лицо, совсем забытое наяву.

— Я и не предполагал, фрау Мельцер, что вас так тянет в Англию,— сказал он.

— Меня? Почему?

— Да потому, что вы спрашиваете, когда мы там будем. Разве и вам хочется туда?

— Меня туда не так уж тянет. Но вообще я бы не прочь, чтобы «Сила через радость» организовала когда-нибудь такую экскурсию.

— Конечно,— сказал Ганс, слегка покачивая мать на коленях.— Вас всегда тянуло повидать свет. Вы, кажется, и в Норвегии успели побывать.

— Да, Ганс, в том самом месте, откуда писал Франц, твой брат. Я могу все подробно рассказать твоей матери. Мы ездили туда с мужем отдыхать, всю их мастерскую туда послали. И как же нас там устроили! Такой роскоши мы не видели сроду даже на картинках. А теперь мы хоть знаем, о чем речь идет, когда в военных сводках поминают разные имена, к примеру сказать, эту штуку с богами и с колоннами, у греков, что ли. Муж все выучил, а у меня, хоть убей, ничего в голове не держится, а старик злится. Совсем как прежде, помнишь? Я никак не могла упомнить, как называются всякие звезды, у них тоже очень мудреные имена. А он, как раньше был помешан на звездах, так теперь — на чужих странах. Какое ни назови отдаленное место, он тебе его опишет, будто родился там. Взять хотя бы остров, куда мы намедни спустились на парашютах. Так он, бывало, про каждую звезду рассказывал.

— Ну, вы все это расскажете маме после, когда я уеду, а мне сейчас некогда, сами понимаете, фрау Мельцер. Но завтра утром перед отъездом я обязательно забегу к вам.

Мария поникла головой. Она только сейчас узнала, что сын пробудет здесь всего лишь до завтрашнего дня. От радости она забыла о времени и, не подумав, сказала:

— Не уезжай!

Ганс усмехнулся:

— Я непременно вернусь, будь спокойна. Мне всегда везло. А ты, мама, мне помогала тем, что не боялась за меня. Мне кажется, если бы ты не ждала меня каждый раз, меня бы обязательно сцапали. Ты и теперь должна верить, что я вернусь.

«Теперь я уже не могу так крепко верить, как раньше»,— думала Мария.

— Отец идет! — воскликнула она.

Гешке вошел угрюмый, как всегда. Его лицо прояснилось.

— Мальчик мой! — произнес он.

Мария подумала: «Гешке был прав, когда не позволил мне сказать мальчику, что он не отец ему. Пусть Ганс думает, что это по-настоящему его дом».

Но едва только отец и сын весело уселись за стол, как снова возникли разногласия.

— Как тебе нравится пакт с Россией? Они, видно, хорошо спелись, нацисты и их новые друзья.

— Не беспокойся, Сталин знает, что делает. А ты хотел бы, чтобы он за вас ваше дело сделал, с Гитлером расправился?

Гешке сказал:

— Сам не знаю, неприятно мне это, вроде как осквернение расы.

— Почему же тебе это неприятно, раз ты говорил, что они не случайно столковались? Значит, ты все-таки считал, что они разные.

Гешке задумался. Весь год его мучило то, что он оказался прав. Втайне ему хотелось, чтобы прав был Ганс. Взяв себя в руки, он спросил:

— А что за люди французы?

— Народ как народ,— коротко ответил Ганс. Он придумал уловку, чтобы уклониться от расспросов: — Я хочу сбегать к Елене.

Однако отец и мать пошли с ним, чтобы не разлучаться ни на миг.

Они не часто навещали Бергеров; Елена предпочитала бывать с ребенком у них. Обе семьи, к сожалению, не сходились во взглядах. В былые времена мужчины часто ссорились. Так как они недостаточно доверяли друг другу, чтобы спорить открыто, то постепенно молчание превратилось в отчуждение. И все же при встрече каждый из них думал: «Он не изменился, Гитлеру не поддался».

Старуха Бергер с годами стала еще костлявее, и шея у нее вытянулась еще больше. Но язык по-прежнему был острый. Внучка, теперь уже школьница, радостно бросилась навстречу гостям. Взрослые окружили Ганса. Пошли объятия, восторги, восклицания. Запахло кофе. Ганс сидел между матерью и сестрой, они любовно поглаживали его рукава. Какая-то девушка, пришедшая в гости раньше их, отошла и села в сторонке. Она была маленького роста, с темными, почти черными глазами.

— Это моя приятельница, Эмми,— сказала Елена.

Ганс вгляделся внимательней:

— Как, это ты, Эмми?

Глаза ее, несмотря на улыбку, не посветлели:

— А я сразу подумала: «Это Ганс!»

— Садись поближе,— сказала Мария. Она знала девушку по рассказам сына и запомнила ее. Все такая же — маленькая и темноглазая. Она сидела когда-то с ее мальчиком на туристской базе у костра и участвовала в его затеях. Участвовала и в той истории с полицией, после которой она, Мария, дрожала от страха за своего мальчика, чуть только слышала на лестнице шаги. Сколько страхов пришлось ей уже вытерпеть из-за него! Сначала — он мог вовсе не родиться; он мог умереть с голоду во времена инфляции; а потом — камень на волосок от глаза пролетел; скарлатина — старший умер от нее; парни-бездельники сманили Ганса на воровство, и Эмми вместе с ним, она была такая маленькая, что ее заставили лезть в люк, только она не успела выбраться, а Гансу удалось убежать. Следующую ночь ни мать, ни сын не спали. Они впервые в жизни испытали страх перед полицией, довольно безобидной полицией по сравнению с тем, что явилось ей на смену, и страх тоже безобидный. Девочка, как ни была мала и глупа, Ганса не выдала. Уже и тогда в ней горел огонь, не яркое пламя, а тихий свет, который всем светит и всех греет, чтобы на земле не было темно и холодно. Такой тихий и скромный был этот свет, что никто не замечал его сияния в маленькой худенькой девушке, сидевшей у стола за кофе с булочками. А Ганс и Эмми только и думали, как бы им очутиться рядом. Наконец Елена ушла укладывать дочку. Старик Бергер принес открытки от Оскара, из Африки. «Как трудно бывало ему пошевелиться, сдвинуться с места,— думал Ганс.— Даже мысли его нелегко бывало расшевелить. А теперь он, не-

складный, с длинной шеей, топает по пескам африканской пустыни».

— Иногда мне кажется, что я умру, не дождавшись минуты, когда мы разделаемся с Гитлером,— сказал Бергер.— Ему, видно, и блицкриг удается не хуже прочих фокусов.

— Дядя Бергер очень постарел,— заметила Эмми на обратном пути.

— Постарел? — с удивлением переспросил Ганс.

Гешке предложили Эмми переночевать у них, так как домой возвращаться было поздно, тем более что ей рано утром идти на работу.

— Да, постарел. Он говорит: «Хотелось бы мне разок с покойным сыном по душам поговорить...» А Хейнер не в тот раз, так в другой наверняка бы за это время погиб.

Гешке улеглись спать, как только пришли домой. Мария неплотно прикрыла дверь, чтобы послушать. Эмми рассказывала:

— Я попала тогда в исправительное заведение. Когда пришел Гитлер, учителя стали говорить: «Во всем был виноват старый порядок. Вы, ребятки, ни за что страдали. Все мы — немцы,— говорили они.— Евреи морили нас голодом». Нам, ребятам, это нравилось. Я тоже этому верила. Но тут к нам в приют попала девочка, такая миленькая, белокуренькая. Только зубы у нее все были выбиты. Она почью рассказала нам, что не хотела в школе петь песню «Хорст Вессель». Отца и мать ее лишили родительских прав. Мы с ней очень подружились. Потом мы вместе попали на трудовую повинность. Разницы большой не было — что тут, что там. За нами обеими особенно строго следили. Мои родители тем временем умерли. Я поехала к сестре, помнишь ее? Помнишь, как мы вместе сидели у костра? У нее уже дети есть. Ее муж порядочный человек. Он мне заново все объяснил, что я успела позабыть. Помнишь нашего старого учителя на базе «Фихте»? История классовой борьбы? Развитие как борьба противоположностей?

«Странные разговоры»,— думала Мария. Но вот уже они взялись за руки и придвинули друг к другу колени, как полагается влюбленным.

— Когда началась война, зять мой крикнул женщинам во дворе: «Вот вам награда за то, что детей рожали —

солдат наплодили!» Не понимаю, как это у него сорвалось, обычно он умел держать язык за зубами. Поверь мне, умел. На другой день его забрали. Там среди женщин была одна стерва, из нынешней знати, дежурная по кварталу или по противовоздушной обороне, она уже раз донесла на мою сестру, что та не весь утиль сдала.

— Совсем как у нас,— сказал Гешке, из чего Мария заключила, что он тоже слушает.

— Ты думаешь, остальные женщины отделали эту стерву как следует? Как бы не так! Они стали лебезить перед ней, чтобы она и на их мужей не донесла. Неужели люди всегда были такими трусами? Такими подлыми? Наверно, да, только раньше этого не замечали... Потом я вернулась в Берлин и поступила на военный завод, живу у товарищей по работе. К твоей сестре Елене меня послала моя сестра. А теперь расскажи о себе.

Мария услышала много такого, чего сама никогда от Ганса не слыхала:

— Мне страшно ехать на восток. Во Франции нацисты пока что не очень бесчинствуют. Хотят показать, какая замечательная штука их новый порядок. Зато в Польше они уже распоясались. Говорят, они там совсем осатанели, свирепствуют вовсю, а мы у них за подручных. Как же быть, чтобы не идти к ним в подручные? Беда той стране, которая попадает под гитлеровскую оккупацию! Во Франции я жил на частной квартире и слушал запрещенные передачи. Как хорошо там, куда приходят русские! Они уже пооткрывали школы в Бессарабии и в Закарпатье, и те, кому прежде не давали учиться, теперь учатся читать и писать.

Дальше Марии почти ничего не удалось расслышать; отдельные долетевшие до нее слова уже не имели никакого отношения к мировым событиям.

Эмми уже ушла, когда семья собралась утром на кухне. В кофе была горькая сладость последней трапезы, и все слова, все движения неудержимо ускользали в прошлое, как будто последние часы свидания бегут быстрее, чем первые. Гешке ушел раньше Ганса. Ему надо было на работу.

— Не подкачай! — сказал он.

— Вернись домой! — сказала Мария.

— Постараюсь! — смеясь, сказал сын, а с лестницы крикнул: — Позаботься об Эмми!

Несколько недель спустя он бежал по пустынной улице польского села, где была расквартирована его часть. Было еще почти темно, он спешил первым сообщить чудовищную весть Циммерингу, своему вновь обретенному другу. Циммеринг успел сходить по воду к колодцу. Ганс издали увидел его могучую фигуру, в лице и во всем облике его было что-то лошадиное. Ганс сразу же в эшелоне узнал Циммеринга, хотя при первой их встрече на молодежной базе много лет назад он был еще похож на жеребеночка. Тут же в дороге выяснилось, что Циммеринг остался верен себе, и они сделались неразлучными друзьями.

Ганс, запыхавшись, остановился перед ним. Циммеринг нес на своих могучих плечах коромысло с двумя полными ведрами. Он шагал грузно и мерно. Хотя шел он не спеша, но делал такие большие шаги, что Гансу приходилось бежать рядом с ним.

— Циммеринг, Циммеринг, слушай! Теперь у нас война с русскими!

Циммеринг продолжал шагать. На его крупном суровом лице, пугавшем детей, оскалились и лязгнули зубы. Он сказал:

— Значит, русские должны разбить немцев.

Навстречу им, что-то крича и жестикулируя, уже бежали солдаты. Чтобы сохранить коромысло в равновесии, Циммеринг стоял, выпрямившись, среди толпы, а Ганс жался к этому кентавру, как под материнское крылышко. Он думал со смешанным чувством растерянности и торжества: «Теперь ты видишь, отец, кто враг Гитлера».

Взволнованно переговариваясь, они всей гурьбой вернулись в село, причем Ганс ни на шаг не отставал от друга. Тот опустил ведра на землю. Фельдфебель, пьяный на радостях, гонял старуху крестьянку. Этим он занимался каждое утро, очевидно считая это своей первой обязанностью. Старуха, едва переводя дух, металась из угла в угол, а фельдфебель хохотал и хлопал в ладоши: «Пляши, старая ведьма!» — и все хлопали, и хохотали, и свистели. Старуха то и дело натыкалась на что-нибудь, часто падала, потому что была почти слепа. В потухших глазах ее горел огонек; возможно, что новость дошла до нее: «Теперь вам конец». Она вертелась под тумаками, пинками и понуканиями, еще более наглыми, чем обычно. Впервые лицо ее дрогнуло, будто и она заразилась общим

весельем. Беззубый рот искривился, грудь затряслась от смеха. «Скоро вы, бесы, отбеситесь!» Ганс следил за ней глазами, теперь она и ему напомнила ведьму, но в этой ведьме было что-то похожее на его собственную мать, а когда он думал о родине, то видел в своей кроткой, молчаливой матери что-то похожее на эту ведьму.

IV

Лейтенант Фаренберг, адъютант Венцлова, ждал своего командира на условленном месте возле хутора, первоначально отведенного им для постоя. Он каждый раз радовался встрече, даже когда они не виделись всего несколько часов. Их совместная служба не только протекала без заминок, она давала выход всем чувствам и мыслям, которые они иначе хранили бы про себя. У Фаренберга из этого выросла смесь дружбы и почтения, у Венцлова — дружбы и почти отцовской заботы. Сам того не сознавая, он находил у Фаренберга свои вопросы и сомнения, только выраженные более смело, молодо и ясно. Они были даже в курсе семейных дел друг друга, так как обменивались новостями, которые приносила полевая почта. Венцлов знал, что Фаренберг скучает о невесте, а Фаренберг знал, что у Венцлова дома есть сын и несколько грубоватая любимица дочь, знал даже о существовании тети Амалии, заменившей его командиру мать. Эти полустертые, полузабытые образы всю зиму кружили над обоими мужчинами — над старшим и над младшим,— были с ними, когда они наступали на Украину. Невеста в Дортмунде получала почти такие же письма, как тетя Амалия в своем потсдамском домике, в фонаре с цветными стеклами: «Вы не поверите, какой путь мы проделали с отправки последнего письма. Мы наступаем неудержимо». Когда же они застряли на севере, виноваты оказались стихийные силы: «Под Москвой нас задержали русские морозы».

Когда Венцлов выходил из машины, его уведомили, что переночевать ему придется в крестьянской избе, потому что отведенную для него квартиру приготовят только к завтрашнему дню.

Разговор в штабной машине привел его в хорошее настроение. Наконец-то ему удалось найти общий язык с

Браунсом, к чему он долго и тщательно стремился. Ему казалось, что генерал-лейтенант Браунс не интересуется его докладами и даже оскорбительно подчеркивает свое пренебрежение. Это тем более беспокоило его, что Браунс представлялся ему идеалом начальника. Как же не огорчаться, что именно Браунс по непонятным причинам тормозит его дальнейшее продвижение. Теперь, сделав доклад, он убедился, что Браунс вовсе не пренебрегал им, а, наоборот, при всей своей суровости внимательно к нему приглядывался. Браунс даже похвалил его; и Венцлов понял, что его опять подвела излишняя мнительность, причинявшая ему немало огорчений еще с тех времен, когда он был в кадетском корпусе. Он принадлежал к тем людям, которым по малейшему поводу начинает казаться, что сослуживцы или начальство не оказывают им должного уважения. Теперь же наконец выяснилось, что Браунс не только уважает, но и ценит его, скрывая свое лестное мнение, как и прочие чувства, под личиной суровости. И вовсе он не думал тормозить продвижение Венцлова, а даже, наоборот, дал ему понять, что замолвит за него слово.

Венцлов был слишком поглощен этими мыслями, чтобы заинтересоваться переменой постоя, о которой доложил ему Фаренберг. Хотя ему уже шел пятый десяток, он, как мальчик, восхищающийся кем-нибудь из взрослых, старался скрыть свою симпатию к лейтенанту Фаренбергу под браунсовской лаконичностью и суровостью. Фаренберг участвовал уже в походе на запад и был там ранен. До войны он был студентом. Как Браунс в глазах Венцлова являл собой образец начальника, так Фаренберг — образец подчиненного молодого офицера. Венцлов часто вспоминал, что сам он примерно в этом же возрасте участвовал в первой мировой войне. Он отлично знал, что молодой человек нуждается в поддержке и ободрении. Но, расспрашивая Фаренберга о его домашних делах, он не признавался себе, что ему и самому хочется поговорить.

Из-за перемены постоя им пришлось вместо хутора отправиться прямо в деревню, а в деревне, где уцелело всего несколько домов, стояла кладбищенская тишина, и казалось, что вместо живых кругом одни только выходцы из могил. На том пространстве, где прежде пролегала деревенская улица, слышался веселый гам отдыхающих

солдат. Все уцелевшие местные жители вместо с детьми забились в ямы и подвалы, как будто мертвецам страшен дневной свет. Маленькая девчурка, за которой не досмотрели — или некому было уже присматривать,— стояла у околицы, уставившись на издохшую корову, лежавшую в луже крови; может быть, это была их корова. Несколько женщин, исполняя приказания, бегали с дровами и ведрами, ежась и щурясь, словно им стыдно быть на свету с живыми.

Венцлов сразу увидел две виселицы в начале деревенской улицы: ему пришлось идти мимо них. Один из повешенных был с бородой, другой — тоненький подросток. Фаренберг инстинктивно заглянул в лицо своему начальнику. Он ждал, что тот скажет. Венцлов ничего не сказал. Он успел сообразить, что перед Фаренбергом ему ни в коем случае нельзя давать волю чувствам. Он считал недопустимым критиковать начальство в присутствии подчиненных. А на такое зрелище он натыкался уже в третьей деревне. Когда он в свое время выразил недовольство, почему такие вещи делаются без его прямого согласия, ему указали на Рённеке как на ответственного за эти дела. Но Рённеке тогда не оказалось на месте. Оправданием его отлучки был приказ из такой высокой инстанции, что Венцлову пришлось спасовать. Фаренберг сообщил ему, что эти двое повешенных — дед и внук. У них в сарае нашли ручные гранаты. Рённеке уже вернулся и ждет его, добавил Фаренберг. Он настолько изучил лицо своего начальника, что, увидев, как у того задергались скулы, поспешил отклониться от неприятной темы: он немного знаком с Рённеке; к его удивлению, это оказался тот самый Рённеке, который в 1929 году руководил национал-социалистской группой студентов в Берлинской высшей технической школе. Его исключили во времена Веймарской республики за скандальные выходки против профессоров-евреев, а при Гитлере его восстановили с величайшим почетом.

Не обращая особого внимания на помещение, Венцлов вошел в крестьянскую горницу; из резиновой ванны, которую денщик всегда спешил приготовить ему, шел пар. Он увидел только что прибывшее с полевой почтой письмо, оно лежало под бронзовой фигуркой Кванон, богини милосердия. Этот подарок его былой любви, Мани, он со

времен командировки в Китай повсюду возил с собой как талисман. Он узнал почерк тети Амалии, но, вместо того чтобы взять письмо, повернулся к Рённеке.

При входе Венцлова Рённеке вскочил. Ни в лице, ни в манерах у него не было ничего такого, что способствовало бы чувствам, возникающим от одного вида его эсэсовского мундира. Держался он отнюдь не самонадеянно, а скорее скромно. Если его молодое, крайне утомленное, болезненно-бледное лицо с глубоко запавшими темными, почти что кроткими глазами сильно смахивало на череп мертвеца, то это был детский череп. Он так бодро вскочил и вытянулся в струнку, что его никак нельзя было признать больным; однако, садясь напротив Венцлова, он слегка пошатнулся и на минуту закрыл глаза. Но тут же усилием воли овладел собой и извинился. Прежде чем выдавить из себя слово, он некоторое время шевелил губами. Рот у него был совсем мальчишеский, а губы сухие и растрескавшиеся от жара.

— Генерал-лейтенант Браунс,— с трудом выговорил он,— несомненно, довел до сведения господина майора, что меры, к которым пришлось сейчас прибегнуть, санкционированы им.

Венцлов поспешно подавил докучное и привычное ему чувство, что его обходят и оттирают. Он промолчал, не желая показать, что ничего об этом не слыхал, да и о чем было говорить, когда Браунс явно одобрял действия Рённеке.

— Мои доводы показались господину генерал-лейтенанту вполне убедительными,— продолжал Рённеке.— С помощью таких мер достигается двоякая цель: враждебному населению только что занятой деревни сразу же внушается, что всякое сопротивление, а также сокрытие виновных бесполезно. Преступник, болтающийся на виселице на виду у всех, служит наглядным доказательством того, что нам все видно, слышно и все известно. Если же его зарыть в землю, о нем скоро забудут. «Так и я буду висеть,— подумают неблагонадежные,— если попытаюсь сделать то, что мне хочется сделать...» С другой стороны, надо принять во внимание, что нас самих всего десять лет отделяет от позорного веймарского строя. Не удивительно, если в каких-нибудь уголках сознания кое у кого зашевелятся представления о Советском Союзе как о земле обетованной и тому подобное. Поэтому надо неустанно внед-

рять мысль, что мы входим в эту страну победителями со всей властью победителей.

Раз Браунс удовлетворился такими доводами, то и Венцлов мог бы возражать лишь против одного, что действовали без его ведома. Поэтому он только сказал:

— Вы совсем больны, Рённеке, у вас жар. Полежите, пока у нас передышка.

Рённеке возразил с улыбкой, которая сделала его еще моложе и вместе с тем подчеркнула, что говорит он как старший:

— Где для господина майора передышка, там для меня самая страдная пора. При занятии хутора несколько снарядов не взорвалось. Расследование показало, что это не случайность. Надо было немедленно выяснить, с каких складов поступили эти боеприпасы. Было дано распоряжение разузнать, на каком заводе, в какой день и какой сменой они выпущены. У нас в тылу есть изменники, между тем как у врага даже дети берутся за оружие.

Рённеке пожевал своими растрескавшимися губами, перевел дух, потому что ему трудно было говорить, затем облизал губы, чтобы заключительные слова легче соскользнули с них.

— Надо, впрочем, надеяться, что объявление войны Соединенными Штатами всем до последнего окончательно открыло глаза. Ничего назидательнее не придумаешь — крупнейшие капиталисты мира заодно с красными. И для нас это даже полезно: наше военное командование наконец поймет, что пора перестать экспериментировать и аргументировать. Времени для этого уже нет.

Он ушел, сославшись на болезнь. В целом Венцлов был удовлетворен его посещением. Хотя Рённеке представлял ту власть, от которой Венцлов во многих случаях внутренне отмежевывался, однако, надо надеяться, в их разговоре не проскользнуло ничего такого, что побудило бы Рённеке дать о нем неблагоприятный отзыв в рапорте. Он велел денщику принести еще один кувшин кипятку, так как вода в резиновой ванне успела остыть. Венцлов начал уже раздеваться, как вдруг вспомнил о письме. Он вскрыл конверт, чтобы прочесть письмо в ванне.

Но денщик все не нес кипятка, и он тут же начал читать. Письмо так поглотило его, что он не заметил ни задержки, ни какой-то суматохи снаружи, которую, впрочем, сразу ликвидировали. Когда денщик наконец принес

кувшин, он был рад, что майор занят чтением. В кухне, к счастью разрушенной только наполовину и битком набитой людьми, денщику кое-как удалось с помощью жестов добиться толку. Какой-то парнишка в конце концов наполнил ему кувшин и поставил возле двери — входить в комнату майор позволял только денщику. Когда же денщик поднял кувшин, ручка отвалилась и на дороге осталась лужа с черепками. Денщик даже свистнул от ярости, он усмотрел в лице паренька насмешку и взбеленился. Схватив мальчика, он стукнул его головой об печь. Больше уж не будет ухмыляться! Пока старшие хлопотали вокруг бледного и неподвижного мальчика, девушка-подросток, из тех, что нигде не растеряются — ни на земле, ни в аду,— наполнила кипятком горшок и тоже поставила у двери, с тем же ясным взглядом, как у девушки из легенды «Чудо с волками».

Денщику не удалось рассказать об этом происшествии, потому что майор был занят своими мыслями. Тогда он опять отправился на кухню требовать чаю. Желая показать, что ему плевать на все население кухни, он подвинул себе табуретку, спихнув с нее старенькую бабушку, словно кучку лохмотьев. Он вытянул ноги и жестами изобразил, будто водит щеткой по своим высоким сапогам. Подошла та же девушка и принялась чистить сапоги так же спокойно, с тем же ясным взглядом, как девушка в «Чуде с волками», когда она трет лапы волкам.

Между тем Вецлов сидел в ванне, растопырив локти, чтобы не замочить письма.

«Дорогой Фриц,— писала тетя Амалия,— не знаю, где настигнет тебя мое письмо. Невозможно затвердить все эти славянские названия. Надо надеяться, что вы скоро перекрестите их на немецкий лад. Хотя я каждый день по газетной сводке переставляю флажки на большой карте, которую мы повесили в столовой, но вы шагаете так быстро, что мне за вами не угнаться. То, что сегодня на моей карте — фронт, завтра становится тылом. А теперь расскажу тебе о семейных делах все, что тебя касается».

«А что меня касается? — подумал Вецлов.— Все это так далеко теперь от меня. Нет, тетя Амалия вовсе не далека мне. Я о ней, старухе, думаю, пожалуй, гораздо чаще, чем о собственной жене. Что только не взбредет в голову перед лицом смерти!»

«От Мальцанов я знаю, что твоей жене и детям живется отлично».

«Это намек, что жена пишет не ей, а только своей матери»,— подумал Венцлов.

«Бабушка Мальцан только что гостила в Касселе. Мальчугану можно дать все двенадцать лет. Ему лучше даются сочинения, чем задачи, и плавание лучше, чем гимнастика. Точь-в-точь, как, бывало, тебе в школе. В гитлерюгенде его тоже хвалят и отличают».

«Удивительно, даже о сыне я почти не вспоминаю, хотя он был моей гордостью. Так же я и в Китае забывал, что я отец троих детей. Почему это в опасности вспоминаешь о людях, о которых обычно не думаешь?»

«Жена твоя ревностно работает в своей организации, причем работа офицерских жен не выходит из-под неукоснительного контроля национал-социалистского союза женщин. Разумеется, семьи офицеров твоего полка включились в общенациональное дело оказания помощи жертвам войны».

Он улыбнулся тому, как хорошо тетя Амалия усвоила все, что он перед отъездом внушал ей насчет цензуры, и злобно подумал: «После недавних боев ей будет немало хлопот по общенациональному делу оказания помощи, в которую включились семьи офицеров моего полка».

«По словам фрау фон Мальцан, дочурка твоя Марианна стала премиленькой».

— Что за черт, утихомирь ты их наконец! — крикнул Венцлов денщику, после чего денщик, которому девушка все еще начищала сапоги, пнул ее в грудь и энергичными жестами выпроводил все население кухни во двор. Мать взяла на руки бледного как смерть, но еще продолжавшего дышать мальчика, а денщик свистнул девушке, чтобы она вернулась и дочистила ему сапог, которым он пнул ее в грудь. И она повиновалась с тем же спокойным, не замутненным слезами, только более строгим взглядом ясных глаз.

«Из старшей твоей дочки Аннелизы, несомненно, выйдет толковая девушка, когда она переживет пору, которая у мальчиков считается переходной».

«Конечно, тетя Амалия и в этом права. Жена только попапрасну тревожилась. Недаром Аннелиза не принадлежит к числу тех, кого я попросту забываю. Не думай, Аннелиза, тебя я не забыл. Миленькую мордашку, Ма-

рианну, и даже братика твоего я позабыл. Но мне очень хотелось узнать что-нибудь именно о тебе. И тетя Амалия догадалась об этом».

«Ленора всячески пытается устроиться в госпиталь сестрой милосердия».

«Ах да, Ленора тоже еще существует. Я почти совсем забыл о ней, но меня не удивило, что она существует. Других я совершенно забываю и очень удивляюсь, что они все еще существуют».

«Женщин ее возраста теперь неохотно принимают сестрами в полевые госпитали, и, к счастью, при вашем победоносном наступлении, как пишут, надобность в них меньше, чем можно было ожидать. Поэтому она служит младшей сестрой в одном из берлинских госпиталей. Ее сын, а твой племянник находится сейчас на Восточном фронте. Весьма вероятно, что ты как-нибудь с ним встретишься».

«Боже мой, бедная тетя Амалия, какое у нее ограниченное представление о Восточном фронте! А Хельмут Клемм ведь эсэсовец и, вероятно, занимает где-нибудь ту же должность, что Рённеке здесь при мне. Неужели он такой же? Еще недавно он был маленьким мальчуганом и смотрел на меня влюбленными глазами, когда я вернулся из Китая».

«Надеюсь, что служба в армии окажет благотворное влияние на Хельмута. Я твержу это Леноре каждый вечер, когда она усталая возвращается из госпиталя. Она по-прежнему живет со мной и даже старается избавить меня от домашней работы. Сын пишет ей с фронта гораздо реже, чем следовало бы писать единственному сыну. Пожалуйста, пожури его, если встретишься с ним. Ленора каждый вечер еще с порога спрашивает, нет ли от него писем. Она была очень огорчена, что он, возвращаясь из Франции, провел отпуск на Рейне. Все же мы рады, что он при всей своей молодости уже награжден за особые заслуги».

«Вероятно, у него на груди красуется тот же орден, что у Рённеке, и за те же заслуги». Вепцлов стал машинально мыться. При этом письмо так намокло, что он бросил его на пол. В его голове возник какой-то винегрет из воспоминаний: вкус смородинного мармелада, которым он полакомился тайком, за что был наказан тетей Амалией, и даже наказан вдвое строже, потому что он свалил

на кошку вину за опрокинутую банку; первый отпуск из кадетского корпуса и гордость первым мундиром; впервые испытанный страх смерти перед первым сражением в первую мировую войну; тщательно скрытое разочарование после первого посещения публичного дома в Брюсселе; Железный крест первой степени; бешеная и бессильная злоба, охватившая его на вокзале в Аахене, когда рабочие сорвали у него с груди этот крест; а вот Клемм, его зять, наклоняется к нему: «Стреляй ты!»; и стремительно повернувшееся к нему лицо арестованного и тихий, но дерзкий и звонкий голос: «Погодите, придет и ваш черед!»; нестройный хор назойливых звуков — командных окриков и любовных слов, упреков и детского лепета; запах, каким пахнет только в Китае, от кожи, от земли; чопорный поцелуй тети Амалии, когда он заезжал к ней в Потсдам. Она неодобрительно смотрит на него через край ванны: «Фриц, мне не нравятся эти штуки на окраине деревни».— «Нам надо победить, тетя Амалия, нам надо выиграть войну».— «Да, но оружием, мой мальчик. У вас теперь самолетов что птиц на небе. А танков сколько!» — «Нам надо идти вперед, нам нельзя застрять еще раз, нам нельзя пережить вторую такую зиму, как там, на севере, под Москвой. Мы одержали больше побед, чем за всю нашу историю. А это, сама видишь, помогает нашему наступлению».

Но тетя Амалия слишком стара, чтобы спрашивать. Да она и не спрашивает вовсе, она радуется у себя в Потсдаме блистательной карьере своего внучатого племянника Хельмута.

Его знобит, вода остыла. Он сердито зовет денщика, который забыл подать купальную простыню.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

I

Старшая дочь Венцлова Аннелиза положила недельную калькуляцию перед начальницей школы домоводства, где она училась. В этой солидно зарекомендовавшей себя школе девушек натаскивали, как вести хозяйство любого масштаба, вплоть до управления большим поместьем. Смешки и болтовня воспитанниц глухо доносились до того угла кухни, где на столе были разложены калькуляции.

Кастрюли, медная утварь, печи, даже кафельные полы блестели чистотой, так что кухня походила на операционный зал. Фрау фон Уленхаут в белом халате напоминала старшую медицинскую сестру. И на ее гладком неопределенного возраста лице всегда было соответствующее ласково-терпеливое выражение. На шее черная бархотка с медальоном. Ногти на ее длинных пальцах были коротко и аккуратно подстрижены. На одном пальце в знак вдовства было надето два обручальных кольца. На другом — чересчур массивный перстень с геммой, впившийся в мясо. Аннелиза все это внимательно разглядела, стоя за ее стулом. Самостоятельное составление калькуляции считалось довольно серьезным испытанием, чем-то вроде экзамена. Фрау фон Уленхаут научилась скрывать свои впечатления, она всегда оставалась одинаково приветливой. Девушка же всячески старалась прочесть на лице начальницы оценку своей работы. Ее отец так же жадно старался прочесть на лице начальника впечатление от своего доклада. Однако дочь ждала похвалы или порицания совсем с иным чувством, чем отец ждал мнения людей, стоявших выше его.

Когда в школе появлялся новый учитель, она думала: «Еще посмотрим, какой он, и стоит ли быть у него на хорошем счету!» В самой Уленхаут она пока не разобралась и не знала, стоит ли быть у нее на хорошем счету.

Сейчас она только хотела знать, верно ли составлена ее калькуляция.

Мать услала дочь из города, чтобы не дрожать ежеминутно, как бы девочка не скомпрометировала их своими нелепыми выходками. Кстати, будущее Германии требовало, чтобы девушки из знатных семей, невесты офицеров и матери столь желанных сыновей, прошли основательную выучку.

Хотя Аннелиза была только в начальном классе, ей задавали уроки, которые полагалось делать старшим. На этой неделе ей поручили составить калькуляцию довольствия для всего персонала в имении из расчета снабжения собственными продуктами с небольшими добавочными закупками в ближайшем городке. Она неохотно начала занятия в этой школе, но вскоре обнаружила, что здесь нетрудно добиться большей самостоятельности, чем дома, что здесь возможны бреши в той стене, которую мать пыталась возвести вокруг нее, возможны встречи с разными людьми и любые неожиданности.

Фрау фон Уленхаут сунула ей лист бумаги; она села на угловую деревянную скамейку, украшенную кустарной резьбой. Девушки, стоявшие у плиты, с завистью отметили, что их соученица столько времени сидит за одним столом с руководительницей.

Уленхаут изредка бросала беглый взгляд на девушку, которая грызла карандаш. Мать Аннелизы и не подозревала, насколько основательны были опасения Венцлова, что дочь может бросить тень на всю их семью. Для поступления даже в эту школу, кроме всех прочих документов, требовалась рекомендация руководства гитлерюгенда. Она была прислана в запечатанном конверте. В ней доводилось до сведения фрау Уленхаут об известном происшествии и рекомендовалось обратить на девушку особое внимание.

Фрау Уленхаут с самого начала обратила на девушку особое внимание. Школу свою она открыла уже давно, вскоре после смерти мужа, чтобы извлечь хоть какую-нибудь пользу из своего имения. Благодаря протекции одного из своих друзей она удостаивалась похвал и поощрения от правительства даже и за последние десять лет. Теперь ей было уже под шестьдесят, и она втайне мечтала закрыть школу. Куда девались по окончании курса все эти девушки-подростки, в которых она год за годом, согласно тщательно продуманному плану, внедряла кучу полезных

познаний? Возвращались в семью? В народную гущу? В обычное время она гордилась своим знанием света и законов, а также умением обходить наиболее нелепые приказы; теперь же, в войну, ее знания оказались явно недостаточными. Тут-то она, как рекомендовало ей руководство гитлерюгенда, обратила особое внимание на новую питомицу. И выяснилось, что девушка, пожалуй, стоит того, чтобы из-за нее не бросать своего опостылевшего дела, уж она-то не выйдет замуж ни за одного из этих — Уленхаут даже мысленно пропустила соответствующее слово — и, что еще важнее, не родит такого, как они.

— Не бери карандаша в рот,— вскользь заметила фрау фон Уленхаут.

Ей было жалко, когда эта девушка уехала на рождественские каникулы домой. Как ни была она сама занята предпраздничными приготовлениями и в школе, и в имении, в сердце она ощущала пустоту, будто у нее отняли дочь или младшую сестренку. Аннелиза и не подозревала, что о ней скучают. Зато она почувствовала, что дома ее встретили отнюдь не с тем восторгом, какого она бессознательно ждала, хотя сама вовсе не была привязана к дому. Тем не менее перед каждым свиданием с семьей у нее вновь возникала надежда: «Может быть, и у меня все-таки есть настоящий дом?» И семья и город показались ей на этот раз совсем чужими. В сущности, перемена заключалась лишь в том, что все оставалось неизменным, а не менялось вместе с ней. Мать была по горло занята все теми же обязанностями. Офицерские жены, как и прежде, читали друг другу письма мужей и сыновей. Как и прежде, на большой карте в столовой после чтения военных сводок передвигались флажки. Длинная булавка со свастикой указывала предполагаемое местопребывание отца и отождествлялась с воспоминанием о нем. В отсутствие дочери он приезжал домой в отпуск; он был награжден орденом и произведен в следующий чин. Зимние неудачи, казалось, были более чем возмещены последними успехами, захватом огромных территорий. Красные флажки над Москвой и Петербургом, красный клинышек у Волги казались не столь важными наряду с гигантскими булавочными змеями, которые всползали по Африке и по Украине и рвались чуть не за пределы карты, к световому кругу от настольной лампы. Мать собиралась уже достать из отцовского шкафа старые карты Азии, Индии и Китая, которые пона-

добятся вскоре, как только отец выйдет к Суэцкому каналу и соединится с африканской армией.

Каждое утро, проверяя по газете и радио расстановку флажков на карте, мать раздражалась, что несколько красных флажков все еще торчат не там, где надо. Они кололи ей глаза, как плохо приклеенные обои. Хотя она не сомневалась, что это упущение будет скоро исправлено, однако у нее частенько вырывался вздох: какое счастье, что отец, судя по последнему письму, находится на юге Украины — там все в порядке и зима не такая уж лютая. Она разложила под елкой, как рождественский подарок, полученную от него посылку: грубый белый украинский холст, вышитый красным,— это очень пойдет девочкам. Они примерили его, приложив к себе поверх праздничных платьев при свете елочных свечей: «На земле мир и в человецех благоволение...» Если бы отец в сопроводительном письме не подчеркнул, что посылает холст в подарок обеим дочерям, если бы можно было решать вопрос в соответствии с внешними данными, а не по справедливости, мать отдала бы подарок с Украины одной только младшей дочери.

Марианна на целую голову переросла сестру, которая осталась приземистой коротышкой. Марианна оправдала все ожидания, сделавшись очаровательной девушкой. И вечером, лежа в постели, она попыталась по старой привычке откровенничать с сестрой, посвятить Аннелизу в свои любовные истории. Центральное место в этих рассказах занимало посещение их кузена, Хельмута фон Клемма, который проездом был у них со своим приятелем, эсэсовцем Буркхартом. Буркхарт оставил яркий след в сердце Марианны.

Старшая сестра только удивлялась, как будто младшая невесть как изменилась. Конечно, Аннелиза, как и вся семья, желала, чтобы флажки продвинулись от Сталинграда далеко за Волгу. Она желала того же, что и все остальные, а именно — чтобы флажки из Африки и из России в конце концов соединились. Только она удивлялась, как могла сестра думать о любовных историях, а мать — о рождественских подарках, когда совершались такие грандиозные события, от которых захватывало дух. В некоторых районах России стояла такая стужа, что солдаты превращались в ледяные сосульки. Но даже если морозы спадут, если благополучно завершатся эти грандиозные события, все равно, как можно думать об остротах Буркхарта, как

может в этом грозном мире, среди этих страшных кошмаров все оставаться по-старому?

Маленького братишку мать и сестра по-прежнему наперебой баловали и ласково трепали за вихор, а он смеялся, скаля крепкие белые зубы. Но даже этот мальчик с блестящими зубами и густым вихром казался Аннелизе совершенно другим, не человеческим существом, а каким-то кобольдом. Однажды она украдкой ушла из дому и направилась к своей старой учительнице Ленерт, у которой когда-то были неприятности с властями и, главное, с теми людьми, которые назывались «немецкими христианами». Фрейлейн Ленерт встретила прежнюю ученицу приветливо, гордясь прочной привязанностью девушки. Что значат распри былых времен по сравнению с тем, что объединило теперь всю нацию? Что значат заблуждения «немецких христиан» по сравнению с безбожным врагом, угрожающим всей Европе? Девушка молча слушала учительницу, она не знала, что ответить и о чем спросить. Она не знала, на что возразить и с чем согласиться. Наконец она робко спросила о школьном пасторе Шрёдере. Ленерт уверила ее, что абсолютно ничего не знает о нем.

Девушке больше некому было задавать вопросы, кроме себя самой. Она медленно брела по направлению к дому. Ей казалось, что весь город кричит ей: «Ты совсем одна!» Где теперь школьный пастор? В земле? В штрафном батальоне? В концлагере? Может быть, он давно, как Ленерт, забыл разногласия прежних лет и пошел добровольцем в армию? Ночью, лежа в постели, она мечтала только об одном: чтобы сестра перестала трещать об эсэсовском лейтенанте Буркхарте и она могла бы, засыпая, отдаться своим мыслям. Она теперь часто думала о смерти. Как назвать то, что она вдруг стала ощущать всем своим существом? Было это ничто или все? Призрак или сама вечность?

Одно только казалось ей странным. Люди очень мало знали о смерти, они ничего не могли сказать о ней, они явно ею не интересовались, хотя мать по целым ночам не смыкала глаз, если долго не было почты. Даже сам отец, который постоянно видел перед собой смерть — можно сказать, ее одну и видел,— писал о самых нелепых мелочах, а о смерти ни слова. Правда, слово «убит» встречалось у него часто, со множеством рассуждений, но что он по этому поводу думал? Вот и конец, или потом еще будет божий

суд? А когда грохочут танки и разрываются бомбы, так тоже просто-напросто конец? Прах? Пепел? А дальше ничего? В этом весь вопрос, но об этом никто не говорил и не писал.

Ей казалось, что люди и тогда не задумались о смерти, когда все флаги были приспущены, когда все оделись в черное и у всех был мрачный, удрученный вид. Перед самым днем национального траура, объявленного в связи с гибелью немецкой армии под Сталинградом, Аннелиза вернулась в свою школу. Она молча и серьезно вместе со всеми ученицами и с персоналом имения слушала речи, в которых руководство школы и национал-социалистские власти объясняли, как нужно переносить несчастья, неизбежные в такой грандиозной войне. Ибо дух нации проявляется в поражении еще ярче, чем в победе. И дальнейший ход войны в большой степени зависит от того, как нация воспринимает поражение. Она молча и серьезно слушала вместе с остальными прославление тех людей, которые беспрекословно пожертвовали жизнью ради дальнейшей жизни нации. И этим показали всей нации, как надо переносить поражение. Поражение? Надо переносить поражение? Жертвовать жизнью? Дальнейшая жизнь нации? Траурные марши, угрюмые лица, мрачные голоса ораторов, а что будет с погибшими? Национальный траур сопутствовал им только до порога смерти. А что такое смерть? Где истина? Где вымысел?

Младшая сестренка Марианна, та, верно, лежала по ночам в постели и мечтала о своем Буркхарте. Ей же траурный марш впивался в душу. Стиснув зубы, слушала она звучавшую в нем неумолимую угрозу. Но держала она себя так строго, так чинно, что никто в зале не обратил на нее внимания.

Уленхаут, ходившая и до объявления траура всегда в черном под белым халатом, с черной бархоткой на морщинистой шее, не спускала глаз с девочки. Она видела бледное личико, две тугие косички, крепко стиснутые зубы. Она дорого бы дала, чтобы узнать, что творится в голове девочки. Все остальные, обычно веселые, а сегодня серьезные девушки мечтали о сотне городов в почти завоеванном мире, где бы им можно было любить и рожать. Сама Уленхаут до нынешнего дня рассчитывала провести остаток жизни в этом мире, который хоть и претил ей, но побеждал. И вдруг она поняла, что ей, пожалуй, придется пере-

жить поражение. Под звуки траурного марша ею овладевало смешанное чувство вины и раскаяния, ибо эти девушки, отданные на ее попечение, были воспитаны на безумной идее завоевания всего мира. И даже теперь она не решалась поколебать их веру в официальные объяснения вроде «случайности, неизбежной в таких войнах». Тут она вдруг с полной ясностью и с глубоким сознанием своей вины поняла почему. Потому, что это государство и сейчас еще было сильным, и потому, что она боялась пострадать за одно неосторожное слово. Чувство вины и раскаяния было еще сильнее, оттого что она не могла уберечь эту девочку-коротышку с туго заплетенными косичками, которая была ее сердцу ближе всех остальных.

II

Сколько бы ни суждено было еще прожить Гансу, он до последнего вздоха не перестал бы изумляться все тому же: «Я в самом деле стрелял в них!» Хотя он уже третий год находился на Восточном фронте, изумление его было так же свежо: «Я в самом деле стрелял в них...» С ним произошло то, что он считал совершенно немыслимым. Он не только выстрелил в первый раз, но и стрелял бессчетное количество раз. И стрелял не только в пространство, в ближнем бою он видел, в кого стреляет. Он видел серп и молот и все-таки стрелял. Знак серпа и молота он с малолетства встречал в самых различных местах города, дома, на улице, в трамвае, на школьной тетради, видел его выведенным на саже, на снегу. А теперь стрелял по нему. Потому что все по нему стреляли. Почему же все стреляли? Раньше он читал и не верил, что неизбежно будет опять война, и люди опять попадутся на эту удочку, и опять будут стрелять, и опять будут предавать. Это он тоже когда-то читал: «Один из вас предаст меня...» Тогда это казалось ему невероятным. Как можно предать, если заранее знаешь об этом? И почему он, именно он, был тот один? Что из того, что таких еще несколько миллионов. Хоть десятки, хоть миллионы, но именно он — тот один. Пулемет был направлен прямо на его пулемет. С той и с другой стороны привычными движениями заряжали, целились, стреляли. И он не мог выскочить из общего ряда, как одна волна не может выскочить из целого потока. Если с той

стороны выстрелят на секунду раньше, конец ему и всем остальным.

Что ж такого? Неужели он так дорожил жизнью? Он часто рисковал ею и на войне и в мирные времена. Он считал себя смелым, потому что никогда не мог себе представить, как это он перестанет жить. Всякий раз он думал: «Как-нибудь проскочу, не бойся за меня, мама!» Однако когда он дома думал: «Если гестапо схватит меня, тогда конец», ему не приходило в голову, что кончится сама жизнь.

Многим это приходило в голову, только не ему. Без него или с ним, жизнь будет течь непрерывно, кипучая, полноводная. А теперь жизнь — это он один. Она прекратится, если красноармеец у пулемета выстрелит в него, а не он в красноармейца. Он убивал именно то, за что готов был тысячу раз умереть.

Он внезапно очнулся и крикнул:

— Где же Циммеринг?

— Ничего, вернется. Так, царапина.

Они, как сельди, набились в барак. Душная ночь, непрерывный треск пулеметов и бешеный огонь зениток.

— Заткнись,— зарычал кто-то, как будто слова Ганса одни только и нарушили ночную тишину. Все остальные спали, а ему не спалось. Он был рад, что Циммеринг вернется завтра. Циммеринг тоже стрелял — значит, не он один. Нет, все-таки он один, если бы пуля попала, это была бы его пуля. Две с половиной тысячи человек выстрелили в одну и ту же секунду. Но кто бы ни был тот, кто лежал бездыханный на земле, смертельная пуля была послана им, Гансом. Пусть убитый был совсем изрешечен пулями, но только одна из них, только одна пуля оборвала нить жизни. И на этой пуле было вырезано — Гапс.

Это было уже давно. Теперь на многих тысячах пуль было вырезано: Ганс. Он даже получил медаль. За что? Вот чего стоила эта награда — где бы он ни был, над ним повсюду витали бесчисленные тени, точно птицы смерти над падалью. Во сне ему слышался шум их крыльев, птицы смерти жадно накидывались на него, клевали его. Птицы не жалели его, как крылатые духи мертвых не жалеют живых. Они клевали и каркали: «Лети с нами!» А он так мало жил, так мало кого любил; пожалуй, по-настоящему любил только мать, да еще немножко Эмми; она изредка писала ему.

Морщинистое лицо старухи крестьянки, над которой с утра до ночи издевались в польской деревне, то и дело возникало у него в памяти. В ее потухших глазах горел огонек: «Теперь вам конец, сволочи!»

Но на это вовсе не было похоже. Они вторглись в Россию; перед ними клубилась пыль от убегающих людей, которые гнали свой скот на восток. Впереди танки, эсэсовцы на машинах, расстреливающие детей и стада. Тех, кому удалось бежать, бомбили самолеты. На то, чего ждала старуха, совсем не было похоже. Гане как будто видел, как угасли огоньки в ее глазах. Видел, что старуха плачет, как плачут слепые. Зимой ее глаза иногда мерцали перед ним на снегу. Лейтенант Шельман был ранен, упал с лошади в снег и замерз. Его узнали по руке, по оригинальному кольцу, которое всем запомнилось. Из-под снега торчала только лошадиная туша да несколько пальцев в перстнях. Шельман тоже смеялся тогда над старухой в польской деревне: «Поживее, бабка! Ты у меня попляшешь!» Старуха как будто плясала на снежной могиле. Глаза ее опять сверкали: «Теперь вам конец!» Но конец все не приходил. И глаза ее потухли в третий раз. Офицеры говорили между собой: «Наше командование не хотело повторять ошибку Наполеона, который вопреки здравому смыслу во что бы то ни стало решил взять Москву и на этом сломал себе шею. Франко в Испании тоже не держался за Мадрид — он позволил красным поторжествовать, а Мадрид в конце концов все же попал ему в руки. Так Москва и Петербург сами собой попадут нам в руки после того, как рухнет весь Советский Союз. Главное богатство страны — хлеб и нефть — все равно уже в наших руках!»

Гансу мучительно недоставало Циммеринга, который пошел на перевязку. Циммеринг во всех случаях знал, что надо и чего не надо делать. Он уговорил младшего друга побороть искушение и не переходить одному к партизанам. В прошлом году была возможность одному пробраться к партизанам, которые прочно обосновались у них в тылу. Он мог также отстать в деревне Черское, несколько раз переходившей из рук в руки, и уйти с русскими. «Ты думаешь только о себе. А у нас еще тут много дела. Нам нужно, чтобы не мы одни, а многие поступили так же». Гансу казалось, что Циммеринг никогда не знал сомнений. Он как будто даже не страдал, выполняя приказы, от которых у человека нутро переворачивается: вывести из хле-

ва последнюю корову, забрать последние остатки муки, выгнать целую семью; все это он выполнял так невозмутимо, что Ганс с тоской спрашивал себя: «Может, у него от этого нутро вовсе и не переворачивается? Может, это ему ничего не стоит?» Сам Ганс всячески старался скомкать выполнение приказа, лишавшего семью, деревню последнего добра. Однако же, если он забывал проследить за сдачей молока или сбором валенок и шерстяных одеял, если он не считал нужным доложить о тайном убое скота, сейчас же являлся человек, который наверстывал то, что он умышленно упустил. А когда такое упущение обнаруживалось два раза подряд, ему было очень нелегко изворачиваться.

— Сам виноват,— говорил Циммеринг.— Пока никто изо всей роты, кроме тебя, не будет сопротивляться, пока ты не уговоришь других поступать так же, прок от этого будет разве что твоей совести, войну же ты этим не поможешь кончить.

В мирные времена нетрудно было жить двойной жизнью. Подполье требовало хитрости, увертливости и отваги. Несколько человек, и именно те, кто был тебе важен, знали твое истинное лицо. На войне ты был один среди миллионов. И знал правду только Циммеринг и еще очень немногие, но те знали только частицу правды. Собственное «я» было так далеко запрятано, что оно совсем исчезало. Когда Циммеринг говорил: «Я берегу себя для самого главного», становилось страшно, что погибнешь и никто на свете не узнает, кем ты был. Пожалуй, уж легче быть в штрафном батальоне и искать мины на «ничьей земле». Там кругом были свои, там ты жил и умирал не один.

Циммеринг был ему опорой в момент вторжения.

— Сознайся, и тебя пробрало, когда вчера в первый раз скомандовали «огонь»,— сказал тогда Гансу сосед, некий Берндт. Больше, чем сам вопрос, не понравился Гансу взгляд этого Берндта.

— Пробрало, почему? — в свою очередь спросил он.

Но тут Циммеринг, шедший по левую сторону Берндта, подхватил вопрос и показал, как надо в таких случаях отвечать:

— Понятно, как не пробрать.— Глаза Берндта на замкнутом и настороженном лице совсем скосились влево.— Всякого проберет,— спокойно продолжал Циммеринг,— когда правда взяла верх над болтовней, шумихой и дипло-

матической возней, когда слышишь наконец приказ и стреляешь.

Он разошелся и продолжал в том же духе, хотя шпик с разочарованным и скучающим видом давно уже смотрел в пространство, поняв, что здесь ничего такого, о чем можно донести, не услышишь.

•

Противник непрерывно контратаковал, но его сопротивление удавалось сломить не сегодня, так через день, через два. Саперы быстро навели мосты, и они форсировали Днепр с такой стремительностью, как будто в офицерских приказах была волшебная сила, которую вселял в них тот, от кого исходили все приказы и кто звался фюрером. А теперь их войска наступали так неудержимо, что это было бы похоже на колдовство, перед которым бессильно всякое оружие и отчаяние, если бы их собственные части не таяли при этом на глазах, из чего явствовало, что колдуны тоже не заговорены от смерти. Они уже много недель шагали по тучной земле, среди колышащихся нив, над которыми, точно островки, маячили деревеньки, такие мирные издалека. Сказочные края по сравнению со скудной песчаной почвой Бранденбурга, которую Ганс до сих пор считал землей. И вся эта сказка из золота и чернозема была советская земля. Страна без господ и рабов, где каждый был сыт. Вслед за немецкими солдатами прибывали новые помещики, между которыми делили завоеванную землю. Деревенскую молодежь заставляли косить и пахать на новых господ или же погружали в вагоны и отправляли в Германию. Ганс слушал разговоры солдат, совсем охмелевших от такого изобилия плодородной земли. Они жадно вцеплялись в нее.

Ганс говорил ночью Циммерингу:

— Раньше я всегда думал, что жизнь длится вечно. Не за облаками, а на земле, и чем дальше, тем будет лучше. А теперь мне иногда страшно, что меня прикончат и дальше ничего не будет. Вот возьми Кетлера: ведь в нем тлела какая-то искорка, а теперь и она погасла. С каким восторгом он пакует увесистые посылки и отправляет их домой своей старухе. Дома он был серединка наполовинку, а здесь и совсем рад стараться.

— И будет стараться, пока мы не перестанем побеж-

дать. А как только ему придется туго, он опять образумится.

— Откуда ты знаешь, что ему придется туго? Откуда ты знаешь, что мы не дойдем до самой Азии?

— Этому я не хочу верить и не верю. Тем, что веришь, помогаешь побеждать, а не веришь — так тормозишь наступление. Вот русские не хотят верить и не верят.

— Для чего себя беречь, если мы одни? Для самого главного, говоришь ты. А сколько его ждать? Вот когда нам прикажут обобрать деревню и я ослушаюсь — что ж, пусть меня ставят к стенке.

— Ты не прав, что в Кетлере погасла последняя искорка, ты сам перестал ее раздувать. А если тебя поставят к стенке, ты и вовсе перестанешь. Покойники, те ничего не раздувают...

Ганс заметил, что Берндт насторожился: что эти двое все шушукаются? Циммеринг перехватил его взгляд. Он сказал:

— Мы как раз говорили о бессмертии.

— О чем, о чем? — Берндт, ухмыляясь, пододвинулся ближе.

— О бессмертии. Скажи, друг, оно существует?

— Да, но не так, как толкуют попы,— пояснил Берндт.— Кто погиб, тот будет жить дальше в своем народе. И другие будут бороться за то, за что боролся он.— Хоть Берндт и смеялся, видно было, что он высказывает свои затаенные мысли.

— По-твоему, если умрет немец, он продолжает жить в немецком народе. А если умрет Муссолини, он останется жить в итальянском народе. Микадо, как бишь его,— в японском? А как же русские?

— У русских нет души. Они и не живут по-настоящему. Когда кто-то из них умирает, одним становится меньше, только и всего. Убитый русский мертв окончательно.

Еще несколько человек подошли ближе и прислушались.

— Вот что мне непонятно: почему же тогда они дерутся как черти? — спросил солдат по фамилии Биндер. Ганс помнил его с тех пор, как они вместе играли в камушки и тот славился своей ловкостью. Теперь у него на груди была медаль за храбрость.

— Сколько раз объяснять вам? — подхватил Берндт.— Тигр как бешеный огрызается до последнего и все-таки по

получает медали за храбрость. А волка не повышают в чине за то, что он защищается из последних сил. Это называют борьбой за существование.

Ночью Ганс спросил Циммеринга:

— Ты думаешь, все солдаты верят нацистам? Возьми, например, Биндера. Он когда-то учился со мной. У нас были одни и те же учителя, отец его был красным, брат, возможно, в концлагере. А ты? А я? Если бы я не столкнулся с этим самым Мартином, о котором столько тебе рассказывал, как ты думаешь, во что бы я верил? А Биндер, по-твоему, твердо верит во все это?

— И верит и не верит. Возможно, в душе у него еще сохранился уголок, которым он не вполне верит. Но никто не добирается до этого уголка. Теперь же, в разгар боя, ему необходимо верить. Иначе бы жизнь его гроша ломаного не стоила. Он был бы покойником при жизни. А ему лестно думать, что жизнь его невесть какая ценность. А мы с тобой? — спрашиваешь ты. Если бы ты не столкнулся с этим Мартином, так столкнулся бы с другим, таким же, как он. Ты ведь сам когда-то задумался. И стал доискиваться правды. И тебя уж не могли обуздать ни приказами, ни подкупом, ни орденами, ни чинами.

Ганс часто задавал себе вопрос: где теперь Мартин? Может быть, на той стороне? Может быть, я своими руками убил его? А может быть, он давно погиб в Испании. Пока что приходится довольствоваться Циммерингом.

Они начали поход на юг. В разговорах уже упоминалось Черное море. Какое оно, черное или синее? А дальше новые края, новые реки и города, о которых они даже понятия не имели. Теперь уже казалось вполне вероятным, что удастся свидеться с друзьями и братьями, которые торчали где-то в Африке. Раньше они были невообразимо далеко, а сейчас до них рукой подать. Многие уже измеряли по карте отделявшее их расстояние. Осень стояла небывало золотая, и не верилось, что и это золото облетит. На лицах крестьян, смотревших на вражеских солдат, появилось новое выражение, может быть, от ветра, который поднимал дыбом их платки и волосы, а толстые солдатские шинели даже не шевелил. И вдруг однажды под вечер небо, такое же безбрежное, как земля, потемнело гораздо раньше, чем обычно. Они лишь позже сообразили, что солнце еще и не

думало заходить. На западе небо сияло, и земля под этой полоской неба мягко золотилась, как всегда. До сих пор зима словно отступала перед ними. Теперь же им начало казаться, как будто они вовсе не продвигаются вперед, а топчутся на месте; и снеговые тучи медленно надвинулись на них. Сперва снег был мелкий, как мука, он словно пылью запорошил поля и леса.

И вдруг Ганс понял, чего ждали крестьяне, когда, стиснув зубы, из-под палки шли на принудительные работы. Все они смотрели на небо, и даже та строптивая баба, которую недавно мимоходом вздернули посреди деревенской площади. В нескольких шагах от виселицы она подняла глаза к небу, в ее взгляде не было и тени упования на загробную жизнь. «Скорее всего,— думал Ганс,— она, стоя с петлей на шее, предвидела ту серую мглу, которая сейчас сгустилась над нами».

Они вступили в Одессу. Однажды, в давно прошедшие дни, он уже бежал, пригнувшись, по этой широкой лестнице, и тяжелые сапоги топтали его; тогда Мартин обнял его за плечи. Возможно, что многие из тех парней, которые сейчас победителями спускались вниз к порту, в свое время тоже смотрели на экране «Броненосец Потемкин». Если собственные переживания недолго держатся в памяти, то уж изображение чужих переживаний улетучивается как дым. Только не у него. Он чувствовал, как его собственные сапоги громыхают вниз по лестнице, топча все живое, и в то же время у него самого трещали кости под топтавшим его дьявольским сапогом. Циммеринг сотни раз твердил ему: «Повинуйся, иначе тебя расстреляют, зачем тебе выбывать из строя борцов? Ведь тогда ты никого больше не перетянешь на ту сторону». Кого? Когда? Как? Ему была ненавистна эта двойная жизнь, он хотел быть самим собой. Он уже перестал верить другу, будто наступит момент, когда двойственные жизни вдруг станут едины. Во Франции он еще верил, что ему удастся, как, по рассказам, удавалось в первую мировую войну, поднять на восстание целый отряд. Здесь он был одинок и не мог один восстать против силы, которую, казалось, сломить не легче, чем ту силу, что нагоняет ураган и метель. Как она завладела людьми? Кто нажал на этот рычаг? Кому нужно было направить их на восток? Он не ожидал, что в человеке обнаружится столько звериного, стоит только нажать на рычаг. Этого он никак не ожидал от Биндера, с которым играл в камешки.

Однако ему следовало предвидеть, следовало лучше знать Биндера.

Он уже больше не был похож на лисенка, померкли искорки, прежде мерцавшие в глазах.

Бои за город отгремели уже так давно, что немецкие солдаты почти совсем обжились здесь, если можно обжиться на пожарище. Как вдруг взрыв на восьмом доке напомнил им, что в покоренном городе не все покорено. Последовала серия арестов и расстрелов, вытекающих из законов войны, как эпидемии и смерти — из законов жизни. Немного погодя и понаблюдав, произвели дополнительную облаву. Люди, укрывшиеся в подвалах и развалинах, знали, что число жертв предрешено заранее. Солдаты, которым было поручено произвести облаву, считали, что все они чудом спаслись от смерти, и ни минуты не сомневались в том, что каждый житель вражеского города им враг, а каждого врага надо истребить. Это было неосуществимо, значит, надо было осуществить это хоть частично. И вот они выполняли приказ, которым по произвольному списку или по настроению начальства определялось, какой процент надо истребить.

Гапс входил в команду, которая оцепила определенный квартал. Один человек бежал из-под ареста, но дальше этого квартала он уйти не мог. Чем тщательнее его разыскивали, чем он был неуловимее, тем больше о нем говорили. Чем дольше его искали, тем серьезнее были основания искать его, тем яснее становилось, что он крупный подпольщик и диверсант. В воздухе он не мог растаять, значит, он перебегал с места на место. Угрозы ни к чему не привели. Обитателям квартала объявили, что, если его до вечера не найдут, всех расстреляют. Тогда все, кто ютился в подвалах и развалинах, прекратили всякое движение, всякую деятельность, словно оцепенели, и дали понять, что преследователям на их помощь нечего рассчитывать. Даже дряхлые старики, даже самые неугомонные женщины, даже несмышленые дети притихли, чтобы никто не мог подумать, будто они помогают в поисках. Они боялись только одного: как бы угрозы и яростные поиски не завершились торжествующим воплем.

Срок истекал в семь часов. В шесть в последний раз обыскали все — до последнего закоулка. Бешенство лейтенанта подстегивало его команду, как будто безуспешными поисками все они расписывались в позорной слабости. Они

шарили в каждом углу, на безмолвных жителей сыпались побои, пинки, удары прикладами. Часть команды, впачале оцеплявшая квартал, а потом сменившаяся, тоже была брошена на поиски. Ганс попал в совершенно непригодную для жилья комнату только с двумя стенами, без крыши, вход в нее был завален обломками печи, уцелевшие обитатели дома были согнаны во двор или же арестованы еще раньше, убитые убраны, только забрызганный кровью поломанный домашний скарб заполнял развороченное помещение. Солдаты порылись в груде обломков, подняли половицы. Гансу приказали разобрать дымоход. Он увидел в отверстии два сапога. Как ни съеживался человек, спрятавшийся в дымоходе, ему из-за тесноты не удалось подтянуть колени еще выше в тот момент, когда Ганс стал разбирать дымоход. Ганс видел, что человек еще жив, хотя в этом убежище ему почти нечем было дышать. Фельдфебель свирепо просунул голову в дверь; как и все, он надеялся, что беглеца найдут именно в его секторе; он прикрикнул на солдат; Ганс заслонил отверстие и снова заложил дымоход. Он не знал, чтб пережил спрятавшийся человек, ожидая, что его вот-вот вытащат за ноги. Он не знал, заметил ли тот вообще, что его обнаружили. Ганс видел только его сапоги, да и то лишь от каблуков до лодыжек. Он не знал, был ли тот человек стар или молод, он знал о нем не больше, чем о тех, кого сразила его пуля. Он продолжал вместе с остальными искать беглеца, зная теперь, что найти его невозможно. Обыск был прекращен.

Внезапно их перебросили. Пока что, до более точных указаний, говорилось, что они нужны в Сталинграде. Чем дальше, тем больше было снега, тем суровее становилась зима, и слухов ползло все больше, и они становились все грознее. Непонятно было, почему опять называют города, о взятии которых объявляли уже давно. Земля содрогалась все сильнее, хотя бои шли где-то далеко, так что казалось, будто они происходят в недрах земли. А между тем до Сталинграда им, безусловно, было еще долго добираться. Офицеры первые узнали, что их вводят в дело, чтобы снаружи прорвать кольцо, сомкнувшееся вокруг германской армии в Сталинграде. Красные не пропускали немцев, стремившихся пробиться с юго-запада. Теперь вместо жирных яств немцы глотали ледяной воздух. Иногда приходи-

лось так быстро отступать из деревни, что некогда было все сжечь. Кетлеру больше ничего не перепадало, чтобы послать домой. Лицо у него стало иссиня-багровым, он пыхтел и безнадежно рыскал глазами.

Ганс опять держался как можно ближе к Циммерингу. Им достаточно было кивка или взгляда, чтобы понять друг друга. Куда бы Ганс ни глядел, перед ним опять плясали искорки в глазах старухи, напоминавшей ему мать: «Дожили, теперь уже вам конец...»

Но конца все еще не было. Запоздавшие приказы подгоняли их часть, как ураган гонит сухую листву. Попытка немцев прорваться не удалась. Не потому, что, как бывает, листья вдруг замрут на месте посреди урагана, а потому, что на пути вырастает скала, о которую разбивается ураган.

Теперь Циммеринг первый заговорил о том, чтобы, как только представится случай, перейти на ту сторону. Значит, он уже не верит, думал Ганс, что ему удастся перетянуть и других. Он уже не считает, что ему надо беречь себя для самого главного.

В первый момент, когда стало ясно, что попытка прорваться не удалась, Циммеринг еще кой на кого рассчитывал. Прежде всего на Кетлера, о котором в свое время говорил: он опомнится, но не раньше, чем увидит, что дело дрянь. Поначалу Кетлер присмирел, растерялся, а потом вдруг стал открыто браниться и высказывался совершенно недвусмысленно. О своих намерениях Циммеринг рассказал только Гансу. На Кетлера он махнул рукой. На него в этом деле никак нельзя положиться. Непременно проболтается. Совсем потерялся парень.

При этом Циммеринг даже не знал, что Кетлера уже вызывали. Сперва Кетлер был не прочь примкнуть к Циммерингу, хотя о его намерениях скорее догадывался, чем знал определенно. Они раз-другой перебросились несколькими словами. А затем Берндт отвел Кетлера в сторонку. Несмотря на всю свою исполнительность, Циммеринг был ему подозрителен по каким-то крошечным, неуловимым, недоказуемым признакам. Кетлер был человек неискушенный в притворстве, тупой и грубоватый по натуре. Он подтвердил содержание разговора с Циммерингом, который Берндт пересказал наугад, хотя сам только подозревал, о чем шла речь. После этого Кетлер свято уверовал, что от Берндта ничто не скроется. И несмотря на то, что смерть все равно грозила ему на каждом шагу, он из страха смер-

ти согласился исполнить приказание Берндта и выспросить Циммеринга. Хотя он ничего не добился, но Берндту стало ясно, что его подозрения основательны, и он без всяких дополнительных доказательств решил не спускать глаз с Циммеринга.

Ганс написал матери, чтобы она не горевала, если долго ничего о нем не услышит. В прошлую войну люди тоже иногда пропадали и вести о них приходили лишь долгое время спустя.

Он старался ни на шаг не отходить от друга. В прошлом году было гораздо легче уйти тем или иным путем, например остаться лежать где-нибудь замертво, пока неприятель не прочешет местность, или связаться с партизанами. Теперь же каждый был затиснут в отдельную петлю этой раскаленной докрасна сети. Теперь их отделял от неприятеля огнедышащий пояс танков. Чуть сдвинешься с места — и попадешь под огонь собственной артиллерии. Свои отступающие танки крошили своих же солдат. Колдовство кончилось. Оказалось, что приказ прорвать окружение так же бессилен, как и другие приказы, которыми еще надеялись отсрочить катастрофу. Многие явно растерялись оттого, что их заставляли передавать невыполнимые приказы. Если на свете существовала сверхъестественная сила, то исходила она уже не от незримого вездесущего фюрера, а непрерывным снегом сыпалась с серого, низко нависшего неба. Ганс собственными глазами видел, как Берндт прижал дуло своего револьвера к спине Циммеринга и спустил курок. И почти в ту же секунду самого Ганса швырнуло наземь страшным толчком — то ли сверху, то ли из недр земли. Он ощупал себя. Все кости были целы, но товарищи, находившиеся возле него, превратились в месиво. Один вцепился в голову соседу единственной уцелевшей рукой — у него самого голову оторвало. Берндт свалился на спину Циммерингу, в которого только что стрелял. У него был расколот череп, но на лице Берндта, повернутом вбок, и сейчас было такое выражение, словно он и на том свете собирается шпионить за месивом из пяти человек, разбросанным вокруг него.

Уцелевшие товарищи говорили про Ганса, что он заговорен от пуль. Он медленно приходил в себя; не отчаяние вызывала в нем память об убитом, а скорее укор. Отныне он был совсем одинок, он даже не подозревал, что человек может быть до такой степени одинок. Он решил впредь

безоговорочно, наперекор всему слушаться только самого себя.

На следующий день он написал матери, что ему опять пришлось пережить несколько тяжелых дней: его самый близкий друг погиб, с ним же ничего не произошло. Пусть она не сомневается: он вернется цел и невредим.

III

Гешке работал теперь на военном заводе — пока только было возможно, он уклонялся от этого. Сначала его заработок был ниже прежнего. Мария приняла и эту незадачу так же равнодушно, как и все прочие тяготы жизни. По сравнению со страхом за сына все неприятности казались ей ничтожными. Вначале Гешке было трудно выполнять норму. Привыкнув всю свою жизнь к работе на чистом воздухе, требующей осмотрительности и ловкости, он крайне тяготился однообразным трудом в душном помещении. Несмотря на это, он довольно скоро наловчился, так что его даже перевели в следующий разряд.

У него в цеху было несколько человек, работавших вначале еще хуже и медленнее, чем он. Они явно и не старались подучиться, особенно некий Беринтер, с которым он в течение многих лет встречался в автогужевом парке и даже на собраниях социал-демократической партии. Беринтер был со всеми в превосходных отношениях, потому что у него всегда были готовы про запас шутки и остроты. Как только Гитлер пришел к власти, Беринтер немедленно примкнул к нацистам. Что поделаешь, говорил он, это дело надолго.

Гешке относился к Беринтеру с неприязнью, почти с отвращением, а тот по-прежнему изощрялся в шутках и остротах, не понимая, что их свободно можно отнести к нему самому. При этом Гешке вполне допускал, что Беринтер не в состоянии выполнить норму, а тем более прокормить на такой ничтожный заработок детей и внуков. Как только изготовленная деталь доходила до него, он задерживал своей медлительностью весь конвейер. Этим были довольны те рабочие, которые не поспевали сами; другие ворчали, потому что от этого снижался заработок. Мастер бранился, а главный инженер называл медлительность саботажем.

У Гешке не было ни малейшей охоты работать таким темпом, какого требовали нацисты. При всей своей неприязни он теперь старался приноровиться к Беринтеру. А к Гешке постепенно стали приноравливаться другие рабочие. Беринтер был благодарен Гешке, так как чувствовал его содействие. Главный инженер неистовствовал. В ряде цехов еще живет, мол, призрак былой солидарности. Вместо того чтобы равняться на самых умелых и успевающих, некоторые немецкие рабочие, соблазнившись этим устаревшим, подлым лозунгом, позволяют себе равняться на самых неловких и недобросовестных. Из-за этого многие цеха сильно отстают. Фюрер требует от всей нации, от каждого завода, от каждого отдельного человека максимальной производительности. Солидарность подменяет эти требования равнением на неумелых и недобросовестных, и вообще она — пережиток, помесь еврейско-христианских бредней.

Гешке, обычно скучавший на таких собраниях, вдруг навострил уши. Развязный оратор задел его за живое. Как ни мало он читал и думал, но мысль, брошенная здесь, давно уже бессознательно гнездилась в его голове. Ему не нужно было изучать Маркса или читать Бебеля, чтобы уразуметь, что такое солидарность. Оратор выболтал то, что давно смутно мерещилось Гешке и только теперь стало ему совершенно ясно. Он был так возбужден, что не пошел прямо домой, а согласился на предложение пожилого рабочего Дипольда немного прогуляться. Он едва знал Дипольда и не мог отдать себе отчет, почему охотно принял его предложение. Ему и в голову не приходило, что Дипольд давно уже исподтишка наблюдает за ним. За всю свою жизнь Гешке ни разу не чувствовал потребности в дружбе. А тут неожиданно зародилась дружба.

Мария по целым неделям не получала писем с фронта. Она сидела в кухне у окна с работой, которую частенько подбрасывала ей тетя Эмилия. Поток людей, стремившийся вниз от Бель-Альянс-Плац, сливался для нее в сплошную массу, среди которой ее интересовала только одна маленькая точка: почтальон. Когда он появлялся, она отбрасывала в сторону работу и начинала прислушиваться, не хлопнет ли входная дверь; она отсчитывала минуты, которые ему нужны, чтобы обойти все квартиры подряд.

И опять ничего. Опубликованное сообщение, что с некоторыми участками фронта почтовая связь временно прекращена, ничуть ее не успокаивало. Это означало только, что там идут особенно жаркие бои. Сидя однажды, как обычно, за шитьем, она услышала хлопанье дверей и шум голосов. Жилица с третьего этажа давно уже, как и она, не получала известий от старшего сына. И вот пришло извещение: убит. Соседи уложили несчастную женщину в постель, и дочка, та самая, что когда-то своим ревом не давала Гешке спать, сидела подле матери со строгим выражением на худеньком личике, успокаивая и лаская ее. Муж, как узнали в доме лишь позднее, был старым членом национал-социалистской партии, «старым борцом». Даже после захвата Гитлером власти он долгое время помалкивал об этом, потому что его соседи по дому очень туго воспринимали новую веру. Когда вечером муж и золовка сидели возле убитой горем матери, она в приливе отчаяния стала выкрикивать: «Во всем виноват твой драгоценный Гитлер» и что-то еще в этом роде. На следующий день ее внезапно вызвали в суд. Жильцы дома с затаенным возмущением говорили, что это дело рук золовки, мужниной сестры: у них в семье все спокон веку ярые нацисты. Женщину оправдали, вероятно, ввиду безупречной репутации мужа. Жильцы в один голос твердили: «Пусть эта мерзкая баба, золовка, только посмеет переступить порог нашего дома!» Но когда она преспокойно заявилась, выпятив грудь и виляя задом, который жильцы-мужчины грозились до крови исполосовать, никто даже слова не сказал. Правда, с ней сперва не поздоровались, но, когда она дерзко обернулась, поспешили исправить свою оплошность. А вечером говорили: «Чего ради наживать неприятности из-за жены «старого борца»?» Все ждали, что муж и жена выставят золовку вон — ничуть не бывало: ее посадили за стол ужинать... Муж внушил жене, что у нее от горя вырвались необдуманные слова, в которые она сама не верит. А золовка только исполнила долг. Что стало бы с нацией, если бы каждый поддался отчаянию? Правда, мужа сняли с прежней ответственной должности, но вскоре назначили на другой завод. А с тех пор, как было произнесено слово «развод», жена стала тише воды, ниже травы. Она громко сетовала на судьбу, на русских и на евреев.

Все это произошло в ту пору, когда Мария сама ждала

вестей с фронта. Она вся высохла от ожидания. Гешке каждый вечер видел по ней: опять ничего.

— А вот я уверен, что он жив,— говорил он.

— Почему?

Он пожимал плечами:

— Уверен, и все!

У него не было никакой уверенности, он просто старался чем-нибудь ее утешить. Ее вызвали на лестницу: полевая почта. Но ее опять постигло горькое разочарование: письмо оказалось от Франца. С ним все обстояло благополучно. Он только жаловался, что до сих пор торчит под Прагой, хотя в России нужен теперь каждый человек и его горячая мечта — сражаться там. Он намекал, что занимает пост инспектора на большом заводе под Прагой.

— Чего он задается? — заметил Гешке, когда, придя вечером, прочел письмо; над жалобами сына он только посмеялся.— Ведь делает он там почти то же, что и дома. Здесь он шпионил на заводе, вот его и там посадили шпионом на завод. И спрашивают с него, как с нас, и бомбят его, как нас.

— Он всегда хотел выделяться, ну и добился своего. Он думает, что он не такой, как другие, потому что доносит на других,— сказала Мария.

— Конечно, у каждого парня есть дурные черты, только обыкновенно их старались выбить. А теперь, наоборот, за всякую подлость еще хвалят,— ответил Гешке.

Как-то вечером Мария вышла навстречу мужу к станции подземки; по ее лицу он сразу понял, что получено письмо. Несмотря на холод, они уселись на скамейку под голыми деревьями. Мария плакала над письмом. Это было то самое письмо, где Ганс писал, чтобы она не горевала, если он вдруг пропадет без вести. Гешке дважды внимательно прочел его и принялся утешать жену, дрожавшую от страха и холода.

— Мальчик прав, он как-нибудь да вывернется.— И прибавил, прочтя письмо еще раз: — А может, там начинается такая же заваруха, как в прошлую войну. Тогда тоже многим удалось улизнуть, авось и ему посчастливится.

Мария покачала головой.

— Как же я буду жить и ничего не знать о нем? Не может же он вдруг исчезнуть?

Жильцы дома спрашивали, почему она плачет. Получила письмо и плачет. Письмо пошло по рукам.

Франц прислал ей посылку с теплыми вещами. Женщины все тщательно ощупали; между прочим там была пара чулок и теплая кофта.

— Это они забрали у чешских женщин,— сказала Мельцерша.— У нас тут тоже холодно, нам это пригодится.

Мария спокойно посмотрела на Мельцершу и не произнесла ни слова. Та в свою очередь внимательно взглянула на Марию — лоб у нее был нахмурен. Дух дома, старый, болтливый, неизменный дух дома, снова выполз изо всех углов. Он шмыгал по лестнице, оглядывал пальцы, щупавшие мягкую шерсть, вглядывался в нахмуренные лбы.

В тот же вечер Мария писала Францу: «Благодарю тебя за красивые шерстяные вещи. Я все сразу же распустила и свяжу тебе из этой шерсти свитер. Здесь, правда, тоже холодно, но я ничего этого носить не хочу. Носи сам». Гешке, обычно читавший все письма, получаемые и отправляемые, сказал смеясь:

— Родная мать написала бы не иначе.

Такой похвалы Мария еще никогда не слышала от мужа. Недели две спустя она опять ждала его у подземки. Правда, она не плакала, однако и новое письмо не принесло ей большого облегчения.

Гешке прочел его и сухо сказал:

— Он что-то хотел предпринять, но дело не выгорело.

IV

Венцлов поднял правую руку, лежавшую на письменном столе, и изобразил нечто среднее между гитлеровским приветствием и жестом радостного удивления — на пороге совершенно неожиданно появился Фаренберг: голова у него была перевязана и держался он чересчур прямо из-за гипсового корсета.

— Что за чудо? Как вам удалось выбраться, дружище?

— Честь имею доложить, господин майор, воскрес из мертвых.

Денщик накрыл завтрак на два прибора. Они сидели друг против друга у окна, выходившего на залитую солн-

цем площадь. Комендатура помещалась наискосок за деревьями. Стайка воробьев шумно взлетала всякий раз, как проходил часовой, потом снова опускалась на землю. И вспархивала снова, когда часовой возвращался, обойдя вокруг здания. Прямо напротив, во дворе почти неповрежденного дома, стояло странное сооружение, при виде которого Фаренберг невольно поморщился. Однако это была не виселица, а какое-то гимнастическое приспособление. В доме напротив была школа, и как раз в это время по площади проходил целый класс под присмотром женщины, которая громким гортанным голосом явно на немецком языке скомандовала, чтобы дети, как положено, приветствовали часового перед комендатурой.

Фаренберг докладывал своему майору: ему удалось всякими правдами и неправдами продлить пребывание в госпитале до тех пор, пока он достаточно оправился и мог настоять, чтобы его послали сюда, а не домой на отдых. Венцлов засмеялся. Ему было приятно, что молодой человек вполне отвечает на его теплые чувства. За тяжелые зимние месяцы он еще больше привязался к Фаренбергу. Во время отступления на их долю выпало отвлекать силы неприятеля. А сейчас они переводили дух в том самом городке, который был занят ими же при прошлогоднем наступлении. Деревня, где они тогда, в первую русскую зиму, отдыхали после боев, была всего в нескольких километрах западнее. Тогда у Венцлова произошло довольно неприятное объяснение с неким Рённеке — эсэсовцем. Объяснение кануло в вечность, как и сам Рённеке, он неожиданно слег и вскоре умер. Зимой Фаренберг по собственному желанию получил опасное назначение, казавшееся ему заманчивым. Венцлов сам хлопотал за него, именно потому что был к нему привязан и понимал его побуждения. Фаренберг был прикомандирован к полку, который прикрывал отступление, задерживая насколько возможно русских. Полк был отрезан. Фаренберг с четырьмя людьми — двумя солдатами и двумя эсэсовскими офицерами — пробился через неприятельские позиции, чтобы договориться о помощи и о доставке продовольствия и оружия. Добрался он весь израненный. Венцлов был уверен, что он погиб, и оплакивал его как родного сына.

А теперь Фаренберг хотел вернуться к Венцлову. Это было нетрудно. Адъютант, заменявший его при Венцлове, не возражал против такого перемещения. Венцлов уже

слышал об этом. Он подозревал, что Фаренберга совсем не тянет домой, в отпуск. По-видимому, ему, так же как самому Венцлову, страшно было даже подумать о доме. У Венцлова скулы дергались при одной мысли, что его ждет дома: бесконечные расспросы и эта нелепая обязанность хоть что-нибудь рассказать о прошедшей зиме, лишь бы удовлетворить любопытство и гордость семьи.

Денщик принес завтрак, оба принялись молча, с большим аппетитом поглощать его, потому что они давно отвыкли питаться регулярно.

— Мы наконец получили известия,— сказал Фаренберг,— позавчера ночью вернулся Краузе. Наша рота ликвидирована.

Венцлов только вопросительно вздернул брови. В свое время, прежде чем лечь в госпиталь, Фаренберг успел дать указания, каким образом идти на выручку отрезанного отряда, а пока, до посылки подкрепления, сбросить ему с самолетов продовольствие и боеприпасы. Он лишь много позже узнал, что послушались не его, а пробившихся вместе с ним эсэсовцев. Если бы даже на указанное место и сбросили оружие и продовольствие, заявили они, отрезанная рота вряд ли сумела бы продержаться. Положение ее таково, что при малейшей перемене к худшему она сдастся без боя.

И в указанное место действительно послали самолеты, только не за тем, чтобы поддержать, а чтобы ликвидировать их всех, пока они не успели добровольно сдаться. Фаренбергу лишь мало-помалу, по мере выздоровления, стала ясна вся картина, выяснил он также, что его друг Альтмейер пал жертвой ликвидации. Он лишь недавно оправился настолько, чтобы во всем этом разобраться до конца, и теперь был в отчаянии. Но отчаяние не было до такой степени безоговорочным и безнадежным, чтобы затаиться в глубине души. Оно рвалось наружу. Снаружи можно было зацепиться за какие-нибудь реальные данные. Например, за разговоры с другом, которые велись урывками, украдкой. Весьма вероятно, что Альтмейер стоял за сдачу в плен без боя, кое-что в воспоминаниях Фаренберга о покойном указывало на это. Ведь сам-то он, Фаренберг, пробился, несмотря на раны, он претерпел все страхи и муки, а покинутый друг подвел его, сочтя эти муки бессмыслицей. Альтмейер, очевидно, решил на всем поставить крест, забыл о долге офицера: ни при каких обстоя-

тельствах не сдаваться живым; он с того света плевал на подвиг друга, пробившегося из вражеского окружения.

Венцлов смотрел в пространство.

— Командование правильно поступило,— сказал Фаренберг.

Венцлов кивнул.

— Надо использовать передышку,—продолжал Фаренберг,— чтобы и у нас здесь произвести основательную дезинфекцию. Зачем нам таскать с собой носителей заразы? Нельзя же бомбами уничтожать каждый очаг разложения. Надо всех проверить поодиночке.

Венцлов кивнул опять. Еще год-два назад Фаренберг мог, хоть и нерешительно, высказывать всякие сомнения, но теперь он принес достаточно жертв, чтобы требовать от своих товарищей по оружию того же. Враг был силен и жертвы велики. Их нация была окружена врагами. Фаренберг давно уже перестал задавать себе вопрос, почему она окружена врагами. Он был ранен, он страдал. И требовал от других, чтобы они тоже были ранены и страдали не меньше, чем он. Венцлов понимал, к каким выводам пришел его гость, олицетворявший для него молодость и связанную с ней непримиримость.

Он спросил, какие у Фаренберга новости из дому. Лицо Фаренберга омрачилось. В Кёльне разбомбили дом, где жили его родители. Но лицо его при вопросе Венцлова омрачилось не из-за родителей: невеста написала ему, что ошиблась, дав ему слово. Он считал эту девушку образцом верности и постоянства, а ее больше соблазнил брак с летчиком, чем с ним. Он спросил, как поживает семья Венцлова. Венцлов с улыбкой ответил, что тетушка из Потсдама не теряет надежды на его, Венцлова, встречу с племянником. Она представляет себе поход на Украину чем-то вроде прогулки вокруг Юнгфернзее.

Надежды тети Амалии, которые Венцлов объяснял старческим недомыслием и невежеством, внезапно осуществились. Он был очень польщен, когда генерал-лейтенант Браунс пригласил его принять участие в одном важном совещании, а предварительно совершить совместную инспекционную поездку. Он все еще втайне страдал приступами мнительности по поводу нанесенных ему реальных или воображаемых обид и действительной или

предполагаемой недооценки его качеств. При этом он давным-давно знал, что Браунс нелегко расточает свою благосклонность, и сам видел лицо Браунса застывшим, оледеневшим, как лица убитых в эту смертельно холодную зиму.

Из приглашения начальника он усмотрел, что Браунс ценит и уважает его. После инспекции они отправились на совещание в город Л., и вот здесь-то он неожиданно натолкнулся на своего племянника Хельмута фон Клемма.

— Дядя Фриц! Я сразу понял, что это ты, когда увидел протокол заседаний. Не может же быть двух Фрицев фон Венцловов!

После совещания он явился с бутылкой крымского вина какой-то необычайной марки, с водкой и закуской. Он был все таким же крепким и светлоглазым, каким Венцлов видел его в детстве, а когда он смеялся, казалось, он готов впиться зубами в жизнь, как в румяное яблоко. Много лет назад у них дома, в Потсдаме, считалось, что присутствие Хельмута в рубашке гитлерюгенда — своего рода страховка при всяких сборищах. И теперь, на войне, в полуразрушенном Л., совсем неплохо было встретиться с таким племянником, который числился образцовым эсэсовским офицером. Роль хозяина исполнял Хельмут: он угощал дядю, наливал вино, чокался. Он стал очень видным малым.

В лице его ничего не изменилось, пожалуй, только что-то исчезло из него. «Налет юности,— подумал Венцлов,— да здесь он вообще мигом улетучивается». Исчез и взгляд, то застенчивый, то с хитрецой. Исчезло напряженное внимание, стремление понять все, что говорит приехавший издалека обожаемый дядюшка. Вполне естественно, что Хельмут уже не ждал с трепетом мнения дяди и что пил он больше, чем дядя, и без конца произносил тосты. Рассказывая, он вскочил и принялся бегать по комнате — это тоже было вполне естественно. Ведь они же свои люди. Луна светила так ярко, что можно было пересчитать листья на деревьях. Хельмут остановился у окна и стал смотреть во двор.

— Лунный свет делает всю природу какой-то бесхребетной... Солнце будит в человеке жажду деятельности, а луна — чувствительность,— сказал он.

— Верно,— с улыбкой подтвердил Венцлов.

— Недаром по-французски солнце — мужского рода, le soleil. А луна — la lune — женского.

Он снова присел к столу, продолжая пить и болтать.

— Мне очень не хотелось ехать из Франции сюда.

Венцлов удивлялся и радовался его откровенности, которую приписывал вину.

— Некоторое время думали, что можно обойтись без оккупации всей Франции. Поэтому я был здесь нужнее, чем там. Теперь я здесь так вошел в курс дела, что стал просто незаменим.

Венцлов, улыбаясь, смотрел на «незаменимого» рослого и красивого малого, который опять уже стоял, облокотясь на подоконник, держа в руке бокал.

Хельмут похвалил вид из окна дома, где расквартировали офицеров. Окна выходили во двор комендатуры, а дальше был виден сад при госпитале. Это натолкнуло Хельмута на рассказ о военном госпитале, располагавшем такими научными силами и возможностями, что ему позавидовала бы лучшая берлинская клиника. Там, в Берлине, опыты ставились на кроликах или собаках, в самом крайнем случае — на обезьянах. Он рассказал об одном приятеле, который был тяжело ранен. Его так здорово отремонтировали, что трое украинцев, можно сказать, не зря отправились на тот свет.

Венцлов насторожился.

— Как отправились на тот свет? — переспросил он.

— Ну да, у них выковыряли какие-то жизненно важные органы, иначе мой приятель не выжил бы.

— Что же с ними сделали потом?

— А ничего и не пришлось делать. Обычно самых живучих отправляют в лагерь. А тут и бензина не пришлось тратить.

Он запнулся. Венцлов сразу понял, что означает минутная пауза — одно из двух: может быть, ты, дядя, принадлежишь к разряду «сентиментальных старцев», или, пожалуй, я выпил лишнее и сболтнул что не следовало.

Венцлов поспешил его успокоить:

— Так-так, понимаю.

— Мы же не Армия спасения и не открываем столовых для бедных. Майор Бец явился ко мне жаловаться на недостаточный рацион питания для военнопленных в пути, отчего, видишь ли, когда отперли вагоны, оказалось, что несколько из них подохло. Так я ему прямо сказал: «Вы

предпочли бы, чтобы дохли немецкие дети?» Эти лодыри и так объедают нас там, дома, поскольку они неработоспособны, а чтобы быть работоспособными, надо жрать. Так выходит, что мы ввозим в нашу изголодавшуюся страну целые тучи саранчи.

Теперь он говорил запальчиво, хотя Венцлов не возразил ему ни слова. У неизвестного майора Беца, по всей вероятности, было такое же неприятное ощущение, будто совесть помещается в желудке и копошится там, вызывая тошноту. Вдруг Венцлов явственно услышал свои собственные слова, сказанные когда-то очень давно, сейчас их как будто произносил его двойник:

«Каждый раз, когда я там, за границей, видел в газетах, какова теперь наша немецкая молодежь, я невольно искал на снимке физиономию этого мальчугана».

А Хельмут превесело болтал дальше:

— Кстати, дядя Фриц, тот мой приятель, которому вставили какие-то там украинские органы, все уши мне прожужжал — и знаешь о ком?

— Откуда мне знать?

— О твоей дочке Марианне. Она теперь девушка хоть куда, мы во время отпуска были у вас проездом.

И он пустился рассказывать о семье Венцлова, о последнем отпуске, о любовных делах. Теперь опять все было вполне нормально, даже и то, что он задал дяде интимный вопрос, как у них там насчет женщин. Здесь есть кое-какие возможности развлечься без риска. Венцлов с улыбкой отрицательно покачал головой. Это тоже было относительно нормально. Сидя у постели раненых, Венцлову часто случалось наблюдать, как люди подолгу вполне разумно говорили на обычные темы, а потом в связи с повышением температуры внезапно впадали в бредовое состояние и принимались нести такой жуткий вздор, что у слушателя мороз по коже пробегал.

Теперь кривая температуры спала и пошли разумные речи: о достоинствах Марианны, о луне над госпитальным садом. Племянник болтал о чем попало, как все юноши его возраста:

— Как причудливы тени при лунном свете! Посмотри на этот обугленный дуб. Как будто в него попала молния. Удивительно, что сегодня ночью нет налетов.

Вдруг — трах, кривая опять полезла вверх:

— Немало нам пришлось поработать, когда ваше сове-

щание, как назло, назначили именно в Л.— Даже по тону слышно, что температура повышается.— Раз-два, и мы очистили город от того, чему здесь не место. У нас не было времени рассортировать что куда. Мы даже не успели послать домой партию рабочей силы. И поскорее сплавили все гуртом в Б. Пусть уж там с ними разделаются. Впрочем, на этот счет у меня гарантия. Норма там всего тысячи на две, и зря их держать не будут.

Венцлов сделал невольное движение. Ему хотелось встать и уйти, как стремятся уйти от больного, который мечется в отвратительном и страшном бреду. Хельмут пристально посмотрел на него, как будто угадал его мысли. У Венцлова на языке вертелся вопрос, но он сдержался, потому что здесь дело обстояло иначе, чем с обычными больными: этому горячечному достаточно было нажать кнопку, чтобы избавиться от назойливого посетителя, который вздумал бы докучать ему расспросами.

Но Хельмут уже подметил, что Венцлов старается не выражать ничего: ни одобрения, ни порицания. Внезапно он подошел к дяде вплотную, даже протиснулся между столом и стулом, чтобы заглянуть ему прямо в глаза.

— Знаешь, дорогой мой, что я тебе скажу на прощание? Ты, верно, воображаешь, будто я не знаю, чтб ты сейчас думаешь. Нет, знаю. Так вот, я тебя спрошу. Скажи, ты ведь не раз слышал по радио о воздушном терроре — Кёльн и другие города. При этом ты, конечно, думал: «Какая гнусность — разбомбить целый город! Не пощадить женщин и детей!» Так будь уверен, что это только прелюдия, проба пера, а дальше будет больше, если мы не победим как можно скорее. Спрашивается, что приятнее — чтобы тебя разорвало в клочья или же чтобы тебя прикончили с помощью электрического тока или газа? Впрочем, ты, может быть, вовсе не хочешь, чтобы мы победили, тебе это совершенно не важно?

Он в упор смотрел на дядю. И у того под холодным, жестким взглядом племянника возникло неприятное чувство: «Да ведь я прихожу к тем же выводам, что и он. У нас совершенно одинаковая температура. Мы одинаково больны или здоровы».

— Что за вопрос! — решительно заявил он.

— То-то же! — произнес племянник.

Чтобы переменить тему, Венцлов спросил, как поживает его сестра Ленора, мать Хельмута.

— Она работает в госпитале. Кажется, она и в первую мировую войну занималась чем-то в этом роде. Вначале ей как будто трудно было устроиться из-за возраста,— ответил Хельмут и добавил равнодушно: — Теперь-то нам всякие нужны.

Температура снова упала, он говорил обычным холодным тоном. Если бы Венцлов продолжал свое сравнение, он нашел бы, что она была теперь даже ниже нормы. «Странное дело,— думал Венцлов,— этот молодой человек пышет юностью, и вместе с тем в нем что-то стариковское, и не только потому, что он обладает большой властью и ему достаточно нажать кнопку, если он найдет нужным от меня избавиться. Его смазливая, свежая физиономия, несомненно, нравится женщинам. Но на ней печать долгой жизни, многих жизней, печать всех возможных переживаний и пороков». Он был рад, когда его денщик постучался и сказал, что через десять минут надо ехать.

Вернулся он из Л. под вечер. Обычно после всяких тягостных переживаний ему приятно было увидеться с Фарепбергом. Теперь же они ограничились чисто деловой беседой. Казалось, будто им больше нечего сказать друг другу, потому что они слишком привыкли молчать — молчать даже перед самими собой. Ночью Венцлов не мог уснуть. Теперь он упрекал себя, что не поговорил с Хельмутом начистоту — ведь это как-никак сын его сестры. Страх, удержавший его, казался ему теперь преувеличенным. А если бы даже этот страх был обоснован? Холодные голубые глаза тети Амалии смотрели на него: «Сама судьба свела вас, а теперь уже случай упущен».— «Дорогая тетя Амалия, все равно из этого не вышло бы толку»,— оправдывался он. «Это ты так считаешь,— возражала тетя Амалия.— Ты считал, что и встретиться вы не можете, а я была другого мнения».

За последние недели он стал хмурым и молчаливым. Утром, глядя в зеркало во время бритья, он констатировал, что волосы у него поседели, а губы стали тонкими, верно, оттого, что он слишком часто сжимал их и втягивал щеки, удерживая непрошенные слова. Он был теперь похож на тетю Амалию: и глаза ее, холодные и голубые, и весь профиль, которым так гордилась старуха.

Однако до сих пор его удручали главным образом военные неудачи, удручавшие всех. Удар, который судьба

готовила лично ему, был еще впереди. Письмо из дому. Как странно, пишет только дочь, от жены ни слова.

«Дорогой папа, мама не в силах сама написать тебе, она лежит в постели, а потому пишу я. Мама никак не может оправиться от несчастья, постигшего нас: погиб наш любимый братик. Во время налета мы отвели его в самое дальнее помещение бомбоубежища, нам казалось, что там надежнее всего. Кроме него, туда отправили еще двух малышей капитана Франсена из нашего дома, фрау фон Равиц с грудным ребенком и детей швейцара. Но бомба упала позади дома, так что рухнула задняя стена. Теперь мама не может себе простить, что она не оставила мальчика с нами, со взрослыми. Доктор говорит, что для нее было бы гораздо лучше, если бы она как следует поплакала. Все-таки он находит, что ее жизнь вне опасности. Дорогой папа, мы должны быть мужественны; хотя он был еще ребенком, но погиб как мужчина, тоже на поле чести. Дорогой папа, мне очень больно сообщать тебе такую тяжелую весть. Маме будет большим утешением, если ты как можно скорее пришлешь ей с полевой почтой хорошее письмо о том, что все должны быть готовы к смерти, ну, словом, ты сам знаешь, как написать.

Обнимаю и целую тебя,
любящая тебя дочь
Марианна».

Венцлов написал требуемое письмо; по указанию дочери он утешал жену тем, что отечество от всех требует сейчас тяжелых жертв. Сам же он, лежа ночью без сна, не находил в этой мысли утешения. Он гордился сыном, единственным продолжателем рода. Теперь дочери будут рожать сыновей с чужими именами, а его собственный сын умер, у него нет наследника.

Он вскользь сообщил Фаренбергу о том, что случилось. У него вообще не явилось бы потребности изливать свои чувства, не будь он теперь, как и все остальные, в том напряженном состоянии, какое предшествует наступлению. Фаренберг доложил о мероприятиях по очистке тыла перед готовящейся операцией. Жителей тщательно просеяли, большую часть выселили и разослали по разным направлениям. Городок был битком набит военными. На всех лицах, во всех жестах чувствовалась одинаковая напря-

женность. Деревья на площади давно были срублены. А воробьи все так же суетились на том же месте, словно не замечая, что на них падает уже не тень от клена, а тень от батареи. Школа была занята солдатами. Крепких, здоровых детей отправили на полевые работы, ну а слабосильных... и Фаренберг, докладывая, указал жестом в направлении лагеря Л. Он пояснил, хотя Венцлов ни о чем его не спрашивал:

— Сталин давно легализировал партизанскую войну. Поэтому для нас нет разницы между военным и гражданским населением.

Венцлов выслушал Фаренберга спокойно, как Браунс выслушивал его собственные доклады, придав взгляду внимательное и в то же время равнодушное выражение. Они снова, как все эти годы, чувствовали себя тесно связанными друг с другом. Их взаимное понимание полностью восстановилось. Оба дружно негодовали и возмущались, что чистка их района не выполнена в срок из-за разногласий по поводу того, кто уполномочен этим заниматься. Выполнение такого рода мероприятий никак не их дело. Их дело — сроки, а не способы. Венцлов вкратце рассказал о встрече со своим племянником Хельмутом. Жуть той лунной ночи давно уже рассеялась. Ему, как и каждому здесь, нужно было собрать все свои силы для предстоящего удара. Если бы один из них двоих, старший или младший, высказал сомнения, он тем самым подтвердил бы смутные сомнения другого. Но нет, они встречали друг у друга лишь безоговорочную уверенность в том, что задуманная операция при всех обстоятельствах увенчается успехом. Впрочем, другого отклика они и не ждали. Внутри у них все было выкорчевано и опустошено не хуже, чем в окружающей местности. Между волей начальства и собственной совестью никаких разногласий быть не могло. Не могло быть ни малейших колебаний. Только по судорожной, напряженной позе Фаренберга Венцлов видел, что тот все еще страдает от раны.

V

Прошло больше года со смерти Вильгельма; в одно из воскресений Христиан вместе со своим неизменным псом подождал Лизу и ее дочь у церкви и проводил их домой,

чего не делал уже давно. Лиза даже задавала себе вопрос, почему он все еще избегает ее: никаких причин для этого не было. Разонравилась она ему, что ли? Насколько за это время ее младший сын вытянулся в вышину, настолько она раздалась в ширину, ноги ее, которые в свое время так пружинились на тонких лодыжках, превратились теперь в колоды. Прежними остались только ярко-голубые глаза и веснушки, мелкие и желтые, как семена брюквы. Сам Христиан мало изменился; хромал он не больше и не меньше, чем раньше, волосы его местами не то выцвели, не то поседели. Когда Лиза думала о Христиане — почему ей было не думать о нем? — ей казалось немыслимым, чтобы он мог забыть то, что раз запало ему в душу. Не такой это человек! Хотя с виду его ничего не трогало, по-настоящему он был верен, как ветер. Дует себе, где нравится, но где больше нравится, там чаще и дует.

Поэтому, когда он попросил ее выслать из комнаты дочь, она сразу поняла, с чем он пришел. И у нее лицо стало таким же серьезным, как у него. Вокруг глаз залегли бесчисленные морщинки, но сами глаза были все такими же ярко-голубыми. Их не могли замутить ни стыд, ни горе. Озорные, лукавые огоньки, мелькавшие в уголках глаз, когда она смеялась, не исчезли за все двадцать пять лет. Их не погасили ни работа, ни любовь, ни замужество, ни тем паче время, как не поблекла при Гитлере небесная лазурь. Лиза поджала губы и скрестила руки на груди, обтянутой черным платьем, когда Христиан, парадный, в чистом воротничке, приступил наконец к сватовству.

Он проделал все так, как полагалось по местным обычаям и как следует проделывать те немногие дела, которые чего-нибудь стоят. Он был даже несколько смущен. Но когда его пес взглянул на него из-под стола своими ясными глазами, смущение сразу прошло. Он предложил Лизе переехать к нему в бывший лодочный сарай — кстати оттуда ближе ходить на пашню,— а дочь, успевшая выйти замуж и потерять мужа, останется хозяйкой в доме. После этого она вряд ли посмеет ворчать по поводу нового замужества матери. Лиза принесла ту самую вишневую наливку, которой всегда потчевала пастора; они чокнулись — и дело было слажено.

В потрясенном, взбаламученном мире, где трудно было сохранить и разум, и кости, для них двоих наконец на-

стал желанный час. Христиан свистнул своего пса. Лиза смотрела им вслед в кухонное окошко.

— Так-то, Виду,— сказал Христиан,— мы своего добились.

Однако все произошло не так быстро и не так просто, как он надеялся в это воскресенье. Лиза вскоре получила извещение, что ее старший сын убит. Вся в слезах прибежала она с этой вестью к Христиану в мастерскую. Он терпеливо слушал ее сетования, которые перешли в самообвинения и самобичевание.

— Этому не бывать, не так это просто, как мы воображали, зато теперь и плачем. Все равно это не могло кончиться добром. С какой стати господь даровал бы нам такую награду за наши неправедные, греховные дела? Где же иначе была бы справедливость?

Христиан вдруг взбеленился:

— Что ты за чушь городишь? Господу богу есть теперь кого карать, кроме нас. На свете творятся дела погреховнее наших. На наш грешок ему наплевать.

Однако он согласился немного отложить свадьбу. Когда Лиза ушла, он сказал своему псу:

— Видишь, что творится. И каждый раз придумывай что-нибудь новое, изворачивайся как уж. А сколько я бился, мудрил, все придумывал, как бы обеспечить моего мальчика, чтобы старший его не надул. Вот так мы возимся, хлопочем о наследстве, о будущем и прочей ерунде, а теперь сам видишь, кому это все нужно. У нас с тобой, Виду, сейчас одна забота — чтобы мальчик вернулся. А что мы тут можем поделать? Надо бы раз навсегда запомнить: подслать мы почти никогда ничего не можем.

VI

Так как Ливена после короткого пребывания в Берлине командировали в Прагу, он был избавлен от того, что ему втайне претило: видеть жену на сносях и присутствовать при рождении ребенка. Теперь он только изредка и на очень короткий срок наезжал в свою квартиру на Курфюрстендамм, где обосновалась Элизабет.

Когда он в первый раз приехал из протектората, сын его, кругленький и румяный, лежал в колыбели. У Элиза-

бет еще было молоко, что показалось Ливену очень забавным.

— А чем, по-твоему, у меня должны быть наполнены груди? Водкой, что ли?

Она стала очаровательнее прежнего; но то, что ребенка в его отсутствие нарекли именем покойного брата, порядком покоробило Ливена. Элизабет рассмеялась: это не повредит ни ребенку, ни его, Ливена, собственной карьере.

В каждый его приезд она была с ним нежна и насмешлива, как в прежние дни. По росту ребенка он судил о том, сколько времени они не видались. Малыш уже стоял на ножках и был, бесспорно, похож на отца, когда Ливен вторично приехал в Берлин, на этот раз по пути в Финляндию, куда его вместе с целой группой эсэсовцев командировали со специальной целью передать союзникам-финнам опыт работы в оккупированной стране ввиду подготовки к оккупации новых стран. Элизабет ничуть не изменилась, в маленькой упругой груди уже не было ни намека на молоко, а бедра ее он почти мог обхватить пальцами обеих рук.

— Просто не верится,— сказал он,— что ты довольно долго носила ребенка в себе.

— Еще бы,— ответила Элизабет.— Недаром наша хозяйка фрау Хабер считает это чудом природы.

Ливен привез с собой своего старого приятеля Лютгенса; они встретились в Праге и теперь вместе ехали в Финляндию. Не по рангу, а по росту тот остался маленьким Лютгенсом, что его очень огорчало. Щуплая фигура лишала его возможности служить в одном роде войск с Ливеном. Он был прикомандирован к административному управлению, и все-таки им пришлось столкнуться по службе. Элизабет очень забавляли его рассказы. Между их администрацией и подпольным комитетом красных в конце концов началось оригинальное состязание. Те и другие поручили своим специалистам в кратчайший срок изучить новые модели снарядов, чтобы выяснить, каким способом достигается брак при их изготовлении. Затем со стороны администрации заводским контролерам точно в срок было передано подробное описание всех возможных способов вредительства. Чешские саботажники в то же самое время снабдили коллектив завода соответствующими инструкциями, выработанными их подпольными специалистами. Добраться до этих специалистов — дело нелегкое, только

тщательнейшим и оперативнейшим образом проверив всех жителей города, удавалось установить, у кого и откуда могли взяться такого рода познания. Как было заподозрить большую осведомленность в химии, скажем, у безобидных музыкантов и вообще людей такого типа? А между тем недавно, если бы перед сменой не были приняты срочные меры, весь завод взлетел бы на воздух. Сохранил ли Ливен прощальный подарок хозяйки из Штеглица — подушку со свастикой? Оба так и покатились со смеху при этом воспоминании. Он, Лютгенс, помнится, утешал тогда друга, что вышитыми эмблемами дело не ограничится.

Война с русскими затягивалась. Тут Ливен в третий раз приехал в отпуск. Время мчалось с такой быстротой, что, казалось, оно стоит на месте, как бешено вращающееся колесо. По упорной, но бесплодной осаде Ленинграда о нем судить было труднее, чем по сыну, который тем временем научился лепетать и обзавелся зубками.

Когда Ливен внезапно среди ночи появился в квартире, Элизабет бросилась его целовать, а Хаберша пустила от умиления слезу.

— Садись, закуси,— сказала Элизабет, когда они очутились у себя в комнате.— По-моему, мы сделали все что могли, чтобы создать Хаберше иллюзию неожиданной встречи.

— Ведь для тебя это действительно неожиданность.

— Я всегда ждала, что ты когда-нибудь неожиданно приедешь среди ночи. Вот ты и приехал неожиданно.

На ней было надето что-то ярко-зеленое и скользящее: она показалась ему очень соблазнительной.

— Я каждый раз забываю, какая ты интересная женщина,— сказал он.

— А я всегда помню, что ты интересный мужчина, и ты совсем не меняешься.

Он обнял ее за плечи. Она невольно отшатнулась, потом спохватилась и вспомнила, что́ от нее требуется: прижаться к нему и поцеловать его.

Она потащила его к постельке ребенка. Он давно уже свыкся с фактом существования сына. И теперь посмотрел на него, не хмурясь, а смеясь:

— Он очень возмужал. Я, насколько мне известно, не изменился. Ты очаровательна по-прежнему. Из нас троих меняется только он один.

— Давай выпьем, Эрнст.

Она принесла бутылку и две рюмки.

Наливая водку, она смотрела вниз, на стол, меж тем как Ливен продолжал:

— Мне в нем мешает только одно — имя. Я придумаю, как его называть по-другому, а то все Отто да Отто.

— А вы как будто дружили с моим братом,— заметила Элизабет и подвинула ему рюмку. Хотя на лицо ее набежала тень, слова все-таки прозвучали беспечно.— Выпьем за твой приезд и за будущее нашего сына.

Она налила себе полную рюмку.

— Еще один приятный тост: за возвращение домой! — подхватил он.

Она пристально взглянула на него. Он сжал ее руку и сказал:

— Да, долгожданный миг наступил! Я затем и приехал, чтобы увезти тебя и ребенка домой. Сбылось то, о чем ты так страстно мечтала. Мы возвращаемся к себе в имение — понимаешь ты это?

Новость подействовала даже сильнее, чем он ожидал. Элизабет опрокинула свою рюмку. Вместо того чтобы вытереть стол, она указательным пальцем размазала пролитую влагу вокруг рюмки.

— Помнится, я тебе писал, что нашего хозяина одним из первых впустили обратно в Ригу,— продолжал Ливен.— Он там сразу же так усердно занялся нашими делами, как своими собственными. Он пишет, что главное здание, во всяком случае, готово к приему хозяев. Немецкие власти распорядились опять присоединить к имению все земельные угодья, которые при большевиках разделили на мелкие участки и разбазарили среди крестьян. А теперь всей братии из приозерной и соседней деревень придется под присмотром наших солдат потрудиться над восстановлением поместья. Сколько времени тебе нужно, чтобы приготовиться к отъезду?

— Если хочешь, едем хоть сейчас,— сказала Элизабет. После слов «Едем домой!» до нее уже больше ничего не доходило. Она чокнулась с ним, отпила немного и добавила: — Пойду скажу об этом мальчику.

Ливен рассмеялся:

— Вряд ли он настолько поумнел с моего последнего отпуска, чтобы понять это.

— Он — моя плоть и кровь, ему это понятнее, чем вам всем,— сказала она очень серьезно, без тени насмешки.

Ливен смотрел ей вслед через полуотворенную дверь. Он думал: «Черт возьми, здорово ее проняло!» Она вернулась и села рядом с ним. Лицо у нее было спокойно.

— Наконец-то один из Ливенов, да еще по имени Отто, вернется в свою вотчину,— произнесла она.

— Если бы слушаться твоего брата, Элизабет, мы никогда не вернулись бы туда, слышишь, никогда!..— возразил Ливен.— С этим апостолом и мечтателем мы недалеко бы учли. Только оружием можно было отвоевать то, что нам принадлежит. А у твоего бедняги брата был странный идеал: какая-то помесь Бисмарка, Шлагетера и Иисуса Христа. Это безумие. А вот хозяин наш пишет разумные вещи. Надо выжать из этих сволочей, отъевшихся на наших владениях, все, чем они поживились. Надо, чтобы они вскопали, вспахали, чтобы они своим потом и кровью полили нашу землю, которую самовольно забрали себе. Только так ты получишь то, что тебе принадлежит. Только так ты вернешься домой.

— За мной задержки не будет,— сказала Элизабет.— Не хочешь ехать сегодня ночью, едем завтра утром.

Он засмеялся:

— Умерь свой пыл, у меня еще есть дела в Берлине, а ты пока что все уложи, да смотри потеплее закутай малыша.

Последнюю ночь перед отъездом домой она не спала. Она сидела под лампой, вязала и пила водку.

— Хозяйка, Хаберша,— так она объяснила Ливену,— отучила меня курить и показала столько всяких образцов вязки, что хватит на целые поколения вязаных кофточек вплоть до страшного суда.

Ребенок крепко спал. И Ливен спал так же крепко на ее кровати. Она думала: «Для него возвращение домой не событие. Для него нет дома. Ему все равно, где спать. Чем разнообразней, тем лучше. И все же он везет меня домой, он сдержал обещание. Он заслуживает всяческих похвал. А когда я со своим ребенком буду наконец там, на севере, у моего озера, среди моих лесов, моих облаков, тогда уж больше ничего не надо». После смерти матери и брата люди для нее не существовали. Для нее существовал только дом. Она была твердо убеждена, что стоит ей очутиться в его старых стенах, как все будет хорошо.

Ее мечты вспугнула воздушная тревога; она бросилась к постельке ребенка, второпях укутала его в теплые вещи,

приготовленные для дороги. Она думала: «Кто знает, может быть, нам не доведется уехать...»

Она не отходила ни на шаг от Ливена, потому что он нес ребенка с лестницы. Он и это проделывал ловко и легко, как почти все, за что брался.

В подвале было тесно и душно. Комендант бомбоубежища начальническими окриками наводил порядок. Однако в промежутке между последним сигналом сирены и первым взрывом тон его распоряжений и ободрений значительно снизился.

Элизабет укрыла голову ребенка своим пальто. Люди, дрожа и потея, жались друг к другу, как в железнодорожном вагоне, куда их загнала общая цель пути. И ей, Элизабет, это тоже напоминало поезд, в котором с бешеной скоростью мчишься на тот свет. А когда гудела сирена и били зенитки, казалось, будто это черти подают сигналы на станциях по дороге в ад. Каждый раз, как раздавался грохот, она думала: сейчас поезд сойдет с рельсов, но отчаянный, бесшабашный, таинственный машинист вовремя делал ловкий поворот, и поезд бешено мчался дальше, словно ему назначено было прибыть целым и невредимым.

Потом настала пауза, хотя вой сирен показывал, что опасность не ликвидирована. Люди переводили дух. Элизабет слышала кругом обрывки разговоров, как в пути, где нет времени для дружбы или вражды. Она думала: «Мой ребенок со мной, до остального мне нет дела». Вдруг она увидела свою хозяйку, Хабершу, ее взлохмаченную со сна голову.

— Пусть эти бандиты не думают, что они запугают нас такими штуками,— заявила Хаберша, чему многие поспешили поддакнуть неестественно громкими голосами.

Непрерывно плакал ребенок. И мать все время его успокаивала, как будто стыдилась, что родила такого недисциплинированного младенца, тем более что она была женой майора с пятого этажа, который окидывал окружающих хмурым взглядом. Какая-то девушка истерически хохотала, и ее никак не могли остановить.

— Недурная у вас тут обстановочка,— заметил кто-то.

«Да это Ливен,— подумала Элизабет,— он тоже здесь». И она мимоходом вспомнила, что у нее с ним были довольно близкие отношения. Ей очень хотелось выйти с ребенком из этого душного вагона. Она думала: «Зачем ехать дальше? Не все ли равно, когда приехать на тот свет,

и с багажом или без багажа?» Новый взрыв раздался совсем рядом, так что она подумала: «Мы не попадем домой». А при втором взрыве подумала опять: «Зря они приводили дом в порядок, и зря крестьяне перепахивали межи под надзором немецких солдат. Все зря». Ребенок надрывался от крика. «Перестань плакать, малыш, мы сейчас приедем».

— Элизабет! — окликнул Ливен.

— Что?

— Как вы там оба, целы?

— Как будто бы да.

Наконец их выпустили. Свежее, прохладное утро. Ничего похожего на тот свет, на конечную станцию. Знакомая, привычная улица, только без углового дома. Весь квартал был оцеплен. Временно их поместили в дворовом флигеле по соседству. Члены гитлерюгенда раздавали молоко для детей. Элизабет получила свою долю. Она накормила заплаканного ребенка и уложила его спать. Ливен выхлопотал разрешение вынести чемоданы из оцепленного дома. Все это были самые земные, обыкновенные дела. Элизабет думала: «Значит, мы все-таки уедем сегодня утром». Кругом она видела обычные проявления страха, злобы, ненависти. Она даже столкнулась еще раз с Хабершей, у которой на щеках горели круглые красные пятна. Значит, и она не попала на тот свет, в ней не было ничего призрачного, она бранилась самым земным образом. Она кляла те злые силы, с которыми несколько часов назад входила в чересчур близкое соприкосновение.

Немного погодя Элизабет сидела со своим ребенком в специальном поезде. Его вел совсем не тот таинственный машинист, зато в нем был вагон-ресторан, потому что поезд был штабной. Пассажиры возмущались смехотворными попытками мести со стороны англичан. Посмотрим, кто дольше выдержит. Ребенок наверстывал в спальном вагоне прошлую бессонную ночь. В вагоне-ресторане Ливены встретили две знакомые супружеские четы. Один из мужчин был Рецлов, когда-то ухаживавший за Элизабет. Он украдкой сравнивал ее со своей невзрачной, застенчивой женой. Ливен гордился Элизабет, сумевшей благодаря своему остроумию и апломбу сразу стать центром кружка. Поезд остановился недалеко от Берлина, на узловой станции. На дальних путях у одного из вагонов происходила сутолока.

— Евреев отправляют,— объяснил Рецлов.

Все с любопытством стали смотреть в окно. Охранники с неимоверной быстротой запихивали женщин и детей, стариков и молодых в вагон для скота.

— Что с ними делают? — спросила Элизабет.

— Их свозят в Польшу, чтобы они вам тут не мешали.

— Туда им и дорога,— заметила невзрачная, застенчивая жена Рецлова.

Элизабет следила глазами за беременной женщиной, которую вталкивали в вагон. Несмотря на давку, ей старались дать дорогу и даже помогали сверху и снизу.

— А их кормят? — спросила Элизабет.

— Не так жирно, как они привыкли,— ответил Рецлов.

Второй мужчина, с плешью, прикрытой прядкой жидких волос, добавил:

— И пока нам самим хватает.

— Эрнст, ты видел там женщину? — спросила Элизабет.

— А что?

— Вдруг она родит в вагоне?

— Врачей-евреев столько, что и там найдется не один.

Его разозлил вопрос жены и удивленные взгляды приятелей по поводу ее вопроса. Поэтому Элизабет поспешила заговорить о другом:

— Чай настоящий, китайский.— Она размешала сахар.

Официант принес поджаренный хлеб и вежливо спросил у всех хлебные карточки, как будто просил при этом прощения за ограниченную продажу продуктов.

«Пока нам самим хватает,— мысленно повторяла Элизабет.— Лучше думать о том, что мы скоро приедем домой. Лучше думать о будущем, чем о прошлом, лучше не вспоминать о бегстве из дому — в первый раз, много лет назад, и во второй, когда положение казалось совсем прочным. Лучше не вспоминать о ночи путешествия на тот свет с адской сигнализацией и сумасшедшим машинистом и о вагоне на узловой станции — все это надо отмести в прошлое».

Она почти не обратила внимания на прием, устроенный ей по приказу немецких оккупационных властей. Тут было все: гирлянды, флаги и даже музыка. Был почетный караул из местных молодчиков-эсэсовцев. Надо было вос-

пользоваться подходящим случаем, чтобы показать, кто теперь здесь хозяин. Для нее же пышный прием был лишь помехой: она стремилась как можно скорее войти в дом. С каждым вздохом она впивала запах своего леса, своего озера, всего самого чистого и прекрасного, что она знала с детства. Горевшие дикой ненавистью взгляды деревенских жителей ничуть не омрачали ей ландшафта. Держа за руку отоспавшегося, здорового ребенка, она впереди всех, торжествуя, взошла на крыльцо. Портал со знакомыми колоннами был наспех зацементирован и оштукатурен к их приезду. Кто-то по старинному обычаю поднес ей хлеб-соль.

Ливен обещал в ближайшую поездку в Берлин подобрать немецкий штат прислуги. Она радовалась, что ребенок ее вырастет в своем родовом поместье, где будет мужать и крепнуть быстрее, чем в городе. Когда, просыпаясь утром, она смотрела в окно на окружающую природу и дышала влажным воздухом с озера, она была почти счастлива. Одиночество ни капли не тяготило ее, даже когда Ливен снова уехал на фронт. Его наезды чуть ли не докучали ей, потому что ему сопутствовали приятели, празднества и суета.

Ее удивило и даже насмешило, когда ей сказали, что одной опасно ходить по окрестностям. Что могли эти люди замышлять лично против нее? Она ведь никому не причинила зла. После того как здесь побывали Советы, старались ей внушить, всех точно подменили. Самые покорные превратились в смутьянов. Правда, уже приняты меры к удалению наиболее злостных бунтовщиков. В имении она тоже не видела прежних лиц. Только старуха экономка вернулась на свое место, и та чуть не каждый день с возмущением рассказывала о детях и внуках, которые ни с того ни с сего тайком убегали невесть куда, а родителей бросали на произвол судьбы.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

I

Все прошедшие годы Элизабет жаждала того, чего теперь добилась: растить сына в своем родовом поместье. Косые лучи заходящего солнца над озером, птичий гомон, вкус ягод — все непрерывно подтверждало ей, что она опять дома. Когда-то ее выгнали отсюда, и она металась из одной страны в другую, от одного любовника к другому. В мечтах родина представлялась ей единственным местом на свете, где стоит тишина. Тишина, исходившая от родной земли, была так велика, что, казалось, теперь уже ничто не потревожит ее — ни отдаленный грохот орудий, ни одиночные ружейные выстрелы, ни сирены, возвещавшие бомбардировку города. Элизабет как бы отгородилась от жизни высокой стеной и не желала знать о родине ничего, кроме того, что ей было дорого с детства: запаха трав, ветра и пестрых платьев крестьянок.

Когда гостившие летом друзья толклись во внутреннем дворе или в большом зале, их разговоры лишь смутно доходили до нее. Даже когда они являлись расстроенные и трубили ей в уши, что русские наступают, что они взяли обратно Харьков, что союзники одержали победу в Тунисе, даже и тогда взрывы ненависти и бешеной злобы, казалось ей, не могут прорваться сквозь тишину — неотъемлемое свойство родины.

Рецлов по-прежнему охотно приезжал отдохнуть от своей невзрачной, застенчивой жены. Элизабет стала, на его взгляд, еще моложе и красивее, чем раньше. В ней не было ни намека на застенчивость, правда, задорная насмешливость тоже исчезла. Рецлов мастерил для мальчугана свисток, чтобы иметь повод подольше посидеть возле его матери. Все остальные друзья уже уехали в город. Они были обеспокоены и подавлены вестями с фронта. Наступление под Орлом, на которое возлагали такие боль-

шие надежды — туда бросили неслыханное количество танков,— уже захлебнулось.

— Только здесь, у вас, отдыхаешь душой от всех наших забот,— сказал Рецлов.

— Вот как,— произнесла Элизабет. Он удивленно взглянул на нее.— Но в третий раз я отсюда не уйду,— немного погодя добавила она.

— На сей раз я не взялся бы вас охранять. Мой вам совет — уезжайте заблаговременно, если дела пойдут совсем плохо.

— Я ни за что не уеду отсюда. Лучше лежать здесь в земле, чем разгуливать по вашим городам,— смеясь, сказала она.

— Хорошо бы, если бы так думали все наши землевладельцы и поселенцы. Но ребенок? Что будет с ним?

Она пожала плечами.

— Кто лучше позаботится о ребенке, чем мать? Я никогда с ним не расстанусь. Да что это на вас напало, Рецлов? Подумаешь, какая важность, если где-то там наверху и сбоку что-то не ладится.

Она провела рукой по густым волосам сына, который пробовал новый свисток. Это был хорошенький веселый мальчуган, немного изнеженный. Она внезапно переменила тон; Рецлову очень нравились эти переходы от глубокой серьезности к беспечной небрежности.

— Знаете сказку, Рецлов: однажды дьявол соблазнил невинную девушку. Когда у нее родился ребенок, бог повелел, чтобы он унаследовал только лучшие качества отца. И ребенок вырос красивым, храбрым и умным.

Теперь рассмеялся Рецлов:

— Никогда не слыхал, какая прелесть! Только, спрашивается, кто здесь дьявол, а кто невинная девушка?

Они посмеялись оба, и он уехал домой, заметно повеселев.

А она рада была остаться одна.

В служебных постройках были размещены солдаты. Это необходимо, сказали ей, для охраны господ и хозяйства, потому что опять, как в прежние времена, можно ждать нападений. Конечно, скоро эти ничтожные шайки, которые прячутся по лесам, будут начисто истреблены, для регулярной армии они не представляют опасности, но на какую-нибудь отчаянную и бессмысленную вылазку они вполне способны.

Опасность не беспокоила ее, наоборот, пребывание дома приобретало от этого еще большую ценность. Брат когда-то рассказывал ей, как жили женщины ее рода в давно прошедшие времена. Они растили детей и обрабатывали землю, а мужчины с оружием в руках защищали их.

Моторизованные части, катившие по шоссе, крестьяне, с угрюмым видом выходившие на полевые работы,— все это скользило мимо высокой ограды поместичьего дома. Воздух тут был такой легкий и прозрачный, словно он попадал за ограду уже очищенным от проклятий и жалоб.

Эрнст Ливен был откомандирован на долгий срок. В его обязанности входило формирование латвийских эсэсовских отрядов. Иногда он неожиданно являлся домой с целой оравой приятелей. Так бывало в добровольческие времена, так бывало в имении, где ему давали приют. А теперь он давал приют другим в своем собственном имении. Он уже не был негласным центром, он был им открыто и недвусмысленно. Он гордился своей интересной женой и сыном. Неприятное чувство давно прошло, да, может быть, Элизабет по своей привычке насмехаться зря приписала ему это чувство.

— Недаром нацисты требуют, чтобы мы детей плодили. Именно нам это нужно. Нам нужны сыновья, чтобы держать в руках нашу страну,— сказал он как-то.

Элизабет рассмеялась, но одними губами, как смеялась прежде, глаза оставались холодными и злыми.

— Ты говоришь, нацисты правы, как будто сам не носишь эсэсовского мундира.

Он схватил ее за плечи и слегка встряхнул. Он с удовлетворением констатировал, что Рецлов по-прежнему увивается за ней и по-прежнему безрезультатно. Ей на него было наплевать. Ей на все было наплевать. Сам он, Ливен, уже порядком скучал с ней. Дома он предпочитал проводить время в компании приятелей.

Однажды Элизабет готовила им чай в соседней комнате, мальчуган вертелся возле нее. Сквозь полураскрытую дверь она услышала голос Рецлова:

— Не пойму я этих молодчиков. Для меня лично такое зрелище только послужило бы импульсом уйти в монастырь. Будь я игуменом, я бы всех монахов посылал в лагерь посмотреть подобный парад, прежде чем дать

обет целомудрия. После этого они бы до конца дней соблюдали обет.

Все захохотали.

— Совершенно верно, я никогда в жизни не видел такого вопиющего безобразия,— заметил Ливен,— какие груди, животы...

— Как-то я тоже путался с еврейкой,— признался Рецлов.— Конечно, это было очень давно, когда у нас еще отсутствовало расовое самосознание. И вот теперь я не знаю — то ли сюда нарочно согнали самые отбросы, то ли у меня только сейчас по-настоящему раскрылись глаза.

— Я никогда не питал к ним пристрастия,— сказал Ливен,— разве что попадались совсем не типичные. Но такой предел уродства не может быть случайностью. Ведь перед нами их прогнали не меньше двух тысяч.

Другой подхватил — Элизабет узнала по голосу Шульце:

— Да ведь они понимали, что их ждет, ведь это было не свадебное шествие. А такая прогулочка ни одну девицу не украсит.

— Ерунда,— прозвучал снова голос Рецлова,— я о лицах даже не говорю. Я говорю о грудях и животах, не могут же они разбухнуть со страху.

Элизабет приготовила чай и чайную посуду. Она резко отстранила ребенка, который приставал к ней. Мальчик удивленно взглянул на нее. С подносом в руках она вышла в зал. Ей стоило усилий сделать несколько шагов до стола. Она думала: «Это тоже не свадебное шествие». При ней и раньше говорили о лагере, сперва вскользь и намеками, а потом и совсем откровенно. .

Эрнст Ливен однажды ответил на ее вопрос:

— Посмотрела бы ты в Берлине на наших немецких детей, на очереди у магазинов, на давку на базаре. Мы дали себе клятву: ни за что и ни при каких обстоятельствах не допустим, чтобы наши дети холодали и голодали. Ты первая не стала бы кормить чужого ребенка, когда твой собственный голодает. Мы никогда не считали нужным заниматься очковтирательством по примеру Армии спасения — они там кичатся тем, что накормили два десятка детей из целого большого города, а рядом две тысячи дохнут с голоду. Мы же рассчитываем точно: столько-то должно выжить, столько-то подохнуть.

Она не нашлась тогда, что ответить. А теперь она ду-

мала: «Такого выбора нет, да и не должно быть. Это бывало только в старых легендах, где дьявол предлагал на выбор: либо я погублю твоего ребенка, либо твою душу».

Уже около года она слышала такого рода рассказы, как человек, тугой на ухо, слышит разговоры окружающих: то до него долетит одно случайно громче сказанное слово, то он поймет его по движению губ, то угадает смысл слов по выражению лица — иногда верно, иногда неверно, пока кто-нибудь не подсядет к нему и не объяснит все, что ему необходимо узнать. Но тут никто не подсаживался к ней, никто не пытался объяснять. После того, как суть дела с грехом пополам достигла бы ее слуха, она засыпала бы собеседника кучей ненужных вопросов. А сейчас вдруг она сама поняла все до конца по тем словам, которые донеслись из зала в соседнюю комнату. Она налила Рецлову чай, а Ливен зорко следил, как Рецлов благодарил и целовал руку его жене. Ему доставило удовольствие, что она почти грубо отдернула руку.

Однако ночью, когда они остались наедине и он подошел к ней, она и его оттолкнула почти так же грубо. Он посмотрел на нее, прищурившись, ему неясно было, чего ей хочется, для разнообразия испытать немножко насилия и грубости или просто избавиться от него. Элизабет увидела тень угрозы на его неизменно моложавом, настороженном лице. Она взяла себя в руки и сказала:

— Не сердись, дорогой Эрнст, я ужасно устала.

Последующие дни она была совсем ручная, проворная и услужливая, с тем налетом насмешливости, который так нравился Ливену.

Иногда ей хотелось побыть одной и спокойно подумать. Разве возможно, чтобы то, что кажется ей гнусностью, было дозволено? Окружающие ее мужчины говорят, будто дозволено. Германская нация превыше всего,— значит, все дозволено. А если нет, если ей вдруг станет ясно, что не все дозволено, значит, и нация не выше всего? Она иногда просыпалась среди ночи и думала: «Хорошо бы закутать ребенка и уйти с ним далеко-далеко...» Куда? Теперь уже некуда было идти. Ей не раз в жизни случалось думать: «Уйду куда глаза глядят», когда что-нибудь становилось ей постылым — школа, любовник, но тогда она могла думать: «Только бы очутиться опять дома!» Теперь она, бесспорно, дома, у нее свой дом, ребенок. И стремиться уже некуда.

Однажды ночью она встала, потому что мальчик немного прихворнул. Первый снег был поводом для разных развлечений, о которых у нее с детства остались самые светлые воспоминания. Малыш валялся в снегу, денщик услужливо катал ее и ребенка в санях вокруг всего двора. Она уложила ребенка в пуховую постельку и подождала, чтобы он уснул.

Она услышала где-то вдалеке перестрелку, но не придала этому особого значения. Затем она услышала голоса, хлопанье дверей, громкие приказания, шаги. Вошел Ливен, за ним следом Рецлов. Они бросили ей меховой жакет, какую-то одежду, одеяла. Она сделала им знак, чтобы они не разбудили ребенка. Но Ливен громко сказал:

— Закутай его скорее и оденься сама. Все остальное, что вы не успеете надеть на себя, мы положим в машину. Вы с ним должны немедленно уехать.

— Ты как будто не в своем уме,— сказала она,— что случилось?

— Я вполне в своем уме,— резко ответил Ливен,— эти бандиты застигли нас врасплох. Они перерезали шоссе и оборвали все провода. Вам надо немного спуститься по шоссе, свернуть влево и по проселку обогнуть шоссе. Дальше еще можно проехать. Они где-то возле самой деревни. Мы живо с ними расправимся, но все-таки лучше тебе с ребенком убраться отсюда.

Элизабет это ничуть не взволновало, а только заинтересовало.

Рецлов пояснил, что бандитов гораздо больше, чем можно было ожидать. По-видимому, те мелкие, ничтожные шайки, которые еще были разбросаны по лесам, объединились. Бандиты успели уже занять соседнее имение, вероятно, не без содействия крестьян, которые предварительно умудрились испортить телефон и радио. Они перебили охрану, вооружили партию пленных, присланную на полевые работы; таким образом у них набралось достаточно народу, чтобы явиться и сюда. Конечно, с ними удастся справиться и без подкрепления, но мало ли что может случиться, пока подкрепление успеет подойти, и не известно, поспешат ли на выручку прямо сюда или сперва оценят всю местность, чтобы раз и навсегда разделаться с этими бандитами. Если так, то надо быть готовыми к приему непрошеных гостей.

— Зачем тебе все знать,— перебил Ливен,— уезжай

скорее. Пусть это излишняя предосторожность, тогда мы завтра привезем тебя обратно. Шоссе за деревней еще свободно, по проселку тоже можно проехать, снег совсем не глубокий.

Он схватил на руки ребенка вместе со всем ворохом одеял и выбежал с ним из комнаты, не сомневаясь, что она побежит следом.

Она села за руль, потому что ребенка уже уложили в машину. Рецлов что-то еще поправил, подоткнул одеяла.

— Трогай! — крикнул Ливен и посмотрел вслед машине.

— Замечательная женщина! — сказал Рецлов.

— Вот посмотрим! — произнес Ливен. Он отшвырнул сигарету и вызвал свою охрану. Часть солдат оставил защищать имение. Остальные были посланы в деревню. Там уже расстреляли одну женщину и двух мужчин, подозрительно забившихся в стог неподалеку от околицы. Вскоре доложили, что патруль обнаружил в снегу маленького парнишку — наверняка разведчика. Так как снег был еще недостаточно глубок, ему не удалось как следует спрятаться, его нашли и сразу же прикончили. Он, верно, воображал, что сойдет за снежную бабу, пока его не выручат партизаны.

Ливен направился к самому важному пункту — к западной окраине деревни. Дозорный спустился с наблюдательного поста на церковной колокольне. Он доложил, что бандиты разделились на три отряда. Первый занял соседнее имение. Около пятидесяти человек идут сюда по берегу озера; надо надеяться, что охрана остановит их. Третий отряд, разбитый на мелкие группы, движется по полям. С городом связаться невозможно: все телефонные провода перерезаны.

Через час пришло известие, что полк, выступивший из города, окружает весь приозерный район. Таким образом, пока подкрепление подойдет к ним, в окруженном районе может произойти что угодно. По пальбе, раздававшейся с этого берега озера, слышно было, что силы охраны ничтожны по сравнению с силами нападающих. Пришел Рецлов. Ливен предложил ему выпить. Солдат он также приказал поить часто и щедро. По лицу приятеля Рецлов видел, что положение представляется Ливену не блестящим. Но этого беса Ливена как будто только забавляет положение, которое другим кажется угрожающим.

— Хорошо, что твоего ребенка и жены нет здесь,— сказал он.

Последнее сообщение с наблюдательного поста гласило, что все три отряда соединились. Настал уже день. Рассвело незаметно, потому что к концу ночи пошел снег.

— Надо надеяться, что твоя жена успела добраться до Б.,— сказал Рецлов.

— Вероятно, успела,— подтвердил Ливен.

Рецлов думал: «Любит он ее или нет? Кого он вообще любит? Почему он ухмыляется? Что он тут видит смешного? То, что уже простреливается дорога, отделяющая нас от деревни? Отчего у него сверкают глаза?» Ливен уже скорее шипел, чем кричал, отдавая приказы. Втащили смертельно раненного лейтенанта Шульце. Он уже только хрипел, а не стонал. Ливен оскалил зубы — казалось, будто он смеется. Огонь так усилился, что Рецлов схватил Ливена за руку.

— Они уже перелезают через ограду. Что же будет, Ливен?

Ливен пожал плечами.

— Конец. Что же еще? — И добавил: — Иди за мной, через двор есть выход. Может быть, удастся улизнуть.

В голове Ливена пронесся целый шквал воспоминаний о всех лазейках во всех задних дворах, через которые ему в последнюю минуту удавалось улизнуть. Сколько раз красные гнались за ним по пятам. Сколько раз он проскальзывал у них между пальцами.

Теперь уже было поздно. Стекла градом посыпались в зал. Нападающие не сочли нужным ломать двери. Они вскакивали на выступ стены и прыгали прямо в огромные боковые окна. А затем ворвались и в двери. Теперь он попался. Ничего не поделаешь. Игра окончена. Теперь остается скрыть досаду на проигрыш и попристойнее выйти из игры.

Он смотрел в надвигающиеся на него лица; от ненависти ему казалось, что у них даже глаза, носы и рты не на месте. Кто-то замахнулся прикладом. Но тут же раздался резкий окрик. Кто-то другой — должно быть, их главарь — выступил вперед; приклад мигом опустился. Все отстранились, а главарь подошел к нему вплотную. Это был еще молодой человек вполне приличного вида, хотя гимнастерка на нем была вся в грязи.

«Как это в подобных случаях говорят наши враги англичане? — подумал Ливен.— Take it easy*».— Он достал сигареты, протянул красному и сказал по-русски:

— Пожалуйста, товарищ!

Красный выбил сигареты у него из рук.

— Увести! — приказал он.

Ливен выставил одну ногу, подался вперед; его справа и слева схватили под мышки. Те несколько шагов, которые надо было сделать по двору до стены, он старался пройти как можно беспечней и непринужденней.

Снег был весь затоптан. Какими тошнотворно зелеными казались лица на фоне стены! Надо надеяться, у него лицо не зеленое. Приятель Рецлов уже стоял тут. Этот никогда не умел владеть собой, если проигрывал даже в самой мелкой игре. «А меня однажды уже чуть было не поставили к стенке тоже здесь, в Прибалтике, у этого, как его? Кожевникова. Но тогда мне удалось вывернуться в последнюю минуту. Стоило трепать себе нервы битых двадцать семь лет! Как ни жаль, но мы явно проиграли. Take it easy! Игра окончена».

Элизабет успела свернуть с шоссе и выехать на проселок. Она инстинктивно пригибалась, когда стреляли прямо у нее за спиной. Хотя стреляли гораздо дальше, чем ей казалось, у нее было такое ощущение, будто целят непосредственно в нее. А если попадут в нее, тогда погибнет и ребенок, мирно лежащий в пуховых перинках. Красные натолкнутся на машину, увидят спящего ребенка, а ее уже не будет, чтобы защитить его.

Она поехала полями, в объезд, чтобы снова выбраться на шоссе. Теперь стрельба раздавалась только справа, как гроза бывает на одном краю неба. Шел снег, и ночь как-то притихла. Мотор стал захлебываться — Ливен еще вчера ругался по поводу скверного бензина. Но она уверенно вела машину по проселку. На шоссе она выехала за поворотом, как и объяснял ей Рецлов. Вообще он проявил больше заботы о ней, чем Ливен. Уезжая, она думала, что стоит ей обогнуть этот участок шоссе — и она будет в безопасности. Мотор заглох. Она сняла перчатки, продула карбюратор, снова надела теплые шоферские перчатки, проехала несколько минут в западном направлении; мотор

* Спокойно *(англ.)*.

снова стал захлебываться, потом заглох окончательно. Она подумала: «Ничего не поделаешь, подождем, нам обоим тепло». Из-за леса слабо мерцали огоньки ближней деревни. Патрули из В. днем и ночью встречались с патрулями из Л. Скоро ее машину заметят. Надо немножко потерпеть. Ребенок крепко спал, он не ощущал снега, падавшего все гуще и гуще. Может быть, лучше разбудить мальчика и пешком дойти с ним до деревни? Она хорошо знала местность и не боялась заблудиться. Она разбудила ребенка, он удивился, но послушно поднялся. Им надо было пересечь два пригорка, а дальше дорога до самой деревни была совсем ровная, как вытюженная. Здесь в лесу снегу было не очень много. Сперва малыша забавляло идти по снегу. Но вскоре он устал. Ей было трудно нести его. Она даже вспотела, но у нее были крепкие мускулы, и до деревни оставалось не больше часа. После первого пригорка огни показались еще ярче и ближе. Со второго она увидела, что это светятся вовсе не огни в деревне, а отблески луны в маленьком озерце. И зачем бы среди ночи в деревне светились огни? К тому же это было запрещено. Она решила отнести ребенка назад, в машину. Надо набраться терпения и ждать. Она опять одолела один пригорок, с трудом поднялась на другой; снег бил ей в лицо, здесь, наверху, его намело гораздо больше. Она спустила ребенка на землю, он начал скулить, тогда она посадила его к себе на плечи, это ему понравилось, он развеселился. Вероятно, она спутала направление. Шоссе нигде не было видно; она поставила ребенка на землю, он начал плакать и проситься на руки. Она опять посадила его себе на плечи и опять спустила, потому что у нее не было сил его нести.

Они укрылись от снега за частым кустарником. Она порывалась встать, но что за беда, если она еще немного отдохнет? Когда патруль натолкнется на ее машину, он непременно подаст сигнал. А она может ответить и отсюда. Теперь перестрелка со стороны имения затихла, издалека слышались одиночные выстрелы, как бывало почти каждую ночь. Она забыла дома часы-браслет. «А не безразлично ли теперь,— подумала она,— который пробил час?» Почти все вдруг стало безразлично. В снежном вихре мелькали далекие, давно забытые картины, кружили перед ней и снова пропадали. Она думала: «Где это я прочла, кто мне это прочел: «Мы, люди, считаем; он не

считает ничего. Он сосчитал только листья прошедшего лета, снежинки грядущей зимы и удары твоего сердца».

Она положила головку ребенка к себе на колени; он, точно ежик, свернулся под одеялом, глаза у него сомкнулись. Снег проникал теперь даже сквозь чащу кустарника. Какая благодать — снег! Он не громыхает, не ранит в кровь, не причиняет боли, а только усыпляет. Она с неимоверным трудом стянула перчатку, чтобы потрогать ребенка под одеялом. Он мирно спал. Она не могла понять, было ли его тельце таким же теплым или таким же холодным, как ее рука. Она думала: «Мы вместе, мы вдвоем! Вот если бы я могла помолиться за нас двоих! Мне лень надеть перчатку, под одеялом и так тепло. Вот если бы ты был на небесах, отче наш, то святилось бы имя твое, и пришло бы царствие твое, а не их царствие, не их пресловутая империя. И была бы воля твоя как на небесах, так и на земле, а не воля их фюрера — бомбардировщики на небесах и фугасы на земле. Хлеб наш насущный ты дал бы нам днесь, и я насытилась бы, и не было бы во мне сосущей пустоты и скуки, а было бы то, что насыщает. Ты не вводил бы нас во искушение соблазняться чем ни попало — любовниками, деньгами, подарками, ни даже ребенком от этого Ливена, который давно мне опостылел, ни имением, которое было мне так дорого. Ты оставил бы нам долги наши, простил бы и мне, что я жила как живется, бесшабашно, без оглядки, отмахиваясь от всего, что могло испортить мне удовольствие. Как и мы оставили бы должникам нашим, только вряд ли способны простить своим должникам те, кого, точно скотину, гнали голыми перед Ливеном, Рецловом и Шульце. Ты один был бы способен на такой кунштюк, на такое всепрощение, и у тебя было бы так же тихо, как дома.

Дома всегда тихо, даже сейчас. Снег падает тихо; яко твое есть царствие, и сила, и слава. Аминь!»

II

Разбуженный грохотом зенитки, Христиан полежал еще с четверть часа, надеясь снова уснуть. Обычно он почти сразу же засыпал. Но сейчас ему вдруг показалось, что не только Берлин, но и весь земной шар того и гляди взлетит на воздух. Он часто задавал себе вопрос: почему,

собственно, он прикован именно к этому клочку земли? Он ведь не выбирал его, а погибать придется именно на нем. В прошлую войну, лежа в лазарете и изнывая от боли, он думал: по какой причине он, именно он, попал в такую передрягу? И сегодня ночью под взрывы бомб, под адский грохот зениток с берега и со шныряющих по всему озеру катеров, под пронзительные и въедливые свистки патрулей вокруг всего озера, сегодня ночью, лежа в постели, он думал, почему его угораздило попасть именно на эту землю. Земной шар в целом был ему теперь не по душе. В конце концов, у него в сарае было ничуть не безопасней, чем снаружи. Хотя во время налетов не разрешалось находиться под открытым небом, но, если он выползет на свои мостки, даже патруль не обратит на это внимания. Итак, он сполз с постели и выбрался за дверь.

Лучи прожекторов сплетались над городом в световую сеть. Отдельные петли этой сети начинали быстро передвигаться, когда старались поймать неприятельский самолет. А иногда горящий самолет стремительно летел вниз, на город, где во многих местах уже пылали пожары. Подавленное настроение Христиана прошло. Ужаса он не испытывал. Падающие на землю подожженные самолеты казались ему таким же странным, таким же непостижимым явлением, как метеоры. Очаги пожаров в центре города и на окраинах не будили в нем ни гнева, ни сострадания. Он не отождествлял их с обугленными людьми, с предсмертными воплями, с вдовами и сиротами. И даже воздушный бой между двумя летчиками, попавшими в световую петлю из перекрещенных лучей, он наблюдал невозмутимо, как игру природы, и ничуть не взволновался, когда один из самолетов полетел вниз почти одновременно с самолетом противника, который он успел подбить.

Когда Христиан закинул голову, он увидел над сеткой прожекторных лучей ночное небо. Оно было усеяно звездами, хорошо знакомыми Христиану с детских лет: он знал, что слева над его навесом находится Орион, а еще левее и выше — Близнецы. Он нашел и угловые и внутренние звезды Ориона и машинально отметил, что они пока что целы. Звезды сияли по ту сторону сетки. Их нельзя было поймать. Он не отдавал себе отчета, что́ его в этом удивляет и что́ утешает. Он снова поглядел на пылающий город, где самолеты стреляли и метались в сетях прожекторных лучей. И еще раз отметил, что звезды иахо-

цятся за пределами этой сетки. По сравнению с прожекторами, с зажигательными бомбами и пожарами они казались бледными небесными светилами. Он увидел опять пылающий самолет, который стремительно, как ракета, летел вниз, в объятую огнем часть города, куда, возможно, он только что сбросил бомбу. Но когда Христиан сравнил высоту горящих зданий с той высотой, с которой обрушился на землю самолет, а эту высоту — с высотой сети из лучей прожекторов и ее в свою очередь сравнил с высотой звезд, не попадающих в сеть, он несколько успокоился. Сердце его, зачастившее в такт бешеному огню зениток, стало биться тише, будто он открыл что-то находящееся за пределами непреодолимых страхов и будто сам он может прилепиться к тому, что находится за пределами их.

Остаток ночи он пролежал на своей койке, заложив руки за голову. Он думал о том, что раны первой войны уберегли его от смерти во вторую войну. В эту ночь он даже порадовался, что Лиза еще не переехала к нему. Теперь, когда он был уверен, что они будут жить вместе, соединенные навеки перед богом и людьми, осуществление его мечты уже не казалось ему особенной удачей. Раньше он клял свое одиночество, теперь же, твердо зная, что ему придется всегда жить вдвоем, он не возражал против такой ночи, как нынешняя, когда можно побыть наедине со своими чудаческими, никому, кроме него, не понятными мыслями. Он так был поглощен размышлениями, что уснул только под утро.

Лиза разбудила его, но не для того, чтобы узнать, как он пережил ночь. Лицо ее опухло от слез, она сначала не могла слова вымолвить. Христиан подскочил, когда она наконец выдавила из себя: «Карл!», и снова вытянулся на своей койке, заложив руки за голову, когда она договорила:

— Теперь он все равно что номер — он попал в плен к русским.

— Хотел бы я знать, чего ты ревешь. Теперь-то как раз ты обязательно его увидишь,— сказал Христиан.

— Ты же слышал, что́ они делают с пленными. Прямотаки калечат их. Нет, не видать мне его целым и невредимым. Родители грешили, а он расплачивайся. На то и справедливость,— причитала Лиза.

Христиан не вытерпел и сел на кровати.

— Хотел бы я знать, за что это Карлу надо расплачиваться, причем тут справедливость?

И Лиза в первый раз вслух высказала то, чего до сих пор ни разу не касалась:

—Господу богу не так уж трудно было высчитать, что Карл — наш с тобой сын. Вот он и не допустил, чтобы мы радовались на своего сыночка, когда другие погибли. Нет, не заслужили мы этого.

— Сделай милость, оставь ты господа бога в покое,— зарычал Христиан,— он тут ни при чем. Наши с тобой делишки его не касаются. Сколько раз тебе объяснять одно и то же. Он не оберется хлопот со своей справедливостью. А теперь парень воротится к нам уже наверняка. Это ему прямо счастье привалило.

Каким он ни был ожесточившимся и колючим, новость всколыхнула его всего; он очень обрадовался, что Лиза ушла. Пес сначала поставил лапы на край кровати, а затем, увидев, что хозяин не шевелится,— к нему на грудь. Христиан заговорил, глядя в светлые золотисто-желтые глаза собаки:

— Скажи, пожалуйста, все равно что умер! Можно ли так говорить про живого человека? По моему разумению, это грех.

Виду раз-другой толкнул его своим влажным носом, но Христиан не приласкал пса, ему лень было вытащить руку из-под головы. Зато лицо его было так спокойно, что пес мог не спеша вылизать все морщины.

— Что там ни говори, а мы с тобой, Виду, теперь уж непременно увидим нашего мальчика целехоньким. А сейчас давай завтракать, принеси сперва мешок.

Пес проделал все, чему его терпеливо обучали. Христиан очень гордился этим фокусом: Виду принес в зубах мешок, где хранился хлеб и банка со смальцем, и, дрожа от жадности, но не смея пошевелиться, ждал, чтобы Христиан разделил пополам ломоть хлеба, намазанный смальцем.

III

Дочь Венцлова, Аннелиза, пошла в ближний городок отправить посылку. По дороге она встретилась с молодой особой, которую не раз видела у своей начальницы. Часть земель в имении всегда раньше обрабатывалась с помощью

батраков, теперь их заменили женщинами, пригнанными с востока. Молодая особа, в военной форме со знаками различия, с соответствующей выправкой, бойкая, довольно кокетливая, с коротко подстриженными завитыми волосами, командовала партией украинских женщин, размещенных на территории имения в бараках. Аннелиза, как и все окружающие, считала вполне законным и разумным, что женщины из побежденной и оккупированной страны используются в Германии для неотложных работ, потому что своих рук не хватает. Веселая надсмотрщица с кокетливо завитой головой тоже не возбуждала в Аннелизе особого интереса. Ей только любопытно было взглянуть поближе на этих чужих девушек и женщин. Правда, она уже несколько раз ходила к ограде лагеря и видела, как там кормили вновь присланных; они жадно набрасывались на то пойло и на те крохи, которые им выдавали.

Ее соученицы часто встречались у себя дома и на соседних хуторах с женщинами, пригнанными с востока и распределенными по общинам. Когда им приказывали что-нибудь, эти женщины проявляли такую нерадивость, что заставить их выполнять работу можно было только с помощью угроз и суровых мер.

Аннелиза с детских лет составила себе нечто вроде символа веры из тех обрывков верований, которые внушали ей близкие, и из собственных своеобразных законов; так целые племена создают свои самобытные законы из туманных преданий и самостоятельных домыслов. И как у всех, у нее в душе спорили два начала: жажда быть чем-то особенным, единственным в своем роде и в то же время потребность общения с окружающим миром, так как одиночество рано или поздно оказывалось несладким. Когда-то она включила в свой символ веры еще одно утверждение, внушенное ей пресловутым пастором Шрёдером: «Перед богом все люди равны».

И теперь она беспрерывно ломала себе голову, как согласовать это утверждение со всем тем, что ей ежедневно приходилось слышать от людей, составлявших ее мир: от родных, соучениц, учителей. Наконец она придумала выход, который не исключал бы ее из окружающего мира и в то же время не противоречил ее символу веры. Если эти русские действительно не люди, значит, и перед богом, перед которым все люди равны, они не могут считаться людьми, потому что у них нет души. Русские военноплен-

ные за колючей проволокой, которые накидывались на вонючие рыбьи хвосты и на заплесневелый хлеб, женщины с горящими глазами, поднимавшиеся с соломы только когда их толкали прикладами,— все они и в самом деле не были похожи на прочих людей. Тем не менее ей хотелось увидеть их поближе. Она робко попросила об этом надсмотрщицу, у которой был вид заправского солдата, если не считать кудряшек и округлостей груди. Та отрицательно покачала головой. Она ничего не имела против Аннелизы и даже симпатизировала ей; эта угловатая, приземистая девушка никогда и ни в чем не могла стать ей поперек дороги. Однако такие посещения запрещены.

Только к концу недели Аннелизе подвернулся более удобный случай. Она взяла на себя поручение объяснить молодой надсмотрщице, как у них на приусадебном огороде устраиваются подпорки для фасоли и подрезаются помидоры.

— Оставлять надо только основной побег и еще один боковой, остальные долой.

Надсмотрщица передала распоряжение дальше, своей помощнице. Немедленно вытребовали нескольких девушек из присланной партии. Аннелиза принялась тоже возиться в земле, искоса бросая взгляды на работавшую рядом девушку. И эта девушка с совершенно белыми губами на темном от загара лице, эта чужая девушка тоже искоса взглянула на нее с таким же любопытством и с отчаянием в глубоких синих, окруженных болезненной чернотой глазах. Затем они нагнулись и отодвинулись друг от друга, еще раз одновременно взглянули друг на друга и одинаково смутились, потому что взгляды их встретились. И обе сжали губы, с которых рвался один и тот же вопрос: неужто ты — порождение такого народа — все-таки человек? В глубокой задумчивости возвратилась Аннелиза в дом. У нее мучительно болела голова, лоб был точно сдавлен тисками. Она направилась к фрау фон Уленхаут, но говорить не могла, только шевелила губами. Постояв немного, она повернулась и вышла, а начальница с удивлением посмотрела ей вслед.

Аннелиза копила карманные деньги, чтобы во время коротких каникул съездить в далекий Потсдам к тете Амалии, которая недавно упала и повредила ногу. Но так как

старуха стыдилась всяких телесных и душевных слабостей, она перемогала свою немощь и ходила теперь с костылем, что делало ее еще больше похожей на Старого Фрица. Аннелиза нашла, что сестра отца, Ленора, стала вылитой тетей Амалией тех времен, когда старуха еще не ходила с костылем. Только глаза у нее бывали то темными дочерна, то светло-серыми, то мрачнели, то сияли кротостью. А кто знает, может быть, и у Фридриха Великого глаза тоже иногда бывали кроткими, а иногда мрачно сверкали?

С тех пор как Германия оказалась под угрозой, тети Амалия частенько ходила к гробнице своего короля, хотя ходьба доставалась ей нелегко. Немало представителей старинных фамилий проделывали тот же путь. Ходили они, таясь и конфузясь, понимая, что таким паломничеством признаются в своей растерянности.

Тетя Амалия втайне была довольна, что ее любимая родственница, старшая дочь обожаемого племянника, на время избавила ее от трудной домашней работы. Кроме того, девушка, разбив в огороде грядки, наглядно показала, чему она научилась в своей школе. Ленора Клемм редко бывала дома. Ее желание осуществилось. Раненых было теперь так много, что ее помощь оказалась настоятельно необходимой.

Роясь в книжном шкафу, игравшем видную роль в жизни Леноры, Аннелиза наткнулась на книги, какие еще ни разу не попадали ей в руки. Как-то поздно вечером Ленора вошла в комнату племянницы, где еще горел свет. По раскрасневшемуся лицу, по растерянному взгляду Ленора поняла, что девушка переживает точь-в-точь то же, что некогда переживала она сама. В книгах Аннелиза столкнулась с такими необыкновенными людьми и чувствами, какие ей не встречались в обыденной жизни; приход тетки как будто застал ее врасплох на запретном знакомстве.

— Что ты читаешь? — с улыбкой спросила Ленора.

— Молодой человек убивает ростовщицу, чтобы ее ограбить. Потом он раскаивается, когда его подруга говорит: «Человек не вошь»,— ответила Аннелиза.

Ленора сперва было сама испугалась, но затем успокоилась. Эту книгу когда-то, после мимолетной связи, ей прислал Ливен без всякой надписи, что тогда огорчило ее, а теперь оказалось очень кстати.

— Пожалуйста, запихни книгу поглубже в шкаф, чтобы ее никто не нашел. Автор был русский,— сказала она.

— Русский? — с изумлением переспросила Аннелиза.

— Да, и потому спрячь ее подальше,— повторила тетя Ленора.

Воскресенье в Потсдаме прошло точно так же, как все воскресенья былых времен: совместный чай в доме Мальцанов. Ленора, у которой был свободный день, пришла в одежде сестры милосердия. О Средиземном море говорили как о чем-то хорошо знакомом, вроде Швиловзее. Итальянские названия выговаривались так же бойко, как русские. Сидящие вокруг стола со вкусом произносили их, потому что они как бы подтверждали близкое знакомство со всем миром. Гости были все те же, например капитан Штахвиц, который по привычке приурочивал свое посещение к свободному дню Леноры, хотя про себя думал: «Теперь уж в ней чересчур ярко проявляются фамильные черты — острый нос и подбородок». У него самого лицо сохранило мальчишеское выражение, несмотря на ордена, на седину в висках и тяжелое ранение, благодаря которому он получил длительный отпуск. Легкомысленные разговоры, которые он любил вести, столько раз вызывали недовольство и так замедлили его продвижение по службе, что он заметно притих. Беседа тянулась вяло, без его замечаний, всегда возбуждавших либо протест, либо смех. От его мундира распространялся легкий запах йодоформа. При упоминании о неудачах прошлого года и при туманных намеках на какие-то слухи его лицо стало совсем непроницаемым. Слово «Сталинград» ни разу не прозвучало за столом, но тетя Амалия все-таки коснулась этой темы:

— Ни в одной войне я не верила слухам. Командующий не имел права сдаться и не сдался,— заявила она.

— А что ему было делать? — в конце концов отозвался Штахвиц.

— То, что он, безусловно, и сделал,— застрелиться,— сказала тетя Амалия.

Штахвиц несколько мгновений задумчиво смотрел на ее разгневанное лицо. Аннелиза переводила взгляд с одного на другого.

— Ах, фрейлейн фон Венцлов, не так это легко! — произнес наконец Штахвиц.

— То есть как? Надо приставить револьвер к виску и нажать курок.

Это сомнительное мероприятие казалось ей вполне нормальным. Ее убеждения были непоколебимы.

Штахвиц усмехнулся.

— В решительные минуты это не так просто, совсем не просто.

— Однако же примеров этому немало,— заметил Мальцан.

Все стали припоминать разные случаи, называли даже имена знакомых. Ленора разливала чай в чашки тех гостей, которые пока еще были живы.

— Их имена навсегда занесены на золотую доску,— заявила тетя Амалия.— А об этом человеке всегда бы говорили, что он предался врагу.

— А его армия, сотни тысяч людей? — тихо произнесла Ленора.

— Они и не сдались,— сказал Мальцан,— они сражались до последнего человека, таков был приказ.

— Чей приказ? — непривычно резко прозвучал голос Штахвица, голос мальчика, который позволяет себе задать вопрос взрослым.

— Нашего фюрера.

— Ах, фюрера, вот оно что!

Аннелиза пристально посмотрела на него. Она уже во многом сомневалась сама и слышала, как сомневались другие, но фюрер всегда был фюрером, с тех пор как она себя помнила. В нем при ней еще никто не усомнился. Тут она впервые услышала сомнение и даже не в словах, а в тоне. Ей стало жутко, у нее было такое ощущение, какое, вероятно, было у человека, впервые услышавшего: «А вдруг Земля не стоит на месте, вдруг она в самом деле вертится?» Сильнее, чем когда-либо, она почувствовала близость смерти и в смущенном молчании сидящих за столом, и в неуловимом запахе йодоформа.

На следующий день она уехала обратно в свою школу. Здесь она узнала, что та часть имения, где перед каникулами работали пригнанные с востока женщины, теперь перешла в ведение государства. Она узнала, что молодая кудрявая надсмотрщица вместе с партией украинских женщин отправлена в другое место. Вокзал соседнего го-

родка был за время ее отсутствия разрушен бомбардировкой, так что поезда подходили к временной платформе. В самом имении были построены бараки для оставшихся без крова жителей городка. Школа была закрыта, а Уленхаут удалось оставить у себя нескольких учениц для обработки принадлежащего ей лично участка земли. Аннелиза ничуть не радовалась тому, что попала в число этих привилегированных учениц. Ее влекло куда-то далеко, в неведомые, запретные края, которые во время войны вдруг оказались доступнее, чем раньше. Она жаждала работы, какой не знал еще никто, с людьми, которых не знала она сама.

IV

Хотя отпуска были отменены, Гансу удалось съездить домой. Он был назначен конвоировать эшелон, в котором везли военнопленных. Их направляли сперва в общий лагерь, чтобы оттуда уже распределить по заводам; кормили их скудно, но регулярно.

— Мы обязаны доставить определенное число работоспособных,— пояснил начальник эшелона Кольб.— Если кто-то подохнет дорогой или в самом начале на работе, от этого соответственно уменьшится количество изготовленных гранат.

Кольб слыл в полку добряком, но при этом был храбр и хитер. Ганс не раз видел, как он бывал хладнокровен в минуту опасности, а недавно стал свидетелем, как он ловко и умело помогал поджигать оставляемую деревню и в тот же день по своему обыкновению щедро расточал помощь и делом и советом. Человечность не угасла в душе Кольба, только она исчерпывалась ограниченным кругом людей. Так разбойник не отметает седьмой заповеди: «Не укради», но применяет ее лишь к своей братии. В дороге Кольб разрешил перевязать палец военнопленному — ведь этот палец понадобится завтра для отточки гранат на немецком заводе.

Хотя Ганс не понимал ни слова, но по выражению лиц и по жестам тех, кого сторожил, стоя с винтовкой у вагона, он улавливал, что они несколько приободрились. Должно быть, до них дошла весть о высадке союзников во Франции и они, возможно, почувствовали, что близок конец их страданий; запертые в затхлые вагоны для пере-

возки скота, они почувствовали это раньше и вернее, чем их вооруженная охрана. Им с трудом удавалось выглянуть наружу, но всякий раз, как Ганс перехватывал чей-нибудь взгляд, в нем светилось напряженное любопытство, как будто смотревший хотел понять, что это за страна, которая породила таких дьяволов. Однако сколько они ни смотрели, сколько сам Ганс, стоя на подножке вагона, ни вглядывался в свою родину, спелая рожь золотилась так же, как и во всем мире; белое шоссе тянулось ровной лентой; будка железнодорожного сторожа, точно уютный кукольный домик, виднелась из-за двух красных буков.

— Теперь только понимаешь, какое счастье, что наша родина не пострадала от ужасов войны, конечно, если не считать бомбардировок,— сказал Кольб.

Он забыл о том, что сам был одним из ужасов войны. У Ганса минутами возникало чувство возвращения домой, к прошлому. Только это прошлое стало бесконечно далеким прошлым. После доставки эшелона он ехал в Берлин в обыкновенном вагоне, битком набитом людьми разных возрастов и разных профессий, разметанных войной во все стороны. Гансу казалось, что он въезжает на какую-то другую планету, а не в родной город. Его спутники задавали ему множество нелепых или каверзных вопросов: старуха, которая везла корзину с домашней птицей, спросила, скоро ли кончится война; какой-то пассажир нашел нужным подчеркнуть перед отпускником свою нерушимую верность фюреру; другой счел уместным намекнуть, что для него не тайна, чем все это кончится. Но какие бы корзины они ни везли, на что бы они ни намекали, что бы они ни подчеркивали, никто из них еще не понял того, о чем Ганс ни на миг не забывал. Неужели эта старуха не понимает, что она зря таскается со своей птицей? Неужели человек в пенсне не понимает, что напрасно спешит лишний раз засвидетельствовать свою верность фюреру. И как тому, усатому, не ясно, что ему ничем не помогут его намеки и подозрения. Смерть была тут, рядом, запрятанная в его замызганный мундир, она обнюхивала всех этих недальновидных дураков. Чего же они так стараются?

Когда поезд подходил к Ангальтскому вокзалу, Ганс думал: «Я же прекрасно знаю это место, вот удивительно, что я еще раз попал сюда». Он пошел по разрушенной бомбежкой улице, которую узнал по уцелевшему ориги-

нальному фронтону. Затем пробежал несколько нетронутых улиц, которые как бы пытались его убедить, что он дома. Дальше была совсем развороченная площадь, ее он узнал только по дощечке с названием и потому лишь, что, шагая по грудам щебня, наступил на эту дощечку. Несколько ребят играли в воронке от бомбы, они сидели верхом на поваленном и переброшенном через нее фонарном столбе. Гансу казалось, будто он несет разрушение с собой, будто до него ничего этого здесь не было.

Газетчики, уличные мальчишки, серебряная буква над подземкой — все это теребило и кололо его: «Хоть сейчас отбрось мысль о смерти, признай нас наконец!» Еще в поезде он решил отправиться сначала к сестре, не заезжая домой. Мысли его словно шли по двум колеям: у одной не было земной цели, другая же вела к Александриненштрассе, потому что свой короткий отпуск он лучше всего мог использовать с помощью старика Бергера. Он встретил Елену на улице. Мастерская художественной штопки закрылась. Сестра работала теперь на заводе, до которого был час езды. Когда она увидела брата, из ее груди вырвался какой-то непонятный звук, не то смех, не то рыдание. При виде ее некрасивого, доброго, родного лица до сознания Ганса отдаленно дошло, что он вернулся домой.

Бергер ждал, чтобы жена наполнила ему термос. Внучка превратилась в школьницу с косичками. И эти косички с вплетенными в них лентами, знакомый запах квартиры, кадык на длинной шее фрау Бергер — все, вместе взятое, окончательно убедило Ганса, что он дома. Дом, где жили Бергеры, еще был цел, а потому и в квартире уцелело все, как было с давних пор: мебель, посуда, веселые и волнующие воспоминания. Смерть угрюмо отступала перед этими сплоченными жизнями. «Я снова здесь,— подумал Ганс,— и это не сон, потому что у снов нет запаха кофе и нет кофейника с отломанной спокон веков ручкой, нет и выпученных глаз, которые видны даже на фото, присланном Оскаром из Туписа».

Ганс проводил Бергера на станцию подземки. Старик казался моложе, чем в последний приезд Ганса.

— Я начал молодеть с того дня, когда вы застряли под Москвой, а когда вы обломали себе зубы о Ленинград, у меня на сердце и вовсе потеплело. Ну а как объявили национальный траур по Сталинграду — начало вашего

конца,— в ту пору я чуть было в пляс не пустился. А потом целый год, как вы стали вдруг откатываться чем дальше, тем быстрей и быстрей, как начали выблевывать все, что сожрали: то кусок Украины, то кусок Крыма, тут уж я каждое утро смотрелся в зеркало, не становятся ли мои седые космы опять золотистыми кудрями? Когда Америка объявила войну, люди только посмеялись: все точь-в-точь как в первую войну. А ваши военные сводки с сокращениями и выпрямлениями линии фронта, словом, эта музыка нам давно знакома! Мне бы теперь только хоть что-нибудь узнать о моем Оскаре. Не протянул ли он чего доброго ноги как раз там, где сократили фронт?

«Он прав,— думал Ганс,— только бы сбросить с себя всю эту грязь и подлость, чтобы, когда настанет мир, быть таким же чистым, как до войны».

А Бергер продолжал:

— А когда они высадились во Франции, я принялся песенки насвистывать. И вдобавок теперь, в июле, сам Гитлер чуть было не окочурился. Правда, для этого молодчика я предпочел бы веревку, а не бомбу, но уцелел-то он не потому — господа-заговорщики слишком поздно спохватились, а пока было время, они к нам за помощью не пришли. И то сказать, наш брат тоже не всегда был на высоте, но тут бы мы не подкачали. Нельзя что-нибудь делать для народа без самого народа.

Он протискивался сквозь толпу. Ганс не отставал от него. И вдруг ему показалось, что слова старика прогремели громче танков, громче всех приказов держаться до последнего. Смерть отступила прочь, она уже не осмеливалась приблизиться к нему. Потому что здесь, дома, ничто не прекращалось, все шло дальше, пусть только в голове этого хитрого старика с седыми бровями... На прощание Бергер сказал:

— Я пришлю к тебе сестру, она даст тебе адрес квартиры, где можно поговорить без помехи. Мы соберем несколько человек, которые хотят от тебя кое-что узнать — по крайней мере мы хоть раз услышим настоящую военную сводку.

Час спустя Ганс уже взбегал по лестнице к себе домой. Он чуть не споткнулся о каких-то ребят, которых совсем не узнал. А перила были на ощупь все те же.

На круглом лице фрау Биндер с третьего этажа появилось изумление. Захлопали двери: «Ганс!» Мария сто-

яла на площадке лестницы; она чуть улыбнулась; она протянула руки; но руки бессильно упали еще до того, как сын взбежал наверх. Он обхватил и прижал к себе ее голову. Случалось, там, на войне, он думал: «Лучше бы она вовсе не родила меня на свет!» Она обеими руками провела по его рукам от плеч до кистей и стиснула его пальцы. На лице ее появился отблеск далекой, утраченной юности.

— Что ты вдруг помрачнел? — спросила она.

— Ничего! — сказал он.

Ему вдруг вспомнилась молодая женщина: фельдфебель приказал ему взять у нее из рук ребенка; он взял; он протянул ребенка фельдфебелю, тот передал его следующему солдату, который ждал на лестнице; а тот бросил ребенка в машину, стоявшую внизу перед дверью; мать ребенка не закричала, она стала корчиться, как будто задыхалась. Почему он тогда послушался? Потому что еще не знал, чтб ждет ребенка? А если бы и знал? Вероятно, каждый знал только частицу этой несказанной гнусности. Чтобы понять всю гнусность в целом, надо было собрать воедино ее части. А так каждый мог сказать: «Я только передал ребенка следующему». Он с удивлением убедился, что дома все на месте, на плите те же старые кастрюли, на полке та же чашка с голубым ободком, которая служила матери копилкой. Как могло случиться, что эти стены остались целы? Какими нелепыми, старыми вещами заполнена бездна жизни! Он положил голову на колени матери и сказал:

— Ах, мама, сколько раз мне хотелось заползти в тебя обратно!

Мать гладила его голову, как прежде, когда он жаловался, что растерял свои любимые камешки. Она думала: «И зачем мы оба пошли на все это? — Вдруг ей стало страшно: — Может быть, это только сон? Может быть, он вовсе не приехал?» Она с трепетом смотрела, как он ест суп; время от времени он снова обнимал ее. Он думал: «Я же вышел из нее, значит, здесь я у себя дома». Дверь то и дело отворялась. Пришла Мельцерша, потом та соседка, которая когда-то чуть не попала в беду, потому что золовка донесла на нее. Ганс бодро отвечал на все вопросы. Наконец пришел Гешке. Он узнал еще на улице, что приехал сын. Они пристально смотрели друг на друга. Когда все разошлись, Гешке сказал:

— А твои русские как-никак молодцы, хорошо справились!

— Дальше у них пойдет еще лучше.

Елена пришла вечером. Она поздоровалась с братом, будто они еще не виделись. Она сунула ему в руку записку с адресом квартиры, где его будут ждать в воскресенье. На следующий день появилась Эмми, девушка, о которой с последнего своего отпуска он грезил во сне и наяву. Мария думала: «Она тоже ждала, она теперь тоже знает, чего это стоит!» А они оба слишком много думали друг о друге и потому даже не заметили, что любили друг друга пока только в мечтах, а не в действительности. Они молча поцеловались, как будто и это случалось уже не раз. Родители не улыбались, а серьезно смотрели на молодежь. Они тоже понимали, что теперь не время для прежних обычаев, для секретничания и робкого ухаживания.

Несмотря на крайнюю усталость, Гешке за последнее время привык проводить по воскресеньям часок-другой с Дипольдом. Они, можно сказать, подружились. Это был тот самый товарищ по работе, с которым он сошелся после одного заводского собрания, где их обоих упрекали за то, что они приноравливаются к Беринтеру, никогда не выполняющему нормы. С того дня Гешке почувствовал к Дипольду симпатию, хотя он прежде никогда ни с кем не водил дружбы, ни в первую войну, ни в мирное время, когда был возчиком. И только теперь, когда жить и даже дышать стало труднее, чем когда-либо, для него было облегчением, что он мог хоть изредка перекинуться словом с Дипольдом. Дипольд был так же угрюм, как и он сам, и потому казалось удивительным, что этих двух пожилых людей тянет вместе побрюзжать и вместе помолчать. У Дипольда сыновья были на фронте, а дочь работала на заводе. Жена его возилась с кучей внучат. Гешке даже гордился такой своеобразной дружбой. Дипольд внимательно выслушивал рассказы Гешке обо всем пережитом, а Гешке рад был при этом показать, как много он передумал за свою долгую жизнь. Он сам удивлялся, что гораздо лучше, чем Дипольд, помнил ряд подробностей о давнишних собраниях, ряд случаев на производстве и мог привести их в качестве примера и подтверждения своих мыслей. То, что Дипольд внимательно слушает, поднимало его в собственных глазах. Когда он явился в этот день,

Дипольд предложил пойти вместе к одному соседу. Там соберутся люди одного с ними толка.

Дипольд долго взвешивал, достаточно ли Гешке надежный человек, чтобы привести его на такое собрание. Он давно присматривался к Гешке. Мысли у него правильные, только умеет ли он держать язык за зубами? Что, если они провалятся? Обязан ли он предупредить Гешке, что это дело небезопасное?

— Смотри не пересказывай ни моей, ни своей жене то, что мы там услышим,— сказал он.

— Ладно,— кивнул Гешке.

В один миг он все понял: его друг был человек молчаливый, однако теми немногими словами, какие он иногда буркнет в воскресенье, отнюдь не исчерпывался его запас слов. Ему, Гешке, нечего было гордиться, что Дипольд внимательно слушал его. Он, верно, просто хотел его прощупать. И вовсе он, Гешке, не единственный его друг, у Дипольда, верно, немало найдется еще друзей. Но как бы то ни было, Дипольд решился взять Гешке с собой, и это наполнило Гешке такой гордостью, что он забыл о своем разочаровании.

У Ганса сердце замирало, когда он шел за Бергером по лестнице. В незнакомой комнате сидело несколько человек, мужчин и женщин; радио было включено, чтобы заглушать их голоса. Что мог он им рассказать? Ему было тяжело и страшно. Он давно уже отвык выражать свои мысли вслух и еще сам не решил, как и о чем говорить этим людям, а они уже жадно ловили каждое его слово. Когда он замолчал, его засыпали вопросами, которые он сам задал бы себе, если бы мог так четко сформулировать их. Он отвечал то, что ответил бы самому себе, если бы у него хватило смелости поставить перед собой такие вопросы. От них требуют, чтобы они сопротивлялись до конца, и они сопротивляются, хотя каждый в отдельности уже предчувствует этот конец, а некоторые жаждут его и сами же его затягивают, потому что им страшно погибнуть в последнюю минуту, не дожить до мира. Десять лет назад страх положил начало всему этому, и теперь все кончается страхом. От страха приказывают, от страха повинуются. И каким тяжким гнетом ложится на совесть каждый день этой войны, самой подлой, самой позорной

из войн, так что под конец становится стыдно жить на свете. Хотя Ганс никого здесь не знал, ему казалось, что эти несколько человек, здесь, в этой незнакомой комнате, в развороченном и опозоренном городе, ждали его, из многих миллионов именно этот десяток людей ждал именно его. Потому он и был здесь.

Следом за Гансом вошел низенький седоватый человек, а с ним другой, коренастый и ширококостный. Они сели в темном углу, и Гансу показалось, что коренастый похож на отца, на Гешке. Продолжая говорить, он остановил взгляд на незнакомце, и тут ему стало ясно, что это и есть его отец. «Какую чушь нес когда-то Франц, чтобы меня позлить, будто отец мне вовсе не отец? А в доме шушукались, будто моя мать жила раньше с другим. И вот мы оба очутились вместе в этой чужой комнате, среди этих людей. Теперь уж ясно, что мы родные, а вся эта болтовня — сплошная ложь». Гешке из своего угла не отрываясь смотрел на юношу. Он сразу узнал Ганса. Сначала он думал только о себе и о своей жизни. Он думал, что Ганс ему ближе остальных детей. Он очень хорошо сделал, не допустив ничего, что могло бы смутить мальчика и отдалить от него. И как же парень хорошо выражает те мысли, которые он, Гешке, даже продумать толком не умел, хотя они день и ночь камнем лежали у него на сердце. Даже его друг, Динольд, слушал Ганса с напряженным вниманием. Как это могло с нами случиться? В чем наша вина, сейчас, сию минуту? Откуда она пошла, эта вина, когда она въелась в нас, точно чесотка, которую мы не умели вовремя залечить? Мы всегда любили подчиняться кому-нибудь, стоявшему над нами, не потому, что он больше знал, а только потому, что он стоял выше нас. Нам всегда нравилась власть, нравилось, чтобы нами управляли и чтобы мы управляли другими. При этом мы чувствовали себя превосходно. Мы гордились собой, и сейчас еще мы, сидящие в этой комнате, гордимся тем, что мы лучше большинства, лучше все понимаем, чем другие, и что нас-то не проведешь. Но других мы переделать не сумели. И власть осталась непоколебленной, а наша горстка — одинокой.

Гешке не удивился, когда и его Динольд, которого он знал угрюмым и молчаливым, вдруг оказался совершенно иным. По взглядам присутствующих Гешке понял, что они так же привыкли к этому гневному лицу Динольда,

как он — к угрюмому и обыденному. Он никогда не поверил бы, что этот человек, у которого трудно было вытянуть словечко, обладает таким красноречием.

— Маленькая кучка у нас в стране, маленькая горстка там, у вас,— и между ними тонкая нить, которая каждый миг может порваться.

Он высказывал мысли, которые Гешке слышал впервые, и владел словом, как привычным инструментом.

— Мы отлично знали, что идея становится материальной силой, когда она овладевает массами. Но мы никак не предвидели, что этот чудовищный обман может стать силой, потому что он захватит массы.

Когда Гешке шел один домой — разойтись предложили довольно неожиданно,— у него на душе было легче, чем раньше. Лицо Дипольда уже на лестнице приняло знакомое угрюмое выражение.

Дома, на кухне, Гешке встретился с сыном, как будто они пришли из разных мест. Постепенно набралась куча гостей, явившихся посмотреть на отпускника. Всему их кварталу посчастливилось: нетронутыми, как дом и утварь, остались и умы. Прибежала крайне взволнованная тетя Эмилия; она даже всплакнула, но по причинам личного характера. Мастерская у нее во дворе, двадцать лет кормившая ее, была закрыта. Ей пришлось поступить простой работницей на фабрику, как будто она не умела даже иголку в руках держать. Сначала она надеялась, что заведующий возьмет ее с собой туда, куда переведут его самого. Ничего подобного! Он сухо объяснил ей, что не может ходатайствовать за каждую свою мастерицу — времена теперь не те. А тетя Эмилия считала, что ее связывают с заведующим мастерской совершенно особые отношения. Что она для него отнюдь не «каждая мастерица». Ганс, улыбаясь, смотрел на тетю Эмилию, тощую и лохматую, от прежних прелестей не осталось ничего, кроме лилового банта, венчавшего некогда ее бюст.

Чета Мельцеров тоже была налицо. Мельцерша отметила, что Ганс и Эмми держатся за руки. Теперь, когда ввиду таких грандиозных событий не стоило копаться в мелочах, жизнь для нее потеряла всякий смысл. Работой на заводе она не была удовлетворена: лента конвейера не подносила ничего интересного и неожиданного к ее острому носу. Ее, как старшую, девушки не любили, потому что она не пропускала ни одной оплошности. Муж

ее был очень оживлен и возбужден. Говорил он без умолку, и при этом в глазах его был особый блеск, приобретенный с давних пор благодаря тесному знакомству с миром загадочных явлений. Неспроста обыкновенный ефрейтор стал главнокомандующим германской армии, заявил он, в таком ходе событий сокрыт глубокий смысл, исполненный величайшие упования.

Ганс неожиданно спросил о жене Трибеля, он ее не видел и даже как-то не подумал раньше о ней. Но сейчас, слушая всю эту болтовню, он вдруг вспомнил приветливый, спокойный взгляд этой женщины, вспомнил, сколько раз мальчишкой прятался у нее на кухне. Но ответ на свой вопрос он получил не сразу. Мария заговорила первая:

— Ее увезли как-то ночью, месяца два назад.

— Я никогда ей не доверяла,— подхватила Мельцерша,— хотя за ней ничего такого не водилось: ни недозволенных поступков, ни предосудительных речей. Однако же Мельцерша вполне одобряла, что людей хватают по одним только подозрениям, даже когда за ними ничего не числится.— Сколько ни играй в прятки, все равно попадешься,— закончила Мельцерша.

А Ганс подумал, что нет такой мерзости, которой эта власть побрезговала бы воспользоваться, вплоть до любопытства какой-нибудь Мельцерши.

Эмми осталась ночевать, что с восторгом отметила Мельцерша. Хотя ей, как и всем другим, надо было с раннего утра идти на тяжелую работу, хотя она, как и все, находилась под угрозой воздушных налетов, этот факт был для нее истинной находкой. В дальнейшем ее любопытство было полностью удовлетворено, так как Эмми после отъезда Ганса переехала к Гешке. Эмми была счастлива, что может жить здесь, в той атмосфере, в которой вырос ее любимый Ганс, здесь он стал тем, чем был теперь.

Атмосфера осталась такой же и после того, как он уехал. Мария не плакала, ведь он пока еще был в пути. Поезд уносил его все быстрей и быстрей на восток. Вот он уже приближается к линии огня. Она отсчитывала часы, и вот она всем своим существом почувствовала, что сейчас его уже могут убить.

V

У Венцлова вся грудь была в орденах, о которых он мечтал подростком. Только за это время он успел убедиться, что у наград и отличий в действительности совсем другой вкус, чем в мечтах. Его вне всякой очереди повысили в чине. У него были все шансы занять место убитого Лёрке в штабе полка. Сам Браунс ходатайствовал об этом. При данной ситуации утверждения приходилось ждать очень долго. Венцлов не смел и помышлять о таком чине, с тех пор как махнул рукой на свои юношеские мечты, хотя, в сущности, они не подвели его, ибо, как ни отличалась от них действительность, сравнить ее можно было только с ними; он не заблуждался насчет своих способностей и даже имел мужество не сваливать вину на интриги или злой рок по примеру отца. А теперь, как больной, который, сколько ни пьет, не может утолить жажду, он вдруг почувствовал, что и это нежданное повышение не даст ему желанного покоя. Но Браунс, видимо, счел его достойным такого поста, и, значит, ему оставалось одно: быть достойным.

До сих пор они отражали все атаки, выполняя приказ — любой ценой удержать свои позиции. Браунс не только вызывал его на все совещания вместо убитого Лёрке, но и допускал в свой самый тесный круг, а последние дни даже приглашал для беседы с глазу на глаз. Их личный состав сократился до одной трети; неприятелю не удалось нигде прорвать внешнее кольцо укреплений. Из окружения все еще был выход к шоссе, ведущему на П., хотя неприятель уже в двух местах прорвался к Висле. По этой дороге они один раз уже получили подкрепление, и теперь, пока путь еще не был перерезан, с часу на час ждали второго.

В мешок — между двумя холмами в Польше — входил небольшой городишко; сейчас в нем не уцелело почти ничего, кроме нескольких зданий и бетонированных блиндажей. Местность была полностью очищена от населения, чтобы оно не мешало обороне и не ложилось бременем на снабжение войск. Венцлов явился с докладом к Браунсу. Слушая, Браунс непрерывно постукивал по столу костяшкой указательного пальца, то ли от нервности, то ли по привычке. Электрические лампочки без абажуров, освещавшие подвал, слепили глаза, мохнатые брови на невоз-

мутимом, обычно не выражавшем ничего лишнего лице Брауса судорожно дергались. Венцлов обрадовался, когда Браунс предложил ему выпить. Его собственный запас спиртного истощился; солдатам были выданы дополнительные порции по случаю прибытия подкрепления. Венцлов продолжал докладывать: Нильс получил приказ под конвоем вывести остатки населения к дороге на П.— Венцлов невольно говорил в такт постукиванию,— а он в нарушение приказа и невзирая на протест Венцлова погнал этих людей под пулеметы, хотя боеприпасов и так осталось совсем немного.

Указательный палец Брауса зачастил, поспевая за мыслями.

— В нашем приказе ничего подобного не было,— сказал он.

— В том-то и дело,— подтвердил Венцлов.

Браунс кивнул. Для него это было пределом общительности и доказывало, что он не на шутку взбудоражен.

У него не раз бывали стычки с эсэсовцем Нильсом. Нильс и в докладах и в устных высказываниях не скрывал своего мнения о Браунсе: напичкан отжившими предрассудками и не способен отрешиться от предубеждений, присущих его касте. Нильсу не раз приходилось вести с Браунсом длительную и ожесточенную борьбу, чтобы добиться от строптивого генерала согласия на мероприятия, которые он, Нильс, считал необходимыми для благополучного исхода войны.

Когда в конце концов Браунс все-таки давал свою подпись, по ней не видно было, сколько возражений, отказов и уговоров ей предшествовало.

А Нильсу важна была только подпись, только чтобы подмахнули его бумажку. Раньше он иронизировал, что зря тратит время, убеждая старика в необходимости какого-нибудь мероприятия. А теперь оказалось, что его труды не пропали даром. Теперь у него были доказательства, что все делалось по взаимному согласию.

Венцлов ясно видел, что Браунс не ждал перемен к лучшему — он ждал полного окружения. Он уже не рассчитывал на прорыв со стороны П.— там требовалось напряжение всех сил, чтобы не пропустить неприятеля через Вислу. Браунс пока что даже не старался вообразить себе невообразимое, он думал только об одной детали: о бумажках, о подписанных им приказах, об эсэсовских ар-

хивах. Он думал, как бы начисто отмежеваться от людей, с которыми он всю войну был неразрывно связан. Добровольно, не добровольно — на страшном суде трудно будет разобраться в этом, да и вряд ли там вообще это будет иметь значение. Нильс, тот очень напирал на неразрывность их связи.

Браунс и Венцлов молчали; ничего не скажешь, связь теснейшая, и об отмежевании думать поздно. Нильс сам показал им вырезку из газеты. И при этом сделал выразительный жест — словно подпись к снимку с бледными силуэтами немцев, повешенных в прошлом году в Харькове: «Посмейте сдаться». Браунс отстукивал указательным пальцем: «А Венцлов все-таки порядочный человек». В прошлую войну Браунс встречался с его отцом. Покойник был не из приятных людей и талантами не блистал, но человек был порядочный, такой же, как сын. Что за дело до этого какому-нибудь Нильсу? Ему родина — только плацдарм для разгула его шайки. Но вместе воровали, вместе и попали.

Венцлов доложил о новой норме снабжения. Даже если им не сбросят продовольствия, запасов должно хватить на три недели. Огонь зениток тем временем усилился. Раздался взрыв, так близко, что задрожали стаканы, письменные принадлежности и скулы у Венцлова. Свет погас. Браунс зажег электрический фонарик и направил свет так, чтобы его лицо было в тени, а лицо Венцлова попало в световой круг. Венцлову казалось, что фонарик в затемненном подвале горит так ослепительно ярко, как не горел еще ни один огонь на земле. После взрыва стало совсем тихо, только указательный палец Браунса дробно стучал, как секундная стрелка.

— Продолжайте,— сказал Браунс. Отведя взгляд от резкого света, Венцлов повторил свои подсчеты. Часовой за дверью с кем-то спорил. Голос Фаренберга настаивал. Часовой доложил о Фаренберге. Электричество исправили, и Браунс выключил фонарик. Венцлову стало даже легче оттого, что его лицо уже не в фокусе фонарика и что на него падает обычный, хоть и слишком резкий свет с потолка. Браунс не повернулся, а только скосил на входящего глаза. Лицо Фаренберга как-то фосфорически светилось. Он доложил, что бомбой уничтожен дом, где жил Венцлов. Улица разрушена до самой площади. Браунс разрешил обоим уйти. Венцлов подумал позднее, что вызов

к Браунсу для доклада оказался для него поистине счастьем. Но что понимать под истинным? И что понимать под счастьем? Когда он поднялся, Браунс попросил его задержаться на минуту. Генерал хотел еще раз настойчиво внушить ему, Венцлову, что в каждом приказе, в каждом распоряжении, даже в каждом личном разговоре он должен решительно подчеркивать, что о капитуляции не может быть и речи. Затем он жестом показал, что беседа окончена. Сколько секунд, сколько минут отсчитал его указательный палец?

VI

Мария даже радовалась, что она с утра до ночи занята на заводе и ей некогда думать. Вечером она сразу же засыпала. Но среди ночи просыпалась, как и прежде, в тревоге. По старой привычке она думала: «Ганс еще не вернулся». И в полусне боялась, не стряслась ли с ним на этот раз беда. Она прислушивалась к последнему автобусу, к шагам под окнами. Если он сейчас не придет, значит, он попался. Но он не шел, и, окончательно очнувшись, она понимала, что он и не мог прийти.

Иногда она засыпала только под утро, незадолго до того, как звонил будильник. Она приступала к работе разбитая, искусственно взвинченная, руки ее двигались автоматически, словно не были связаны с ее усталым телом.

Вечером, через силу наливая в тарелку суп, она говорила Гешке:

— Не пойму, как люди это терпят изо дня в день. Куда спокойнее лежать в могиле.

— Все мы терпим,— отвечал Гешке.

— Я тоже терплю, потому что думаю — если Ганс вернется живым, он должен застать меня живой. Только подумай, война кончится, он, радостный, придет домой, а меня нет в живых.

— Так, верно, все думают,— сказал Гешке.— Каждый хочет еще раз повидать тех, кого любит. Потому никто пикнуть не смеет.

Они давно уже не вели таких длинных разговоров. Обычно они молча сидели друг против друга, а кругом в доме стоял шум. Даже у них в квартире стало шумно, с тех пор как старик Мелер попросил, чтобы они на время

приютили его внучат. Их разбомбило в одном из пригородов; мать лежала где-то в больнице, самый маленький спал в одной постели с дедом.

Гешке умолк. Мария решила, что он задумался, как всегда, или задремал сидя.

— Если хочешь знать, так этими мыслями ты только вредишь ему,— вдруг снова заговорил он и, помолчав, добавил: — А допустим, Ганс погиб бы, что бы ты тогда стала делать? Махнула бы на себя рукой?

— Если бы я точно знала, что никогда больше не увижу его на этом свете, мне было бы все равно, что бы со мной ни случилось. Мне бы и самой тогда хотелось умереть. Я бы всем сказала: «Бросьте мучиться и надрываться!» Вот что я бы сказала. И еще сказала бы: «Работайте потише, работайте похуже, портите все, что делаете». Пусть бы я попала в гестапо, ну и что ж, раз его нет...

Гешке с удивлением смотрел на нее. Брови ее были сдвинуты, на светлых, поседевших у корней волосах, вокруг выпуклого лба лежал отблеск прежнего сияния.

— Ты вот собираешься так поступать, если он погибнет,— сказал Гешке.— А я часто думаю: надо так действовать сейчас, чтобы он вернулся целым и невредимым. И не бояться, что он нас не застанет, не бояться ни доносчиков, ни гестапо.

Мария смотрела на него пристально и удивленно. Угрюмого вида как не бывало, в его тусклых, усталых глазах вдруг блеснуло что-то непривычное, что она видела в них всего два-три раза в самом начале их супружества, как будто под дряблой, сильно изношенной оболочкой скрывался незнакомый ей человек. Мелеровские внучата выглядывали из спальни в надежде, что им перепадет что-нибудь от ужина. Мария оделила каждого, а затем они общими усилиями стали выскребать остатки из кастрюли.

Она чувствовала себя бодрее, чем обычно, правда, позже заснула, но проспала всю ночь без снов, пока не зазвонил будильник.

Товарищи Гешке по работе рассказали ей позднее, что он, несомненно, был на подозрении у заводских шпиков и только по не зависящим от них причинам его не арестовали.

На следующий день у Марии была не одиннадцати-, а двенадцатичасовая смена. По дороге домой ее задержала воздушная тревога. Она провела ночь в чужом бомбоубежище. Когда она на рассвете направилась домой, слухи, ходившие в бомбоубежище, подтвердились: бомбы упали в их районе. И площадь и улица были оцеплены. Когда дым рассеялся, Мария увидела на засыпанной обломками улице кусок фасада, на котором еще держался балкон,— так во сне бессвязно возникают обрывки действительности. Полиция оттеснила ее от загороженного места. И как во сне, она бессмысленно силилась понять, их ли это балкон. Наконец она сообразила, что это был балкон напискось от них — прошлым летом на нем сидела с шитьем жена Трибеля. Мысли ее отвлеклись, и она вспомнила, как фрау Трибель однажды ночью забрало гестапо. «Никакие уловки ее не спасли»,— сказала тогда Мельцерша. «Но известно,— подумала Мария,— может быть, она и жива еще где-нибудь в тюрьме?» В полной растерянности она думала: «Счастье, что Ганс не здесь, а на фронте». Потом ей померещилось, будто фрау Трибель преспокойно сидит с шитьем на единственном балконе, уцелевшем на обломке фасада. А куда же девались ее собственные ящики для цветов? Ведь совсем недавно она, несмотря на крайнюю усталость, все-таки посеяла новые семена. О семенах беспокоиться нечего, они взойдут и посреди щебня.

— Гешке! — вдруг закричала она.

Полицейский попытался выполнить два дела сразу — отогнать женщину от оцепленного места и одновременно оказать ей помощь. Мария вырывалась от него, она только теперь сообразила, что Гешке вернулся с завода гораздо раньше ее. Какая-то женщина обняла ее за плечи и бережно усадила в сторонке на камень. Мария узнала золовку жилицы с третьего этажа и сразу овладела собой. «Чего она опять вертится здесь? И лезет именно ко мне? Может быть, надеется, что я от горя начну ругать Гитлера, а она донесет на меня и получит за это еще один орден?» Гадина просчиталась: именно своим видом эта смазливенькая, аккуратная девица в свежей по-утреннему блузке поразила и привела Марию в чувство. Нет, она не будет ругать Гитлера. Так дешево он не отделается. Она найдет против него оружие посильнее пустых проклятий. Не стало не только дома и Гешке, который лежал обугленный где-то там, под развалинами. Не стало страха,

Еще позавчера вечером Гешке .говорил о страхе. Он был хороший человек. Случай привел ее к нему, потому что ей тогда больше некуда было идти и потому что Гешке позволил, чтобы она доносила у него своего ребенка. Это было хорошо с его стороны. А потом он всегда выдавал Ганса за своего сына, и это было хорошо с его стороны. Вдруг она вспомнила про винтовку, которая была спрятана у них под полом, под кухонным шкафом. Как она тогда удивилась, когда он неожиданно достал винтовку из тайника; это было вскоре после рождения Ганса, в марте 1920 года, во время капповского путча. Ганс тогда лежал еще в колыбели; колыбель и винтовка, две тайны их квартиры, тайна жены и тайна мужа. Когда начнут разгребать обломки дома, могут наткнуться на винтовку. Только вряд ли поймут, что она принадлежала тем жалким обугленным останкам, которые тоже могут при этом откопать. Она увидела внутри оцепления почти неузнаваемый, совершенно раздавленный ящик с песком. Здесь играли дети Гешке от первой жены, умершей от гриппа в ту войну; здесь она, Мария, смотрела за ними, как ей велела Мельцерша, опекавшая их после смерти матери. Может, и Мельцерша погребена где-нибудь под обломками догорающего дома? Пауль, любимый старший сын Гешке, умер давно. Тогда им обоим казалось, что большего горя не придумаешь. К Елене она привязалась всей душой. А Франц уже десять лет назад злился на отца за то, что он, Франц, под нужную мерку не подошел. Злись теперь на обугленные кости — вот тебе твоя мерка!

Она так стремительно рванулась вперед, что пресловутая золовка не успела ее удержать. Полицейский схватил Марию за руку. Она боролась с ним, она никак не могла ему втолковать, что ей нужно только потрогать остатки песка в ящике. Подъехал молочный фургон; на диво бравые, на диво благонадежные девицы из гитлерюгенда собрали ребят в кучу и стали их кормить и поить.

Мария увидела старшего мелеровского внука. Она окликнула его, мальчуган с плачем прижался к ней.

— Дядя Гешке взял нашу Лину на руки, и когда бомба упала, их вместе и убило.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

I

Тетя Амалия регулярно посещала дом Мальцанов, пока они были соседями. По ввиду непрерывного сокращения жилой площади обеим семьям был оставлен только один из двух домов, и Мальцаны переехали в вощиловский дом; с этих пор тетя Амалия никогда не ходила в гости на первый этаж. Все, посмеиваясь и возмущаясь, подчинились ее строгому приказу: никто не смеет переступать порог ее квартиры. Еду ей должны оставлять на столике за дверью. Как ни тяжело было ей взбираться наверх с больной ногой, она сама выбрала второй этаж, потому что никак не могла расстаться со своим любимым фонарем. Там она обычно сидела и поглядывала сквозь цветные стекла на Шарнхорстштрассе, не идет ли почтальон или какой-нибудь гость. Выходить она почти не могла, причесаться, одеться, убрать комнату стоило ей больших трудов; потом она, совсем обессилев, сидела одна перед разноцветными, зелеными и красными, стеклами; когда темнело и на улице уже ничего не было видно, она вызывала в памяти образы людей, которые были ей дороги. Знакомые образы из истории и из собственной жизни. Поворачивая голову в разные стороны, она оживленно беседовала с этими призрачными личностями, даже злобно смеялась иногда. Она позволяла себе рискованные шутки, подслушанные у мужчин. Она чувствовала себя отлично, вполне в своем кругу. Общество было самое избранное — от великого курфюрста до ее собственного племянника. Посторонние редко допускались на эти приемы, да и то лишь самые благонадежные, вроде племянницы Лоноры, которая теперь дневала и ночевала в госпитале, или внучатой племянницы Аннелизы, которую она совсем потеряла из виду. Остальных родственников она не желала видеть и даже попросту позабыла о них.

Однажды к Мальцанам явился вечно юный Штахвиц. Ему рассказали, что фрейлейн фон Венцлов немного выжила из ума: должно быть, на нее так сильно подействовала смерть внука — единственного сына Венцлова, о которой ей долго боялись сообщить. Штахвиц все-таки поднялся на второй этаж и постучался, хотя его уверяли, что старушка никого не впускает.

— Тетя Амалия, это я, Штахвиц,— храбро крикнул он.

Он услышал суетливое шарканье. Старуха совсем позабыла о друге своего племянника, и теперь при звуке его голоса ей стало стыдно своей забывчивости. Он, правда, всегда отличался дерзостью и озорством, но вообще он вполне приличный молодой человек и составит достойную компанию ее живым и воображаемым гостям.

Они уселись рядом в фонаре. Осторожно, боясь что-нибудь перепутать и показать, как у нее ослабела память, она расспросила его о всей его семье, и он отвечал подробно, с той деланной веселостью, какую пускают в ход, чтобы скрыть смущение, когда навещают стариков и больных. Он заметил, что ей трудно говорить, но никаких признаков слабоумия, о которых толковали Мальцаны, он у нее не нашел. Она рассказала о том, что пишет Фриц с востока. Речь зашла и о смерти его сынишки. Но Штахвицу не верилось, чтобы она из-за этого повредилась в уме. Она прямо сказала, что со смертью мальчика может оборваться их род. Кто знает, будут ли у ее племянника еще сыновья после этой войны? И тут же добавила, что такое же горе переживает сейчас множество немецких семей. Затем строго и придирчиво, как всегда, стала расспрашивать о его служебных делах и военных событиях. Штахвиц рассказал все, что счел интересным и возможным рассказать. Тетя Амалия слушала очень внимательно. При свете, падавшем сквозь цветные стекла, Штахвицу трудно было различить выражение ее лица. Ему казалось немыслимым, чтобы она заметила его недомолвки и передержки.

Тетя Амалия как будто на миг задумалась над тем, что услышала, потом спросила:

— Скажи-ка, голубчик, по-твоему, Германия погибла окончательно?

Он сделал протестующий жест.

— Не лги, голубчик,— прервала она,— тете Амалии нельзя лгать.

Он опустил голову, как бывало, когда она распекала его за мальчишеские проказы, а затем ответил так тихо, что его не услышал бы даже шпик, если бы заполз в свинцовые переплеты между цветными, как в церкви, стеклами фонаря:

— Боюсь, что да, дорогая тетя Амалия.

Она кивнула и сказала даже с некоторой горячностью:

— Я давно этого боюсь. Я ведь никогда по-настоящему не верила этому человеку, вашему фюреру. Он человек низшей расы, хотя сам столько кричит о ее чистоте. Он человек дурного воспитания, с низменными привычками, человек без чести и веры.

Штахвиц нагнулся, он сделал то, чего из присущей ему сдержанности не позволял себе даже в отношении родной матери: он взял обе руки тети Амалии, погладил их и поцеловал несколько раз подряд.

Когда он спустился в первый этаж и Мальцаны спросили его: «Ну, каково тебе было в гостях? Старушка порядком сдала?», он ответил:

— Не нахожу. Наоборот, я столько пережил, что сам себе кажусь столетним старцем. Все мы очень сдали... Только тетя Амалия не изменилась.

•

Через несколько дней тетя Амалия постаралась встать как можно раньше. Ей непременно нужно было самой получить почту из рук почтальона. Пятьдесят лет эта Мальцан своим самодовольством отравляла ее одинокую, убогую жизнь, и теперь ей было просто нестерпимо, когда эта особа первая видела хотя бы адрес на письме Фрица.

При переселении обе женщины договорились между собой, что лестницу будет убирать фрау фон Мальцан, но фрейлейн фон Венцлов была недовольна уборкой. Несмотря на войну и бомбежку, она не могла примириться с тем, что лестница в ее доме никогда не бывает как следует натерта. От хороших времен она сберегла немного воска для полов и в прошлую бессонную ночь сама до блеска натерла лестничную площадку возле своей двери, хотя при этом у нее несколько раз начиналось головокружение. И вот сегодня, когда она особенно заспешила, костыль соскользнул, а за ним поскользнулась она сама

и скатилась по ступенькам до нижней площадки. Фрау фон Мальцан вышла получить почту, увидела, что фрейлейн фон Венцлов лежит без сознания и стонет, и позвала на помощь мужа. Уход за больной, положение которой сразу определилось как безнадежное, не помешал фрау фон Мальцан, когда наконец-то пришло письмо от Венцлова, досконально обследовать его сперва снаружи, а после того, как выяснилось, что больная не придет в сознание, также и внутри.

Ленору на следующий день привез из госпиталя в Потсдам знакомый военный врач. Она заперлась в комнате покойницы. Острый костлявый профиль, казалось, укорял ее. «Что с тобой, дитя? Как можно так распускаться? Надо всегда обуздывать свою скорбь».

В конце концов Ленора отерла слезы и напудрила нос.

Хотя у Штахвица оставались считанные часы до конца отпуска, он решил еще раз навестить фрейлейн фон Венцлов. Ему отворила Ленора. В полумраке, без косынки медицинской сестры, ее бледное костлявое лицо было до того похоже на лицо тетки, что он нерешительно спросил:

— Фрейлейн фон Венцлов?

— Это я, Ленора,— ответила она, глубоко уязвленная.— Тетя Амалия вчера умерла.

II

Мария жила теперь с двумя работницами. У одной были две девочки, школьницы. Бараки, построенные на месте разрушенных домов, оказались так близко от завода, что женщины добирались на работу за какие-нибудь четверть часа; для завода это было большим удобством.

— А для нас тем более,— говорила фрау Клебер, соседка Марии по бараку. Школа, где учились ее дети, была в том же квартале, и старшая девочка в свободные часы иногда подрабатывала на том же заводе. Мать работала заготовщицей. Она была очень худа, но благодаря опрятной одежде, аккуратно причесанным волосам и прямому взгляду блестящих светлых глаз никогда не производила впечатления измученной или опустившейся женщины. Обе девочки были такие же, как мать,— и в людном бараке, и в школе, и на работе всегда причесанные, чистень-

кие и усердные, как бы тревожно ни прошла перед тем ночь. Фрау Клебер говорила своим товаркам по бараку и своим девочкам:

— От таких женщин, как мы, все зависит, другого народа с такими женщинами не сыщешь.

Фрау Хюбнер отвечала:

— А ты почем знаешь? Мало мы сами бросали бомб на других, а они вот не сдаются. Возьми, к примеру, Лондон — они там все выдерживают, на них не действует до сих пор даже наше оружие возмездия.

— Одно дело возмездие, а другое — воздушный террор,— поправила ее фрау Клебер.

Обычно фрау Хюбнер больше молчала. За последние месяцы ее кожа так сморщилась, волосы так поседели, что она казалась совсем старухой. Мария молчала всегда. И то, что они обе молчали, сближало их.

Мария приходила на работу минута в минуту. Она штамповала положенное число отверстий на положенном числе пластинок, а на соседнем станке через отверстия продергивалась проволока. Ей было все равно, где жить, все равно, сколько пробивать отверстий. Вместе с лентой конвейера перед ней проходили и те немногие картины, которые еще сохранились в ее опустевшей голове. Иногда ей представлялся Генко, задумчивый, как в последний вечер, или ворчливый, у подкопника, иногда тетя Эмилия в пестром платье, иногда ее падчерица Елена с широкими ноздрями. Марии казалось, что она пробивает отверстия во всем и во всех. Только о Гансе она старалась не думать, движущаяся лента не должна была проходить по нему, в нем нельзя было пробивать отверстия. Она думала о нем только по воскресеньям, за шитьем, и тогда она испытывала такую боль, словно у нее внутри все горело. Тем не менее это были ее лучшие минуты.

Но незаметно для нее самой отупение, обычно наступающее после перенесенного удара, понемногу исчезло. Однажды она пришла на завод и вместе со всеми начала возмущаться приказом, предписывавшим женщинам пробивать в одну минуту вдвое больше отверстий, чем раньше. Она протестовала изо всех сил, но безуспешно. А фрау Хюбнер сказала, когда они шли домой:

— Что это на тебя нашло, Мария? Зачем это нужно?

— Пусть меня арестуют,— ответила Мария,— не все ли равно?

— У тебя же сын на фронте,— сказала Хюбнер.— Он придет домой, а матери нет.

Мария засмеялась и ответила:

— Он только будет гордиться мной. Как раз он-то и сказал бы: «Ругайся, борись, мама!»

— Если он и вправду такой, чтобы этим гордиться,— возразила Хюбнер,— так он наверняка скажет совсем другое. Он скажет: «Разве ты, мама, не можешь сделать что-нибудь поумнее, чем ругаться? Работа, милая мама,— скажет он,— от того медленнее не пойдет, что ты шумишь. Лучше пробивай-ка на два отверстия меньше, сделай так, чтобы и другие пробивали на два отверстия меньше, и пусть те штуки, которые вы там штампуете, откажутся действовать, когда попадут к нам. Чем хуже все это будет действовать, тем скорее я вернусь домой, милая мама!» Вот что он сказал бы.

Мария промолчала. Она почувствовала, что нашла друга. Оказалось, что она не одинока в этой горькой жизни, в отсыревшем, дырявом бараке, на окраине гигантского города, где она никого не знает.

На следующий день на заводе разразилась гроза. Работниц карали лишением продовольственных карточек, угрожали штрафной работой. Однако очень многие женщины заявили, что они при всем желании не могут в указанное время пробивать предписанное число отверстий.

Вечером Клебер сказала:

— Мне жаль от души, Мария, что ты тоже поплатилась, но ведь нельзя было оставить это дело безнаказанным.

— Не расстраивайся,— ответила Мария,— у меня как раз ревматизм в руке разыгрался.

И Клебер сказала, глядя на нее холодными блестящими глазами:

— Я так и думала, Мария, что ты отказываешься не от лени. Тут имели в виду тех женщин — к сожалению, есть такие,— которые не понимают, что это все для общего блага. У меня лично руки совсем ослабли. Я уже ни штопать не могу, ни шить. Но теперь важнее на производстве работать и делать то, что нужно им там,. на фронте, чем шить и штопать для себя.

Ночью был налет. Когда они из бомбоубежища возвращались в барак, они увидели, что дома в конце улицы разрушены. Чтобы остановить пожар, часть бараков снесли.

Обитателям разрушенных домов уже нечего было терять. Их кое-как рассовали по ближайшим баракам. В тот, где жили три женщины с детьми, поселили еще двоих: старика и безногого солдата, который неведомо как сюда попал.

Клебер, бодрясь, как всегда, тщательно причесывалась среди всей этой сумятицы. Глаза у нее блестели. Дети, услышав бодрый, но жесткий голос матери, впервые с испугом взглянули на нее, точно мать не живой человек, а призрак. Мария погладила дрожавших девочек по голове. И прежние жильцы и новые были рады, что она тут. И в убежище людям становилось легче от одного ее присутствия. Даже на заводе все радовались, завидев ее светловолосую голову. В первое время на нее не обращали никакого внимания; в те дни, когда она, оглушенная горем, жила и работала, как автомат, ее почти не замечали.

И вдруг — вот она опять по-новому живая, точно ее привязывали к жизни особенно крепкие нити, так что и другие чувствовали себя от ее присутствия увереннее и старались держаться к ней как можно ближе; так после кораблекрушения люди хватаются за доску, чтобы не утонуть.

В ее цеху пришлось вернуться к старой норме: с новой ничего не получилось. Но женщины были уже слишком измучены, чтобы радоваться.

— Какое это теперь имеет значение — пробивать на три отверстия меньше или больше? — говорили некоторые.

— Может быть, это хоть на одну секунду да сократит войну,— сказала Мария.— А в эту секунду могут убить моего мальчика или твоего мужа.

Фрау Хюбнер только диву давалась — от ее соседки веяло теперь какой-то новой жизнью и безмолвным мужеством, и это мужество сказывалось на деле, а не только в словах и жестах. И хотя обитатели душного барака обычно радовались, если кого-нибудь не было, когда наконец появлялась Мария, все облегченно вздыхали. Новый жилец, угрюмый одинокий старик, и тот становился веселей. Солдат с культышкой звал ее «мать». Где была его собственная мать, он не знал. Девочки прямо сияли, даже Клебер уже не казалась такой деревянной, ее глаза не так блестели, тон был уже не так бодр. Все это делало ее более человечной, как будто она при Марии начинала понимать право людей на страдание.

Однажды Мария взяла с собой фрау Хюбнер в тот район, где жила дочь Гешке. Правда, Елена работала и в воскресенье, старик тоже уехал к себе на завод, но фрау Бергер и ее внучка оказались дома. Приход гостей был в эти дни всегда неожиданностью. А для них — неожиданностью было, что дом еще не разбомбили и что старая мебель цела, целы и старые чашки. Старуха радовалась, что ее сын Оскар попал в плен. По крайней мере хоть жив останется, значит, все-таки не зря на свет родился. От этих слов старухи у Марии больно сжалось сердце. Она снова со всей остротой почувствовала и зависть, и нестерпимое отчаяние при мысли о своем мальчике, который, как выразилась старуха Бергер, может быть, зря на свет родился. Мария смотрела перед собой невидящими глазами, Хюбнер одной рукой обняла ее, и вдруг все три почувствовали себя крепко спаянными друг с другом. Для трех изможденных, преждевременно состарившихся женщин эта близость была единственной твердой опорой среди окружающего хаоса. Все, что родилось и что погибло, и все, что сейчас еще стояло на грани жизни и смерти, как будто тесно переплелось вот тут, между их склоненными друг к другу головами.

По дороге домой они заехали к тете Эмилии. Щебень и обломки все еще не были убраны. Когда-то тут стоял тот большой дом, где Мария, приехав в чужой город, нашла неожиданное пристанище. Дом, в котором жила тетя Эмилия, тоже пострадал, корпус, выходивший на улицу, обвалился, открыв задний двор, где раньше была мастерская. Тетя Эмилия рот разинула, увидев их. Она невероятно отощала. Мария узнала ее не столько по лицу, сколько по остаткам пестрого, когда-то нарядного платья. Теперь ее квартира была набита жильцами из разрушенного переднего корпуса, а также самыми неожиданными, случайно уцелевшими вещами этих людей. Мария увидела на прежнем месте фотографию покойного мужа тети Эмилии, который был убит во время первой мировой войны и которому, как говорила тетя Эмилия, она в душе оставалась неизменно верна.

На обратном пути Мария рассказала фрау Хюбнер о своей молодости, даже о той ночи, когда она тщетно ждала любимого, и о том, как она страстно, не меньше, чем сейчас, желала, чтобы ее дитя осталось в живых. Только тогда оно находилось в ней, а теперь было бесконечно да-

леко. Ей вдруг стало так легко говорить о том, о чем в течение долгих лет говорить казалось невозможным, точно вместе с распавшимися степами распахнулась и ее душа.

Дни проходили; женщины бегали на работу, спали урывками, как будто они сами сделались частью конвейера, требовавшего напряжения всех сил, будто силы их растягивались, как растягивают резинку, пока она наконец не лопнет. Дни эти можно было бы назвать однообразными, не будь они полны пожарами и бомбежками, смертным ужасом и смертью, криками о помощи и растерзанными телами. Но упорнее жизни и смерти был конвейер, он принимал ночную смену, когда дневная ложилась спать, он был подобен реке, не тихо и не быстро текущей, на берегу которой люди страдают и смеются, рождаются на свет и умирают. А среди всего этого орали репродукторы и газетчики, сообщая вести с фронта; и если раньше говорилось, что враг никогда не вступит на немецкую землю, то теперь уже слышались уверения в том, что он никогда не вступит в Берлин. Однако уже находились столь неразумные женщины, которых каждая бомбежка повергала в неописуемый ужас. Их успокаивали, доказывая, что враг еще далеко. Но в этих утешениях уже появилось словечко «еще».

Вечером Мария чувствовала себя настолько измученной, что, укладываясь наконец рядом с фрау Хюбнер, совсем была неспособна задавать ей какие-нибудь вопросы, а в течение дня не имела ни сил, ни времени их продумать. Мария еще помнила, как ее муж гордился введением восьмичасового рабочего дня. «Этим вы нам обязаны»,— говорил он тогда, а теперь и его самого уже давно нет, и кухни той нет, где он это говорил, и Трибеля, которому он говорил, тоже нет. Рабочий день сейчас доходил до двенадцати, даже до четырнадцати часов. Только бы накормить хищного зверя, чтобы он оставался сильным и мог всех пожрать. Даже те, которые еще две-три недели назад открыто говорили, что по крайней мере война скоро кончится и хуже не будет, даже они кричали теперь, что нельзя пускать русских в Берлин. Они натерпелись такого страха и настолько обессилели духом, что старались хотя бы утешаться мыслью, будто все эти жертвы — ради великой цели, стоившей того, чтобы отдать за нее жизнь, ради своей страны, ради дальнейшего существования своей нации. Они все измеряли страданиями, и только эта

мера казалась им точной и справедливой. И только теми страданиями, которых им стоило достижение какой-нибудь цели, измеряли они ее ценность. Какие бы причины ни привели их к тому положению, в котором они очутились — глупость или трусость, посулы или преступления, своя или чужая вина,— положение было мучительным. И по их разумению, все другие страдали меньше, чем они.

Фрау Хюбнер обхватила Марию рукой; война, может быть, скоро кончится, начнется новая жизнь. Правда, ей трудно себе представить, в чем будет состоять эта новая жизнь для нее, одинокой старухи, у которой нет никого на свете и которая потеряла все, что придает жизни цену. Ее муж был жестянщиком и хорошо зарабатывал, сын тоже научился отцовскому ремеслу; уверяли, что он весь в отца, такой же мастер своего дела и такой же неунывающий шутник. Воскресенье они проводили на огороде. Это было настоящим праздником.

Теперь они оба умерли — отец и сын, несмотря на то, что всегда были веселы, никогда не унывали. Нестерпимая тоска, тоска о прошлом, об утерянной молодости вызвала у нее слезы. Но лицо ее было настолько изрыто морщинами, что слезы исчезали в них. Она так же не могла представить себе эту новую жизнь, как другие не могли представить себе приход русских. Барак был переполнен, фрау Хюбнер спала теперь на одной койке с Марией и тоже чувствовала себя спокойнее рядом с ней. Она чувствовала, что Мария, которая немногим моложе ее и сын которой, вероятно, уже не вернется, все-таки как-то представляет себе эту новую жизнь. Ей очень хотелось бы знать, как именно, но она слишком устала, чтобы спрашивать.

Самой большой загадкой была для фрау Хюбнер она сама. Зачем она продолжает ходить на завод и выполнять эту принудительную работу? Почему продолжает повиноваться, хотя теперь, после смерти близких, ничуть уже не дорожит жизнью и похожа на смятый осенний лист, гонимый ветром? Что это за сила — государство, которое, подобно господу богу, вершит судьбы людей? И как оно стало силой? Когда ее мысли доходили до этой точки, больную голову начинало так ломить, что фрау Хюбнер обнимала Марию и засыпала.

III

Коммерции советник Кастрициус, тот самый, который когда-то, в давно прошедшие мирные времена, должен был сделаться тестем господина фон Клемма — чему помешала автомобильная катастрофа на мосту через Рейн,— Кастрициус со своей хорошенькой дочкой и ее супругом, эсэсовцем из дивизии «Мертвая голова», преемником погибшего Клемма, подъехал к гаражу виллы на Таунусе; эта вилла принадлежала Шлютебоку, директору «ИГ Фарбениндустри»; с ним покойный Клемм когда-то делал большие дела и через него вел секретную переписку.

Трое мужчин, ожидавших в курительной, с трудом подавили неудовольствие, когда увидели не только Кастрициуса с дочерью, но и его зятя эсэсовца, особенно когда зять, бесцеремонно развалясь в кресле и перепробовав все сорта ликеров, начал разглагольствовать о том, в какой мере союзники-мадьяры способны к сопротивлению. Жена с трудом заставила его подняться, напомнив об условленном свидании. Кстати, и шоферу надо вернуться вовремя, чтобы забрать папочку.

Наконец эта пара удалилась, и Кастрициус сказал, взглянув в заставленное гиацинтами окно на озаренный солнцем зимний пейзаж:

— Не удивительно, что молодому человеку здесь нравится. Это, без сомнения, самый уютный уголок во всей военной крепости, именуемой Европой.

Четверо мужчин теперь непринужденно расположились в креслах. Кастрициус, Клемм — кузен и наследник покойного господина фон Клемма, владелец виллы директор Шлютебок и приехавший из Берлина, всегда точный, юстиции советник Шпрангер.

Кастрициус окинул всех хитрым взглядом, затем сказал:

— Вы помните, господа, детский стишок? «В пятьдесят еще держись, в шестьдесят к зиме катись, в семьдесят уже старик». Вам, Клемм,— «еще держись». Вам, Шлютебок,— «к зиме катись». А Шпрангер? А я? Нам скоро стукнет семьдесят. «В семьдесят уже старик». Старик! Просто жуть берет. Право же, стишки о том, что будет после семидесяти, звучат мягче: «В восемьдесят будешь бел, в девяносто — бог велел».

Присутствующие смущенно откашлялись, а Шпрангер подумал, что сам он гораздо лучше застрахован от старости, чем этот Кастрициус, который стал так нестерпимо болтлив. Он же, Шпрангер, был и остался живым, точно ртуть, и его безукоризненно выбритое лицо не стареет, на нем не сказалась даже смерть жены, некогда знаменитой шведской красавицы. Она умерла этой зимой, но не от бомбы, а от рака.

— Я, признаться, даже подивился вам, Кастрициус,— сказал Шлютебок,— зачем вы привезли с собой этого господина. Я полагал, что мы твердо решили ограничиться нашим квартетом.

— Ах, бедный мой, неужели вы не понимаете,— сказал Кастрициус, он ловко пользовался даже смешными дефектами старости, сам знал, что сделался несколько болтлив, но знал также, что эта болтливость придает ему в глазах людей какое-то почти беззаботное простодушие,— я, напротив, даже очень упрашивал моего мертвоголового зятя доставить меня сюда. Гораздо лучше, если, кроме нашего квартета, здесь будут еще посторонние, чтобы нас не считали какими-то заговорщиками. Нужно быть осторожными, ведь у нас перед глазами черт знает сколько печальных примеров. Вы на меня, старика, не сердитесь. Видно, вам все еще мало этих двенадцати лет адольфгитлеровского режима. Нацизму, видно, нужно просуществовать еще некоторое время, чтобы мы наконец научились уму-разуму.

С минуту все молчали. Самый сообразительный из всех, Шпрангер, тут же признался себе, что хитрый и болтливый старик, как обычно, прав. Но вслух он заметил:

— Кастрициус и вы, Клемм, то есть, ваш кузен, покойный Клемм, когда-то очень спешили набраться этого ума-разума.

Кастрициус шутливо всплеснул руками:

— Я вызвал духов, но их укротить не в силах. Кто это сказал? Если не Шиллер, так Гёте. Во всяком случае, один из этих двух господ, у которых на все случаи жизни можно найти цитаты. Мой зять тревожит меня по другим причинам... Очень интересно знать точно, к чему пришло Ялтинское совещание... Дело в том, что мне хотелось бы отправить зятя как можно дальше отсюда. Но, конечно, боже избави, не на территорию, которую вскоре займут русские. Я полагаю, что наши враги — англича-

не — все же резервировали себе клочок земли на севере. И вот мне хотелось бы заблаговременно спровадить туда этого молодого человека. Мы давно бы все это уладили, если бы Рундштедт своевременно отрешился от честолюбия. Но у него уж, знаете, в привычку вошло устремляться на врага и обязательно побеждать, и вот в результате теперь, когда нам отнюдь не нужны победоносные генералы на Западе, русские напирают на нас с угрожающей быстротой, а западный сосед — с опасной торопливостью.

Остальные вежливо, но с терпением слушали его болтовню.

А он продолжал:

— Дело в том, что мой зятек, к сожалению, пользуется здесь неважной славой. Пусть едет как можно дальше, где его не знают. Правда, он обожает мою девочку, как в первый день,— просто примерный супруг, чудо верности. Женщины его интересуют только постольку, поскольку требует служба, скажем там, женские концлагери и прочее. Но здешние жители ставят ему в вину именно то, что он круто обходился не только с мужчинами, но и с некоторыми весьма строптивыми девицами. Я, конечно, имею в виду только пленных, а также политических. Дома он, как уже сказано, образцовый отец семейства. Но достаточно посмотреть на лица жителей, когда он со своими черными телохранителями появляется в поселке,— сразу ясно, чем все это пахнет. А потому подальше, подальше отсюда молодого человека. Моей дочери и так уже однажды не повезло в любви.

А Клемм думал: «Что, если мой племянник Хельмут — всякое бывает — вдруг тоже проберется с Востока на Запад? О нем уже многие месяцы ничего не слышно — что, если он вдруг выпырнет здесь и предъявит свои права?»

— Я считаю, что пора перейти к тому, ради чего мы собрались,— решительно заявил Шпрангер.— Времени у нас, увы, маловато.

— Хотя я очень рад видеть вас всех в моем доме,— вставил Шлютебок.

Шпрангер продолжал:

— Я говорю сейчас не о том времени, которое любезно готов нам еще предоставить господин директор, а о том времени, которое любезно готовы нам предоставить господа союзники. Вероятно, и эти господа полагают, что мы

сумеем его использовать. Я считаю не случайным, что в своих воздушных налетах они щадят определенные пункты, важные для дальнейшего экономического процветания Европы... И даже до того, как у меня будет возможность поговорить кой с кем с глазу на глаз, я все же имею смелость утверждать, что и за границей на людей вроде вас, господа, вроде нас, господа, возлагаются определенные надежды.

В Берлине Шпрангер был все еще на хорошем счету и, кроме того, имел, так сказать, родственные связи со шведским посольством, поэтому ему удалось неожиданно получить сейчас разрешение на участие в одном из стокгольмских совещаний. Поездка эта была большой удачей не только для него, но и для его друзей. Кое-кто надеялся, что, очутившись за границей, он сможет возобновить весьма важные, давно заглохшие связи, что благодаря своей ловкости он успеет освежить былые отношения до того, как военная оккупация все это чрезвычайно осложнит или сделает просто неосуществимым. Для подобных переговоров Шлютебок предоставил Шпрангеру неограниченные полномочия. Существовали патенты, приобретенные еще перед войной совместно с иностранными фирмами. И пусть изобретатели умерли и забыты, а заводы частично разрушены бомбами, патенты остались целы и невредимы и спокойно лежат в сейфе этого элегантного дома на склоне Таунуса, в который ни разу не метил ни один самолет. Шпрангер записывал бесчисленные поручения. По пути он их выучит наизусть, его память сохранилась так же хорошо, как и красивое умное лицо. Лицо, которое на совещании в Стокгольме пробудит и у друзей и у врагов вполне определенные воспоминания: «А, и Шпрангер опять здесь!»

IV

Автомашины моторизованной части, в которой служил Ганс, с такой скоростью выскочили из-за поворота шоссе, простреливавшегося противником, что партия пленных женщин, переходившая шоссе, не успела добежать до другой стороны дороги.

Ганс увидел на шоссе позади машины только месиво из крови, снега и клочков одежды и ногу, отлетевшую из-под колес вместе с песком и грязью. Но когда он это

увидел, по раздавленным телам промчалась уже пятая машина. Ганс ничего не успел сказать Шиллингу, примостившемуся рядом с ним, не успел ничего и подумать, но он знал, знал теперь все, что только стоит знать на земле, словно ему кто-то успел мгновенно внушить мысль, что все это месиво из лохмотьев, крови и снега тоже будет зачтено.

Машина вдруг опять круто повернула, и Ганс повалился на Шиллинга. Над ними просвистела пуля. Она попала бы в Ганса, останься он сидеть. Шиллинг инстинктивно пригнул его к полу, потому ли, что уже не различал, где он, где Ганс, или потому, что хотел уберечь Ганса от пуль. Они познакомились всего два дня назад, когда роту формировали для отправки в качестве подкрепления частям, оказавшимся в мешке. Но Шиллинг так же горячо желал, чтобы уцелел Ганс, как и сам хотел уцелеть, и уже делился с ним всем: и мыслями и солдатским пайком. Перед лицом смерти все свершается быстрой.

Передали приказ: «Вылезай!» Дальше машины не могли идти, пустые грузовики повернули обратно; люди пошли вперед; небольшими группками они вступили в рощу, еще отделявшую их от окруженных частей. Над ними опять засвистали пули, хлестнули по березам. Огонь заставил всех залечь. Послышался визгливый голос Хенкеля:

— Где вы там застряли?

Ганса преследовал этот ненавистный голос, похожий на писк резинового чертика, из которого уже почти вышел весь воздух. И в новой роте, сколоченной из остатков разбитых частей, Хенкель опять очутился вместе с Гансом. А Ганс уже второй год страдал от этого пискливого голоса, хотя не раз падеялся, что ему наконец удалось избавиться от Хенкеля. Хенкель занял место убитого Берндта; это был второй Берндт, но еще более ретивый. Как только кто-нибудь из солдат задерживался, Хенкель был тут как тут. Он всюду совал свой нос, словно спешил побольше нашпионить, перед тем как все будет кончено. Словно сам дьявол приказал ему доставить всех целехонькими прямо в ад.

Двое солдат вели третьего, раненного в ногу. Штрикерт — он тоже был всего два дня в роте — лежал под рухнувшим деревом, его юное лицо совсем побелело от ужаса и боли. Дерево приподняли — из раздавленной

груди Штрикерта вырвался вой. Только на мгновение послышался его настоящий голос: не отводя глаз от Хенкеля, Штрикерт молил о помощи. Но что тут можно было сделать? Нести его обратно нельзя, и тащить с собой тоже нельзя.

Ганс лежал рядом с Шиллингом, он думал: «Хенкель теперь впереди меня, я теперь могу отстать, хватать меня некому, я уползу в канаву и залягу, меня найдут русские». Шиллинг покосился на него, словно желая сказать: «Сейчас нельзя!» Ганс посмотрел в ту сторону, куда указывал Шиллинг: проклятый Хенкель опять позади них и злобно поглядывает то на одного, то на другого.

По треску пулеметов было ясно, что они у цели. Впереди, в кустах, раздался торжествующий рев. Затем команда, выстрел. Поймали одну из пленных женщин, которая спаслась от машин и спряталась в кустах. Женщину застрелили, но, казалось, она растерзана зверями, ноги вывернуты, бедро развороченo, на плече клок волос, лица совсем нет.

Перебежками они миновали последний овраг; пули ложились где-то позади, смерть как будто немного отошла от них.

Наконец они добрались до места, их встретили восторженно, словно они пришли спасти от смерти окруженных солдат, а не умереть вместе с ними. В награду им разрешили несколько часов поспать. Ганс был так измучен, что не мог заснуть, и окликнул Шиллинга. Хотя он был знаком с ним всего двое суток, но сразу понял, что Шиллингу можно задавать вопросы. Как будто на круглой взъерошенной голове Шиллинга была особая отметка. И Ганс стал напрямик спрашивать его о том, о чем не решался говорить с людьми после многих дней, даже недель знакомства. В деревне Ц., их исходном пункте, он наблюдал за Шиллингом и подметил, как менялось выражение его лица. Правда, ни эсэсовцы, ни всякие другие шпики ничего не могли прочесть на этом круглом лице. Но Ганс сумел прочесть на нем то, что надо. И теперь он предпочел бы умереть вместе с этим Шиллингом, чем с кем-нибудь другим. Может быть, потому, что почувствовал в нем друга. Так или иначе Ганс спросил:

— Почему ты не выстрелил в Хенкеля, когда он лежал впереди тебя?

Может быть, Шиллинг был удивлен этим прямым вопросом. Но его лицо осталось таким же круглым и веселым. И если лицо Ганса иногда становилось напряженным и хитрым, как будто он способен был перехитрить даже самых яростных противников и самую смерть, лицо Шиллинга оставалось неизменно веселым.

— Потому что никто не поддержал бы меня,— ответил он.— Они растерзали бы меня так же, как ту несчастную женщину. Ты же слыхал, как они там выли от радости.

Ганс сказал:

— Мы ни на что не решаемся: все боимся, что никто нас не поддержит. Сперва надо решиться, тогда и поддержат.

Шиллинг сказал:

— Если бы я прикончил проклятого Хенкеля и потом оказалось, что я напрасно понадеялся на других, меня не было бы теперь рядом с тобой. А я не понадеялся и вот еще жив. Я хочу сберечь свои силы на что-нибудь получше, чем этот поганый Хенкель.

— Когда мы пришли в Россию, у меня был друг, его звали Циммеринг,— сказал Ганс.— Я давно его знал, не два дня, как тебя, он меня тоже все удерживал, все говорил, как ты: «Я хочу сберечь свои силы для чего-нибудь получше». И все откладывал и откладывал, а потом уже было поздно.

Шиллинг вертел пряжку на поясе Ганса. Он привык вечно что-нибудь вертеть в руках, как будто именно это и привлекало его внимание.

— То, что этот негодяй и его банда привили людям, засело крепко и глубоко,— даже когда он подохнет, это не сразу пройдет.

Снаряды рвались теперь так близко, что друзья придвинулись друг к другу. Один смотрел прямо в глаза другому. Кто-то вскочил, кто-то беспокойно заметался, кто-то продолжал храпеть. Когда смерть снова отвела от них свою тень, Ганс увидел голову своего товарища гораздо отчетливее, чем раньше, и она показалась ему гораздо крупнее. Шиллинг шепотом сказал ему:

— Мы под угрозой смерти заползли в крысиную нору, чтобы там подохнуть вместе с другими крысами. А почему и ты подчинился? Все потому же. Ты знал, что неподчинение будет тебе тут же стоить жизни. А тебе хотелось

получить хоть маленькую отсрочку.— Он прервал себя.— Ты спишь?

— Нет,— сказал Ганс. Было мучительно трудно бороться со сном. Но поговорить можно было только сейчас или никогда.

— Ведь вот уже десять, нет, пятнадцать лет, как им вколачивают в голову это самое единство нации, чтобы они думали, будто жертвуют собой для своего народа. А раз дело идет к концу, так теперь это самое единство особенно нужно. Отдельного немца можно повесить, весь народ — нельзя. Ты слушаешь?

Он обхватил Ганса руками, словно хотел влить в него силы, чтобы тот не засыпал.

— Ганс, не спи, крепись. Мы только сейчас можем что-нибудь решить. Хенкель тоже совсем измотался и спит.

— Откуда ты знаешь?

— Он лежит через три человека от тебя. Он не притворяется, он спит. Ты хочешь начать не с начала, а с конца: пристрелить Хенкеля. А нам придется еще раз начинать все с самого начала, вдалбливать в головы, где право, где лево, где друг, где враг. Это работа на годы!

— Но мы-то не можем ждать годы,— сказал Ганс.

— Нет,— согласился Шиллинг,— нам остаются часы. А чтобы вот этим всем вправить мозги, нужно прежде всего, чтобы у них голова осталась цела. И послушают они только того, кто их научит, как сохранить голову на плечах. Мы должны нащупать таких, кому неохота подыхать, когда им приказывают: «Подыхай!» Ведь ты же меня распознал за двое суток, а я тебя. Вот так надо их тоже распознать. Я возьму на себя хотя бы Брауневельта.

— А я — Рёдера,— сказал Ганс,— мы с ним из одной роты, я знаю его.

— Потом надо найти еще других, кому все это опостылело. А потом выяснить, как пробраться к русским. Как сообщить русским: «Вот здесь вы пройдете». Если мы до тех пор еще живы будем...

— А ведь Хенкель не спит,— заметил Ганс.— Он посматривает на нас.

— Пусть посматривает,— сказал Шиллинг, медленно перевернулся и положил голову на грудь Ганса. Он еще продолжал что-то говорить с закрытыми глазами, потом заметил, что теперь и Ганс заснул. Он вытащил из-под

него руку. Шиллинг был по профессии скорняк. Жена его помогала ему в работе. Иногда он думал: «Вот ей теперь одной приходится растить детей...» Но он всегда надеялся, что вернется домой. Теперь он уже не был так твердо уверен, что останется жив и вернется.

Гансу, засыпая, хотелось еще раз представить себе всех, кого он любил. От Мартина в памяти осталась только круглая стриженая голова, больше ничего; старика Бергера с мохнатыми седыми бровями он представлял себе гораздо яснее; об Эмми помнил только, что она очень маленькая, а глаза у нее темные и сердитые, лоб выпуклый; а у матери лоб ясный и даже волосы у корней словно светятся. Почему это Хенкель вдруг очутился в квартире Бергеров? «Спи, не тревожься об этом,— сказала сестра Елена,— пусть себе посматривают».

V

Хотя Уленхаут давно уже носилась с мыслью распустить свою школу, однако, когда школу распустили помимо ее воли, она была очень огорчена. В ее имении и на птицеводческой ферме хозяйничали государственные чиновники, ее ученицы, согласно новым законам, были посланы на заводы. Ей по болезни разрешили оставить у себя одну девушку. Выбор ее пал на Анхелизу Венцлов; она давно установила, что те качества девушки, о которых в закрытом сопроводительном письме ее предупреждало руководство гитлерюгенда, не заглохли с возрастом. Она часто думала, что такая девушка стоит целой школы. Ничем, кроме этого предпочтения, Уленхаут не была способна выразить свой протест против существующего порядка. Жить протестуя и быть отверженной — значит идти на тяжелую жизнь, а на это у нее не хватало мужества.

Но когда она объявила Анхелизе свое решение, ее постигло жестокое разочарование. Девушка сухо ответила:

— Я лучше бы пошла на производство вместе с остальными.

Уленхаут промолчала. Ей казалось, что она поймала девушку на желании отдать свою драгоценную юность государству, которое — как она давно втайне была убеждена — тщетно пытается продлить свое существование,

пожирая одну юную жизнь за другой, но с концом войны придет и его конец.

Когда школа закрылась, Уленхаут поместила девушку в маленькой гостиной, смежной со своей спальней. Аннелиза плакала по ночам, чего с ней раньше не бывало. Еще одна надежда рухнула: опять ей не удалось избавиться от старого окружения, попасть в другое, которое ничего, решительно ничего не имело бы общего с прежним. Правда, ей пришлось бы жить тяжелой жизнью, столкнуться с грубостью, с грязью, но ей этот принудительный труд сулил относительную свободу. А теперь она оказалась не на свободе, а в гостиной Уленхаут. Она не замечала скрытых чувств своей старой начальницы. Она не придавала цены чуть заметному презрению, которое проскальзывало у фрау Уленхаут, когда она говорила о существующей власти. Аннелиза по-прежнему часто вспоминала пастора Шрёдера, из-за которого у нее когда-то были неприятности дома и в школе. Тот не довольствовался иронией. Он открыто защищал свои религиозные взгляды. Зато и не избег испытаний, от которых, как девушка понимала, ловкими маневрами оградила себя Уленхаут. Аннелиза чувствовала себя одинокой: старые привязанности были утрачены, новых она не приобрела. Она никого по-настоящему не любила, ее никто не любил по-настоящему. Тетя Амалия умерла, мать словно и не была ей матерью, отец был недосягаемо далеко, и она оказалась, в сущности, сиротой.

Однако ей удалось выбраться отсюда раньше, чем она надеялась. Однажды ночью ее разбудила фрау фон Уленхаут, она вся пожелтела и тяжко стонала. По болезни она получила разрешение на выезд в Штутгарт. Аннелиза должна была сопровождать ее в клинику, которой заведовал брат Уленхаут.

Мучительно страдая от тряски автомобиля, Уленхаут навсегда прощалась со своим имением. Жалобам ее не было конца, она твердила, что боится окончить свою бессмысленно прожитую жизнь где-то в больнице, в чужом городе. Девушка не находила слов утешения. По примеру тети Амалии она не терпела громких сетований и сомнений, открытых самобичеваний и постыдно откровенного страха смерти. Аннелизе было противно, что у этой женщины, стонавшей от боли, теперь на шее висел серебряный крестик, а когда она была здорова, то во избежание

неприятностей носила на бархотке либо свастику, либо медальон.

Поезд, на который сажали только со специальными разрешениями, был битком набит. Аннелизе удалось занять место для Уленхаут, а сама она уселась в переполненном купе прямо на пол. От страха перед налетами пассажиры не могли уснуть, они нервничали, болтали и ворчали вперемежку. Уленхаут не то спала, не то была в забытьи. Аннелиза сидела между узлом, на котором спал грудной младенец, и двумя тесно придвинувшимися друг к другу военными. У одного были забинтованы голова и плечо, а рукав болтался пустой. Аннелиза всмотрелась в его лицо, оно сразу внушило ей симпатию. Особенно понравились ей глаза: они сначала будто приглядывались, а затем так и впивались в чье-нибудь лицо. Его приятель был выше ростом и плотнее, он смотрел на людей спокойнее и не так пристально, как будто для него не в лицах дело. Приятели разговаривали очень возбужденно, но вполголоса, с оглядкой и с недомолвками, хотя в этой отчаянной сутолоке вряд ли кто-нибудь за ними следил.

Когда шум несколько утих, до Аннелизы долетели обрывки разговора.

— И все-таки мне дорог тот век, в который я родился,— говорил военный с пустым рукавом.— Мне дорога та часть света, где я родился. Здесь издавна свершались грандиозные события. Здесь произошли две величайшие революции — Французская и Октябрьская.— Он передернул левым плечом, как будто позабыл, что не может размахивать рукой.

— По нашей части света апостол Павел странствовал из одной земли в другую,— сказал второй военный.— Его преследовали евреи и язычники, его заключали в тюрьмы, подвергали пыткам, его оговаривали лжесвидетели, и он трижды побывал на дне морском.

Поезд с грохотом мчался в темноте, мотались головы, чемоданы стукались друг о друга.

— Здесь никогда не жилось особенно весело. Люди хватались за все, что только доступно человеку, и снова все ставили под сомнение. Здесь созидали все, что возможно, и снова разрушали до основания, чтобы созидать сначала.

Он внезапно умолк, поймав на себе взгляд девушки. Она сейчас же свернулась клубочком и закрыла глаза,

Сквозь стук колес она жадно прислушивалась к каждому долетавшему до нее слову. Еще никогда не слышала она ничего подобного.

— Какая тонкая пленка прикрывает животную сущность человека! Как непрочно все то, чему люди учились около двух тысячелетий! Как поверхностно! А мы-то, мы иногда воображали, будто все это вошло им в плоть и кровь. Теперь нужно опять начинать с азов. С десяти заповедей: не укради, не убий... Как слабо было все то, чему нас поучали наши учителя, что сочиняли наши сочинители и проповедовали наши священники. Как слабо! Не крепче той пленки. Когда я лежал в полевом госпитале, где мне отняли руку, один там, около меня, все требовал, чтобы пришел священник его соборовать. А я собственными глазами видел, что вытворял этот тип за неделю до того. Он был одним из тех, кто в свое время поспешил позабыть и отбросить, как помеху, все десять стеснительных заповедей.

Девушка притворялась спящей. Она с трудом улавливала то, что человек с пустым рукавом говорил шепотом товарищу, сидевшему теперь к нему спиной.

— Мы никогда не обманывали людей, мы всегда объясняли им, что несет с собой наш век. Нам выпало на долю пережить столько войн между народами, столько гражданских войн, сколько не выпадало на долю многим поколениям, вместе взятым.

Матери, сидевшие в их вагоне, были в восторге от тех фокусов, которые он, произнося эти слова, проделывал здоровой рукой для забавы ребят. Его приятель повернул голову:

— Мы тоже никому и никогда не доказывали, что на земле райская жизнь, и никогда не утверждали, как вы, что можно ее сделать таковой.

— Все, что делает человека человеком, так основательно вытравлено, что теперь всем, в ком тлеет хоть искорка, надо держаться друг друга.

— Мы с тобой раньше спорили о том, как жизнь пойдет дальше. Теперь же надо сперва добраться до той исходной точки, от которой жизнь может идти дальше.

«А толстухе с корзиной,— думала Аннелиза,— тоже место там, где человек перестал быть человеком? А вон в том мужчине с бородкой, что сидит подле Уленхаут, еще тлеет искорка? А я? Кем считать меня?»

— В Польше один крестьянин отказался выдать властям еврея, который голым выпрыгнул из поезда смертников. Крестьянин сказал, что не пошел на это, потому что верит в бога.

— У нас некоторые тоже не шли на это, хотя в бога не верили. Они, не будучи христианами, рисковали жизнью, как первые христиане. Их не смутила ни жажда власти, ни малейшие ее соблазны, ни приказы, ни страх смерти.

Поезд мчался дальше и даже не затормозил на повороте, словно опасность была не над ним, а гналась за ним следом. Дети повалились друг на друга. Какая-то старуха рассказывала, что ее дочь проехала всю Германию от Бреслау до Кёльна и погибла в ночь приезда в Кёльн вместе со всей своей семьей. Ближайшие соседи на миг прислушались к ее рассказу. Военные шептали теперь друг другу прямо в ухо, и Аннелиза почти ничего не слышала. А подставить свое собственное ухо было для нее невозможно по тем же причинам, по каким невозможно было многое другое. Старуха рассказывала о сыне своей приятельницы, который всю войну ни разу не был ранен, а погиб в Берлине во время бомбежки, когда приехал в отпуск. Девушка, мучительно напрягая слух, пыталась уловить разговор двух приятелей.

— Вина твоя начинается там, где ты сталкиваешься с делами, к которым ты непричастен, и ты становишься соучастником их. От тебя зависит, покривить или не покривить душой. От тебя зависит, противиться ли до конца и пойти на тяжелую жизнь или же брать то, что тебе предлагают, и быть покорным. Авось тогда и тебе что-нибудь перепадет из добычи — не много, но все-таки перепадет.

«Мне хотелось бы понять, о чем они говорят,— думала Аннелиза,— может быть, они говорят и обо мне. В каком случае я должна отвечать за дела, к которым я не причастна, и когда я становлюсь соучастницей их?»

— Ну, это уж совсем старая песня о том, что каждый может различать добро и зло, с тех пор как кто-то съел пресловутое яблоко с пресловутого дерева.

Несколько пассажиров засуетились и стали собирать детей и пожитки. Аннелиза страстно жаждала услышать еще что-нибудь.

Поезд остановился в Д. Один из военных протискивал-

ся к выходу, другой, однорукий, вытянув шею, крикнул ему вслед:

— Когда приедешь в Штутгарт, не забудь, что мы по-прежнему живем на Бисмаркплац.

Теперь однорукий занялся исключительно детьми. Аннелиза ломала себе голову, как бы заговорить с ним. Она придумывала вопрос и только собиралась задать его, как тут же решала, что этот вопрос не годится. Незнакомец не обращал на нее ни малейшего внимания.

И в вагоне и снаружи стало темно; люди от холода сгрудились теснее. Теперь они говорили приглушенными голосами об убитых и раненых, о пропавших без вести, о бомбежках, об опасностях пути, о своих намерениях и желаниях. Казалось, что они то говорят наяву, то бредят в страшном кошмаре. Путь кончался, а Аннелиза так и не решилась заговорить с одноруким. Она по-прежнему не знала, о чем же ей надо спросить его.

Утром она отвезла Уленхаут в клинику и все больше мучилась желанием о чем-то спросить однорукого. Проспав несколько часов на стуле подле больной, она на другой день пошла в город. Она шла по незнакомым, залитым солнцем улицам и думала: «Я здесь никого не знаю, я одна, я избавилась от них всех». Тут ей вспомнилось название площади, которое однорукий крикнул вдогонку приятелю. Она превозмогла свою застенчивость. Она ходила из дома в дом, из квартиры в квартиру и спрашивала об одноруком военном, который вчера вернулся домой. Она еще не знала, что в жизни часто стучишься и тебе не открывают. Поэтому она не удивилась, когда в конце концов после многократных неудач ей открыл дверь сам однорукий незнакомец. Он не узнал девушку, и когда она, снова превозмогая застенчивость, сказала ему, что ехала с ним в одном вагоне, он испугался, не навязал ли себе на шею неприятных гостей. Он оглядел девушку с ног до головы. Из комнаты кто-то спрашивал, в чем там дело. Девушка робко попросила чего-нибудь поесть: в больнице позабыли ее накормить, у нее от голода кружилась голова. Она с трепетом ждала разрешения войти, отдохнуть и поесть, тогда ей станет легче и она, может быть, решится сказать о том, что гнетом лежит у нее на душе, и, может быть, сама поймет, о чем ей надо спросить. Она была еще очень далека от того, чтобы искать верного

ответа. Пока что ей нужно было найти верный вопрос. Она еще мало видела и хорошего и худого, ей не приходило в голову, что можно искать и не найти. Незнакомец пожал плечами, с удивлением посмотрел на нее и пригласил в комнату, а жену попросил поставить для нее прибор.

VI

За эту неделю обстановка несколько улучшилась, о чем Венцлов и сообщил в своем докладе. Им благополучно сбросили продовольствие. Один раз сбросили даже почту, что очень подбодрило солдат. Венцлов жил теперь с Фаренбергом в одной половине блиндажа, она была разделена пополам дощатой перегородкой, с другой половиной она соединялась общим помещением. Венцлов читал письмо, когда к нему вошел Фаренберг.

— Какие вести?

— Плохие,— ответил Венцлов.

Фаренберг молча ждал пояснения.

Дощатая перегородка создавала только иллюзию отдельной комнаты, поэтому Венцлов понизил голос:

— Умерла моя тетя Амалия.

Фаренберг с удивлением взглянул на него. Он удивился бы ничуть не больше, если бы попал на Луну и встретил там сослуживца, который горевал бы оттого, что у него на Земле умерла старая тетка.

Он промолчал, он не мог выжать из себя ни малейшей эмоции по поводу того, что где-то там, во внешнем мире, на какой-то планете, кто-то перестал существовать. Он смутно припомнил, что года два назад, когда они так же очутились наедине, Венцлов рассказывал о какой-то старухе, заменившей ему мать. Как странно, что Венцлов, именно такой человек, как Венцлов, все еще думает о старухе тетке!

Когда Венцлов вторично прочел письмо сестры, его поразило одно место, в которое он не вник, когда читал в первый раз, потому что был слишком потрясен: «Штахвица тоже нет в живых. Хорошо, что они с тетей Амалией повидались на прощание. Ты же знаешь, как тетя была привязана к нему, тем более ее огорчило бы, что он так кончил». Почему Ленора так странно пишет о смерти его

друга детства? Почему она не пишет просто «убит»? Что значит «так кончил». И почему «тем более огорчило бы»?

Последняя его связь с внешней жизнью, последняя способность чем-нибудь огорчаться отмерла с известием о смерти тети Амалии. Поэтому он особенно трезво и равнодушно думал обо всем остальном: Штахвиц, должно быть, опять сболтнул лишнее. Правда, последнее время он немножко себя обуздывал. А то у него с малых лет была склонность без толку бунтовать для собственного удовольствия.

Смертный приговор офицерам, покушавшимся на жизнь Гитлера, вызвал большое волнение. Венцлов тогда откровенно поговорил с Фаренбергом. В основном вопросе они вполне сошлись. Если враг вступит на немецкую землю, всем надо сплотиться вокруг главной ставки.

Но Штахвиц, бедняга Штахвиц, тот всегда лез во всякие авантюры. Еще тогда, в незапамятные времена, он всюду совал нос и даже был причастен к Ульмскому процессу. Он и на страшном суде что-нибудь сболтнет, этот бедняга Штахвиц, неисправимый озорник.

На той же неделе Венцлову доложили, что три человека в одной из рот только что присланного подкрепления подозрительно часто уединяются и шушукаются между собой, явно избегая посторонних слушателей и обрывая разговор, как только к ним кто-нибудь подходит. Вместе со снаряжением, с которым роту пригнали в «котел», в делах полевой полиции прибыли и сведения о каждом солдате в отдельности. При аресте было установлено, что один из трех, некий Эрман, числился у прежнего начальства неблагонадежным.

В прошлую ночь русские войска прорвали первую линию обороны. Тут они задержались. Но не было сомнений, что скоро русские пойдут в решительную атаку, чтобы развить свой успех. Их не удержит и второе подкрепление, которое успело прибыть, прежде чем окружение было окончательно завершено. Венцлова дважды за одну ночь вызывали к Браунсу. В дополнение к своему докладу он сообщил, что среди личного состава последнего подкрепления обнаружена группка подозрительных. Человек, сразу же приставленный следить за ними, доложил, что они замышляют помочь русским.

Браунс счел лишним давать указания, так как Венцлов получил соответствующие директивы на такой случай и уже сам применял их.

Не успел Венцлов вернуться к себе, как его в третий раз позвали к Браунсу. Ординарец Браунса ждал его в коридоре. Он проводил Венцлова до двери. Браунс лежал на койке. Венцлов прикрыл за собой дверь. Он стоя ждал, чтобы ему указали на стул возле койки. Но Браунс не пошевелил рукой, и Венцлов подошел ближе. Браунс лежал с простреленной головой: он пустил себе пулю в лоб, воспользовавшись минутой, когда ординарец пошел за Венцловом.

Венцлов знал и сам, что положение их безвыходное. Неприятель окружил их полностью. Хотя прибыло и второе подкрепление, однако не было ни малейшей надежды вырваться из мешка. Знал он также, что капитуляция исключается. Для этого ему не требовалось приказов фюрера сражаться до последнего солдата. Он с отвращением слушал, как Нильс распространяется насчет самоубийства Браунса. Какое право имеет Нильс говорить, что это стыд и позор? Он, Венцлов, лучше Нильса разбирается в том, что такое честь. Даже Браунсу незачем было подавать ему пример. Этому примеров хватит, можно вспомнить немало отдельных людей и целых родов из истории человечества. Если гибель неминуема, надо уйти с достоинством, с гордостью, а не влачить постыдное, призрачное существование живого трупа. Но такой, как Нильс, боялся совсем другого: для него и ему подобных поражение означало не огнедышащую бездну, а овеваемую ветерком виселицу. Отсюда и его болтовня, будто бы фюрер запретил самоубийство. На этот предмет в дневнике великого короля найдутся наставления получше. Он сам в свое время решил, что не переживет окончательного поражения. За таким самоубийством, молол Нильс, скрывается страх, что положение безвыходное. У самого Нильса не хватало мужества представить себе положение, из которого нет выхода. Венцлову до того противно стало слушать пошлые и трескучие выкрики Нильса, что он не выдержал — вскочил и хлопнул дверцей в дощатой перегородке. Хлопнула она не очень громко, потому что в блиндаже, четвертом по счету, куда они переселились после недавних бомбежек, все сделали на скорую руку, и перегородка была жи-

денькая. Венцлов шагал взад и вперед по узкому коридорчику, то и дело стукаясь головой о низкий потолок.

Часовой перед дверью Браунса сменился. Мертвеца сторожил теперь человек по фамилии Кульмай. Взгляд Венцлова упал на непроницаемое скуластое крестьянское лицо. В нем ничего не изменилось. Какая надежда заставляла Кульмая держаться за жизнь? Может быть, он тоже надеялся на чудо, о котором молол Нильс? На какое чудо? Они были обречены на гибель, у них не осталось никакой надежды вырваться из мешка, боеприпасов им могло хватить всего до конца недели. Они не в силах были ни в малейшей степени задержать наступление советских войск. Возможно, что Кульмай не знал этого так достоверно, как он, Венцлов.

А Кульмай думал то же самое о Венцлове, метавшемся взад и вперед по коридору. Чего этот Венцлов еще держится за жизнь? Ведь он души не чаял в Браунсе, во всем ему подражал. А в этом, видно, подражать неохота. Может, тоже хочется домой, к жене. Да он не из самых вредных, но все-таки вредный.

Венцлов вернулся в общее помещение, он уже вполне овладел собой. Нильс перестал болтать. После таких пламенных и пространных речей он теперь тупо уставился в одну точку. Кульмай думал, стоя у двери, которая захлопнулась за Венцловом: «А любопытно, надумает он взять пример с Браунса? Они говорят — драться до последнего. А как это устроить? Предпоследний не будет подглядывать, что делает последний. Бог даст, я останусь последним».

Десять минут спустя Кульмай стоял навытяжку перед Венцловом. Одновременно в проходе появился Фаренберг. Он стал что-то торопливо говорить Венцлову. У того задергались скулы. Кульмай думал: «Какие у нас еще могут быть новости?» Фаренберг бросился за перегородку и вернулся с двумя офицерами. Все говорили сразу, перебивая друг друга. «Опять кто-нибудь застрелился»,— думал Кульмай. Но потом по нескольким долетевшим до него словам понял, что никто не застрелился. Совсем наоборот: Нильс недолго думая улепетнул. Двадцать минут назад он вышел не для того, чтобы посмотреть, все ли в порядке, как решил Кульмай и как, верно, решили остальные. Он успел сесть на последний самолет и был таков. Конечно, пока он перелетит линию фронта, с ним еще может что-

нибудь случиться, а может, и ничего не случится; Кульмай слышал, как Фаренберг ответил на один из вопросов Венцлова:

— Кажется, у его отца универсальный магазин в Бремене.

«Вон оно что, значит, земляк! — думал Кульмай.— Значит, если мне тоже посчастливится, я еще буду у него пуговки покупать».

Венцлов подошел к столу, за которым его в прошлую ночь принимал Браунс. Преемник Брауна Фидлер сидел на том же месте. У Фидлера лицо не было так неподвижно, как у Брауна, он непрерывно моргал и щурился. За две минуты до Венцлова вошел преемник Пильса, некий Хармс. Он разложил перед преемником Брауна бумаги, которые парящий в облаках Пильс оставил на земле. Фидлер подписал, Венцлов тоже подписал те бумаги, которые касались его. И среди них смертный приговор троим и еще троим — всего шестерым, которые вчера были арестованы.

После этого Венцлов наконец-то очутился один за своей перегородкой. «Поражение,— сказал он себе,— имеет разные последствия для людей разного калибра. Черт охотно мирится с ним и перебегает к врагу. Такой, как Браунс, не может его пережить, а этот прохвост Пильс долбил нам, что Браунс поторопился. А чего ему было ждать? Чуда? Хорошенькое чудо — сесть на самолет и улететь!»

Он выехал на передовые позиции. Пулеметчики считали, что боеприпасов хватит по меньшей мере на неделю. Только очень немногие знали правду — что их осталось всего до послезавтра, а там — конец. Машину подбрасывало на выбоинах; перед воронкой от снаряда, где всего несколько часов назад была дорога, пришлось остановиться. Венцлов надеялся, что успеет вернуться до начала ожидавшейся атаки, и теперь проклинал задержку. Мимо шла группа из шести человек без оружия, без знаков различия. Конвоиры отдали честь.

— Куда вы с ними тащитесь? Кончайте! — крикнул Венцлов.

Это были те шестеро, которых вели на расстрел. Зачем трудиться? Зачем обходить машину, воронки, добираться до какой-то стены? Все они в любую минуту могут взлететь на воздух — и конвой, и машина, и осужденные.

Надо как можно скорее привести приговор в исполнение: нельзя, чтобы эти шестеро погибли, как все. Он взглянул из машины на их лица. Они словно застыли, этим людям предстояла смерть. «Как всем в этом проклятом котле,— подумал Венцлов,— вероятно, всем. Остальным завтра, им сегодня. Им меньше мучиться ожиданием»,— мелькнуло у него в голове.

Второй в ряду, стоявший от него всего в нескольких шагах, пошевелил губами и что-то крикнул ему или думал, что кричит. Конвойный рванул его в сторону. Машина чуть не наехала на них.

Через четверть часа послышался протяжный, пронзительный свист первых снарядов, предвещавший новую атаку. Машина повернула назад. «Со мной ничего не будет,— думал Венцлов,— мне надо это сделать самому. Браунс сделал это сам». Они проехали мимо воронки, где по пути сюда встретили тех шестерых, которых неизвестно куда вели на расстрел. А может быть, их прикончили тут же, на месте. Он ведь сам крикнул: «Кончайте!» В свисте снарядов ему слышался звук собственного голоса: «Кончайте! Кончайте!» Звук подхватывал звук, точно эхо. Ему казалось, будто его собственный голос тоже всего лишь эхо. Кто же это крикнул первым? Где? В какой горной пещере? И один из шести, второй справа, тоже показался ему старым знакомым. Он как будто уже видел его, только где и когда? Смелое лицо, порывисто закинутая назад голова, ясный, зоркий взгляд, как будто проникающий в человека. «Теперь я знаю, кто ты такой...» — подумал Венцлов. Но не успел додумать до конца: снаряд упал позади них. Машина дважды подпрыгнула, на нее дождем посыпались комья земли и камни. Снаряд упал впереди. Машина рванулась назад, круто повернула, попала в яму. Водитель, ловкий, умелый, хладнокровный, лавировал между жизнью и смертью, как между обычными препятствиями. Он повернулся своим курносым лицом и сказал:

— Господин майор, вам, пожалуй, лучше дойти пешком.

Венцлов выпрыгнул из машины. Он различил уцелевший остов здания, до которого ему надо было добраться; теперь и в остове была трещина, сквозь трещину виднелось пламя пожара; караульный стоял на том же месте, перед входом, самого его не задело, но от того, что он ка-

раулил, только дым шел. Венцлову загородил путь проходящий мимо отряд. Он перепрыгнул через яму, солдаты, убиравшие щебень, посторонились. Он обошел двух убитых, лежавших друг на друге крест-накрест, и торопливо спустился по лестнице. Мимо часового перед дверью Брауиса он пробежал в свое помещение. Часовой, все тот же Кульмай, подумал: «Опять ты вернулся! Кончай же наконец!» И еще подумал: «В плен ты не хочешь сдаваться, значит, придется тебе поступить, как поступил Брауис. Только пока что не похоже, чтобы тебя на это хватило».

Венцлов застал у себя двух офицеров; они начали что-то взволнованно рассказывать ему. Он ничего не понимал и не желал понять и отослал их к Фидлеру.

Хотя в подвале сотрясались теперь полы и стены, Венцлов чувствовал себя здесь спокойнее, ему хотелось хоть минутку побыть одному. Кульмай заметил, что под дверью света не видно. Он подумал: «Вот сейчас начнется, понятно, дело нелегкое. Каждый человек на что-то надеется».

Венцлов положил револьвер перед собой на стол; может он позволить себе роскошь побыть немножко наедине с самим собой? В темноте сперва мелькали беловатые пятна, а потом появились красные и зеленые. Заветные цвета человека, которые он жадно ищет по всему свету; он их не нашел ни в полях и лугах, ни в церковных витражах, ни в Китае, он нашел их только в окошечках фонаря и каждый раз, когда приезжал домой на каникулы, восхищался ими. Он часто тайком забирался в фонарь, когда свет горел только на улице, и цветные стекла таинственно мерцали.

— Что ты сидишь в потемках? — послышался голос тети Амалии. Она говорила сердито, как будто не любила сама тайком поблагодушествовать у себя в фонаре.

— Я сейчас кончу! — робко сказал он.

Она повернула к нему разгневанный профиль, в котором нос и подбородок так и кололи.

— Поживее!

Он закрыл глаза, потому что его слепили яркие цвета. «Кончайте!» Кто это приказал ему впервые? Он вспомнил все. Вспомнил наконец и то, где уже видел однажды парня, которого сегодня вели на расстрел, светловолосого, с дерзким взглядом.

Капитан Клемм, его покойный зять, приказал тогда: «Кончайте!» Кто еще был при этом? Шофер Клемма, такой же курносый, как его сегодняшний шофер. А у конвоира, который вел арестованного, было грубоватое крестьянское лицо, он как сейчас его видел. Видел и Ливена, которому очень тогда завидовал, потому что Клемм был о нем высокого мнения.

Почему Клемм приказал стрелять ему, Венцлову, а не своему любимцу Ливену? Они закопали парня и засыпали песком. А потом Ливен высмеял его опасения, что труп обнаружат.

Тогда никто не подозревал, что ему трудно было стрелять, и даже он сам не отдавал себе в этом отчета. Подобная мысль ни разу не приходила ему в голову, когда они после возвращения с Западного фронта сражались на улицах Берлина. Только когда они ехали по Груневальду и арестованный сидел перед ним, у него мелькнула мысль: «Ведь мы с ним сверстники, он даже похож на меня!» Но они сейчас же вышли из машины, и Клемм знаком приказал ему стрелять.

Они отнесли его в сторону и закопали. Но каким он остался молодым! Должно быть, все участники давно уже умерли. Ему самому было нестерпимо тяжело нести бремя жизни, тяжелее, чем дряхлому старцу. А тот парень, второй справа, закинул голову, как молодой конь. Казалось, что смерть бессильна перед ним. Они становились ему коленкой на грудь, все эти носке и лихтшлаги, кашпы и люттвицы. Но каким он остался молодым! Нацисты именно ему сулили земной рай, но он не поддался обману. Они перемалывали его всеми жерновами, так что у него трещали кости, они бросили его на войну, швыряли из сражения в сражение, но убить его не могли — он остался молодым. И сейчас, когда все погибло, он опять готов пойти на все!

Яркие цвета жгли ему веки, он раскрыл глаза. Вокруг не было фонаря с цветными стеклами, вокруг была темнота, даже лицо тети Амалии он не мог разглядеть. Только слышал ее строгий голос: «Кончай!»

Кульмай услышал выстрел, которого ждал уже давно; он только кивнул. И, не шевелясь, смотрел и слушал, как сбегались и вопили другие.

VII

Вернувшись с работы в один субботний вечер, Мария застала у себя в бараке незнакомую женщину. При виде ее незнакомка вскочила. Мария узнала Эмми, подругу сына. От радости лицо ее явственнее, чем всегда, засияло тихим и кротким светом. Девушка прижалась к ней, как будто и она успела почувствовать, что возле этой женщины, которую она так давно не видела, легче становится дышать. Она вырвалась с огромным трудом, рассказывала девушка, только чтобы отыскать Марию. У нее уже несколько месяцев нет никаких вестей от Ганса; не знает ли Мария, что с ним? Мария печально покачала головой. У нее тоже давно не было от него вестей. Она увидела, что Эмми ждет ребенка, прежде чем девушка сама заговорила об этом. Мария одобрительно кивнула, лицо ее засветилось радостью. Тут Эмми вскипела.

— Скажите на милость, чему мне радоваться? Что мне придется где-нибудь в норе, как собаке, рожать моего детеныша? — Глаза стали злыми, почти черными на ее суровом худеньком лице.

— А я все надеюсь, что он вернется,— сказала Мария.

— Я даже не знаю,— продолжала девушка,— получил ли он письмо о том, что я жду ребенка, да все равно это его не сохранило бы в живых.

— Это, конечно, нет,— подтвердила Мария.

Она подумала, что Эмми умнее и злее, чем в свое время была она сама. Она была так глупа, что думала — ее возлюбленный непременно вернется, потому что она ждет ребенка. Но Эмми, конечно, не меньше любит Ганса, чем она любила своего милого.

Фрау Хюбнер пришла с работы. Они вскипятили и выпили чаю. На ночь Хюбнер устроилась на койке с краю, Эмми положили к стенке, а Мария легла посередине, между ними.

Их разбудила воздушная тревога. У Эмми лицо и днем было суровое, а сейчас оно совсем застыло и не дрогнуло ни разу, даже когда бомбы разрывались совсем близко, когда кругом люди дрожали, кричали, вбегали и выбегали. Через два часа Мария и Эмми опять улеглись рядом. Фрау Хюбнер легла с клеберовскими девочками, потому что младшая все время плакала. Старик сразу же захрапел. А солдат и Клеберша словно выступали перед боль-

шой аудиторией: то один клял все на свете, то другая дребезжащим голосом произносила длинные ободряющие тирады. По открытым глазам Эмми Мария видела, что девушка не думает о сне, она лежала, подсунув руку под голову. Снаружи еще доносились окрики, топот, громыхание грузовиков.

— Мне все опостылело,— заговорила Эмми.— Я больше не хочу жить на свете.

— Все еще может кончиться, пока тебе придет время родить,— возразила Мария.

— Ну и что? Что, если кончится? Если бы знать, что он тогда обязательно вернется. Русские тебе не принесут в ранце косточек твоего сына. Если он ко мне не вернется, лучше тогда и ребенку не родиться на свет. Мне все казалось, что он, как получит мое письмо, так уж непременно вернется.

«Вот так и мне казалось,— думала Мария.— Сначала я тоже воображала, что стоит ему все узнать, и он к нам вернется».

А девушка говорила скорбно и торжественно:

— Мы так были близки друг другу, как никто на свете. Я его любила, я даже рассказать тебе не могу, как любила. Мы лежали в объятиях друг друга. Мы с полслова понимали друг друга.

— Это и не может так вдруг кончиться,— сказала Мария,— ты и сама не хочешь, чтобы все стало опять так, будто ничего этого не было.

Она еще некоторое время шепотом уговаривала Эмми, пока не заметила, что та уснула. Руку девушка вынула из-под головы, и теперь, когда ее суровые глаза были закрыты, лицо казалось умиротворенным. Мария погладила ее по голове и вскоре заснула сама. Постепенно в комнате все стихло. Последние часы ночи они лежали, спокойно дыша, повернувшись друг к другу лицом, а между ними — еще не родившийся на свет ребенок.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5
Глава первая 19
Глава вторая 44
Глава **третья** 74
Глава четвертая 102
Глава **пятая** 136
Глава шестая 167
Глава **седьмая** 202
Глава **восьмая** 241
Глава **девятая** 268
Глава **десятая** 289
Глава **одиннадцатая** 320
Глава **двенадцатая** 346
Глава **тринадцатая** 374
Глава четырнадцатая 405
Глава пятнадцатая 444
Глава **шестнадцатая** 478
Глава **семнадцатая** 521
Глава восемнадцатая 557